ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

2

1993

НОВЫЙ МИР 2

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г. **№ 2 (814)** **Февраль, 1993 г.**

УЧРЕДИТЕЛИ: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФОНД СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР, ЦЕНТР «НОВЫЙ МИР»

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Д. С. ЛИХАЧЕВ — **О русской интеллигенции** 3

СЕМЕН ЛИПКИН — **То, что цветет,** стихи 10
ВАЛЕРИЙ ПИСКУНОВ — **По роду их,** повесть 14
ГЕНРИХ САПГИР — **Зеленые фуражки,** стихотворение 103
ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ — **В садах других возможностей,** рассказы 105
ФРИДРИХ ГОРЕНШТЕЙН — **День, оставшийся под обрывом,** рассказ 127

ПУБЛИЦИСТИКА

Д. ШТУРМАН — **Остановимо ли Красное Колесо?** Размышление публициста над заключительными Узлами эпопеи А. Солженицына 144

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

М. В. ЮДИНА — **Письма к друзьям. 20—60-е годы.** Публикация, вступительная статья и примечания А. М. Кузнецова 172
ЕЛЕНА РЖЕВСКАЯ — **Геббельс. Портрет на фоне дневника.** Перевод фрагментов дневника Й. Геббельса — Л. Сумм 203

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛЕКСЕЙ ПУРИН — **Набоков и Евтерпа** 224

(См. на обороте)

МОСКВА 1993

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

Предварительные итоги XX века

ЛЕВ ГУДКОВ, БОРИС ДУБИН — **Без напряжения...** Заметки о культуре переходного периода 242

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ 254

SUMMARY 256

Редакция журнала «НОВЫЙ МИР» благодарит АО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”» за материальную и моральную поддержку.

Одновременно «НОВЫЙ МИР» поздравляет АО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”» (президент Юрий Львов) и АО «ГАРАНТ» (Санкт-Петербург, председатель совета директоров Илья Баскин) с успехом акции «ЕВРОПА — АМЕРИКА — 500».

Впервые в истории нашего бизнеса российские предприниматели справились с задачей, которая еще недавно была по плечу только государству.

«ЕВРОПА — АМЕРИКА — 500» — паспорт качества российского предпринимательства.

Редакция журнала «НОВЫЙ МИР».

© Журнал «Новый мир», 1993.

Д. С. ЛИХАЧЕВ

*

О РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Письмо в редакцию

Нынешняя обстановка заставляет меня обратиться в редакцию с письмом, в котором — и не в первый уже раз — я отзываюсь на вопрос о том, каково же все-таки положение, каковы роль и значение интеллигенции в нашем обществе?

Это — не статья, это именно письмо, в котором автор говорит пусть и без строгого порядка, но так, как он представляет себе дело сегодня, как обязывает говорить его собственный житейский опыт.

Итак — что такое интеллигенция? Как я ее вижу и понимаю? Понятие это чисто русское и содержание его преимущественно ассоциативно-эмоциональное.

К тому же по особенностям русского исторического прошлого мы, русские люди, часто предпочитаем эмоциональные концепты логическим определениям.

Я пережил много исторических событий, насмотрелся чересчур много удивительного и поэтому могу говорить о русской интеллигенции, не давая ей точного определения, а лишь размышляя о тех ее лучших представителях, которые, с моей точки зрения, могут быть отнесены к разряду интеллигентов. В иностранных языках и в словарях слово «интеллигенция» переводится, как правило, не само по себе, а вкупе с прилагательным «русская».

Безусловно прав А. И. Солженицын: интеллигент — это не только образованный человек, тем более не тот, которому он дал такое обозначение как «образованец» (что-то вроде как «самозванец» или «оборванец»), это, может быть, и несколько резко, но Александр Исаевич понимает под этим обозначением слой людей образованных, однако продажных, просто слабых духом.

Интеллигент же — это представитель профессии, связанной с умственным трудом (инженер, врач, ученый, художник, писатель), и человек, обладающий умственной порядочностью. Меня лично смущает распространенное выражение «творческая интеллигенция»,— точно какая-то часть интеллигенции вообще может быть «нетворческой». Все интеллигенты в той или иной мере «творят», а с другой стороны, человек пишущий, преподающий, творящий произведения искусства, но делающий это по заказу, по заданию в духе требований партии, государства или какого-либо заказчика с «идеологическим уклоном», с моей точки зрения, никак не интеллигент, а наемник.

К интеллигенции, по моему жизненному опыту, принадлежат только люди свободные в своих убеждениях, не зависящие от принуждений экономических, партийных, государственных, не подчиняющиеся идеологическим обязательствам.

Основной принцип интеллигентности — интеллектуальная свобода,— свобода как нравственная категория. Не свободен интеллигентный человек только от своей совести и от своей мысли. Я убежден, впрочем, что можно быть и несвободным от раз и навсегда принятых принципов. Это касается людей «с лобной психикой», отстаивающих свои старые, когда-то ими высказанные или даже проведенные в жизнь мысли, которые сами для себя сковывают свободу. Достоевский называл такие убеждения «мундирами», а людей с «убеждениями по должности» — людьми в мундирах.

Человек должен иметь право менять свои убеждения по серьезным причинам нравственного порядка. Если он меняет убеждения по соображениям выгодно

сти,— это высшая безнравственность. Если интеллигентный человек по размышлении приходит к другим мыслям, чувствуя свою неправоту, особенно в вопросах, связанных с моралью,— это его не может уронить.

Совесть не только ангел-хранитель человеческой чести,— это рулевой его свободы, она заботится о том, чтобы свобода не превращалась в произвол, но указывала человеку его настоящую дорогу в запутанных обстоятельствах жизни, особенно современной.

Вопрос о нравственных основах интеллигентности настолько важен, что я хочу остановиться на нем еще.

Прежде всего я хотел бы сказать, что ученые не всегда бывают интеллигентны (в высшем смысле, конечно). Неинтеллигентны они тогда, когда, слишком замыкаясь в своей специальности, забывают о том, кто и как может воспользоваться плодами их труда. И тогда, подчиняя все интересам своей специальности, они жертвуют интересами людей или культурными ценностями.

Самый несложный случай — это когда люди работают на войну или производят опыты, связанные с опасностью для человека и страданиями животных.

В целом, забота о специальности и ее углублении — совсем неплохое правило жизни. Тем более что в России слишком много непрофессионалов берется не за свое дело. Это касается не только науки, но также искусства и политики, в которой также должен быть свой профессионализм.

Я очень ценю профессионалов и профессионализм, но это не всегда совпадает с тем, что я называю интеллигентами и интеллигентностью.

Я бы сказал еще и так: интеллигентность в России — это прежде всего независимость мысли при европейском образовании. (Почему европейском — скажу ниже.) А независимость эта должна быть от всего того, что ее ограничивает,— будь то, повторяю, партийность, деспотически властвующая над поведением человека и его совестью, экономические и карьерные соображения и даже интересы специальности, если они выходят за пределы допустимого совестью.

Вспоминаю кружок русской интеллигенции, собиравшийся в Петрограде в 20-е годы вокруг замечательного русского философа Александра Александровича Мейера,— кружок «вторничан», потом получивший название «Воскресение» (мейеровцы переменили день своих собраний со вторника на воскресенье). Главным для «вторничан» была интеллектуальная свобода — свобода от требований властей, времени, выгоды материальной, от сторонних взглядов (что скажет княгиня Марья Алексевна). Интеллектуальная свобода определяла собой мировоззренческое поведение таких людей, как сам А. А. Мейер и окружавшие его: К. А. Половцев, С. А. Аскольдов-Алексеев, Г. Федотов, Н. П. Анциферов, М. В. Юдина, Н. И. Конрад, К. С. Петров-Водкин, Л. А. Орбели, Н. В. Пигулевская и многие другие.

Русская интеллигенция в целом выдержала испытание нашим Смутным временем, и мой долг человека — свидетеля века — восстановить справедливое к ней отношение. Мы слишком часто употребляем выражение «гнилая интеллигенция», представляем ее себе слабой и нестойкой потому, что привыкли верить следовательскому освещению дел, прессе и марксистской идеологии, считавшей только рабочих «классом-гегемоном». Но в следственных делах оставались лишь те документы, которые играли на руку следовательской версии, выбитой из подследственных иногда пытками, и не только физическими. Самое страшное было положение семейных. Ничем не ограниченный произвол следователей угрожал пытками членам семьи, и мы не вправе строго судить тех, кто, не вникая даже в суть подписываемого, подтверждал версии следователей (так было, например, в знаменитом «Академическом деле» 1929—1930 годов).

Какими высокими и мужественными интеллигентами были интеллигенты из потомственных дворян! Я часто вспоминаю Георгия Михайловича Осоргина, расстрелянного 28 октября 1929 года на Соловках. Он уже находился в камере смертников, когда к нему неожиданно для соловецких властей приехала жена (урожденная Голицына). Неожиданность произошла от полного беспорядка в тогдашних лагерях: власти на материке не знали, что по своему произволу предпринимали начальники на острове. Так или иначе, но под честное слово дворянина Осоргина выпустили из камеры смертников на свидание с женой, обязав не говорить ей, что его ожидает. И он выполнил свое обещание, данное палачам. Через год после краткого свидания Голицына уехала в Париж, не зная, что на следующий же день Георгий Михайлович был зверски расстрелян.

Или одноногий профессор баллистики Покровский, который сопротивлялся в Святых воротах (увы, снесенных сейчас реставраторами) и бил своей деревянной ногой конвоиров только для того, чтобы не быть «послушным стадом».

Или Г. Г. Тайбалин. Рискуя жизнью, он приютил в своем медпункте старика мусульманина, «лучшего певца Старой Бухары», совершенно беззащитного, ни слова не знавшего по-русски и уже по одному этому обреченного на гибель.

Мужество русской интеллигенции, десятки лет сохранявшей свои убеждения в условиях жесточайшего произвола идеологизированной советской власти и погибавшей в полной безвестности, меня поражало и поражает до сих пор. Преклоняюсь перед русской интеллигенцией старшего, уже ушедшего поколения. Она выдержала испытания красного террора, начавшегося не в 1936 или 1937 году, а сразу же после пришествия к власти большевиков.

Чем сильнее было сопротивление интеллигенции, тем ожесточеннее действовали против нее. О сопротивлении интеллигенции мы можем судить по тому, какие жестокие меры были против нее направлены, как разгонялся Петроградский университет, какая чистка происходила в студенчестве, сколько ученых было устранено от преподавания, как реформировались программы в школах и высших учебных заведениях, как насаждалась политграмота и каким испытаниям подвергались желающие поступить в высшие школы. Детей интеллигенции вообще не принимали в вузы, а для рабочих были созданы рабфаки. И тем не менее в университетских городах возникали кружки самообразования и для тех, кто учился в университете; петербургские профессора А. И. Введенский и С. И. Поварнин читали лекции на дому, вели занятия по логике, а А. Ф. Лосев издавал свои философские работы за собственный счет.

Русская интеллигенция вступила в эпоху Красного Октября закаленная в своем сопротивлении царскому правительству. Не один только А. А. Мейер собирал вокруг себя интеллигенцию, используя свой опыт объединения, полученный еще в ссылках и тюрьмах при царском правительстве.

Два парохода понадобились осенью 1922 года («Пруссия» и «Бургомистр Хаген»), чтобы вывезти из России только ту часть интеллигенции, против которой не могли быть применены обычные меры ввиду ее общеевропейской известности.

Можно было бы привести пример сотен и тысяч ученых, художников, музыкантов, которые сохраняли свою духовную самостоятельность или даже активно сопротивлялись идеологическому террору — в исторической науке, литературоведении, в биологии, философии, лингвистике и т. д. За спинами главарей различного рода разоблачительных кампаний стояли толпы полузнаек, полуинтеллигентов, которые осуществляли террор, прихватывали себе ученые степени и академические звания на этом выгодном для них деле. Смею утверждать, что они не были интеллигентами в старинном смысле этого слова. Нет ничего опаснее полузнайства. Полузнайки уверены, что они знают все или по крайней мере самое важное, и действуют нагло и бескомпромиссно. Сколько людей были выброшены этими полузнайками на улицу! Остальным приходилось подкармливать не только А. А. Ахматову, но и Б. М. Эйхенбаума, Д. Е. Максимова, В. Л. Комаровича, даже и академика Л. А. Орбели — пока ему не дали отдельную лабораторию. Академик И. Ю. Крачковский из собственных средств платил заработную плату своим сотрудникам, когда занятия древними восточными языками были объявлены реакционными.

* * *

Ну, а кто были первыми русскими интеллигентами? Если бы Владимир Мономах не писал свое «Поучение» преимущественно для князей, то совестливость его и знание пяти языков могли бы стать основанием для причисления его к первым русским интеллигентам. Но поведение его не всегда соответствовало вечным и всеобщим правилам морали. Совесть его была ограничена княжескими заботами.

В сущности, первым интеллигентом на Руси был в конце XV — начале XVI века Максим Грек — человек итальянской и греческой образованности, до своего монашества носивший имя Михаила Триволиса и принадлежавший к ученому кругу Альда Мануция. В России он подвергался гонениям, находился в заключении и был причислен к лику преподобных только после своей

смерти. Своею жизнью на Руси он прочертил как бы путь многих и многих интеллигентов.

Князь Андрей Курбский был бы интеллигентом, если бы он, будучи военачальником, не «отъехал» от Ивана Грозного. Как князь он имел право выбирать своего сюзерена, но как воин, командующий войсками, он бежал не по совести.

Не было на Руси подлинных интеллигентов и в XVII веке. Были люди образованные и по европейским меркам. Но высокой русской интеллигенции нового времени в древней Руси еще не было.

Бессмысленно задаваться вопросом — была ли культура Руси до Петра «отсталой» или не отсталой, высокой или невысокой. Нелепо сравнивать культуры «по росту» — кто выше, а кто ниже. Русь, создавшая замечательное зодчество (к тому же чрезвычайно разнообразное по своим стилевым особенностям), высокую хоровую музыку, красивейшую церковную обрядность, сохранившую ценнейшие реликты религиозной древности, прославленные фрески и иконы, но не знавшая университетской науки, представляла собой просто особый тип культуры с высокой религиозной и художественной практикой.

Неправильно думать, что интеллигенция появилась непосредственно после перехода России на позиции западноевропейской (европейской она была всегда) культуры.

При Петре не было интеллигенции. Для ее образования нужно было соединение университетских знаний со свободным мышлением и свободным мировоззренческим поведением.

Петр опасался появления независимых людей. Он как бы предчувствовал их опасность для государства, он избегал встреч с западноевропейскими мыслителями. Во время своих поездок и пребывания в Западной Европе его интересовали прежде всего «профессионалы»: государственные деятели, военные, строители, моряки и рабочий люд — шкиперы, плотники, корабельщики, то есть все те, кто мог осуществлять его идеи, а не создавать их. Поэтому, может быть, у Петра лучше всего отношения складывались с архитекторами среднего таланта и не сложились они с Леблоном, предложившим свой план строительства Петербурга. Может быть, Петр был и прав. Изучая его указания, сопровождавшиеся иногда мелкими набросками, нельзя не удивляться самостоятельности его градостроительной концепции. Среди талантливых и энергичных практиков Петр чувствовал себя свободнее, чем среди теоретиков и мыслителей.

Европа торжествовала при Петре в России потому, что в какой-то мере Петру удалось восстановить тот путь «из Варяг в Греки» и построить у его начала Петербург, который был прерван в России татаро-монгольским игом. Именно это иго установило непроходимую стену с Западом, но не установило прочных культурных связей с Востоком, хотя русский государь принял под свой скипетр на равных основаниях Казанское и Астраханское царства, признав их князей и вельмож.

Петр восстановил связи с Европой, но попутно лишил ее земских соборов, упразднил патриаршество и еще более закрепостил крестьян.

Для России всегда была основной проблема Севера и Юга, а не Запада и Востока, даже в ее Балканских, Кавказских или Туркестанских войнах. Защита христианства была для России и защитой европейских принципов культуры: личностной, персонифицированной, интеллектуально свободной. Поэтому-то русская интеллигенция с таким восторгом воспринимала освобождение христианских народов на Балканах и сама подвергалась гонениям за эти же самые европейские принципы.

Первые настоящие, типично русские интеллигенты появились в конце XVIII — начале XIX века: Сумароков, Новиков, Радищев, Карамзин. К ним нельзя отнести даже Державина — слишком он зависел от власти. Пушкин несомненный интеллигент. Он не получал золотых табакерок и хотя жил в основном от гонораров, но в своем творчестве не зависел от них. Он шел свободной дорогой и «жил один».

Как некое духовное сообщество интеллигенция заявила о себе 14 декабря 1825 года на площади Петровой. Восстание декабристов знаменовало собой появление большого числа духовно свободных людей. Декабристы выступили против своих сословных интересов и интересов профессиональных (военных в том числе). Они действовали по велению совести, а их «тайные союзы» не обязывали их следовать какой-то «партийной линии».

В то же время терроризм, зародившийся в России, и «профессиональные революционеры», все эти Ткачевы и Нечаевы (а может быть, и Чернышевские?), были глубоко антиинтеллигентскими личностями. Не интеллигенты были и те, кто становился на колени перед «народом» или «рабочим классом», не принадлежа ни к тому, ни к другому. Напротив, сам рабочий, обладая достаточно высоким профессиональным и непрофессиональным кругозором и природной совестливостью (а таких было немало до той поры, пока именем «рабочего класса» не стали твориться преступления), мог приближаться к тому, что мы называем общей интеллигентностью.

Но вернемся к нашему времени.

Усиленная духовная активность интеллигенции пришлась на первое десятилетие советской власти. Именно в это десятилетие репрессии были в первую очередь направлены против интеллигенции. В последующие тридцатые годы репрессии были не только против интеллигенции (против нее они были всегда), но и против крестьянства, ибо крестьянство, которое и сейчас принято называть «безграмотным», обладало своей тысячелетней культурой. Духовенство, городское и сельское, отдельные представители которого еще до революции проявляли себя как интеллигенты (отец Павел Флоренский), снова выделило из своей среды ряд замечательных представителей интеллигенции (Сергий Булгаков, Викторин Добронравов, Александр Ельчанинов и другие).

Итак, большинство русской интеллигенции не запятнало себя отступничеством. Я мог бы назвать десятки имен людей, которые честно прожили свою жизнь и не нуждаются в оправдании себя тем, что «мы так верили», «мы так считали», «такое было время», «все так делали», «мы тогда еще не понимали», «мы были под наркозом» и пр. Эти люди исключают себя из числа интеллигентных, обязанностью которых всегда было и остается: знать, понимать, сопротивляться, сохранять свою духовную самостоятельность и не участвовать во лжи. Не буду приводить фамилии всех тех самозваных интеллигентов, участие которых в различного рода кампаниях и проработках с самого начала не было случайностью. Их было много, но винить из-за них всю русскую интеллигенцию, против которой все семьдесят лет были направлены репрессии, никак нельзя. К тому же, не было бы старой интеллигенции, не было бы и диссидентов помоложе. Интеллигенция все это время была главным врагом советской власти, так как была независима.

Годы борьбы государства с интеллигенцией были одновременно годами, когда в официальном языке исчезли понятия чести, совести, человеческого достоинства, верности своим принципам, правдивости, беспристрастности, порядочности, благородства. Репутация человека была подменена характеристиками «треугольников», в которых все эти понятия и представления начисто отсутствовали, а понятие же интеллигентности было сведено к понятию профессии умственного труда.

Неуважение к интеллигенции — это и нынче неуважение к памяти тысяч и тысяч людей, которые мужественно вели себя на допросах и под пытками, остававшихся честными в лагерях и ссылках, во время гонений на те или иные направления в науке.

В будущем, когда станут публиковаться отдельные дела ЧК, ОГПУ или КГБ, опять-таки следует иметь в виду, что в протоколы следствий заносились только те материалы, которые подтверждали заранее составленную следователем версию. Бесследно исчезали из дел те, кто «помог следствию» или давал предварительные материалы для ареста — агентурные данные. Из дел исчезли все проявления мужества подследственных. Арестованных не освобождали: «Органы зря не берут!» Эта мысль укреплялась с годами все сильнее.

Поэтому и нынче публиковать «дела» следует только с комментариями — на научной основе.

Интересно, как выслушивали интеллигентные люди свои приговоры. Позволю себе привести и еще некоторые воспоминания.

Это было в 1928 году, примерно в начале октября. Нас всех по делу студенческого кружка «Космическая Академия наук» и Братство Серафима Саровского вызвали к начальнику тюрьмы (ДПЗ — Дом предварительного заключения на Шпалерной улице в Ленинграде). Начальник с важным и крайне мрачным видом сидел насупившись, а мы все стояли. Впереди стоял Игорь Евгеньевич Аничков, получивший воспитание за границей и бывший типичным представителем старой русской интеллигенции. Загробным голосом начальник объявил: «Выслушайте приговор». Отлично помню, что слово «приговор» он

произнес с правильным ударением на последнем слоге. Затем медленно и важно он стал читать этот самый приговор неизвестно чей, ибо суда не было. Все это время Игорь Евгеньевич стоял со скучающим видом. Едва начальник закончил чтение, Игорь Евгеньевич небрежно спросил: «Это все? Мы можем идти?» И не дожидаясь ответа, двинулся к выходу. Мы все тронулись за ним мимо растерявшихся конвоиров. Это было великолепно.

Черта, определявшая характер русской интеллигенции,— это отвращение к деспотизму, воспитала в ней стойкость и чувство собственного достоинства.

Ну, а что же: интеллигенция — это западное явление или восточное? Ответ на этот вопрос лежит в том, признаем ли мы Россию Западом или Востоком. Один из главных столпов интеллигентности — характер образованности. Для русской интеллигентности образованность была всегда чисто западного типа.

Если Россия — это Восток или даже Евразия, то западноевропейский характер ее образованности позволяет легко оторвать интеллигенцию от народа, оправдать в известной мере отрицательное отношение к ней господствовавшего в России слоя полуинтеллигенции, полуобразованцев и образованцев. И не поэтому ли, не из желания ли оторвать одно от другого, Евразийство за последние годы приобретает у нас мракобесный, черный характер?

На самом же деле Россия — это никакая не Евразия. Если смотреть на Россию с Запада, то она, конечно, лежит между Западом и Востоком. Но это чисто географическая точка зрения, я бы даже сказал — «картографическая». Ибо Запад от Востока отделяет разность культур, а не условная граница, проведенная по карте. Россия — несомненная Европа по религии и культуре. При этом в культуре ее не найти резких различий между западным Петербургом и восточным Владивостоком.

Россия по своей культуре отличается от стран Запада не больше, чем все они различаются между собой: Англия от Франции или Голландия от Швейцарии. В Европе много культур. Главная связующая среда России с Западом — это, конечно, интеллигенция, хотя и не одна она.

Для России проблема «Восток — Запад» играет меньшую роль, чем связи «Юг — Север». На это, кажется, никто не обращал особого внимания, но это именно так.

Взгляните все на ту же карту Европы, в частности — Восточной Европы. Заметьте: основными путями сообщения в течение долгого времени были реки, в основном текущие по меридиональным направлениям: с севера на юг или с юга на север. Они связывают между собой бассейны Балтийского и Черного морей в конечном счете со Средиземноморьем. Путь «из Варяг в Греки» (я пишу их с большой буквы, так как Варяги и Греки — это не народы, а страны) был главным торговым путем, путем и военным и распространения культуры.

Автор «Повести временных лет» XI века именно так и описывает географические пределы Руси, начиная с водораздела, «Оковского леса», и по направлению рек, берущих там свое начало: какие реки текут в какое море. Границ нет — есть направления течения рек.

Русь имела два равноправных центра на этих путях — Новгород и Киев. С Севера по этому пути приходили по найму и приглашению варяги. На Севере обосновались Рюриковичи, спустившиеся на Юг к Киеву и осевшие как государственная сила по всему пути от Ладоги до Херсонеса. С Юга из Византии с помощью болгарского посредства пришла духовная культура, европейская религия христианства, связавшая тесными узами Русь с Западной Европой. Если определять культуру Руси как соединяющую главные культуры Европы X—XII веков, то ее следует определять как Скандовизантию, а не как Евразию. Кочевники Востока и южных степей Руси очень мало внесли в создание Руси, даже когда оседали в пределах русских княжеств в качестве наемной военной силы.

Русские смешивались прежде всего с финно-угорскими народами, вместе с которыми, по легенде, они призывали братьев Рюрика, Синеуса и Трувора. (См. в «Повести временных лет» под 862 годом: «Реша (сказали.— *Д. Л.*) руси, чюдь (будущие эстонцы. — *Д. Л.*), словени и кривичи и весь (вепсы, финно-угорское племя. — *Д. Л.*): „Земля наша велика и обилна, а наряда (государственной организации. — *Д. Л.*) в ней нет. Да поидете княжить и володети нами"». И далее: «И по тем городом суть находници (пришельцы) варязи, а перьвии насельници в Новегороде словене, в Полотьски кривичи (славянское племя. — *Д. Л.*), в Ростове

меря (финно-угорское племя. — *Д. Л.*), в Беле-озере весь, в Муроме мурома (финно-угорское племя. — *Д. Л.*); и теми всеми обладаше Рюрик».)

Характерно, что все восточные сюжеты, которые есть в древней русской литературе, пришли к нам с Юга через греческое посредство или с Запада. Культурные связи с Востоком были крайне ограничены, и только с XVI века появляются восточные мотивы в нашем орнаменте.

Полоцк, будущий центр Белоруссии, тоже возник на речных торговых путях. Все три столицы — Новгород, Киев и Полоцк имели своими храмами храмы Софии — «Премудрости Божьей». Ими промыслительно знаменовалось культурное единство трех восточнославянских народов.

Только жесточайшее татаро-монгольское нашествие, преуменьшать разрушительные последствия которого можно в силу желания во что бы то ни стало связать нас с Востоком, смогло уничтожить это единство Руси, скрепленное храмами Софии — символами мудрости мироустройства в его единстве. Все это вовсе не значит, будто Россия неизменно имела союзников на Западе и противников на Востоке, история этого никак не подтверждает, но ведь и речь идет вовсе не о военных союзах, а об истоках русской национальной культуры.

Истоки эти у России и Востока разные, это так, но это вовсе не отрицает, а скорее обуславливает сегодняшнюю необходимость взаимопонимания и взаимопомощи. Именно в этом, а не в другом каком-то смысле и должна пониматься нынче идея Евразийства[1]. У каждой страны есть свой Восток и свой Запад, свой Юг и свой Север, и то, что для одной страны Восток,— для ее соседей Запад. Мирное же соседство в том и состоит, чтобы этнические границы не становились политическими «границами на замке», чтобы разнообразие никого не ущемляло, но обогащало.

«Когда враг не сдается, его уничтожают!» — сказал Горький. Однажды это высказывание стало предсказанием — это факт, однако неужели же оно действует и по наше время?

Ведь и в наше время одна национальная интеллигенция изничтожает другую, в иных случаях — с оружием в руках. И в наше время интеллигенция подвергается осмеянию и уничтожению, и с чьей же стороны? Со стороны другой части интеллигенции, а если так, это значит, что та, «другая», часть необоснованно присвоила себе само определение «интеллигенция».

Дискуссии, разное видение мира и его будущего, конечно же, свойственны интеллигенции, но взаимное уничтожение привнесено в ее среду тем же Горьким, теми же полузнайками и «образованцами», не говоря уж о ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. Так неужели и нынче всю тяжесть бремени, все исторические задачи, возложенные на интеллигенцию, она может решить только путем бесконечных распрей и взаимного озлобления, выводящим ее за пределы интеллигентности, в то время как вся история культуры, равно как и совсем недавний наш практический опыт, подсказывает нам совершенно иной, противоположный путь?

И неужели мы станем по-прежнему, «по-большевистски», недооценивать интеллигенцию и ее роль в жизни наших народов?

---

[1] Я писал положительные отзывы на рукописи талантливейшего историка-фантаста евразийца Л. Н. Гумилева, писал предисловия к его книгам, помогал в защите диссертации. Но все это не потому, что соглащался с ним, а для того, чтобы его печатали. Он (да и я тоже) был не в чести, но со мной, по крайней мере, считались, вот я и полагал своим долгом ему помочь не потому, что был с ним согласен, а чтобы он имел возможность высказать свою точку зрения, скреплявшую культурно разные народы нашей страны.

СЕМЕН ЛИПКИН

*

ТО, ЧТО ЦВЕТЕТ

* * *

Изгнанный из сада, я ль пришелец,
У меня ль во рту тяжелый кляп?
Неужели Ты рабовладелец,
Я Твой раб?

Если бесконечно малой дробью
Ты меня считаешь по уму,
Почему ж я создан по подобью
Твоему?

Если даже смертного я рода,
Разве Твой огонь во мне потух?
Я не раб: Ты есть моя свобода,
Жизнь, мысль, дух.

Для того ль Ты в глину вдунул душу,
Чтобы в глине поселился страх?
Если так, то я с Тобой разрушу
Жалкий прах.

Музыка света

Лампа не погашена в передней,
Робко, тускло брезжит сквозь стекло,—
Может, занялся мой день последний,
Чтобы стало наконец светло.

Мне не спится. Что краснеет? Это
Точка телевизора горит.
Мне же нужно много, много света,
Пусть он утро жизни озарит.

Утро жизни. Море в синей зыбке,
А над ним летучий птичий хор,
И кузнечиков я слышу скрипки,
Но, увы, не виден дирижер.

Эта музыка пришла с волною,
С тайной волн далеких, световых,
Эта музыка уйдет со мною,
Оставаясь радовать живых.

Зима

Неожиданно здесь подморозило,
Стало белым, что было черно,
И ветвей лебединое озеро
Заглянуло волшебно в окно.

И тогда я решил в изумлении,
Что я в сказке старинной томлюсь,
А повеет дыханье весеннее —
Я по капелькам наземь прольюсь.

Солдатская память

Как дни эти зимние хрупки,
А там, наверху, посмотри —
Два облачка белых, две шлюпки
У пирса рассветной зари.

Таким же сверкающим утром,
Не глядя на солнечный шар,
Давно ль на суденышке утлом
По Волге я шел на пожар.

В подлеске за нами «катюши»
Угрюмо и грозно молчат,
А в воздухе движутся души
Немецких и наших солдат.

Далекое с близким смешалось,
Число позабылось потерь.
Как вольно тогда мне дышалось,
Как дышится трудно теперь.

Дух

Сотворили мы зверя, зверея,
И как только он пасть расширял,
Лицедей предавал лицедея,
Лиходей убивал лиходея,
Тех и этих дракон пожирал.

Были две головы у дракона,
Были обе из букв четырех,
Но рассыпались буквы патрона,
Пасть дракона отвисла зловонно,
Он подох, наконец он подох.

Оказалось: мы голы и нищи,
Но душа пробуждается в нас.
Кто же козлище? Агнец? Волчище?
Нет, в телесном животном жилище
Человеческий дух не погас!

* * *

Трех мирозданий дети,
Во тьме скорбим о свете,
В бесплодье — о расцвете,
В безводье — о дожде.

Тот мир, где мы томимся,
И тот, где мы таимся,
И тот, куда стремимся,—
Внутри, вовне, везде.

* * *

После смерти мы не будем в огненном аду,
После смерти мы очнемся в сказочном саду,
Потому что муки ада — только на земле,
На земле, где мы в кипящем вертимся котле.

После смерти — жизнь другая, около Творца,
Ибо в смерти — обещанье жизни без конца,
Той, в которой лгать не будут книги и уста,
Станет музыкою дума, думой — красота.

Восточный поэт

Я узнал от гор снежновершинных
Имя твое,
Различил я в шуме вод глубинных
Имя твое,
До меня дошло из книг старинных
Имя твое,
Я прочел на языках звериных
Имя твое.

Я — в пустыне дней, но воспеваю
То, что цветет,
Даже в скудном прахе открываю
То, что цветет,
И когда цвести я призываю
То, что цветет,
Именем твоим я называю
То, что цветет.

Август

Сегодня хочу помолиться
Иною, не скорбной мольбой,
Я светом хочу поделиться
С источником света, с Тобой.

Шумит по-иному столица
И моря людского прибой,
И дивные русские лица
Глядят сквозь экран голубой.

Собаньская в Одессе

Южный день свободой моря вдохновлен,
А оно внизу таинственно молчит.
Пушкин бродит по Херсонской, он влюблен,
Он не знает, что Собаньская стучит,

Что в глазах ее упряталась алчба,
Что он зря в прелестный омут заглянул,
Что душа его — незрячая раба
Той души, чей соименник Вельзевул,

Что владычицей он сделает рабу,
Что сосчитаны уже его года,
Что, с Мадонною связав свою судьбу,
Вельзевула не забудет никогда.

О. Э. М.

Как мучительно вспоминать
Черты его лица,
Как не сразу сумел понять
Горячность гордеца,

Как богаты годы его
Счастливой нищеты
И вселенское торжество
Несчастной правоты.

Мидяне

Как только заря забрезжит,
Я слышу в разноголосье,
Как солнце растит и нежит
Отравленные колосья.

Платить мы не будем дани
Врагам иль долгим болезням,
А попросту, как мидяне,
Исчезнем.

Другие взрастут колосья,
Другие родятся люди,
Одних будут звать Федосья,
Других — Чингиз, Иегуди.

Другие придут за другими,
И только для перевода
Останется странное имя
Народа.

Седая пыль

Степные каменные бабы,
Отринув темные леса,
Молчат, уставивши в ухабы
Свои сарматские глаза.

Они не знали душных комнат,
Не доверялись письменам,
Зато они такое помнят,
О чем не догадаться нам.

Что помнят? Может быть, руины
Погибших храмов и дворцов,
Полынный дух, и ястребиный
Полет, и хриплый конский зов...

Еще земля нежна, красива,
Еще закат ее высок,
А я ничто, я после взрыва —
Седая пыль, степной песок.

* * *

Я — развалившаяся Троя,
Повергнут в прах Приамов град,
Выходит у меня из строя
Вестибулярный аппарат.
Но нет на жребий мой обиды,
И девяти сестер я брат,
Пока со мною Аониды,
Пусть еле слышно, говорят.

Они меня не укоряют,
Не унижают похвалой,
И если строки умирают,
То сочетаются с землей.
Пусть их забвением карает
Нетерпеливая молва —
Их через годы повторяют
Не мной рожденные слова.

Бедные рифмы

Кто сказал, что опять мы живем во мгле
И что холод настает?
Кто идет по земле, идет по земле,
По земле идет, идет?

Просыпается мир в осеннем тепле,
Просыпается, поет:
«Он идет по земле, идет по земле,
По земле идет, идет».

ВАЛЕРИЙ ПИСКУНОВ

*

ПО РОДУ ИХ

Повесть

И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так.

Бытие.

Тогда Мария расплакалась и сказала Петру: «Брат мой Петр, что же ты думаешь? Ты думаешь, что я сама это выдумала в моем уме или я лгу о Спасителе?»

Евангелие от Марии.

По электропроводам стремительно протекала мысль — так представлялось Миколайчику с детства. Из степи в станицу пришли и замерли столбы, подпертые пасынками. Лампочка вспыхивала мгновенно и мгновенно гасла — Миколайчик крутил вертушку выключателя. Он открывал свет и свету предметы, себя в том числе. Еще раз, еще раз — свет перелистывал пространство. Бегущая проводами мысль становилась привычной, как своя собственная: она так же внезапно затаивалась в темном нигде и так же внезапно возникала из темного ниоткуда. В школе учитель Брус очень хорошо объяснил естественную природу электрического тока. И Миколайчик признавал эту естественность, он радостно запомнил объяснение, но понимал эту естественность только как естественность человеческой мысли и с тех пор меру ее присутствия в предметах определял по тому, как быстро мысль, заложенная в предмет, сливается с его собственной и, таким образом, забывается. Мысль, смысл были даны с очевидностью бога, но они не пребывали непрерывно, а возникали и исчезали. Сколько помнил себя Миколайчик, в нем жила однажды выросшая стрелочка — может быть, травинка, может быть, камышинка, а может быть, стрелочка вроде весовой (потому что мама Миля работала продавщицей), она была всегда напряжена в атмосфере невидимого смысла. Небо не повторялось, степь менялась, но семья изо дня в день была одна, как собственное тело Миколайчика. И стрелочка болезненно дрожала, отмечая сказанные слова, их погруженность в смысл и верткое плаванье человеков в этой речке Говорушке. Он знал родных, это знание было ответом родных на напряжение стрелочки. Или это могли быть животные, дворовая их скотина: корова, две свиньи в котухе, меченные чернилами куры. Выхоженным, выговоренным, каждодневным смыслом-движением были отмечены семья, хата, двор. Они были огорожены им, как двор плетнем. Миколайчик даже не скоро понял, что старший брат Никитус сумасшедший. Но и поняв не изменился к нему — Никитус оставался понятен ему, и стрелочка настороженного уловления смысла всегда ровно стояла при появлении Никитуса.

Когда он выходил за воротца и перебирался через засохшую грязь станичной улицы, а потом оборачивался на свою хату и забор, разыгрывалась маленькая сильная печаль. Печаль расставания. Поэтому он старался всегда что-нибудь вынести с собой со двора — или краюху хлеба, или прутик, или чилика, или бараньи косточки, чтобы вовлечь соседских дружков в игру. Поэтому Миколайчик старался подтянуть игру поближе к своим воротцам или шел играть на «честной» территории, на майданчике, удаленном от всех дворов.

Игра вырывала Миколайчика из сильных невидимых лучей смысла. Он впадал в игру, почти безумел и когда выныривал, трезвел — за полдень или к вечеру — опять возвращалась печаль, печаль оторванности от дома. Он хотел быть меченым, как их дворовые куры, и он был меченым, на затылке коричневым нагаром стояла широкая мета. Когда сестра Волька хотела обидеть, она говорила, что его лизнула корова. Обида бесила Миколайчика, он так пугался, что хотел убить сестру. Она не понимала, что говорила, не могла корова совершить над ним такое. Это означало бы, что разлитый вокруг смысл мог обмануть, извернуться и предстать чем-то или кем-то иным, незнакомым, противоправильным. Надо думать, чтобы не сказать не то, и не в неправильном слове опасность. Когда Миколайчик приходил в гости в чужую хату, в чужую семью, ему казалось, что здесь говорят непонятно, на другом языке. Слова были вроде бы те же, но смысл за словами был иной, Миколайчик должен был весь напрягаться, вслушиваться, чтобы понять, усвоить то, что говорили в чужой семье. Как будто свет не так входил в окно, как будто входил углом, как будто вещи, мало чем отличимые от вещей в хате Миколайчика, выпирали боками из другого мира. Он напрягался — так напрягают зрение, вглядываясь в горизонт, в трепетную дымную кромку земли,— пытаясь угадать, потому что понять было невозможно.

Это напрягающее непонимание вообще граничило со смыслом всего освещенного мира, Миколайчик не мог понять, как они, люди чужой семьи, живут. Если он их не понимает, то почему же и как они живут, движутся, улыбаются? От непонимания у него трещал череп. И когда с кем-нибудь случалась смерть, а умирал кто-нибудь, так или иначе знакомый, Миколайчик впадал в тяжелый страх, страх за себя, за свои глаза и свою мыслящую голову: человек умирал, потому что Миколайчик его не понял, и страшно было оттого, почему, почему не понял. Понять или не понять зависело не от Миколайчика. Но объяснить это было невозможно. Смысл, который держал в постоянном равновесии его, Миколайчика, семью, был страшно поворотливым, каким бывает человек на бревне, когда ловит равновесие. Тут нельзя, нельзя пошатнуться, произвольно произнести движение, как произносишь произвольно слова. Куда произнесешь, туда и повернется. Когда кто-то умирал, Миколайчик оставался один во всём мире, как оставался один в доме, и ему хотелось куда-то бежать или заглядывать под кровать или под лавку, заглянуть за край чего-то неизвестного — нет ли там разгадки. Возможно, он искал бы слова, произношение, каким жил репродуктор у правления колхоза — слова выходили в самый воздух из раструба,— он искал бы слова, потому что они оказывались далеко-далеко от события, они никак не связывались с умершим и случившимся, так пропадали слова, если глянуть от репродуктора вдоль провода — провод уводил далеко, но то, что содержалось в червином тельце проводки, не было словами, они не звучали. Это была болезненная вертячка смысла. Надо было куда-то девать умершего, он должен был уйти, оторваться, исчезнуть. И потому не было другой прочной захоронки, кроме земляной ямы, погреба для людей.

Человек прерывался в самом интересном месте. Вот почему было страшно за себя — теперь не будет досказано и объяснено.

Он лепил из густой глины большущего урода — это был человек с широкой и глубокой грудной клеткой, он наталкивал его «внутренними органами» — ракушкой, камешком, стручком акации, попадались жук или гусеничка — и замуровывал, заделывал, разглаживал грудь. Миколайчик смотрел на человека, и вдруг в голове начиналась круговерть, Миколайчик задыхался от неумения просунуть в себя руки. Чтобы понять смысл человека, чтобы понять все то, от чего сам человек прячется за словами-сказками, надо было съесть человека. Как съедала его смерть.

Миколайчику попадались стреляющие огурцы. Хлопок и удар семенем были внезапны совпадением хлопка и удара. Внезапность протекала во внезапной пустоте испуга, потому что внешнее сознание (Миколайчику представлялось, что к его голове в темечко упирается другая голова) сразу отмечало и хлопок раскрывшегося плода, и полет семени, и удар, но под этим скорострельным событием лежала другая внезапность, разрежавшая, освобождавшая пространство до пустоты, в которой все это событие было таким же спрессованным и мгновенным, как сам испуг, и существовали они одновременно один в другом.

Возвращаясь из испуга, он оглядывал себя, руки, пальцы, перепонки облизывал языком. Так он оглядывал страницу книжки, которую ему читала мама

Миля или Волька,— с той стороны не было того, что было написано на этой. Мировая скорость лопнувшего плода открывалась озарением — так есть! так слетает свет в темное горло колодца: ааа! и ответом — ууу. Ау величайшего открытия затерянности, сверхжизненной подвижности с непременным всеохватным глазом осознания. И в тот момент, когда ты осознал мгновенность и беспредельность, ты перестаешь и осознавать и быть. Ты появляешься.

От своего неуловимого присутствия в мире кружилась голова.

Маня Брус была топотушка, у нее были гусиные крепкие ступни. Она ходила быстро, торопясь какой-нибудь ногой. Черные густые овечьи волосы не поддавались степному ветру. У нее были быстрые пятки и быстрые голубые глаза. Миколайчик окликал ее, чтобы слышать ее голос, или обижался, чтобы запустить руку в густые и жаркие, словно хлебная душа, волосы. Она говорила быстро и тоненько, и даже когда сердилась и доказывала, в голосе челноком бегал высокий птичий вопрос: ты чёу, ты чёу? Когда ее звали: «Ма-ару-ся!» — Маня пряталась, и если Миколайчика просили пойти и привести ее, Миколайчик находил Маню, вытаскивал за платье, она упиралась, грызлась и била его, и было это в сумерках особенно больно.

Злые гусаки ластились к ней, она гладила им шеи и целовала в макушки. Она умела гусаков стравливать. Гусаки шипели, топтались, били голубыми крыльями, изогнув шеи, как хвосты, а два стада — по вожакам — стояли порознь и кричали, подбадривали. Манька хохотала и пугалась, ойкала, когда гусаки, сойдясь вплотную, грудь в грудь, схватывали друг друга клювами за плечи, связывались в сильный, красивый и злобный узел. Оба стада кричали, подскакивали, поощряли, вожаки замирали в этой спутанной — крылья врозь, шеи крест-накрест, клюв намертво в плече врага — тяжелой позе. Манька хваталась за щеки, кричала на них: «Геть, геть, паршивые! Ой, мамочка, мамулечка!»

Каждый день Миколайчик привычно одевался Манькиной подвижностью. Брусовы жили в неогороженной хате, почти ничего не держали, только огородик был, Манька по дому мало что делала, она выскакивала на крыльцо — ступни на косячке, серый подол собран в кулаки. Они шли за станицу, взбирались на курган, обрезанный оврагом, шли туда, где Манька что-то видела во сне. Миколайчик чувствовал ее так, как будто она все время ему в ухо дышала. Она и дышала, шепотом рассказывая, что видела, и показывала на густые кусты терновника. Миколайчик мимолетно и ярко видел Маню как бы через увеличительное стекло — глаз ее распухал, лоснился, жил самостоятельной, плывущей жизнью, лягушачьей икрой, зрачок в радужке дергался и возвращался.

«У, пузыри»,— говорил Миколайчик. Они спускались по хрупкой тропинке в овраг. Он знал ее затылок, разбитые надвое волосы с тряпичными бантиками. Шея была не толще гусиной, собранная из позвонков. Маня заботилась о нем, оглядывалась, у нее были упрямые глаза и мягкий маленький нос. Миколайчик принимал ее заботу, как принимал ветер — глазами, ушами, всем телом. Степняк привыкает жить в напряженном потоке ветра, так Миколайчик жил в напряженном внимании Маруси.

Когда она присаживалась — говорила, чтобы он отвернулся. Он знал ее и такой и тоже присаживался — она его приучила. Среди друзей он все делал, как они, и странную, смущающую раздвоенность испытывал, подчиняясь веселому: «Ссы до кучи!» В мальчишеском кругу не было тайны истечения.

Манька уже читала и пересказывала Миколайчику, водя пальцем по его щеке или по плечам и груди. Слова ее — она говорила напевая, прикрыв или вытаращив глаза, пела она всегда точно, до самой точной точки в груди Миколайчика, и потому ее рассказы тоже были точны,— слова ее накатывались мурашками, записывались щекоткой на коже Миколайчика. Ночами потом Миколайчик почесывался, считывая сказки с беспокойного тела.

Он так и выучился читать, казалось ему, Манька длинным сильным пальцем вела по его груди, выжимая букву белым следом: «Ма-ма мы-ла». И вопросительно исподлобья, из-под бровей смотрела.

Миколайчик не любил, когда Машка приходила к ним на двор. На нее мог выйти злой дурка Никитус. Тогда Маша останавливалась, замирала, жалась к стенке хаты, пережидая Никитуса, как злую собаку. Никитус шел на нее, тряся коленями, грудью, Миколайчик хватал его за штаны, оттаскивал или бил полюганом побольней. Если Никитус успокаивался, он выносил Машке ключок

бумаги, исписанный каракульками, он гудел и объяснял. Машка задирала голову к его лицу и кричала: «Письмо? Да, да? Письмо написал?» Никитус упирался глазами в край крыши и слушал, вслушивался. «Письмо снести?» — кричала вверх Машка. Миколайчик изворачивался увести Машку со двора, но если была дома Миля, она всегда звала Машку за стол, ставила перед ней миску с молоком и кусок холодного пирога. У Мили были темные, с прозрачной зеленью глаза, они розовыми кошачьими уголками сходились к носу. Миколайчик смотрел в эти уголки, он не любил, когда Миля говорила. Он замирал, сжимался, сжимал себя до боли в спине и ногах, ему не хотелось касаться ни слухом, ни душою слов, исходящих от мамы Мили. Миля говорила не то, что надо было. Миколайчик всегда потом перебаливал ее словами. Он уходил и прятался где-нибудь, вспоминал Милины слова и ждал, пережидал их в себе. Иногда у него хватало сил переждать, рассосать слова, а если обида была сильнее, он, не умея переждать, плакал. Это было не обидой за что-то, это было обидой за все, Миколайчик не мог избежать ее слов, она говорила, обычно улыбаясь, высоко поднимая верхнюю губу — даже если говорила по-доброму, ласково. Миколайчику мерещилось, что он слышал этот голос, но без слов. С Маней он жил иначе, он мог долго молчать — или как бы молчать,— он жил непрерывным прихотливым течением, Маня пела-вела, пела-призывала, точилась, веяла, пересыпалась. Миля смотрела на Миколайчика так, как будто уже все и навсегда о нем с к а з а н о, она лишь вычитывает из сказанного, говорит и следит — понял ли он, услышал ли он (так может не слышать корова, когда ее зовут, или так может не понимать кабан, когда Миля приходит выгребать из котуха) и правильно ли услышал? и живет ли так, как она сказала? Миколайчик вертелся по хате, толкал лавку, выцарапывал из-под клеенки старые крошки, он искал пальцами или сознанием некую крохотную точку, чтобы, надавив, удержать Милю от слов.

Миля поглядывала на него, на Маньку, опять на него. Никитус стоял у двери, шелестел пальцами. Миколайчик не мог понять — не то под кожей, не то над самой кожей (дуновением крылышек тихой осы) разыгрывается его беспокойство. Миколайчик не доверял своему имени, когда его произносила мама Миля. Ему важно было понять, куда уходить из-под Милиного строго причитающего слова. Машка окунала пустой край пирога в миску и звонко высасывала молочный сок. Миколайчик уже знал, что вертись не вертись, убегай во все лопатки — настигнет Милино слово, как настигает манок селезня. Надо быть змеино изворотливым внутри (Миколайчик потянул воздух в себя через передние чувствительные зубы: сссссс, так свистит полоз, не то проползая через корягу, не то одним вдохом пропуская через себя волну скольжения), надо сворачиваться кольцом так, чтобы слово-острога било в пустую сердцевину кольца. Он видел, как длинное тело змеи, похожее на тело очищенной рыбы, накидывалось кольцами, обманными бантами на циркуль рогатины,— папа Паня не убил, а только подхватил и отшвырнул.

Слово требует точности, точки. Если загадаешь пройти сквозь точку — прижжет насмерть, как прижигает увеличительное стекло лютой солнечной точкой. (Миколайчик представлял тонконогую лупу дяди Джемса, отца Маньки; и потому Манькины голубые глаза с точечным зрачком чем-то напоминали солнечный зрачок под лупой; лупа рассыпала, коверкала, меняла вокруг себя весь мир, окунала его в туман кипящего света, добираясь до одной-единственной, поджигающей все вокруг — а почему не видно? почему неощутимо? почему весь мир, рука, кусочек палочки, листики, песок, перо не горят сразу, а словно держатся на этом глубоком, тайном огне? — всему вокруг угрожающей точки; дядя Джемс выдымил на лавочке под стеной: ф о к у с. Фокус-покус.) Мама Миля щурилась нижними веками. «Да спасибо,— сказала Манька.— У вас всегда вкусно». «У соседей всегда все вкуснее»,— сказала Миля. Маня отряхивала подол, выбрасывая свои длинные руки. «Уходить взялась»,— сказала Миля. Миколайчик отталкивал от двери Никитуса, брат стоял колодой, ждал. «А спела бы»,— сказала Миля. Маня отошла к окну и посмотрела на нее угнутым лицом. «Чего спеть?» — спросила Маня. Миколайчик опять завертелся, Маня пела хорошо, тайно, не то что станичные бабы — высоким, стянутым горлом, через степь.

Ай, во саду-садочке,
Эй, соловей поет,
А мне то-то, разбабеночке,
Жали придает...

Когда она вот так, на людях, при Миле, пела, Миколайчика выламывало, ему казалось, что красота и точность ее пения почему-то постыдны — отчего? Его ломало так, как умела выламывать свои длинные руки только Маня, в локтях они переламывались внутрь, пальцы заворачивались на тыл ладоней, голени от коленок могли ходить, как у кузнечика. Миколайчику хотелось, чтобы она хрипела, сипела, чтобы ее голосок, выпрядывающийся тонкой шьющей ниточкой, не шел из такой потаенной глубины, не выдавал... какую тайну? Миколайчик знал Маню, и это было его знание, его тайная песня-звучание, он знал ее лучше других песен (у него был глухой слух) и не мог ошибиться. Он знал запах ее волос и пота, он знал вкус ее крови, как своей слюны. Когда она, как собака, ездила ягодицами по земле, мучимая чесоткой, он вычесывал, вылизывал раковинку ее зада. Или когда у него воспалялась крайняя плоть, Маша отсасывала ему боль и говорила: «Я всякую гадость могу съесть».

Тяжелые страницы апостолической книги перелистывала мама Миля, поглядывая то на Миколайчика, то на Маню. Порой Миколайчику казалось, что у Мили и лицо начитано (так втайне, он замечал, начитывает шепотом крестная молитву на лицо иконы), начитано из старинной сказочной книги или из уст какого-то старого их (или кого чужого) родственника-странника. От степняка тонкая тополиная тень. Когда задувает калмык, странник-родич (родыч) поворачивает свое кожаное лицо навстречу ветру — он отворачивается от своей тени. Он вкладывает свое лицо в ковыльные ладони зноя, и ветер наговаривает начальные слова его бытия. Здесь была загадка, насохшая глиняной корочкой-маской, невозможно было считать то, что начитано у тебя на лице. Поэтому ловил Миколайчик Милин настороженный взгляд — на Машку, на него, как будто Миля была слепой или совсем чужой, гостьей издалека, не знающей обычаев, слов, речи. Миколайчик не выдерживал пришествия Мили, хватал Маньку за руку и тянул мимо Никитуса малахольного: «Чего вы? Ее дома ждут!» Маня стучала по глиняному полу тугими гусиными ступнями, Миколайчик тянул ее вывести след из хаты на солнце, на низовой ветер станицы.

За двумя холмами, за двумя солнечными затылками, в недодуманной или много передуманной низинке, подходящей к самому солнцепеку, отец Миколайчика Паня ходил на своем комбайне по колхозному полю. Стриженое поле делалось молодым, колким. Миколайчик говорил Маньке, что дядька крестный вот-вот подъедет на своей бричке,— показывал рукой в дальний конец улицы, в яркую тень накатанного за день солнца, оно отваливалось пластами от серых стен мазанок, насмерть сцепливало, переплетало пальцы с пыльными плетнями. Миколайчик, возбужденный, держа узелок с едой между колен, хотел рассказать Маньке нечто новое, замазать Милины слова, скрасить, скрасть — и вот же была длинная улица, дорога, суженный станицей шлях, и стояли столбы, объятые пасынками, скрученные железными витыми петлями, и чтобы Манька не смотрела туда так, глазами сквозь ресницы, закладывая ладонь на лоб, чтобы она не высматривала, а ждала с минуты на минуту, потому что дорога, улица, шлях не стелились в степи, не уходили, не отрывались от человека незаметно, как отрывается капля или струйка, бегущая из цибарки, а были эта улица, дорога-шлях здесь, как всегда здесь желание и знание другого человека. Он смотрел в лицо Маньки: выдержит — не выдержит? Веснушки потно рассыпались по белому жаркому ее лицу. Миколайчику хотелось привести ее на поле к отцу — так Маня водила Миколайчика туда, куда подсмотрела дорогу во сне, это была самая точная и чистая дорога, вот была дорога,— пусть отец лишь разок взглянет на нее так, как смотрит на сестру Вольку.

— Домой пойду,— сказала Манька.

— Не ходи,— Миколайчик трудными глазами смотрел на Маньку.— На комбайне прокатимся.

Черная курчавая голова Маньки стала чужой и пугающей, как пугали Миколайчика вертлявые лица цыганят. «Обманывает»,— не верил себе Миколайчик. Он опустил узелок себе на ступни, у него вдруг остановилось все в голове, словно отнялись ноги и с ними всякая подвижность ума. Станица была оглушена страдой, серые грядки тополей отпахивали улицу в оба конца. Пустота все вокруг опережала, даже зной не поспевал за пустотой, оставались промежутки, ничем не заполненные — ни прохладой, ни тенью, ни ветровым бегом листьев. Туда вместе с пустотой забегал Миколайчик своим отчаяньем, оборачивался и звал Машу и не дозывался. Он понимал сейчас, что так страстно

хотеть, так бежать желаньем опасно — Миколайчик оглядывался, щурил глаза на пыльные тополиные листья, стриженная коротко голова была пуста и болела, острый ежик вихорька надо лбом серебрился, словно, куда ни поверни он большую голову, всюду его найдет ветер и поднимет вихром короткие волосы. (На фотографии — Миля, батя. Возле бати уехавшая потом сестра Волька, позади всех толстые плечи и лицо Никитуса и впереди сам по себе Миколайчик, солнце по-степному резко показало их заезжему фотографу, и переливы острого вихорька надо лбом замершего Миколайчика будут хорошо видны: так жесткий типчак на кургане отвечает огульной воле калмыка.) Миколайчик схватил Машу за руку, рука лозиной завертелась в его пальцах. Миколайчик не отпускал, она дергала, кривилась — как трудно было ей гримасничать под голубым истоком глаз, под жесткими, курчавыми, как овечья шерсть, волосами. Миколайчик держался за нее: «Да стой, стой ты, не гоцай!» Она вырвалась, все люди были на поле, туда ушли вороны и воробьи, Манька вырвалась и отошла последний раз. Она встала шагах в трех и выпятила муслы, и Миколайчик опять испугался, но уже новой догадке: и как вот эта привычно-родственная девочка может вдруг откатиться, стать иной, не принимающей его мыслей-стремлений, как не принимает бегущая собака или лягушка, так и он сам, сам (по затылку прошла невидимая ладонь, провела против шерсти) может вдруг стать животно-чужим своим страстям и желаниям. Он знал, как относит пьяного отца от его же тела, мама Миля била отца, поучала, вправляла мозги, и Миколайчик теперь понимал: человек должен все время опасаться, все время держаться настороже и чувствовать кишечную границу своего нутра.

...Быки шли навстречу глазам трактора. Волька-возница заругалась: «Стый, стый, божемолы!» Она быстро их отпрягла и отогнала в темноту. Быки сшибались красными глазами, но их шоканье уже закрывал, заваливал рык трактора-тягача. Миколайчик дергал Маньку за плечо, крикнул: «Вон, под лампочкой,— это хедер!» — ножи уплывали в темноту, словно ножи были черными и резали, резали вместе с пшеницей густые колоски блеска. Волька стояла, держа дышло. Манька потянула мокрым носом: «От тебя сусликом воняет». Миколайчик огляделся, над самым горизонтом клубилась белая полоса заката, небо было черным и звездным, и эта чернота надавливала на белую струю полосы, как будто клубились грозовые облака. Миколайчик поежился, стук и запах трактора уже подвинулся к лицу. Миколайчик боялся, что Волька не там стоит со своей бричкой. «Что мамка сказала?» — спросила Волька. «Песни спивать, говорила, Маньке».— «Богует карга. Маруська, а ты зачем поёшь?» Свет тракторных фар высвечивал самую кромку Манькиного лица и платья, Манька всей этой кромкой ответила: «А я не каботная. Хочу — пою». И запела. Нагрянул трактор, тяня за собою груду комбайна. Над штурвалом зыбилась маленькая лампочка, Паня менялся в этом летучем свете. Он вытянуто смотрел на бричку. «Воленька, ты?» — «Я, батяня!» Сцепщик подхватил дышло брички — в бричку с куриным шелестом полетело зерно. Миколайчик с узелком над головой пробежал за комбайном. «Батяня, меня возьми!» Паня отпустил штурвал, помахал масленой рукой. Бричка насытилась зерном, и сцепщик оставил ее на комбайной колее. Волька впрягла быков, и они пошли плыть в духоте. Миколайчик сидел на гряде брички и плакал, Манька не успокаивала. «Ты мне зерно-то соплями на забрызгай!» — сказала Волька. Миколайчик, пересиливая каменное горло, сказал: «Остобрыдла ты, Панькина любушка». Волька незаметно и страшно повернулась в темноте и плеснула прутом, задела ухо и плечо. Миколайчик завыл, быки приостановились, Волька плеснула и быков. Зло и смехом говорила Маньке: «Он же Милин подъюбошник. Она его одного кохает, ты с ним не дружайся». Миколайчик спрыгнул с брички, больно упал на пятки. Манька не слушала, она дремала на зерне. Миколайчик шел возле тяжелой брички, слева, стесненная мраком низкого звездного неба, рассыпалась последняя уже голубая ниточка ночной зари. Миколайчик вспомнил, что Паня вернулся из города, он туда убегал, когда Миколайчик еще ничего не понимал, убежал, а потом вернулся на своем комбайне. Гимнастерка и галифе еще у него служили, но Паня работал теперь неотрывно на комбайне и, выходит, вернулся он к Вольке. Миля ревновала Паню, грызла Вольку, следила за ней: куда пошла? с кем стоит? почему поет? что сделала по хозяйству? Мягкий Паня отворачивался от Милиных наскоков, «что ты, ты чего такое?», «знаю, чего такое, в городе огрехел», Миколайчик искал отметин на Вольке и был удивлен, что у нее под светлой косой нет такого пятна

(Миколайчик пока лишь на ощупь его знал у себя), а значит — значит, Волька не из родных! У Никитуса была родинка, но на ноге, на ляжке, у Миколайчика тоже была родинка — поменьше, почти на таком же месте, на голятке. Волька была чистотелой, Миля била ее за ослушание — Паня уходил на двор. Но Миля гнала Вольку вслед и кричала Пане: «Хлюстанку забыл! Кровиночку! Раздушеньку!» Миколайчик боялся крови, он знал, что из тайной раны сочит темная кровь — Миля всегда скрывала, берегла ее, как скрывала свое умение проклинать. Родинка представала пятнышком присохшей намертво крови — и это сильно, слепо делало Миколайчика присущим темному, звездному миру мамы Мили. Из тех же недр вышел и Никитус, своим мычанием и человеческой глухотою, свернутостью плоти, спрятанным от сознания умом он был одуряюще, угнетающе мудр, так угнетала до потери сознания выступавшая из-под телесной, светлой красоты кровь.

Начало «Войны и мира», несомненно, в эпилоге. В эпилог заложен анализ причин исторического события, который одновременно служит историко-философским обоснованием событий романа. Однако Толстой пишет роман так, как будто ничего не знает об «абсолютно случившемся» и тщательно скрывает свое пророческое присутствие на страницах романа.

Тщательность, с которой автор удаляет из романа свое ретроспективное ясновидение, соответствует тщательности, с которой он объясняет причины событий исторических. Нравственный объективизм в отношении героев романа, судьбы которых — в абсолютной власти автора, и научный объективизм в отношении событий, канувших в ничто, движутся в руслах противосмыслов, то есть: герои романа свободны в той мере, в какой им позволяет быть свободными сама жизнь, а историческое событие возникает из небытия причиной причин, его породивших.

«Почему я должен воздерживаться открывать законы в истории? — недоумевал Миколайчик.— Только потому, что события свершились задолго до моего рождения? Но ведь открывал Ньютон законы в мире, возникшем задолго до появления Ньютона! Или законы истории не содержатся в истории, а возникают в тот момент, когда их «открывают»? В чем же смысл толстовского сокрытия? Не в желании ли поприсутствовать над творимым миром в роли Господа Бога: все твари знают, что Он всюду, но никто не должен Его видеть?»

Толстой пишет: «Разум говорит: 1) Пространство со всеми формами, которые дает ему видимость его — материя,— бесконечно и не может быть мыслимо иначе. 2) Время есть бесконечное движение без одного момента покоя, и оно не может быть мыслимо иначе. 3) Связь причин и последствий не имеет начала и не может иметь конца».

Нельзя не признать разума за триадой. Но живого времени нет. Есть геометрическое определение прехождения.

«Сознание говорит: 1) я один, и все, что существует, есть только я; следовательно, я включаю пространство; 2) я меряю бегущее время неподвижным моментом настоящего, в котором одном я сознаю себя живущим; следовательно, я вне времени, и 3) я вне причины, ибо я чувствую себя причиной всякого проявления своей жизни».

«Бегущее время» здесь все то же «бесконечное движение без одного момента покоя»; определять время через то, что движется, значит признать, что движение осуществляется во временно́й пустоте. Временная пустота (вечный покой) сливается с «неподвижным моментом настоящего», и потому в этих определениях разум ничем не отличается от сознания.

Но далее Толстой вводит понятия свободы и необходимости: «Разум выражает законы необходимости. Сознание выражает сущность свободы». И делает вывод: «Все, что мы знаем о жизни людей, есть только известное отношение свободы к необходимости, т. е. сознания к законам разума. Все, что мы знаем о внешнем мире природы, есть только известное отношение сил природы к необходимости, или сущности жизни к законам разума». Чувствуя, что надо выходить из тавтологического круга «законов разума», Толстой вводит понятие силы. Вот как он это делает: «Силы жизни природы лежат вне нас и не сознаваемы нами, и мы называем эти силы тяготением, инерцией, электричеством, животной силой и т. д.; но сила жизни человека сознаваема нами, и мы называем ее свободой». И: «Свобода человека отличается от всякой другой силы тем, что сила эта сознаваема человеком; но для разума она ничем не отличается от всякой другой силы».

Нельзя не отметить изящества, с которым «свобода человека» вводится в разряд природных сил.

Определив космическую сущность свободы («...сама же свобода есть предмет метафизики»), Толстой почувствовал стихию, открывшуюся за определением: «Для истории признание свободы людей как силы, могущей влиять на исторические события, т. е. не подчиненной законам, есть то же, что для астрономии признание свободной силы движения небесных тел». Стихия выходила далеко за рамки разумности. И суть не в том, что свободно двигающееся тело уничтожает законы Кеплера и Ньютона, а в том, что́ маячило за рамками разумной картины мира. Сила свободы, введенная в разряд естественных сил природы, взрывала классическое представление о мире. Силы природы существуют в том, что Толстой назвал видимостью пространства,— в материи, и составляют суть ее исторического постоянства. Это постоянство и выведенная Ньютоном на его основе строгая причинность создали некую законченную картину мира, в которой материя и ее силовые формы находятся в законосообразном взаимодействии и погружены в непрерывный исторический процесс. Сила свободы существует только как сила, о с о з н а в а е м а я человеком. И никак иначе. Ни в какой иной форме эта сила не существует. У этой силы нет исторической глубины, она беспричинна, и разум для нее есть то же, что она для разума,— «только мгновенное, неопределимое ощущение».

Какие законы тщится открывать история в «линии движения человеческих воль», если нет самой линии, а есть луч, вспыхивающий здесь и в это мгновение и существующий только в пределах сознания? У истории нет наличного материала, в котором она могла бы, по примеру физики, открывать законы небесного движения. Толстой признает, что в этой уникальной среде «существование законов невозможно» (другими словами: причиной свободы может быть только свобода), и... предлагает отважный по тем временам шаг: отказаться от причинности. Отказаться от бесконечного самоуничтожающего дробления, признать статистический, вероятностный характер «неизвестных, бесконечно-малых» свобод и приступить к их суммированию, как это делает математика. Вот его знаменательный вывод: «Отстранив понятие причин, отыскивать законы, общие всем равным и неразрывно связанным между собою бесконечно-малым элементам свободы».

Свойства беспричинных элементов свободы должны отвечать каким-то новым, неожиданным, «беспричинным» законам. Толстой это почувствовал и сделал еще один отважный шаг над бездною — шаг назад. Он возвращает сознательную силу свободы в естественноприродную стихию и умозаключает: чтобы преодолеть трудность понимания вращения Земли, надо отказаться от «непосредственного чувства неподвижности Земли», «точно так же необходимо отказаться от сознательной свободы и признать не ощутимую нами зависимость».

Нет ничего удивительного в том, что Толстой шагнул назад. Во-первых, он хотел показать, что, по природе, необратимая сила свободы — обратима, если пределом положить нравственный запрет. Шаг назад — нравственный пример, подтверждающий обратимость. Во-вторых, призывая отказаться от бесконечного дробления причин, он хотел сказать, что бесконечному дроблению подвергается прежде всего природа личности, что приводит к ее самоуничтожению. В-третьих, чтобы спасти свободную личность от распада, он предлагает отказаться от сознаваемой свободы и этим актом отказа изменить природу силы: поскольку сила свободы не имеет исторической необходимости, человек должен сознательно стать материальным основанием, подчиниться неощущаемой зависимости.

Указывает ли Толстой путь отказа? Точная и строгая логика, разумеется, не может привести человека к пониманию необходимости отказа. Необходимость и свобода понимают мир по-разному и говорят на разных языках.

Есть еще один путь — чудо. (Крестная объясняла Миколайчику: «Послушные какие? Вот Иисус Христос вышел на берег моря Галилейского, увидел рыбаков — братьев Симона и Андрея, и сказал: «Идите со мной». Братья бросили сети и пошли за ним». А мама Миля говорила: «Если в человеке слабинка не зарастает, как темечко, пиши — малахольный, как твой брат Никитус».) Но Толстой, предлагавший отказаться от поиска причин в отношении сознания свободы как от метода, ведущего к усилению своеволия, не мог принять и путь чуда.

Толстой понимает, что отказ не может быть одноразовым актом с чудесным результатом. Отказ от сознаваемой свободы требует постоянно возобновляющихся волевых усилий, подвижничества. Необходимость подвижничества Толстой объясняет тем, что разные, взаимоисключающие картины мира (Птолемея и Коперника,

например) могут долгое время сосуществовать, и нужно соблюдать правила усиленного отказа, чтобы пребывать в напряженном поле их взаимоотрицания.

И все-таки это опять «история», опять не то, опять исчезает сам человек с его непосредственным чувством сознаваемой свободы. Опять она, свобода, «только выражение неизвестного остатка от того, что мы знаем о законах жизни человека». Не законы истории интересовали Толстого, не обоснование нравственности в познании, а что-то совсем иное. Что искал он, запуская роман навстречу эпилогу: «бесконечно-малые элементы свободы» навстречу строгому уложению законов развития?

Миколайчик не перечитывал «Войну и мир», а Шерстюков признавался Маше Брус (по-станичному Брусовы): «Мне легче было преодолеть эпилог, чем французское начало». Но оба на всю жизнь сохранили чувство узренного чуда — живого, прихотливого взрастания человека. Ни одна книга потом не дарила их этим чудом. Да, может быть, таких книг и не было. Чтобы уравновесить глобальную философскую схему эпилога, Толстой решился на максимально доступное его таланту детальное оживление героев. Это была не интеллектуальная задача, это был вопрос самовыживания как личности: чтобы не исчезнуть бесследно в бесконечности рационально сотворенной вселенной, творец вынужден допустить артефакт своей сознательной свободы.

Отказ от причинности совсем не означал снятия причинности как отслужившей себя методы. Выдвигая положение «законы вместо причин», Толстой предполагал завершить строительство в области человеческой истории установлением такой же причины причин, какой являлся закон всемирного тяготения в системе Ньютона и Бог в религии. Время было такое: казалось, что мир практически познан, еще одно-два усилия — и научная картина будет завершена. Мир предстанет рационально гармоничным, открытым человеческому разуму. Демон Максвелла взлетал вслед за демоном Лапласа. В динамической вселенной вероятностные события представлялись как события, не дотянутые до з а к о н а.

Толстой взлетел над миллионами индивидуальных воль законом их со-бытия. Мгновенное обозрение хаоса причин позволило Толстому разглядеть, что беспорядочное движение причин есть развитие, направленное к центру будущего события. Хаос тем отличается от вселенной, что в любой своей точке рождает причину «всего».

Однако Толстой понимал, что событие, которое он демонически озирает, уже произошло и самим историческим процессом выведено в предельную абстракцию. И если существует, то лишь как феномен его, Толстого, сознания. Мысленный эксперимент позволил бесконечный ряд причин, растянутых во времени как в пространстве, свести воедино и мгновенно опричинить событие. Чистота эксперимента как бы обеспечивалась тем, что история не знает сослагательного наклонения (своеобразный второй закон термодинамики, запрещающий искажение события его повторением). В это мгновение идея Бога как никогда была близка Толстому. Неуловимое сознание, сопряженное, сживленное с почти животной потребностью свободы, становилось с и л о й. А сила изначально действенна и направляется к действию законом. Открывался онтологический смысл Бога: он помещался за плечами человека и говорил: «Чтобы раз и навсегда решить губительную для человека проблему причины: Я начало начал, а ты следуй дорогой законосообразности». (Мама Миля назидательно располагала на лбу морщинки линеечками, точно предлагала Миколайчику читать на этих линеечках то, что говорила: «В Бога зачем верить? Бога надо знать. Он для того есть, чтобы человек каждый день помнил о распятом Христе: не лезь во все сразу, отвернись и не ходи туда, иначе с тобой будет то же, что с Христом, но ты-то уж не воскреснешь».)

Нравственно это уязвляло Толстого, потому что в мире, где причина и следствие сливаются в едином событии, нравственности места нет. Но уязвляло еще глубже: мгновенно опричиненное событие — это ведь идеал классической науки, слитый с идеалом Иисуса.

Б. Пастернак (доктор Живаго) говорил, что историю, как лес, мы застаем в ее результатах. И упрекал Толстого за то, что тот не договорил своей мысли до конца. Толстой застал историю в ее классическом завершении и не мог предположить, что идеал христианства, гармонии и красоты (когда смолкает слово — звучит музыка), помноженный на идеальные технические возможности (электромагнитное мгновеннодействие), расщепит волю и сознание, явит силу космической мощи.

Пройдет не так много времени, и Эйнштейн предложит миру изящную тоталитарную систему констант (теорию относительности). Разум Толстого получит физическое и окончательное подтверждение, а индивидуальное сознание (сознание свободы) вдруг обнаружит, что оно в самом деле индивидуальное и никаким иным быть по природе не может,— но граница размылась.

Классический рационализм избегал субъективного, он реализовался на внешних, объективных предметах (он и человека принимал только в отчужденных его формах, понимая эти формы как проекцию субъективного). Субъективное же уходило в некую сферу глубоко личностную, субъективно-жизненную.

Но вопрос: как можно избавиться от того, что принципиально неотделимо от процесса познания-мышления, что включено в него и составляет характер, ж и з н ь? Как сосуществуют герои, которые не могут выйти за пределы высказанной мысли, и герои, которые не могут вернуться к высказанной мысли? (Как проходит Пьер мимо умирающего Каратаева! — веет чем-то до жути знакомым.)

Революция, надо полагать,— это проскакивание, обмен энергией между одним типом героев и другим типом героев.

Абсолютному ритуалу классицизма была противопоставлена техно-логика неопределенности? Простая передача электромагнитного сигнала в короткую единицу времени опричинивала миллионы голов. Лес передвигался на глазах. Теперь можно было д е л а т ь историю.

Ах, не мыслью — мирами живет человек!

Пока классический эгоизм выстраивался против эгоизма массы, вдруг появились люди — в поле противоборства, в молниеносной среде ненависти,— способные и видеть и понимать иное: «Растение в мире — это событие, происшествие, стрела, а не скучное бородатое развитие!.. Какой Бах, какой Моцарт варьирует тему настурции? Наконец, вспыхнула фраза: «Мировая скорость стручка лопающейся настурции». Задача разрешается не на бумаге и не в камер-обскуре причинности, а в живой импрессионистской среде, в храме воздуха и света...» (О. Мандельштам) Почему он не ушел в камер-обскуру? Почему он понимал? В самом деле, нет жизни без таланта ее понимания. Лопнувший стручок — это открывшееся миру и открывшее мир сознание. Оно вскрывается непредсказуемо, но влияет на мировой процесс.

Событие такой плотности — антагонистического соития причины и следствия — не могло миновать человека. Человек со всею своей духовностью, со всем своим сознанием и так называемым подсознанием (сознанием, испуганно спрятавшимся от проблемы выбора) влетал в бытие становления. Он не мог, как столетия прежде, оставаться вне — только внутри события, только перед выбором и на таком ускорении, что никакая молитва, никакой сознательно выраженный нравственный запрет не поспевал за этим скачком. Человек был внутри события, и выбор не предшествовал поступку (как того хотел Толстой, однозначно поднимая свою историческую руку,— не знал, что демон толкал его под локоть), а был у ж е поступком.

Кто выдержал крещение в новой Иордани?

Миколайчик был секретарем по идеологии, когда выписал из Ленина: «NB: отличие субъективизма (скептицизма и софистики etc.) от диалектики, между прочим, то, что в (объективной) диалектике относительно (релятивно) и различие между релятивным и абсолютным. Для объективной диалектики в релятивном есть абсолютное. Для субъективизма и софистики релятивное только релятивно и исключает абсолютное».

Находясь в эпицентре релятивного, как отличить «абсолютное в релятивном» от «абсолютно релятивного»? Разумеется, это софистика. Но э т о софистика ж и з н и, в которой опрокинута привычная причинно-следственная поступательность. Эта новая жизнь все понятия вывела к их пределам, сделала предельными, и любой вопрос-ответ был скрещением абсолютов.

Классическая мысль, очищенная, абстрагированная от чувственных наслоений, вышла на уровень управления силами природы, равно удаленными от чувственных способностей и возможностей человека. В подтверждении физическом чистая мысль нашла и абсолютное (абсолютное в релятивном!) нравственное подтверждение. Теперь можно было останавливать время. Эйнштейн: «Для нас, убежденных физиков, различие между прошлым, настоящим и будущим — не более чем иллюзия, хотя и весьма навязчивая».

Однако сознание («шагающий лес», «стручок лопающейся настурции», «стреляющий огурец») стало фокусом развития. Отныне история уже не могла шагать через головы миллионов, но только через сознание, только через вовлеченность в человека. Подвергнутое разумному отчуждению, сознание могло вернуться к себе лишь через максимальное обобществление, в формах предельной абстракции, как то: «мировой порядок», «империя», «собственность», «классовость» и т. п.

Вселенною стоят морозы в эти дни.
Спиною-изразцом тепло свое нащупай,
и затаись, и быть повремени...

(В начале шестидесятых Миколайчик продумывал выступление перед забастовавшими шахтерами и вдруг записал:

«Выпадение человека из собственности — почему это должно быть добром? Чувство равенства и братства — да, но почему этому чувству быть добрым? Это выпадение из собственности так же дико, как освобождение рабов или первоначальное накопление. Человек, отчужденный от собственности, выходит человеком отчуждения. Если я правильно понял.

Страшно подумать: человек, рванувшийся к братству, уничтожает людей больше, чем в иные войны! Но как могло быть иначе?! Что тут противоестественного? Как можно вырваться из прошлого и быть лучше?.. Относительно чего лучше? Я не понимаю. Вы что, что вы имеете в виду? Что человека сначала воспитывают? Или человек выскакивает к братству из пробирки? К братству он выходит из своей предыстории, как из леса. Выходит, вооруженный всеми пороками собственности, возведенными в ранг естественного равенства если не человека перед человеком (это невозможно), то человека перед богом. Сознание человека навсегда остается раздвоенным (схваченным «чистой» диалектикой): ты свободен продавать свой труд.

Что можно ждать от этого сознания? Что оно может выдумать, кроме равенства — отчужденной формы личной свободы? Смогло ли и сможет ли такое сознание разобраться во всех нюансах человеческого уравненного неравенства? Где кончается природное своеобразие и начинается социальная несправедливость?

Фашизм аккумулировал и использовал ту гигантскую энергию, которая высвобождается при распаде ядра частной собственности».

И переждав странное волнение, охватившее лоб и пишущую руку, Миколайчик улыбнулся дрожащей улыбкой провидца.

«...А что будет, когда человек, пройдя через дикость крупномасштабного обобществления, с оружием в руках заговорит о правах личности??»)

Теперь нам уже некуда деваться, теперь уже мы знаем, что такое смерть. Это не дешевое умирание, не приспособительное искусство жизни, не мосток в загробный мир. Все это облетело перед открывшимся знанием. Между мыслью и мыслью, между чувством и чувством, между секундой и секундой жизни пролегла вселенная, воссияла ядерная бездна, глухая ко всему человеческому наросту. И эта новая смерть привела новую жизнь. И если новую смерть мы распознали сразу — как не распознать того, что не несет в себе ни крупицы привычного знания! — новую жизнь мы еще не познали, потому что мы живем в ней, мы живем ею, и все как будто идет своим заведенным порядком. Но нет же, наши умы и мысли, воспитанные на чувстве обновления катастрофами, не чутки к мелким изменениям. Нам подавай тайфуны и землетрясения, войны и огонь... А новая жизнь приходит не слепящим светом, а неуловимым излучением («а-а» — ядро атома аха: язык наш издревле живет по законам квантовой механики), и глаз наш ни за что не разглядит частички, меньшей радиуса зрачка, и в радуге росной капли не угадает черного зрачка ангела смерти.

Человек обречен до конца дней состоять в неразрешимом противоречии со своим сознанием. Лишенное опыта смерти, сознание вечно. Оно знает, и мир ему дан. Знание как предрассудок. Это живое, внезапное знание, оно всегда есть, в тот момент, когда оно появляется, оно появляется как вечное, как знание всегда. «Я всегда это знал»,— уверенно думал Миколайчик. И отрешиться от этого знания можно, лишь отрешившись от всего мира. Это знание невозможно предупредить, нет такого набора средств, которые сигнализировали бы о впадении в грех знания. Как предупредить вечность?

Человек уверен в том, что завтра будет так же, как сегодня, не потому, что вне его или внутри его лежат некие неподвижные, «врожденные», априорные идеи, а потому что он знает (по ежедневному, ежечасному опыту), что завтра он будет так же знать, как и сегодня. Может быть, в человеке это — единственная абсолютная, врожденная, априорная идея. Это глубже ритуального знания-незнания, это глубже инстинкта. Это знание вненравственно, а потому безнравственно. Толстой вышел на это знание, когда объявил о конце причинности: классический человек возникал как результат эволюции, путем опредмечивания стихийной природы и постепенно, через предметное инобытие мысли, пришел к бытию сознания, к сознанию бытия. Сознание беспричинного человека вспыхивало беспричинно, и потому предметный мир выстраивался как небытие сознания. (Все та же космическая сцена прохождения князя Пьера Безухова мимо отходящего Каратаева: несоизмеримые скорости, несоизмеримые времена, но «безнравственное» сознание это видит и понимает.)

Пастернак упрекал Толстого за недосказанность мысли, но сам не пошел дальше импрессионизма истории, утопил беспричинность в синхронизированной привычной вселенной. (Пастернаковский мир уютных совпадений.)

Из яйца классической вселенной вылупился сокровенный человек.

Приходит этот человек в мир как результат причинно-следственного отбора или возникает в момент раскола яйца? — для человека бессмертного сознания это не вопрос. Он есть всегда, он пребывает в неиссякаемой внезапности своего сознания.

Это сознание никак не связано с чувственным миром, потому что само пребывает в мире, недоступном чувственному измерению. В этот сверхчувственный мир прорывался Ницше, ощущая мощь его непредсказуемости. Достоевский проверял надежность христианской морали, бомбардируя ее атомы быстрыми ядрами своих героев: он уже осознал условность и относительность всех общественных институтов. Наконец, Чехов прямо сказал, что под пленкой наших ощущений — бездна вселенной и сознание человека органически (качественно) включено в эту вселенную. Надо спокойно принять это.

Миколайчик учился в Москве, на юридическом, когда впервые увидел картины абстракциониста. Среди общей мазни запомнилось одно полотно, на нем было сиреневое пятно. Неровное, еще с какими-то еле уловимыми отсветами. И больше ничего. Но этого хватило, чтобы Миколайчик сразу узнал Машу. Не нужен был полновесный образ, от этого полновесного образа, от объемных воспоминаний он сам отказывался, отворачивался: потому что сбежал, все бросил — рвался в столицу, жаждал учиться. Бросил, отвернулся и запрещал себе вспоминать. И вот хлипкое пятно, размытый цветок шалфея, сиреневое откровение — удар без удара, сверхточное неощутимое попадание (а не приходи! не смотри на эту мазню!) — Миколайчик восстал на эту «безобразную безóбразность» (нашел он и потом повторял с кугутской настойчивостью). Не звук, не запах, не телесное ощущение (что он особенно ценил), а шматок сиреневой тени среди дряхлой дряни полуподвала, под стеклами коричневого окна, сбоку от пыльного наплыва света. «Да это же Мария!» — он отвернулся, уволакивая в глазах это мимолетное явление, задышал тяжело, вспоминая игру сиреневых веселых слез на ее глазах, густую влагу, растекавшуюся по всей склере и даже под глазами, влагу испарины, когда глаза были уже прикрыты и Маша, обнимая его неловко гнущимися на выгиб руками, целовала, врастала в него сочным стручком своевольного языка.

Образ, от которого он отворачивался, созрел и лопнул, и то, что выплыло, было точнее, глубже и больней. Но он не принимал этого сиреневого «ляпа» — не принимал даже из гордости, словно невзначай подставился, все случилось помимо его воли и, как он считал, помимо его сознания и умения понимать. Сознание его желало быть над, отстраненно наблюдать и анализировать, но всякий раз оно полно и бесследно совмещалось с пятном, и Миколайчик заболевал мгновенной болью любви и мгновенно же выздоравливал: пятно рассчитывало на внезапность и довольствовалось мимолетностью.

Миля всегда помнила себя игривым волчонком. На Крещенье ветер стынет в степи. Снег вздохнет и выгнется мертвой коркой. Тяжелый наст не процарапать, и такие же лютые, липкие, как железка на морозе, звезды. От вершины бугра вниз, на глухой лед речки,— лунным лучом нащученная тропа. Измучен-

ная, мокрая, Миля втаскивала на склон легкие, из коровьего говна, санки. Губы распухли, текли по трещинам. Миля плакала от мороза. Затащив, хватала воздух, звезды, снег; во рту, в гортани, в сердце опять рождался визг.

На печи, в овчинной копоти, она дрожала и все скользила, засыпая, и, скользя, вздрагивала: представляла себе, что человек рожден пролетать. Миля пробовала это спеть, протянуть горлом, испить звуком мрежную долготу человека. «На кутний завоешь!» — сказала мать из-под фитиля. Но Миля не от голода выла. Когда стали привозить побитых на войне, а мать впала в беспамятство ожидания, Миля почувствовала пролетность человека. На станице не умели откричать покойника. Поп скороговоркой рассказывал всем одно и то же, заворачивал путника туда, откуда тот всю жизнь уходил. И сам себя человек не умел назвать. Удивительная смерть шла с фронта. До войны над покойником себя отпевали, жалили, сиротски наедались остатками усопшего: он жизнь вывихивал, ломал, на него нельзя было кричать, и кричала вдова или выл вдовец куда-то в небо, в потолок, в бога, душу, в крест. Отомстить хотелось умершему, но законы и нравы, разрешавшие мстить живым или позволявшие мстить, обещая зализать паскудную совесть, крест ставили у лица мстителя, рвущегося обнять и вернуть умершего. Не для себя жил, не для себя умирал. Что выпрашивали у него?

В человеке было чего-то больше его самого, и потому он хотел застрять в вещах и предметах, которые делал. Он хотел застрять в степи, в поле, в скирде, в зерне. Учитель природоведения ловил лягушек и показывал им, разрезая, как тянутся ниточки нервов,— он потом жарил лягушек и ел. В каждом деле человек был больше себя самого. Он был больше в силе, в неукротимости и потому истязал себя смирением. Он искал смирения, погашения, он никогда не был с а м, он всегда был сам-два, сам-друг, он жил в складчину, он ждал весны, чтобы сложить свою неукротимую силу с силой природы, он складывал себя с товариществом, с кругом, он собором топил себя, он шел в церковь, чтобы унять самостийную свою душу... С а м он бывал только пьяный или мертвый. Всю жизнь человек подтыкал себя со всех сторон, чтобы не выбивалась из него сила-вея. Вбивал себя в уклад, в круговой нрав, евангельски сокращал самость. Учитель объяснял закон сложения сил, она не могла понять, как выигрывал сам человек от сложения усилий? Только над покойником человек вдруг ощущал, какой он с а м ы й, какой живой и сильный, потому и кричал так вранливо (не теми словами), потому и пил и ел плоть умершего. Жил человек в складчину не для того, чтобы выиграть от сложения сил, а для того, чтобы одной силой погасить, снудить другую.

Она летела с горки, визжала, открытая ветру и слёту,— чтобы в памяти залег скользкий кремешок, невесомый грузик совпадения: от своего неуловимого присутствия в мире кружилась голова. Ребенок визжит, обнаруживая себя как пустоту, проваливаясь в эту пустоту (или взвиваясь, падая вверх), кричит испуганно и жадно, он обнаруживает, что его н е т, что вот он катится или стоит посреди улицы, все вокруг как было, так и есть, а его — нет... а что же дальше? что, что за э т и м? для чего э т о? куда скольжение? От крика вибрируют фибры, волоски, кожа, глаза, свет. Миля видела, как орет и корчится роженица — вот еще одно состояние самости, обнаруженное Милей: все вырывается из рожающей — вода, кровь, крик, газы, слезы, все вовне, потому что идет сверхчеловеческая (а по самой сути — подлинно человеческая) сила.

Сама из казачьего рода, Миля не любила казаков. Вкусившие когда-то лиха свободы, казаки обрядились в униформу, даже в быт, на баз входили обмундированные религией суровой, почти старообрядческой, подковывали свою душу: чтобы ни-ни, чтобы оборониться от нечистой силы воли. Искавшие свободы взалкали, пошли искать службы.

Нет, никогда они не искали свободы — никогда не ищет свободы человек. Человек уходит от нее, взнуздывая, объезжая себя, кропя и заговаривая.

Далекое прошлое — ложь, это Миля знала точно. Старики, что выползали из этого прошлого, говорением целы были. Миля попыталась спеть-протянуть это прошлое. «Была у собаки песня, и ту отняли!» — сонно сказала маманя. У нее болели золотники, она больше не рожала. Она ждала отца и сходила с ума. Жили они когда как, до Мили недолго. Отец был примаком, и мамка боговала. Она умела играть на гитаре, отец подыгрывал на балалайке. Оба играли, посмеиваясь,— для станичного уклада непривычно пели. Когда они вечерами

садились друг напротив друга и бренькали — мамка басовито, отец привизгивая,— Миля понимала, что не выпоют они уже ничего. Тогда все ждали войны. Как летом в засуху ждут огня. Она знала, что отец не укладывается в земляное терпение, его длинной позастепной волной закидывает за край крестьянского уклада. За балалайку его прозывали кацап, но в казачьем быту редкая вещь клеилась на всего казака. Отец был кацап, он выкалывался из быта. Изо дня в день, от солнца до темна человека врабатывали, вговаривали, вплетали в быт. Быт имел свой солнцеворот, он ходил в ряд с природным, но человек в быту бился в какой-то своей тайне, взбивал воду для чего-то, батяня в войну нырнул, бледный, словно угоревший, канул в холодную воду, пошел со смертельной готовностью. Война приходила как пора всходов, пора жатвы. Человек не может быть несвободным, но он боится свободы, он угнетает ее, он приступает к ней, как приступает крестьянин к природе, он выравнивает ее, пашет, боронит, но — он высевает ее и опять жнет, бьет, крушит. Нет человека без свободы, он рожден свободой и входит в жизнь под ее инвентарь.

Миля не понимала: почему человек мечтает о свободе, всю жизнь свою посвящая уничтожению свободы? Какой свободы искал человек, смертельно восставая против естественной? Она понимала, что естественная свобода человека — это не естественная свобода зверя. Почему же человек доходил до озверения, лишь бы не поддаться высвобождению?

Вначале было слово. И каждое слово — на уловление человека. Миля была не защищена от слова ровно настолько, насколько была свободна. Не только от слова — от песни слова, от мелодии слова, особенно отца-матери. Она была открыта — и свобода, открывавшая Милю всему миру, делала ее беспомощной перед словом. По одной только интонации понимала она, что говорит мать, но, упрямством восставая, переспрашивала, запрещая себе п о н и м а т ь. Мать сердилась, ругала ее: «Упрямыми ворота подпирают». Миля тоже сердилась, не оглядывалась на отца, она говорила мамке: «Поп в церкви одно и то же говорит, ничё не понять, так он по книжке читает. А вас как понять? По какой книжке вы поете?» Мать хватала ее за загривок, показывала ее лицо отцу: «Дывысь, кака грамотна, без книжки матку не понимат!» Отец улыбался примиряющей улыбкой, он водил бритвой по кожаному правилу, и взгляд у него был задумчиво-острый, он внимательно стерег движение лезвия, стараясь ощутить то, что уже глазу недоступно. Миля боялась его бритвы. Лезвие, терпеливо обученное остроте, не знало преграды, для него все было прозрачным, темно-русый отчий волос надламывался от легкого дуновения. Миля не понимала, что значит править бритву: куда она отошла? где заблудилась? Слово оставалось з д е с ь, не уходило вслед за острием; направленная бритва уходила куда-то без слова, без названия. Так бежали вниз, в ночь, в черную яму ската направленные Милей санки. Так правил отец косу, чтобы легко, всплакивая, скользила в траве, так он правил саблю, бледнея свежим, выбритым затылком...

Он ушел на фронт, и мамка стала сходить с ума, забываться, все твердила, твердила, что ушел он, рубашку нижнюю, нательную, впопыхах надел наизнанку. Миля втайне и свои юбку и рубашку перевернула навыворот, рубцами наружу. Она осторожно прислушивалась к изнанке, потом забывала, потом вспоминала — после привычного ужаса в глазах мамки,— ежилась под рубашкой. Куда правит лезвие? Чтобы свободно двигалось, чтобы пело,— на входе пело, а там, там было страшно, туда падали направленные лезвием. Миля стала прислушиваться к мамкиным разговорам, приходила подруга, и мамка ей сны рассказывала. Миля заразилась в и д е т ь сны. Раньше они пробегали, пролетали, она не думала о них. Теперь она стала их замечать. Мамка все выспрашивала у соседки-подруги, все выпытывала. Миля удивлялась: разве подруга могла видеть мамкин сон? Не понимала, не могла вдуматься: сон бежал не так, как бежит жизнь. Можно пойти по хате, открыть дверь, потом закрыть или вернуться. Можно оглядеть двор и вспомнить, каким он был только что. Во сне ничего не получалось, во сне плыла так, как будто только здесь и сейчас плывешь, сон не оглядывался,— вот почему этот сон нельзя было вынуть из сна, его невозможно было перелить в жизнь, в явь. Удивительное, головокружительное чувство испытывала она, озирая сон: она в с е знала, но у нее не было прошлого, она не могла оглянуться, это был бы не сон. Она все знала, но сон тек внезапно, все, что открывалось во сне, было неожиданным, но при этом Миля в с е з н а л а

о том, что происходит... Мать замучила ее предчувствиями. Миля старалась не слушать ее.

Миля не знала «вольных казаков», не знала «вольных хлебопашцев». Газета, старый кусок бумаги, попадала редко, мамка расклячивала пальцы над газетой. Миля читала через ее плечо. Газета падала тающей птицей — откуда летела? что принесла? Казаки станицы — по праздникам — ходили друг на друга, один конец станицы на другой. Били до крови, уродовали, иной раз забивали кого-нибудь. Чужого. Своего чужого. Били и чужих, тех — что хохлы, этих — что москали. Боялся человек быть самим собой, вползал в хозяйство, в веру, в мундир. Человек боялся оглянуться за спину, как во сне ему чудился страх, он боялся вольного сновидения. Миля стала носить волосы, как отец: убрала пробор набок, чубом забирала надо лбом. Она приготовлялась ждать. Она еще не знала чего, но бьющаяся внутри нее жилка загадки уже настораживала ее. Она уже понимала: нет человека в казаке. Кто такие казаки? Вот калмыков она отличала, цыган отличала. А кто такие казаки? Куда уходят корнями? Мамка помнила своих родичей только до прабабки, потом путалась ее память, как теперь путалось сознание, ожидающее отца. Не ради сохранения памяти о предках вспоминал человек. Миля видела умильные хмельные лица стариков, безумные плаксивые глаза убийц: они вспоминали для того, чтобы наслаждаться похоронами свободы, память у них была курганом, чем выше курган, тем выше всходили они, оглядывали содеянное и в томительной тоске по прошлому сладостно перемывали косточки свободе. Вот что такое человеческая память: кладбище, безразмерное, как степной курган. Плача умильно над воспоминанием, старый казак на свой привычный лад пел песню о том, что вот же супротив всех усилий своих и близких, усилий природы, времени, врагов вот сейчас он живой, живой, бог знает когда родившийся, хтонакадышний, а дышит и светится. Не может прошлое быть добрее и умнее настоящего.

И опять она не понимала, какой свободы ищет человек. И если не свободы, а несвободы, то почему он называет свою страсть свободой, волюшкой вольной? Вот позабирали в армию, на войну, а те, что остались, стали любовь крутить. Миля впервые узнала, как обваливает человека любовь. Подросток, она приняла любовь, никогда ее не пережив, как будто для этого жила. Влюбилась и молчала. Не так ли во сне: что впереди — как бы заранее известно, но ничего заранее нет? Не просто любились, любой не подходил к любой. Уже все всем было ясно, расписано, определено. По полушубкам, по фамилиям, по овцам-коровам, по сережкам, платочкам, по голосу, повадке, взорам, высмотринам. Ловко и понятно без слов. Выкликом. Так наблюдала Миля, как пасет петух во дворе кур, крикнет особенным криком — и приседает, распушивает хвост одна. Вот она, веселая загадка петушиного языка. Не гоняется за курицей, не топчет, какая подвернется, а закричит повелительно, словно имя называя, и та, чей именной черед, уже на присядках, ждет, сверкая обнаженной гузкой. Так и молодые казаки с казачками: любовь — это внезапное, а топить ее надобно в привычном. Казачий круг, станичный круг — жестокий, в нем не походишь ходуном, твою судьбу по лошадям-коровам, до последнего гусака определят. А позаришься — бебухи поотбивают. Да и не зарились, отродна знали, кому что положено. И Миля уже знала, среди каких подросточков свою любовь высаживать. Отец ее в середняках бился, но то ли силой не вышел, то ли кацапом стал — не мог попасть в лад с природой, с хозяйством: не то конь понес, не то сам впереди телеги бежал. И отец и мать боялись выпасть из этого середнячьего круга. Миля долго слышала тяжелый ход отцова дыхания. Как смерти боялись они бедности. Мать становилась на колени вечерами и утрами, Милю ставила рядом: чтобы вернул Бог мужа, «проси за отца своего!», мать тронулась и исходила сознанием; какой свободы боялись они с отцом? Ее, Милю, уже не пришлось бы кормить пазухой, не надо было бы кусочничать — чего они боялись? Мать рехнулась, пошла сама собой, все от испуга: отец не вернется, голод, холод бедняцкий,— кто с природой степной вровень поставит хозяйство? Миля вспоминала, что она не так простилась с отцом, отступила, когда мать кинулась за ним, шла возле, выворачивая ногу его из стремени. Он нагибался, отталкивал ее, Миля шла сторонкой, вдоль плетней. И вспоминая, она рвалась проститься как надо бы, обнять и шептать ему на ухо, шептать, обнимая подбритый его жаркий затылок, что она все теперь понимает,— и все еще ничего не понимая, ей казалось, что кинься она тогда отцу на шею и начни говорить ему, тогда бы и там, возле плетня вонючего деда

Кожурина, все сразу бы и поняла, вместе с отцом, возле его лица, у щеки, пахнущей сапожным салом и припотевшими усами. Мать закричала, словно курица с яиц, отец успел шепнуть Миле: «Эх, припозднилась мать тебя родить». И она поняла тогда, что задолго до нее они уже бились с этой жизнью, и ей стало жаль и его и мамку, и сейчас она жалела их, расчесывая волосы на косой пробор, подбирая гладким чубом над широким лбом.

Мать сказала: «Самое время поторговать на станции». Они с вечера напекли пирожков с кислой капустой. «По пятачку попросим». Миля, как только мать стала раскатывать тесто, почувствовала внезапную сильную жадность. Сжалось раз и навсегда, потом уже никогда ни на минуту не отпускало. Мать раскатывала и резала на дольки, Миля мучилась: чего больше, чего меньше. Вышли раненько, Милин кулак жадности — она думала: выспится, и пройдет — сжимал ее изнутри, подрагивал с морозом. Ветер дул низовой, до станции было верст пятнадцать. Лошадка сани взяла мерно, маманька посадила Милю над сапеткой, как квохчу, чтобы пирожки пригревала. Мать сидела на пятках, клонилась вперед, бурчала на лошадь. Голова в сером платке то вырастала, то поопадала. Небо осыпало черноту, они молчали, они уже привыкали жить молча. Словно сквозь хитрое решето пропадала на небе темень и проступал свет. Неподвижная степь ступенями открывалась утру. Миля все дрожала, чуя запах притушенной капусты, она не могла себя смирить. Дрожала версты три, а потом попросила мамку остановиться. Миля отбежала вбок, оглянулась, мать смотрела, она еще отошла, кустики были редкие, подле них сильным настом лежал снег. Миля оглянулась, мать не смотрела. Миля присела спиной к ветру; тяжело, густо, каплями в наст упала урячная кровь. У Мили забилась, закружилась голова. Она сжалась, глядя под себя, она пережидала — случится с нею что-нибудь или нет? До сих пор кровь бежала к боли или к смерти, под ударом, под лезвием. Она сплюнула, боясь, что и слюна будет кровавой. Теперь ее жадность трепетала в такт со страхом, и свет вдруг стал белее снега: открылось последнее, чего не знала Миля, она вспомнила, что так бывает — у баб, вошедших в пору. Так бывает! — она смотрела, как узором ложится и расплывается кровь, да-да-да, трясущейся скороговоркой стучала она языком, теперь она баба, и жадность стала радостной, облегчающей, она не знала, как быть, и подоткнулась нижней юбкой. «Что мамка скажет?» — очистительно, без боязни, со светлой, неукоснительной правотой думала она и вспоминала отца и его возможную кровь, ранение и, рубашка наизнанку, смерть,— теперь она тоже была в крови, и кровь эта уравнивала ее и со смертью, и с жизнью, и с белой настовой степью, посередине которой легло горячее, густое ее бабье пятно.

И еще одно открытие завязалось в ней на всю жизнь — когда они вышли к поездам и стали торговать пирожками. Жадность соблазняла ее быть скаредной, просить больше, пирожки, которые казались ей домашними, чуть ли не родными, но вот, произведенные на продажу, оторвались, пошли жить своей жизнью, так и она оторвала их от сердца, как отрывала кутят, которых надо было утопить. Воинские эшелоны, дохлые санитарные скотники, Миля приняла их так же просто, как принимала кошару в степи,— степь, ее родная бескрайняя округа, принимала все, и все принимала Миля. Они пошли с мамкой вдоль поезда, мамка с узелком, Миля с узелком. «Пирожки, кому пирожки?» — спрашивала мамка. Милю дразнил бесенок, она вдруг закричала высоким, точным голосом: «Пи-рож-ки-и! Пирожки с солонинкой!» Мамка дернула: «Там солонины с гулькин нос». Миля где кричала, где стучала в доски, дотягивалась, зажав камень. Она их всех здесь поняла, все эти военные, битые, светлые, забинтованные, серые,— они матерились так плотно, так наотмашь, что их невозможно было не понять. Они кричали, отбивая друг у друга горячую воду. Бежали за станционное здание, оправлялись, сверкая над снегом срамными местами. Она их всех понимала и ухмылялась, она раскраснелась, ее шатало от усталости, истощения, она ухмылялась и продавала — топила, топила — пирожки. Она теперь знала, для чего люди матерятся: матом забивают подпол, заколачивают ту сторону, откуда теперь смотрела на них, на весь белый, серый, вонючий свет Миля («Мамань, вы идить погрейтесь, я и сама управлюсь»). Она улыбалась ухмылисто, она видела, как зависал солдат, покупая пирожки,— вот протягивает пятаки и вдруг повисает, себе не верит, «давай, давай сюда, девка!». Миля от себя отрывала, это было новое состояние человеков: один продает, другой покупает. Здесь пошатывалось какое-то всесильное равновесие — вот почему человек

повисал и был во власти Мили. «Ах, что жы! Гляди ж, вот казачка молодая какая!» — «Кушайте, дядя, на здоровьичко!»

На обратном пути она тихо напевала о страшной жизни на чужбине, о казаке, которому настобрыдло тосковать, и он «натянул тетиву и вонзил в землю, да стрелу он вонзил да каленую». И вот когда она тихо спела о земле, пронзенной каленою стрелой, она вдруг испуганно — испуганно за себя, за свою жизнь на многие годы вперед, за будущих детей (о них она подумала, чувствуя колючую корку в устье ног) — подумала: а может быть, то, что уже и словами человеческими выразить невозможно, может быть, э т о уже и не человеческое вовсе?

Теперь Миля окончательно знала, от какой свободы бегут люди и от какой свободы бежали казаки на вольные земли. Знала, но не торопилась высказать самой себе. Она улыбалась про «себя, она стала шкилевастая, подводила свое лицо под самое лицо собеседника и смотрела ровно, прямо в глаза. Мать стала пугаться ее, отталкивала: «Да что ж ты прямо в душу-то, чисто змеюка!» Вот, вот это и нравилось видеть Миле! Под Милиными изжелта-серыми глазами человек себя не узнавал, терялся, пугался: чего, мол, она глядит, чего высматривает? и — какой же я? она ж в мою рожу как в лохань заглядает. Миля даже удивлялась нестойкости человеческого взгляда, лица, выражения. Ее стали избегать подростки, ее товарки, они ежились, гримасничали и фыркали недовольно. Другие получали хоть весточки от отцов-братьев, Милин отец как сгинул. Не любит, не выносит человек неверности, нетвердости: потерять близкого — в душе потерять. «Был мужик — и нет мужика!» Вот это «был — и нет» страшнее врага, голода, нужды. Когда Миля заглядывала в лицо собеседника, лицо вдруг бежало рябью, терялось, как будто у человека разум отнимали и он превращался в грудного сосунка, у которого лицо играет гримасами, словно камыш под ветром.

Иной раз, взятой злым беспокойством, Миле хотелось ругать всех, обзывать, так кричать и ругаться, чтобы накинуть на человеческое лицо, рожденное носить смысл, жестокое, верное слово. Обруч на бочку. «Как ругался Христос, когда его ученики забоялись по воде морской идти!» — думала негодующе Миля. Приехал отцов отчим с хутора Гудилина, привез муки. «Еле проюлз. Дорога как неродная». Отчим свалил мешок с мукой в сенцах, грязными подшитыми валенками прошел в комнатку. Он долго полоскал рот водой и сплевывал белую пену. Миля и ему в лицо заглянула — дед Ульян не отстранился, он улыбался сквозь седую бороду розовым приманчивым ртом. Он смеялся над ее заглядыванием: «Ишь, егоза, гостинца ждешь?» Он посадил ее себе на колено, и мать, клонясь то к печке, то к столу, сказала, чтобы она так не сидела, Миля перевезла ноги на одну сторону. И борода и душегрейка у деда пахли слежалым салом. «Ты ж внученька моя, ты у нас одна-одинешка, а у меня душа внучки просит». Он похрипывал от умиления, Миля, помня, что не любил отец отчима, кивала, потому что в сенцах мешок с мукой стоял, тяжелый мешок, Миля своим сердцем чувствовала тяжесть мешка, темную щедрость отчима и далекой, мучившейся грудянкой бабки. Человек начинается с вещи, с большого дарового мешка. С подарка — потому что в сердцевине дарового богатства нет червячка выплаченной цены. Миля это помнила, пирожки ее были начинены ценой. Дед ласково похрипывал у нее над ухом, он рассказывал небывальщину. Миля видела деда Ульяна голым, вислые, точно индюшиный зоб, шулетки, показалось ей, были в шрамах. «Бедовой казак»,— подумала она и сейчас, помня деда голого, не могла понять, верит она ему или нет, а потом вдруг вспоминала, что т е п е р ь вся ее жизнь такая (зависла, поместилась в пустоте поплавком): не то верь, не то не верь, исхитряйся. Дед рассказывал, что казаки возвращаются с войны пендитные, злые. Такой войны казак еще не пробовал, никогда не знавал. «Что там наши коныки! — говорил дед Ульян и подкидывал Милю на колене.— Там газу по ветру пущают, с ероплана!» «Ешьте, дядя Ульян,— просила мать настойчиво, чтобы заткнуть рот рассказчику, в глазах у матери горел ужас.— Чего ж вы, а может, за горилкой сбегаю, вы как?» Дед отнекивался, он рассказывал неразумным бабам: «Танки такие, железные возки с пушками, пулеметы, гранаты,— он разводил руками,— а наши казачки с пиками да сабельками. Вот так-то. Ероплан, надо же, высоко в небе, выше коршуна, выше ястреба. Как бог бомбы мечет...» Он говорил о тысячах языков, сошедшихся сражаться и убивать друг друга. Он посмеивался, и мать, крестясь на икону, сказала ему: «Что ж вы все дуриком елыжничаете, дед Ульян?» А дед сказал, что у него все нутро от страха дрожит — одно и может что смеяться. «Я на таких войнах не бывал. Это уже по Библии,

вот почему надобно в бога верить: все происходит по Библии. В ней пророки говорили: премудрость любить надо. А потом уж отца с матерей». «Да что вам отец с матерей,— отвечала мать,— у вас же сродственников — только быки да коровы». Дед качал головой: «Вот я старухе своей, вашей матере, говорю: сама помирать будешь, дети твои на отшиб ушли, своим родовым хутором жить хотят... Расползается казачье становище, ни корней, ни кровей!» Он говорил, что они, старики, в бога верили не так. «Мы убожные были. Верить надобно, все должны верить, сначала должна быть вера, как дно у бочки. Вот я приду в церковь, крещусь, молитву шепчу — это я себя узнаю-у-у. Если без веры — и бога просвистишь. Всем миром веру держать надо, в одиночку человек теряется. Вот молокане, духоборы стоят друг за дружку. А те, у кого воля послабее, те в скопцы идут: резанул себя один разок — и на всю жизнь легкость веры». Мать отворачивалась от деда Ульяна, тихо плевала под стол, дед все посмеивался хрипотцой, ни мать, ни Миля не понимали, когда он уезжать собирается. «Спереди человека смерть подпирает, должна быть подпора и сзади.— И сбился на шепот: — Казаки наши одинокие вертаются, мол, их там смерть всех через сито просеяла, ничего не оставила. Армагеддон грядет, будут люди биться за землю, как за общую могилу». Мать взголосила, не выдержала. Миля отошла к окошку, коричневый свет бежал со двора. Миля поняла, что дедовым языком водило: дед торговать ехал и во всё себе судьбу-удачу выговаривал.

Когда дед выметался со двора, мать шептала, шептала неслышные слова, а Миля, строго сведя лицо, глядела деду в спину, тяжелую, как набитый мешок, и переводила про себя слова матери, проклинала, злорадно, тупо, горячо подпирала деда сзади проклятием, потому что — и это в ней тоже село навсегда — ничего крепче проклятия не могло упереть человека, только смерть.

Миля пошла было к корове, но остановилась: с такой ненавистью она испугалась притрагиваться; суеверно вздрагивая, Миля потянула голосом, ненависть надо было вывести, выпеть: «Да чтоб тебе, скалдырник вонючий... чтоб тебе... землю говенную есть... чтоб ты водой подавился...» Миля не находила точных слов и дрожала от нетерпения. Дед был скряжный и бабку приучил, они собирали деньги и прятали. Деньги должны были л е ж а т ь, отлеживаться, других денег они не знали. Деньги должны были л е ж а т ь долго, отлеживаться, чтобы на них наросла какая-то невидимая плотная плоть. Про них надо было как бы забыть — что ж такое деньги? скотина, тягло, земля? — забыть, пусть застынут в сундуке, слежатся. Обретут только человеку доступную покупательную тяжесть. Миля уже знала: казак волен, как конь на привязи. Тонкая, крепкая — паук из паутины — ниточка связывала казака крепче земли. Когда на станции Миля увидела паровоз, громадину, ударившую паром и свистом, она забыла думать, превратилась в случайный порыв бездумного ветра. А потом стала соображать: это был тот самый надорванный и полетевший мир — она не знала какой. Но рельсы, бег и стук колес, непомерная для чувств сила и бесчеловечная тяжесть паровоза убедили ее подтверждением: казаки боятся внезапной силы, приобретаемой не за пай, не за службу, а — за деньги. Сила эта вела за собой такую свободу-волюшку, от которой у казака волосы на голове поднимались. Он и тех, кто скулачивался, не любил. Зажимался тот, кто не выдёживал, убоявшись жизни, ненасытного требования денежного ховла. Деньги должны были, понимала Миля, обрести плоть, пропитаться запахом сундука, стать частью домашнего скарба, сокровищем обыденной жизни. Скулаченный — он стоял страшилищем, он изо дня в день маячил: помни, казак, нужда, она разная (розная, стервозная) бывает, как на выдохе исчезнешь. С двух сторон подсекала нужда — с пазушных, нищих, голутвенных, и с окулаченных, вышедших на деньгу.

Миля удивлялась: сколько поколений прошло казачьего племени, пока дотумкали, что торговать можно всем, что произведено их работой, все, что с поля, с база, со службы, все-все можно продать и купить. За бумажку. Понять не могли то, что поняла Миля, торгуя пирожками из-под колес паровоза. Нет в человеке памяти, врут старики, нет памяти, как нет начала в человеческом сне. Человек не вспоминает, он ж и в е т и во сне он не спрашивает: «Почему?» — он видит сон. И жизнь его не откладывается памятью жизни, а откладывается накоплениями, скарбом, худобой (слово-то! что остается в худобе от человеческой жизни?) и все тончится, тончится, заостряется (батяня до паутинки дотягивал лезвие бритвы), пока не обрезает — одно дуновение, случайное, легкое

(а ждешь шквала, степной бури, многодневного дурного дуновения) — и уже о т р е з а н от своей жизни. Ищи проклятого ветра в поле, ищи судьбу, упавшую волоском на острое лезвие.

Цыгане, армяне, жиды, летучий, пархатый элемент, а потом товарищи: перекупщики, посредники, торгаши. Они словно бабочки из коконов вылуплялись, из самого середка, и казачий скарб, казачий уклад пробивали наскрозь.

Имущие, средние дрожали на волоске. Отец сорвался в войну — белый, страшный, смущенный. Мать, хоронясь жизни, пошла с ума, забилась в безумную тоску. Теперь дрожала Миля, открылось ей многое на станции: поезда, летевшие по-над степью, двигала невидимая сила, вырывавшаяся из середки трудом добытых вещей, и как ни прятал казак нажитое добро, как ни кохал, как ни охранял верой и правдой, вылетала душа из добра, как вылетает душа из человека. Кто говорил о воскрешении? Но только не у потерявшего воскресало добро.

Ай да как больно мне гулять, мне, добру молодцу,
Больно, больно гулять с нею, со своею, да не чужою,
Так с моею, не чужою, родной смертушкой...

Мария дева зачала ребенка, хочешь — верь, хочешь — не верь, и сикиль не порушила. Так должно было быть и так есть. Сука кобеля выбирает, а дева должна была выбрать дух божий, чтобы в роду человеческом появилось п о д о з р е н и е, одно оно способно восстать на силу корысти, извлекающей душу из вещей, аки из человеков. И если иссякла, посеклась ниточка подозрения, Миля родит сына, зачнет от таинственной силы, не знающей ни добра, ни зла, Миля родит сына силы надземной — она трепетала нетерпением, она уже подзывала: «Скорей, дам свет глазам его, дам свет уму его!» Она даже знала уже, кто будет мужем ей и отцом ему.

Но стали приходить казаки — все, все на одно лицо, мать выжидала безнадежно, Миля видела: вот-вот вспыхнет. Неожиданно Миля увидела мать — увидела в своей жизни, как будто увидела мать там, где ее не могло быть: заиграласъ у подруги и вдруг — мать. Это была дурная примета, Миле хотелось говорить матери: «Иди до хаты, я скоро». Мать рассказала ей, что была на кладбище и нашла себе место и чтобы Миля отнесла ее туда. Миля махала на нее, но ночами прислушивалась. В станице не ухаживали за кладбищем, покойников сносили туда так, как сносили умершую скотину. И кладбище выглядело от этого временным становищем, со степи сливалось со станицей, серыми крышами, плетнями, разбросанными службами, у всего был вид временный, как будто каждый день трудились станичники, не заботясь о порядке, о прочности, об укорененности, а торопливо и трудно выполняя работу для чего-то иного, не то неземного, не то лежащего за полем. И так из поколения в поколение: темный быт, кое-как сооруженные постройки, саманные, турлучные, слепые окошки, пьяные плетни, кривые дороги. Прилетели «штанишники», повертелись, потоковали, наплодили — и опять улетать... Мать водила Милю на кладбищенский холм — весна пригревала. Показала выбранное место, рядом с родителями не получалось, но недалечко. «Уж как-нибудь доберусь, пророю сь». Грязный, запыленный снег сползал со станицы. Кизячные дымки торопились к небу. «Не будет у тебя отца»,— сказала мать. Миля хотела обругать ее: гадина такая, о человеке еще ничего не известно, а она уже в землю его затолочила. Солнце шло на глаза, мать высоколобо щурилась, волосы казались русыми, но были темными. Мать сняла с головы коричневый платок, взгляд у нее всегда был хваткий, хозяйский, не пускавший бессмысленного простора. «Деньги в сундуке, в коробке от бака. Помнишь, отец из шахт привез?» Отец скрытно бегал зимой на шахты подработать, и не дай бог узнают станичные губошлепы — засмеют, затюкают: «С хохлами чи с москалями в сурчиных норах ползал!» Мать глядела на станицу, выползавшую из грязи к бегущему свету; речка Буканка, летом высыхавшая, сейчас у станицы лежала запойным оврагом. Мать завздыхала, закорчилась — у Мили был такой же тяжелолобый волчий взгляд. Мать кидала, кидала вздохи под грудь, сильное, вызноенное лицо (тяжелый сказочный след в пыли? озерцо, высохшее до дна?) не давалось рыданию, ломалось, мать не скрывалась, уже не смущалась Мили, билась перед нею как перед взрослой: «Двух, доченька, двух детишек я здесь сгондобила! Не схотели жить, не послушали!» Миле почудилось, что земля на кладбищенском холме стала тонкой и

сам холм — пустота, покрытая ветхой землей. Миля не умела успокаивать и за себя испугалась, животом, решенной мечтой рожать. Мать сломилась от рыдания — не сумела поднять тяжесть, не поддалась ее сильная природа, и она тихо, беспомощно захныкала. «Я ж туточки все-все вокруг знаю, каждый двор, каждый закуток, мы ж тут все перевиты-перепутаны, друг дружку выслеживаем, подзыриваем. Только три денечка счастья у меня и было, три денечка! А потом уже не выпрягались, тянули, чтобы как у людей,— а для чего как у людей? Каждый день друг дружку подстерегаем. Для чего мы тут все вместе-то сгрудились? Для чего друг дружку на нервы наматываем? Это ж только в песне даже горе сладкое, а здесь мы говорим друг дружке любезные слова, а сами на горло смотрим.— Мать взвыла коротко, упала лицом на свет, на холодный ветер, тучи-облака медленно, кудлато толкали снежные закрома света.— У меня вот тут,— мать костяшкой пальца ткнула в грудь себе,— клубок нитяной, на каждого станичного своя ниточка. Сколько раз с отцом твоим хотели клубок разорвать, бежать хотели, а как бежать — так дитя мрет... Неуж человек-то — комок нитяной? Да не высказать усего, разве выкричать!» Из-за густого облака густым веером — подвижным, переборчивым — упал на станицу пучок лучей, по станице побежал легкий свет, пошевеливая муть станичных судеб.

Миля мучилась, глядя на мать, не умея утешить, все спрашивала свое сердце: тоска или жалость? Мучительно было не то, что мать, как одна на холме, плакала и стыдилась (она так и хлюпала, так и всхлипывала: «Кому я такая нужна?» — кому такая нужна, если и успокоить некому, если и стыд с нее никто снять не может, растворить слезы),— мучительна была невозможность понять; отличить — тоска или жалость? И когда по станице стали ходить со смертью, она все спохватывалась (сердце застучит, замедлится): жалость или тоска? Куры не боялись убитых, и Миля привыкла. Жизнь к этому шла. Не умеет казак торговать: продал жизнь, жизнью торговал, но это по-крестьянски: своя жизнь ничего не стоит, как ничего не стоит работа на себя. Что можно взять со своей жизни? Продавал за землю. Не меньше. И не считаясь.

Убитые валялись возле Буканки и в поле. Гнилыми корками. Гнили те, кто не умел торговать. Природой или самим казачьим кругом обреченные на страх перед деньгой. В душе не было денежного безмена: что почем? Миля помнила, как задумали мать с отцом покупать кабанчика, долго готовились, мать молилась, выговаривая здорового, крепкого, сильного... У кого выпрашивала? Деньги подкопили — но сколько? Сколько жизни вложили в них? И почему их надо отдать за кабана? И как не продешевить? И не обманет ли природа, как обманывало порой поле, как свирепствовала степь? Природа — это ведь и сам казак, природный житель, и в его душе, тоже природной, как в самой природе, *нет* уверенности, нет предсказанности: что случается, то случается здесь, сейчас, из-за спины.

Казак не мог представить себя бедным, пазушным, стоял за войско, за свою «обчинную» землю, за пай. Без этого прочного подпора под ногами жить нельзя: все мрежится без основы, все крутится. Мать так страстно бога молила за кабанчика, так смотрела в глаза иконе, хотела *вглядеться*, отдавая сокровенные деньги за кусок жизни, за живую плоть, она и сама бы могла родить за *так*. Как рожала детей.

Не могла понять, что дороже — неощутимая плоть денег или ощутимая плоть кабана. Она испрашивала совета и помощи у бога, и Миля беспокойно и суеверно думала про себя тогда: «Тайное надоть тайно делать».

Не умел казак торговать. Отдавал землю на года в аренду — но свою землю, сокровицную. «Тады заарендуешь им землю и живешь!» Арендаторы подступали к земле войсковой, станичной со всех сторон; торговало начальство, отдавало в долгую аренду запасные земли. Невидимая сила денег превращала исконную землю в летучую степную пыль: снимется и полетит, сядет, соберется чужим краем, хохлацкой станицей.

Не по крови вел свой род казак, а по земле, по природному телу,— и вот, господи, прости! оказалось, что тело родовое, казачье тело — *тáковое*.

Отец уходил на войну уже прочервленный этим черным недугом. Словом выразить не мог, это вся жизнь была такая: круг, зависть, не впасть бы в бедность, не пасть нижее, не может быть казак нищим. Невозможно это, нельзя, против бога, против царя, что ли, против правил мирового круга. Штаны — кожа, земля — жизнь. И всё. Одна мера — сердце, хочешь выжить — считай разы

Отрезанные войной от земли, казаки возвращались с е р д е ч н ы е: каждый держал сердце на другого. Ремесленник войны, лозоруб, иное мастерство презирал. Отчего ж так: нет выше ремесла? На безмене жизни и смерти взвешивались невесомые души. Это единственный торговый инструмент, который признавал казак. Без мены, без этой таинственной силы, рассекавшей волю и свободу казака. Сколько ангелов уместится на острие иглы? Чем тоньше острие, тем больше ангелов, чем вострее шашка, тем вернее и праведнее жизнь.

Вернее, безмернее, ибо душа соприродна земле, и с этой душой, как с капризной землей, справляться надо великой силой: душа, подозревал казак, на всех одна и надобно свой пай блюсти. С мировой они пришли говорить по душам, делить, переделивать природное свое тело. В этом дележе на кон легли все обиды, уязвления, унижения, и с азартом природной христианской справедливости (почему бог этому дал т а к, а мне э т а к?) конались насмерть.

Галюня Шпак была года на полтора старше Мили и взрослила Милю бабскими секретами. Она учила ее любить красивых. В лица красных ли, белых дул нагорный ветер погибели, и Галюня выглядывала в идущих, полусонных от последней мысли, красивое, высволоченное суровостью лицо. «О, Милька, дывысь, яко личико, гусиным перышком метенное!» И пока отряд раскатывал пулеметы, тасовал коней у церковной ограды, Галюня не отпускала взглядом избранника. Миля вертелась возле — серьезная, в платке над большим лбом, суровая и любопытная. Она чуяла, как распалялась Галюня, из-под юбок восходил томительно-пакостный дух. Галюня слушала голос избранника, оценивала походку, потом, уже гуляя, говорила так, как говорил он: был ли москаль, с припевцой, или хохол, туповатый на кончик языка,— но все ее избранники, говорила она, были красивы. Миля не понимала ее. Она знала одно — что любит лишь родных и потому только родные красивы. Красива мать, красив отец — они родные, это возникает в душе из незапамятности, и все связывается в одно: любовь, родство, красота. Миля не представляла, как можно полюбить неродного человека, даже если человек этот красивый. Она высматривала Галюниных раздушечек: это всегда лицо словно не потеющее и не простое и не благородное, не офицерское, не иной городской ткани. Сказать бы: иной нации,— но не то, не то чувствовала Миля, и не могла понять (казаки — какая нация?), и подстерегала что-то другое. Это было лицо заостренное, такое бывает в обмороке, словно уплощается, подчиняясь силе ушедшего в себя взгляда. Это лицо казалось хрупким, хрупкими казались косточки и хрящи; меловая кожа, быстрые, точные губы, и слова рождались пупком внутрь. Миля изнывала от отвращения. «А если забрюхатишь?» — говорила она, думая свое. «Нетучки,— отвечала быстро, заемно Галюня,— от него не родить, в ем дух со смертью борется, и усе на скаку гибнет!» Галюня смеялась глазами — глазами возлюбленного: серыми или голубыми с въятыми, насильными зрачками. Галюня насмехалась над Милей, говорила, что Миля еще не пробовала, а вот когда попробует раза, тогда не оторвать будет за уши. «Ты не думай, что мала,— говорила Галюня,— ты уже самая баба. Жизня у нас на один вдох. А трясись не трясись — оно вседно не твое!» — «Да ты, когда влюбилась в учителя природоведения, лягушек ела!» — «Влюбись — и не то исть будешь». Галюня подталкивала Милю к какому-нибудь приблизиться. Но станица была насквозь, наскрозь пробита войной, не задерживались люди, шлях, дорога, размятая, унавоженная, текла жижей — таким представлялось Миле уходящее время: текло медленно и поглощало все. У этой реки был свой исток, возможно, он был там, куда уходили войска, катились орудия, куда вели людей те, которых любила Галюня. Родства не было, а к родству Миля привязана была с рождения и ничего, кроме родства, не могла чувствовать изначально. То, что она могла любить, должно бы вырасти вместе с нею. Как она ни поворачивала себя в жиже времени, не могла увидеть в себе возможности полюбить за красоту. Все вокруг — разбитые базы́, растрепанные семьи, пустопорожний звяк колокола, голод, сумасшедшая мать,— все толкало, выталкивало и говорило: полюби. Второй год казачьей резни не изменил ее, она ждала, что станица успокоится, обрастет привычной сутолокой (стутолокой), и тогда все в Миле совместится — полюбит родного. Уже все было вычищено, все обиды уравнены до донышка. Ранней весной пробежали через станицу иностранцы, англичане. Галюня глядела на них, а потом на след от их машины (шесть битюгов волокли люльку по безбрежному щляху), как будто что-то забыв, как будто не умея опамятоваться. И тогда Миля вдруг почувство-

вала (вместе с, казалось бы, нестерпимо знакомым запахом подтаивающего льда), что сами они чье-то мучительное вспоминание: кто-то вот так же, как Галюня, замер в недоумении, по-звериному принюхиваясь к своей памяти: что означают в ней вот эти две густые капли, упавшие в жижу времени...

Ранний зной высушил, выморозил грязь, тучная пыль щекотно пушилась под ногами. И точно из этой пыли родились и пошли тучи мышей, они стелились и ползли — кто их тянул через станицу пыльным покрывалом и что обнажалось? Ночами они шуршали, стелились по хате, маманя отбивалась от них, как от назойливых мух. Миля ставила ведра с водой и утром выносила серую, серебристую помойную жижу. Галюня привела к ним раненого, сказала, подталкивая и ухмыляясь, что мамка заругалась, боится, что придут и всех уделают. Хромой прошел в комнату, сел на лавку, отмотал от горла шарф, мать вышла из-за печи, стала стягивать с пришлого сапоги, она подумала, что пришел муж, но увидела не те ноги и ушла за печку. Этот Галюнин был все из того же племени погонщиков смерти, он не просил есть, он лежал на лавке под окном, сквозь серую щетину светилось меловое тело легкого лица. Ночами его не было слышно, или дышал он слабее мышиного шороха и писка. Миля привыкла касаться мышиных тел, они были такие же гладкие и скользкие, как тела ласточек или стрижей. Ласточки и стрижи были покрыты такой же шелковенью — выскальзывали сквозь пальцы. Однажды Миля увидела (видела его профиль, не тающий снеговой свет над лицом), увидела, как задрожало его лицо. Он позвал ее. «У меня нет детей, ты будешь моей дочкой»,— сказал он. По глазам она увидела, что он что-то решил, глаза пали на ее лицо. Он был красивый, он побрился, скулы и височные кости выпирали, прямые, не казачьи волосы, не знавшие степного ветра и на ветру истонченные до ковыльной синевы, рассеивались надо лбом, над ушами. Он пришел из краев далеких (Миля еще не позволяла себе понять, как можно так далеко залетать от родных мест, как люди не боятся страха оторваться от корня, стать красивыми и лететь, глядя на землю высокими зрачками, искать ответной на красоту любви), из далеких краев, где говорили не так, как в станице, голос был похож на голос степного перелетного голубя — у-у, уу-у, о-у, ооо-о. Миля вслушивалась в голос, как в лицо. Это все было для нее неожиданно: мужчина передавался в нее словом, он говорил так, как будто его слова могли проникнуть в нее, он говорил (мать за печкой вздыхала и бурчала, не то передразнивая, не то на языке, на зубах распробывая мякотку его речи): «Кто ни придет, меня убьют». Она не успокаивала, смерть нагулялась в степи, теперь ее надо загонять в стойла. Он ей говорил о какой-то великой всеземной справедливости, а Миля видела перед собой красивое лицо и думала, что красота т а к и должна говорить, ведь в человеке (в Миле) сидит стойкое, крепкое чувство любви по роду, чувство взрастающего цветка, не знающего о красоте своего венчика, не знающего, какие насекомые будут лететь на запах и цвет, цветок восходит, распускается во имя рода. Донат брал ее за руку, и в первую минуту ей показалось, что рука у него пыльная — такая сухая, нежная кожа была у него. Да, красота вставала над миром, и Донат говорил о красоте мира, красота широкими крылами поднималась над миром, красота восходила править, Миля сжимала свое черёво, не умея противостоять и не умея любить красоту перелетную. «Как жеть я его полюблю? — думала она ночью, мыши со стрижиным писком падали со стола.— Он же ж неродный, у него кожа не такая, он говорит, как из глечика бубнит, у него в глазах ледно». Чужой он, он говорил так, будто Миля верила в него, как будто ей не надо обживать его лицо, каждое движение губ, морщин, будто словом можно открыть человеческое черёво и войти в него, как входит кровью родство. Миля мучилась и билась в пустой темноте, сквозь окошко заревом холодного света сочилось слепящее сияние. «Боже ж мой,— Миля пыталась молиться, потому что слово (не для понимания, а для жизни) влагалось только молитвой, впитанное с детства вместе со слюной и сладостным страхом.— Боженька мой, он чуждый мне, он красотой своей сильно острый». Он говорил ей, что если она верит в бога, то верить надо во всеобщего бога, Миля не могла принять такого бога — это был бог красоты, хищной, ястребиной, охватывающей всех гамузом. Он замолкал, тогда кадык на светлом горле у него двигался длинно, словно Донат пил — пил воздух или свет. Закричал полдневный петух. Донат напившимся ртом и веселыми глазами сказал, что это сабельная песня. Миля вдруг поняла, что красота, как острая шашка, вспарывает душеньку, привыкшую жить своим, закровным, утопленным в крови,— шашка пускает

кровь, впускает в человека всейную родню, смерть, красота распахивает одним ударом (как сильный казак распахивает тело врага до пояса), раскрывает сокровенного, увязанного в родовое добро человека. Вот для чего пришла красота. Донат улыбался, он не знал, что красивый, ему жизнью важно было, чтобы Миля породнилась с его словами, его идеей. Она хотела отойти, но он взял ее руку, пощупал, как бьется в запястье ее сердце. Ночью, распугивая мышей, оскользаясь, он пришел к ней на кровать. Миля подобралась, но он попросил погладить его. Она делала это привычно — привыкла к тушкам мышей, он говорил ее рукам, и она позволяла своим рукам жалеть его: что-то же в нем было от человека. Она нашла мышиное тельце, хотела хихикнуть, но видела, что глаза его закрыты и губы, словно колеблемые, что-то говорят. Кожица была шелковая, слабая, Донат застонал и попал губами на ее губы. Он стал узнавать ее тело, и она удивлялась, как можно не знать то, что она так хорошо знала и чему не удивлялась. Она хотела ему сказать, что она вся себе родная, природная, но он бежал по ней шелковой мышиной нежностью, она ничего не скрывала от него, подставляла губы, грудь, подворачивала бедра, чтобы ему сподручнее было пробегать, она слушала, как шелестит ее кожа под этой перебегающей лаской. Но она не знала, что мыши причиняют боль, она ударила его и замерла, пережидая, пока достонет, дохлюпает обиду.

Красота, подумала Миля, это то, во что человек вкладывает душу. Это было уже знакомо, и Миля успокоилась.

Пришли оруженные и увели хромого Доната. Миля потом нашла его за станицей на тырле, с проломленной бескровной грудью. Мыши объели пучки пальцев, мочки ушные, поклевали лицо. Мыши разорили его сумку с бумажками, растеребили бумагу, сохранилась тетрадка в клеенке. И все, что в тетрадке написано высокими прямоугольными буквами, она отложила на будущее. Но будущее всегда обманывает, оно ближе, чем настоящее.

Миля прочла, что пишет он о казачестве, и почувствовала, что как бы обманута или обижена. Так она чувствовала себя, когда узнавала о себе от учителя, писавшего чужими словами о ее поведении и успеваемости. Донат, чужой, пришлый, писал «историю казачества», Миля открыла обман: его красота з н а л а ее, казачку, задолго до того, как Миля узнала его красоту. Миля не могла читать из тетрадки. Ей казалось, что дышит раздавленная грудь Доната.

Тетрадку через много лет читал Милин последыш Миколайчик. Читал с болезненной беглостью: уже на третьем курсе, приехал в станицу на каникулы и читал. И только в одном месте, подавив желание оглянуться, поставил ногтем палочку-отчерк: «Любая историческая драма есть драма классов и только потому — драма личностей. Относительное своеволие героев не должно затемнять от историка классовой природы... Иначе неизбежны ошибки». Позже, охваченный удалью марксиста-эпигона (был очарован перевертышами товарных «персонификаций»), он предпослал записям свою «историческую справку»:

«Образование «казачьей христианской республики» не шло путем долгой родовой и экономической основательности, каковая предшествовала образованию традиционных национальностей. В основу к а з а ч е с т в а легли не родовые отношения, а отношения варварского демократизма. Этот естественный демократизм отложился особенными, как бы национальными чертами (не языком, не антропологическим своеобразием — одеждой, ухватками быта, военной выправкой) и лег в основание круга: казак — природный гражданин.

Самостоятельность и независимость обеспечивались поначалу паразитизмом на торговых путях, не легкостью, но быстротой обогащения, обширностью целинных земель и натуральным ведением хозяйства, вызывавшим иммунитет к торговле. Круг замыкался.

Однако забегая вперед скажу: вращаясь в мире торговли, казак не мог долго оставаться невинным грабителем, и его экономическое невежество роковым образом скажется на гордой независимости.

Волей-неволей «христианская республика» постепенно втягивается в торговые отношения. Но чтобы торговать, то есть торговать с выгодой, надо иметь представление о стоимости, опыт товарного производства. Ни земля, ни награбленные сокровища не могли стать основой успешной торговли: н е т р у д о в ы е накопления не только не способствовали развитию стоимостных отношений среди казачества, но, наоборот, препятствовали экономическому просвещению.

Единственно что доставалось казаку т р у д о м — его «христианская республика», республика природная, большой круг как национальная независимость. И единственным трудовым накоплением этой республики была военная с и л а. Поэтому республиканская военная сила — это был первый и основной товар, которым стало торговать казачество.

Но продавшись один раз, «христианская республика», чтобы сохранить национальную независимость, вынуждена была продаваться уже регулярно. Собственно, исторически демократизм и возникает как средство вовлечения в товарно-денежные отношения как можно большего числа людей — демократия продажна по своей сути. В этом смысле демократия в казачьей среде расширялась и развивалась медленно, потому что казаками торговали оптом. Начальники-оптовики продавали казачью военную силу, поддерживая и поощряя демократический централизм казачьего круга,— лучшей формы закабаления казачьей вольницы и выдумать было трудно.

С этого исторического момента начинается медленная распродажа естественных богатств «христианской республики»: продается военная сила — покупается национальная независимость, продается национальная независимость — приобретается сословное неравенство. Продается воин — покупается наемник. Естественное право разлагается: свободу, которую казак добывал, теперь он вынужден покупать. И казак, имея естественное, природное тело, то есть имея свободное, свободное от стоимостных отношений тело (душу вольного казака), обряженный в казачью ф о р м у, превращается в т о в а р: отныне казак мог владеть своей долей (свободы) только как наемник.

Однако все эти исторические переворачивания прошли бы безболезненно, если бы изменения не коснулись з е м л и — землевладения.

Казачью вольницу питала вольная колонизация. Иллюзию свободы долгое время питала иллюзорная свобода от границ. Однако оптовая торговля республиканскими богатствами начинается с момента оформления границ казачьей самостийности.

Казак не лишается земли, он только перестает ею владеть. Свобода, проданная оптом, возвращается розницей привилегий: привилегией на пай, на ловлю рыбы, на выпасы, привилегией на самого себя. Земля включается в ряд привилегий и становится средством, закрепляющим неравенство. Вольный казак, став наемником, намертво привязывается к земле. Чтобы держаться казаком, владелец пая вынужден усиленно крестьянствовать, а значит, и худо-бедно торговать. Это социальное раздвоение будет усиливаться, с одной стороны, милитаризацией казачества, выделением военно-административной, офицерской верхушки, с другой стороны — окрестьяниванием быта, торговлей, арендой земли приблудными, набродом. Милитаризация медленно, но неуклонно отрывает казака от земли. Казачья республика, пристегнутая к колеснице Российской империи, вынуждена была поставить производство и продажу военной силы на фабричные рельсы. Казак оттягивал часть своих сил на производство и воспроизводство себя как воина... Эту точку раздвоения можно назвать началом расказачивания.

Именно эту точку надо особенно взять на память: чтобы сохранить казачью форму, казак вынужден медленно, но неизбежно терять казачью суть; противоречие это не может выйти за пределы казачьего черёва, казачьей души.

«Не может казачья земля продаваться!» Не может природное тело стать предметом торговли: разве можно продать руку, голову, жену?

Казак продает себя как воина, чтобы сохранить себя как вольного хлебопашца.

Войсковое начальство проводит муниципализацию общинных земель, фондовых земель.

Для удовлетворения растущих нужд военно-бюрократическая войсковая верхушка вводит в практику распродажу общинных владений сторонним купцам, наброду. С молотка идут не только фондовые, но и станичные земли.

Расширяются до размеров латифундий земли казачьего дворянства.

Казак не может не понимать, что земля есть основная п л а т а за верную службу царю и отечеству. Почва под его ногами колеблется, это казак знает, но он не знает, что эпицентр — дифференциальная земельная рента. На территорию «казачьей христианской республики» проникают мистические, чувственно-сверхчувственные законы с т о и м о с т и.

Паки и паки, казачий надел, пай — это его родовое тело, а казачья форма — «национальная» отличительная черта. А это означает, что противоречия товарно-денежные и военно-бюрократические разыгрывались не на предметах собствен-

ности, не на отчужденном материале, а в душе, в сознании казака. Он не мог избежать этих неразрешимых, по сути, противоречий, как не мог вывести их за пределы своего я. Усугублялась психологическая драма как раз тем, что его родовое тело (земля) было так же физически отторжимо от него, как и его национальность (казачья справа).

Исторический перелом совершается не раньше, чем он совершится в сознании, а это значит, что историческое событие неизбежно проходит через индивидуальное сознание, поднимая это сознание на уровень понимания исторической необходимости. Понимание неизбежно, и потому неизбежен исторический перелом.

Драма казака заключалась в том, что его общинно-субординантное сознание волею исторической антиномии должно было обрушиться на самое себя. Кто ж решится на такое доброй волей?

И какие иные способы изобрело человечество для бескровного разрешения антиномий?»

Далее Миколайчик отпускал записки как бы на волю, с верховым, степным чувством («А, дуй тебя в гриву!») наблюдая стремительное своеволие смысла. Донат писал:

«Для того и существуют «исторические переломы», «судьбоносные события», чтобы вырвать индивидуальное сознание из нравственной утробы, поднять его на уровень «исторической необходимости» — самой примитивной формы сознания, сопровождающего механические усилия младенческой мысли...»

(«За все это тебя и раздавили»,— думал Миколайчик, это не было светлое чувство мести, чем-то близок был Донат, но в главном — отвратителен, а еще глубже — вызывал трепет: как будто над больным Миколайчиком полуголосом говорили врачи. Или: юрист будущий уже знал, что такое дознание,— над ним, казачьим внуком, проводилось дознание, а он, как Адам, наказанный презумпцией виновности, чувствует себя безнадежно виноватым только потому, что его заподозрили. Миля ревниво следила за тем, как Миколайчик мусолит тетрадку, ей хотелось — так, бывает, хочется родить давно скинутого ребенка,— чтобы Миколайчик п о н я л написанное, и тогда бы написанное ожило, и этим чудом оживления вернуть ее первому греху чистоту непорочности.)

«У войны нечеловеческий опыт, надысторический, и потому война используется как средство «перевода стрелок»: чем истребительнее война, тем глубже исторический слом.

Сознание, подвергнутое рациональному (разумному!) истреблению, воспринимает войну как практическое осуществление разумного переустройства мира: смерть не ошибается.

Смерть не ошибается. Эта абсолютная точка отсчета помещается в сознании выжившего, и выживший обнаруживает себя в непредвиденном мире. Рациональный бог войны стремится свести выживание к ничтожно малой величине — выживший несет свою жизнь как случайность с ничтожно малой вероятностью и способен воспринимать ее лишь в абсолютной системе координат... Взрывом вырастает и распространяется «массовидное сознание», массовый психоз, тифос правосознания (болезненное стремление сознания свидетельствовать в пользу своей «белковой организации»).

. . . . . .

Казаки уходили с германского фронта
уходили с последней решимостью
отстоять землю
не дать распасться ей в запродажах
спасти свое родовое тело
от расказачивания

. . . . . .

Картина казачьей Вандеи будет однобокой, если не сказать еще об одной силе, существовавшей рядом и среди казачества, но с ним не сливавшейся. Все эти мужики, хохлы, работники, москали, кацапы, весь этот наброд, и не так говоривший, и не так живший, и не так ходивший, не так хозяйство ведший,— крестьянство во всем его бестолковом многообразии, свободное крестьянство без земли.

Уходивший в отруб или на хутор крестьянин проделывал двойную операцию: он п о к у п а л землю и одновременно о т к у п а л с я от мира. Крестьянин шел к земельной собственности, казак отрывался от природной. Крестьянин поддерживал

свою земельную собственность посредством товарно-денежных операций. Казак удерживал свою природную собственность посредством оружия и службы. Всякий шаг крестьянина вызывал «национальное» неприятие казака. Крестьянин отвечал казаку выставлением счета: казаку на один двор в среднем приходилось пятьдесят десятин, а средний крестьянин — одиннадцать десятин. Не знавший товарной цены, казак выделял землю в аренду по соображениям и подсчетам чисто феодальным: он ведь отдавал часть самого себя и, естественно, ждал, чтобы арендная плата удовлетворяла его как благодарный подарок.

Хватит ли жизни рассказать, как схлестнулись разлагающаяся крестьянская община с разлагающейся казачьей республикой, как расказачивали казаков казаки и как окрестьянивали их крестьяне?

Жестокость гражданских войн объясняется тем, что гражданские войны в сравнении с мировыми ведутся средствами, максимально удешевляющими акт убийства. Особенная жестокость и примитивность крестьянских гражданских войн проистекает из крестьянского характера ведения хозяйства: крестьянин убежден, что свой труд (ратный) на поле (брани) ему ничего не стоит.

Я вообще убежден, что войны — это ярмарки стоимости. Я пошел на эту войну, дошел до южных окраин и теперь, ожидая смерти (забоя), я понял: участие человека в собственной истории носит принципиально случайный, вероятностный характер. Если я правильно понимаю открытия в современной корпускулярной физике, существуют в природе процессы, предсказать которые невозможно, поскольку они протекают только тогда, когда протекают вот здесь и сейчас (как моя мысль и мое сознание).

К таким недетерминистическим процессам я отношу состояние и протекание человеческой психики.

С того момента как человек, согласно теории господина Дарвина, опредметил себя примитивными орудиями труда, сам человек, человек-сознание, человек-психика, мистическим образом исчез.

Удивление началось с того, что обнаружилось: человек смертен, со смертью исчезала психея. Попытка проследить возникновение души из небытия не дала результата. Единственным, а потому абсолютным доказательством бытия души являлось ее небытие. Достоверность небытия не требовала доказательств.

Но так как человек не мог отказаться от прижизненного обладания душой, то существование оной при жизни принималось на разумных, на договорных условиях.

Обращаю внимание на глубокую непрерывную с т р а н н о с т ь определения души через ее небытие. Эта странность порождала в договорных отношениях периодические кризисы, войны, а со временем (века! но что для небытия века!) появились и стали развиваться две основные, доминирующие формы договорных отношений: первая, не требующая особых условностей, вообще избегающая межличностных формальных установлений,— нация; вторая, развивающая повальную регламентацию, стремящаяся к абсолютной регламентации межличностных и межнациональных отношений,— государство.

Нация представляет условное продолжение индивидуальной (моей) души из небытия через семью—род—племя с окончательным завершением, закреплением «моей» души в «душе» нации.

Государство возникает в тот момент, когда «я» допускаю существование «твоей» души (а «ты» — «моей»). Так как «я» прихожусь, таким образом, причиной «твоей» души (напомню: абсолютной причиной души является ее небытие), «я» постоянно угрожаю «твоей» душе небытием,— государство помещается между «нами» для репрессивного регулирования «наших» отношений.

Сложность уловления души заключается в том, что форма, пытающаяся уловить душу, не может пересечь границу абсолютного определения души и замирает мертвой формой в области небытия. Такая же судьба и у государства: оно умирает по мере становления. Чтобы растянуть во времени эту агонию, государство ищет опоры и сближается с живой душой нации, долговременным биологическим эквивалентом индивидуальной живой души. Слияние государства и нации настолько естественно, что форма государственности может стать доминирующей национальной чертой сообщества, не имеющего национального лица. Такими и явились миру к а з а к и. «Гражданин по природе», казак принимал бюрократические структуры государства с такой же естественностью, с какой принимал костяк тела, форму земли, а отправление государственной службы — как отправление хозяйственной, хлебопашеской деятельности или воспроизводство семьи.

Поскольку общество определяет живую душу только через ее отчужденные формы (определение души со стороны ее небытия «выгодно» еще и тем, что позволяет определять душу ч а с т я м и, в то время как живая душа не поддается частичному определению), естественный союз государства и нации периодически терпит катастрофические разломы — живая душа шире любой отчужденной формы. Я рубил казаков и на стороне красных и на стороне белых и могу засвидетельствовать, что ярость, простая, фронтовая, бытовая ярость гражданской войны, имеет своей ближайшей целью отсечь «лишнюю» часть души. Каждый человек на подозрении: не взыграет ли в нем живая душа? как себя поведет? что скажет? как оседлает коня? как высморкается? как откликнется на голос есаула? Душа, не поддающаяся усечению, дразнит отчужденного человека, казака, запах крови становится запахом ее следа: вот, вот здесь она где-то! Я был в карательном отряде казачьих националистов и помню, как мы судили дезертира. На обмороженном лице его плакала улыбка — словно в день ангела. Он все вспоминал, делился последним воспоминаньем, как братались на германском фронте.

Ценились душегубы. Одно дело загубить душу в бою, тут как бы на равных. Другое дело рубануть, развалить надвое безоружного: состояние души всегда неопределенное и есть опасность отчекрыжить часть своей, кровной. Надо обладать внутренней неколебимой верой в правоту дела. Наравне с душегубами ценились те, кто умел словом, кто знал «заветное словцо», кто мог определить, снять, провести мистическую черту. Один военный хирург говорил мне, что клятва Гиппократа для того и изобретена, чтобы дать человеку возможность умереть в полном соответствии со своей душой.

Казак рубил казака как загнившую, переросшую вредным своим состоянием национальную душу казачества.

Только здесь, на тесном фронте Юга, я понял, что так называемый народ никогда не понимал д у ш у как нечто отвлеченное. Душа определяется ее погублением. Гуляймироновский казак уверял, что видел, своими очами бачил, как выходит из человека душа: «С-под ветра к нему зашел и рубанул с потягом. Он к стенке, ну, к плетнику прислонулся, сначала губами плям-плям, как из воды кинутый, а потом только глазами смотрел, смотрел, глаза так, словно в сон, тока веки не падают, медлехонько так ледком остыли, и вижу, еще не все, ветер волосы на голове шевелит, волосы шевелятся, по ветерку, испаринка подсыхает, подсыхает, а зараз уже и мертвые...»

Гражданская война вскрывала бездну, лежащую между живой, подвижной душой и средствами ее опредмечивания. Старый казак станицы Е-кой благодарил наш трибунал перед всем станичным кругом — за то, что мы расстреляли двух его сынов-дезертиров, и просил себе смерти, чтобы вывелось навсегда «гадово семя».

Гражданская война подводит сознание к самой границе смысла предметного мира живой души: все общественные институции теряют значение, рушатся. И поэтому война идет не за их сохранение или за установление новых институций, а целенаправленно — за подушное уничтожение врага. Там же, где праведный гнев сгущался, возникала потребность в мучительстве: душу, как бы виновную в том, что она не поддается частному определению, подвергали медленному умиранию, мстительно подразумевая: если «ты» не желаешь одушевлять национально-государственное и имущественное устройство, поставленное на основе «твоего» небытия, «мы» пропустим «тебя» через это устройство, чтобы «ты» поняла: каждое мгновение мучительной смерти душа умирала не какой-то своей частью, а целиком.

В том, как резал казак казака, бедный богатого, солдат офицера, крестьянин-наброд казака-жандарма, и тот и другой дворянина-латифундиста,— во всей этой резне я обнаружил еще одну историческую попытку человечества измерить душу мерой, соответствующей подвижной, беспредметной, сиюминутной природе души.

Я имею в виду с о з н а н и е. Сознание рассуждает так: «Душа, ты не желаешь умирать в предметах и вещах. Хорошо, вот тебе область, а б с о л ю т н о лишенная предметного мира, область о т н о ш е н и й, отношений живых человеческих душ, область этих отношений бесконечна, и этим они отвечают твоей потребности в бесконечном. Каждая точка этих отношений способна дробиться до бесконечности, и этим они отвечают твоей потребности в непрерывном. Эти отношения и есть сознание».

Сознание вызревало постепенно из отношений, отягощенных различной мерой предметности и вещности: отношения влюбленных, отношения сильного и слабого, солдата и офицера, начальника и подчиненного и т. п. в любой момент могут

черейти в предметные. Но вот исторический эйдос создал наконец такие отношения, из которых уже можно было извлечь почти идеальную форму отношений и при этом не удалять ее из материального мира, а сделать принципиальной частью этого мира. Я имею в виду отношения экономические, товарно-денежные, в которых сознание обнаружило с т о и м о с т н ы е *отношения, отношения, допустим, двух менял, где сам момент обмена почти абсолютно лишен предметных, чувственных, вещных атрибутов и осуществляется на предметах чувственно-сверхчувственных. Теперь сознание могло сказать: «Душа! Счет, мера, деньги, стоимость идеальны и к чувственно-сверхчувственным предметам, с помощью которых они закрепляются во внешнем мире, имеют самое отдаленное, такое же косвенное отношение, какое ты имеешь к предметному миру. Поэтому ты можешь безбоязненно вступать в область этих идеальных отношений — ведь это отношения живых людей, которые в каждой точке живут не частью своей жизни, а всей жизнью целиком».*

Обнаружение стоимостных отношений было подобно взрыву — взрыву мощной сверхновой звезды на просторах вселенной души. И только в лучах этой звезды возможно было появление Христа — принципиального противника стоимостных отношений.

Стоимость ворвалась в живую душу внезапно и навсегда изменила божественную исключительность ее. Как и душа, сознание сопровождает каждое движение человека; как и сознание, стоимость сопровождает производство (сотворение) каждой вещи. Но в отличие от души, которая движется всей жизнью человека, сознание движется последовательно, здесь и сейчас «я могу мыслить только одну мысль»; стоимость движется так же однонаправленно, но в отличие от сознания души, определяемого, как и сама душа, границей небытия, сознание стоимости разрывает границу между внешним миром, миром предметов-товаров, и внутренним миром души: если душа не хотела двигаться навстречу предметному миру, мы одушевим предметы и двинем их навстречу душе. Предметы, одушевленные сознанием стоимости, ворвались в божественную вселенную души (все, что от бога, равно-ценно), навсегда искривив ее пространство.

Чувственно-сверхчувственная с и л а *стоимости равнозначна любой другой природной силе (вегетарианец Лев Толстой, помню, что-то говорил о соразмерности сил человеческих и сил природных) именно и прежде всего как чувственно-сверхчувственная сила, почти идеальная в своей удаленности от чувственных способностей человека. Можно восклицать, что идеальное (царство божие) внутри нас, что надо изгонять менял из храма;— стоимость только усмехнется и скажет про себя: «Чем сильнее он ярится и проповедует, тем теснее переплетается с миром менял и торгашей: живая душа уловима лишь со стороны ее небытия, как предметный мир уловим лишь со стороны его стоимости».*

Можно исхитриться и сказать, что граница между живой душой и ее небытием условна и в т о м мире душа восстановит равнодействие. «Да,— ответит сознание стоимости,— но дорога туда лежит через царство моих ценностей, и если ты не хочешь кровопролития, тебе придется о т к у п и т ь с я *от меня».*

Отныне это противоречие будет воспроизводиться в каждом живом сознании, в каждой живой душе, и каждая живая душа вынуждена будет решать и перерешать это противоречие, то восходя на вершину меняльного искусства, то впадая в ярость и разрушая царство ценностей вместе с рядоположенным в нем человеком.

. . . . . .

Как ни складывай человека из семьи, быта, нации, собственности, сословности, в нем всегда остается нечто, превосходящее и более крупную сумму. Так в продукте человеческого труда есть все, чем богата природа, но есть и еще нечто, переданное от человека. И если бы не живая душа самого человека, то этой неравновесности никто бы и не замечал... Стоимость была вызвана к жизни для того, чтобы снять это непрерывное противоречие в душе человека, в его д у ш е в н о м *сознании. Путь смирения, предпринятый церковью, не давал результатов. Человек, движущийся постоянным расширенным воспроизводством (что само по себе загадочно, потому что душа не обнаруживаема в многообразии природных форм, увязанных в человеке, но именно она та точка, проходя через которую человек «самовозрастает по стоимости»), находился в непрерывном противоречии с самим собой. Стоимость пришла как сознание противоречия (товар — деньги, предмет — стоимость, покупатель — продавец), и целью ее было примирение человека с отчуждением продукта его труда. Не с отъемом — примитивным отчуждением, а экономическим,*

естественным для человеческого сознания путем: продукт труда, одушевленный стоимостью, своей физической природой так же бесконечно далек от «своей» стоимостной души, как бесконечно далек биологический человек от «своей» божественной души.

Казак вдруг понял, что бьется за сохранение патриархальной земли против кулака-мироеда, торгаша, скупщика, против продажи земли, против заразы стоимости, которая поражала невидимой холерой хозяйства,— земля уходила медленно из-под ног вольного хлебопашца. То же понимание нес в себе и крестьянин, терявший землю под натиском столыпинской реформы. Крестьянину невозможно было объяснить, что земля сначала должна превратиться в свою стоимость, а потом уже из стоимости возродиться плодородной собственностью. Война на Юге замирала, потому что российские природные крестьяне (и казаки и собственно крестьяне) выявили для себя одну общую истину: земля есть природное тело и владеть им надо без посредства денег.

. . . . . .

К деньгам крестьяне (и казаки) относились так же вещественно, как и к своей душе, и чувствовали в деньгах силу стоимостных отношений, превосходящую природную силу крестьянской души.

Крестьяне чувствовали то, что в городах уже понимали прогрессивные предприниматели, соединившие силу пара, силу электричества и силу стоимости. Открытый Марксом «закон стоимости» — в продукте человеческого труда всегда содержится нечто, превосходящее физические свойства продукта,— был законом мировым, законом, действующим в неуловимой, неизмеримой среде идеального. Как бы уловленное и как бы измеренное стоимостью идеальное стало причиной технической революции, изменения геологического лица Земли... И надо сказать, что задачей капитализма теперь было не извлечение, усиленное эксплуатацией, прибавочной стоимости, а (жалко, что я это понял здесь, в грязной, размытой степи, отчужденный от всех политических интересов и этим приговоренный к смерти) ее обуздание. Надо было найти такую форму экономической деятельности, чтобы в результате катастрофически возрастающей интенсивности труда появлялся продукт с намертво захороненной в нем прибавочной стоимостью.

Гуманизм, социал-демократия, борьба с безработицей, рост регулирующей роли государства (проклятая бюрократия!) не позволили бы создавать какие-нибудь резервации для бессмысленного труда. И тогда естественно была обнаружена сверхнравственная, сверхполезная, сверхнеобходимая форма умерщвления — военная индустрия...

. . . . . .

Хозяйка хаты, мать Мили, совсем ума лишилась: открывает сундук и нюхает рубашки мужа.

Непонятное имя — Миля. Девочка-девушка с сухим лобастым лицом. Мелетина? Людмила? Мария? Спрошу. Если мыши язык не съедят».

Весной двадцать третьего Миля размотала с головы платок, закинула шею, как пьющая утка. Отмытые древесной золой волосы до корешков, как зубы с кисла, принимали холодный воздух. В зеркальном глазке, сидевшем на колышках, пробегали Милины глаза, губы, на губах дуновением далекой памяти — вкус тростникового меда. Миля морщилась от резкого, резвого, с утра донимавшего чувства — травинка против шерстки. На что ни посмотри в хате, все уже было, все выплывало, а всем телом она здесь, вот в зеркальце, здесь светом в зеркальце, но за плечами, в душе за плечами подошедшее бывшее. Мать возилась в подпечке, оттуда вышерашивала запах золы — и тоже сугубой памятью. Миля вздрагивала как оживала, обслюнила кусочек красной бумажки, потерла щеки.

Она боялась больших зеркал. С детства привыкла глядеться в светлое дупло. Так со стыдом к себе мылась, кусочками, почти не раздеваясь. Грехом казалось увидеть себя. Два дня назад Абрамка Шелех ожег ее по ногам вербной хворостиной. Абрамка смотрел на нее так, словно увидел ее всю в клочке зеркала. Миля испугалась своего стыда, стыд вспорол ее, открыл — она не ведала такого стыда, который бесоватее бесстыдства.

Не стыд, но страх, такой же внезапный живой страх испытала она, когда от станичной бабки-повитухи узнала, что у Милиной мамаши первого ребенка звали Милей, Марией. Миля не приговорила мамаше за неправду, но стала допытываться, почему в больших семьях часто у детей одинаковые имена. Мать

все пожимала плечами, глядела на Милю беспокойными глазами привыкшей хоронить воспоминания так же, как хоронят человека. Но развязалась и сказала: «Умирали много. На всякий случай давали одно имя на двоих».

Вот теперь Миля вздрагивала, словно от свежего ветра, от внешнего в себе воспоминания, на что ни посмотрит — все словно ей кто-то напоминает о жизни. Ее имя уже было выкликнуто давным-давно вот этой женщиной, назвать которую на «ты» было великим грехом. Однажды имя было произнесено и осталось жить в мире, поджидая ее, Милю, и может быть, это болезненное воспоминание как бы с чужой головы — это вдруг зашевелившееся по весне, вербным воскресеньем, Имя, цельный покров которого распорол назойливый Абрамка? И не поэтому ли боится Миля увидеть себя целиком, не поэтому ли стыдится старым стыдом своего тела, что сшито оно под размер Имени?

«Мама, вы если что — я у Галюни». «Это которой?» — насмешливо не поняла мать. «На том бережку»,— насмешливо ответила Миля. Мать увидела ее лицо — лицо дитяти, прорастающее чуждой, не от матери пришедшей девичестью. Мать пугалась долгой, томительной боязнью: откуда ж навевалось это лицо на родное, отроду ощупанное? «Стёбает,— ворчала мать суеверно, пригашая в дочери выбрыки казавшейся дикой крови.— Отца как нет, он бы тебе оправу бы дал».

Миля сторонилась матери, выбегая на улицу, глядела в ту сторону, где оплывал в скороспелую речку студеный запах сбежавшего льда. Миля и сама остерегалась внезапных ударов светлого удушья. Боялась любоваться — собой, низко, протяжно продутым небом. Кто-то толкал ее что-то вспомнить — она говорила себе: не вспоминай, остерегись, не то вспомнишь такое, что страхом помрешь. Она как-то из церкви зашла в школу, потянуло туда, где, говорили когда-то ей, она искала говорящих, способных заговорить ее от припадков чужого воспоминания. Но в школе было холодно, детишки сидели по трое, в одежках, и незнакомая учителка что-то им читала. Дети не писали, и Миля подумала, что у них будет хорошая память, раз не записывают. И сама вспомнила, как тот же учитель природоведения водил их в степь собирать чернильные орешки — разводить чернила. Этими чернилами Миля писала — как корешки пускала в бумагу. Кто-то должен был рассказать ей, обговорить ее жизнь — те светлые приступы как бы чужого страстного отчаянья.

Иной раз Миле хотелось сесть и жить так, как будто она пишет письмо (так мать заставляла ее корябать, когда не было вестей от отца, Миля послушно садилась, но рука не слушалась, дрожала, Миля не знала, что напишет, а мать наклонялась над ней и, тыча вишневым пальцем, говорила, наговаривала; но то, что выходило из слов, совсем не попадало под материн голос), и тогда у нее дух перехватывало, ей хотелось кричать, кричать, перекрикивать — как перекрикивает пастух стадо овец, настигает отбившихся жеребцов, вгоняет характерных в стадо,— опережать слова-события, дующие сильно и летуче поперек Милиной жизни и Милиных чувств.

Пол в хате у Галюни был сухой, зеленый от свежей коровьей зеленки, с ветром из-под двери. У окна за столом сидел Галюнин сожитель. «Ото мой муж, нам и венчаться нет надобы, фамилья у него моя — Шпак!» Юхим Шпак был в светлой бородке, улыбался голубыми глазами, опрятно-смущенным лицом. Сидел напротив от Юхима Абрамка Шелех, на Милю — взглядом с подвернутой от стола головой, глаза хмельные, скользкие.

— Попа нового слышала? К земле, поет, возвращайтесь. А звонит с подрезом.

— Вот-вотачки,— говорил Юхим,— землица денежки просит. Давайте вот как есть свое товаричество образуем. А, Миля? Выходи за Абрама!

— Имя у тебя не нашего юрта. Казак ты под сомнением.

Абрамка подскочил, заплясал, пришаркивая сапогами, вертя перед Милей, как перед грудным ребенком, венчики пальцев: ипа-тюли, ипа-тюли!

— Как же не нашего! Он станичный, ты ж еще малой была, когда он уже быкам хвосты крутил!

Галюня закричала:

— Его же все Панькой звали! Дражнили: Паня-Паня!

Миля смело смотрела в светлые глаза Абрама, не отводила взгляд, гордясь тем, что у нее глаза темные.

— У-у-у, зенки,— Абрам пальцами-рогаткой поводил перед ее лицом.— Ты ж не степнячка, ты ж хохлушка.

Миля дернула его за гимнастерку, оторвала пуговицу.

— Ты сам кацап али жид. Прыгаешь и вертишься, порхаешь, пархатый.

Она толкнула его под смех и почувствовала тонкую кость на груди, сухую, легкую плоть, «уже бьет! ну еще за хиршу — и в воду!». Исчужа пришел Абрам, чуть вьющиеся темно-русые волосы приспали на лоб, нос тонким правилом держал лицо в напряжении, а по лицу от луповатых глаз к узкому угловатому подбородку без натуги, плавно ходила улыбка. Исчужа — Миля и это воспринимала как чье-то, из сторонней памяти идущее воспоминание. Она поглядывала на Галюню, на Юхима, все было между ними колдовски размазано. Как можно принять в себя чужого человека? В станице не было благолепия, земля плыла под ногами, одни упрямо оседали, другие, как Паня и Юхим, вертелись. Шла каждодневная скрытая война. Люди жили в злобноватой приветливости, сплетни оплетали станичный, кугутский быт.

Оговор, навет, Миля знала,— это было само собой. Оговорить, чтобы человек оправдывался. Другого человека не было. Надо каждого удерживать в своем мнении (Милина мать всю ближайшую округу перебирала чуть не каждый день — кто, куда, с чем), и мнение это должно подозревать, бес толкает человеческую душу, и беса надо упреждать. Человек не может стать лучше, чем он есть. Оговорить человека — это быть уверенным в том, что и завтра он будет, и будет таким же. Лучше обмануться в том, что человек плохой, чем в том, что он хороший.

И еще глубже почувствовала Миля: война оторвала человека от земли, оторвала с кровью. Или смерть оторвала, вот что было страшно. Человек пошел по земле переселенцем, а смерть перестала принадлежать земле, и пошел крестьянин, как Христос по водам, по земляному морю, не касаясь его стопой.

«Землицу навозью не поднять. Айда червонцы добывать».

«Перекрутимся весну-лето, а земля пока без нас полежит».

Юхим наливал в граненые стопки, Галюня говорила, чтобы не частил. Абрам, по кличке Паня (Миля уже называла его про себя по кличке и ревниво смотрела на то, как он хлебает из рюмки), слушал Юхима и сам себе пел: «По-над ярушком-ярочком, по-над крутым бережочком...» Галюня подвела свой голос под его: «Там стояли три садочка, сады зеленые...» Миля с завистью и с тревогой слушала ладный под мужскую речь голос подруги.

— Какие вы товарищи! — закричал слабым голосом Юхим.— Мы же миллионщиками будем. Деньги — вот же они, клад в кургане.

Они говорили о том, как развернутся, как пойдут арбузы, лук-сорокозубка, потом овцы, поросята, как выйдут на калмыков, повезут туда, привезут сюда, Миля выпила и, сдергивая опьянение, сторонясь ласкающей руки Абрама, понимала, что они (и она тоже!) желают п е т ь и весь их разговор-пересуд — это песня, и потом будет песня через всю степь, поперек ветра, под пыльными стогами, среди сбившихся в крутое тело жарких овец. И вот, вот что она предвидела жаркой, пьянеющей головой: их палит невиданный зной, всех людей, выжаривает новое беспощадное солнце, и люди гуртуются, толпятся, угинают головы друг другу под брюха, ищут тени, если не свободы, спасения, если не жизни.

«Рази мы не крепкие середняки? Будем нэпманами».

«За длинной деньгой на край света побегим».

«А мы по-казацки — наперерез».

«Да уж сколько наперерезали».

Набрали воз старой кукурузы, вывезли на станцию. Продали. Первые деньги Миля трубочкой свернула. Все-то в ладони утонуло. Странное чувство невесомой плоти. Абрам сцеловал ее ночью, она уползала под тулуп, степь стрекотала темными волнами, «подожди, подожди», Миля боялась чего-то за себя. Она хотела быть красивой, но мешали руки Абрама, они хватали ее за пальцы ног, за щиколотки, нежили кожу, а волосы на Милиных ногах ежились от испуга. Он открывал ей ноги, она накидывала тулуп, ей хотелось быть в тесной жаркой невозможности. Ей хотелось чувствовать заново: как воз кукурузы превращается в деньги и как радостно захватывает дух от этого превращения. У нее было сухо во рту, вся она была сухая. Абрам размазывал свои губы по ее лицу, нащупывал языком губы «в охотку», «с придаточком», он поигрывал голосом-дыханием, стрекотная хрипотца посвистывала над самым его сердцем. Миле казалось, что ничего не может быть, что чувство превращения все еще светлее его настойчивости. «Да не скрывайся, душенька ты моя». Она сама себе была преградой,

усилием легчаясь, она ослабла, засопела, они с головой были под тулупом, но обнажились ноги, Абрам пробивался в нее, стонал, опять пробивался, ослаб, увлажнился, откинул тулуп. Она хотела задернуть платьем, но Абрам держал ладонь, держал, пока не прилип. А потом опять, и темная туча ясно шла по небу, заглатывая синие звезды. «И чтоб ни капельки не пролилось,— сказал Абрам и зажал ее снизу пальцами.— Родишь мне детеночка, чуешь? Ну, чтобы все там скушала!»

Абрам, по-станичному Паня, видел в торговлишке возможность перепрыгнуть смерть. Он с кровью отрывался от земли, война и убийство «за так» подсказали ему, что жить можно пролетом над землей. Когда они рубили друг дружку, доказывали, что человеку цена — полушка, он считал, прикидывал: на каждого по взмаху шашки, по свинцовой пульке, не может, чтобы такая работа делалась зазря. Красные говорили, что земля общая, белые — что земля для хозяина, казаки — что земля казачья. Земля ушла в ничье. И человек полетел над нею ничей. Пока яблоко растет на яблоне — оно яблонево, но упало — берегись. Или за так съедят, или уж продадут. Надо было человеку доказывать теперь, что он чего-то стоит. Одни кинулись нагружать себя, свинчатку собственности подвешивать, чтобы с земли не снесло. Подозревал Паня, что и друг его Юхим того же нрава. Но не мог огрузнуть Паня, земля так напиталась смерти, что не скоро насытишь ее жизнью, не скоро даст она здоровые плоды. Смерть надолго обобществила казачьи паи.

Дорога из степи на станцию, где образовался базар, была самой любимой его дорогой. «Озолочу и крылья приделаю!» — говорил он Миле. Она щурилась, он заметил: это было ее привычкой — щуриться, словно отовсюду ей в глаза светило солнце. Она несла трудную беременность. «Ничего,— успокаивал Паня.— Вот купим соленый арбуз, посолонцуешь рыбкой — пройдет». На базаре, в жарком толпилище, среди лошадей, коров, ишаков, верблюдов, Паня распрягал свою пару, разворачивал их мордами к телеге и подсовывал сено. Миля уходила в тень. Паня ходил по рядам, встречал знакомых. Он улыбался закрытым ртом, щурился, но не от солнца, здесь же он встретил торговцев-иностранцев из степной коммуны; говорили о них, что приехали помогать поднимать урожай, привезли свой инвентарь, семьи, гутарили на многих языках. Были англичане, американцы, были немцы и поляки. Паня наткнулся на коммунара-англичанина с пареньком лет десяти, Джемсы. Пане понравилось, что англичанин на полголовы ниже. Англичанин с трудом говорил по-степному, всякое слово определял короткопалыми ладонями. Паня привел его к своей телеге: «Вот, это ж медовый сорт! Счас я тебе гарбузиху раскрою! А это моя жинка, она — во-о-о — дитя тут носит».

— Миля, у тебя рука легкая, найди гарную гарбузиху! А ты, Джемс, учись, она у меня ворожея.

Чернобровый англичанин теми же, на длину слова, ладонями принимал арбуз, покачивал, кивал. Миля разрезала арбуз и вдруг, увидев его красно-розовое чрево, уловив, показалось ей, слабый запах свежего мяса, задохнулась, скоро покромсав, забежала за бричку. Паня: «Куда?» — и стал торопливо объяснять англичанину, что ее с беременности тошнит, англичанин Джемс кивал, улыбался незаметно из-под черных бровей, он протянул сыну скибу, взял сам, они стали есть, Паня и свежий каравай разрезал: «Сильно с хлебушком!» Англичанин поблагодарил, он ел и пальцем перебирал темно-рыжие семечки как сортировал. Он согласно ответил, он покупал Панин воз арбузов и говорил, что хозяйничать и торговать надо обязательно с богом, с Иисусом. Паня не сразу его расслышал, помог паренек, Джемс-младший. Он говорил чисто, но интонации тоже были чистыми, паренек смотрел на Паню такими же голубыми глазами, как у отца, брови у него рано нарастали густыми плотными кисточками. Паня подумал, что англичанин его за что-то корит, и, посерьезнев, сказал: «Да, а как жеть без бога торговать! Я по-божески». Но они говорили долго, и тогда через гнусаво-экающую интонацию, через жаркое, скворчащее «шшэ», через степные слова, выворачивающиеся из английского рта так, как если бы из огуречного цветка вывернулся суслик, Паня, переглядываясь с бледной Милей, стал понимать: что революция — это хорошо, она освободила землю, но что революция — это очень плохо, если русские крестьяне и казаки опоздают. Между ладонями Джемса-старшего двигался плотный брус пустоты. Мальчик помогал подбирать слова: земля не может быть долго свободной, как и человек. Человек должен обосновать

себя, свою душу, но это обоснование невозможно создать только государственной властью («Ваш ленинский государств — фьюу-у, далек!»). Рынок нельзя вести так, халды-балды, сказал смешно Джемс-старший, рынок — это... мальчик бился тоже, закрывал глаза, вспоминая слова, Джемс глядел поверх уже вечереющего базара, «русский весы», сказал англичанин, он покачал головой. Миля кивнула, ее мутило, она посасывала кусок соленой рыбы, весы — это она понимала, странно понимать было ей эту тошнотворную невесомость, когда сама она тяжелела и распухала. Государство не может владеть землей, как церковь душою. Не земля и не государство создают капитал, а человеческий труд, но если трудовой человек не будет верить, то нет таких весов, на которых можно было бы взвесить затраченные им силы. Домой они побежали уже в сумерках. Миля ругала Паню за его назойливый разговор с англичанином, она истомилась, измучилась, Паня помалкивал, он подгонял смурных лошадей, тревожно напряженный душой: никак не мог сбросить остатки внимания, с которым он слушал коммунара. Чужое сознание, чужая далекая жизнь открылись ему внезапно — тенью над холодным тихим родником... «Миль, а давай на криничку свернем?» Он притормозил и вгляделся в лицо жены — она спала, и Пане стало вдруг жаль ее. Странная, высокая, выросшая из напряженного, нервного внимания к чужестранцу жалость запылала звездной зарницей: Миля отвернулась в сон. Что же не так он делает? о какой вере говорил коммунар? как подбить душу, на сколько ног? как жить в степи, куда смотреть? Лицо жены было светлым и тяжелым, словно блик полной, до края созревшей луны. «К январю, к лютым заметям снесет». Стало так жаль, что ему захотелось разбудить ее и просить прощения за свою летучую бездумную вину (за что? в чем виноват? Господи праведный, да скажи слово же, скажи, за что виноват? я из крови вылез, спасся, за это? что жить хочу и цену себе ищу — за это? за всю смерть, пролитую в густую прожорливую степь,— за это? да назови же ты мою вину!), просить прощения у нее, и чтобы в этом ее прощении вина стала живой, не давящей. Минута была сильной, он знал: утром завтра не попросит уже прощения. Утром человек ни в чем не виноват. Не попросит, жизнь не позволит. И не посмел разбудить, силою подавил свой страх, знакомый и на всю жизнь обосновавшийся страх; пустота, над которой он обречен теперь летать, через нее перелетать. Не разбудил, не смел отнять у жены то, что не им даровано, не им куплено-заработано: это маленькое счастье, которым делится осторожная природа, отнимая его у всеобщей заприродной смерти.

Вспомнил губительную засуху. В семье он, брат Иосиф, сестра Ганька, Ганька другая, Панька большая и Панька маленькая. Отец на базу, рвет зубами фуражку. Девчонки не слушают мать, утром собрались, пошли к дальним родственникам, в неблизкую станицу Святославскую, дети все время передвигаются, суховей не дает покоя. Скотина жрет траву с корнями, овцы набивают пылью мозги и падают замертво. Корова Танька, чуя неладное, торчит по брюхо в воде. Девчонки ходят ее упрашивать, заберутся в камыш и зовут на голоса: «Танька, Танюшка, идь домой». Ганька другая шлепает в нее тиной. Танька глядит зачарованными глазами на противоположный берег заилевшей реки и дальше, в засоленные поля. Приходит мать: «Бисовы дити, что вы скотынку огадили!» Танька не идет, мать силком, коленом, выталкивает ее на берег.

Корова устала, не доится, устала вся семья. Умрут обе Паньки, Ганька другая, мать, отец, брат сгинет на германской. Одна Ганька останется, возненавидит брата Абрама: все будет припоминать, как ухаживала за ним покойница, а сама от детей прятала еду, Ганька повторяла злую молитву-быль: входит в пристроечку — мать ложкой сметану ест. «Мама, вы чего?» — «А не подглядывай, бисова душа!» — и ложкой по голове... Война подсказала: рвись, Абрам! с капиталом, как с хорошим конем,— вынесет!

— душа —

— утварь души —

— не троньте утварь души —

— она складывалась поколениями —

— все стоит на своем месте — у этой утвари нет места —

— она всегда нужна — она должна быть под рукой —

— потому у быта души такой бесхозный вид — а для чего забивать место? — вот умрет человек и с ним утварь — нет времени и надобности нет — я знаю, где что стоит,— я не ошибусь никогда — песню своей души я спою сам — ходи

и не оглядывайся — я знаю, где что лежит,— всей жизнью своей я знаю, где что лежит,— как на базу у батюшки, в душе у меня для пришлеца все в беспорядке — с птичьего крыла упала станица — и невидима сердцевина быта — невидима стремнина реки — разорите баз — изведите хозяйство — душа будет жить своим сварливым беспорядком — я знаю, где что лежит,— и если закричат смертным криком в самое ухо: «Откуда э т о? где взял?!» — всё под рукой — смерть помогает мужику обустроиться —

Врожденное, родовое чувство неподвижности земли подсечено было у корня.

Напрягаясь запоздалым сознанием, Абрам прозревал нерусским языком сложённую душу Джемса (Джемс Брус, оказалось, «Брус! Брусок, мать моя тетка, направлять нас приехал»): у них там, в его стране, земля давным-давно пронизана, как корешками, расчетом. А здесь Абрам, у которого при расчете сердце екает конской селезенкой: кто кого? Легче стало, когда не своим стал торговать, но все сердце заходится, на базар везет воз дынь, в голове везет «возьму пять рублей». На базаре глаза разгораются, а время идет, народ путает все условия, сила нужна, чтобы удержать себя, не изойти кровью суеты. И пока расхваливает товар, так в него душу вложит (запах медовой степной дыни, опьяненные толстые пчелы, солома, которая долго будет пахнуть дынной медовухой, крик ишака, всей, казалось, грудью поднятый над толковищем, и собственный голос: «А вот дыня, духовита дыня! Медовая дынка, сладкая, как жинка!» — и вспоминал охваченную животом Милю, мучился внезапным острым страхом, торопился продать), что уж и не поймет, чем торгует. Да причапает старый в гнилом околыше, в лампасных штанах, пропятнанных мочой, станет перебирать и нюхать: «Это откель такие? Митьковские или с песков?» И поглядит в глаза, обязательно в глаза залезет, ухватит за черешок и потянет: «А не зазорно казаку жидовским делом заниматься?»

Земля привязывает, как мать-отец, от них же невозможно отрубиться, даже если ненавистью напитаешься, они остаются в тебе... Абрам, бывали минуты, удивлялся: чего это они в гражданскую так резали друг друга, так безоглядно рушили? И понимал — скатывался с холма удивления: мстили. «Ты меня от земли-матушки отрезал, а я тебя от жизни отрежу!» Отец хрип надрывал, отцов отец скособочился на поле — как было не понять: кто-то бескровно оттягивал от казака землю. Джемс Брус сказал: казаки плохо умели пахать и сеять, не воспитывали землю. Валтузили, ковыряли, у бога же просили поболее трудов своих. Овцы степь объели, не дают траве отдохнуть... «И за это наказание?» — у Абрама в груди рождалась неуемная дрожь, выходило, что земля з н а л а и готовила наказание и обрушила на головы варваров пулеметы, танки, гаубицы. Знала, во что и на что рожала Абрама? И если знала, значит, такое уже было на памяти земли? Но знала ли мать, скольких родит? Знала или не знала? Наверное, не знала, Абрам сам видел то, что в душу сестры запало зерном ненависти: устав делить остатки, мать сама потихоньку ела. И почему сестра так сознательно приняла эту ненависть, как будто поджидала ее? Добро не знает, за что будет любить, ненависть знает, за что будет ненавидеть.

Абрам полюбил Милю любовью выгульной, обнимал ее, нацеловывал, но все как бы с ожиданием: не сейчас настоящая любовь будет, потом, потом придет какая-то невзятая, нагуленная, полная, а сейчас перебудем и так, вот с этими нашими телами, торопливо обнимая друг друга, приживемся, обиходим друг дружку. В страсти оба закручивались так, что вдруг забывали друг друга — и вдруг же помнили, Абрам следил за ее лицом, целовал вкрадчиво, нежно, убаюкивал, но если она настораживалась — он выбрасывался из нее, стонал, проливая себя в мертвую пустоту. Пьяным делал вид, что забывался. И тогда Миля торопливо выгребала его семя из себя. Не убереглась и донашивала. Абрам имел такое чувство, что не его это вина, он проскакивал над случившимся. «Не я, не насильничал, так, само собой». И спохватывался: да ведь ребенок будет! «А мы его задумывали? — отвечал себе. И прибавлял насмешливо: — Самосев!»

Человек не таков, каким его делает жизнь и уклад, Абрам понял это не тогда, когда Миля родила недоумка Никиту (1924 год), и не тогда, когда родила дочку Воленьку (1925 год). Дети вбрасывались в мир, как повторял Абрам, самосевом. Понял он, что человек далек от обычаев обихода и бессмысленны все его попытки перелететь через рассеянную смерть, все его метания по степи с мыслью о выгоде, он не поспевает — земля шире и грознее, чем казалась ему после войны. Чтобы взять эту землю с выгодой, не хватит жизни и ее накоплений... Они бегали

с Милей в совхоз коммунаров. Миля всюду брала с собой детей — кормила и дочку, и еще не отгаданного недоумка Никиту. Она стойко переносила знойный перебег, и дети у нее молчали, груди были велики и прохладны, сама Миля была спокойна и весела. Абрам гнал пару по пыльному, тихому шляху. Они прибежали почти под вечер. Их встретил Джемс — небольшой, загорелый по локти и грудь. Он махнул им: «Туда» — и они завороТили в проулок. Здесь коммунары месили ногами саманную жижу, строили временный дом для новой семьи из Германии. Они уже заканчивали дневную ряду, говор был густой, словно голоса гусей перемешивались с голосами овец и коз. Потом сидели все за столами, говорили замедленно, перевод — через переводчика к переводчику — колол разговор на куски. А потом стали петь, и Абрам попросил бутылки, налил их водой и заиграл — заиграл на радость Миле, на радость Джемсу и его парнишке, появилась гитара и губная гармошка. Абрам вызванивал с переходами, с подбором чудных, самовольных выходок — в густых тенях пустынного, без деревьев поселка, в непрокрикиваемой духоте шел ветерком водяной и стеклянный прыг-скок,— и пел из-под дисканта Абрам:

На дорози жук, жук,
На дорози черный.
Подывыся, дивчина,
Якый я моторный!

Да, он вспоминал, это была маевка. Ранний жаркий май, коммунары пели в ночи свои стройные, непонятные песни и пели что-то еще веселое, но тоже как бы в походе... Миля сидела возле плечо в плечо, Абрам не слышал ее, она говорила, он тяжело не слышал, он вдруг понял: вот эти люди и он — они разные, живут разной жизнью, и, что подогревало жжением наползающий ужас, они все были на его земле; но спроси его: кто же, коммунары или он, живет правильной, нужной, наполняемой жизнью? — он ответил бы (и ужас пришел черной, исступленной ясностью), он сказал бы: «Не я». Он прислушался к их говору и сказал себе: «И не они». Но ужас этого не требовал, ужас сказал: не ты. Кто-то в темноте пытался играть на бутылках, картаво смеялся немец-новосел, и Абрам слышал свое имя. Услышал свое имя дважды. О нем говорили в далеке чужого языка. Он понял: не поспеть ему сменить жизнь, из своей не выпрыгнешь, не сменить своего языка на чужой, потому что своим языком говоришь себе, а если себе говорить на чужом — навсегда останешься в далеком, полумертвом молчании.

Но не в этом был ужас. Ужас был в том, что не трогал ни одного чувства: когда подкатило, Абрам испугался за Милю, потом с беспокойством больного подумал о дочке, о сыне... Нет, их не касался ужас и не грозил им. Подошел Джемс, сказал хорошо: «Пойдем спать». Его сын потянул Абрама за руку, Абрам приобнял мальчика, погладил по голове, и в этом движении словно бы что-то проскользнуло, он даже на минуту удивился: уж не заброшенность ли колонистов передалась ему этим ужасом? Он сказал, что будет спать в бричке. Миля ушла с детьми в хату...

Он лежал на кошме, лошади дергали из-под него сено. Абрам влажными глазами смотрел на звезды, и звезды казались текучими, и угасающие зарницы дрожали словно отсветы над рекой. Пришел сын Бруса, принес попонку накрыться. Лицо его угадывалось, Абрам потянул цигарку посильнее и сам усмехнулся тому, что не как резиновый шарик вдуванием, а вытягиванием разросся малиновый шар света,— на мгновение появилось легкое лицо паренька, черные волосы не отпускала тьма, только лоб и подбородок, мальчик улыбался: «Ззябнете». «А ну, до петухов». Абрам сказал негромко, чтобы не обидеть себя голосом. Надо было молчать. Ужас стелился в нем, не исходил. Абрам задышал сильнее, пытаясь настелить чувства на грозящую пустоту,— чувства тонули, промахивались как дырявые.

Это было врожденной привычкой: жить ощущениями и следовать им. Он и мыслил ощущениями, розмыслами не баловался. Только война отняла эту привычку, страх был нечувствителен настолько, что даже ранение, полученное в какой-то атаке, он не сразу ощутил: страх и, глубже, ужас были нечувствительными даже к боли. Они исходили из головы, из понимания чего-то, что чувствам было недоступно. Ужас рождался от необходимости понять и невозможности понять. И выходило, что человек наращивал свои чувства, чтобы отгородиться от необходимости понимать. «А ежели так, ежели это так,— думал Абрам, трудясь

над мраком,— человек родится раньше своей души». И, стелясь за природой, играя, выигрывает самое сильное противительное чувство — любовь. Милка была такой: сейчас давай любить, жизнь такая, давай любить сейчас, и ничего позади нет, и в душе ничего не должно быть, давай бежать, рваться вперед, требовала она. Абрам не узнавал ее, «делай то, беги делай это!» — и любовь клубилась во всем, клубилась под ногами, как пыль за бегущим конем. Милка что-то высматривала или высмотрела впереди, она говорила: «Народ злой, клеклый. Не мы, так дети взойдут!» Сухоть прошла в Милке, она стала сальной, пахучей. Волосы светились тусклым кошачьим глянцем. Абрам еще не бил ее, но стал ревновать. Ревность же была не к кобелям, а к ней, к тому, что в ней глубоко, истово-истомно веселило плоть. Ревновал, подстрекаемый ужасом. Лошади замирали у него над головой, посапывали, то опять принимались выдергивать солому. Абрам гладил волосы на больно вспухшем виске и засыпал. Закричал ребенок, Никитка, зашикала, убаюкивая, Миля. Коммунары еще не обзавелись собаками, молодой кобелек издали крякал точно селезень.

Человек рожден испытывать мысль раньше чувства. Иначе бы он не был частью живой природы. Можно ли почувствовать вопль вырванного суховеем корешка пшеницы? Безумие овцы, нажравшейся до мозга паразитами? Сладострастие коровы, отдающей молоко реликтовой змее? Человек не может почувствовать, но может понять. Человек — это мысль, сознание природы, та волшебная, сказочная, мистическая граница между живой и неживой природой, озирающая одновременно и жизнь и нежизнь. И граница эта — пустота, ужас, страх, предельное состояние человека — сладострастие, ломающее всякое ощущение формы и завершенности... Миля готова была все время говорить о несчастье, о том, что́ Абрам (все более становившийся станичным Паней) уже прожил, и возвращаться ему было страшно, на пути назад лежал ужас. Теперь Миля не сторожилась, ждала его, и Абрам восходил, восходил, теряя тело, силы, теряя имя свое, имя ее, теряя слова, их оболочки, испытывая боль, которая не могла быть болью телесной, прибранный сильными руками жены, восходил Абрам, по-станичному Паня, играющий на бутылках, восходил — падал, испытывая обман сладострастия, любви, нежности, жалости, усталости, покоя,— это простиралась над водами лунная дорожка скрытой солнечным светом луны.

Землю было не взять. Земля отошла. И все, что связано было с землей, отошло. Все, что медленно, из поколения в поколение, нарабатывалось на земле и что укладывалось внутренними органами крестьянина... Эти «органы», черёвы болели, зависнув в пустоте. Они откладывались каменьями-душой. Мужик знал, как живет, и всякая новь была ему опасна, он воевал с внезапностью, обкладывал ее гуртом, станицей, кругом, он знал, как возвращать бытие на привычный шлях. К этому знанию он вырастал из материнской утробы. Он до смерти забивал всякого, кто шел поперек круга, и сам вкрещивался в круг.

Земля была безвидна и пуста.

И Дух над нею. Сложенный из весен, корневых позывов чернозема, зареванных жеребцов, каждую весну казак что-то околачивал в себе, огораживал, что-то приспосабливал на видимом пространстве беспамятства: в человека врастали внутренности сошедшейся с ним природы. Так рождался новый человек: когда отошла земля и все нити с нею оборвались, воспарил новый человек. Так родился новый человек — из старого, связанного с землей привычками, походя (так выдаивал корову, брал траву на своем уляше, солил рыбу или прибирал яйца из-под курицы) погруженный в кругосветную работу пахаря, полстовала, кожевенника, рыбоспетщика, гончара, хлебопекаря, шорника... (согласно земской переписи). Так ли рождался человек вообще? Долго, до изнеможения долго вынашивался в недрах природы — и вынашивал природу в своих недрах. Шло как бы по двоякому смыслу, с двоякой пред-целью: что понадобится — человек в природе или природа в человеке? Миля приглядывалась к себе, как приглядывалась и прислушивалась к другим. Другим был Абрам — Паня,— он стал делать на продажу табуретки. Табуретки получались шаткие, Никитус защемил себе зад, плакал, просил показать, что там на теле болит, и терзал обидчицу.

Миля прислушивалась, приглядывалась к себе, теперь это стало ее работой. Как будто весь мир сошелся в ней и перемешивался, перемещался, приостанав-

ливался внезапно, с тошнотой образуя пустоту, и вдруг выпрыгивал сазаном из омута просоночной одури. Так рождались ее дети, и она всегда была напряжена: через нее, чтобы выйти, протискивался человек. Не только ее кровь, ее дыхание, но прежде всего и до всего — кровь ее души, дыхание ее мысли определяли, быть человеку или нет. Ни одна судорога в человеке не проходит помимо его сознания.

В ней стала появляться другая память, другие воспоминания, из этого Миля поняла, что памяти нет, и если кто-то вспоминал что-либо с пристоном, со вздохами, как будто там, в памяти, был воздух, которым кормилась дыхалка,— Миля свирепела: память была обиходной, товарной, подсобной. Что жизнь заготовила, то и бери вспоминай. Миля свирепела оттого, что станичники как воровски тощили землю, так истощали свою память. Умирал человек при жизни — Милина мать, осиротев без мужа, внуками не насыщалась. И Миля была ей не нужна. Она улыбалась Абраму, благодарила его за заботу. «Прижилась я, прижилась,— говорила она, улыбаясь, чтобы видели, остатками зубов.— Ой, спасибочки вам». «Да ладно вам, мама, убиваться,— уговаривал Абрам, особенно во хмелю.— Что ж вы ноги в могилу! Я туда сам не пойду». Она глядела на Абрама по-доброму (Миля видела, как мать *делает* эту доброту) и отвечала: «Память не пересеешь». «А тянуть из нее раз по разу жилы — можно»,— говорила Миля.

Одно всполошно пугало Милю: что память не засеешь, что брать приходится то, что на память случайно легло. Это значит, что есть некая неведомая сила случайности и не от тебя зависит, каким ты выпрыгнешь в этот мир? Миля скреплялась усилием воли, не давала страху быть долгим — потому что чувствовала его непомерную глубину. Чувства человеческие, как пузыри на воде, плыли над этой бездной, теряя свою человеческую теплоту, привязанность, кровность, они переставали принадлежать душе, родственности, их овевал непрерывный поток роковой пустоты. И не было силы вне человека, способной скрепить ужаснувшуюся душу, был лишь сам человек, и его воля, кулак, и сиюминутный поток самóй непрерывной жизни. Да сознание могло заглядывать в бездонный колодец страха.

Мать тщательно прибиралась к смерти. Ладно бы молчки, она же все до корочки объясняла Вольке — девка всегда при ней была, когда бабка открывала свой сундук с приданым для смерти. Бабка говорила Вольке как взрослой, чтó надо будет сделать, когда бабка вытянется, как и что надеть, как повязать, как уложить. Волька смотрела на приданое Милиным поджатым нижними веками взглядом, запоминала. Миля гнала ее, а матери выговаривала: «Вы чё дите пугаете, чё завораживаете?» «Дите не помолится, коли не напугать»,— отвечала мать. Миле казалось, что она так тщательно, так бесстрашно, не брегуя, обряжает саму смерть. И это было чем-то похоже на то, как безумно, бессмысленно старается Абрам повыгоднее вложить деньги (денег-то почти не было). Как мать готовилась красиво вложить себя в гробовое приданое, так Абрам изворачивался вложить деньги и красиво получить доход.

Человек сначала рождается, потом является. Милю нашла и вывела в мир любовь. Любовь нашла ее прямо на земле, так Миля находила стеклышко на пыльной незапамятной улице. Нашла и надышала в нее жизнь. Так Миля оживляла куклу, надыхивая тепло в нитяные волосы. Миля стояла на улице, под воротами, смотрела из солнечного затмения. Она ждала и знала, чего ждет. Миля прижимала коленку к коленке, терла в лодыжках косточку о косточку — слушала себя. Миля парилась в созерцании и напряженно прислушивалась. Издали закричала женщина. Миля почувствовала себя маленькой — не по возрасту, а по тому, что могла вся уйти под короткую тень ворот. Миля знала, кто кричит, уже стучал конь в мякоть улицы, взвыла соседская собака. Из ворот вышла мать, вытирая руки тряпицей. Молодой казак Прищепа, неторопливо гарцуя, волок по улице свою неверную жинку. У тетки-молодухи была длинная черная коса, Прищепе хватило дважды намотать ее на кулак. Конь отгибался, сторонился, молодуха обнимала мужнин сапог, подскакивала. Фуражка на Прищепе торчала козырьком вбок, но он не замечал и гордо прямил спину. Солнце наклонялось навстречу, относило тени к церкви. Конь подковно загибал шею и шел винтом. Прищепа выцеживал пену на усы, на подбородок, он делал дело, приноравливая к этому делу коня и жинку. Конь брезговал его работой. Жинка как могла помогала, ее оголенный перед всей улицей затылок был срамно светел, жинка семенила или размашисто бежала, подскакивала, билась головой о ногу мужа и

улыбалась подтянутой кверху улыбкой. Жинка кричала, и Миля видела вокруг них радостно освобожденный свет — это был свет любви, и Миля видела, что для любви человек ткется из тончайших нитей (эти нити накрепко держал в кулаке казак Прищепа), они оплетали тончайшим узором тяжелую плоть человека. С тех пор, напуганная, она осторожно распускала косу, осторожно расчесывала и быстро заплетала, увязывала в узел. Миля поняла (поняла, а не повзрослела), что невидимая рука любви выловила Милю в светлой кубышке мира, и раз уж эта случайность снизошла на нее (ибо случайность есть закон любви, и свершается этот закон не в человеке, а посредством человека), значит, Миля выбрана и потому любовь есть ее удел.

Человек для Мили был всегда женщиной, а женщиной была Миля. Она расчесывала волосы, просевала себя через гребенку, проверяла свою цельность и всегда с удовольствием завязывала узел. Человек был женщиной, а Миля была оправдена в правоту призванности.

Миля еще вспоминала и рассказывала детям — засевала их воспоминанием, назидательно подразумевая, что плоть для человека мала, но понять и почувствовать это он может только однажды... По станице пробежал ветерок, казаки окрысились друг на друга, как зерно в грохоте тронулись, посыпались злые упреки. Отец, считавший себя крепким середняком (почти зажиточным), ругал голоштанных и шипел на кулаков. Мать вынула из ушей Мили золотые сережки. Страх, что случится беда в хозяйстве — падеж, неурожай — и они выпадут, обнищают и не поднимутся, каждодневная дрожь, что потеряют честь («Блюди себя!» — жестоко повторяла маманя),— страх этот вдруг стал как бы уличным, дворовым, гулящим. Природа — великая скотина, ее запрягают, она норовится, она тянет, она подминает. Ни мать, ни отец Милины не умели думать, их мысли двигались как часть хозяйства. И когда среди казаков запохаживала рознь, Миля поняла, что мысль — от Бога. Напряжение людских сил вплетено в природную круговерть и движется слепо, а то, что можно уследить, чуть-чуть приподняв наезженную выю, и что-то предугадать,— это от Бога. По воскресеньям в церковь — чтобы отблагодарить бога (не своим умом живет человек!) за способность думать, сознавать край. Мысль — кара в руце божьей, она холодна, как безмен, и дана человеку, чтобы он взвешивал, уважива́л себя в конце каждого дня: в человеке ничего святого, одно только чувство неравенства, припадочная обида на природу — а теперь вот друг на друга. Батя вдруг стал ласков, это значит взыграла тоска, опрокинулось природное на человечье, тоска кралась смертной тенью по станичным улицам, плющила сердца. На чутком безмене прикидывал он не возможность справедливого уклада жизни, а обиды, нанесенные такими же жестокими безменами ожиревших соседей. Природа, с которой он был сращен, не могла дать ему понимания справедливости. Ну как можно уравнять реку? как поделить поровну лог? Ведь всякий раз конаются так, точно жизнь делят. Как жизнь разделить так, чтобы человек не в обиду себе рождался?

Батя стоял с карабином у фортки калиточки. Били еще не друг дружку, ждали каких-то из степи. («Тада еще не знали, что будет мировая война»,— рассказывала Миля детям, а дети слушали не так, как ей надо было: Волька, вырастая, совсем отошла и заматерела в своем уме, Никитус был придурком, Миля надеялась, что перерастет, но подрезанные на молодой месяц ногти не помогли — Никитус гугнил, в глубинах своего безумия внимая двойнику, напарнику, как прозвал его Паня. И позже только Миколайчик, травленый, клейменый, выдёживший, открылся ее усилиям.) А потом подошел какой-то военный. Был снег, и слышно было в хате, как скрипят кошачьи подошвы его мягких сапог. Мамка кинулась из хаты, чтобы — Миля знала — защитить батю, Миля за нею. Батя стоял у фортки калиточки и военного не пускал. Военный был молодой, все молодые казались Миле моложе отца — отец всегда был для Мили пожилым. И Миля всегда смущалась, когда отец вдруг делал что-нибудь, что могли делать только бесноватые молодые. И сам отец, тоже из неловкости перед Милей, сухменил лицо, щурил глаза: мол, доча, если что отчубучу, мне можна. После первого выстрела молодой упал на колени и стал просить: «Дяденька, опамятуйтесь!» Отец отступил на шаг-два, а молодой ковылял к нему. И батяня опять стрельнул, молодой упал на руки, схватился за снег как за одеяло, папаха скувыркнулась, и волосы выпятились рогаткой. Миля испугалась и закричала — и тогда услышала, как воет мать. Миля дернула ее, стала бить кулаком по заду, толкать ее вперед: «Он папаню укусит!» Молодой скулачил снег и пополз к

фортке, батяня сказал, словно петух на полдень: «Куда, шваль?» — и еще стрельнул, а ногой фортку колыхнул, сломил. Молодой раскачивался на четвереньках, лицо поднял — словно от снега оторвал, кровь текла изо рта, не отрывалась, он все просил, ему трудно было говорить, задрав на батю лицо, но он боялся опустить голову и просил через клекот: «Дяденька, больно мне». И тогда батя еще стрельнул, молодой уронил лицо, он стоял на коленках и, как младенец, все мотал большой неподъемной головой.

Одного убийства на всю жизнь хватит. Оно останется жить, вживясь, как еще одно природное чувство. И оно равновелико другим — любви к мужу, к детям рожденным и вытравленным, скотине, утвари... Миля не знала этого. Не знала, что человек может дать жизнь новым чувствам и таким же глубоким, какими на скорую руку наделяет природа. Когда у нее родился первенец — Никитка, Миля все не могла примириться с его существованием, не понимала, как он мог быть вне ее, она вглядывалась в его лицо с той же немигающей неподвижностью, с какой глядел на нее младенец, и в этой немигающей внимательности она замечала нечто, что пугало ее, как будто младенец знал что-то, что скрывал от нее. Она отходила от зыбки, замирала, ждала, когда он перестанет кряхтеть, забудется,— и тогда вдруг взлетала руками над зыбкой, «уууууу!» кричала, и вздрагивала вместе с младенцем, и таращилась в его глаза, тогда еще не створоженные безумьем.

Она не спрашивала: для чего пришел он в мир? Она вглядывалась в него, как в гадательную воду, чтобы понять: что он сделает в будущем? Не могло же быть так, что этот чудоня, вырвавшийся из нее, лишь пользовался ею?

Каждое чувство входило своим стволом и ничем не было связано с другими, как ночь не была связана с днем, как любовь, истома, тайная от детей жизнь никак не связывались с бытом, трудом; и также любое чувство, какое ни возьми, росло самостоятельно, и лишь каждодневное насилие над ним, связанность его с обиходом, навыком, словом-направителем, соединяло его с другими чувствами в нечто одно, называемое душным словом «душа». Не было среди стволов ничего общего, разная кровь бежала в них, разными плодами они плодоносили — и пока была земля у казака (а теперь обезумевшего хлебопашца), она держала их как бы в одном корне (и корней общих не было! теперь-то Миля это видела, видела, как распадаются лица станичников — «плоды» искромсанной природы), в одной связке, а нынче же распадались стволы, казак (а чем не москаль, не кацап, не хохол, не инородец?) как за последнее держался за кантованные штаны, продуваемые неведомым, не степным ветром. И не уберегали казака ни крест, ни форма, время урабатывало его как врага.

Человек — родовой узелок памяти на веревочке жизни. Человек завязывался на память. И другой истории в станице не знали. Узелки стала развязывать война — сначала мировая, потом гражданская. Узелки не развязывались — завязывались намертво. И надо было их рубить. Так рубил Абрам, не понимая, для чего, но зная (тесно было это знание, ходило рядом со смертью, но с нею не сливалось), что и н а ч е не понять. Подступила история, поднялась по сосудам земли, прошлое и будущее слепяще сошлись на острие дня.

Странно обнаруживать себя в мире, где еще ни одна твоя частица не участвует в будущей жизни.

Неужели это разрыв? Но возможен ли он, ведь ты жив и ты связывал все эти миры... Неужели ты — р а з р ы в?

Самое страшное: прошлого нет. Ничто из прошлого невозможно водвинуть в настоящее: оживленное и осмысленное, оно начисто теряет смысл прошлого.

Нет прошлого, и ссылки на него есть уловка: насытить настоящее энергией небытия.

Откуда в нас это обращение к памяти как к своду доказательств, которыми можно подтвердить или опровергнуть настоящее? Да не оттуда ли, откуда привычка о т к л а д ы в а т ь в п р о к?

Отложить впрок, на черный день, который обязательно придет,— отложить «кусочек жизни»? А почему нет? Ведь была уверенность, что жизнь продлится несмотря ни на что... Вот же вам: никто не гарантирует!

И тогда понятна природа памяти: это мертвая жизнь, отложенная впрок, и ею ничего невозможно подтвердить или опровергнуть. Из боязни жить убегал человек в лабиринт памяти: спокойнее плутать, зная, что черный день обещан, чем подвергаться ошеломляющей неопределенности жизни.

Нэп выдавил потроха, молоко — пятнадцать копеек четверть, баранина, телятина, козлятина молодая, свиные колбасы, зимой капуста пилюсткой, солнечная олея, на печи, где Никитка с Волькой, семечки, сушеные груши, вишни, сливы, яблоки. Караваи из белокурки. Потроха лезли, лезли. Большелобое лицо Мили светилось, глаза щурились нижними веками. Вечерами у керосиновой лампы она могла сидеть над горкой полосатых семечек, жернова тревоги замирали в ней, она грызла семечки, откладывала зернышки то Никитке, то Вольке. Паня, если была зима, курил у печного поддувала, на его спине толклись тени от лампы. Бабка сидела за печкой или выходила к столу, смеялась, глядя, как Миля перекалывает семечки, показывала один-два зуба, шатала их пальцами: «Я уж и зернышки не осилию.— И спрашивала у Пани: — А что же с кладбищем-то? с могилами? или, как в войну, и могилы братскими поделают?» Она не хотела ложиться в братскую могилу, она накопила на свою. Миля молчала. Никчемность бабкиных слов (Миля и в мыслях как-то уже определила ее бабкой, но чувство-то было прежнее, дочернее) обижала Милю.

— Не один черт где,— сказал Паня.— После смерти меня хоть раком ставьте.

Бабка не пугалась его слов, но привычно крестила себя. Волоски невидимой нити, которой она сшивала себя крест-накрест, пряглись из ее морщин. «Какая в могиле особица»,— сказала Миля, подщуривая глаза. Ей не хотелось на ночь об этом. Никитус с открытым ртом смотрел на говоривших. Бабка прижала его голову, он не понимал нежности, голова его не прогибалась под лаской. Он пережидал, когда бабка приберет руку. Волька толкнула мать, чтобы та не забывала делать зернышки. «Ишь,— сказала Миля.— Сама грызи, батькина любимица. Тебе на тот год в школу».

Тревога пробирала Милю, но проступала и лоснилась телесным аппетитом. Она сгребала со стола шелуху, швыряла в печь. Они укладывались спать. И в кровати, возле костяно-жаркого мужа Миля не хотела спать и, чтобы не дать уснуть Пане, тревожила его разговорами, шептала. Он с тою же тревогой пережидал ее шепот, не хотел говорить, ему казалось, что если не называть словами, то беда как-то или смягчится, или ее можно будет обмануть. Главное — как бы не заметить, не сказать, чтобы беда не услышала. Не выдерживали мужики-станичники денежного натиска. Торопились невольниками. Это как в затмение: вдруг приходит другая тень от другого светила, и куры бегут спать. Росло, пухло и дробилось неравенство — его ничем уже невозможно было, казалось, сдержать. И такого еще не знавал никто: всегда собственность была в земле, а теперь ты сам себе собственник, тебя тянет, как калмык, степной ветер, ветер денежный, над жизнью, и ты хватаешься за землю, чтобы не сгинуть. Такой земли казак еще не знал, не знавал и такого денежного суховея над землей.

Неравномерность природы топил казак в неравномерности кругового бытия. А теперь он остался один на один со своими потрохами. Паня слушал шепот жены, в полусон, как в омут, сталкивая ее слова. Они оба прислушивались: спит ли бабка, не возятся ли дети? Несколько урожаев — и прежней жизни как не было! Не мог поверить Паня в то, что к этому человек не готовился издавна — исподволь. Он в себе искал эту готовность и одновременно ждал, выжидал, что жизнь как-то извернется и станет сподручнее. Жена затихла, он прислушался, в избе было молчно, в оконце сильно и размашисто светил подлунок. Миля ждала. Рыночные прятки совсем опустошили Паню, он чувствовал себя вздутым стручком чингиля, и была в нем злость, не та длинная сабельная, не тупая ружейная, а игольчатая — конца не видно. Он вдруг подумал, что допрежь эту злую денежную силу держали в постромках богатые, а те, что бились и выли в должниках... что ж с того? все были в этом равны. «А тепереча богатых порезали, постромки оборвались... Ать, два, три, четыре, пять, я иду искать. Кто не спрятался — я не виноват».

Он почувствовал Милю и — хоть сюда — вонзил в нее свою невесомую тонкую злость. Суховейной ночью, в ноябре, в тысяча девятьсот двадцать восьмом, у жены были большие, после детей, груди и широкий мягкий лобок. Отерпшими крестьянскими ладонями он хватал ее за груди, и только самая середка ладоней чувствовала — нежность от нежности — напирающие, растущие сосцы. Миля вся подставлялась, ей было мало его рук, мало бьющей ускользающей плоти. Она подставляла уши под его хриплое дыхание, слизывала пот с груди. Она не сторожилась, и он это почувствовал, и оба вдруг поняли: как последний раз. Обманутый во всем, Паня и сейчас, не ожидая наслаждения,

чувствовал, что мал для жены, не находил края, и так было от этого ему горько, он искал края, он бил и бил в нее, он искал края, завершения сколько можно сухим горячим полешком в неисточаемой криничке. Он задыхался, семя не шло. Миля так сильно прижимала его к себе, что он, задыхаясь, одуревал. Устав, боясь обморока, он замер. «Што?» — испуганно спросила жена. Они прислушались. У нее было лунное лицо, лицо лунного пятна, волосы чубом набок упали со лба, глаза широкой слепой прорезью смотрели свой сон. Он стал медленно, сторожась, повелевать ею, протянул руку, через густые волосы запревшего лобка ощупал сочную луковицу (вспомнил свою всегдашнюю ревность к этой ее сочащейся готовности, а она, вздохнув, и его ревность и сейчасную себя под его рукой) и с нарастающей болью опять — но семя не шло, словно он высох, она, скособочившись, схватила его за яички и нежно, осторожно, так обычно держала куриный желудочек, чтоб не разлилась желчь, потянула. Он обмяк, стал разбухать, почувствовал тесноту, дыхание вернулось легкое, «сладкий мой, слааадкий» липким языком сказала она, он раздался, она вздрогнула от полноты его в себе, и он почувствовал, как она, словно коровьими губами, охватывает его и забирает. Лунное пятно ее лица сдвинулось, она отвернулась, ушла от него, и он ушел от нее, они так сжались (она — чтобы он не выпрыгнул по привычке, он — чтобы она, выгибаясь, не выронила его), что визгнул воздух меж их животами, и всей силой он кинул в нее это кипящее трудное семя.

Весной тридцатого казаки стали выдавать друг дружку колхозу. За десять с лишним лет войны было награблено немало, и новые кулаки-мироеды были не похожи на прежних. Они взошли на чистом труде накопления — на грабеже, их ничто не связывало с землей. На их стороне была правота выживших: умри ты сегодня, я завтра. Вот этот один день, вносивший различие между сдохшим и выжившим, был эпохой, он отделял людей от истории так же, как отделял чистых (вот я — выжил и, значит, я удачлив, умен, я прав, я корень, я власть) от нечистых, ушедших в прошлое вместе с отломившейся историей. Новые мироеды были широколобы, вертки, политически животны. Где «чистые деньги» — там чистая политика; высшая форма чувственно-сверхчувственного абстрагирования лежит рефлексом в природе человека. Это механизм добывания, он главенствует, он настолько овладел человеческими помыслами, что его уже не замечаешь. Он приспособил под себя дыхание, зрение, он дергает мышцы, меняет освещение, он заставляет улыбаться сквозь тонкое скло оскала. Настрой добывания, ритм добывания — он завладел инстинктом самосохранения, он диктует законы народам. Он стал рычагом государственной политики: истощение возбуждает половой инстинкт, добывание возбуждает гражданственность.

Миля видела, как отдавали казаки друг друга в колхоз, и понимала, что человек глубже мести. Напуганный Паня прирезал ночью барана, выпотрошил (внутренности стали сразу готовить и жрать, и Волька все ныла с печи: «Хочу печины, хочу печины!» — как с голодухи!), сунул тушу в мешок и пошел в степь. Канул почти на пять лет. «Многодетную, безмужнюю не тронут». Но Паня тогда бежал не на года, а только подальше, то боялся выдавать, то боялся, что выдадут. Ночью, при чадящей лампешке, Волька взревела: «Не ходите, папанечка, родненький» Она отнимала дерюгу с тушей. Большеголовый Никитус смотрел на мамку, она не утишала Вольку: кто-то ж должен отвыть прощание,— сама же молчала и только платок все ниже повязывала, хотела выйти за ворота проводить. «Не буду я лошадь брать, пешком добегу»,— упрямо сказал Паня, отнял мешок у дочки, она застыла, стала похожа на полоумного брата: жуткая печаль, пахнущая свежатиной, давила ей сердце, Волька как впервые видела отца, а от него — мать, так и смотрела: на отца, а потом на мать. Отец стоял с рогожей у ног, уже в папашке, лоб был темен, волосы медленными кудрями серо выползали из-под шапки, глаза, казалось Вольке, дышали со свистом, и это было ей страшно видеть: дышали задышливо глаза (отец торопился с тушей, уходился, руки у него маслились, не отмыл, оттирал соломой, и от рук, от тулупа шел запах сальников, кишок, крови, мочи, шерсти), Волька отворачивала лицо, но не могла не смотреть — ведь уходил в ночь, пропадал, сдвигался спиной в яму сеней. Она тряслась рядом с придурком, потому что происходило невозможное: отец уходил. Он не поругался с мамкой, не напился, он был трезвый и торопливый, словно воровал у всех на глазах. Волька привыкла, что волосы у нее как у отца, но и волосы у отца стали другими. Было что-то темнее ночи. Темнее страха. Она

стояла как на морозе. Нельзя уходить ему. Если он уходит, тогда все они порознь, все чужие. Волька с ненавистью взглянула на Никитку, он тогда будет самый чужой и ненужный. Миля не уговаривала, она смотрела крепким, лобастым лицом на суетливого отца (спина его уже тронута была чернотой сеней) и полушепотом говорила сквозь зубы — Волька не понимала. Мать заботливо торопила отца, оглядывала его одежку. На минутку Волька успокоилась, но когда они вышли на крыльцо и отец, кусая сапогами приступки, пошел к воротам, Волька тихо, удушно завыла. Никитка вцепился ей в волосы, она не чувствовала боли, кто-то должен был ударить ее. Мать шла за отцом по жесткому снегу, по малым кускам проглянувшей земли. Снег стал ледовитым, цапал каждый ошметок, каждый огрызок земли. В темноте под мешком отец был страшен, и Волька опять успокоилась. Она отпихнула Никитку: «Пшел, душегуб». Отец скрылся, вернулась мать, все оглядели двор, черный круг плетня. Никитус мочился под рубашкой. «Отнесет мешок и вернется»,— сказала мать. Вдруг открылась калиточка, и отец прошептал из голоса: «Миля, ворота припри». Теперь они все были чужими. Волька сдернула Никитуса с места, «зассал весь порожек», первая вошла в хату. Ей хотелось называть все как есть. И она стала молчаливой, ждала, когда люди и предметы, а также людские дела, ворочающие предметами, появлялись точно под ее глазомером, и тогда Волька говорила, называла все как есть. Теперь они были чужими, как и другие люди. Все стали пащенками, и Вольке было трудно оттого, что она любила мать, но потом почувствовала, что любовь в ней собралась отдельным сердцем, и Волька подумала, что если за ними придут (они не уставали ждать) и заберут, то ей уже не больно будет умирать, потому что сердечную любовь отрежут отдельно.

Мужики отдавали друг друга колхозу. И в глазах у каждого было одно: «А пусть мне кто-нить докажет, что жизнь человечья чего-нить стоит». Они уже знали, что такое коммуния, колхоз. Этой коммуной они жили все десять с лишним лет войны, прошли ее школу назубок. Они научились обобществлять человека безудержно, до предела — смертью. Любой из казаков мог продеть человека в игольное ушко. Рай был — рукой подать. Смерчем шла по ничейной земле зависть к неравенству.

Сошедшийся в рой, в собóр, в круг человек касался основ первобытного коммунизма. Освобожденный войной, растелешенный, открытый смерти, как родной матушке, без утаек, братски приравненный к односумам — подлец, потерявший язык, одинокий певец, льнущий к спасительному хору. Жизнь — точно спетая песня: поёшь, вынимаешь себя из небытия, из мычащей кровавой ежедневности и, слыша хор подлецов-собратьев, точность исполнения, уже не можешь не петь, и одновременно странно оттого, что песня кончается, и потому надо опять и опять повторять ее. Повторять — это в твоей власти, но талантливо спеть позволено только один раз.

На провесне поднялась свобода неравенства и хлынула в колхоз. Если договориться, что войны нет, что обменивать на смерть нет резона,— как уравнять человека перед человеком? Какой силой? Посадить в старое? А в старое невозможно. Не агитаторы переворачивали сознание хлебопашца рассказами о коллективном труде и «железных конях» — тракторах. Все это казак видел на войне: и коллективный труд, и «железного коня», перепахивающего землю ровняя ее с такой же мощной легкостью, с какой уравнивал смертью всех живых.

Миля задыхалась от невозможности не понимать. Мужики гнали соседей и шли сами следом, семья шла на семью, старая зависть против свежей злобы. Миля пережидала, кормила детей что бог послал. Уже несколько недель не встречалась с крестными — Шпаками. Вдруг вышла из-за печи сумасшедшая бабка: «Где Абрам лётает? Будет нам за Абрама приговор!» «Нишкни, дура старая! Ить уши в подполе!» — укорачивала ее Миля. Но бабка почуяла беду: она готовилась умирать, а мир вокруг раскрылся до самой глубины и не было места под могилу. Она всегда, как себя помнила, носила в себе эту опасность: вот нагрянет светопреставление,— но она не ожидала, что это случится при ее жизни, под самую смерть. Пришлось как раз под ее жизнь, и как будто ее отрешенному сознанию недоставало этого совпадения, беспокойство нашло оправдание. Ни голод, ни болезни, ни война не отвечали глубокой ежедневной, еженощной тоске беспокойства. Глаза у бабки блестели прозрачной зоркостью, теперь все было понятно: человек, она сама, ее муж, ее дети (и умершие тоже), ее внуки — все было только кратковременным переходом, нечто более таинственное шло все

время в сердцевине кровного родства — через голод, войну, разруху (это было тоже лишь оболочкой). Бабка ходила по хате, шныряла из угла в угол, перебирала приданое, недосчитывалась каких-то своих денег, но и это лишь простой трепет веток на ветру, бабка вся была глубже. Она в и д е л а зоркими внутренними глазами: свершилось, сошлось, совпало. «Где Волька? А это кто? Какой Никитка? Он, што ли, сын Абрамки? А ты кто? Где Маруська?» «Все помороки забила»,— говорила Волька, она ничем не могла ответить на бабкино беспокойство, потому что бабку трепала невидимая лихорадка — и не телесная, а головная. Бабка словно повисла в воздухе, поднятая над полом надувной пустотой. Бабка отлетала от них и оттуда как бы сверху, а может быть, и из глубокой сторонней ямы смотрела сверкающими от неподвижной мысли глазами. Все они были позади бабки, и бабка не могла понять, куда девать поверхностное беспокойство за дочь, за внуков, за хозяйство, когда вошла и не отпускала тревога.

Она торкалась по углам хаты, выбегала на двор, потом кружила, искала дверь, не находила, пока Волька не втягивала ее за руку. Бабка приносила со двора запахи взопревшего назьма, старой груши и размякшей коры, степного чернозема, заглотнувшего снега, мутный студеный взвар речной куги. Бабка раскладывала эти запахи, как овощи, нарванные на грядках, перебирала в темной прозрачности своей памяти. «Где корова-то?» — спрашивала она, зная по запаху, что коровы нет. Она хихикала, ей хотелось смеяться. Не на глазах у Мильки и внуков. Сама себе смеялась, чтобы дрожала душа. Под душой (бабка тяжко вздыхала, подпирая грудь руками) стояла тревога и теребила из-под души — вот почему бабка смеялась. Она сама себя знала уже только бабкой, тревога не пугала ее, и страх не был страшен, она помнила, что и заботы, и страх, и вот э т и (Маруська и ее помет) были для чего-то нужны бабке, а теперь не нужны, потому что то, что должно было случиться (бабка помнила, что всегда, когда она была молодой и при муже, ей казалось, что это случится, но не при ней, не в ее жизни), случилось при ее жизни. И вот она хихикала и трепетала, черное знание ее вдруг понадобилось, бабка припала на колени перед иконой («Маруська, богово масло жалеешь!»), нужна была иная молитва, про черное всевышнее знание. Бабка замерла, не умея вспомнить, что же произошло, что надвинулось. Страха она не боялась, тревога волчьей тоской продувала душу. И дети были ею прожиты (мертвые тоже прожиты, как же без мертвеньких!) и внуки были прожиты, теперь она проживала себя и на этом остром, почти со слезой, проживании вспомнила: «Колгос!» Бабка свободным вдохом приняла в себя догадку и засеменила скорой рукой, сшивая крестное знаменье на живульку. Теперь бабка знала, что делала, она зорко оглядывала себя, следила, чтобы тревога шла через нее, просквaживала все ее нутрё, чтобы через нее хлестала, не запруживалась, как весной страшенная вода гуртилась в заглохшем русле. Только чтобы через нее била тревога, не задерживалась и уходила опять туда же, за душу. Зачем-то судьбе и невиданной силе надо было пробежать, прохлынуть через нее, бабка крестилась и выговаривала себя, очищала, шептала такие слова, чтобы внутрях ничего не стояло поперек натиска-течения: «Господи Боже, чиста пред тобой, чем согрешила — отринь, сковырни, не дай расхлестаться, залить, затопить их, дай им жить, как мне давал, пусть идеть скрозь меня, господи, вот моя душа пред тобою, и хлещет она черною кровью...» И тоскливая тревога, как живая, вдруг поняла бабкину каверзу и стала подниматься в ней и надавила на сердце — бабка захватила грудь руками, отдышалась, но тревога пошла выше, залила горло, бабка завыла, завыла, чтобы не сдавило горло, чтобы не запирало дух. Миля и дети затихли, Миля боялась закричать на бабку, никогда бабка так не молилась, Миля ждала ее конца. Бабка думала горячечно: «Что лучшей: помереть или не помереть? Куды черно двинется, если вдруг помру?» Это надо было решать, бабка раскачивалась на коленях, черная тревога плескала в ней. Жить или не жить? Бабка боялась спрашивать у бога, но и сама боялась решить. Надо было спасать отжитых ею, и Абрамку тоже надо было спасать, колени закостенели, и отнялась спина, «Господи Боже, не своею силой, не дай лечь камнем, дай душе спасение», и крикнула рассерженно: «Милька, сама безбожница и детей тому же?!» Миля покорно встала на колени, Волька толкнула тупого Никитку, стащила на пол. Жить или помереть, кому нужна бабка: богу или этим? Бабка вспомнила про любовь, поискала ее в душе, нашла, любовь замшела жалостью. Опять не взять на зуб: себя жалко, их жалко? Бабка обозлилась на человечью природу — скользкую, как ледышка. Холод лег на язык, на горло. К вечеру бабка поела

толченой солонины с картофелем и спохватилась: нельзя было есть! Она подошла к притихшей у стола дочери, погладила плечо — на пробу: где останется жалость, куда перельется? Миля вздрогнула, бабка улыбнулась себе: «Ага, значит, ее ужалило!» Она спокойно ушла за печь и там, роя глубокую и длинную как овраг, могилу, чтобы паводок черной тревоги не захлестнул живых, тайно и быстро отошла.

Вступая в сообщество, ты обязан заплатить самую большую цену, которую способен дать человек, и цена эта — муки совести.

Станичный милиционер запретил хоронить умерших как вредителей-подкулачников. Поп таскал трупы по снежным улицам, складывал в церкви. По ночам отгонял людоедов. Ни милиционер, ни поп ничего не держали на сердце друг против друга. Милиционером двигала усталость социальной строгости, попа толкала красота церковной завершенности. Мертвые — это сильный рывок вперед, давление: давай, давай, не останавливайся! Чистое движение: никто тебя не толкает в спину, ничего тебя не ждет впереди, но сейчас и здесь — мертвый, другой, третий, давай, давай, дальше. В этом сходились интересы попа и милиционера: трупы — холодные потроха земли, и поп укрывал их от «страма» в холодной, как январская степь, церкви, а милиционер актировал их и за отсутствием бумаги вписывал между строк на «Сказках» Толстого.

Миля травила плод — Миколайчика. Но плод упрямо держался за истощенное тело матери. Миля выбивала его, отделываясь как от зловредного. Она восставала на него — не выходил, душил ее, грозил изъять будущее. Миля понимала умершую бабку — и при холодном теле не сразу дочувствовалась до того, что умерла мать,— ушедшую тихой сапой. А что, если тихой сапой убить во чреве ребенка? Растащить на куски и скормить голодным собакам? Или самой стать прозрачной для него, как стала прозрачной земля для живущих на ней... Галюня отбожилась, отпрянула, когда Миля попросила ее сковырнуть плод. У Галюни от голода выехали скулы, она улыбалась вмятой в глаза улыбкой, ее муж, поседевший Шпак (однофамилец жены, ставший похожим на Галюню певучей, по-птичьи вскрикивающей скороговоркой и улыбкой, но не мягкой, а скользящей, подсекающей взгляд собеседника), держал на руках Вольку и говорил ей: «Вот папаня мешок хлеба привезет, вкусного, пеклеванного, ты же своему крестному батьке ничегошеньки не дашь!» Миля ненавидела этих пустых, бесчревых, изгонных, смотрела на легкую Галюню и шептала, шептала в себя, прожигала проклятьем: «Будь он проклят, будь он трижды проклят, пусть задохнется, пусть его удавит пуповина, я буду жрать землю, но не дам ему выйти на свет, а если родится — пусть родится кривым, одноруким, пусть у него будут сухие ноги и пусть он всю жизнь мучается так, как он мучал меня». И всхлипывая от исторгнутых проклятием чувств, Миля видела будущего ребенка и убивала его, и выкалывала глаза, и топила, и морила голодом — и обещала ему, что он будет в этом мире таким же полоумным, как его старший брат Никитка, и Миля плыла на горячем проклятье, видя лицо крестной — серое при голубых белковых глазах, лицо крестного — бородатое, мотузное, никчемно мужское. Миля грозила будущему ребенку и угрожала ему холодом жизни, неподвижностью, упрашивала его, держа под языком наточенное проклятье: «Не рожайся, куды тебя в треклятый этот свет? Господи, запри меня, как запер ты матошную глотку Галюни! А ты, дитятко, если слышишь меня, свою мать, умри там, пожалей меня, свернись калачиком и усни». Она не могла видеть лица своих детей, ей хотелось выйти на двор, перебыть там, среди грязи, пустоты, и, вернувшись, не узнать своих детей, увидеть их чужими глазами. У Мили дух захватывало, когда она представляла, как видят ее детей чужие люди. Как будто переворачивался свет, наклонялся куда-то вниз и с лучей его летели, падали люди. Одной такой выдумкой мир становился заново солнечным, летяще-солнечным, в нем некогда было ужасаться и думать, в нем не было мук и голода; заботы и любовь отставали, сдутые солнечным ветром, оставалось только животное долженствование, и Миля тогда подходила к детям, подмывала идиота или переплетала серую косицу Вольки, прислушиваясь к живому говору волос, к тому, что они думают.

Подлость вненравственна, она дана от природы вместе с гибкостью и теплокровностью, подлость меняет форму человека изнутри, делает его делимым, человека можно порвать в любом месте — внешне человек остается неизменным, но как меняется внутренне, как несоотносимо с внешним усложняется внутренний мир (Миля вспоминала, как хватался за грудь свою хмельной

Паня и мучительно говорил в себя: «Бляцкая сила!»). Где кончается голова и начинается колено? Куда течет время? Что выражают глаза на глиняном лице?

Паня уже написал им (письмо пришло летом, в суховей, речка высохла до болотистого дна, один раз приехал Джемс, просил, если с ним что случится, можно ли будет спасти сына. Миля улыбалась распухшим лицом, дышала скоро, как младенец под грудью), Паня обещал помочь: «Служу собачником в НКВД, строим завод, на нем будут делать комбайны. Пайка хорошая, даже остается, фото прилагаю. Скоро увидимся». На фотографии стоял военный Паня в фуражке и сапогах. У его ноги сидела собака. Фотография была значительная, и станичный предрик уважительно помог Миле устроиться в магазин. Они перестали толочь веники, Миля оставляла Миколайчика на руках Вольки и бегала помощницей в магазин. Миколайчика потихоньку крестила опять Галюня, она привязалась к плодящей Миле и крещеных детей принимала сполна, дни их помнила, отмечала. Когда Миля видела, какими глазами смотрела Галюня на крестников, ненадолго понимала свое природное счастье и иногда кокетничала с Юхимом, кокетничала своей природой, женской тайной сутью, в которой крепко был связан узел — матка скоро ложилась на место. Галюня не ревновала, Юхим был ее новой жизнью, а она помнила прежнюю и прежних своих любодеев, странных, тонких и предсмертно страстных, таких теперь не было. Юхим оползал животом, умилялся Галюней так беспомощно и капризно, как будто она его родила. Она всегда знала, когда он бывал с другой — из Галюни тогда текла отторгающая слизь. «Схватил обметицу?» — пристыжала она Юхима, и тот божился, крестился, краснел и смотрел на Галюню ее же (ею сделанными, ею приголубленными) глазами. Галюня знала, что Миля подпустила к себе Юхима, и не ревновала, только стала сильнее жалеть и ее и детей, потому что как ни любила она Милиных детей, а жало жалости было сильнее и глубже любви: дети-то все какие-то убожные — придурок Никита, Волька в сопелки дышит и молчит, а последний проклятыш родился с мышиным пятном на затылке. На молодой месяц Галюня крестилась быстрым тонким крестом и говорила с утопленной в теснине неба частью луны: «Пусть подъебывает, не жалко, или не дашь ты мне, господи, залить сердце подкровком?» Ей представлялось, что насытить семенем и всплодить ее может только мужчина с острым, предсмертным умом: у таких, думала Галюня, и семя мыслит, оно пронзительнее, изворотливее, такое руководимое мыслью семя нашло бы затемненную долю ее чресел. Галюня не выдавала своих мыслей Юхиму, его смачное, но глупое семя растекалось в ней подобно инородным неплодным молокам.

Галюня надеялась, что делать колхозы придут те, затаенные мужчины. Но пришли иные. Этих, новых, тоже вела идея, но этих вела идея за шиворот, под наганом. А те шли сами, они были самой идеей. Тогда Галюня это чувством понимала. Тогда она думала, что появилась на свет, чтобы принять в себя что-то высокое, зенитное, архангельское. Новая идея была пустотелой. Галюня связалась с уполномоченным. Этот смерти не знал или оплыл, завязался от смерти, жил узелком и узелок этот берег. Ночью у болотистого озерца, на росной траве говорил о процентовке и о том, что незачем делить на дюжину разрядов по имуществу. «Коренить надо тенденцию»,— сказал он. «А што такое?» — спросила Галюня, она уже промокла, но пришлый не торопился, словно собирался сапоги снимать. Галюне же и нельзя было раньше, чем он хоть что-нибудь заронит в голову, ну хоть крошку, чтобы она закрыла глаза и следила, как падает эта светящаяся крошка-точечка в нее. «Тенденция,— сказал пришлый, огонек закрутки выцарапывал из темноты лицо, глазницы под мохнатыми бровями.— Тенденция — это линия,— он провел огоньком в темноте.— Корень такого гадского растения, которому сколько земли ни дай, все будет мало». Галюня сказала: «Макаром таким всех людей надо под корень. Один коли останется...— она подумала и взъязвила,— самый раскоммунист, он от себя корни пустит». «Не пустит,— сказал пришлый.— Мокрё тут... Где это лошади шоркают?» «Пустит,— сказала Галюня.— Кони недалече, сюда на водопой идут». «Не пустит,— сказал пришлый.— У него голова на плечах, а не калган». «А как же не пустит? Чуток подумает не о том — и уже надо колбешку вместе с мозгами отымать!» Пришлый свалил ее в лужистую траву, приблизился лицом, укусил за щеку. «У коммуниста голова одной мыслью стоит, понятно? Вот так, и ничего его не уведет, он сам себе лишнее отстригает. Возьми». Галюня развеселилась, заерзала под ним, в ладонь ей надавил двуголовый груз, она опалилась ошибкой:

да как двуснастый? Но у пришлого яйца так были слиты, что не разделялись, тугой кожаный кисет был поджат, пришлый засопел, как конь над зерном, Галюня сказала: «Будет больно — скажи». И сильно потянула на себя, крутнула, как мстя за тупое горячее безумие, тормоша мертвый узел, пришлый застонал и хотел отшатнуться. «Этот не развяжется»,— подумала она скороговоркой. Он ёб, поддевал, выскакивал, стонал, возился, искал, опять ёб, пришли кони, они шли мимо них, останавливались, переступали, шарахались, один любопытный наклонил голову, окунул ноздри в потный зад уполномоченного. Галюня почувствовала, как тот дернулся, испустил малофьиный дух и отмахнулся от коня. Галюня даже не смеялась, над нею очнулось небо, голова и спина вымокли, в небе чистым семенем разливался Млечный Путь.

Миля пошла по торговле, прислонилась к теплой корке хлеба. От станичных держалась боком. Ее тоже провожали настороженными глазами. Миля не хотела жить, как они, не могла заставить себя ходить за скотиной, нюхать навозную жижу на колхозных базах. Хлеб привозили. Хлеб привозили сюда, где не знали такого отродясь, хлеб шел через «гамазею», и когда Миля отпускала, она глядела на станичных такими прищуренными от нижних век глазами: мол, не все-то вы знаете, кугуты. Теперь нечему было верить — улетел аэропланчик церковного креста. Теперь надо было ловчиться з н а т ь Она посмеивалась, стоя за весами, принимая гирьки на чашку. Теперь надо было быстро, верно знать. Гирька определяла судьбу. Но не направляла (Миля всегда помнила отцову бритву направить так, чтобы комар носа не сберег), надо было быстро, как по лезвию думать. Миля радовалась удачному дню, в старом магазине, в тесной подсобке, среди кадушек, мешков, в запахе прогорклого масла она откладывала на газету накопленное за день. Это было точно определенное чувство веса, а позже, когда ее меченый, Миколайчик, тайная надежда, пойдет в школу и расскажет ей, что такое законы тяжести (его Джемс-младший, Брусов, обучит), Миля сразу поймет — праздничным чувством верно в з я т о й жизни — тонкую подстройку веса к равновесию. Равновесие было в ее руках, и с помощью этого равновесия и умела тайно, быстро обезвредить вес. И в то время как другие попадались на колоске или картошке, Миля вела свое волшебное лезвие безбоязненно.

Она потому и оглядывала станичников подозрительно, что з н а л а: теперь человек в себя ушел и его зорким оком окружили политика, государство, контролеры, доносы. «Вот именно,— стала приговаривать Миля.— Вот именно, не за мешок сажать, не за воз краденый высылать, за колосок, за зернышко». Потому что теперь станичник, затихший казак, воровал не руками — душой. Там, в самой середке душевного мешка, была дырка, через которую хитро и каждодневно утекал от власти человек. Не выдерживал человек скольжения по лезвию, невесомости не выносил. Забегал как-то на короткий отпуск Абрам — глаза в слепом ободочке тоски. Миля не уговаривала его, сам должен знать, чего хочет. Абрам привез, по старинке рассуждая, платок, детям пряников, сахару. Он там, среди служебных собак, не прижился и сказал: как получится — уйдет. «Куда? — спрашивала Миля, взвешивая его на своих весах.— Ты ж теперь партейный, служебный». Она ночью, когда Абрам истощился, уплощился, шептала ему о вызнанном достатке, она подводила Абрама под свое знание, она хотела, чтобы он вошел головой в ту сокровенную, тонкую нишку, которую Миля обнаружила: когда вес зависал в неопределенности, он терял свое природное значение, и, «вот именно, соответственно», хлеб, конфеты-ландрин, колбаса (когда бывала) теряли свое природное назначение, превращаясь в нечто летучее, покорное, подвластное точному Милиному расчету. «Да ты что?!» — вскобенивался свежий коммунист, собачий инструктор Абрам. «А ничего,— отвечала Миля, зная, что как ни вертухается он, а ночью обмякнет.— Ничего. Это усушка, утруска, у меня все честно. Недостачи не будет». И постучала по дереву.

Абрам поглядывал на нее глазами слабого человека, он знал, что́ такое о р г а н ы, он рассказывал ей с уважением и отчужденным интересом. «Это унутренние органы, Миля,— говорил он ей.— Потому и унутренние (он учился говорить и, когда сбивался, уже слышал свои кугутские ошибки), что все проследить могут — до сердца, до середки».

Приезжал на запыленной бедарке Джемс, Абрам его не узнал, принял в горнице у окошка, сидел в гимнастерке, карман был оттопырен удостоверением. Джемс подворачивающимся языком иноплеменника объяснил Абраму, что он

из коммуны, и тогда Абрам узнал его. Джемс был седой, серый, Миля не подталкивала Абрама вспоминать, его гимнастерка и должностной вид остановили ее. А когда Абрам узнал, она подмигнула Джемсу. «Я старый уже человек, товарищ Абрам, ваша казацкая степь много сил берет». Джемс рассказал, какой у него сын усидчивый, как пошел учиться и мечтает быть преподавателем физики и математики. Джемся распаковал истерханный бумажник и показал фотографию. «Это мы с ним в городе Ростове». «А,— сказал Абрам, по-собачьи натасканно глядя на снимок.— „Ростсельмаш"». И пошел разговор о комбайнах, Джемся сказал, что комбайны необходимы на таких степях, но правительство делает ошибки. «Так нельзя строить коллективное землепользование,— Джемся заворошил какой-то газетной вырезкой. Абрам из другого нагрудного кармана, откинувшись, вынул пачку папиросок.— Это невиданный капитализм, товарищ Абрам. Он все наши усилия, усилия революции сведет на нет. На нет. Это государство,— он показал высокий дом,— не может быть владельцем. Это каверза, это куншток, как говорят немцы.— Он таращил глаза из-под низких бровей, странный, маленький англичанин или американец, трудяга и уклонист.— Социализм должен торговать. («Торговали уже»,— говорил еще примирно Абрам.) Нельзя останавливать товар. Это безумие. Коллективный труд не для того, чтобы коллективный присвояло государство. Напротив, контрактно. («Я на контр собак натаскиваю,— говорил Абрам, делая вид, что уже ничего не понимает. Это было легче, чем качаться на бочке.— Нюх стопроцентный, даже перевыполняют».) Государство — великий эксплуататор! Оно не может измерять труд, вложенный в продукт. Государство будет аккумулировать обиду. (Абрам безвольно смотрел на Джемса, он понимал, чем кончит иностранец из коммуны, Джемс понимал, что́ видит Абрам: проклятая кожа страха наросла на Джемсе, на всех коммунарах, они были перевиты, простеганы, прошиты страхом. И страх этот был не физический, а великий: испугалась идея. Они не мыслили социализм без товарных отношений, но они не предполагали, что осуществится Кампанелла или Сен-Симон и явится Великий покупатель — государство — и раз навсегда и на многие годы вперед купит весь человеческий труд.) Человек труда не может сам определять цену своего труда, Абрам. Потому что он работает весь, я всего себя вкладываю в землю! («Говорит, как будто я прокурор»,— подумал Абрам. Он значительно посмотрел на жену, она стояла возле колоды, в которой подпрыгивал Миколайчик, сын брызгал слюной и гудел, секал губами.) Ты пойми, вся жизнь в труде, а капитализм изобрел такую хитрую штуку — деньги, капитал...» «Читал,— сказал Абрам.— Сдавал экзамен по политической экономии». «Изобрел такую вещь, что если ты здесь, на земле, тратишь свою жизнь на трудодень, то капиталист тебе вернет затраченное благами!» «Партия заботится о благополучии»,— сказал безнадежно Абрам. Он не хотел спорить, он знал: всех иностранцев выселят в двадцать четыре часа. «Нет, Абрам, так же нельзя. Вот если так, то и будет государство измерять тебя, твою жизнь благами, определять, сколько тебе жить, кушать и когда умирать. Не за это же гибли люди, революционеры. А за что?.. — Джемс растерянно посмотрел на Милю, на Миколайчика и заплакал.— Хочу спасти своего сына. Домой вернуть нет возможности...»

Миля выпроводила глупого Абрама и обреченного Джемса. Абрам вернется через год на комбайне и прирастет к нему потрохами на всю жизнь. Джемс-старший не вернется никогда. И Миля знала почему. Миля понимала, что́ он говорил. Он говорил, что человек живет — так вышло — на скользкой точке и ловит, как ртом воздух после поддыха, ловит равновесие. И это — «вот именно, каверза» — хитрость, потому что в самой точке равновесия человека нет, человек исчезает. Но не ловить эту точку не может — это потребность свободы, без чувства свободы, пусть крохотного, пусть мимолетного, человек ничего не может сделать, не может понять, не может очеловечиться. Однако как для определения равновесия продукта нужны гири и весы, так для определения равновесия человека нужно... Что нужно? Миля, захватывая радостно нижнюю губу, пугалась от одной только догадки: открывалась бездна. Она не думала об этой бездне. Она научилась связывать оборванную веревку, перекидывать жердинку через исчезновение. Вот так и сам человек: он выдумал весы, гири, счет, арифметику, чтобы перекидывать жердинки через бездну невесомости, равновесия. И когда казак, мужик, москаль, кацап, шелупонь поднимается во имя справедливости — в то же мгновение она исчезает с лица земли, проваливается в бездне равновесия, а

заместо нее остается все, с помощью чего это равновесие (равенство, братство, всеобщее счастье) устанавливается. И Миля, взвешивая на весах вонючую селедку, знала, что селедка уже взвешена государством и цена ее определена, а где определена цена, там определен и вес, объем, количество, а если это определено заранее, то и нет загадки в Христе, накормившем несколькими хлебами и рыбой несколько тысяч голодных.

В собственности, в церкви, в государстве находил человек спасение от исчезновения, от невесомости, но — не мог не мечтать о равновесии! Теперь он изобрел полное освобождение от собственности, от церкви, от... — нет, от государства он не освободился. Ему передоверил упрочить бытие (через новую, идущую от низов, от самой невесомой точки, власть). Одно только отличало это государство от государства собственников: государство собственников держало человека на поставе обобществленной собственности — деньгах; государство советской власти обобществило то, что поддается обобществлению только после «усушки и утруски»,— жизнь. И потому Миля знала, что всякий раз, как она отоваривает станичника, в ее кармане (от имени и по великому покровительству государства) остается то, что невозможно учесть.

Потому что свобода — это ангелы, пляшущие на острие иглы, и чем тоньше острие, тем больше ангелов на нем веселится.

Миколайчик, студент юридического, ходил на лекции по диамату с обязательностью альпиниста или тяжелоатлета: взять вершину или взять вес. Ему было интересно слушать о превращении количества в качество, и сам преподаватель был интересный, тоже спортивный, увлекался греблей, носил белые рубашки и приспускал ворот, расстегивая две верхние пуговицы. Миколайчик приставал к нему: «Как же количество переходит в качество? Что такое с к а ч о к?» «Молодой человек, будущему юристу не пристало так отвлеченно рассуждать о скачке...» А Миколайчик: «И все-таки к а к? Если переход невозможно определить, познать, значит, опять в е р а?» Преподаватель усмехался открытым лицом и говорил ему: «Вот у вас на руках весь материал, все детали следствия, вы — судья... Нет, вы смотрите мне в глаза, все возможное количество у вас есть. Оно что же, само перейдет в качество приговора, а?» Миколайчик вспыхивал, глаз не отводил, на затылке у него потело и чесалось пятно. «Вы делаете так. Завязываете глаза, берете в правую руку меч, в левую весы... господи, прости мою душу.— Преподаватель улыбался с отстраняющим недоумением.— Применяете, если можно так выразиться, революционное правосознание». Нет, это Миколайчику не нравилось, он не хотел брать на себя ответственность «скачка», когда должны же быть объективные законы, регулирующие и сам с к а ч о к! Если же этого нет... — нет, это должно быть. К диалектике Миколайчик приобрел осторожное отношение: где-то далеко, в высотах философских рассуждений, он ее допускал, но в глубине души стойко, по-кугутски, сопротивлялся ей, подавлял, потому что не видел ни в природе, ни в себе самом ничего, что подтверждало бы за схоластикой право подвергать сомнению истину — только на том основании, что на истину «можно взглянуть с другой стороны».

Однако так случилось, что через Игоря Шерстюкова он познакомился с длинным, худым грузином, игравшим в баскетбол (Миколайчик предпочитал грубоватый волейбол) и странно, отрешенно до безумия, философствовавшим. Грузин выпивал, но вино его не брало, он улыбался большим ртом и большими зубами: «Мои ноги напоить невозможно, пока хмель дойдет до колен, голова трезвеет». Ударясь в размышление, парень переплетал длинные ноги, сцепливал пальцы и шел взглядом куда-то с таким напором, что светлые глаза из-за неподвижных зрачков казались черными. «Диалектика может быть только идеальной? То есть в уме, в голове. Если ум вступает в противоречие с материей и если это противоречие диалектическое, оно разрешается только в сознании? А если ум не разрешает противоречия, оно перестает быть диалектическим? Оно делается неразрешимым и преодолевается властным, механическим способом? И пришла софистика для того, чтобы рассасывать противоречие с помощью логической терапии?» Миколайчик, вспоминая, напрягался, как напрягался и закручивался парень, и эта пружина свивала Миколайчика так, что память невольно выдавала медленную речь с плавным носовым акцентом. «Чтобы быть честным, надо материализм поставить в такое же положение, в каком идеализм:

если диалектика есть свойство движущейся, разворачивающейся материи, тогда объясните мне, какой смысл в идеальном, отрицать которое я не могу?»

«Если диалектика приходит в мир только вместе с сознанием, тогда понятна задача идеального: оно протягивает через себя противоречие, разрешая принципиальную неразрешимость».

«Идеальное — ничто, оно не может участвовать в материальном процессе и что-либо и как-либо менять, но оно способно осознать противоречие, пропустив великое множество материальных изменений через свое ничто». Миколайчик не все понимал, но ему давался вкус того, что происходило на его глазах: парень показывал, как трудна и как сложна свобода, которую чуть ли не на вдох и вкус ощущал Миколайчик.

«Надо признать, ничто есть свойство, фундаментальное свойство материи; материя в своем движении имеет момент абсолютного самоотрицания, иначе движение было бы невозможно. Вот почему ничто не обладало бы умением пользоваться отраженными в нем закономерностями, не будь само ничто составной частью самодвижения материи... Без допущения ничто невозможно понять и простое механическое движение».

Закручивающаяся пружина понимания была хорошо очувствована Миколайчиком. Он носил в себе это напряжение — такой же внутренне напряженной была мама Миля; и за это он ее недолюбливал. Миля напрягалась всем своим организмом, чтобы прищучить, придавить, охватить и не дать пустить корни противоречию. Она не избегала противоречия, как это делали другие станичники, покрывая и хороня противоречие либо бытовым однообразным беспамятством, либо, наоборот, возбуждая память, радугу прошлого, под которой расстилалась ровная весенняя степь рая. Она не подвергалась противоречию безвольно, как безвольно принимал его отец Абрам, погружаясь в него с «истинно русским» ужасом и безысходностью — куда вывезет. Напряженное сожительство с противоречием превращало Милю в полуженщину, так казалось Миколайчику. И это странное чувство было ему неприятно так же, как неприятно, отвратительно было ему представлять (или понимать) Милю женщиной. Миля, словно «собака Павлова», силилась не выпустить мысль из-под законов телесности.

«А если так, мы должны допустить, что в некий момент движения материя полностью погружается в ничто. Сложные формы материи совершают сложное погружение, рождают сложное ничто. На каком-то витке усложняющегося погружения в ничто родилась живая материя, которая в свою очередь породила и соответствующую ей сложную форму ничто — разум, идеальное. Вечность — это механическая форма ничто. Нам так и надлежит рассматривать всю совокупность материальных тел через их погруженность в ничто. Сложное ничто — идеальное — приводит материю к смерти, к снятию движения (движения определенной формы), идеальное задает вопрос: почему? — отвечает движение. Вопрос — это ответ идеального на беспричинность движения. Вопрос на мгновение останавливает движение, снимает материю и вместе со всеми ее низшими и высшими формами растворяется в ничто».

Миколайчик чувствовал и видел, как этот молоденький грузин, переплетаясь и сжимаясь, напряженно входит в свою мысль, Миколайчику представлялось, что парень обладает такой внутренней силой, которая способна побороть внутреннее сопротивление, равное внутренней силе матери Мили, Марии,— парень перебарывал волчью хватку Мили, натасканную на подавление противоречия.

«Человек живьем чувствует диалектику идеального и материального, жизни и смерти. Но в отличие от механических противоречий диалектика входит в сознание человека сразу и самыми общими глубинными противоречиями: внутреннего и внешнего, жизни и смерти. И человек пытается справиться с этими фундаментальными коллизиями либо сводя их к «простой механике» житейских забот, либо укладывая в безразмерную храмину религии... Однако не отвечать на вызов диалектики человек не может, и тогда происходит размежевание... Женщина всем своим существом погружена в диалектику. Мужчина же поворачивается лицом к тайне и приступает к решению сакраментальных вопросов. Мужчина развивает идеальное ничто в той мере, в какой женщина развивает саму материю».

Старея, Миля уставала бороться, и тогда она как бы сама собой стала претворять «диалектику» в мифы. Она писала Миколайчику письма, в которых подробно рассказывала, как крестные, Галюня и Юхим Шпак, воровали вместе

с цыганами детей: сведут и продадут в табор. Или гнёвно, пространно, настойчиво рассказывала (писала она с легкостью рассказчицы), как возлюбил Абрам дочь свою единокровную Вольку, как ухаживал за ней «уже с первых ее кровей», как носил на руках и целовал, а Волька, «как заласканная сучка, кидалась потом на свою родную мать». Миля писала так, словно Миколайчик — только ее сын, ею укрытый от мерзостей, и не мог знать ничего... Такие письма-мифы были ударами, Миколайчик не мог верить Миле, ее неустанное повторение, что она взрастила (взрáстила) его отдельно, укрыв и выкохав, оскорбляло Миколайчика. Он писал ей: «Мама, зачем вы все это говорите? Разве такое может быть?» И Миля отвечала ему: «Но я их, сынок, развела, разорвала тайную связь. А за это Волька теперь мне мстит, отливает мне — вырастила, сынок, змеюку подколодную!» Миколайчик призывал ее быть доброй, Миля отвечала: а вот крестные твои — они добрые? да им с людьми нет возможности на человечьем языке разговаривать, они своей бездетной, пустоцветной жизнью живут (и Миля, когда писала, вдруг вроде как вспоминала, что слышала тайком, как разговаривают крестные, когда никого нет, и, не умея перетолковать их скрытый язык, подозревала, что они н а г о в а р и в а ю т). «Доброты полной не бывает, сынок. Доброта разная, чтобы люди испытывали разную нужду». Еще Миля знала, но не писала, что доброта — как равновесие на весах — освобождала человека от тяжести стыда. Человек умилялся раз и навсегда добротой и забывал про совесть. «Что с нее, с доброты? Она карман не оттянет. Доброту, сынок, не береги,— писала Миля.— Она пустая. Ее потому на всех хватает, что ее ни взвесишь, ни отрежешь». Миля не шла открыто против Библии, но сравнивала ее с колхозным репродуктором: божественность языка только тем и объясняется, что нет уже памяти о том, откуда он пришел. «А када в степу, то жди ветра — донесет песню или радио, а если ветра нет, и языка нет». И говорила, что каждый человек на своем языке разговаривает, как на своем языке разговаривают станицы — разными словами называют одни и те же вещи. «Потому в гражданскую так резались,— писала Миля на просьбу Миколайчика рассказать, что помнит.— Языки разные, как сны у человеков. Потому нет возможности сном одного человека толковать судьбу другого... У каждого человека своя думка и свой язык. И договориться, значит, нельзя: человек одно про себя, другое тебе. Он на два голоса поет, вот ты подстраивайся. А по-другому как? Ты в университете учишься, чтобы научиться такому языку, на котором можно говорить с другими, а в станице учиться нечему. У нас можно и мычать...»

Получая письма от Миколайчика, огрузневшая Миля болела несколько дней. Она читала так, как будто в ней рядом с привычным билось еще одно сердце — и билось не в лад. У нее глаза отказывались видеть, не от слез — от стремительного движения смысла, словно время самолично несло свою сумятицу перед глазами: не успеваешь вглядеться-вчитаться, а прямо из ниоткуда выворачивается другой, еще один смысл. То, что чувствовала Миля, читая скособоченный почерк Миколайчика, было настолько глубже самого письма, что сознание не дотягивало до этой глубины, и Миля проводила ладонью по лицу, по глазам, утирая слезы, надутые, как степной пылью, стремительным смыслом сыновнего письма. Миколайчик шел туда, куда она сама его направила, он отрывался, и она знала, что это произойдет, это должно было произойти, он должен был оторваться — выйти на волю. О такой воле казак еще не знал, воспитанный сумасшедшим умом воспоминаний. Теперь невидимый луч падал сверху, и как луч осеннего солнца находит и первым зажигает золотым огнем тополиную вершину, так великий новый луч нашел посередине степи ее Миколайчика — и пусть проклятье и горе падут на голову тех, кто пожелает ему несчастья.

Малой Миколайчик возил на веревочке коробочку своего царства-государства. Он прятал коробочку от света и дурного глаза и сам заглядывал в нее осторожно. Он запускал в нее свет осторожно, чтобы не выдать содержимого даже самому себе: блёсточек, крылышков стрекозы, трупик бронзовки, лапки и рога жука-навозника, прозрачную голубую пуговку. Он возил коробочку по пыли, чтобы не встряхнуть о комки грязи, он возил коробочку под небом, соблюдая осторожное соотношение: коробок-государство вдоль земли под небом.

Мир был прочен и легок, как след в пыли, наработанной верстами и столетиями. Пыль поднималась над степью, и в ней ткались мысли бога (крестная крестилась, когда ветер завивал хвосты земли). Миколайчик знал, что

бог там, но не верил ему. Бог всегда был разостлан в природе неба, и Миколайчик чувствовал свет как божественное замышление. Миколайчик не доверял чужой мысли. Бог подстерегал, Миколайчик видел его, когда смотрел в лошадиные глаза, видел в том, как лошадь смотрит на Миколайчика, мысля огромным своим телом. Обнаруживал он бога и в свинье, когда заглядывал в сумрак котуха,— глаза свиньи с пронзительной свирепой силой выдавали божественную мысль. Особенная изворотливая мысль рождалась в стрекозе, когда Миколайчик ловил ее — она ускользала, и чем настойчивее ловил ее Миколайчик, чем хитрее подкрадывался, тем умнее (чьей мыслью?) становилась стрекоза.

Бывало, старший брат Никитус играл со своими куклами — лепил из глины или просил Паню вылепить, а маманю обрядить. Миколайчик не мог видеть эти куклы без голодной слюны и отвращения. И когда идиот отворачивался, уходил, Миколайчик подбирался и быстро, чтобы одухотворенные идиотом куклы не успели увидеть и понять, отворачивал им головы. Свернув, прикладывал на место и убегал. Прятался и смотрел. Никитус приставлял головки, слюнил, приклеивал, головки не прирастали, Никитус ревел огромным розовым ртом, и тогда только Миколайчик чувствовал удовлетворение: куклы в самом деле были мертвы, бездушны, пусты от мысли.

Миколайчик подхватывал коробочку государства и быстро уносил ее за тридевять земель, сидел, затаившись, долго не мог отдышаться. Трудно находить дыхание, когда оно, как пленка с водой, связано с мыслью. Иной раз, раздосадованный тишиной и устарелостью государственных накоплений, Миколайчик запускал в коробочку черного жука. Жук переворачивал сокровища; душа у Миколайчика намокала, как тряпица, жук истреблял накопленное (а Миколайчик помнил каждую вещицу, молил за каждую вещицу бога, но жука не вынимал), жук гремел, бился, как существо, утаенное от света и потому дикое, не могущее знать, что́ оно делает... Государство переворачивалось в коробочке, небо было мертво, бог молчал, Миколайчик долго, как переживая страшную сказку, вывозил коробочку в бурьян.

Волька была похожа на Милю — светлым лобастым лицом, глазами, медленно смотрящими по-над нижними веками, кошачьими розовыми уголочками плачущими к носу. Волосы были светлее, мягкие — в Паню. Вольке иной раз, когда Миля доводила ее слежкой и подозрениями, хотелось выбиться из шкуры-лица (так она кривлялась), доставшейся от рождения. Мать всходила над ней как хищное солнце, мать преследовала ее, и поскольку в этих прямых лучах Волька не могла не отбрасывать тени, мать преследовала ее еще жестче. Потому и учиться Волька не хотела. «Мне умом не торговать,— говорила она Миле, отбившись от ее поучающих рук.— А тебе одна мечта, чтоб я с бородой родилась. Так ты ж вот произвела на свет мужчину — любуйся!» Тыча в полоумного Никитуса, Волька лукавила. Как мать, которая из ревности к Абраму хотела сделать Вольку мальчишкой, так Волька назло матери, усугублявшей идиотизм сына до невозможности считать его ею рожденным,— Волька была привязана к Никитусу, очеловечивала его, называла братом и защищала от Мили. Абрам, которого Миля презрительно называла Паней, обмяк душой, шел безвольной тропкой, весь намотался на свой комбайн. Он любил Вольку, и ему нравилось, что она не отталкивает Никитуса,— Паня не отказывал ему в отцовстве. Он любил ее с искоркой звериной, не отцовой нежности. Она и сама была зверенышем — светлым и праведным, по-степному с хищнинкой, незаметно изнеженная в первой родительской любви. До первых приступов ревности — Паня не умел себя прятать и сдерживать, а Миля сразу раздутыми ноздрями уловила этот стелющийся запах... В сердце Паня был весел, словно осуществилась во плоти мечта самого сокровенного сна. Он не умел додумывать всего того, что было между ним и Волькой. Но все разрешилось, и ему было весело смертельной веселостью, такой отваги он не помнил со времен войны. Юношеская, возвратная отвага — когда он вернулся, кинув собак и службу, привык, а потом увидел ее поверх привычки. У него словно память в сегодня развязалась: жить-помнить самые сладкие минуты любви, перед глазами каждую минуту щемящая тоска по случающемуся. Неслыханную свободу испытывал Паня. Все в мире рождается предназначенно, «специально», говорил старший собаковод питомника, и его овчарки вели зэков молчаливой колонной. Не знал же Абрам, никогда не знал до этого, что собаку можно так надрочить, настропалить на человека. Степной житель, он был уверен, что человек если не сильнее, то уж

хитрее, ловчее. Были в станице свирепые псы, но они были злы заполошно, могли на теленка, и на свинью, и на другого пса кинуться. Служебная собака, черная овчарка, треугольным желтым лицом была нацелена только на человека: молча, всей силой, умом, способным читать в человеческой душе. Разве возможно внести в живую природу нечто такое, что противно самой природе? Вот почему он любил Вольку, не взнуздывая себя, а отпуская как в первую любовь. Стирал ей тряпочки с первой кровью, собачьим протяжным нюхом вдыхая зашифрованный запах земли, луны, плоти, семени, запах женского имени, ждущего быть выкликнутым. Волька испугалась первой крови, и он успокаивал ее, беря на себя пристыженность и страх. Это случилось на покосе, Паня разорвал на тряпочки Милин узелок, зная, как окрысится жена. Согрел казанок с водой. Волька хотела отвернуться, отнекаться, он отошел с бьющимся сердцем, курил, травя сердце дымом. Вернулся, подгреб под нее сена, она, освеженная, ослабшая, лежала и слушала его, а он и себе и ей говорил, стараясь расшифровать заросшему миру, что свершилось еще одно чудо и чтобы мир не отринул ее. «А знаешь, вот у тебя родинки рассыпаны и на спине и на руках, это, если сравнить, звезды. Родинки созвездия составляют, надоть учиться по ним ориентир держать». «Выдумщик ты»,— сказала нежно Волька.

Жуть, которая охватывала Вольку,— от ощущения, что мир заполнен матерью, а мать подавляет жизнь. Она как могла изворачивалась, мстила, говорила Миле: «Ты ж никогда никого не любила. Ты вот с крестными поругалась — характер у тебя такой, злыдня ты». Миля била ее, как не била Никитуса. Паня отрывал ее от дочери. Миля заставляла ее сидеть с младенцем — Миколайчиком. «Ты рожаешь, я сиди? Вон он и сам ходить умеет!» Миля видела, что Никитус смотрит на Миколайчика, как на чужую собаку, забежавшую во двор. И Волька вдруг подумала, что ведь Никитус и в самом деле не знает, кто это такой — человек или собака, а может быть, козленок? И если изловчиться, можно переродить, пересоздать Миколайчика — только вложить бы в голову идиота навсегда одно-единственное представление, что это... ну, теленок. «Вон, посмотри,— Волька поворачивала затылок Миколайчика, где алым пламенем стояло родимое пятно,— его корова лизнула». Никитус хмурился, слюнявым пальцем водил по голове Миколайчика, бурчал брезгливо. Миля стала колотить ее за плохие отметки в школе. Это стало принципом воспитания: учись, учись, дура,— а подразумевалось: никогда ничему не научится, поэтому власть Мили над Волькой безгранична. Волька, убегая от побоев, в дверях замирала и кричала: «Вот он, он вырастет и припомнит тебе все! Никитка, запомни: как она била меня, так ты ее будешь избивать!»

Но однажды Волька поняла, что случилось с Абрамом. Она увидела его глаза, голубые, в кровавой пенке под медленными веками, его руки и его взгляд были нежны до ожогов. Волька отстранилась и затихла. Великая власть открылась ей — власть над человеком, над судьбой... Теперь все стало иначе, перекособочилось, и когда Миля взревывала ревнивой ненавистью, Волька дышала глубоко, сдерживалась из всех сил, зная, что выкрикни она Пане одно только слово... Волька отрезала косу. Миля бесилась: «Сука подворотняя, затылок-то оголила, как задницу!»

Перед самой войной Волька уехала. Ни мать, ни отец ее не удерживали. Никитус ничего не понимал, радостно тащил по комнате деревянный чемодан. Один только Миколайчик — странное существо, к которому Волька прилипла душой,— не отходил от нее, переламывая отроческое смущение. И только когда он все же заплакал, всплакнула и Миля. Волька оглядывала комнату, оглядывала каждого из них и не могла понять, что ее здесь держит, если ни к одному из них не привязана она насмерть.

Она бежала, чтобы опустошилось сердце. «Вы еще пожалеете, мамаша!» — но это уже было совсем другое чувство, если месть способна чувствовать.

Природа свела ее с Милей — природа и развела. «Езжай,— сказала все же Миля.— Рога пообломаешь. Но попомни: детей твоих нянчить не буду!» «Да я их и сама вам не дам». Никитус стал звероватым, кидался бить Милю, отец охватывал его со спины, отрывал от пола. Мать брызгала в лицо придурка, шептала скоротечную молитву.

Панин сослуживец прислал письмо из Бухары, звал на хорошую службу. Волька сказала: «Я поеду». Дольше всех ее провожал Миколайчик. Вез их дядя Юхим на колхозной бричке. На выезде из станицы их нагнала Машка Брусова:

«Чимчикуешь?» «Чимчикую»,— сказала Волька. Была середина июля, выскобленное солнцем белое небо только над горизонтом чуть темнело. Волька оглядывала привычные с детства уклоны холмов, спуск к заилевшей речке... это и все, что мучило взгляд. Волька согнала с брички и Миколайчика и Машку: «Ну, топайте. Живите дружками». Они стояли обочь воспыленной дороги — вихрастый надо лбом Миколайчик и курчавая, как черная овчина, Машка. Юхим чмокал воздух, мягко понукая лошадь. Волька махнула, сгоняя стоящих детей. Они мешали быть ее боли и недоумению. На пологом холме ковыльной невзрачностью трепетало кладбище. Кладбище не знало Волькиной памяти. И Волька опять поглядела назад — две фигурки, казалось, не двигались. «Как суслики»,— сказал через голову дядя Юхим. Вольке пить захотелось — так жарко и сухо удалялись фигурки детей. И в этом желании выпить то, что она видела, Волька наконец уловила смысл боли и тоски: ничто ее не держало в станице, столбы, подбитые пасынками, приносили электричество и радио и убегали быстро, без оглядки. Это была прямая, непреклонная линия. Волькина память изваяна была на изгибах, на впадинах, на углах и переулках, на меняющем цвет и смысл окоеме — надо было сильно захотеть, чтобы пробить, преодолеть эти линии, линии судьбы («суть бы», говорила крестная). Ничего, кроме кривящегося пространства, не было вокруг, «дядя Юхим, ударь ты своего коня», ничто не менялось в этом богоданном пространстве, и не менялись люди, их лица медленно усыхали, как почва в суховей, но нарисованный линиями смысл этих лиц никогда не менялся. И все вместе было заплетено в неизменяющийся узор — узор пространственных трещин, в которые родниковой прозрачностью точилось время. «Дядя Юхим, заверните на криничку».

И когда длинный поезд повел хвостом на повороте — Волька глядела в окно, голый затылок гулял под ветром (коса лежала в холстяном мешочке. «Бери,— сказала Миля,— гнид наплодишь»),— Волька поняла, что о т о р в а л а с ь, что есть силы, способные вырвать из завершенной вкруговую планиды. «Рано вы ее отпускаете,— сказала крестная, тетка Галя.— Зараньше можно было на одной сноровке взять. А теперь политика». «Пусть уж на ноги становится»,— с лукавой грустью сказала Миля. «А я на коленях не ползала»,— хотела сказать Волька. Отца было жалко. Она оставляла его с мамашей, глядящей на мир из-под как бы куриной шторочки. Одна отрада — Миколайчик. Он казался ей свободным, негорестным, и потому его она оставляла также свободно...

Ранним утром поезд бежал через горькую от гари пустыню Азербайджана. Клюющие носами насосы так трудолюбиво мельчили пространство, что Волька уже не помнила прежней жизни,— вот же она, новая жизнь, и вот как она, оказывается, совершается. И вспоминала с презрительной утренней добротой, как говорила Миля: «Ты мне не перечь. Я тебя породила».

В Баку все напиться не могла, жара не пугала, люди не пугали, было просторно, как и в родной степи. И потом на пароме, когда плыла через Каспий, мучилась жаждой. Она обошла открытую и закрытую палубы, никто не знал, где вода. Издали за Волькой следил какой-то парень. Волька подумала: если спросят, скажу, что уже комсомолка и колхоз выдал справку. Так решив, она зашла в ресторан. В безлюдном зале была одна официантка. Волька попросила чего-нибудь выпить и поесть. Черноволосая официантка посмотрела бессловесным полуприкрытым взглядом и сказала, что выпить нечего, и принесла тарелку борща. От запаха переваренного мяса Вольке стало страшно: это был до тоски не домашний запах. Она не вернется никогда, говорила себе Волька, будет приезжать только на похороны. Через тоску всякое воспоминание приходило словно перед смертью, сильно и остро исчерпывало. Если умрет Миля — станет легче, мертвые не просят воспоминаний. Так будет она думать, вкушая всякую пищу, обманывающую недомашним вкусом.

Волька нашла местечко на открытой палубе, уложила чемодан на колени и задремала. Она вспомнила крестную и преподавателя Джемса Георгиевича Бруса, отец Бруса сгинул, а Джемса-младшего беда обошла. Волька хотела бы полюбить Джемса, но тот ростом не вышел и еще у него была девочка Машка, все думали, что она дочь, а потом Паня догадался, что Машка — дочь Джемса-старшего, а кто мать — неизвестно, а Джемс-младший не говорил. Скрывал. И когда Волька узнала, что Джемс и Машка — брат и сестра, ей стало жаль этих не то англичан, не то американцев. Миколайчик любил Машку, и Вольку это радовало, и сейчас, в дремоте и в духе Каспия, тоже радовало, было же что-то

светлое и правдивое в том, как чужие люди друг к дружке привязываются. Вот как они, девчонки, комсомольским составом ходили собирать колоски. Или помогали на уборке зерна. Человек должен начинаться с дружбы, на солнечном гончарном круге должен взрастать человек, как возникает на гончарном круге глиняный глечик. Волька знала, как привязывались раньше, до колхозов, когда жили особями, к корове, к лошади, как привязывался казак к коню, вот так и человек к человеку привязывался, по-крестьянски, от такой завязи зачахла бабка, Милина мать, и никто не научил ее развязать этот смертельный узел. Это оттого, думала Волька, что ничего, кроме хозяйства, каждодневной нервомоталовки не знали, уповали на хозяйство, на живот и никаких других привязанностей знать не могли, души ни на что другое не хватало. Вот так завязала пуповину и Миля, да Волька не далась, отрезала. А Паня? Любовь его доводила Вольку до головокружения — это когда в тебя всю душу, а душа — это же вот-вот тело. У Пани ничего не было, он давно разорвал с землей, но душа была та же, корневая, жаждущая почвы и любви как почвы. Вдруг возникала, как смерч на горизонте, охватывала, брала на руки, поднимала, голова у Вольки страгивалась, как река весной, и мысли плясали солнцем над глухой водяной глубью. Лицу жарко, спине морозно. Паня, опалив, отступал. Такое Волька испытала из чужих рук только однажды, когда в Троицу ходили они разагитировать верующих на кладбище и одноклассник запрокинул ее на старой могилке...

Волька открыла глаза, сквозь веки видела далекую воду Каспия, неподвижно переходящую в зной и солнце. Паром, казалось, не двигался. А Волька боялась качки. Она вспомнила крестную и крестного, как они садились друг против друга — бездетные, пустые, умиленные — и дядя Юхим медленным пальцем читал Библию. Миля запрещала крестным читать Библию при детях, но крестные, умиленно прощая Миле ее злость, читали Библию тайно. И Волька никогда их не выдавала. И, вспоминая длинный перечень имен — кто кого родил,— она понимала, что мир сначала был такой же крестьянский и потому люди так подробно вели свою «амбарную книгу», строго соблюдая родовую корневину, чтобы не порвать корешки мелкие и не сгубить дерево рода. Они привязывались друг к другу со всею животной силой. Потому и вели перепись человеческого поголовья. Помнила Волька, что бог однажды требовал от человека принести в жертву человека — сына, и отец даже решился (чтобы спасти род), но бог в последний момент отвел руку... А потом пришел Христос, и кончилась человеческая родословная и началась другая история. И зачат Христос неизвестно от кого, и отказался Христос от матери своей и от всех своих родичей, и не спал с женщиной, чтобы не оставить на земле после себя детей-наследников, и был принесен в жертву, растворился и воскрес безначальным светом, духом, не имеющим кровных корней. И пришли на смену родам — народы... Волька вдруг открыла глаза — парень издали смотрел на нее и шел вдоль борта, обходя узлы, кучки сидящих, детей, вороха мешков. Он опирался на палку и перекидывал деревянную ногу, легко подпрыгивая. Голова у него была небольшая и небольшое лицо с усиками. Плечи у него разворачивались под футболкой широко и толсто, как колена. Он подошел к ней, улыбнулся, от небольших темных глаз вспыхнули морщинки. «Куда едешь, куропатка?» — спросил он с акцентом. «Почему куропатка?» — Волька хотела сказать и порезче, но услышала теперь, что вокруг говорили на нерусском, лица были нерусские, и на всем этом нерусском пространстве сознание Волькино подвихивалось. Ей понравилось, что парень заговорил на понятном языке. Она сказала и замолчала, а он подождал, крутнулся и сел рядом, без смущения вытянув деревянную ногу. Он сказал, что его зовут Мурат. Волька смотрела на шелестящую вокруг парома воду, море казалось мелким и полусухим. Мурат рассказывал, как мучился с деревяшкой, а теперь — хоть танцуй. Он раньше штангистом был, но туберкулез съел ногу. «Пацаном был, у солдат махорку просил, много курил,— перечислял он привычной полурусской скороговоркой.— Вот тебе и задача. Теперь не куру». Он улыбался прямо в лицо Вольке, глаза у него оказались совсем круглые, и было в этих глазах какое-то женское бесстыдство. Волька вспомнила, что она тоже теперь женщина — потому что одна и разговаривает с мужчиной. Мурат смеялся, когда шутил, и хватал за руку. Волька отрывала его пальцы, но не злилась. Он много говорил о своей ноге, как ездил в Кишинев, где прожил почти месяц, примеривая то один, то другой протез, как пил молдавское вино и не мог опьянеть. «Потому што,— он постучал палкой по ноге,— протез не пьянеет!» И

Волька наконец рассмеялась вместе с ним. Тогда Мурат с нежностью рассказал о своей маме — она жила одиноко в Бухаре, но ехал он не к ней, а в Красноводск тренировать свою команду штангистов. Она решила, что от него ничего плохого ожидать нечего, что только так и можно говорить о матери, особенно сыну, ведь он давно уехал от нее. Мурат говорил, что редко встречал русских девушек и что они ему нравятся. Волька сказала, что она казачка, а не русская. Он рассмеялся и попросил, чтобы она сказала что-нибудь на своем языке. «Вот я нерусский... хара-бара-бара... понимаешь? И ты скажи на своем». Волька растерялась, она в самом деле всегда чувствовала какое-то отличие (воспитали так?) от «русских», но ведь речь-то была у нее русская. Она не смогла объяснить. Мурат внимательно подождал и рассмеялся так, как будто разгадал ее шутку.

В Красноводске он помог ей найти комнатку — на окраине города, среди глинобитных улочек. Через несколько дней подсказал работу — помощницей в приморском буфете. Волька решила: призадержусь,— писем не писала и даже не думала, что напишет когда-нибудь. Она чувствовала себя отрезанной, как чувствовала отрезанной свою косу. Перед маленьким зеркалом она иной раз прикидывала косу к затылку, и хозяйка, беловолосая, краснолицая женщина с вечно забинтованной правой рукой, похвалила за бережливость, сказала: «Вот до моих лет доживешь, будет чем лысину прикрыть».

Волька встречалась с Муратом, тот не оставлял ее, говорил: «Будь осторожна, тут всякие... Если что, говори: я дэвушка Мурата. Меня знают». Выпивая, он пел, ударяя здоровой ногой: «Базар большой, народу много! Русский дэвушка идет — давай дорога!» Он много говорил о справедливости, что люди разных национальностей должны жить по справедливости, и всегда рассказывал, как кто-то (мог быть узбек, азербайджанец, таджик или русский, чаще русский) нанес ему несправедливостью оскорбление: «Я сам нэ дэрусь. Но меня нэльзя оскорблять. Душа у меня такая, она честность любит». Глаза делались неподвижными, по их студенистым овалам бежала какая-то сумасшедшая мысль. Волька думала, что так ей кажется, а на самом деле, когда он выпивал, начинал думать на своем языке, и потому взгляд и мысль делались непонятными ей. Все нацмены казались ей подозрительными, полусумасшедшими, но она знала каверзы своего брата Никитуса и быстро привыкла. «Глаза у вас собачьи,— говорила она Мурату.— Все понимаете, а сказать не можете». Мурат обижался, но обиду сносил.

Он пригласил ее погулять за городом, но они пошли не к морю, а расположились под насыпью арыка. Она разделывала селедку, морщась от запаха и теплого пива. Мурат отстегнул протез и показывал, хвастая, как заживает натертая старой деревяшкой культя. Красный глянцевитый обрубок вызвал у Вольки чувство брезгливости и нежности, она провела пальцем: «Не больно?» Зной и ветровое шипение насыщали колючий кустарник. Мурат стал играть с ней и полез под трусы. Волька струхнула, она заглядывала в его глаза и видела, что они полны безумия, но опять — оттого ли, что он задумал, или оттого, что волнуется и думает на своем языке? Мурат рассмеялся пивным лицом, он отпирал ей ноги, короткими сильными пальцами пробил под лобком. Он сдернул с ее ослабших ног трусы, так Волька сдергивала мокрые трусы с Миколайчика. Мурат опять рассмеялся, подхватил ее под ягодицы, как ребенка, и стал целовать. Волька быстро привыкла к его густому запаху, думая, что и он принимает ее обильный, пахучий пот. «Ты нэ боись»,— сказал он. «А я не боюсь»,— сказала она насмешливо и все ловила его глаза, он на мгновение замер над нею: что сказала она? что она сказала? И Волька поняла, что и ему ее глаза кажутся сумасшедшими. Он заваливался на ту сторону, где у него не было ноги. Волька видела, как беспомощно дергалась культя. «Ты нэ смотри»,— попросил он и погладил, вороша, плоть между ног. Он поднес ладонь к лицу и понюхал. «Селодкой пахнет»,— сказал он, жмурясь. Волька потянулась прикрыть ноги, но Мурат катнул ее под себя, ожёг, надрезал, но совпал, и она вдруг почувствовала его волосатый живот, трущийся нежно, как овца. Ей было тяжело от пива и хорошо, она по-детски развязно раскинула ноги, смотрела через прищур нижних век на его лицо плодящей кошки (такое лицо бывало у Никитуса, когда Волька заставала его за рукоблудством), на бабьи испуганные глаза. Он заскрипел зубами, ударил низом и затих. Она хотела выкатиться, но он удержал скороговоркой: «По-ожди, полежи, лялечка». И долго мочился в нее, «чтобы прервать бэрэменность», она выдернулась наконец, он глянул вниз на кровяные нити и

отпрянул от нее: «Дэвушка?!» «А ты думал — бабушка». Прыгая на заднице, он скатился в арык. В неприязни к нему было знакомое странное удовлетворение, может быть, эта неприязнь была сродни той, которую она испытывала, обмывая загаженного Никитуса или отстирывая захезанные штанишки Миколайчика... Отстраняя от себя подол, она вошла в воду. Мурат сидел в стоячей, чуть-чуть прохладной воде по горло, лил ее фонтаном изо рта. «Хорошо я тебе пистон поставил?» — «Отвернись». Она замывала себя, чистила ноги, брезгливо чувствуя свою кожу. «Твою мать, целка!» — заржал Мурат, он выходил, корячась, из воды, канава была скользкой, он поехал вниз, выпятив назад большие пупырчатые яйца.

Он нравился Вольке, но она не могла проникнуть через его нерусскость. Она охотно отдавалась ему, в эти минуты они были одинаковыми, она, ища наслаждения, успокаивалась, и он только в эти минуты был уверен в себе. Она многое ему позволяла, плетя и переплетая плотскую связь. Ей не хватало его души, до которой она — вдруг обнаруживая материнскую настойчивость — пыталась дотянуться насмешкой, обидой, болью. И если он обижался или озлобевал, она, пугаясь его, была довольна: где-то в глубине его души она находила отклик. Из нежности, из плетеной плотской любви она восходила через его нерусскость к его душе, принимая конечную неприязнь как свидетельство привязанности. Она пила его нерусскую слюну — прелую, густую, подсыхающую корочкой на коже. Он был первый мужчина, которого она могла видеть в таких близких подробностях. Но потому, что первый мужчина был нерусский, она и всю мужскую особенность приняла уже за нерусскость.

Он ходил, подскакивая на протезе, а когда садился на стул, брючина взъезжала, обнажая угловатые тяжи пружин. Он водил ее в ресторан и пил, танцевал, он хвастал ею, но она видела его глаза, наливающиеся иноязычной ревностью,— она была светловолосой, ее глаза смешали отцову голубизну и материнскую кареть. Он и это уже не прощал ей, и не прощал то, что она так легко уступила ему, он не верил, что она была девушкой, говорил, что она ему под менструацию дала. А ночью на кровати, балансируя, он бил ее культей — быстро, сильно, не уставая. Она брала его в себя с сердечным уступом, обзывала ласково черножопым и понимала, что он вошел в нее ее жизнью, и она уже не боялась будущего, потому что странной представлялась ей прошлая степная жизнь. Оказалось, что она пришла в этот жаркий, пыльный, безводный город из пустоты (а пустота ведь держала ее как стяжная тяжесть) и оказалась полюбленной этим неприятным нерусским с маленькой головой, требовательным личиком на толстой шее. Он разорвал ее (что-то же должно было произойти, чтобы отделить н а в с е г д а жизнь от ее прошлого), и она уже не знала жизни иной и не могла знать (длинная жаркая улица, песчаный полдень, тутовое дерево, в коре которого цементно осел песок). Приходили редкие письма из дома (Волька сжалилась и дала адрес), писала Миля, поучая и предостерегая ее якобы словами отца. И Волька порывалась ответить — ядовито, насмешливо,— сказать им, что они ничего в жизни не знают, что просидели в своей глухой степи тысячу лет и боятся нос высунуть... Но порыв проходил, а главное: она не могла бы объяснить, что любит нацмена и что такой любви, может быть, и на свете не было, она любила, отторгая Мурата, отторгая, как, может быть, любит женщина своего доношенного ребенка, исторгая его из чрева. Иногда, наклоняясь над Муратом, гладя пальцами шершавые щеки, она вдруг дрожала от сдавленного крика — крика нежности. Он замечал, но не понимал, глаза его с густой, как нерусская слюна, склерой теряли свет осмысления. «Не пожалеешь — не полюбишь»,— вспоминала Волька мамашины слова. И вот жалость — глубокая, как обида,— искала пронзительного крика. Волька, спасаясь от этой судороги жалости, научилась отпускать в себе доброту. «Ну,— требовательно спрашивал Мурат,— что ты на меня смотрышь?» Его властный взгляд надламывался. «Сама ты дэрэвня!» Но Волька думала о том, что тяжелая Милина душа не скоро выветрится из нее. «Пусть теперь она там Миколайчика пестует... Посмотрим, вынесет он ее кондовую душу?» Волька массировала культю, привязалась к ней как к младенцу. Иной раз культя кровоточила — когда Мурат, тренируя каких-то своих штангистов (Волька никогда не ходила на эти тренировки), поднимал штангу. Мурат приходил к ней в ее пристроечку, Анна Константиновна оставляла их, уходила со значением, вежливо, принимая приходы как сватовство. Волька отстегивала протез, Мурат оглаживал глянцевую красную головку культи, встряхивал ею. Волька садилась рядом и нянчила обрубок. Эта полунога,

обрезанная за колено, укорачивала ее неприязнь к этому диковатому нацмену. В культе была безродность, безнациональность. Каких бы кровей ни был человек, калечило его, как и миллионы иных. И Волька чувствовала себя культей — безродной и одинокой, но способной обиходить, по-матерински взласкать инвалида. Мурат звал съездить к его матери. «Балда,— говорила Волька.— Вы же только на своих женитесь!» Мурат обижался, говорил, что Волька беленькая и матери понравится, но лицо у него, с дощечкой черного дерева под носом, безумно бежало мимо произносимых слов, не для этих слов дано ему было лицо. Волька насмехалась (чувствовала в себе Милю): «Где же тут жить? Разве тут люди могут жить? В нашем буфете каждый день одно и то же: шурпа, шашлык, водка». Он вскидывался как стёбанутый, кипятился: «Я тэбе дэнег мало давал? Ты еще чего-нибудь хочешь?» Он тряс своей обнаженной культей: «Вот таким тэбя ... надо, чтобы довольна была».

В том, как умело, с прибылью торговала в буфете, как давала без досады, Волька узнавала в себе Милю. И как тайно пошла на аборт (хозяйка Анна Константиновна поспособствовала) и как перенесла муку, закусив полотенце, тоже узнала Милю и ее крепкую снасть. После аборта пришла в пристроечку, Анна Константиновна, бережа свою незарастающую руку, ухаживала, заварила чай, дала вишневое варенье, качала головой и говорила, что правильно Волька сделала — что можно ждать от забулдыги Мурата? Одноногий, пьет, а тут еще в газетах пишут — как бы войны не было. И вспомнила, протянула письмо от Мили. Волька не хотела вскрывать. Миля подстерегла — у Вольки сердце стало невесомым. Письмо было толстым, толстый слой попреков, поучений, злости. Материнских, глубинных, неисторгаемых. И на этой же глубине теперь была боль, кровь, унижающий след бессмысленной муки. Но мать писала не об этом. Она писала, что Абрам стал часто выпивать, не следит за хозяйством, а Миля весь день как заведенная работает, Никитус же все больше дуреет, ревет на луну и бьет свою мать. Недавно вырвал у нее клок волос на виске, рана еще не зажила. И деть его некуда. Волька плакала, вертела листки, торопясь узнать больше. Абрам не защита и не опора, Миколайчика бы дорастить, доучить. Он усидчивый, хорошо учится, учитель Брус его хвалит, Миля поощряет дружбу Миколайчика с Машкой Брус... Были странные листочки, испещренные загогулинами, палочками, крючочками, как будто какой первоклассник учился писать. Но среди этих сухостоин вдруг были длинные фразы, написанные совсем не Милиной рукой. И не рукой Абрама. И Миколайчик так не писал. Волька опять пробежала Милино письмо и наконец узнала, что Миля вложила ей листочки, на которых «трудился твой полоумный брат, он тоже теперь, глядя на Миколайчика, корябает, как курица лапой. Одно странно в его каракулях — непонятно кем написанные слова. Папа тоже не может понять, Миколайчик говорит, что видел, как писал Никитус, но смеется, и мы ему не верим. А посылаю каракульки, что в них и тебе от Никитуса есть весточка». Волька плакала и смеялась, она думала, что все это какая-то шутка. Может быть, Миля для чего-то заигрывает с ней. Писал какой-то Напарник, который якобы иной раз встречается с Никитусом, и что Никитус попросил Напарника передать Вольке, что Никитус скучает и зовет ее под крышу отчей хаты. Потом Напарник писал, что Волька живет теперь среди других людей, он посмотрел это место на географической карте Он писал, что Волька должна знать: все люди обманывают друг друга, так как считают, что все лучшее было в прошлом. Прошлое не идет дальше человеческой головы, и человек владеет им безраздельно. Легкость, с которой человек может исправлять ошибки в прошлом, мешает понять настоящее. «Человек строит себя в настоящем из кирпичей прошлого, чтобы обмануть свое будущее»,— писал Напарник. Волька плакала, читала вслух, смеялась. Ей было больно и тошно. Она вытерла слезы, потому что пришел Мурат. Он был с похмелья, ерошил курчавые жирные волосы, сопел, откупоривая водку. Он посмотрел на нее подозрительно, кося во все стороны сердитым белком. «Стакан дай!» Волька вздохнула, но с кушетки не поднялась. Он выждал, отстегнул протез, глотнул из бутылки, шевеля заплывшими щетиной щеками. «Ты чё? У тэбя крофь?» — спросил он прилипчиво. Волька молчала, она скрыла аборт. А сказать, что крови,— так она ему и в крови давала. «Нэ тяни кота за яйца»,— Мурат поднял себя одной ногой, расстегнул рубашку, пупок стоял торчком. У Вольки от напряжения и злости вспотело лицо. Она сказала ему. Он лег ладонями на стол, закричал: «Сука! Блять! Это мой ребенок! Это мой ребенок! Я тэбе

разрешал?» Он побежал из-за стола, упал. Она поднялась помочь, он схватил палку и кинул. «Русская свинья! Тэбе надо в жопу делать, чтобы ты не имеешь совести рожать дэтей!» — «Твой ребенок? Иди подбери!» Волька швырнула костыль под дверь. «Кто? — кричал Мурат.— Эта хозайка?! Она тэбе уговорила?» Он встал, но Волька не давала костыль. Откинула под стол протез. Мурат кричал, грохотал табуреткой, прыгал по комнатке, Анна Константиновна заглянула один раз — он страшными матюками выгнал ее. Он доскакал и сел к столу. Выплеснул чай из стакана, выпил долгими, тягучими глотками воджу, он стонал, скрипел зубами. «Вы — русские свиньи! Ваше государство ёбаное, вы пришли, завоевали...» — «Да русские вас ссать стоя научили! Сам свинья, а туда же, государство!» — «Я тэбе убью». Он выпил еще, духота и полутемь скрывали пот, лившийся с него, Волька только чуяла, как он все сильнее воняет. Она тоже пережидала, она забыла про ноющую боль и смотрела на него, подстерегая каждое его движение. «Я твою мат, твою бабушку, твою прабабушку, всех вас!» Волька отвечала каким-то набором ругательств, бездумно нахватанных в буфетном зале. «Ворот кунэм! — вворачивала она.— Какой нашелся, всех он клал! А себя не хочешь?» Он поднял стакан в кулаке — Волька качнулась, но он не кинул, а схватил стакан зубами и стал грызть. «Чтоб ты подавился! Я с тобой жить не собиралась, а уж детей делать с тобой — вот тебе!» Он не отвечал, он плевал на стол кусками стекла, ныл, плакал: «Моего ребенка, сука, моего ребенка! Я заявлю на тэбе в милицию, и тэбе, и врачиху, и хозяйку твою и — всэх на ...! Вам нэльзя жить, твари, я лучше теперь тэбе зарежу, сыски отрэжу... уууу... шакалам кину!» Он допил из бутылки и скатился на пол.

Волька свернулась калачиком на кушетке, выла, скулила; боль просасывала по всему позвоночнику. И эта боль пользовалась ею, пробивалась куда-то вглубь через нее. Она была подсобным существом для боли. Боль жила, пульсировала сама собой. Волька плакала, оплакивала себя. Но уходить вместе с болью не хотела. Мурат жирным волосатым куском лежал на полу, скрипел зубами, на губах пристали крошки стекла. Волька не верила ему, не для того ему нужен был ребенок, а для того, чтобы привязать Вольку. Но боль не верила Вольке, била в пах, в живот. И то, что совершила Волька, не было избавлением, а было обнаружением ямы. Нельзя человека трогать так глубоко. Он и так всю свою жизнь только и посвящает тому, чтобы как-то подбить себя снизу, заделать дыры в своем существе, замазать трещины. Потому что сам человек над черной пустотой помещен. И может думать, а может не думать об этом, но затылком, чутьем, ужасом всегда знает об этом. «Может быть, Мурату ребенок нужен, как недостающая нога. Может быть, у него ничего и нету, все обрушилось, и висит он, как шелковичный червяк на собственной слюне, и нечем ему скрыться от пустоты, не во что вложить бездомную душу». Волька заплакала, сжалась протестующе. Не могла она долюбить нацмена. Не понимала, как он не понимал ее. Ей доставляло радость обманывать его, это получалось как-то само собой, обижать высокомерием. Он злился и кричал, что надо жить по справедливости, и подозревал ее во всем. Он и ревновал из невозможности проверить всякую ее ложь. Одно у него только и было — брать ее, присваивать так, как только природа позволяла. Ничего другого не было. Волька произносила насмешливые слова, а он вызверивался, впивался в нее своими темными, по-бабьи круглыми глазами — что она говорит, что под ее словами, зачем она смеется, почему опять врет? Если день-два он не опускал в нее свое семя, потом подозрительно осматривал, ощупывал ее. Он жалобно стонал, когда та же природа ограничивала его, подталкивала выпрыснуть себя. Он сдерживался, он целовал большими вдруг губами Волькино лицо, глаза, захватывал ее волосы в пригоршню и окунал в них свое лицо. Природа давала — природа прекращала. Он бесился, он просил Вольку не оставлять, теребить, гладить, Волька повиновалась нехотя, она уже привыкла к его мужской мякоти. Он приносил ей минуты радости. Когда не надо было смеяться, вертеться голосом, смачивать насмешкой смысл. Он радовался младенческой печальной радостью, когда обнаруживал на ней пятна присохшей спермы, радовался тому, что они трудно отколупываются. «Ты должна каждый дэнь помнить мэня,— говорил он.— Ты каждый дэнь помнишь?» Волька дергала волосы на его груди, выщипывала, он морщился, смеялся.

Но Волька не могла не обманывать его. Как не могла не обманывать покупателей в буфете. Это было что-то от Мили — недолить, недовесить, обсчитать. Это было просто так, просто так надо было. Иначе было бессмыслен-

но. Ведь цена была дана, не Волька же выдумывала цену. Цена была дана, как же не обманывать? Цена приходила вместе с продуктом, значит, там, вверху, так решили. Цена спускалась раз и навсегда. О чем тут говорить? Цена — это и были деньги. Буфетчица намекала, но Вольку не надо было учить. Цена до продажи товара уже покупала его. «Волька, Волька,— говорила себе Волька, топчась на влажном полу буфета, забывая об усталости,— следи и не сбивайся со счета!» Она разливала пиво, разбавляла водку, взвешивала, о т п у с к а л а. Все это уже было куплено. Вольке надо было отпустить товар на волю. В той нетерпячке, в духоте приморского вокзала, в сутолоке, в криках и торопливости ощущалось великое нетерпение товара выскочить из своей оболочки и быть тут же употребленным. Это не было торговлей. И потому Вольке это нравилось, ей нравилось мухлевать (слову научил Мурат). Покупатель не торговался, он просил: дай то, дай то, дай столько-то. Она отпускала, она следила за лицом покупателя, бегло листала лица, прочитывая их как страницу — залпом, целиком. От этого зависело, сколько она сумеет снять с покупателя, сколько возьмет себе с государственно определенной цены — цены денег. Если это и можно было назвать торговлей — это была торговля с собой, внутри себя. Твои внутренние весы опирались на заданную цену (куда деваться? так решило великое государство рабочих и крестьян), и ты должен был, играя в качели, настолько обесценить покупателя, насколько позволяла твоя сноровка, уверенность, наглость, быстрота, легкость, легкость,— покупатель должен был чувствовать, что ты с ним находишься на одной доске и испытываешь такую же невесомость. Она не могла бы сказать, сколько будет в ее пользу, но старалась, чтобы стрелка (дрессированная, но не очень послушная собачка цены) не падала в ущерб. Впрочем, если научиться ч у в с т в о в а т ь спиной, затылком положенный государственной ценой предел — ошибиться невозможно. Иной раз она натыкалась на какого-нибудь законника, и тот начинал качать права. Тогда находился кто-нибудь из завсегдатаев, подходил к нему и говорил: «Не хипиши» — и намекал на Мурата.

Вольке не надо было много (буфетчица говорила: «Простодыра, копи, что ты все по ветру пускаешь!»), она получала свою долю от разницы между ценой вырученного и ценой смухлеванного. И не испытывала угрызений. Здесь не за что было себя угрызать. За что? Даже если бы они не разбавляли пиво и водку, не обвешивали, не обсчитывали, не выдавали один сорт за другой — все равно предъявитель денег не смог бы выкупить товар во всем его объеме. Потому что все государственно взвешенное и оцененное в конце концов проходило через человека... И в этом месте своих отрывочных размышлений Волька замирала. Сколько ни взвешивай товар, сколько ни определяй его качество, сорт и цену, в конечном расчете остается человек. Через его голову не протянешь всю материальную сущность товара, как протягиваешь через поле, через доставку, через весовую. Через его голову можно протянуть только то, что голова принимает (вот откуда такая ревность и такая злость у Мурата!): слово, цифру, идею, вес в числовом выражении. И хоть перевернитесь вы все там, а другой головы нет и быть не может. А голова... это такая неопределенность, которую не проконтролирует никакое даже самое развеликое государство со всеми своими ревизорами. В этой голове и государство лишь частичка, взвешенная в мутной воде.

И когда Мурат брал ее, он мухлевал, зависая над неопределенностью производимого. Он хотел ребенка, но он хотел наслаждения — он наслаждался Волькой. Он требовал от нее наслаждения, и было оно тем острее для него, чем острее чувствовал он эту неопределенность.

Здесь, в буфете, Волька видела результаты колхозного труда на поле. Воя и поскуливая от боли и тоски, она вспоминала, как всем классом собирали колоски, а потом, повзрослев, вывозили зерно на быках. Засеянное, и взращенное, и снятое — разве можно это купить? Кто выдумал это великое мухлевание? Зерно просыпалось сквозь решето расчетов. Гигантский грохот, решето удерживали только ту часть зерна, которая застревала в ячейках. Кто выдумал, что можно совместить произведенное и проданное? Кто поставил знак равенства? Кто обязал жизнь биться так, как того желает расчет? Мурат ёб, не зная, забеременеет Волька или нет. Он хотел ребенка, но не мог он знать заранее — получится ли и что. Волька сама наслаждалась мягкими, стёбными нажимами его плоти, но могла ли она, словно товаровед, сказать ему: вот сейчас твоя молофья разрешится беременностью? Как это может быть, если Волька бьется перед невозможностью достичь дна его нацменской души? Когда он брал ее,

сопротивляясь повелению природы, Волька просила: «Скажи, ну скажи!» Он через одышку бормотал: «Блублу!» Волька суеверно радовалась: семя, не названное точным словом, не могло завершиться беременностью. Так, она тоже вспоминала, Никитус, ее брат-идиот, воспринимался всеми в доме неспособным слышать и понимать. А вот пришло письмо, и там среди дурацких каракулек вдруг шли слова, мысли, возникал взгляд. Волька заплакала теплыми, чувствительными слезами, и ей стало страшно — так страшно, словно вот-вот кто-то войдет и с к а ж е т. Значит, Никитус все видел и понимал, и Волька вспоминала, что́ он мог видеть, когда Абрам оставался с Волькой наедине. «Ой, больно, больно как»,— звала Волька боль, но боль затихла и не отзывалась, не мутила, не перебивала мысль. А куда легче всего вспоминать? В память. Волька вспоминала родную хату и приземистое окошко, скрывающее полумрак от жаркого степного солнца. И Никитуса, сидящего у окна, и Паню, что-то говорящего ей, его улыбку, его руки, его странные — как можно целовать такими губами? ведь не целует же Вольку курган или бегущий через степь клубок типчака! — его странно-нежные губы. И все это видел Никитус? Волька вдыхала, забывалась, прощала Пане все, и нежность, ушедшая вместе с вытравленной (потравленной) нежностью Пани, возвращалась, Волька вспоминала, как боялась Мили, как страшилась подносить ложку ко рту. Так теперь, вспоминая и понимая (невозможно!), что Никитус все видел и понимал,— она падала в черноту и бесконечную тоскливую сумрачность. Никитус видел и не такое и не такое запомнил, господи боже мой, что сидит в его огромной лысеющей голове! Ведь все, все в семье считали, что глаза его глухи, как уши глухого! Вот тебе и «Напарник»!

Мурат проснулся и ползал перед нею на коленях, на колене и культе, она сжалилась (у нее была справка, а женись — она получила бы паспорт!), и они поехали в Бухару к матери Мурата.

Они приехали в Бухару, шли по жаркой, глухой глинобитной улочке. Он торопился, нажимая на протез, радовался маленьким смуглым лицом: «Тут я родился, жил, вот тут бегал, тут мы виноград воровали». Стойкая жара, глиняная тень тополей (и здесь тополя!), в глухом дворе, обитом глиной, стояла старуха, покрытая до лба замусленной косынкой-чалмой. Лицо — словно высохшая кора, и на коре — неподвижные морщины, злые, подвижные черные глаза. Старуха молчала или что-то тихо бубнила сыну. Сын веселился, отстегивал протез цвета старушечьего лица. Волька молчала из последних сил, она не верила, что судьба зависит от этой маленькой, с быстрыми, по-козлиному насмешливыми глазами. Ночь — тень от забора, а днем они ругались, старуха довела Мурата, бубнила, бубнила, отворачиваясь от Вольки (Волька аж заходилась от гнева — как можно от нее отворачиваться? и кто — вот эта старая дура, не знающая ни жизни, ни привычки мыться каждый день?!), а Мурат разозлился, кричал на мать, грозил протезом, мать ушла в уборную — узкую будку, похожую на сторожевую. Мурат скакал по двору, опираясь на костыль, кричал матери ласковые и бранные слова, кидал в будку кусками глины. Мать отвечала ему на своем «бу-бу»... Ночь — тень от забора надвинулась вместе с черным прозрачным небом. Мать легла во дворе. Мурат, потея и давясь от сдержанности, стал давить, а Волька прислушивалась к треску пружин. Мурат давил медленно, затяжно, луна голубым сквозняком пришла к занавеске, упала на кровать, подползла к их телам, к жопе Мурата, к лицу Вольки. Мурат мял ее как никогда долго, скрипел зубами, приноравливаясь к возвратной работе. Волька, прищурив глаза, разглядела, увидела, что мать стоит у окна. Волька схватила Мурата за кожу у ребер, сдавила, он зарычал, застонал, она дернула, хотела вырваться, он прибил ее раз, другой, схватил за сиськи и сжал до боли. Мать неподвижно стояла, смотрела — черная, словно стояла спиной к ним. Мурат размашисто ударил — выскочил, из него полилось, он застонал, заплакал, хотел вернуть себя, Волька не помогла, Мурат выругался и упал рядом.

Человек живет под небом понятий. Вот откуда его мистическая страсть к судьбе. Человек живет под небом понятий, как под пологом предсказаний. Понятия движутся небом сознания — облака в богоданной тверди. Но движение непредсказуемо, так непредсказуемо рождение человека.

Облака понятий могут затянуть все небо, стать предельным понятием, как понятие «бог». Небо может проясняться, облака во всей своей полноте неопределенности снова возникнут на небосводе сознания, но они уже будут чреваты —

чреваты предельностью, отныне они будут двигаться на границе жизни и смерти, и любая форма движения будет содержать мгновенную, абсолютную целенаправленность.

Самодвижение понятий и абсолютная их целесообразность в сочетании рождают уникальную «природную силу». Но в отличие от натуральной природной силы, которая возникает лишь постепенно, эволюционно вовлекаясь в самоорганизацию (для природной постепенности времени нет), «сила сознания» возникает сразу, вспыхивает вся и затем стремится продолжиться и усилиться в массовидном сознании. Здесь властвует время. Здесь появляется история — антиэволюция, порождаемая сознанием и существующая через сознание. История как форма существования посредством изменения (разрушения) увековеченных природой форм и сил.

Сила сознания уникальна по своей противоестественности — антиэнтропийности. Если в человеческой голове вспыхнуло знание, оно уже не может быть погашено. Человека невозможно возвратить в незнание — его можно только отправить в небытие. Прекратить человеческое знание можно только через прекращение его жизни. Однако прекращение знания дискретно, а прекращение жизни абсолютно. Знание лишь прерывается. О силе сознания (сознания-в-знании) можно судить по тому, что предел сознанию ставит не другое сознание, а — н е б ы т и е, то есть вся вселенная.

Сознавая свою космическую мощь, сознание неустанно ищет и равносильные средства самоуничтожения. (В голову Миколайчика мысль об атомной бомбе заронил Игорь Шерстюков. Игорь говорил, что солнце — это тоже атомная бомба, но только так далеко отстоящая, что мы, прикрытые атмосферой, не чувствуем всех губительных лучей атомного распада. Но знание об атомной бомбе не сразу превратилось в идею атомной бомбы. Миколайчик всегда чувствовал потребность в некой всеохватной идее, он чувствовал ее даже телесно — теменем или макушкой. Он глядел, как лысеют отец и Никитус, и в этом лысении наблюдал невидимое кружение идейного диска, полирующего головы старикам и придуркам. Но однажды атомная бомба вспыхнула в его сознании идеей, и небосвод очистился от облаков и бегущих туч, пришло неподвижное равноденствие понимания: теперь в е с ь мир охвачен одной-единственной мыслью, одной-единственной идеей... Но Миколайчик еще не знал, что́ повлечет за собой эта глобальная «ноосфера».)

Когда Толстой говорил о самодвижении народов, он имел в виду эпидемические вспышки сознания. (В самой холодной драме «Пир во время чумы» Пушкин исследовал сознание на пределе его существования, сознание, охваченное «идеей чумы», всеобщей идеей,— а таковой может быть только идея смерти. На границе всех понятий человек испытывает «неизъяснимы наслажденья» — подлинную, чаемую свободу. Что претерпевает человек, охваченный «последней идеей»? Куда развивается?) Вспыхнувшее сознание, сознание, вспыхнувшее каким-то пониманием, не ждет, когда ты сам этого захочешь. Однако вслед за вспышкой, но никак с нею не связанно, возникает необходимость поступка. Готов ты или не готов, но ты поднят на уровень общенародной (или общечеловеческой) идеи и обязан совершить нравственный выбор.

Неравномерность развития, распределения сознания во времени и невозможность всеобщей идеи миновать голову, индивидуальное сознание, родили надчеловеческий институт — государство. Оно берет на себя право всеобщего выбора как всеобщий разум. В пользу этого разума, призывал Толстой, человек должен отказаться от индивидуальной воли, сделать нравственный выбор. Вот почему государство изначально нравственно. Любое государство возникает на основе нравственного выбора каждого «отдельно взятого» сознания в пользу государства. Нравственность постоянно присутствует в сознании как над-сознательный механизм, следящий за тем, чтобы в нужный момент расконсервировать и обобществить индивидуальное сознание. Как государство есть форма существования индивидуального сознания в надчеловеческом пространстве, так нравственность есть форма существования над-внечеловеческой «всеобщей» идеи в пространстве индивидуального сознания.

Сосредоточение в машине государства нравственно обогащенной энергии индивидуальных воль дает в руки операторов силу космической мощи. Существенна безличность, космичность этой специфической энергии: н е б ы т и е сознания говорит на языке сознания.

Традиционной формой защиты индивидуального сознания от государства была частная собственность. Однако по мере усиления государства, по мере оснащения его средствами уничтожения и средствами быстродействующей связи требовалась все более крупная частная собственность. Но самовозрастанию частной собственности препятствовали, с одной стороны, государство, с другой стороны — форма самой частной собственности. Антиномичность этих противоречий разрешается на языке отчужденного сознания — на языке силы, подавления, уничтожения.

«Первое в мире государство» вскрыло консервные банки частной собственности — индивидуальных воль. Привело в действие беспощадный механизм нравственности — всеобщей идеи, «всенародного государства». Операторы «первого в мире государства» ожидали, что живое сознание, индивидуальное, неотъемлемое сознание, поведет себя так же, как все эти столетия вело себя отчужденное сознание: сразу и без остатка растворится во всеобщем..

В дни хрущевской оттепели Миколайчик, лысеющий вождь комсомола — он еще только выпивал,— как-то с хмельной хитрецой записал:

«Ну хорошо, партия давила, аппарат грабил и убивал. А какая власть этого не делала? Давайте без количественных данных, а вот исходя из природы власти: кто не убивал? Важно понять, почему эта новая власть более жестока. Потому что выходили из так называемого народа, из глубинки, рвались вверх, рвались из деревни к свету (иного пути к свету как только по лестнице власти не было), рвались к свободе, используя партийную власть. Извращение? Они искали свободу, они хотели видеть мир, а глянуть на мир можно было только с высоты власти. Глянуть, понять и переустроить. Чем не Аввакум? Чем не первопроходцы? Вот почему власть эта была сверхжестока: восходя через власть к свободе, убивали своих. Когда власть убивает чужих, она когда-никогда остановится во имя самосохранения. Самосохранения нет у власти, которая убивает своих.

Принципиально новая власть. Манифестируя свободу народу, она была и единственным каналом, по которому человек из народа мог прорваться к свободе. Вот почему никакие буржуазные юридические нормы не могли работать в недрах этой власти. Работали две главные нормы — презумпция виновности и саморазоблачение. Ты должен покаяться, но не во имя спасения своей жизни, а для того, чтобы себя приговорить. Вникните: презумпция виновности. Новое покаяние. Не во имя бессмертия души, а во имя смерти, и между жизнью и смертью краткий миг подлинной свободы: саморазоблачение. Чтобы уйти из жизни, ты должен покаяться. Другого пути нет. Ты изначально виновен (грехопадение). Ты виновен не потому, что совершил некое преступление, ты виновен потому, что тебя можно подвести под любой м о т и в преступления. Тебя судят не за то, что ты человек, а за то, что ты обладаешь сознанием. И в этом безбрежном сознании бродит преступная идея, злокачественная мысль, она ходит на просторах твоего сознания, и ты виновен в этом тайном ее существовании. Вот почему так легко стряпались дела: они выдумывались, любой мотив мог стать основой для подозрения и суда. Любой мотив мог быть выужен из твоего сознания, и чтобы выловить преступную идею, преступную мысль, нужны были не правовые нормы (здесь они тонули), а нужно было особенное классовое чутье. Преступная идея, враждебный помысел запутывались в сетях выдуманного «дела». И вот кульминация: человек раскаивается, доносит на себя. Сатанизм? А скажите мне, граждане новые судьи, борцы за права человека, есть ли на земле такая ценность, которая могла бы подтвердить ценность свободы? Только одна ценность — сам человек. Что же удивительного в том, что раскаявшийся уходит из жизни?»

Презумпция виновности исходит из того, что человек обладает живым вероятностным сознанием. А это значит (о, великий спор Эйнштейна и Бора!), что человек и сам может не знать, о чем подумает или (sic!) о чем может подумать. у м о т э о П преступление совершается в тот самый момент, когда человек сам доносит на себя: мысль рождается только в момент мышления.

Никитус говорил: я старше Миколайчика и нянчил его. Миколайчик — это мое тело, до рождения его я кричал, я хотел докричаться до своего неба. Когда Миля носила Миколайчика, Паня убежал, а мы ели человечину. Поэтому Миля хотела скинуть Миколайчика, травила его. Но крестный, дядя Юхим, ласковый и шутливый, говорил, что Миколайчик на человечине отъелся, она ему понра-

вилась, и он не хотел уходить, держался в мамке до последнего. Мы чужих не ели, в церкви много было трупов, но кто же ест мертвечину. Мы съели дальнюю родственницу, она примерла, мы ее разрезали, куски в снег поховали. А когда из снега вынаешь — чей кусок? Просто мясо. Миля крестилась и уваривала его. Мы не говорили друг другу, что едим. Волька совсем не знала. Миля говорила: «Чуток мясца, больше нету». А Волька хнычет: «Хочу печины, хочу печины!» Миля побила ее, сказала, что потрох собаки утащили. Волки выли по степи, снег все наметал и наметал, потом волки ушли. Снег настым стал, я ступал, не проваливался. Мы выдюжили, я даже мог за воротца выходить. Один раз почти за станицу вышел. У кладбищенского холма остановился. Кое-где из хат дым шел, он был тяжелее воздуха и опускался, катился по лаковому насту. А на кладбищенский холм рвался заяц, лиса билась, скользила позади. Они катались по насту — заяц царапался вверх, убегал, лиса семенила на месте.

Когда в колхоз на равенство пошли, детей надо было спасать. Мужики их малофьей отпаивали, дети пососут, а потом водой набузуются, как от соленой рыбы. Мне потом Напарник объяснял (Напарником его прозвал Паня, когда вернулся на комбайне работать), Напарник объяснял: «Теперь пшеница пойдет не в колос, а в стебель. Ножи комбайна сидят высоко». Как-то я нашел Миколайчика на пшеничном поле, он стоял, стриженный под ноль, волосы ежиком светились по всей голове, он морщился от солнца, глаза были почти закрыты, он смотрел на меня сквозь сверкающие колоски ресниц... Я не знаю, как я получился. Я заглядывал в колодец, там я был на самом дне. И рос вверх, как растет колодец — дырой. Я кричал, чтобы измерить себя криком. Миля плескала на меня водой. Она не знала, что вода падает в пустоту, глубоко падает — мне было еще страшнее. Я кричал изо всей силы, чтобы криком измерить себя, чем длиннее крик, тем вернее, мне казалось, я дотянусь до себя. Я не знал, что голос у человека не для того, чтобы им измерять. Они голосом что-то другое делали, я не мог научиться, я наклонялся над своим колодцем и тянулся вниз, кричал, надсаживался, опускал бадейку... Я ходил по станице и говорил колхозникам, чтобы они забыли, как жили раньше. «Держались вы за свой скарб да за худобу, ходили по кругу, натянув веревку. Какой мерой мерили, такой и вам будет отмерено. Веревка оборвалась — сами посекли сабельками. Никто не придет к вам с другой веревочкой, на старой вы друг дружку поперевешали. Не может жить человек без меры». Когда они порубили аршин собственности и повезли раскулаченных, я ходил, кричал им, что искать надо новую меру: «Кричите в колодец, достигайте своего дна!» Соседки приходили к Миле, жаловались: «Твой ходит, гунит, запри его, оголошного, беду на дворы наводит». Миля говорила, что надо все, что делали, забыть, надо так забыть, чтобы и бог не узнал. Она и молилась теперь так, как будто с богом в кошки-мышки, в кулючики играла: видит он что-нибудь или нет? знает, или она провела его? «Если бога боишься, значит, не все сумел забыть». Надо забыть, чтобы совесть не бременить, чтобы совесть чистой была. Кушаешь — и забудь. «К корове и то прилепишься душой так, как сродная она,— говорила Миля.— Так что ж к ней лепиться, если ее на убой потом?» Я из их забытья как из пуста вышел. Я отца застал, когда он еще казачил. Был сухой, веки у него медленно поднимались. Он выходил, бывало, на улицу и дрался шутя, чтобы одним ударом двух-трех свалить. Мне не давал проходу, подойдет вдруг: «Булды смолишь?» — и сухой ладонью в затылок. После родила Миля Миколайчика. Она не отлеживалась. Я помню, как она, что в обиду, обошла курень и стала на уголок. Лицо у нее было круглое, упрямое, волосы туго заглажены набок,— а были курчавые, она их вытягивала, прямила. Она стояла, приклонив упрямо голову, словно в хозяйском размышлении. И голос помню — носовой, саднящий, это когда она боговала перед Паней. Она отходила от Миколайчика, она его Пане *отдавала*. Уж у нее такое представление было: рожденного дитя надо *отдать*. Степной ли это было, казачьей приметой? Чья правда набивалась в детское сердце? Время прошло, когда надо было помнить себя, блюсти. Исконная, природная вера хряпнула. Человека блюсти, а человек кто? — никто. Человек прирожден. Человек — это на каждый день. Сюда, в степя, бежали предки и предки предков, прибежали и стали. Человек — в каждом божьем дне человек, возжелатель. И нету другой силы укоротить нутряную силу желаний как воздать ему по законам естества. С чем высунулся, с тем и посунулся. Блюди сердце, чтобы доехать через тридевять царств, тридевять государств до желаемого. Совесть — это человече-

ская свобода, оставленная ему после того, как рухнула мера собственности. Совесть должна быть чистой и бескрайней, как теперешняя степь. Так ли говорила маманя?

А еще надо привыкнуть к тому, что на тебе — к телу. Но я не мог привыкнуть, и руки не мои, и ноги не такие, как у Пани. Все у меня не такое, как у отца-матери или как у Вольки. Они приучали меня мыться, но я боялся прикасаться к тому, что не было похоже ни на что другое. А потом они хотели научить меня читать. Миля строго водила пальцем по книге, она била меня. А как же можно при всех читать? Ведь Миля при всех не ходит в кусты, не оправляется на улочке. Нельзя читать при всех — я не мог досказать ей этого. Человеку, чтобы взойти, всплыть, вспарить к слову, надо долго корчиться, ломаться, выковыриваться из пустоты. Ведь слова не пузыри и человек не подводный газ: натужься — и пузырями пойдешь. В слово попасть надо. Это страшно. Это как в небо падать. Или в воду. Воды я очень боялся. У нее вся глубина сверху. Я боялся прикоснуться к этой глубине, которая вся наружу светится. Так мне страшна была человечья речь: они говорили, говорили, светились, отражали, колыхались словами, не думая о том, какая глубина и мрак лежат под светлым отражением их слов.

Вспоминая, не могу вспомнить себя. Есть мир — меня нет. Есть мир и свет — всеохватное чувствилище. Меня нет. Иной раз вижу тень на солнечной тропинке — свою тень. Меня же нет. Неужели я пришел к тому, с чего начинался? Но почему на таком мертвом, страшном завитке? Ведь не шел же я к смерти при жизни? Или я настолько истончился, что у меня остался только один взгляд — взгляд в прошлое?.. Заводь жаркая, вода и в воде солнечный пух, в пуху прозрачные головастики с черными глазами.

Я тогда еще не мог вылавливать сознание живым из потока вечности.

Когда Миколайчик заговорил, он заговорил без отца. Паня еще не вернулся, он письма писал. Мы голодали, Миля кормила нас толчеными вениками. Волька распухла, не могла ногу за ногу ставить. Живот у Миколайчика был толстый, я стучал по нему пальцем, чтобы все вышло. Я ходил на станцию и принес корочки. Миколайчик покушал тюрю и заговорил. Он увидел у меня голубенькое стеклышко, я нашел его у конюшни, где дядя Юхим лошадей досматривал, нашел стеклышко и окатал его о камушки, чтобы кругленькое было. Миколайчик увидел, ручку потянул: «Дай тяку!» Я не дал, чтобы он не съел его. Миколайчик раскричался, захлебнулся, притопала на толстых ногах Миля, я испугался и стеклышко проглотил. Оно больно меня осветило. Миколайчик заговорил, а я слово это проглотил. Миля ударила меня и выгнала. Ему было три года. Я боялся за него, когда он по двору топал, ковырялся в грязи. Потом я перебирал пальчики на его руках и на ногах, мне казалось, что он может растерять их. Я пел ему песни. Отведу на бережок под ивушку и спеваю, спеваю. Миколайчик был моим телом. За это я любил Милю. Она родила меня второй раз — телом Миколайчика. В нем все было мое. Меня била Миля, чтобы я не измывался над ним, чтобы не лез к нему и не пугал. Он был белобрысенький, с вихорьком, я дул в этот вихорек, и казалось, что это я ему надуваю под волосы. Я лизал ему затылок, зализывал родимое пятно, засохшее на его затылке кровавой ссадиной. Миколайчик пришел на свет божий, чтобы одеть меня. Я прислушивался к его дыханию, нюхал его. Миколайчик плакал, отпирался. Но я видел, что в мой колодец, куда боялось проникнуть солнце, пробралась яркая серебряная луна. Когда Миколайчик плакал и отпихивал меня, я говорил ему (стеная сердцем), что отдам вон тому быкодору — он в голодную зиму людишек разделывал. Мы тоже ели, а Миля и тебя кормила, а косточки и кусочки потом вместе с крестными по-христиански схоронили на кладбище.

Миля смотрела на меня глазами других — предков, прапрадедов. Она осуждала мое появление. Но разве наши предки, когда складывали свое знание, разве знали они, что появлюсь я? Всякий человек неожиданность, Миля, и появляется он, как падающая звезда. Разве могли они знать, как я приму их слово?.. А Миля смотрела так, как будто всегда знала, что люди родятся для слов и знаний, как колхозный репродуктор для песен и последних известий. Как будто знала, что должна была родиться она, а не кто-то вместо нее!

Я так жить не могу. Я не понимаю. Моя душа не может подняться и соединиться со своим словом. Я вижу глубину моей бездны и понимаю: я так жить не могу. Они все живут так, как будто под солнцем им было готово место — сначала рождалось место, а потом уже являлся человек. Ни во мне, ни вокруг

меня не было такой определенности (пока не родилась моя сладкая мука — моя плоть, Миколайчик). Но я знаю другое, я знаю, что мое сознание бессмертно. И говорил Миле (она не понимала и ругалась), говорил крестным, что я первый человек, рожденный с таким сознанием. А вы, говорил я им, разве не понимаете, что вас ждет смерть? Мне Напарник говорил — я запомнил. Мне Милю жалко, ее никто не любит, Волька ее проклинает, Миколайчик никогда не приголубит, Паня весь съежился, у него только старая груша осталась, что раскорячилась в нашем дворе. Сидя под этой грушей, Паня смотрел на меня медленными веками и говорил: «Стёбнутый он у нас». Груша летом полкуреня покрывала тенью. Эту грушу Паня каждый год сам лечил — обрезал, обмазывал трещины, забивал дупла. Каждой веточкой груша рожала дули, они падали на землю, громко, как мышки, шуршали по крыше, стукали в лавочку, в днище ведерка. Я не мог объяснить Пане, что мой страх запрещал выдавать на свет слова голыми, незащищенными. Я пережевывал их, как тупой сом распаренную наживу. Только груша у Пани осталась, только ею он и р а с п р о с т р а н я л с я (так сказал Напарник, я доверил ему слова моих мыслей).

Бедная, сильная маманя! она всех отучила плакать — никто не умел, и сама она забыла, как это делается. Только Паня, напиваясь, умел обмануть ее и поплакать. Но я видел, видел, как в уголках ее глаз на розовые кошачьи подушечки набегают слезы, которые в мгновение могли превратиться в злобную слюну.

Не умирайте, маманя! Вы тяжелый человек, трудный человек, такие живут долго. Не может ветер времени сдуть вас с лика земли. Не умирайте. Я вам все расскажу заново, я расскажу вам другую, новую жизнь. Почему все не любят вас? Почему мой Миколайчик никогда не подойдет и не пожалеет вас? Господи боже мой, сколько счастья было в вашей жизни? Один день мечты не может искупить целая жизнь, мама Мария! Только не умирайте, уйдет ваш запах, ваша материнская тяжесть уйдет — не умирайте. Я расскажу, теперь надо жить. Теперь надо искать бессмертия, мама Мария. И я знаю, вы хотите этого бессмертия. Почему в памяти людской пролагают свое бессмертие только богатые? Почему только знаменитые оставляют по себе память? А куда деваются миллионы тех, кто жил тем же сознанием бессмертия, но ушел бесследно? Кто выдумал такую несправедливость?

Вы всю свою жизнь отдали на то, чтобы осуществить свое бессмертие. Знаете, почему ваши дети не любят вас? Вы научили их перешагивать через сочувствие, через любовь к родителям. Пе-ре-ша-ги-вать... Вот, вот залог вашего бессмертия! Я люблю вас, мама Миля, и за это бог наказал меня, я шел любить вас, но вам не нужен был такой сын, и бог запечатал мой разум. Дети не должны любить своих родителей, так ведь, мама Миля? Миколайчик всякий раз, как вы его обидите, хоронит вас в своей коробочке. Он боится, что вы умрете, но хоронит всякий раз, кусочками. Волька нежные чувства испытывает как болезнь. Как только настигает ее или пробивается в ней росточек-листик нежности, привязанности — она мучается, она теряет рассудок. Она задает один и тот же вопрос: для чего? зачем? Мама Миля, чувство к матери — беспричинно! Вот странность, вот ужас: как же так, есть мать, жива мать, но чувство к ней — не имеет причины?!

Любовь к матери беспричинна?! Кто-то уже это знал, я чувствую, кто-то уже это знал... Мысли мои разбегаются, как отара, нужны собаки, нужна длинная герлыга, чтобы вылавливать нужную, выдергивать из стада. А она не знает, что и собаки и герлыга ловят ее. Надо кричать, надо опять кричать, надо биться и сворачиваться клубком, закручиваться, надо криком теперь доставать свое сознание, ничего у человека не осталось, и другому человеку он может передать только свою мысль.

Это страшный, неизмеримый разрыв. Разрыв между тем, чем живет человек, и самой мыслью. Вы меня часто били, мама Мария, вы хотели заставить меня войти в речь. Я был далеко, вы еще не родили меня. Я знаю, вы рвались вверх, вы искали бессмертия. Когда рухнула собственность, человек оказался лицом к лицу со своим сознанием. Вы не хотели, чтобы вашим сознанием был полоумный. А теперь я расскажу вам, что произошло. Я доверился Напарнику, он мне излагает. Я расскажу вам.

Откуда ненависть к богатым, к зажиточным, к дворянам, к родовитым, к царю? Ненависть не оттуда, откуда нищета. Не из зависти к богатству. Человек извечно закреплялся на земле при помощи собственности. Это было его бес-

смертие, возможность пережить себя, войти в род, пустить корни и вырастить крону. Но почему целый народ ложился назьмом для питания нескольких родовитых семей? Эти родовитые и богатые съедали время людей, их окружавших, пожирали бессмертие чужих, чтобы отстоять свое. Помните, как выселяли из станицы, как к у л а ч и л и? Выселяли старую власть и старую собственность, ибо быть при власти и при собственности — это быть при бессмертии. Восставали обреченные и резали тех, кто волею судьбы-капитала выдвигался в бессмертные. Безродное сознание уничтожало родовое. Абрам кричал: нам нечего бояться, мы честные. Да, мы честные, но мы еще не чистые. Чистыми мы станем тогда, когда подрежем корни собственности. Человек держался у земли, за свой баз (база бессмертия, базис неосуществленной надстройки), зная, что на всех не хватает. Он накапливал свое небытие — единственно доступную форму бессмертия. И когда его выдергивали из куреня, он исчезал весь и сразу. Собственность дает бессмертие немногим, но пожирает всех остальных.

Собственность — курган мертвого сознания. Живые по горсточке складывали, живые по горсточке разнесли.

И если ты грабишь, знай: чтобы удержать собственность, нужна сила, пропорциональная энергии ограбленных.

Помните, какой Абрам пришел с войны? А захватил только малую часть, выжил, чтобы все э т о влить семенем и породить недоумка. Он сам хотел быть недоумком, лишиться сейчасной памяти, забыть то, что забыть живой не может,— хотел разучиться думать. Это бездумное, сумасшедшее семя он плеснул в вас, маманя. Масла (гаса, как говорят станичные) в огонь. Мировая война с прежним человеком покончила, а потом уже его доедали кто как мог. Прежний человек (а как ни крутился казак, как ни присягал околышу и лампасам, он тоже оказался прежним) — базарный человек. Он думал, что сам себе хозяин на базу своего бессмертия. А когда пошли бить его пулеметами (пуле-метами), бомбами, травить газом, как поднялась великая собственность на жалкого собственника, так стал он денечки свои считать — на чужой жизни зарубки делать. Разменяли прежнего человека так, как в истории никогда этого человека не разменивали. Человек думал, что он какая-никакая ценность, а в трудное время и п о с л е д н я я собственность, последний товар. Война так его разделала, так разменяла, так разнесла, что в рыночных рядах ему и места не оказалось. «Часы стоимости остановились»,— сказал Напарник. Я еще не знал, что это такое. Я знал, что казаки своими рынками жили, далеко не ходили: кто чем торговал. То есть приторговывал. Что-то выгадывал, прикидывал, присчитывал к тому, что у него неотъемлемо было. А потом этого неотъемлемого не стало, не стало и того, что природой давалось,— самого человека не стало. Как солнце снимает со степи снег, так война сняла с л и ц а земли человеческое выражение. Часы стоимости остановились. Помните, мама Миля, как вы в торговле вертелись? Вы нас тогда уже рванцами кормили: «Ешьте рванцы, засранцы». Вы уже знали, что стоимость остановилась и что уже нечего взвешивать и усчитывать. Все взвешено и найдено свободным от стоимости. В тридцать третьем вы знали, что стоимость остановилась? Газеты писали о фашистах,— вы знали, что, взвешивая на своих весах, вы уже не взвешиваете, а — в ы д а е т е, знали? Часы стоимости остановились, человек стал перед лицом своего сознания — один на один. Перед ним возвышалась и д е я. Это было понятно, но не было понятно то, что эта идея может стать самостоятельной, может спуститься с небес и войти твердью на землю. Бог ведь был всегда вне, всегда недосягаем, Христос пришел, чтобы уйти, а вот же — идея пришла и стала перед сознанием. Вы знали, что отныне весы существуют для того, чтобы обезвреживать товар от стоимости? Помните, как вы получили машину (редкое явление в степи) арбузов и послали ее через весовую. Вокруг степь бескрайняя, а машина, полуторка (?), изо всего горизонта должна найти одну-единственную дорогу — под крышу весовой...

Нет в мире силы, способной воскресить ушедшее,— только живое сознание. Но нет в мире силы, способной воскресить мертвое сознание.

А! Мама Миля, вот-вот я поймаю самый смак. Любая идея, обещавшая человеку вынырнуть из-под неравенства и задавленности, влекла его. как течение, как быстрина. Не мог человек не чувствовать (хрен с ней, с мыслью) задавленности, не мог с ней примириться и по самой простой причине (помните, как вы заваривали человечье мясо чистотелом?) — у него ж и в о е сознание. И вот я вижу две формы бессмертия: отчужденное сознание, мертвая собствен-

ность, владеть которой должен *род*, наследственно владеть собственностью может только фамильно обозначенное естество, и живое сознание, которое не знает смерти, но и не может быть захвачено мертвыми формами отчужденного сознания... Мама Миля, я же помню, как вы рванулись к знанию, не вырвались, но возмечтали дать знание детям: недоумку, развратнице и, наконец, Миколайчику. «Только не надо мистики,— говорил Напарник.— Нет здесь никакой мистики. Сознание сверхактуально». Вот так. Я любил кошек, и кошки меня любили, и убивал я их с той ласковой неожиданностью, с которой ваши дети, мама Мария, избавляются от внезапной тоски.

Итак, я подтверждаю: есть два вида бессмертия. Бессмертие умершего в собственности (Напарник говорит: в предметном мире) сознания и бессмертие живого сознания, в котором нет и не может быть знания смерти.

Это последнее — искус? Да нет же! Когда в хате угарная духота — открывай все, что открывается! И как же хочется в небо, как в свободу, подняться, увидеть всю станицу, всю степь разом и понять, что это лишь незначительная часть мира. Неужели это естественное стремление живого, неповторимого сознания к равенству всему виной и всему причиной? Ведь собственность — это курган, в котором хоронили это живое сознание, живое сознание своей неповторимой души, непредвиденной, внезапной души. И вот мы разнесли курган — перед каждым предстала его собственная внезапная душа, непредвиденная, непредсказуемая, случайная по природе (так сказал Напарник).

Я проповедовал по улочкам станицы. Обиженные приходили — отец уже вернулся,— говорили: «Абрам, опять твоего причинка бьет». Слышите, мама Мария,— «причинка»! У степного человека, как у пьяного, что на уме, то на языке. Это как сильная воля испьяна. Причинка — они боялись новой причины мира. Уже все случилось. Уже пошел колхоз, всеохватное бездумное равенство. Основа уложилась так же быстро, как укладывается женщина под любимого. И сознание пришло сразу иное. Его не было до того? Но оно пришло, вы же сами знаете, мама Миля. Вы стали кормить нас, наставляя, чтобы пища шла не вниз, а вверх. А я не могу сказать, что бесует меня, зубами скрыжу, слюну зажевываю, нет во мне слов, и кричу: «Не могу любить таких людей!» Вот шло оно, уплывало в прошлое, но ведь та же стремнина, мама Миля, та же сильная, утягивающая река! На нас неравенств — как зерен на початке. Когда завидуешь соседу, его плодовитым курам и сильному петуху — не желаешь ли зверским желанием равноправия? Ты, у которого две дочки и жена с килой, ты горбатишь и собачишься на соседа, хочешь равенства. Перед природой, степью-матушкой, перед землицей, ее прихотями — равенства? Перед сноровкой соседа, его тремя сынами и ухватистой женкой — равенства? Чего ты хочешь? Поделить или отомстить? Или мыслишь что-то иное — ведь не в себя смотришь, в зенит. *Этот* не дышал над твоим наделом, не сдавливал, не отымал, не дразнил тебя умением заигрывать с теми *силами*, которые тебя раздавили.

Когда я поднимал глаза к солнцу, я видел свое, отвлеченное подлостью жизни сознание, оно было высоко надо мной и мне — всезнающее, живое, всевидящее — не принадлежало. Но оно было мной, и этим отвлеченным сознанием я понимал, что не в зависти суть, не в дележе мертвого добра (гляньте сюда, что ж вы мух-то кормите), не в уравниловке корень, не в молоке утопии (есть и это: богатый держится за свое богатство, как нищий за утопию) и даже не в жажде свободы (казак-зажиток разворачивает над собой святое знамя равенства: разве это свобода?), а суть в том, что над головой каждого человека стоит нимб его отчужденного сознания — вот это и есть новое бессмертие... Мама Миля, вы же первая осознали, что неравенство собственности опрокинулось в человека, обрушилось в него (как же миновать человечью голову?) и пошло под кожу, вошло в кровь и нервы — вошло собственно неравенством.

Мама Миля, человека в этом мире еще не было. Человек, который выпятился в *этот* мир, это человек собственности. Мы еще к этому вернемся, мама Миля, кто придет к этому сразу (как мы, степняки, выселив кулаков и сравняв собственность), кто постепенно, как те, которых видел Абрам в европейских землях, приученных присваивать через чувственно-сверхчувственное — через деньги. Мы вернемся к этому. И вы, мама Миля, первая поймете, что человек потерял бессмертие собственности и обрел новое бессмертие живого сознания.

Я ходил и говорил им, я вышел на поле, поднял оброненный лемех-нож и сказал им: «Кто придет посчитать меру вашего труда? Какую крупицу измерить?

Каждое движение вашей машины присваивает вашу жизнь целиком; кто взвесит вашу жизнь и разделит ее? Вы живы, пока живете. Кто научил вас оценивать прошлое и оплачивать его настоящим? Кто обманул вас, назвав накоплением вашей жизни то, в чем умер ваш труд?» Они слушали, смеялись, мама Миля. Поле было осенним, они делали его под озимые. Я сказал им: «У моего крестного икона на ходиках заместо циферблата. Под лицом Николы Угодника ходит балда маятника — это чтобы, молясь, помнил человек, что, пока он молится, время идет. Разве можно отсыпать живое сознание, как отсыпают пшеницу в мешок? Бойтесь измеряющего ваше сознание, как боялся и ненавидел Христос торговцев и менял. Тот, кто подступает к вам с мерою вашего сознания,— меняла и спекулянт; гоните его, он умерщвляет вашу мысль мертвой мерой денег». Я приходил в школу, где училась Волька, и говорил: «В мертвых продуктах труда нет ни крупицы живого. Вот почему отцы ваши убивали богатых, уничтожали кулаков. Они пили кровь богатых, надеясь вернуть жизнь, умерщвленную отчужденным трудом. Никакое богатство прошлое не окупит мгновения живой жизни». Я им говорил: «Живое сознание, погребенное под курганом собственности, теперь освобождено! Над вашей головой Стожары свободы! Но бойтесь того, кто идет измерять ее светом». Живому сознанию не нужна собственность; мертвое сознание не существует вне собственности. Живое сознание жаждет равенства как свободы от мертвых форм мертвого сознания. Мертвое сознание ищет мертвой формы как воскрешения. Но я не знал тогда, мама Миля, почему вы так торопились, для чего рвали корни родства и любви, я не знал, что́ наступает, что́ грядет. Я не знал, что вы уже поняли: стрелка весов взвешивает человека.

Когда я играл с Миколайчиком, пугал его — забегал за угол хаты и выходил с другой стороны. Я сам боялся. Я выходил с другой стороны и вдруг видел совсем другой мир и совсем другого малыша. Как будто все вокруг — зной, пыльный ветер и смешанная с пылью степная пыльца начинали мыслить, словно сознание маревом врaз обретало ясность страшной чужой мысли. Я бежал вдоль стены, мне было тоскливо, как перед корчами, я выглядывал осторожно из-за угла (чтобы не опрокинуть, не убить Миколайчика), я боялся входить в этот новый мир, как боялся входить в воду, потому что не мог знать, какую глубину скрывает отражение.

Я шел к человеку, как ходят люди во сне по зыбкому полю всесильного смысла. И как во сне я испытывал невозможность не жить этим человеком. Я был болен тем, что сознание мое, живя так плотно и охватно, не оставляет следов. Когда я оглядывался: что было? — сознание исчезало, и я падал в черноту. Я бежал к человеку, чтобы обнаружить себя в желаниях чужого сознания. Я убегал к чабанихе Иоанновне, старухе-раскольнице. Она рассказывала мне о дьяволе, о чертовом воинстве, о чертенятах, которые наполняют каждый уголок ее жизни. Они сидели за печкой, под лавкой, скакали под окном, висли на ножках ягнят, шебуршали в дверных щелях, катали картошку, переставляли с места на место чугунки, прятали тряпки и все время пришептывали, подбираясь на ниточках соблазнов к мыслям Иоанновны. Старуха боролась с ними и противостояла им во всем. «Важно,— говорила она,— упредить бесенят». Я ел овечий сыр, она глядела в окно. «Важно упредить, а упредить только молитвой можно. Ум, как хату, надо подметать молитвой. Бог в нем видеть должон. И ты не дурак, только у тебя в уму метины нет. В поле должна быть метина». Я никогда не мог уличить, где и когда она вылавливает бесенят. Иоанновна глядела на меня глазами желтого кизяка. Она говорила, что молитва — это молонья. Надо молиться так, как грозовая туча над полем ходит: свет молоньи страшнее и светлее света солнца. «Молонья мир надвое делит, и в щель грядет страшный судия, он тебя светом надвое режет и очищает». У нее был густой сыр, и я хотел воды. Мне было весело, Иоанновна вертелась по хозяйству и вдруг замирала: «Слышишь?» И я слышал ясное слово: «По-стоой». «От, от, опять говорит!» Я таскал воду для овец и сам пил вместе с ними. Возле поилки лежал старый жернов, я обливал его водой и облизывал. Прибегали дети, внуки Иоанновны, они смеялись и кричали: «Глупой, глупой! Тебя бог обидел! Ешь овечье говно!» Я брал сухой овечий помет и ел. Я смешил их. Помет был пресный и сладкий. Нажевав, я лепил кукол.

Я нажевывал говенных кукол, и пока в них бродила моя слюна, они были живыми, и дети боялись брать их в руки, приседали возле и смотрели на них со страхом и жадностью голодного в голове человека. Я помню своих детей, мама Миля. Я им сказал то же, что хотели сказать вы: мертвое сознание ищет

собственности, живое сознание ищет свободы. Мертвое сознание движимо летучими формами чувственно-сверхчувственной собственности (деньгами, мама Миля, вы хорошо умеете соизмерять обезвешенный на весах товар с ценой и выручкой); живое сознание ничего не имеет за плечами, у него нет истории, оно все здесь и сейчас и становится добычей другой чувственно-сверхчувственной формы — добычей идеи, идеологии. Так говорил мне Напарник. Он говорил, что государство, построенное на идее, беспощадно преследует того, кто сомневается в идее, и того, кто присваивает ей другую ипостась — деньги. Как получилось, что две формы чувственно-сверхчувственного существования соединились? Напарник говорил: «Посмотри на советские деньги с двух сторон: цена и герб едины. Герб, идея, властвует над ценой, чувственно-сверхчувственной душой товара. Идея и стоимость слились настолько, что сознание не способно отличить одно от другого». Идеология и стоимость, через века войны, соединились. Это страшно. Мама Миля, это страшно, вот почему вы так торопливо живете, так стремительно живете, так истово толкаете Миколайчика вверх (я — придурок, Волька — изменница; Вольку хочу защитить: вы же сами обрывали корни родственной любви, куда же было девать Вольку? она ведь не знала, что природная любовь к отцу бывает не такой, какую подсказала ей природа женская), вы же понимаете, что пришла новая история, новая жизнь. Над миром всходит новое солнце — солнце измеряющей идеи, и духу человеческому положен оклад.

«Поставь рубль на ребро,— шутил крестный, дядя Юхим.— Ото так сабелька должна быть наточена. Это не то, что иголочки под ногти.— Он разувался и показывал комканые ногти.— Уж и не упомню кто,— смеялся он.— А мы такими сабельками в расход пускали. Ну, что такое войти в расход — все знают. Это вот рублик на ребро. Оттудова и пошло: рубль да рубль. Русская деньга, сюда, значит, рубль, а туда голова».

Деньги пошли под кожу, а идея... что идея! Помните, мама Миля, как хихикали Миколайчик с Игорем Шерстюковым? Игорь вычитал из Гоголя: «И это все происходит, думаю, оттого, что люди воображают, будто человеческий мозг находится в голове; совсем нет: он приносится ветром со стороны Каспийского моря». Идея привходила в человеческую голову со стороны.

Мама Миля, я помню вкус вашего молока. Это грех, наверное. Нельзя помнить то, что не предназначено для памяти. Но вы не бойтесь, мама Миля, я умру раньше, недоумки быстро живут. Если я помню то, что человеческой природой запрещено, значит, я живу быстрее, я помню, как булькала вода в водяном мешке, я помню натяжение пузыря, алый свет, проникавший сквозь кокон вашего живота. Я помню голоса, мама Миля. Я помню ваш голос, Голос, он звучал так близко, в самых ушах, мягкий, приносимый сквозь упругую пленку и густую влагу. Я помню неумолчный стук вашего сердца. О, где тот пророк, что рассказал бы мне, из-за чего частило сердце, из-за чего замирало? Я помню голоса, мама Миля. Они несравнимы с Голосом, они окружают его. Я помню шум вашего дыхания (шум ветлы над рекой, шелест старой Паниной груши под сентябрьским дождем), голоса проступают сквозь шум вашего дыхания, под стук вашего сердца. Мама Миля, так складывается библейское сознание — оно далеко от рождения, оно никогда не приходит в мир предметов и явлений. Я помню голос Абрама, он звучал чаще других, потом я сличу его с чистым, воздушным произношением. Но там, где я слышал падение выпитой воды, разговор пищи с телом, там я принадлежал голосам. И эти голоса и ваш Голос, мама Миля, никогда не сольются с голосами, услышанными в речи, со стороны. Никогда эти голоса не найдут слова, никогда не сольются со словом. Всегда будут существовать отдельно, как интонация, как мелодия (я помню, вы пели, мама Миля, и песня совпадала с тем, что я слышал потом, в пространстве, в свободном движении слова, слов не понимал, но песню помнил), и всегда я буду удивляться, бояться, ужасаться, когда интонация вдруг попадала в слово.

Мама Миля пела:

Сухота ты, сухотинушка,
Чернобровая детинушка.
Да не ты ли меня высушила,
Без мороза сердце вызнобила,
Да рассыпала печаль по плечам,
Да заставила таскаться по ночам?..

Когда вы запели, я вспомнил. Это страшно, мама Миля, я помню, как трещали ваши кости, как хлюпал мой череп. Отсюда шел Иисус, он помнил все голоса, он помнил голос матери, голос отца, но от голосов его навсегда отделил свет, отделило слово. Голоса, мотив, интонации — они уходят из-под слова. Нужен бог, чтобы уловить мотив, песню, интонацию, голос в слово. Мама Миля, я схожу с ума не на том пути, который вытоптал разум, не на пути к слову. Я схожу с ума, когда божественная сила разума толкает меня назвать словом то, что назвать невозможно, услышать в голосах смысл, слово, значение. Я слышу голоса, как слышу вздох вашего дыхания, стук вашего сердца,— я не должен этого слышать, потому что человек должен забыть эту память. Человеку предназначено помнить с того момента, когда он приходит на свет божий и со светом божьим принимает слово. Слово дает память, вылавливает в стихии забытой первопамяти смысл, задним числом, задним умом приносит в забытую память значение, мысль, мышление. Я помню голоса, мама Миля, и я не могу совместить их бессловесный говор с законами слова. Я вижу, как слово совпадает с голосами, как оно бьется в волнах случайности и, совпав, кричит о подлинной находке, о подлинном смысле, об истине, об идее! Но я же вижу, вижу как слышу, мама Миля: голоса никак не соотнесены со словом, они плещутся сами по себе, и над ними, как над разлившейся весенней водой, сыпучими стаями кружат слова — кружат наудачу, подстерегают случай. Как слова налетают на несоотносимую с ними стихию первородных голосов, так идея налетает и покоряет человеческий ум. Мама Миля, мне тяжело это говорить. Не становится рубль на ребро. Я слышу голоса, они несоотносимы, и я схожу с ума оттого, что слово требует находить в них смысл.

Я не могу не сходить с ума, слово коршуном висит надо мной. Оно живет своей жизнью — так своей жизнью живут деньги. Так верховной жизнью живет репродуктор над правлением колхоза. Мама Миля, понимаете ли вы, куда подталкиваете Миколайчика?

Я шел к скопцу. Он сидел в тени плетня на корточках. Лицо у него было кожаное, спокойное. По лицу ползали мухи, скопец открывал голубые глаза, и мухи поднимались с лица словно легкий платочек и кружили, кружили, рассыпая в тихом воздухе образ, снятый с лица. Рассыпав, они опять садились на лицо скопца, и если тот со мной не разговаривал, мухи ползали по коричневой коже, как будто знали, что скопцу оно уже не нужно. Только младенцы не знают, для чего у них лицо. Скопец говорил: великая сила восхождения, потому есть полускопцы, есть четвертьскопцы. «Я есть полный Христос. Я отсек последний узел, связывающий человека со всем земным, с главным корнем. Теперь во мне чистая мысль о боге и в руке моей его воля». У него были маленькие кожаные руки и светлые прозрачные ногти. Скопец говорил — мухи поднимались над лицом и выжидали. Скопец говорил: «Воля должна быть направлена на то, чтобы развязать себя для бога. Слабые восходят медленно, постепенно, на всю жизнь растягивают очищение... Потом у гроба просят прощения за то, что не смогли отказаться от главного греха». Он был маленький, сильный, лицо только переливалось, светилось, как хорошее седло. Я плакал и говорил мамане: «Он развязал себя. Помните, как развязывали жеребцов? Выходила тетя с ведерком, сдергивала крючком яички и уходила». Я плакал и ликовал, я знал, что люди всегда искали выхода из-под тяжести слов, скопец, развязавший муды, всплыл к богу чистым пузырем. Совпал. Я плакал, уключил, объяснял мамане, что сознание в человеке вспыхивает внезапно, как лампочка или вдруг заговоривший репродуктор. И потом всю жизнь человек качается на весах невозможности понять или вырваться: одни стремятся вверх, думая, что если мир внешний назвать повсеместно словом, а плоть определить в границах смысла, то можно наконец взойти к чистоте и покою. Совпасть. Другие идут внутрь себя, бормоча, перемалывая слова, перекусывая ниточку смысла, высасывая слова, как паук высасывает муху, и так до последних дней, в которые входят с пьяным сознанием, с отяжелевшей душой. «Бери со слова, как с улова»,— говорил скопец. Он проповедовал: «Отрешись от всего земного. Я как Христос, к божьему свету я присовокупил свет чистой души». Я плакал, пересказывая маме Миле слова скопца, я не мог достать слово, я задыхался, слюна бежала и заливала мне душу. Мама Миля полезла в кошелек и дала мне копеечку. Я взял копеечку и пошел к реке. Песком и водой, о штаны и языком до солнечного блеска я слизывал солнце, схватывал зубами ребристый торец и представлял, как шла монетка от

человека к человеку, как человек человеку передавал монетку из рук в руки, и на монетке теперь чистым солнцем светились их души. Я катался по бережку, посасывая пресный и солоноватый, словно кровавина, металл. Соединилось, теперь навсегда совпало: слово, идея и чистый свет, связующий двух, прежде всего двух и навсегда двух людей. Скопец повторял за Христом: «Где вас двое, там я среди вас, и говорите только «да, да», «нет, нет», а что сверх того, то от лукавого».

Мама Миля, кровиночка вы моя, задохнусь, заглотаю свою отравленную слюну и умру, не могу я вздохнуть свободно, не обижайтесь, не кричите, не бейте меня. Восходя к вашим словам, я слышу голоса, они уходят от слова, они не предназначены быть названными. Они не той природы, мама Миля. Я кричу, чтобы вы слышали, как далеко мне до ваших слов и вашей идеи. Теперь, мама Миля, вы знаете: каждый человек, рожденный в новом мире, имеет свою цену, как имеет изначально цену товар до того, как его создадут. Над каждым человеком загорается звезда, свидетельствующая, что родился дух, предуготовленный к слову и мере. Изначально человек есть мысль изреченная.

Мама Миля, сознание, которое охватывает каждый момент моей жизни, как бог охватывает каждое мгновение жизни человеков, не знает себя живым! Вот где я схожу с ума...

Миля уже не делала вид, что Никитус вот-вот выздоровеет. Годам к четырнадцати он выбухал и заматерел. Он стал лысеть вровень с Абрамом, лоб, широкий Милин лоб, поднимался, появилась на макушке волосяная слабость. Он стоял или ходил, заложив руки за спину, тяжело, угрюмо, крутолобо вглядываясь и бормоча. Под его взгляд никто не любил попадать. Паня обходил его с легким, добрым пренебрежением. Миля думала с затаенной завистью, что Пане это дается легче, чем ей. Паня бил и связывал Никитуса, когда тот свирепел или бился, корчился. Пане было неприятно это вспоминать, он не мог привыкнуть к приступам Никитуса и к своей внезапной ярости, с которой он давил и истязал сына. В этом невольном избиении не было злобы. Паня видел, что Миля устраняется, что издали смотрит на идиота и на то, как его вяжет муж. Пане не хотелось думать о неизбежном повторении припадков. Он уставал от ярости, он чувствовал, как наливается силой огромное тело Никитуса и как все труднее дается Пане утихомиривание. Миля волновалась, иной раз помогала, садилась на ноги, шипела и дерзко молилась. Паня уставал от бессмысленности ожидания, что Никитус в один прекрасный день придет в себя и все поймет. Когда Паня хватал Никитуса, боролся с ним, он чувствовал, что это не человек, не тот человек, к которому привыкают, принимают, понимают,— мышцы напрягались не так, как у нормального, катались мышцы, натягивались связки не по тем законам, по каким жило тело привычного человека. Паня любил в молодости подраться-побороться и знал, как живет буйное тело. Никитуса била причинка, дергала и гнула внезапно, не по-человечески. И всякий раз Паня словно рожал сына, всякий раз сын выходил из него нечеловеческими корчами. Причиной Никитуса было безумное, несообразное с нормальным человеческим сознанием тело. Это Паня чувствовал своим странным чувством отца, рожающего ребенка. Пройдя через муку, Паня научился забывать ее до следующих схваток.

Миля не могла так легко отпустить Никитуса, как не могла спокойно видеть его лицо — свою копию. Оно было всегда такое же напряженное, осмысленное безумным неслабеющим взглядом. Со зрачков Никитуса так и не сошла детская пленка, глаза казались светлыми, рассеянными. Напряженный и рассеянный взгляд — как будто зрачки мелко-мелко дрожат и бегают черными искорками — пугал не только людей, но и животных. Собаки сразу кидались на Никитуса — собаки, привыкшие не отводить просительного взгляда от человеческих глаз, безумели от глаз Никитуса. Он вглядывался, и Миля испытывала непрекращающееся чувство обреченности. Оно было почти сродни ужасу, оно напрягало ее так, что Миле хотелось бежать, скрыться, никогда не видеть сына. Что он искал, вглядываясь? Что и как видел? Он искал взглядом, он вглядывался так, будто человек был не так ему представлен, как привык видеть сам себя человек. Так напрягаются глаза в темных, брезжущих сумерках — когда свет, опора сознания, вдруг начинает обманывать, растворять предметы, голоса, запахи, слова, мысль, обнаруживая на дрожащей границе света и тени (а видится и осознаётся привычно со стороны света) новый мир и внезапное неузнавание.

Никитус вздрагивал, когда Миля появлялась внезапно. Он подстерегал ее со всех сторон, он ловил ее след — след, идущий к нему. Он знал, что она где-то рядом, это дрожащее ощущение исчезновения, невозможность целиком выхватить и ощутить Милю терзали Никитуса. Она как бы все время уходила, он вглядывался, внюхивался, напрягал все чувства — она уходила. И это уходящее неисчезновение разрывало его. Он кричал: «Маааааааа!» В пустоте, в огромном мире пустоты: «Маааааа!» И опять всей глоткой, глотком крика, ненасытной грудью, орал, пока голос не отрывался от него, вырастал вне его, стремился и попадал в косвенный стержень пустого мира. Он наблюдал, как возится Миколайчик, как ест варево кабан, как разгребает курица мусор, он удивлялся тому, что они что-то ищут, что-то выглядывают. Когда он заглядывал в колодец — он видел себя на том свете отражения.

Он вырос и затвердел — полноватый, с жирным горбом на широкой спине, лысеющий, бесстрастно-угрюмый. Он вглядывался в людей, морща сильными, крученными морщинами высокий лоб. Иной раз он говорил — долго, страстно бубнил, заложив руки за спину. Он говорил о том, что ему предстоит встреча, он говорил, стесненный ужасом и радостью этой предстоящей встречи. Никитус костенел, туман шел издали, низко, накатом, пахло конским табуном, травами, листьями мятой осоки, рыбьими молоками, он падал в глину, он опускался в месиво, он терялся, расплывался, он кричал — объяснял, где он, чьи-то голоса встречали его, и в самой сердцевинке ладони он чувствовал щекотную нежность маминого пальца: «Сорока-воровка кашку варила...»

Паня посмотрел на Никитуса медленными веками: «Чего ты? — И повернулся к Миле: — Он ходил?» «Китяй,— крикнула Миля,— иди посикай!» Никитус не отходил от Пани. Солнце было душным, тихо бились в листве пчелы. Никитус ждал, когда Паня поднимется, лениво ссутулится и пойдет к погребу. Плешь у отца была розовой, сочной, Никитус насасывал язык, он ждал. Паня кушал из миски холодное молоко, откусывал желтую вареную картошку. Никитус узнавал свои мысли по их теням, когда тени укорачивались — он беспокоился, а когда тени исчезали — он переставал видеть мир. Он замирал, боясь пошевельнуться, ему чудилось приближение тонкого, невидимого, как внезапная мысль, лезвия. Он мычал, когда Паня вертел бритвой, пока бритва отсверкивала, она не была опасной. Паня кушал, угнув голову, выпятив лопатки, жара была поздней, осенней, они уже перепахали под озимые. Жара была осенней, сложенной из запахов перезревших плодов. Высоко в небе белые льдистые облачка перехватывали солнечный свет. Паня медленно жевал, выстраивая душевное послушное житие так, чтобы соразмерить его с хозяйственным качением забот. Он накрыл миску газетой, посмотрел на давно разгороженный баз, на огород. Миля пятилась вдоль грядки и тыкала рукой, словно высаживала пальцы.

Паня не сразу отошел от летнего стола, он выискивал на зубах остатки сладкой картошки, выслеживал и дожевывал их. Он насыщал пустоту, огульно обидевшую его: Волька уехала как покинула. Не оторвалась, а вырвалась и кинула. Паня еще не привык к тому, что после Вольки все стало на место. Он до этого бежал и жил какой-то другой дорогой, вывихнутой из-под привычной, столько лет дышал другим воздухом, любовался, любил, сам взвеселенно узнавая новое, нежное, свое. И вот все стало на место — он жевал и жевал картофельные крошки, давя их, как непонятные мысли. Он не искал привычных забот, он привычно выходил на них, испытывая облегчение. Облегчение в привычке. Он смотрел на солнечные капли возле дупла на старой груше. Он медленно щурился: отчего ему не мучительно? Досадно, неможно, но муки нет. Ведь она была так недавно, угрожала убить, своротить, раздавить в смерть... отчего же нет муки? Он вдруг зевнул, ааахнул сладко, всей грудью. Никитус дернул головой. Паня наконец пошел к погребу, постоял над холмиком, из которого торчала железная труба. Пошурудил накиданной на погребницу камышовой настилкой, прислушался к чему-то и дернул на себя, открыл погреб. «Муия!» — заглотал Никитус волнение. Вход был небольшой, черный, Паня сбился в коленях, в плечах и медленно уходил вниз. Никитус поглядел на Милю, крикнул ей, Миля шла по грядке внаклон, тяжело перекладывая ягодицы с шага на шаг. Он побежал к Миле, чтобы сказать, что Паня опять хоронит себя, Миля рассердилась: «Ты что ж в штаны нассал? Я ж тебе говорила!» Никитус потрепал отяжелевшие брюки и побежал обратно. Он увидел только затылок Пани с потными перыш-

ками волос на шее. Никитус присел на корточки, прижал живот коленями. Он знал силу черноты, солнце было бессильно атаковать, смять, высветлить. Голова Пани пошла вниз, и Никитус припал к краю, как к колодцу. Пахло старым рассолом, солониной, отгорающей брынзой, пахло лягушками. Чернота сжала отцовы плечи, уши, лысину. «Ааааавхня!» — Никитус крикнул вниз. Отец заблудился среди запахов, появлялся рядом с непугливыми лягушками, ворочал бочку. «Дай свету!» — сказал он. Бочка ходила погребом, хлюпала рассольной слюной. Паня ворочал с бочкой темноту, замешивал темноту со светом. Никто не мог бы сказать, каким выйдет оттуда Паня. Никитус посмотрел на грядки, Миля вкапывала зерна своих мыслей, высевала семена ума. Никитус посмотрел на хату. Старая груша черной лапищей поднималась над крышей, расковыривала небо, вплетала в облака редкие пустоглазые листья. Никитус успокоился. Груша неослабевающей пятерней держалась за твердь. Паня уходил в темень и пропадал в том, чем владела голова. Всех людей вокруг Никитус воспринимал как вспученную, зацветшую мысль. Паня перебирал куски солонины, запах стал гуще, Никитус попросил кусочек. Он боялся за Паню и за Милю — он боялся их. Паня поднял снизу прислепшие на свету глаза, минуту-другую вдумывался в Никитуса, тот отпрянул от края, Паня сказал: «Вот бугай ты здоровый, а разума в тебе — как в бычьем хвосте» Бочку надо было поднимать, перебивать обручи. Пане жалко было эту старую, служивую бочку. Миля хорошо ее запаривала, а потом стегала веником укропа. Он затих внизу, боясь пошевелиться, спугнуть запах напаренных дубовых досок, укропного семени, тишины, Волькиного тихого голоса и такой же тихой руки в его волосах... Лягушки шелестели по влажному полу, заползали на босые ноги, щекотали, ластились. Паня тихо снял с потолка старую паутину, растер ее в пальцах... По небу — а он видел только малый кусок, и ему показалось, что грохот и вой далеко,— заревел самолет. Никитус завертел головой и побежал куда-то. Миля оторвала руки от грядки, из-под платка посмотрела навстречу грохоту. Самолет шел низко, падал, волочил за собой, как с горы, черную, не спешащую за самолетом пыль.

Паня первым почувствовал, как вздрогнула земля, с потолка в погребе сыпанули на голову сухие комья. Отирая лысину, он вспомнил, как в войну командир послал его искать ночевку, его поймали и кинули в глубокий овраг. В овраге народу битком, с двух концов пулеметы. Кто в овраге? кто за пулеметами? Партиями выводят и расстреливают. И в гвалте, в стукоте Паня услышал голос своего командира — тот проходил со своим штабом мимо. Как кричал Паня, как лез из оврага, как хотел взлететь! Хорошо командир услышал его крик и вызволил. И сейчас, в подвале, Паня, вздрогнувший вместе с землей от близкого взрыва, подумал, что привычка не для успокоения, не ищет человек покоя в привычном, потому что привычной может быть и ненависть, привычными могут быть страх, убийство, безвыходность. Человек выходит на привычное, чтобы безболезненно, без мук соотносить несоотносимое — свет и тень, жизнь и смерть, любовь и ненависть. Когда земля вздрогнула от взрыва — Паня почувствовал мгновенное облегчение, оно пришло как подтверждение привычному: так и надо. Самолет вытянул за станицу и врезался в холм.

Бричка по пыли подкатила бесшумно. Никитус только ухо повернул — в плетеную калиточку вбежала Машка Брусова. Она посмотрела, головы не поднимая, из-под кудряшек быстрыми сильными глазами. «Ты зачем бо́шку на солнце печешь? — сказала она.— А Миколайчик дома?» Никитус обошел ее, вдохнув запах нагретого платья и заветренного пота. Бричка без задка была длинная, тянулась под солнцем звонкими досками, дно было присыпано мелкой соломой, запах соломы, упряжи, лошадки шел через Никитуса, через душу, память, как через степь. Лошадка, конек, кивала головой, жевала губами железную ляльку. Никитус задохнулся, перевел дыхание. За станицей, за болотистой Буканкой, у холма поднимался черный дым, густые клубы втекали в струящиеся облака. Никитусу показалось, что сейчас он что-то вспомнит, но голова подвернулась, он ухватился за грядку. Он дышал — вспоминал, нахватывал воздуху, тужился, удерживал запах соломы, конского молочного пота, запах пыльных досок и железных пряжек, Никитус затряс, как коник, головой, он видел, как дым черной отарой набегает на облака, и тряс головой, вдыхал, вылавливая верткую мысль воспоминания,— не мог вспомнить, засмеялся, чмокнул губами. Коник дернулся, пошел, Никитус уперся, потянул бричку на себя. «Тпрру!» — сказал он, как его учил крестный. Коник прошел несколько

шагов и стал. Никитус с наслаждением купался в этой невозможности вспомнить, которая точно мушки над коником или паутинкой у лица вертелась, а взять было невозможно. Он наслаждался странным мгновением прозрения, слитого с полным непониманием. Он держался за грядку, он боялся оторваться. Коник тянул, звенел железками, Никитус чувствовал его силу, упирался, смеялся, запах соломы стелился вдоль напевных досок, нагретые полосы железа жгли пальцы, все было вокруг ясно, светло, опоры на земле не было. и потому черный дым падал вверх. Никитус купался в увиденном, уже не помышляя понять, как вспомнить невозможное. Вернулась Машка, она полезла в бричку. У Машки были нежные ноги. под коленкой змеиным брюшком напрягалась белая косточка. «Отпусти бричку! — крикнула она как запевая.— Слышишь меня?» Никитус смеялся, тпрукал, мотал большой потной головой, набрякшей жилами через лоб. «Ну ты как жеребец!» Машка взмахнула на него кнутом, Никитус отшатнулся. Бричка заерзала по сухой колейчатой дороге. Заложив руки за спину, Никитус смотрел вслед. Спина и плечи девочки были коричнево-розовы, черная, словно надымленная пожаром голова один раз вертко обернулась, открылась белым, тонким — как из-за реки — лицом.

Никитус вспомнил, где Миколайчик. Он замычал, любуясь пылью, оседавшей вдоль тихой дороги. Маша погоняла коника, она торопилась найти Миколайчика. Это было главной думой ее жизни. Самолет шел низко, а потом, точно зацепился за холм, вильнул и рухнул. Она выправила коника поперек степи, побежала объезжать курган с другой стороны. Там, на пути, были останки, может быть, дома, а может быть, большого колодца или ветряка — никто не знал. Куски саманных стен, гнилые бревна. Когда-то люди уложили здесь свое жилье или толпились у мельницы — теперь никто не помнил, для чего и когда, и здесь часто играл Миколайчик с дружками. Маша подергивала тяжелые вожжи, голубыми, с прострельными зрачками глазами глядела в степь и потом на дымящийся столб черни. Она тоже бегала играть на том забытом месте. Она любила, когда там был и Миколайчик, он избавлял ее от тревоги. Тревожно было ей оттого, что остатки строения были забытым человеческим следом. Мальчишкам нравилось бывать здесь, играть в кулючки, прятаться за стенами забытья. Особенная, свободная радость владела здесь всеми, среди остатков ничейных стен, на кем-то утоптанной, забытой земле. Маша опасалась играть на беспамятстве, земля была холодна под ногами, и от стен пугающим сквозняком набегали тени. Мальчишки любили играть на беспамятстве, в игре они опьянялись и забывались так, что очухивались к вечеру — охрипшие, похмельные, с разоренными лицами, и Миколайчик здесь был самый неистовый. Маша гнала коника, сворачивая и обегая курган, и так всегда, когда искала, настигала Миколайчика: все казалось, вот-вот решится задачка, откроется он и станет ее любовь к нему точной, заправдашней. Бричка билась на кочках, Машу трясло, мелкая тряска мешала смотреть, от нее слепли глаза, стучали зубы и — вдруг почувствовала — трясутся сиськи. Ее стыдом окатило, она даже потянула на себя вожжи, приостанавливая коника. Она оглянулась, ища, не видит ли ее кто в этой перепаханной под озимые голой степи. Дым черноземными бороздами стоял над холмом. Коник ковылял, Маша беспомощно села на дно брички, заплакала с обидой на себя, на все превращения в ней, она плакала, зная, что через минуту забудет о себе, розовый сарафан не скрывал от Маши ее взрослеющего тела, она подняла лицо к небу, закинулась в беспомощном своем владении судьбой, вложенной в такое, а не в какое иное тело. «Мамочка родненькая,— пела она почти криком и не могла вспомнить ни матери, ни отца, у нее была только любовь к Миколайчику, но плакать приходилось не к нему, а к чему-то высшему, далекому, почти несправедливому.— Ой да помогите же вы мне, ой да скажите вы мне, глупой, что же мне делать, как мне жить-дышать?»

Мальчишек она нагнала почти у самого холма, они сторожевой цепью выходили к месту катастрофы. «Эй, что вы? Там наш почтарь разбился!» Она не узнала своего голоса — ветер внезапный ударил серой пылью, гарью, клочьями соломы. «Я знаю, что разбился! — сказал Миколайчик.— Мы летчика ищем. Он на парашюте спрыгнул». Ветер раздул пламя над останками самолета, люди близко не подходили, предрик и милиционер дрались, они кричали — один в огонь указывал, другой хватал руками воздух над собой. Милиционер вынул пистолет, а предрик схватил его за плечо и прижимать стал. Милиционер выстрелил и попал предрику в ляжку. Народ еще шире разбрелся, у Машки

отобрали подводу, предрика повезли, милиционер стал кричать колхозникам, чтоб не разбредались. Иные, отворачиваясь как бы от ветра, шли вдоль стелющегося дыма и подбирали бумажки. Милиционер закричал: «Что ж вы, гады? Летчик там!» В это время самолет опять грохнул, вверх пошло пламя, осколки, дым и бумага — кипы бумаги, газет, журналов и писем. К Миколайчику подбежал его близкий дружок Хребин — верткий, с родинкой вроде черного глаза на лбу. «Вот! — сказал он.— Я туда, за дым, ходил, смотри!» Он сжимал в кулаке подгоревшие бумажки денег. Жорка Курной, рыжий, с красными буграми над глазами, не поверил, дернул, отнял одну бумажку — десять рублей. Приехала бочка с водой, мужики стали двумя ведрами пробегом плескать на костер. Прибежала Машка, увидела у Жорки деньги, глянула на Миколайчика — она была, как собака, натаскана на честность. Миколайчик смутился, деньги, когда он к ним прикасался, всегда вызывали у него холод в животе, а от таких денег он весь смерз, набежавшая Машка словно застукала его. Он воспрянул вожачьим напряжением, сказал: «Жорка, отдай Хребину деньги, он отнесет их милиционеру». Он все еще был сморожен и мимолетно думал, что если такой холод и такую свободу (свободу ото всего) испытывает каждый, кто берет в руки б о л ь ш и е деньги, то Миколайчик должен быть настороже, Миколайчик должен все видеть и всем управлять. Жорка сказал: «А это видел?» Миколайчик рассердился, он никогда не дрался и сам не ввязывался, стычки переживал потом долго, как ангину, больно было глотать — обида не сглатывалась. Миколайчик рассердился, лицо у него осветилось, как у Мили, внешним светом, Миколайчик подщурился нижними веками, сказал: «Деньги собрать надо. Ну!» «Да ладно,— сказал Жорка,— не богуй». Прибежал председатель, разбил людей на пятерки, рассредоточил по степи и послал собирать развеянное ветром. Послал и ребят, сказал: «Деньги, хлопцы, государственные. Все надо снести в казну». «А то,— сказал конюх Юхим,— в земле прорастут, и будут у нас к весне сотенные колоситься». «И письма тоже надо собирать,— сказала Машка.— Люди ждут письма, а они тут валяются». «Да,— сказал председатель.— Это по-пионерски. Двигайте». «А деньги воровать бесполезно,— сказал милиционер.— Все деньги под номерочками, знайте. Кто сворует, того выловить будет ничего не стоить».

Вечером в правлении колхоза деньги принимал оперуполномоченный. Машка рассортировала купюры — целые, подгоревшие, обгоревшие и кусочки. Миколайчик отнес, он был недоволен всем происшедшим. Летчик обгорел, и его останки куда-то увезли. А он думал, что героя похоронят здесь, на местном кладбище, и будет стоять обелиск, пионеры будут приносить на могилу цветы и рассказывать, как они спасали государственные деньги, развеянные взрывом и степным безжалостным ветром. Машка сказала, что письма она отнесет к себе домой и там рассортирует и чтобы Миколайчик пришел помогать. Он сказал, что поможет ей на следующий день. Машка обиделась. Миколайчик торопился, он сказал, чтобы пацаны собрались на бревне у старой церкви. Пришел только Хребин. Они сидели, почти не разговаривали. Что-то произошло с падением самолета. Миколайчик чувствовал, что дело не в падении самолета и не в смерти летчика. «Говорят, цыгане в степь подались,— сказал Хребин.— Если ночь будет светлая, они там еще денег насшибают. Они ночью хорошо видят — на деньги у них глаз кошачий». Миколайчик посмотрел на темное небо, тучи были полупрозрачные и тянулись легкими дымными дорожками. «Кто сказал?» — спросил Миколайчик. «Да Жорка Курной». «Жорка,— огрызнулся Миколайчик.— Сказал, что сам побежит рыскать». Он как на причину болезни посмотрел на светлеющее небо, на луну, неполную, но ярко идущую светом по станичным закоулкам. Он не мог выразить себе свою болезнь, но пришла она как воспоминание. Миколайчик вспомнил, как болел, впадая в какого-нибудь человека, заражаясь кем-нибудь до полного самозабытья. Миколайчик осторожно посмотрел на друга Хребина. Длинноликая голова была присыпана луной, освещена, во лбу овальным зрачком чернела родинка. Может быть, Миколайчик потому и потянулся к Хребину, что тот был тоже меченый. Но это было давно, еще до школы, а теперь он был рядом, и Миколайчик осторожно смотрел на него, боясь отпустить взгляд дальше настороженности. Чудо присвоения человека так и осталось загадкой для Миколайчика. Чем и почему открывался человек? Случившееся сегодня разделило привычную жизнь не то на верх и низ, не то на право и лево. Он вспоминал (старая-старая память соприкосновения с человеком), как заболевал Никитусом, он подражал дурачку внезапно, так мог схватить

воспаление горла в самую жару. Угнутый в плечах, руки за спину, ходил дурачок деловитым шагом по жарким улицам и тропинкам, искал девок, улыбался им издали, морщил лицо. «Я севоня аков удил, отакие!» Девки и тетки улыбались ему, спрашивали, как живет. Он говорил (Миколайчик подглядывал и сам про себя усилием горла говорил правильно то, что дурак не мог по-человечески выговорить) и шел дальше тем же широким обязательным шагом. На улицах дурачок был не такой, каким был в хате, и Миколайчик крался за ним, подглядывал из-за плетней, как не за родным. Никитус мерил двор угловатыми шагами, давал воду курам, поправлял подвязки на помидорах. Выговаривал кабану, выходил смотреть на соседскую козу. Шел к берегу реки и там зорко вглядывался в прибрежную воду или надолго застывал в камышах над заводью. И Миколайчик, сколоченный из повадок дурачка, так же ходил, улыбался бабам, слушал мамку, заложив руки за спину. Он так завязывался на дурачке, что к вечеру у него сводило судорогой все нутро — от непреодолимого напряжения быть не самим собой. Мать пугалась, гнала Никитуса, молилась какой-то своей яростной молитвой, отливала страх, позволила крестной тайно сводить Миколайчика к попу крестить (Миколайчик не принял своего нового имени). Миколайчик слизывал пресную воду, подозревая, что это божественная слюна от дыхания иконы; он таращил глаза на младенца Иисуса и недоумевал: как люди не понимают, что Миколайчик для того и живет, чтобы кем-то наполняться до краев.

Был еще паренек Пыцка-Кунжа, животных передразнивал — Миколайчик до иголочек в сердце прицеливался в него. Пыцка учил: «Вот какую физкультуру надо знать!» Он учил потягиваться: вот так собака потягивается, вот так кошка, а вот так петух, а так вот лошадь. Он протягивал через себя любое животное (пацанва сидела вокруг и кричала: «Овца! Свинья!»), он танцевал каждое животное, все сразу узнавали, он протягивал их через себя, замирая в долгом томительно-томном напряжении. Миколайчик так не умел, не умел так совмещаться, сливаться, завершаться. Человек, в которого он преображался, проваливался в пустоту. И тогда кружилась голова: Миколайчик не мог осознать, кого он видит со стороны — себя или другого. Он видел, но признать не мог, и когда крестная привела его к попу, Миколайчик, отощавший, кусавший потихонечку корочку хлеба, опять увидел то, что видел в полудреме отвлеченного в другого человека сознания,— икону увидел, узнал лицо, замедленное в салотопном полумраке. Узнал — никогда не видел? Узнал как запавшее и всплывшее — женщина и наискось испуганный ее сын. Так всегда бывает: из кромешной темноты все выплывает уже виденным.

Капризы памяти были одного корня с капризами больного сознания. Миколайчик сам научился выбираться из поглотившего его человека. Очухиваясь, он видел глаза мамы Мили. «Добрым ты больно родился. (Она никогда не говорила: «Я тебя родила». Но всегда отстраненно: родился.) Добро беречь не надо, его тратить надо. А злость копи, держи злость — она сама не соберется. Копи — потом понадобится, да локти кусать будешь».

Миколайчик осторожным, щупающим взглядом смотрел на лицо Хребина, оно под дуновением лунного света колебалось — это шла мимика, Хребин был знако́м бог знает с каких времен, Миколайчик привык к нему, как привыкал к его родинке, принял таким, какой он есть, каким он был явлен, другого Хребина Миколайчик представить не мог (пусть в обиде, нанесенной дружком, пусть после болезни, пусть от испуга — Хребин был всегда узнаваем, дан, врожден в сознание), и вот с прилетом этих денег произошло какое-то таинственное смещение привычного. Миколайчик удивлялся: почему он всегда видел Хребина таким, каким дружок представал всегда, и видел так, как будто вот это плывущее в лунной воде лицо — это и есть Хребин, что лицо светится из самой его середки и что лицо — это и есть сама середка Хребина? (Комары вились над головами, жалили внезапно, Хребин подскакивал, бил под коленками, а потом сказал: «Пойду домой». И Миколайчик подумал: «Не припрятал ли он какую-нибудь закопченную трешку?») И почему все другие одноклассники были приняты Миколайчиком, как будто они однозначны, как тополь, собака или камень? Он все усиливался вернуться к прежнему ощущению однозначности и понятности: человек таков, каково его лицо. Но то ли лунное перемещение, лунное таинственное беспокойство Хребина, то ли не проходящее и ускользающе-назойливое ощущение свалившихся на степь бумажных денег уже не позволяли восстановить прежнее ощущение непосредственной дружбы, полного соответствия друга его

лицу. Это было такое чувство, точно Миколайчика кто-то окликнул не его именем: не то это случилось наяву и Миколайчик оглянулся, понимая ошибку, или это было во сне, где всегда знаешь все, что происходит, и потому чужое имя, которым нарек его окликнувший, было его именем, но он боялся это признать. Тебя окликнули чужим именем — оглядываться или нет? «Пойду,— сказал Хребин. Черный зрачок во лбу отчужденным взглядом смотрел на Миколайчика.— Там заждались уж». «Иди,— сказал Миколайчик, отряхиваясь.— Совсем комары сожрали». Хребин быстро ушел во тьму, и Миколайчик крикнул ему в спину — в спину внезапной темени: «Завтра опять пойдем собирать!»

Дома родители были возбужденные, мама Миля быстро резала картошку, всплескивала голосом: «Вот хорошо, вот хлопчик наш пришел. А мы сейчас и повечеряем». Никитус кушал на углу стола, кроша хлебом на бумажки. Миколайчик увидел, что это деньги. «А почему у него?» — воскликнул Миколайчик и побежал отбирать. Никитус взревел. Миколайчик запрятал за спину, отец шикнул, мама Миля заулыбалась: «Да глупой же, сыночка, ну что ж ты с него взимешь?» «Глупой! — закричал Миколайчик, находя повод для обиды.— Нас заберет милиционер! Надо было сдать сразу в правление колхоза!» «Ой та не успели же, ну завтрева же так и сдадим. Угомонись, чего ты, как репей под язык?» «Почему вы не отнесли, папа? — приставал не желавший угомониться Миколайчик.— Там все номера знают. Вот эти номера там все записаны!» Он стал кричать, чего-то испугавшись, слова закипали на слезах. «Да ладно ты,— сказал Паня.— Он же только пришел. Сам нашел и принес. Не тащиться же ночью в твою контору?»

Миколайчик походил по комнате, размышляя, где лечь — на полу или на печи. Спросил требовательно: «А куда тулуп дели?» И полез на печь. Здесь было уютнее, он поглядывал, как Миля убирается, как отец то ведром громыхнет, то скрипнет своей табуреткой. Миколайчик настороженным за день волнений и беготни сердцем подмечал их домашнюю волынку, ему все хотелось сказать: мол, да скоро ли уляжетесь? Никитус уже сидел на своей лежанке за печкой, бубнил свою ночную «молитву», перебирал свои дневные новости, перечислял поступки и слова, обиды, смех, шутки, лай собаки, бульканье воды, ругань Мили, нравоучения отца, смеялся своей смекалке — и все на своем, понятном ему языке, который невольно уже знал (что знал? слова? интонацию? мотив?) его младший брат Миколайчик. Потом он запел на своем языке песню, а Паня то выходил на двор, тарахтел там чем-то, то возвращался, выходила мама, а Никитус пел:

Звенел звонок насчет проверки —
Ланцов задумал убежать,
Звенел да звенел насчет проверки —
Ланцов задумал убежать.
Не стал да он зорьки дожидаться,
Проворно печь он стал ломать...
В трубу он тесную пробрался
На тот на высокий на чердак...
На чердаку Ланцов метался,
Себе да веревочку искал...

Пел он любимую песню отца Абрама. Пел, упадая в сон и выскакивая — засыпал придурок тяжело, всхлипывал, «лез в свою трубу», «метался по своему чердаку», долго «искал веревочку». Миколайчик не дождался, когда родители погасят лампу, сам ушел к себе в сновидение и плыл рядом со своей головой словно всевидящий нимб, взирающий на происшествия сна. Он бежал своим сновидением мимо сияющего нимба, как если бы степь бежала мимо ночного света,— из курганов, деревьев, кустов, былинок, кочек свет успевал выбить тень, которая в своем беге также успевала коснуться всех предметов сновидения и возвращала свету удвоенную силу его неусыпных лучей... Он вздрагивал, просыпался на мгновение, прозревая ночную, опустошенную тишину ночи, и понимал, как понимаешь, что только что была ясная всеобъясняющая мысль,— понимал, что Никитус бегал ночью, а значит, бегал не один, значит, там ходили другие и собирали удивительный урожай на вспаханных под озимые полях... Он засыпал опять, отворачивая нос от крутых ворсин тулупа, и опять просыпался, понимая все с той же острой забывчивостью, что отец спит, а мать куда-то ушла. За оконцем было почти светло, почти осязаемо нарастало утро. Он засыпал и проспал возвращение матери. Он так и не узнал о ночном споре родителей, не

узнал, как ругался отец и запрещал матери бежать в степь, и мать сначала соглашалась, говорила: «Ладно, ладно тебе». Паня размяк, подлез к ней осторожно, чтобы не шуметь пружинами единственной кровати (купили-таки и радовались, позволяя Миколайчику, тогда еще масалёнку, попрыгать на сетке), и приник к спине, к покрывалу рубахи, ловя на руки широкие ягодицы, тяжелый разъем, с трудом дотянулся до привычного места... Когда он уснул, Миля быстро вышла и задами быстро, уверенно, зная, куда идет и для чего, побежала в поля. Как никогда она чувствовала себя молодой, хитрой, смелой. Она бежала и думала, что человеку, для того чтобы быть честным, надо уметь стоять за свое вранье, уметь отстаивать вранье и ложь как правду, на этом человеческая честность закаляется. Как волчица обходя вонючую гарь, она почему-то была уверена, что никто не догадался, как она, по ночной росе выйти поискать на счастье.

На уроке русского языка по предложению Машки все разбирали собранные письма — прогоревшие, протлевшие, изломанные золой. Анна Борисовна объясняла, что письма эти ждут адресаты и очень хорошо, что класс так хорошо поставил дело. Кое-какие письма переписывали, кое-какие подправляли, меняли конверты. Обсуждали содержание; Анна Борисовна просила, чтобы этого не делали, чтобы не пересказывали друг другу содержание писем, что это неприлично. Миколайчик сначала с удовольствием читал, вчитывался в чужой почерк, разгадывал содержание в тех местах, где бумага истлела. Хребин сидел рядом и говорил, что все пишут так, как будто их не учили чистописанию. И в самом деле, казалось, что человек совсем не заботится о том, чтобы его прочли и поняли. Были почерки, похожие на палочки-закорючки, что длинными рядами выписывал Никитус (тоже писал какие-то свои письма). В классе хихикали, говорили, что плохо их всех учили в школе, все троечники или двоечники. Анна Борисовна опять ругала нетерпеливых, болтливых: «Как вам не стыдно! Это ведь пишут взрослые люди! У каждого свои заботы, а может быть, и свое горе!» Через некоторое время Анну Борисовну вызвали в коридор — уборщица-истопница тетя Оля заглянула красными широкими глазами и быстро затрясла головой. Анна Борисовна ушла и скоро вернулась, лицо у нее было напряженное и глаза были тоже подкрасневшие. Она заторопилась, собрала все письма — и те, что были подобраны на поле, и те, что написали уже, переписывая, ученики. «Пришел почтальон и сказал, что все надо вернуть»,— сказала Анна Борисовна. Миколайчик любил ее, он был в нее влюблен, он каждый день болел ею. У Анны Борисовны было большое, ласковое лицо, молодой высокий лоб и мелкие, вьющиеся, точно гороховые усики, волосы. Анна Борисовна хромала на правую ногу, но ходила хорошо, строго. Она вела уроки пения и сама пела, сама играла себе на гитаре. У нее и голос был похож на низкие гитарные струны. Она учила их русским народным песням, садилась на стул, клала по-мужски ногу на ногу, преображалась сразу из учительницы русского языка и литературы в удивительную артистку. Преображение поражало Миколайчика, он страдал, когда она возвращалась к своим предметным строгостям, диктовала или заставляла читать четко, ясно. Когда она, приотстранив подол широкой волной, клала ногу на ногу, а потом клала на колени круглый бок гитары, Миколайчику хотелось приникнуть к Анне Борисовне, припасть головой, ухом к ее поющему голосу, к ее низким альтом поющей душе:

Вдоль по улице метелица метет,
За метелицею миленький идет...

Это были не степные песни, не те песни, которые пелись степными голосами, стреноженным языком и так, чтобы слова развеивались на губах, чтобы смысл выпеваемого был не сразу понят. Эти степные народные, принесенные словно бы ветром времени песни никак не походили на стройные, мелодичные, говорящие со струнами на равных и равно со струнами выразительные песни Анны Борисовны. Пели станичные веселые или протяжные, но так, словно боялись выпустить слово чистым, не помяв его напряженной грудью, узким горлом, не переболтав языком и напоследок не перетряся губами. С дружком Хребиным они просили тетку Галю, крестную, спеть одну веселую песню, и тетка пела — долгим взвизгивающим горлом, подсмеиваясь, скороговóря, лицо окаменевало,— брала песню на горло и пела — как через степь посвистывала:

А я.... все.....
Новую веревочку.....

На третий или четвертый раз лишь выловили они с Хребиным слова из степного голоса, играющего мотив поверх слов,— как будто тот, кто слушает, уже знает эти слова давным-давно и слова эти ему нет надобности заучивать, они в его памяти всегда, он знает их вместе со своей памятью, он знает свою память, как эти слова (и слова многих других народных песен), и ему важно лишь их пропевание, умение издревле известное пропеть — оживить так, чтобы за душу схватило. Тетка Галюня пела, посмеиваясь, не играя лицом, пела, держа голову неподвижно, только изредка подкачивая плечом:

А я, молода, все догадлива была,
Новою веревочку сама совила,
Старому черту на шеё надела,
Милому в окошко конец подала...

И тут они ржать начинали, тетка Галюня не поддавалась их коликам, допевала ласковым неподвижным лицом:

«Милый, потяни, душа-радость, потяни,
Если не потянешь, того сам не минешь»
Милый потянул — старый ноги протянул.
Он руками машет, будто чешется,
Слюни распустил, будто бесится,
Упал-захрапел, будто спать захотел..

Слова степным песням нужны были для того, чтобы называть мотив. В обрядах песни пелись так, как будто стая птиц перелетных толклась на берегу Буканки. Миколайчик был как-то влюблен в девушку Свету, дочку начальника железнодорожной станции, влюбившуюся в колхозного тракториста. Отец проклял ее, она ушла и работала с трактористом Агамовым, пока не попала под борону и зубец ей лицо порвал. Была свадьба, и на свадьбе пели. Песни приходили из заученного круга обряда. Словам запрещено было говорить — говорила песня...

Анна Борисовна пела открыто, она так занеживала песней класс, что девчонки плакали, вздыхали, смирялись. Смирялись растерянно и мальчишки. Миколайчику мягкий, туманный свет застилал глаза и сознание. Он разучивался думать — одно сильное, тягучее, подсекающее чувство любви, любви-тоски, любви-выклика, любви-жалобы, натягивалось в нем.

Во поле береза стояла,
Во поле кудрявая стояла...

И особенно:

Лю-ли, лю-ли, стояла...

Чтобы оберегать гитару, он должен был стать лицом ответственным, и он стал председателем пионерского отряда. Он берег гитару, он трогал зазубренные струны, слушая, как охватывало нутро гитарного тела всякий звук, исторгнутый из тонкого витого кнутовища струны. Так он охватывал голос Анны Борисовны — всем своим пустым, голодным существом. Не зная, почему и как звучит гитара, он не знал, почему и как звучит он сам. Лихорадка струн была лихорадкой его собственного тела — у него сохли губы, сохли глаза, он изнывал от жажды схватить голос Анны Борисовны, как хватал сок арбуза или дыни. Тупое и безвыходное натяжение взыскующей плоти ответствовало тупому и взыскующему звучанию инструмента. Он вспоминал слова песни — и терял голос учительницы. Он повторял и повторял слова и безвкусно переживал мелодию. Песня была не для слов, как не для слов была Анна Борисовна, жадно поющая, ей вторила гитара, жадно открывая темное, трепетное нутро. Он не помнил, чтобы мама Миля, или отец Абрам, или тетка Галя заучивали слова станичной песни, как заучивал Миколайчик стихотворение. Здесь была непроницаемая тайна. Песни станицы пелись так же самопроизвольно, как пел Никитус на своем полоумном наречии. Никитус п о н и м а л, что поет, и его понимал Миколайчик, Миколайчик почему-то узнавал по мелодии те слова, которые вынюнивал глупой брат. И это было тайной. Получалось, что слово можно пропеть: слово жило в интонации мелодии. Не так ли и мыслит человек? Не так ли с х в а т ы в а е т смысл?

Для чего слова?

Или слова должны облетать, как листья осенью, чтобы мир заряжался напряженной, всеохватной всеобщностью и к весне вышел изобильной особенностью?

К самолетным останкам сначала боялись подходить, а потом быстро растащили. Прошел слух, что колхозного пастуха взяли за то, что тот набил свою сумку деньгами и припрятал. Миколайчик зорко поглядывал на своих друзей, на одноклассников. Самым подозрительным был Жорка Курной, второгодник и секач. Его он стерег особенно. Миколайчику страшно было потерять свой коллектив, он вышел на него как на открытие; распределившись среди нескольких человек, равно-душно всех полюбив, он обрел опору и перестал падать в человека, заболевать человеком. Он вылечился, только лекарство было таким, что надо было все время этот коллектив поддерживать в деятельном, в колхозном состоянии. Надо было все время что-то выдумывать для совместной работы — подтягивать отстающих, помогать на хоздворе, пасти, полоть, собирать колоски, разучивать песни... Но упавший самолет, разлетевшиеся над степью деньги внесли в их общественный организм какую-то заразу — Миколайчик не ожидал, что потребуются какие-то новые, дополнительные, усилия для того, чтобы удержать «колхоз» в равновесии. Опять замаячила гибельная яма, в которую он боялся оступиться. Затаенная трешка делала человека непроницаемо таинственным, неуправляемым, неожиданным. Человек попадал в какую-то более сильную общую закономерность, чем его, Николая Шелеха, коллектив. Курной уже дважды зачем-то бегал на станцию, и хлопчики поглядывали на него с завистью. Миколайчик заволновался, заторопился, он стал выводить отряд на поле, они уходили далеко и там по оврагам, по займищам находили затерявшиеся, посеревшие от солнца и пыли денежные бумажки. Всякую такую находку Миколайчик праздновал, но успокаивался ненадолго: человек не возвращался к прежнему дружескому открытому состоянию, его не отпускала тайна. Миколайчик стал стесняться внимания Машки Брусовой. Ее глаза — глаза совсем не степнячки, не со степным хитрым, по-звериному увиливающим или глядящим во все стороны зрачком, а с четким, прямым, требовательным, обведенным какой-то дополнительной черной кромкой — нехорошо смущали его. Она так откровенно ходила за ним и при этом так ловко вмешивала свою любовь в отрядные дела, что Миколайчик никак не мог уличить ее в корысти. А тут случилось еще одно несчастье: к маме Миле приходил следователь из отдела по борьбе с хищениями и допытывался, откуда в ее выручке деньги, разлетевшиеся по степи. Паня упал в бледность и ждал, что случится худшее. «Я знаю органы»,— говорил он. Миля шипела на него, ругалась, требовала, чтобы все молчали. «Откуда? Откуда же я знаю! — говорила она вечерами, мечась по комнате.— Кто принес? Почему не заметила? Как же отличить-то! Будьте вы прокляты! И ты,— шипела она на Паню,— и твоя блядская партия!» Паня был хмельной и злой, он кинул ей в лицо руку. Миля ахнула и тихо взголосила. Миколайчик знал, откуда в выручке розыскные деньги, но Милю стало жалко. Миколайчик не хотел думать о том, что Миля потихоньку — бумажку-две — подсовывала в выручку, но это было настолько против законов, честности и жизни самой, что Миколайчик предпочел не думать и уйти целиком в жалость. Вызывали на партийное собрание Паню и там грозили ему выговором за непотребную халатность его жены. Паня напился с Юхимом и несколько дней жил у крестных. Машка приходила к ним, жалела Милю, готовила с Миколайчиком уроки. Миля возвращалась с работы поздно, лицо у нее было железное, Миколайчик знал, что про себя она говорит и говорит свои молитвы-проклятия. На правлении колхоза вывесили приказ, чтобы все, кто утаил деньги, в недельный срок вернули. Ослушавшихся и утаивших будут отправлять в суд. Неделя прошла, но деньги никто не сдал. И тогда Миколайчик решился — он созвал на пустыре своих пионеров и сказал: «Давайте порыскаем еще, найдем много и сами отнесем в райцентр. За такой поступок о нас в газете напишут. Вот как про того тракториста, что из Карасёвки клад государству отдал». «Да зачем, зачем тайно?» — допрашивала Машка. «Чтобы не выследили нас»,— отвечал стойко Миколайчик. «Да кто ж выследит? Зачем чтоб не выследили?» — «Да воры, ты, глупая!» Отвечал уже нетерпеливо, с искренним негодованием Миколайчик. Теперь он почувствовал, что опять связал свой отряд, связал их тайной, тайну каждого обобществил. Он досадовал на то, что

Манька говорит, допытывается, в то время как тайна слов не требует. Можно ни о чем теперь не говорить, когда тайна связала всех. Когда все погружены в тайну, люди понятны друг другу без промедления. Они открыты друг другу до последнего взгляда — слова не мешают, не отсрочивают, не выпячивают ум одного перед умом другого, не позволяют одному боговать над другими. Тайна растворяет слова, как вода растворяет смытый с берега глинозем. Теперь все пришло в соответствие дружбе, ясности, солнечному переплетению коллектива. Слова срывают только с поверхности — низовка так срывает брызги с реки. (А за что ты любишь Анну Борисовну? — допытывался голос из темноты, и душа у Миколайчика сжималась, ныла зубной, глубокой мукой. Любил он учительницу за что-то иное, куда входили и ее слова, и голос, и песни, и речитатив диктовки.) Зато тайна, которой он теперь обладал, не была для него опасной. Он уже сталкивался с тайною, навсегда вошел в нее, он уже пережил более глубокую тайну, когда влюбился в станичную тетку Прибыткову. Она была еще молода, но прибита заковыристой нуждой. Двое детей, говорили — от разных мужиков. Лицо обмякшее и в мякоти морщин — добрые снежинки, подтаивающая доброта. Красивое лицо, зовущее на печаль и нежность. Миколайчик часто проходил мимо мусорной их усадьбочки, мимо грязного, поределого плетня. Дети — маленький, с ноги на ногу, Алик был умненький, девочка, постарше, была глуповатая. Миколайчик помогал присмотреть, а потом привел своих — прибрать по хозяйству, огород пополоть, тетка принимала помощь, вздыхала, хихикала вместе с ребятами, говорила: «Вот, вот эти меня уйдут, я с ними света божьего не вижу». И смотрела на Миколайчика со смущением человека, не умеющего подняться над беспомощностью. И Миколайчик смехом говорил ее детям: «А вот если они такие будут, я их в поле отведу. Пусть их цыгане заберут». «Уведи, уведи-ка,— безжалостно говорила тетка.— Подышу свободно, деньков мало осталось». Бывает такой звук — расщепляют дерево, он входит в уши и достает до сердца. Так входила в сердце Миколайчика теткина жестокость: лицо у нее светлело, становилось красивым до невозможности оторвать глаза, и Миколайчик угинался, отворачивался, сердце билось ладонью по груди. На пределе этого сердцебиения он так и сказал тетке: «А давайте заведу». «А и заведи»,— сказала тетка. Она так посмотрела на него — внимательно и вместе искоса, твердо, мимолетно, с усмешкой, жестоко посмотрела, как смотрят на взрослого мужчину, ничего не скрывая. Ранним июньским утром Миколайчик взял кусок хлеба, позвал с собой Никитуса: «Пойдем за речку раков дергать». Сказал громко, зная, что Никитус понимает — и не понимает. Понимает для себя, но ничего не понимает для других. Они прокрались на двор к тетке, Миколайчик задыхался от осторожности и еще от не испытанного никогда ранее острого чувства желания и жалости к тетке — она была на ногах, стояла у летней печки, «а» сказала она, кивнула на подстилку под окном. Задами они вышли, Никитус нес малого, а Миколайчик говорил, что они идут гулять, много раз повторял, что идут гулять: себе, им, Никитусу, темной, бездонной головы которого он почему-то испугался. «Гуять?» — спрашивал маленький Алик. «Гуять, гуять»,— говорил Миколайчик и отщипывал корочку, раздавал всем. Когда они уходили, тетка молчала, а потом сказала, отворачиваясь от дыма из печки: «Нето заблудились». «Цыгане бы не позарились»,— сказал Миколайчик, а девочка Лида сказала уверенно: «Мы цыганам не дадимся».

Миколайчик вел Лиду за руку, он торопился и шел впереди Никитуса. Солнце чуть поднялось и запылало, пятно на затылке у Миколайчика стало малиновым. Он учил Лиду, что говорить, если они потеряются: «Скажешь, что пошли гулять из станицы и заблудились». Лида ничего не боялась, у нее было глупое шелушащееся лицо. Алик стал хныкать, ему было тяжело на затылке Никитуса, он просил воды. Сестра сердилась на него, говорила: «Заткнись, дурбалай. Тебя вон несут. А будешь гундеть, я скажу дураку, он тебя опустит, и пойдешь ногами шкалдырять».

Миколайчик гладил Лиду по голове, подталкивал. Он дергался, дважды ему казалось, что его издали окликает мама Миля — то кричал чем-то рассерженный коршун. Они не сразу вышли на грейдер, шли запущенными кусками степи, где трава была густая. В напряженную душу — как через прозрачную грудную клетку — впахивались запахи близкого, одуряющего шалфея (и, странно, вдыхая, Миколайчик не мог представить за этим запахом никакие иные соцветия — только тлеющую сирень шалфейных гроздей), крапил знойную, зияющую синеву

жгуче-желтый коровняк (такие собранные из солнечных лучей пятна возникали под линзой: учитель Джемс Георгиевич показывал оптическую силу линзы). Звериными тонкими ноздрями ловил Миколайчик запахи степи и, задыхаясь от страха («Заведу или не заведу детей?»), от остроты и топящего томления, вдруг каким-то головокружительным сознанием принимал эти запахи как вечное состояние земли, ловил в колосках мятлика или в терновых цветах чертополоха пыльцу-выдохи, требовательную, разговорчивую, многоцветную, местами непролазную (продирались через заросли, прошитые сумасшедшими стежками дикой вики) сиюминутную вечность — быльность, данность, тесную (насмерть слипшиеся пластинки сланца и мха) границу живого и неживого, и по этой границе бежали они, истлевая пóтом, пóтом и пóтом же мешаясь с ароматами вскипяченных цветов. «Ты такой и так пахнешь,— бессловесной песней думалось Миколайчику,— потому что такой чабрец, такие у него листья, как его запах». И конским своеволием ржал Никитус, от него, словно от завариваемой травами бочки, волнами налетал лошадиный запах плоти.

Миколайчик стал оглядываться на пройденный путь и уже подумывал, не оставить ли детей тут (душа устала), но не оставил.

Глаза у него дрожали, как полуденные сверчки, стрекотали искорками черного света. Он уже не вспоминал тетку и не помнил нежности к ней, он удивлялся, как мог ее любить, не об этом он думал. Они набрели на жердёлу. «А если милиция спросит, с кем шла, ты что?» Лида по-хозяйски ответила: «Скажу — с Мыколкой». Миколайчик обиделся и кинул в нее абрикосом. «Я, что ли, вас потеряю? Ты сама ненормальная и брата сведешь ты!» Лида замолчала, она кормила мякотью Алика. «Ну,— спрашивала она его погодя,— наився? Рот, рот открой, да куда язык свой вертишь, это тебе не сиська!»

Миколайчик помнил только то, что они ушли, и теперь, перед ликом степи, одна задача — завести. Этих детей надо отдать обману, принести в жертву хитрóсти. На вокзале, где Никитус собачьими губами хватал из краника воду, Миколайчик все сомневался: могут ли прямые рельсы взять на себя обман? Он уходил, прятался за угол здания, подглядывал, они стояли возле завалившейся набок акации, Лида держала брата за мокрую руку. Когда появлялся Никитус, Лида зло махала на него, плевала, говорила: «Иди, иди отсель! У, пшел!» Никитус находил Миколайчика, спрашивал выворотными губами: «Помисся сластяму? Ммму?» Миколайчик грозил ему кулаком и тут же повторял про себя: «Господи, поможи». Они побежали от вокзала, Миколайчик снял рубаху и гонял ею прохладу. Никитус бежал рядом, хватался за голову, тянул вернуться, он сходил с ума — глаза вылезали из глазниц. Потом Напарник напишет, чтó канючил Никитус: он хотел сказать, что дети еще не могут пропасть, они не знают этого, им еще не дано, они там будут стоять — оба беленькие, в тетку, глупая, упрямая Лида и уставший хныкать Алик. А Миколайчик бежал, взвизгивая от радости, как от хорошо подстроенной игры, и тот, кто остался за границей игры, ушел в небыть. Они бежали по вечереющей дороге. Ветер, отгрохоченный на густом солнце, на лазури, стучал по ржавым проводам. Миколайчик обкусывал корявые губы, он хотел есть — так ему казалось. Он был пуст внутри, и это представало голодом. Он был похож на Абрама, когда тот приходил ночью с уборки, а потом часа через три снова поднимался почти отдохнувший, свернутый утренним ветром, как табак в сухой кусочек газеты... Миколайчик не хотел об этом помнить, а если вспоминал — как большой глоток холодной колодезной воды после жаркой хитрой игры: вот заглотнул — и пусто...

В детстве нет и быть не может чувства недобра, сотворения зла. Все поступки из добра, из «хорошо» уже по одному тому, что происходят из внутренней завершенности, гармонической данности. Вот почему внутренне ты всегда прав и не можешь не быть правым — этого требует внутренняя гармония. Недобро приходит позже наложенным извне запретом, осуждением... Волк и человек — животные. Но волк рождается не животным, а волком. Человек же рождается человеком в той мере, в какой рождается животным. «Чего ты на жизнь сипитишь? — ругала Миля мужа Абрама.— Щенки и те из воды нос тянут. А таких, как ты, и пожалеть жалко». От этих слов — «пожалеть жалко» — Миколайчику хотелось вьюном вертеться. Словно Миля его в чем-то высмотрела. Миля умела прижигать: сама светилась лицом, собирая в глаза, в фокус солнечный свет, поблескивала тугим чубом уложенных волос, бровями, светлыми ресницами, прищуром, сводила, сводила воедино лучик уязвления — и

прижигала. И как ожога боялся Миколайчик подставиться. «Что ж ты Машку-то не замечаешь? — спросила Миля.— Она ж перед тобой, как черт на ниточке». «Да ничего такого! — крикнул Миколайчик. Почесался и сказал: — Я, что ли, виноват?» «А,— сказала Миля.— Я думала, ты на свадьбу деньжата копишь...» «Какие деньжата?! — ужаснулся Миколайчик.— Что ты говоришь?» «Да там,— сказала Миля насмешливо, Абрама дома не было, и говорила она свободно.— В сарае-то, под дерюжкой». Миколайчику пришлось распечатывать тайну, он рассказал о замысле, и Миля вздохнула: «А я-то думала, подмочь хочешь, копейку в дом несешь». Миколайчик изредка заходил в сараюшку, в темноте брал бумажки на пальцы, вылизывал их подушечками с двух сторон, играя с собой в игру: отгадает или нет, где ценовая, а где гербовая сторона. Деньги стали представляться ему той самой наводкой на резкость, уловлением жгучего, прожигающего фокуса. Миколайчик таращился в окно, когда Джемс Георгиевич объяснял старшеклассникам законы оптики. Джемс не умел говорить спокойно, он сразу, с первой фразы загорался, черные брови густо взмахивали, глаза удивленно смотрели на учеников, Джемс выпячивал руку, пальцы, поворачивал и поворачивал ладонь вверх, выпрашивая понимания. «Вы поймите, это же удивительные законы! Это волны света, бегущие через линзу и вдруг выказывающие совсем неожиданные геометрические свойства!» Он краснел, напрягался, под подбородком струнами вытягивались мышцы, он говорил животом, горлом, лицом, он предлагал для лучшего понимания свои глаза, таращил, не мигал, голос скоротечно ударял в щеки, Миколайчик всегда слушал его так, как будто то, что говорит-объясняет Джемс, происходит на глазах, вот-вот произойдет, случится, случается, подтверждая формулу, расчет, результат. «Вот же, видите, как вспыхивает спектр! Это совсем отдельные миры со своими внутренними законами! Для того и открыт коэффициент преломления!» Он говорил так, как будто пел — от песни невозможно оторваться, курчавая черная голова становилась еще чернее почему-то, брови курчавыми цепкими завитками тянулись к голубым яблокам. «Если заставить себя сосредоточенно войти в совершающееся перед нами событие... если представить себе скорости этого события... нет, не ветер, не выстрел, не скорость нашей самой быстрой мысли, а еще, еще быстрее, мальчики, девочки, ребята, это грандиозно, вы сосредоточьтесь, вникните, дайте волю фантазии, она у вас есть, я же знаю, и представьте эту наивысшую во вселенной скорость — скорость света, Света! Скорость нашего с вами неизбежного, не-избе-жного будущего! Понимаете? Понимаете? Скорость неизбежного будущего! Это ведь сила, которую не может одолеть или остановить никакая сила во вселенной! И вот эта сила!» Он схватывал со стола свою лакомую для ребят лупу, двумя шагами бежал к окну — Миколайчик отшатывался, кидался в сторону или приседал — и в мгновение дрожащей рукой, дрожащей линзой сосредоточивал на листочке бумаги ослепительную солнечную точку. Бумага курилась, темнела, иной раз вспыхивала, и тогда по классу прокатывалось облегчение, запах гари, свежего дыма вызывал смех и вольницу. «Нет, нет, прошу всех слушать! — напрягался Джемс, вертел быстрой черноволосой головой, насаживая на взгляд расходившихся.— Вникните, вдумайтесь, сила неизбежного будущего вспыхивает и работает здесь и сейчас, на нас, живущих сию минуту!» Его уже не слушали. Его трудно было переносить, у Миколайчика после уроков физики и арифметики болел живот и грудная клетка: так напористо, сильно, оглушающе говорил Джемс.

Машка воспринимала брата спокойно, привыкла к его манере передавать мысль так, как будто каждое слово — предпоследнее. Она часто его не слышала, сама звучала предельно. Не могла отойти от любви ни на минуту. Она не удивлялась тому, что в мире есть Миколайчик и почему он, а не другой. Любовь падает с неба, как голодный коршун на того единственного цыпленка, который своим одиночеством поманил коршуна с запредельной высоты. Машка падала, в падении испытывая однообразный ужас, и порой, гибкая, вся гнущаяся под напором встречной ломающей струи, она пританцовывала, притормаживала падение, в то же мгновение испытывая невесомость парения. Ей все казалось, что Миколайчик уходит, отбегает, отворачивается. Она видела его в профиль, когда он говорил, улыбаясь, о соблюдении денежной тайны. «Зачем?» — спросила она. Ее напугало то, что в тайну вошел не весь класс, а только мальчишки, с которыми Миколайчик был близок. Да вот еще она — он не смог не принять ее в тайну. Она испугалась и обрадовалась, теперь они могли шептаться, она

видела его лицо близко, глаза у него были теперь внимательные. Погода стала дождливой, они находили одну-две бумажки, и Машка отстирывала их, отмывала грязь, она была необходимой. Но Машка торопила всех: «Пойдем еще собирать! А сколько мы наберем? Когда понесем в райцентр?» Она торопилась пробежать эту опасную тайну, поскорее избавиться от денег. В этих бумажках сосредоточилась опасность — как змея под камнем. Она понимала, что, как только тайна будет пройдена, Миколайчик опять отстранится от нее, но и хранить тайну долго она не могла, сердце не выдерживало жизни на разрыв: любовь и тайну. Она добивалась: «Сколько соберем?» Миколайчик и сам еще не знал, сначала постановили: тридцать рублей. Потом у Миколайчика появилась жадность, ему хотелось еще и еще. Он впал в азарт, выходил в степь на поиски, как на охоту. Он накапливал то, что накопить было невозможно. Машка не могла ему это объяснить, но сама себе говорила: «Дурак, все одно отдавать придется. Не его же деньги». По поручению Миколайчика она написала письмо в районную газету, но там, где надо было вписать сумму, оставила пустое место. Это пустое место было тайной. Теперь было ясно, что Жорка Курной бегал на станцию в Дом культуры, смотрел кино. Он рассказывал, изображал Чарли Чаплина, все ржали, все смирились с тем, что Жорка потратил государственные деньги. Никто его уже не осуждал: как будто достаточно, чтобы прошло время — и преступление уже не будет преступлением. Машка обижалась на продажность и безволие Миколайчика: «Ты чего с ними иржошь? Он же вор, он же ж преступник!» Она и при Жорке это говорила, после того как все отсмеялись, а Жорка стоял красный, с мясистыми бровями, смотрел на нее, копаясь руками в карманах брюк. Хребин глянул на нее быстро своим черным глазом и вдруг цапнул за передок. Машка секанула его и ушла — Миколайчик не заступился.

Миколайчик вел запись, в какой день кто и сколько сдал найденных денег. Столбец удлинялся, увеличивалась сумма, и странная жадность не к своим как к возможным своим деньгам заражала Миколайчика. Возможность обладать чужим, владеть странной пустотой, волшебной бумажной силой — это равнялось той власти, которой он пользовался над своим отрядом, но была совсем иной, незримой, надмирной. Один раз мама Миля пошепталась с ним, попросила дать ей на несколько дней взаймы — покрыть недостачу. Он рассердился и торговался, говорил, что они вот-вот сдадут деньги. И все же дал. Мама вернула довольно скоро, другими бумажками, и была радостна, какой она бывала в предвкушении праздника. Она подмаргивала Миколайчику как сообщнику, принесла жирной селедки, конфет, отцу выставила шкалик. Отец тоже сердился, ругался, допытывался, но выпил и обмяк. Дольше всех почему-то сердился Никитус, он стоял посреди комнаты, заложив руки за спину, раскачивался и бурчал, бурчал, с места не сдвигался.

А потом в один из проясненных дней, в сухое солнце, пришли к Миколайчику его пацаны, вызвали из хаты и стали уговаривать дать денег на кино. Миколайчика кинуло в мороз, в бешенство. Он даже задохнулся, сердце вдруг стало. «Да вы што! — закричал он.— Мы же договаривались! Знаете, что будет?!» «А кто узнает? — спросил Хребин.— Кто сéкать будет?» «Пусть кто секнет»,— пригрозил Курной. Был тут Пыцка-Кунжа, он молчал, насупился, а потом сказал: «Отдай мою долю». «Нет тут твоей доли»,— сказал по-пионерски Миколайчик и вспомнил, что давал же Миле, а вдруг кто прознал? Он оглянул их всех, Машки не было. Он пожалел впервые, что нет ее рядом, нет ее сторожевой честности, не на кого было опереться. Он поискал в себе на что опереться — не было опоры, кроме какого-то внешнего упрямства: я вожак, я председатель — не дам! «И мою долю отдай!» — сказал Курной. Был маленький, обидчивый Залесков, он сказал: «Все себе загреб! Мамаша в магазине обвешивает, а этот общественные деньги заначил». «Это не твои деньги»,— сказал Миколайчик. «И не твои»,— отвечали ему. Они еще не собирались его бить, они только спорили. «Это государственные деньги,— сказал Миколайчик.— Вот соберем весь отряд, и тогда я все раздам, если вы так хотите». «Государственные! — сказал Курной.— Мы их собирали, если б не мы, чьи бы они были? Сгнили бы». Надо было спорить, надо было упорно, до визга спорить, собирать в себя как в линзу эти стремительные лучи, источаемые горсткой подозрительных денег — денег-людей, денег-сообщества, денег-государства. Хлопчики ушли, но, Миколайчик знал, они вернутся. «Идите в жопу!» — кричал им вслед, но не очень громко Миколайчик. Человек носил за спиной тайну, носил как поклажу, припасенную для себя, и разворачивал вдали от чужих глаз. Каким был человек в тайне? Тайну

не разгадать. Ее можно только подглядеть: в подгляденной тайне сокрывалась бездна возможностей, подглядевший — творец, толкач, предтеча нового движения, не подгляди — и все было бы иначе. Человек выходил из тайны, как из живой воды, «прилетит орел, ему кудри расчешет, прилетит бы орел, ему кудри расчешет, прилетит ясный сокол, ему очи откроет, прилетит бы ясный сокол, ему очи откроет».

Напитанный человечиной Миколайчик понимал: список человеческих грехов составлен потому так подробно, крохоборно, чтобы не было сомнений в том, кому что прощать.

Человек живет памятью ненависти. Добро призывает забывать. Зло — деятельная память в океане забывчивого добра.

Ах, пророки, апостолы! Долгонько ж выпало вам нравоучительствовать. Куда же делась ваша нравственная «солнечная система» со своей твердью и столпами? И падет ваш гнев не на человека — на государства и нации, будете стегать народы космическим бичом... Одно только и спасет вас от гнева ответного: царство божие — внутри человека и рушиться будет оно не на головы своих строителей...

Вглядитесь во вселенную черёва: видите мушек нравственности над гниющим трупом с л о в а? Отныне всякий смысл шире и глубже откровения, ибо смысл этот есть отчуждение.

Любовь необходимо явилась в чистом виде, чтобы противостоять «ядерной силе отчуждения» (выражение Игоря Шерстюкова, позднее отвергнувшего понятие отчуждения). У животного она есть родовое обыкновение. Родовые отношения человека распространяются и на неживые предметы; отчужденные в предметы родовые отношения теряют свою животную непосредственность, а с нею и любовь. Любовь теряет родовой смысл, она противостоит отчуждению, как любовь сейчас, здесь; именно в это мгновение любви человек историчен. Любовь восстает на отчуждение и неизбежно погибает (у Миколайчика начиналась лихорадка, он вертелся на печи, постанывая в зубы, ему было страшно от одиночества, деньги отрезали его голову от тулова, и голова сама собой летела навстречу степному ветру, хватала его потоки голодным ртом).

Прижизненные привязанности творят людей, увязывают их в эту проклятую историю, таинственно нашептывают человеку на ухо, что он вплетается в божественный узор. И человек выворачивает себя через память назад, поклоняется сундукам забвения, набитым прадедовскими золотыми, наставляет детей на мертвую колею нравов, обычаев, однажды обнаруженных тупиков. История человеческих отложений, известняк бессмыслицы... Человек выделил любовь в чистом виде. Понимает ли он, что отныне любовь есть похоть самовыживания?

Миколайчик вертелся ночью, представлял арифметическую бесконечность денежных накоплений — но это накопление не уводило в бесконечность. На каких-то этапах сложения оно вдруг обретало самостоятельную, сатанинскую, извилисто-проницательную силу. Она способна была разорвать человека — разве нет? Разве не бродил великий страх под небесами степей? Разве не сочилась по проводам угроза? Разве не страх заставил Миколайчика собирать эти бумажки и складывать под дерюжку? Он всегда представлял государство как географическую карту: где народ, там и государство, народ и государство едины, всякий народ начинается с государства и укрепляется на земле при помощи государства. Никогда до этого мгновения Миколайчик не чувствовал так самостоятельный ход государственной машины — а машина шла своим ходом, она перемещалась по целине народа, как трактор по степной целине.

Потом Миколайчик горячечно вспоминал, как заезжий фотограф снимал их всей семьей. Миколайчик помнил неприятное чувство стеснившегося пространства. Мама Миля охорашивалась, расслабила свой чуб надо лбом, отец выстраивался по-военному, Волька никак не могла найти себе места между отцом и Милей, Никитус угрюмо стоял в стороне. Фотограф казался пришлецом, пришедшим подглядеть их сокровенную семейную тайну. Он повернул их к солнцу и просил не щуриться, просил быть свободными, улыбаться. Фотограф уходил под свое покрывало, искал какую-то свою точку. Миколайчик так заползал под овчину, чтобы ночью было еще темнее, чтобы погасить в глазах остатки дневных видений. Или искал фотограф чего-то другого, вертел их лица, приноравливал к солнцу, так Миколайчик подстраивал под солнце зеркальный оглодок. Но могут ли человеческие лица рикошетить солнечный луч? Была ли это игра с лицом или с солнцем? Солнце раскидывало свет по степи, преследуя каждую былинку с настойчивостью равнодушной равномерности. Напав на человека, на его лицо, на предметы человеческого труда, становилось хитрым, бытовым, станичным,

уличным, оконным, каверзным — внезапным, как если бы Миколайчик обратился к своим родителям на «ты»... Миколайчик краем глаза поглядывал на небо, ища тот пучок лучей, который был предназначен его лицу — с тем чтобы потом, через время и пространство, высветить Миколайчика в каком-то ином месте и в ином качестве. Вот почему фотограф просил улыбаться — улыбка привлекала равнодушное солнце, фотограф просил: «Мальчик, улыбнись, не бойся!» Но Миколайчик уже знал по старым фотографиям, что будет, и не улыбался: солнце высушивает лужу, и так же быстро оно высушит лицо — до дна, до трещин.

На фотографии не улыбался никто. Лица были похожи на гусиный помет. Нужно было какое-то особое направление ума, высочайше настроенное сознание, чтобы в этих черно-белых пятнах разглядеть человеческие лица.

Вдруг Миколайчик подумал, что милиция арестовывает не людей, своровавших деньги, а деньги, которые убежали с вором. Эту силу, прикидывающуюся бумажками, надо держать в толстых ящиках, глубоко зарытой, под сильной охраной, иначе она вырвется, как джинн из бутылки, как нечистая сила,— и наше тридевятое царство, тридесятое государство разлетится на кусочки.

Говорили, что на соседнем хуторе корова съела целую пачку. Миколайчику привиделось, что он отрыгивает,— отрыгивалось тушеной человечиной.

Он понимал, что впадает в свою роковую болезнь, впадает в глубокое вочеловечивание. Он лихорадочно перебирал знакомых, пытаясь предугадать — в кого впадет, кем заразится, зная уже, что ни за что не угадает. Он поднялся рано, стекло оконное подрезал рассвет розово-морозной полосой. Быстро поел кислого молока с хлебом и вышел. Ему было душно и опасно дома. Он вышел на октябрьскую прохладу, на сыпучий простор утреннего неба. Он вместе с рассветом крался по безлюдным улочкам, обычно ему было тяжело утреннее одиночество, он торопился окунуться, раствориться в своем «коллективе», заглушить невольную утреннюю тревогу в гомоне собратьев-одноклассников. Сейчас он сдерживал себя, ему оставалось жить в одиночестве, может быть, только один день — а потом наступит утопление, безумие, стремительное наполнение иносутью. Баба Оля, уборщица и распорядительница школьного звонка, подсолнечной шелухой топила печку, пламя было чистое, как свет утреннего солнца на стеклах. «Ты чё так? Дополнительный урок тебе сделали?» Миколайчик был себе не нужен и ничего не ответил. Он прошел в класс, сел на свое место у заднего второго окна и припал глазами к медленно текущему по верхушкам желтеющих тополей восходящему солнцу. Эта каждодневная настойчивость солнца в любую погоду, в любое время года зажигаться на вершинах тополей огоньками стекающего с небес пламени обманывала взгляд и сердце: солнце заласкивало тополя, но заласкивало не в тепло, а в зиму. На чистом, изветренном небе солнцу ответил ласточкиной грудкой никчемный месяц.

Потом набежали в класс, и Хребин сел рядом как ни в чем не бывало. Подошла Машка, заспешила речью, «ты чево? ты как? ну что, что?», баба Оля забренькала балабоном, пришла Анна Борисовна (на мгновение у Миколайчика перехватило горло — но нет, не она ему п р е д с т о я л а). Миколайчик смотрел на школьный дворик, отгороженный от степи редкими рядками георгин и желтых дубков. Дощатая уборная серо-солнечным кубом стояла на отшибе, глядела пустой скворечней, на дверях вертелись пропеллеры задвижек. И Миколайчик, через простор осеннего солнца, кашемировый запах георгин и холодноватый древесный запах дубков, вспомнил, что всегда выбегал на двор, в уборную с чувством освобождения и радости, мимолетного полета,— это чувство совпало с тем, которое вызвали притыренные деньги, и еще глубже, те два подгоревших рубля, которые он, не выдержав искушения, спрятал от всех и даже от самого себя. Это было свободой не только от налитого, отложенного трудоднями урока, выполненного в колхозе. Это было свободой от себя, полное совпадение свободы, полета, естественного желания облегчиться, а в самом облегчении — мгновения дрожи, точка самосовпадения, радость, дрожь, свобода, никчемность, свершение тела — не ты делаешь, тело делает, сознание согласно, свобода взлета совпадает со свободой падения. Неразложимое животное самосоответствие, в котором безмолвно, как откровение, пребывает сознание: оно наблюдает тайну удаления необходимого лишнего. Таким же необходимым лишним и представали деньги: в необходимости (неизбежности) их удаления человек обретал мгновение животного самосовпадения.

Опять забренькал балабон, все побежали на переменку, сразу густо замешалась толчея. Миколайчик огляделся, Хребин бесился с Курным. Машка погля-

дывала во все стороны, в каждой стороне не забывая и его. Потом он увидел, как что-то во дворике случилось, поплыла тишина, ребята завертелись, кто-то кинулся обратно в школу. И в классе наступила тишина, солнце теперь легко и густо входило в окна, ложилось на лица, на волосы. И тишина, какой никогда не бывало на уроках истории. Тишина сторонящаяся, освобождающая место для солнца. Впереди у окна же — черная Машкина голова, смоляные кудри (Миколайчик вспомнил, как на колено ему капнула расплавленная смола, как, остыв, не отрывалась, и он носил ее, пока она не отвалилась, обнажив молодую, цвета губ, кожицу), Машка повернулась к окну, он увидел маленький, как у клеста, нос и фиолетовое зернышко глаза. Хребин шепнул ему: «Там, на стенке сральника, кто-то написал». «Ага»,— сказал Миколайчик. Машка вдруг подняла тонкую, голую до предплечья руку и в своей нечеловеческой гибкости выгнула ее как локтем внутрь. Старик историк тоже увидел эту руку и замолчал. Хребин наклонился к Миколайчику своим немигающим родинкой-глазом и шепнул: «Ты видел?» — «Что?» — «Что говном кто-то написал».— «Что написал?» Машка потягивалась и к изломанной гибкостью руке приставила — выворотным локтем — другую. «Брусова»,— негромко сказал историк. Руки опали. «Так ты не видел?» — спросил Хребин. Глаза у него стали такими же, как родинка. Миколайчик подумал, что Хребин опять будет приставать, чтобы ему вернули его долю, и уставился в эти разбегающиеся на три глаза. «Там — кто-то — написал „Сталин гад"». Машка опять обернулась к окну, из-под не поддающихся солнцу кудрей выглядывало маленькое ракушечье ухо. Оно было так искусно, тонко вырезано, как будто предназначалось для того, чтобы говорить или петь. Или говорить и смотреть одновременно. Он оторопело вглядывался в это розоватое, пробитое легким, скорым осенним лучом ухо, как в готовые заговорить уста, он даже уверен был, что слово будет произнесено. Всем запретили выходить из класса. Пришел Джемс Брус, Машка с чем-то к нему — он шикнул, вернул на место. Хребин говорил, что теперь всех будут допрашивать. Они прислушивались, по коридору изредка кто-нибудь проходил. Джемс задавал им задачки, Миколайчик увидел в окно, как к уборной прошлепала баба Оля. На ней были глубокие калоши поверх шерстяных носков. Баба Оля несла ведро с водой и веник. Вдруг кто-то ей закричал: «Назад! Вы что делаете?!» Баба Оля повернулась, пригнула голову, поставила ведро, сунула в него веник и пошла обратно. В классе смеялись. Миколайчик видел, как смеется Маша — у нее выглядывал остренький клык, и смеялась она так, как будто прикусывала травинку. У нее были нежные перепоночки между пальцев; когда в школьном танце он переплетал свои пальцы с ее, перепоночки влажнели. Он знал запах ее пота — запах кукурузной пыльцы. Когда-то в засуху биологичка учила их опылять кукурузные метелки, и Маша вся была осыпана этой быстро подсыхающей мучицей, и пот у нее был такой же — мгновенно проступал и так же мгновенно подсыхал, словно сдутый сухим степным ветром. В танце же лучше всех умела завернуться как бы вся в себя, так заворачивались на ночь цветы лазорика. Она до боли в его сердце точно и без стеснения пела — схватывала любую песню прямо с репродуктора. Сильным, настигающим голосом пела она, бася и подхрипывая, под Русланову:

Суди люди, суди бог, как же я любила,—

и вдруг своим тонким, нежным, словно яичко пеночки:

По морозу босиком к милому ходила.

Голос был такой сильный, что у Миколайчика звенело под черепом, как в колоколе. Он боялся ее голоса. А когда он неожиданно подслушивал ее тихое самой себе подпевание — он чувствовал неизбывное свое сиротство в мире и отрешенность от чего-то верного, истинного, идущего своим тайным порядком и в случайности находящее свое невозвратимое назад и потому вечное завершение: «Посылала меня мати за белою глиною...»

В классе их держали долго, солнце ушло от окон. Никто еще не прошел через дворик. Маша шепталась с соседкой — белоголовой насупленной Макушевой. Макушева всему верила, но никогда не слушалась Машиных советов: поверив, она отстранялась от этой верной правды, отворачивалась насупленная, себе не доверяющая в том, что в жизни одна только правда. Маша шептала ей, а Макушева кивала белой гладкой головой. Но вот через дворик прошел завхоз с топором и гвоздодером, за ним не торопясь двое — незнакомый милиционер и какой-то в брюках и широкой серой рубашке. Завхоз стал стучать по пустому

туалету — завхоза видно не было, он бил по задней стенке, потом взвизгнули гвозди. Завхоз вышел из-за туалета с доской и осторожно понес ее вслед за двумя незнакомцами. Школа расслабилась и повалила на улицу. Оказалось, увезли старшеклассника Сяву Бузунова, его рук дело.

Поздно вечером при лампе мама Миля злой своей молитвой поносила «врага народа» Сяву Бузунова: «У них вся сродня такая: ни себе, ни людям. Напакостят — и в кусты. Вот пусть теперь посидит в тюрьме, чтоб гадостью на стенах не писал». Паня брал над горлышком лампы огонек на папироску, медленными веками смотрел, хорошо ли огонек сел, живет ли и ровно ли скусывает бумагу. Он рассказывал, как служил в собачьем питомнике, как воспитывал свою черную немецкую овчарку Аспида. Когда овчарка тяжелым комом шла через барьер, он видел в ней созревание государственной непреклонности. «Человека чует по нутру, по глазам видит, кто таков». Когда водили зэков, Аспид шел спокойно и всегда точно угадывал, кто в толпе на что решился. «Наша охрана — все казачки, по выправке видать было, еще не дотямят, а сторожевая собака уже турсучит провинного. И ничем святым от нее не защитишься, до дна чует». Он так и ходил обок с колонной, отупевая от бессловесности. «Ничего святого в человеке нет»,— говорил Абрам под настроение воспоминания. Абраму помогла открыть человека собака: собака научалась понимать человеческое слово. Значит, переживала, он это видел по тому, как открыто, глубоко, с жадностью брала овчарка арестанта. «А ведь она дите — доверчивая и верящая слову человека».

(Несколько лет спустя Напарник объяснит Никитусу этот тяжкий вечер. «Карасин грязный»,— ворчал Абрам, язычок пламени лизал лампу изнутри черной, сажевой слюной. Миля подбивала махры на брюках Никитуса, тот неотрывно следил за ее руками, махры уходили, и брючина начинала жить новой жизнью. Напарник объяснит Никитусу, что любое чувство, как только ты объяснишь ему, что оно плавает в черной пустоте, перестает быть страшным, опасным, отвратительным (что может быть страшнее пустоты?). Вот с этого момента и понимает человек, что запрещают ему думать о том-то и о том-то, делать то-то и то-то не потому, что он какое-то зло содеет себе или, упаси бог, окружающим, не потому. А для того, чтобы запретить ему вглядываться в себя глубже данного богом слова. Таков древний опыт человечества. Остеречь человека, идущего внешним путем, можно, он сам обнаружит свою ошибку перед людьми, сразу исправит ее. Но вот как остановить человека, ушедшего за пределы внутреннего слова? Увидеть это невозможно. И потому изобретены нравственные запреты. Они стоят стражами, охраняют падающую, вечно падающую душу от пустоты, угодив в которую душа и с нею слово перестают быть человеческими (а равно божественными), они переворачиваются, мнутся, вертятся, как глина под копытами лошадей. Когда Никитус ругался, крестная говорила: «Будешь охулки кидать, боженька тебе язык иголочкой поколет». Вытатуирует на языке нравственный запрет. Если пересекаешь запрет, ломаешь слово — кто выведет тебя из пустоты? Но и того вернее: человек, ушедший за пределы слова, переставал кому-либо принадлежать и подчиняться. Он был недосягаем (а это позволялось только отроду бесноватым. И пока Миля думала, что Никитус перерастет, его воспитывала). Вот за это человека наказывают самыми жестокими наказаниями, чтобы не ходил туда, чтобы там в себе не суесловил, не рукоблудствовал, а деньги — это магическая граница, ее охраняет государственная армия, государство и его народ, и все это для того, чтобы человек не сбегал, не плясал там, где его пушкой не достать и овчаркой не выследить. С той стороны человека быть не должно.)

«Будь ты проклята,— шептал Миколайчик,— и чтоб у тебя лопнули твои синие глаза, чтоб тебе горло перерезали, как свинье! — Он шептал словами в себя, почему-то страшась, чтобы его проклятия перебегали через губы.— Чтоб тебе ногу сломать! Пусть у тебя волосы повылазят! — Он проклинал Машку, уже не вспоминая детства, кривоногое детство было им забыто.— Для чего ты мне попалась? Люди должны быть другими! Когда вот так, как мне, люди должны приходить другие. Я не могу так. Почему она? Что я сделал — почему она? Уже было же, я же, я же, яжелюбилужееё, почему она пришла другой? Все люди, которые с детства друг с другом живут, не могут быть другими, как же так? Так нельзя, так не хватит сердца их принимать! Они, такие новые, неожиданные, а с детства знакомые, как родные, они такие весь мир переворачивают. Так невозможно. Их за это надо... они не могут не понимать, она не имеет права быть другой, я знал и знаю ее не такой... за это ее надо... Машка, чертова душа,

ты же не была такой, почему же это случилось, будь ты проклята. Новый мир для того и строится, чтобы человек не вертелся, как уж под вилами, чтобы он от хвоста до головы был всегда одним и тем же. Для этого наше государство, наши столбы, радиоточки и колхозы. Человек не может быть надрезан, как помидорка, человек — это личность. Будь, будь ты проклята! Я не хочу слышать твой голос, не хочу тебя знать... Я хочу тебя знать такой... я хочу тебя знать такой... какая ты сейчас, но, господи боже мой, дай мне не знать ее прежней!» У Миколайчика горело и чесалось пятно на затылке, он ненавидел людей, изменяющих мир без согласия с ним. Кто просил Сяву мазать говном стенку уборной? Он вышел и сказал об этом своем говенном намерении? Он сказал Миколайчику, что хочет написать? Откуда берутся такие люди? Они что, как этот самый, как этот самый, который искал точку опоры (Джемсик все поминает его, сам дикий, как на углях),— хотят переворотить мир? Но почему в одиночку? Революцию никто в одиночку не делал, октябрьский переворот есть революция, которую массовым порядком сварганил народ. Вот этих и ловят теперь, чтобы не выёживались, чтобы не нарушали невидимый закон человеческого равнодействия... Миколайчик сидел на высохшем подсолнечном склоне кладбищенского холма. Осеннее осушенное небо рассеивало летучие лучи. Восьмиконечные черные кресты торчали застаревшим камышом. Древнее дерево при памяти, даже пень источает запах памяти, а что камыш? Цапля оторвется от болотной мякоти, качаясь на вздохах, пойдет — «душа, душа» — крылами. Высохнет ерик, и ветер, ветер, о, ветер с мужитщины або с хохлатщины, ветер с полдня да ветер горовой, ой, душа-ветер степняка высушит, выметет ерик, замрет камыш в сухом зеркале трещин и отзовется сиплыми свирелями столетий, будет шелестеть, подражая шелесту кладбища: не ходит душа степняка выше полдня, стелется над полем, как дымок тянется-поддается вытяжке. С холма станица — беленькие, серенькие постепенные курени-хатенки. Казачий, колхозный стан — становище, станица, станция... полустанок быть.

Он уже и сам понимал, что прежней Машки не будет. Сосущая тоска по настоящей — видеть ее, присосаться губами к ее платью, слушать, вдыхать ее глаза, бесшумное лицо, иметь ее при себе, как запах лопуха или ветлы, как слюну под языком, как солнечное пятно на спине дремлющей лягушки. Он сожалел, что была прежняя жизнь, в которой он не любил Машу, а потом сожалел, что пришла новая жизнь, и сердце напряглось, словно его свело судорогой — мышцу в ключевой воде. Душа всем телом поднялась на любовь, требовала всей Маши, всего ее бытия — Миколайчик пугался этого требования: что такое — вся? Ему казалось, что его гнет на прогиб так, как будто в него вселился Машин гуттаперчевый бес; он легко, без натуги выгибал Машу так, что подошвы ее ног упирались в голову. Она могла так лежать, опираясь на локти, и улыбаться. Лицо из-под ступней глядело тем же человеческим, глаза в черных кружочках-ободках были спокойны, щеки розовели, как если бы она смущалась от простоты того, что казалось неимоверным усилием. И при всем при этом ни само тело, ни его лицо, ни сама Маша уже не были человеческим сочетанием. Если в привычном состоянии она была девочкой, другом, существом таким же привычным, каким был привычен себе Миколайчик, в выгнутом состоянии Маша превращалась в надмирное существо, он видел это по растерянности в ее глазах: почему ее не принимают такой, какая она есть (согнутая колесом, змеино забравшая хвост на голову, готовая, может быть, катиться поперек степи в поисках такого же, как она), почему он боится ее? Теперь ему надо было совместиться с этим существом — и любовь выгнулась в нем и требовала иного тела, и Миколайчик не понимал: требует ли от него любовь изогнуться, выломиться по-новому или требует приблизить к себе, дать почувствовать иное тело иного существа?.. Внизу лежала тихая, бесшумным солнечным эхом осени опустошенная станица. Буканка скрывала направление, и вода стояла холодными черно-синими кусками. Маленькое, рассыпчатое солнце посылало тихие, подкриком «о!», лучи, под них раскатывалась поднятая пахотой степь, отвечала «а!», а следом через кизячный дым — «Маа-ри-и-я!» кричал петух.

ГЕНРИХ САПГИР

*

ЗЕЛЕНЫЕ ФУРАЖКИ

по всему периметру Центрального парка
рассыпались зеленые фуражки
полумужчины в майках и ковбойках
вихляются на границе безумия.
зеленые фуражки пьют кружком — из кружки
зеленые фуражки поют в кружке кружком
зеленые фуражки блюют в зеленую траву
плохо мне плохо
фуражка
катится по асфальтовой дорожке
и падает суконным верхом в пыль
умри ты сегодня
а я — завтра
сегодня праздник День пограничника

мемориал великой империи
оживает в залитых алкоголем глазах
кумачом и золотом
грохотом торжеств и воинств
хорошо было служить где-то там
где все четко:
это дерево наше
это чужое
эта хата наша
эта чужая
эта девка наша
и эта наша
скуластое солнце
встает за рядами колючей проволоки
и крадется в нашу сторону
гимнастерка на спине и под мышками становится черной
пот течет желобком под ремень
и травинка щекочет ноздрю
так и подмывает пальнуть в этого диверсанта
отойди старшина!
задавлю.

как же после всего этого не резвиться на московских лужайках

на Крымском мосту и в метро
не прыгать не выть не брататься
с такими же везунчиками
как не подраться дурачась!
ты ему сунул раза
он тебе сунул раза

ах ты мне сунул?
я тебе так двину! — держись
синие околыши?
каски омоновцев?
бей по котелку!
драка мелькает
как решетчатый частый штакетник
в драке все — братья
и то слышу: волокут меня за руки и за ноги
раскачали и бросили сволочи
как старое ржавое железо
где моя зеленая фуражка? где?
отдайте падлы головной убор
верните мне мою гордость
с крабом она — с гербом сучары!
даром что ли картон вырезал
чтобы тулья стояла как штык?
потерял я свое лицо гады
теперь об меня любой чмырь свои кроссовки вытирать будет
красиво живем

нашарил среди кирпичей и стекла
хорошо что далеко не откатилась
обтер нахлобучил — и рад
бабка и дед в крови проросли — ненавижу!..
зеленоскулый на медном закате

ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ

*

В САДАХ ДРУГИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Рассказы

По дороге бога Эроса

Маленькая пухлая немолодая женщина, обремененная заботами, ушедшая в свое тело как в раковину, именно ушедшая решительно и самостоятельно и очень рано, как только ее дочери начали выходить замуж,— так вот, рано располневшая немолодая женщина однажды вечером долго не уходила с работы, а когда ушла, то двинулась не по привычному маршруту, а по дороге бога Эроса, на первый случай по дороге к своей сослуживице, женщине тоже не особенно молодой, но яростно сопротивлявшейся возрасту — или она была таковой по природе, вечно юной, как она выражалась, «у меня греческая щитовидка», и все. Вечно молодая сослуживица праздновала день рождения и ни с того ни с сего пригласила к себе эту Пульхерию (как они на работе называли ее по имени гоголевского персонажа, верной пожилой жены своего мужа), а могли бы ее называть также и Бавкидой по заложенным в нее природой данным быть верной, бессловесной, твердой как камень и преданной женой, но Господь Бог судил иначе, и Пульхерия осталась очень рано в единственном числе с двумя дочерьми. Она-то была верной, но этого для жизни мало, как выяснилось, и у ее мужа завелась после санатория знакомая, были звонки, даже угрозы, что кто-то «примет газ» и так далее, и затем Пульхерия, как известно, осталась одна, и мгновенно, как только младшая дочь вышла замуж и забеременела, она тоже как бы забеременела ожиданием, ушла в себя, спряталась в свое пухлое маленькое тело, в щеки, спрятала глаза, когда-то большие и, судя по фотографиям, прекрасные (одну из таких фотографий Пульхерия как-то нашла на своем пороге с выколотыми зрачками, понятно, чьи дела) — но прежде всего Пульхерия спрятала душу, бессмертную душу юного гения, каким его рисуют — с крыльями, бесплотного, с кудрями и сверкающими лаской и слезой глазами. Все это Пульхерия быстро спрятала, быстро обросла бренной плотью, кудри обвисли. Но этот гений добра не исчез, как мы увидим дальше, и иногда сверкал в ней, подобно озарению. На работе она так болела за свое маленькое, порученное ей судьбой дело, что в буквальном смысле болела, когда, к примеру, назначили некомпетентную начальницу, злобную и никчемную, которая уничтожала все предыдущее и накопленное со злорадством беса, перекроила уже приготовленную к отправке выставку, заставила писать новые тексты, и вот тут Пульхерия и ее молодая еще ровесница Оля спелись и сдружились. Люди быстро объединяются на почве общего негодования, забыв все свои взаимные чувства, и ничего хорошего из этого, как правило, не возникает. Так вышло и в нашем случае. Сухая и самолюбивая Оля возненавидела начальницу люто, вся жизнь Оли была в работе, поскольку дома у нее происходили какие-то неурядицы и проживал тяжело больной муж, поэтому были регулярные поездки к нему в больницу и мучения с ним дома, затем имелся сын, который быстро женился и хотел привести прямо в дом к маме какую-то ловкую бабу старше себя, и Оля потемнела лицом на глазах у сослуживцев, но потом все-таки она поселила парочку у новоявленной жены в тесной комнатке плюс родился ребенок, а у Оли с мужем были хоромы. Вот в эти хоромы Пульхерия и поплыла по житейскому морю, предварительно поручив на один вечер все дела дочери, но болея душой

за нее, как она справится с малышом одна, оставшись со своим суровым, но бестолковым юным мужем.

Пульхерия, таким образом, оттолкнулась от житейского берега и взмахнула веслами, чтобы уже никогда больше не возвращаться в прежнюю жизнь. Все произошло так мгновенно, и все так переменилось, что уже назавтра Пульхерия не помнила ни себя, ни, страшно сказать, свою семью, она как бы впала в сон, а некоторые считали, что она слегка повредилась в разуме, например та же Оля.

Итак, приехав на место, Пульхерия сразу затерялась, засунула свое бренное толстое тельце в какой-то угол и там затихла, наблюдая утомленными, заплывшими глазами за хлопотами и приготовлениями Оли, не такой скорбно-значительной, как всегда на работе, а простой и домашней, в кружевном старинном фартучке. Оля была очень мила, ей помогали какие-то женщины-подруги с прическами, а в большой комнате (сколько комнат было вообще, Пульхерия не посмотрела) курили у телевизора мужчины — для Пульхерии этот высший свет, этот шикарный мир людей со свободным временем не существовал, и Пульхерия даже и не подумала предложить свою помощь, она просто сидела и отдыхала в кои-то веки. Пульхерия очень хорошо и с некоторой неловкостью всегда понимала истинные побуждения людей, и в этом случае она тоже понимала, что Оля хочет окончательно подавить ее, Пульхерию, своим великолепием и затем с ней, с подавленной, выступить единым фронтом, три человека в отделе, пойти в наступление на начальницу, скинуть ее и затем заступить на это место самой. Пульхерия с досадой думала о своей всегдашней мягкотелости и уступчивости, что поехала в эти гости, где все чужое и малоинтересное, но у маленькой Пульхерии тоже весьма накипело на душе против начальницы, которая плевать хотела на огромную многолетнюю работу по обработке фондов и хотела все перевести на другие рельсы, на рельсы самоокупаемости, в том числе в русло пикантных разоблачений кто с кем жил и какие есть письма и доносы. Начальницу быстро назвали «Шахиня» и поняли, что она хочет на чужих плечах сделать докторскую работу, для того она и въехала сюда на плечах мужа, замдиректора родственного НИИ, а он взял на работу кого-то из дочек их директора, тоже порядочного проходимца, похожего на артиста в роли архиерея. Все всем было известно, и всех брала тоска, но что делать!

Таким образом, Пульхерия сидела в гостях тихо и безучастно, выключившись полностью, отдыхая от своих бесконечных трудов, уйдя в свою личину толстенькой тихой бабушки и чуть ли не древней старушки — притом что Пульхерия была старше Оли всего на два месяца. Однако заметим, для будущего это важно — Пульхерия расценивала свою внешность как несуществующую и знала про себя, что настанет момент, и она из куколки, из кокона обратится обратно в бабочку. Она как бы играла сама с собой в старость в том возрасте, когда другие еще очень и очень возрождаются и поддерживают в себе тонус,— и сама не знала, что оттуда уже нет выхода таким, как она. Оле был выход, а ей — нет. Тем не менее Пульхерия иронически приглядывалась к Олиной вечной молодости и расценивала все ее гимнастики, диеты, корты и лыжи как легкий сдвиг. Пульхерия к себе относилась легкомысленно, а Оля даже сделала себе небольшую косметическую операцию за ушами и стала еще моложе, а во рту у нее полыхал голубоватый фарфор, но Пульхерия стеснялась смотреть на Олю, в ее затянутое лицо выше уровня рта. Она, что называется, смотрела Оле в рот, что Оля принимала за приниженность. Оля вся была как на ладони, а Пульхерия носила в своей душе маленького, но крепкого и иронического ангела-спасителя, который все про всех понимал, и Пульхерия в ответ на все сарказмы Камиллы, третьей сотрудницы, молодой женщины богемного типа из художественной среды вечно в свитере, джинсах, кольцах и браслетах — в ответ на ее шпильки в адрес молодящейся Оли Пульхерия только вздыхала. А Оля решила полностью опереться на приниженную Пульхерию и именно ее пригласила в гости в дом на день рождения, а Камиллу инстинктивно оставила без внимания, поскольку Камилла на работе томилась, начальнице грубила и просто так бы поддержала любое деструктивное, то есть разрушительное, начинание в адрес существующего положения вещей. Камилла могла бы, кстати, и не пойти в гости к старому бабью, да и Оля могла опасаться ее подлинной без натяжки юности. Так что оставалась безопасная Пульхерия, а у Камиллы были другие мечты и другие дела, и на этом мы ее оставим. Камилла тоже была не просто так с улицы взята на работу, у нее имелись непростые родственники.

Пульхерия сидела сиднем, потом стронулась, как все, будучи приглашенной к столу, села и расплылась, растаяла, как бы не существовала уже, вела скромную и тихую, как обычно, жизнь, что-то попивала, ела салаты, пока вдруг не поняла, что кто-то ее спрашивает, как ее зовут. Это был мужчина, сидевший рядом. Пульхерия ответила, завязался разговор, речь шла о том ученом, архивом которого много лет занималась Пульхерия. Ученый был уже распознан, свергнут, забыт и упоминался только в юмористическом и разоблачительном плане, а Пульхерия знала всю его жизнь и все его взаимоотношения с великими мира сего, любила его, как энтомолог любит особую разновидность, допустим, мелкого жучка, признанного вредоносным, но открытого собственноручно. Поэтому она возражала, как ей казалось, обывательскому тону в вопросах этого соседа и тихо и немногословно отвергла общепринятую точку зрения. У вредного старца была надежная защита в лице кроткой Пульхерии! Сосед начал ниспровергать и горячиться, а она не стала продолжать разговор, снисходительно помалкивая. Сосед приводил общепринятые и истасканные факты, давно обнародованные, а Пульхерия знала многое другое, но как специалист не снисходила до спора с невеждой, а только вздыхала. Один раз она поправила его, и он с изумлением посмотрел на Пульхерию, настолько изящным и точным было ее возражение. Пульхерия тоже впервые посмотрела на своего соседа и увидела как в тумане красноватое худое лицо, седые всклокоченные волосы, недостаток одного зуба впереди и воспаленные, часто моргающие очень светлые глаза. Пульхерия увидела, однако, не совсем то, а увидела мальчика, увидела ушедшее в высокие миры существо, прикрывшееся для виду седой гривой и красной кожей.

Сосед глядел на Пульхерию и мягко улыбался. Он, видимо, вообще улыбался всегда, есть такие люди с определенной мимикой, они всегда улыбаются, и в этом их обаяние, но улыбка эта не означает ровным счетом ничего, и многие люди ошибаются, приняв ее на свой счет. Сосед улыбался Пульхерии как восхищенный ее разумом, покоренный собеседник, и Пульхерия полюбила его жалостливой, щемящей любовью, такой получился результат. То есть она сама еще не знала этого, а просто как бы освободилась, расцвела, и ее гений послал сияющий луч доброты в адрес соседа справа, и дело было завершено. Пульхерия тихо и со вздохами, но твердо и обоснованно рассказала о предмете своих исследований — то, чего она никому бы не рассказала, но важен был не предмет их разговора, а его сущность. Сущность же была в том, что эти двое нашли друг друга за пиршественным столом, где вино лилось рекой и дым стоял коромыслом, а хозяйка, раскрасневшись до лилового румянца на своей новенькой коже, необыкновенно похорошев и подобрев, бегала из кухни в комнату, но на одном из своих путей она, приостановившись и принагнувшись, сказала соседу Пульхерии что-то громко на ухо. Громко и на ухо в основном говорят обидные, язвительные вещи, рассчитанные на чужой слух и на головную боль адресата. Но Пульхерия не поняла ничего, и Оля удалилась, а беседа продолжилась. Сосед затем проводил засобиравшуюся Пульхерию до двери и вдруг заторопился, надел зимние сапоги (он был почему-то в домашних тапках), оделся и пошел провожать Пульхерию вон из дому. Они отправились по морозцу пешком до метро, и Пульхерия не стеснялась ни своего легкого старого пальтеца с висящими кое-где нитками, ни своей шапки, бывшей меховой, еще со времен молодости. Кудри Пульхерии обрамляли ее милое пухлое лицо, глаза раскрылись, румянец проступил на бледных щеках, короче говоря, ее гений, ее ангел-хранитель проступил сквозь толщу плоти, уже готовой к старости. Пульхерия была доведена до метро, затем до вагона, затем провожатый влез вместе с ней в поезд и еще долго вел Пульхерию до самого ее дома, до подъезда, где прощание было церемонным и галантным, так как у Пульхерии была поцелована ее пухлая маленькая рука, кстати, очень красивая. Ни о каком номере телефона и речи не было. Пульхерия даже не узнала имени своего любимого человека и так, согбенно и скромно, скрылась во тьме подъезда, ни о чем не думая.

Однако червь отчаяния начал глодать ее уже ночью. Пульхерия знала себя и знала, что не спросит никакую Олю о том, кто это был этот сосед справа. На работе Оля вела себя обычно, все силы занял у нее очередной конфликт с начальницей, которая, сидя в той же комнате, что и Оля, попросила Олю достать ей из шкафа нужную папку. Оля вспылила и предложила начальнице самой прогуляться до шкафа, и завязался свистящий разговор о перечне служебных обязанностей. Пульхерия из соседней проходной комнатушки, где она обрета-

лась в архивной пыли и не спеша обрабатывала очередную пачку писем, слышала всю беседу соперниц, но — удивительно — она настолько была занята своими мечтаниями и мыслями о Неизвестном, что все это пролетело мимо нее. И на обеденном перерыве, стоя в очереди, она слышала, как Оля, вся кипя, с мнимым юмором рассказывала кому-то инцидент, поправляя его довольно грубо в свою пользу, но Пульхерия опять-таки равнодушно пропустила это мимо ушей. Оля тоже как бы сторонилась Пульхерию, не пригласила ее как обычно идти в столовую вместе, а пролетела, словно разъяренная фурия, мимо. То ли она не одобряла все, что произошло вчера, то ли равнодушие Пульхерии дало о себе знать — ведь иногда, Пульхерия это давно заметила, ты думаешь, что к тебе начали относиться плохо, а на самом деле просто это ты уже плохо начал думать о человеке. Все люди внутри остались животными и без слов чувствуют все, что происходит. Но ни одно душевное движение не остается без ответа, и более всего равнодушие.

Равнодушная Пульхерия, однако, отстояв очередь до кассы, к своему удивлению, двинулась с подносом к столику, за которым уже сидела взбешенная Оля совершенно одна. Пульхерия твердо решила ни о чем не спрашивать Олю и спросила:

— Ну как вы вчера?

— Что вчера? — резко ответила Оля.

— Я ушла раньше...

— А, какое кому дело до мытья посуды,— едко ответила Оля.— Нет, вы видели эту хамку, она меня просила написать объяснительную записку. Кто она? Жена она, и все! Она же жена этого идиота, друга нашего идиота! А знаешь, какая у нее была диссертация? Особенности морфологии суффиксов ачк-ячк и ушк-юшк! Ушки-юшки! И идет после этого без стыда работать к нам!

Оля долго еще говорила, что у нее тоже есть связи у мужа времен института, такие связи, что Боже мой. В президиуме, сказала Оля своим свистящим голосом, так что за соседними столами явно слышали. И что ей стоит только позвонить. Что ее мужа тоже ценят и уважают как мастера, и неважно, чей муж где работает и что один болен, а другой здоров как бугай, но полное ничто как ученый. Важно как кого уважают! И когда муж болен, слышали бы вы, какие люди звонят и спрашивают, как он чувствует!

— А что с ним? — неожиданно для себя спросила Пульхерия, чтобы только перевести разговор поближе к своей теме, к событиям в доме Оли, к своему Неизвестному.

— Не спрашивай,— ответила Оля.— Шизофрения. Вот так!

Пульхерия должна была бы страшно пожалеть бедную Олю, от всей души, с содрогнувшимся сердцем, но она почему-то осталась вполне равнодушной к этому сообщению.

— Я этим диагнозам не доверяю,— сказала Пульхерия.

— И он старше меня на десяток добрый лет, я тогда не знала.

— А ты не верь.

— И выяснилось недавно, что это уже давно. Все желудок, желудок, худел, все ссорился на работе. Вроде бы ему не дают заниматься прямым делом. Зарезали докторскую.

— И что же в этом ненормального? — спокойно сказала Пульхерия.— Это обычно.

— Он так бил кулаком в больнице по стене, все думали от боли, а потом стали спрашивать меня, я все рассказала. Говорят: как хорошо, что вы пришли, он все звал вас, пусть придет Аня. Аня, представляешь?

— Аня? — спросила сбитая с толку Пульхерия. Она еще не понимала, что вся ее последующая жизнь обрисована была Олей в этом разговоре. Пульхерия ничего не понимала, но слушала прилежно, с бьющимся сердцем. Оля явно что-то ей хотела сообщить, что-то внушить.

— Сказали: он все звал вас, позовите Аню, позовите Аню!

— Аню?..

— А сам никому не нужен, кроме меня. Хорошо, у нас в отделе я не дала ему телефон, а на той работе звонил мне по десять раз в день. Ревнует. Сумасшедший.

— А как же ты? — сказала Пульхерия вполне бессмысленно.

— А вот так. Хорошо еще, что он в постели пока слава Богу, а то бы я вообще повесилась. Ты рассмотрела, какие у меня гости были мужики?

Пульхерия не ответила, только воззрилась на Олю, ничего не понимая.

Оля сказала:

— Какие мужики, и все мои любовники, я их всех собрала с женами, жены тоже все мои подруги. Что-то же надо делать с начальницей!

Ошеломленная Пульхерия заткнулась на этом, вопросов больше не задавала, Оля отвлеклась на новый рассказ о событии, а Пульхерия пила компот, неожиданно для себя ощущая жар в щеках.

Мыслей о разговоре с Олей хватило Пульхерии на всю вторую половину рабочего дня, Пульхерия должна была честно признать, что есть какая-то область жизни, совершенно не понятная, но именно там на пороге могут лежать фотографии с проколотыми глазами. Эти соображения перемежались у Пульхерии волнами страшной тоски. Внешне же это выглядело так, что Пульхерия углубилась в чтение все одного и того же пыльного старинного письма.

Тем же вечером, возвращаясь с работы с тяжелыми сумками, Пульхерия увидела у подъезда в сумерках фигуру с непокрытой седой головой. Как само собой разумеющееся, возникло перед ней то, о чем она тосковала все последние сутки, и теперь душа Пульхерии успокоилась. Она повела гостя к себе в квартиру, где на кухне сушились пеленки, в большой комнате у молодых была тишина, то ли они гуляли с ребенком, то ли спали все втроем перед бессонной ночью: ребенок часто плакал между тремя и пятью утра. Пульхерия завела гостя к себе в маленькую комнату, где было чисто и просто, диванчик (Пульхерия смотрела на все новыми глазами, как бы со стороны), круглый столик еще бабушкин, кресло, все рухлядь и старье, но старье старинное, в том числе два маленьких книжных шкафа и старые книги в них. Гость сразу стал рыться в книгах, Пульхерия принесла чай и жареную картошку с кухни, поели в молчании, потому что гость весь ушел в книгу, потом он сказал, что ему пора, и удалился. Пульхерия, не прикоснувшись к нему рукой в этом тесном пространстве, после его ухода взяла книгу, которую он смотрел, и прижала ее к груди, закрывши глаза. Так она сидела в полной прострации, пока не загремело на лестнице, это молодые, везя коляску, ворвались в квартиру с шумом, громко разговаривая, забегали, затопали, полилась вода в ванной, закричал ребеночек, а Пульхерия сидела, не в силах выйти из комнаты, и думала, что хорошо, что их не было дома,— и думала, что же это с ней происходит!

Теперь каждый вечер она семенила домой, на работе сидела как во сне, и как во сне пребывала дома, делала все то же, то есть стирала, убирала, готовила, бегала по магазинам, но все в полной отключке, потому что каждый вечер приходил Он — то на час, то на пятнадцать минут, сидел, что-то говорил, приносил все время одни и те же пирожные «картошка», они ели, пили чай, он читал ей иногда вслух, иногда писал в тетрадке цифры типа формул, потом исчезал. Пульхерия сильно похудела, все вещички с нее сваливались, она почти ничего не ела, с работы старалась улепетнуть как можно быстрей и незаметней. Еще большое значение имело то, что Пульхерия жила сравнительно недалеко от работы — она как будто придавала огромное значение тому, что именно в назначенное время, минута в минуту, он должен был появиться, и пропустить это время было нельзя. Молодежь очень быстро привыкла к гостю, его не стеснялись, хотя и никаких бесед не происходило, только здоровались и прощались, если он попадался им на своем целеустремленном пути, а вид у него был именно целеустремленный, такой же, как у Пульхерии, когда она торопилась домой.

На работе Пульхерия очень много трудилась, почти не подымая головы, и Оля к ней быстро охладела, тем более что она внезапно как бы набралась сил (какие-то результаты закулисных переговоров), объединилась вдруг с начальницей, и они обе совместно стали выживать с работы молодую Камиллу, которая действительно и опаздывала, и брала часто бюллетень, и грубила, хотя работа ее продвигалась, статью она написала, и очень дельную. Но все дело разрешилось на том, что Камилла, как это выяснилось, уйти с работы не имела права, она, это выяснилось, ждала ребенка, муж привозил ее на машине и так же увозил. Результат был такой, что начальница и Оля еще при наличии Камиллы начали активно искать ей замену прямо в ее присутствии, и Камилла грубила им обеим еще с большим чувством, но пухла и увеличивалась на глазах и уже с трудом таскала ноги. Кто-то им всегда был нужен как предмет борьбы, и хорошо, что

это была Камилла, однако Пульхерия чувствовала, что недалек и ее час. По институту прошел слух, что у Пульхерии не все в порядке с головкой: Пульхерия явно опаздывала со сдачей в срок ежегодного листажа, на обед не ходила, а бегала по магазинам. Никто не знал, что все ее время занимает Он, каждый вечер к ней приходил ее Каменный гость и неслышно сидел как камень, и не могла же она при нем писать свои труды! Она и делала это по ночам, а утром тащилась на работу, ничего не успевая, и там сидела сиднем и что-то корябала на своих карточках, не видя в том смысла.

Дело разрешилось на том, что спустя два месяца такой жизни ее гость пропал. Проживши три ужасных дня, Пульхерия опять пошла обедать в институтскую столовую и села за столик, где восседали начальница и Оля. Они-то встретили ее радушно, посоветовали обратиться к хорошему врачу (Оля вызвалась даже устроить консультацию), начальница похвалила статью Пульхерии, наконец-то сданную, Оля похвалила Пульхерину фигурку (у тебя что, диета?), и затем они продолжили свой разговор, от которого Пульхерия оцепенела.

— Значит, завтра до обеда меня не будет,— сказала Оля значительно.

— Как скажет ваша милость,— сказала начальница шутливо.— Можешь быть уверена.

— Положили в беспокойное отделение,— сказала Оля.— Это — буйное отделение Там его убить запросто могут. Да те же санитары. Надо переводить его во второе, как обычно. Там его знают, там его любят. А то в этом беспокойном его заколют совсем, вообще больным придет, дебилом или импотентом.

Начальница при этом сделала рот как для поцелуя и пошлепала сочувственно губами:

— В буйном да, сделают.

— А очень просто,— сказала Оля.— Я когда вызвала психоперевозку, он начал скандалить, не шел, а от этого зависит. На улице кричал громко «помогите» и извивался. Санитары прямым ходом отвезли в беспокойное.

— Это кто? — спросила Пульхерия.

— Мой,— ответила Оля. Щеки у нее были сизо-алые.— Ведь что кричал? Что я его враг, додумался! Типичный бред. Кидался в окно, разбил стекло головой, весь порезался, все было залито кровью, еще кошка эта поганая пришла, я его держу, как Иван Грозный, а она лижет с пола... Веником выгнала, нализалась человеческой крови, как людоед!

— А с чего это началось? — спросила Пульхерия участливо. Сердце ее стучало.

— Опять начал пропадать из дома на сутки, на двое, возвращался ободранный Голодный, грязный...

Врет, подумала лихорадочно Пульхерия.

— Еще что: ну как это у них, не спал, ни с кем не разговаривал, одичал... На работу, слава тебе Господи, он вообще раз в неделю ходит... Одну статью в год пишет, они и рады... Одну статью, а они после этой статьи диссертации защищают... А он до сих пор кандидат... Конечно, он гений. Доморощенный. Я на работу, обратите на странности поведения, они отвечают, директор, спасибо, ему надо отдохнуть, дадим путевку... А он тут же бросается из окна головой в стекло... Я одна, я одна только знаю... Присосались к нему какие-то пиявки опять.

— Ну ты подумай,— вставила начальница.

— Не работал, ни одной формулы, я смотрела, обычно он исписывает пачками бумагу

Пульхерия вспомнила, что он иногда писал что-то в тетрадке. «Опять врет»,— подумала она.

Оля вытирала со щек щедрые слезы, не обращая ни на кого внимания.

Пульхерия теперь все знала. Оставалось выяснить, в какой больнице он лежит. Как-то все сразу соединилось, встало на свои места. Огонь горел у Пульхерии чуть выше желудка, как будто зажгли лампочку, и именно на том месте, где обычно ухает, когда человек проваливается или видит чужую рану.

— Ничего, пройдет,— сказала она.— У меня брат лежал в Кащенко,— ничего, выпустили.

— В Кащенко мы не лежали,— ответила Оля задумчиво.— Мы лежали в своей, там его знают с первого раза, с этой Ани начиная. Чуть не кирпич из стены выпал, так он бил по стене кулаком.

— Ничего, выйдет и опять все путем,— сказала начальница.

— Но сколько можно на одного человека! — воскликнула Оля.— Сколько можно! Эта его девушка, я имею в виду сына, опять она его подсылает разменять квартиру! Настропалила сына подавать в суд! Ему же говорят языком: она получит квартиру, которую мы тебе дадим, сами останемся на бобах с психически больным отцом и она тебя погонит. Отдай сыну квартиру, не будет ни сына ни квартиры!

И дальше потекла ее речь одинокого в своей огромной квартире человека, всех раскидавшего, безудержного, страстного и непобедимого.

Пульхерия сидела окаменев за этим столом над пустыми грязными тарелками.

— Главное,— продолжала Оля,— всегда находятся бабы, которые на него клюют. Вечно навещают его в больнице, носят ему домашние пирожки с капустой, передают бульоны, черта-дьявола. Я говорю нянечкам: никаких передач, кроме меня, мало ли они ему намешают в тот бульон. Чтобы не тревожили его, не беспокоили. Слава Богу, сейчас в больницах карантин, вообще никого не пускают из-за гриппа. Так только, передачи принимают или письма. Он ведь там, его держат, он ничего не ест.

— Как моего брата,— сказала Пульхерия задумчиво.— Но его брали как диссидента, он голодовку объявлял. Кормили через зонд.

— Уж не знаю,— раздраженно сказала Оля,— через что его там кормят. Врач сказала, что это у шизофреников такая форма самоизлечения, все эти голодовки. И не надо вмешиваться в организм. Но голодовка именно в буйном — это страшно. Они там не церемонятся, сразу пускают электрошок. Как через электрический стул проводят, только электрический стул это раз и навсегда, а тут повторяют.

Пульхерия держалась изо всех сил, она понимала, что Оля вызывает ее на реакцию, что Оля за ней наблюдает, как испытатель за подопытным животным.

На этом обед завершился, Пульхерия вернулась за свой стол в свою проходную комнату, теперь кончились, как ни странно, ее страдания на протяжении всех этих трех суток, проведенных абсолютно без сна, теперь начались только его страдания, его жизнь там, в тюрьме, его одиночество в толпе буйных зверей. Страдания брошенной женщины превратились в страдания насильно разлученной женщины, а это разные вещи, как разные вещи горе вдовы и горе покинутой, подумала Пульхерия, наблюдая за собой. Лихорадка, знакомое еще со времен проколотых фотографий чувство, оставила ее. Пульхерия даже с некоторым торжеством думала о покинутой Оле, о победительнице, не нужной никому.

— И если бы не мои любовники, я бы вообще повесилась,— сказала Оля, входя последней в отдел.

— Ой, не говори,— откликнулась из комнаты начальница Шахиня.— Иной раз любой хорош.

— Нет, я этим брезгую, у меня люди преданные, семейные, я всех собираю на день рождения и на всех смотрю.

Так сказала Оля, задерживаясь за стулом Пульхерии.

Так она пыталась уменьшить победу Пульхерии, и Пульхерия все поняла и осталась спокойна.

Она размышляла. Тоска еще не захлестнула ее, не накрыла с головой, Пульхерия отдыхала после смертельного ужаса, и волны любви и преданности носили ее над этим грязным полом, над стулом, над столом, голова кружилась, Пульхерия как бы шептала что-то о своей любви над пыльными письмами, старалась послать всеми силами Ему поддержку.

Когда-то Его страдания должны будут кончиться, надо будет Ему помочь, надо будет действовать с предельной осторожностью, передать весточку, надо будет жить, все рассчитав, до полной победы, до освобождения, до свободы, хотя опыт Пульхерии с ее братом-диссидентом подсказывал ей, что все очень непросто и яростным усилием можно освободить из больницы, но это еще не все. И дело не в формальностях, не в правах человека, грубо нарушенных и потому легко восстановимых. Стронуть человека с его места, даже с такого места — это большой риск, думала пока что спокойно, как шахматист в начале партии, Пульхерия. Нельзя трогать человека, думала Пульхерия, нельзя, нельзя, он все должен сделать сам. Все, кто до сих пор его освобождали, все эти переносчицы пирожков и бульонов, ушли в тень, исчезли, а Пульхерия знала, что должна

остаться в его жизни — остаться верной, преданной, смиренной, жалкой и слабенькой немолодой женой, Бавкидой.

Пульхерия за одну секунду превратилась в какого-то полководца, знающего силу отступления, ухода в тень, силу молчания. Надо будет ждать. Он вернется,— думала Пульхерия.— Он сам прорвет эти цепи. Он сильный. И слишком велико беззаконие, ему помогут. Ему поможет сын. Победа придет, но без меня. О ужас, ужас,— подумала Пульхерия,— не видеть его, ничего не знать.

— Ты не желаешь поехать со мной в больницу,— подошла сбоку к ней Оля.— Ты ведь за столом, помнишь, с ним сидела, вы так мило толковали, забыв прямо обо всех!

— Это был твой муж? — ровным голосом спросила Пульхерия.

— Ты что! Он ведь тебя поехал домой провожать, я ведь его попросила, помнишь? Перед чаем.

— Он проводил, да, до автобуса,— сказала Пульхерия,— я же ведь откуда знала, что он больной. Я их боюсь после брата, я и брату в Америку редко пишу.

— Интересно,— сказала Оля и вся как-то затуманилась, выпрямилась, взор ее обратился вдаль, упершись в грязные обои над Пульхериным столом.— Интересно, какие бывают суки, приманивают больного человека.

— Я не приманивала,— холодно ответила Пульхерия,— он сам меня пошел провожать. Там пять минут ходьбы, автобус сразу подъехал, у меня и никаких подозрений не было, что он больной.

— Ну, поехали со мной? Лидочка нас отпустит. Мне одной страшно.

— Ты извини, у меня ведь внук...

— Так это в рабочее время!

— Ты извини, мне как-то неудобно, кто я такая.

— Да он меньше на меня орать будет при постороннем человеке,— сказала Оля.

— Ой, да я их боюсь,— ответила Пульхерия и достала из ящика очередной пакет писем.

— Слушай,— как-то медленно заговорила Оля.— Ты не видела, в какую он потом сторону пошел?

— Откуда я видела, я не смотрела. И потом в автобусе стекла замерзли. И буду я проверять, зачем мне это?

— С кем-то он все это время жил. Со мной лично он не спал,— так же задумчиво сказала Оля.

— Ну,— отвечала на это Пульхерия довольно холодно,— это от меня не зависит. Он мне такого наговорил про деда,— Пульхерия показала на портрет объекта своих исследований, находящийся под стеклом в виде то ли Ворошилова, то ли Гитлера, с пучком волос под носом и в пенсне, как у Берии, такая была мода у руководителей той эпохи.— Он сказал, что я вообще работаю напрасно, гну спину

— Это он умеет, оскорбить, унизить, задеть,— сказала Оля.— Это у него главное в личности. Он сам гений, все же остальные сявки. Это квартира, где проживает гений, все ему принадлежит, а нет! Вот нет! Это его инициатива разменивать квартиру, а ее дали на нас на всех! Мне сын сам проболтался, что он хотел сыну двухкомнатную квартиру, себе квартиру, а мне, как последней спице в колеснице, что останется. Но не вышло! Он психически больной и вообще недееспособный. А как сын-то разорялся кричал! Это уже наследственность Надо его показать психиатру. Отец, видите ли, все ему подписал, все бумаги на размен квартиры! А я оформляю над отцом опеку как он ненормальный и недееспособный! И все! Квартиру ему! Ему и еще кому?

Неожиданно Пульхерия покраснела, но она сидела читала, и такая же раскрасневшаяся Оля стояла и не видела ее лица, не вглядывалась, ее несло, как на крыльях, она проклинала, угрожала, сулила чертей, и все напрасно.

— А ты возьми с собой Лиду, Шахиню,— сказала Пульхерия.

— Да хорошо, хорошо, никто мне не нужен, первый раз, что ли,— сказала выдохшись Оля и удалилась к себе.

Пульхерия, прошедшая с честью проверку Оли, продолжала корпеть над своими пыльными бумажками в тесноватой проходной комнате без окна, дело шло к марту, и Пульхерия работала в большой тоске. Она знала, что теперь надо только положиться на судьбу, набраться мужества и ждать терпеливо, скрываясь.

Ибо одно было то, что ничего не стоило вспугнуть Олю. Узнав правду, она способна была бы поджечь квартиру Пульхерии, убить мужа каким-нибудь легким способом — санитары в буйном отделении тоже люди, и сколько ни надейся, там тоже могут найтись преступники и взяточники.

И второе было то, что Он, Каменный гость, мог уже забыть свою Бавкиду, свою Пульхерию, ибо любовь — это игра и ничего больше, она боится взаимности, привязчивости, преданности, боится платить долги и любит загадку и ложные пути.

Гость ценил недоговоренность, внезапность, свободу и нападал только из-за угла.

Возможно, в нынешних обстоятельствах ему было уже не до игры. Возможно, он и обвинял Пульхерию, проклинал эту нелепую пухлую старушку.

И Пульхерия залегла на дно, и единственно что с ней произошло — она побарахталась и тихо перебралась в другой отдел, и на этом пути похудела, осунулась и каждый день, возвращаясь домой, чуть не теряла сознание.

И только в конце июня Пульхерия, поздно идя к себе из библиотеки, увидела у подъезда на скамейке знакомую фигуру, сидящую в свободной позе нога на ногу, фигуру в сером, с седыми волосами.

Гость медленно встал, открыл перед ней дверь, Пульхерия прошла, позорно споткнувшись,— Он поддержал ее под локоть как даму и повел к лифту.

Я люблю тебя

С течением времени все его мечты могли исполниться и он мог бы соединиться с любимой женщиной, но путь его был долог и ни к чему не привел. Единственно что сопровождало его весь этот долгий и бесплодный путь, была журнальная картинка с фотографией любимой женщины, причем только у него на работе некоторые были в курсе того, кто сфотографирован там: ноги и ноги, и все, довольно пухлые, босые, в босоножках на высоких каблуках: она сама сразу признала себя, и сумочку свою, и подол своего платья. Откуда она могла угадать, что фотографируют именно ее нижнюю половину, фотограф выскочил на улице и щелкнул раз и другой, а опубликовали только юбку и ноги. Он, тот человек, о котором идет речь, держал эту фотографию у себя дома над столом на кнопках, и жена ни в чем ему не перечила, хотя была строгой женщиной и повелевала всем домом, даже матерью, а затем и детьми, не говоря уже о дальних родственниках и своих учениках. Однако, с другой стороны, она была добрая, хлебосольная, щедрая хозяйка, только что детям не давала спуску, и мать при ней жила смирно, лежала на койке, читала внучатам, пока могла, наслаждалась теплом, покоем, телевизором, да и потом смиренно и долго умирала, уже почти неживая, но затем тихо убралась.

Он же, схоронив тещу, теперь терпеливо дожидался, пока умрет жена. Почему-то он знал, что она умрет и освободит его, и готовился к этому очень активно. вел здоровый спортивный образ жизни, занимался по утрам бегом, баловался даже гирями, ел все только по системе и при этом успевал много работать и дослужился до завотделом, ездил по заграницам — и все ждал. Его избранница, хорошенькая пухлая блондинка, мечта каждого мужчины и чуть ли не Мерилин Монро, работала у него прямо под боком и иногда выезжала с ним в командировки, и там-то и начиналась настоящая жизнь: рестораны, гостиницы, прогулки и покупки, симпозиумы и экскурсии. Как он тосковал по ночам, вернувшись из рая в ад, в теплое, небогатое гнездо, где клубилась громоздкая, неповоротливая семейная жизнь, где болели, сходили с ума и бесновались дети, мешая сосредоточиться, и их надо было усмирять, и дело доходило до ремня, после чего отец чувствовал себя еще более униженным и оскорбленным; жена сама кричала на детей, жена не успевала ничего, еле поворачивалась, в доме, как полагается в каждом порядочном семействе, жили еще кошка и собака, и кошка хрипло вопила по ночам, когда приходило ее время, а маленькая собака лаяла на каждое пришествие лифта, и именно ночами отцу этой семьи приходилось особенно несладко: он лежал в своей постели и, погружаясь в тоскливые мечты, жаждал тепла, покоя, прелести, исходящих от его незаконной подруги в период командировок,— в остальное время блондинку тоже доставала жизнь, муж и свекровь буквально садились ей на шею, свекровь заставляла по субботам скрести всю квартиру вплоть до протирки кафеля в ванной аммиачным спиртом!

Муж напивался и не пускал бедную на служебные вечеринки, на дни рождения и т. п., всегда скандалил перед командировками, подозревал, они вдвоем со свекровью сжимали ее, как Сцилла и Харибда, и кроме этого, они еще и скандалили между собой, муж и его мать. Свекровь донимала бедную блондинку, почему ее муж никогда не закусывает и вообще мало ест, даже это ей ставилось в вину! Блондинка на работе жаловалась вскользь, была потаенная и ничего не вываливала ему прямо в морду, как это делала жена. Бывают же такие женщины, думал, разметавшись на постели, одинокий муж, а за стенкой приплакивали и вскрикивали во сне его дети, мальчик и девочка, и храпела его жена-сердечница, все более старая и все более любящая. Вот уж уму непостижимо, как она, старая старуха сорока с гаком лет, его любила и ему угождала! Она-то, похоже, и вообще никогда не верила в то, что он ее любит, что этот шикарный, с седыми висками мужчина ее муж, и вечно тушевалась и отказывалась с ним ходить куда-либо вдвоем. Шила себе платья сама по единому незатейливому фасону, длинные и мешковатые, чтобы скрыть полноту и латаные чулки, на которые вечно не хватало денег. На языке многочисленных гостей и родни это называлось «одеваться скромно и со вкусом», гости приваливали толпами на все праздники, обожали ее пироги, пышки и салаты — это были все ее гости, ее однокашники, сверстники, родственники — они помнили ее молодой, симпатичной, с ямочками, с толстой косой, и не замечали, что она уже не та, уже погасла.

Действительно, она давно уже плюнула на свою косу и ямочки, ухаживала за мужем и за матерью, следила за детьми, преданно бегала для хозяина своей жизни на базар, никуда не успевала, но приходила всюду каким-то чудом вовремя, так старалась жить по порядку — и естественным образом ночами просиживала на кухне за книгами, уложив всю семью, или прирабатывала теми же ночами на той же кухне, или готовилась к занятиям. Придя с работы, она рассказывала байки о своих студентах и иногда готовила ведро котлет и ведро каши, и к ней приходили ее ученики, приносили цветы, робко галдели, съедали абсолютно все и тешили свою преподавательницу пением несуразных коллективных песен. Но это бывало, если господин уезжал в командировки, только так.

Когда родились дети, мальчик и девочка, то и тут первая ее мысль была о муже: его проводить с завтраком на работу, его встретить горячим обедом с работы, выслушать все, что он хочет рассказать. Был только один перерыв, когда начала умирать и в течение трех лет умирала ее мать, тут было все брошено и кое-как шло, неизвестно как, и отец семьи завтракал один тем, что ему было поставлено, и обедал тоже один, сам себе накладывал и уходил в свою комнату туча тучей, но все же гроб нес первым, в ногах покойной, и был неотличим в своей непритворной тоске от остальных. После похорон мамашина комната стояла пустая, закрытая, не было сил, да и хозяйка тихо сопротивлялась, спала в большой комнате с детьми, вернее, сидела все так же на кухне, сон от нее ушел.

У мужа тоже, одновременно, это был тяжелый период, его любовь стала капризничать и требовать полной, независимой семейной жизни, отказывалась с ним ходить под ключ в пустую квартиру к знакомым, как он уже наловчился ее водить в обеденный перерыв, и даже пошла дальше: кокетничала с соседними комнатами и в буфете, и мужички, почуяв, что она «ослабла на передок», по выражению коллег, проторили в ее комнату тропу, и телефон звонил, и кто-то заезжал за дамой на машине и т. д. Наш муж принял муки ада, любовь и долг прогрызали его насквозь, он занял твердую и неуступчивую позицию в адрес своей подруги, хотя и иногда облегченно плакал у нее на плече, если удавалось. Что было делать! Жена при всем своем отчаянии все-таки заметила, что муж как-то подсох, что глаза его нехорошо остановились и он весь как бы улетает. Жена очнулась, быстро сделала ремонтик в материной комнате и поселилась там с детьми, а большая комната снова стала местом встреч, бесед и малых праздников, и муж выходил к гостям как отец чудных детей и глава дома (а не бездомная брошенная собака) и любимый, почитаемый в виде божества муж (а не третий с конца претендент на собачьей свадьбе). Теперь завтрак подавался ему прежде всех, было даже вдруг сшито несколько новых платьев из штапеля, по воскресеньям жена стала уводить детей в долгие походы, то в парк, то в цирк, то в планетарий. А в комнате мужа все висели над столом пухлые босые ножки под юбкой и на каблуках: он не сдавался.

Наконец грянул гром, и тот муж блондинки, наш муж, как его звала между собой незаконная парочка, совсем разошелся, разбушевался, погнался за блон-

динкой с топором, та заперлась в ванной до вечера, а вечером как-то ушмыгнула из дому, звонила нашему герою из автомата, он срочно убежал к ней, вернулся чуть ли не под утро, утром его опять снял с постели страшный, как все известия на рассвете, звонок: того мужа его родная мать обнаружила в петле на двери. Разумеется, следующий месяц бедная новая вдова провела в какой-то сердобольной семье друзей, к себе ее наш герой пригласить все-таки не решился, да и там, в той дружеской семье, хозяйка как-то собралась с силами и проводила вон из дому к другим людям печальную блондинку, слишком хорошенькую в своей траурной бледности, что было невыносимо наблюдать со стороны, тем более что хозяин дома начал испытывать к блондинке платонические чувства дружбы и сострадания, что гораздо более опасно, чем простая человеческая грязь, попихались-разошлись.

Не скоро, но все обошлось, блондинка получила отдельную квартиру, кому-то пришлось по душе разоренное жилье старухи-свекрови, ее уговорили поменяться со страшного места куда-то рядом с племянницей, блондинка получила подальше и похуже, но свое, и тут наш муж, наш герой, должен был решить окончательно, да или нет, и приняться за ремонт, мебель, проводку, утепление окон и т. д. в новейшей квартире своей избранницы. Вместо этого он с удвоенной энергией стал устраиваться в собственном доме, поклеил со своими ребятами обои в большой комнате, опять принялся за зарядку, обливание и бег, стал усиленно заниматься детьми и муштровать уже их, поскольку потомство незаметно подросло и стало мешать, вот в чем дело. С блондинкой он остался в роли советника и посетителя, она все устроила сама, это заняло ее, она советовалась, показывала какие-то чертежи, и уже был на стороне кто-то, кто возил ей на машине метлахскую плитку для ванной и кухонную мебель. Блондинка кое-что смекнула и не упускала из виду никого, имея перед собой перспективу одиночества.

Картинка по-прежнему висела над столом, уже установился тот день, когда муж посещал блондинку,— он, кстати, теперь перешел в другой институт, где дали больший оклад, да и отношения в предыдущем месте работы сильно осложнились, так как блондинку нужно было двигать вверх, и она получала повышение, но не получила из-за гнева масс. Он же в знак протеста ушел и обещал ее со временем перетащить к себе, а жена ничего не поняла и облегченно сияла, и в доме был праздник, и пеклись пироги, что наконец-то муж ушел от Той, но картинка все висела.

Он ушел и хорошо устроился на новом месте работы, детки росли, спортивные, подтянутые, вымуштрованные, как это бывает, когда в семье прочно устоялся культ отца, усиливаемый обожанием и подчинением добровольно сдавшейся матери. Слово отца было закон, и они так и шли сомкнутым строем: папа впереди, дети плечом к плечу, а сзади незаметная клуша мать, руководящая семьей дистанционно. Радостно было смотреть на них, а фотография ножек тем не менее присутствовала.

Мать семейства дождалась, когда мальчик, младший, поступил в институт, и тут сдалась полностью, как и ее мать однажды. Стоя на кухне, она завалилась на глазах у всех вечером, завалилась, захрипела и хрипела трое суток, увезенная в больницу. Семья, дисциплинированная и трудовая, перегруппировалась, было установлено дежурство плюс подключились старые друзья и родня, бывшие и все еще преданные ученики, и из полной могилы, из смерти и забытья муж вытащил свою жену. Когда ее привезли домой, она уже была маленькой старушкой, шевелила только правой рукой немного, говорила что-то невнятное, и часто-частенько ее глаза источали слезы. Она как будто извинялась всем своим видом за это положение, извинялась за всю прошлую жизнь, что не могла создать своему божеству ничего и в конце вляпалась в эту историю с параличом и втянула его. С течением времени домашние привыкли к этой тяжелой лямке, хотя иногда раздражались и покрикивали друг на друга: все же все эти подкладные судна, ежедневные обтирания, пролежни и невольные мысли о том, сколько же лет это может протянуться, такое животное или растительное существование,— эти мысли мучили. А отец как бы успокоился вдруг, его душа словно бы устоялась, все движения его вокруг жены были плавными, терпеливыми, голос мягкий. Дети еще покрикивали друг на друга и на мать, у них была своя неопределенность, они лишились матери, то есть фундамента и подпорки, и стали неоперившимися, еще слабыми родителями для своей мамы, они чувствовали, что

здесь что-то не то, нет перспективы, вернее, она есть, но ужасная. Дети обвиняли друг друга, выводили на чистую воду, о горе, при матери! Но рвение их не угасало, больная у них лежала чистая, свежая, ей под ушко клали радиоприемник и иногда читали ей вслух, но все-таки она часто плакала, совершенно невпопад, и что-то пыталась сказать одними гласными, без языка.

В ночь, когда она умерла и ее увезли, муж свалился и заснул, и вдруг услышал, что она тут, прилегла головой к нему на подушку и сказала: «Я люблю тебя», и он спал дальше счастливым сном и был спокоен и горд на похоронах, хотя сильно исхудал, и был честен и тверд, и на поминках, уже дома, при полном собрании людей, сказал всем, что она ему сказала «я люблю тебя». И все замерли, потому что знали, что это чистая правда — а картинки уже не было. Картинка исчезла из его жизни, все то испарилось, стало как бы неинтересным в тот момент, и он неожиданно, тут же за столом стал показывать всем маленькие, бледные семейные фотографии жены и детей — все эти походы, в которых он не участвовал, все их развлечения, бедные, но счастливые, по паркам и планетариям, которые она устраивала детям, все ее попытки построить жизнь на том малом, что еще ей оставалось, на том островке, где она прикрывала собой детей и где надо всем возвышалась в пространстве, все заслоняя, проклятая картинка из журнала,— но ведь оно ушло, все кончилось хорошо, и фразу «я люблю тебя» она все-таки успела ему сказать — без слов, уже мертвая, но успела.

Дитя

Ей не было оправдания и тогда, когда она совершала свое черное дело, и тогда в особенности, когда она уже стояла за зарешеченным окном на первом этаже родильного дома и через эту решетку беседовала с пришедшими к ней на свидание отцом и двумя детьми, одетыми вполне прилично, в какие-то синие костюмчики и сандалики и даже в одинаковых бескозырках, какие всегда покупали раньше детям в дополнение к праздничным матросским костюмчикам. Действительно, дети были одеты как на праздник, как на праздник вырядился и отец, слепец с палочкой — он был в светлой рубашке с короткими рукавами. Всю эту компанию бедняков, вырядившуюся как на праздник, сопровождала старушка, которая все время разговора стояла, держа под руку слепца, как будто он требовал ухода и наблюдения даже в то время, когда стоял неподвижно и беседовал о чем-то со своей преступной дочерью, еле различимой за решеткой окна.

Хорошо еще, что в родильном доме для нее нашлось место с решеткой, но, по всему можно было судить, ее даром привезли в родильный дом, поскольку она упорно отказывалась кормить своего новорожденного ребенка и, по рассказам медсестер, даже закрывала лицо руками, когда его принесли кормить, и сказала, что кормить его не будет.

И получалось, что ее привезли в родильный дом только с одним практическим результатом — ее осмотрели врачи и дали заключение в ту же ночь, когда ее привезли на милицейской машине, что эта женщина действительно родила полтора часа назад и что роды прошли нормально, хотя это никого не волновало, и без того было видно, что ее роды прошли нормально, раз она смогла сразу же после этих родов развить такую деятельность и заложить своего сына камнями при дороге в полной темноте, причем ухитрилась заложить его так, что на нем не было ни ссадинки, ни царапинки, когда его впоследствии осматривали врачи.

А затем она смогла спуститься к реке и там-то как раз и мылась полтора часа подряд, или у нее эти полтора часа ушли на дорогу вниз к реке — во всяком случае, милиция нашла ее внизу у реки всю мокрую по кровавым следам, она ползла, вся в крови, как и полагается. При ней был чемоданчик, и в нем обнаружили вату и шило, которое, по ее утверждению, она прихватила с собой для того, чтобы перерезать пуповину, а по мнению всех, кто слышал о шиле, это шило могло ей понадобиться для единственной цели — убить им ребенка, потому что где это видано, чтобы пуповину перерезали шилом. Новоявленная роженица, однако, отрицала, что взяла шило с целью убийства: не убила же.

Передавали также из уст в уста, что те двое шоферов, которые нашли у бензозаправочной станции в куче камней ребенка, они завернули его в свои ватники и мчались по улицам со всей возможной скоростью в родильный дом и затем просили у медсестер, чтобы ребенка записали именем одного и отчеством

другого, хотя в роддоме этим не занимаются. Но оба шофера были возбуждены до крайности и заплакали, когда при полном свете ламп увидели ребенка, лежащего на чистом белье под обогревательной лампой.

Все это рассказывали медсестры, и они затем рассказывали, что эти два шофера поздней ночью у бензоколонки услышали как бы мяуканье, а затем распознали в этом мяуканье, идущем как бы из-под земли, детский плач, и пошли на звук этого плача и стали разбирать камни при дороге, а там и лежал плачущий новорожденный мальчик, которого они сразу завернули в ватники и назвали Юрий Иванович.

Весь родильный дом буквально бушевал, и все выглядывали из окон в то время, когда к окну этой родившей женщины подходил в урочный час слепец со своей палочкой, двое детей в синих костюмчиках и старушка. О чем они могли говорить с арестанткой, находящейся за зарешеченным окном, неизвестно, но они все время переговаривались, слепец задирал голову и шевелил губами, свое слово вставляла также и старушка.

Видно было, что они воспринимают преступление с какой-то иной стороны, нежели все остальные. Видно было, что они совершенно не принимают во внимание, что перед ними страшная преступница, почти детоубийца за зарешеченным окном, они говорили с ней и даже как-то передали ей за решетку какой-то нищенский кулек, и вид у них был такой, словно именно с ними что-то произошло, какое-то несчастье, даже у посторонней старушки, которая все время вылезала вон из кожи, чтобы дети выглядели прилично, и без нужды поправляла на них их бедные матросские шапочки.

По поводу этих детей рассказывали, что это все дети неизвестно от кого, так же как и новорожденный мальчик произошел неизвестно от кого, и что роженица работает где-то в столовой уборщицей и кормит отца и детей, и что она никому ни слова не говорила о своей новой беременности, не ходила к врачам и не брала отпуска, а при ее полной фигуре все прошло незамеченным, и что, когда подошел срок, она взяла приготовленный чемоданчик с шилом и ватой и пошла рожать к реке глядя на ночь.

Из всего этого следует, что она с самых первых дней готовилась убить будущего ребенка, раз она никому ничего не говорила, хотя какой в этом мог быть смысл, неизвестно. Пытались выяснить хоть какие-нибудь обстоятельства столь запутанного дела, спрашивали ее, не хотела ли она поначалу родить ребенка для кого-то, для того человека, с которым ей хотелось в дальнейшем жить, но который ее оставил. Однако роженица ответила на этот вопрос, что не знает ничего, и адвокат, которого наняла его семья, этот слепец и ее двое детей, сказал, что единственное, на что можно опираться — это на безумие, которое может постигнуть женщину во время родов, когда она действует безо всякого смысла и становится невменяемой.

Адвокат говорил, что вообще вся эта история кажется ему лишенной какого-либо смысла, что могла же ведь подзащитная сделать самым мирным путем аборт, но вместо этого ходила девять месяцев подряд и в результате поступила столь жестоким образом и теперь не хочет знать ребенка, не глядит на него и даже закрывает глаза, как рассказывают медсестры, когда его приносят для кормления, ведет себя как глупый ребенок, закрывая лицо руками, как будто боясь — и кого, малого младенца, которому и нужно-то сорок граммов молока и больше ничего.

Сон и пробуждение

Первое, что приходит на ум, когда слышишь, что о нем говорит одна красавица: «Я бы им увлеклась, если бы он не был женат с четырьмя детьми»,— так вот, первое, что приходит на ум, это то, что и он, о ком идет речь,— тоже красавец. Так и видят: он красавец, она красавица, но между ними его семья, его дети, его долг. Такой замечательный пример на тему «любовь и долг», и в голове у человека, который ничего не знает, только факты, возникает как бы фильм: красавец читает лекции по всей стране, а она, красавица, слышала и видела его, мужчину-звезду, многодетного, но чистого и честного, с женой вкупе, и возникает образ жены, обычно не слишком симпатичной, то есть всегда усталая и вечно изможденная матрона, но о ней позже. Вторая сторона, которая говорит, что не смеет увлечься им,— она тоже красавица, она работает как раз в лектории

по распространению таких или иных знаний. Он приходит туда, захаживает, ну как, девочки, вот я привез отчет, отработал пять деньков в Сибири при температуре минус сорок девять по Цельсию, сапоги к почве примерзали, в области вырубилось отопление, как они говорят, «разморозилось», то есть наоборот, но на лекции народ валил. «Как всегда», допустим, говорят девочки, милое оживление, чай, шоколад (они угощают его, а он принес дорогой торт и очень доволен), милый, приветливый, религиозный кандидат наук, красавец с бородой, ничего не скажешь.

Так, теперь она, вторая сторона двойного портрета: лицо скульптуры, из тех римских богинь, которые иногда рождаются на Украине,— брови вразлет, нос короткий и тупой, рот полный и классически вылепленный, подбородок крутой и круглый, просто какая-нибудь Минерва. Все красиво и гармонично, все дышит классической печалью, только зачем все это, когда нет жилья, снимает комнату и дешево идет в любые руки, просто от тоски. Мама на Украине где-то в городке врач, а тут, в Москве, у Минервы фиктивный брак и комната, где она живет ради дешевизны с аскетически суровой подругой мужского склада. Каждый вечер лихорадочные приготовления, каждый вечер надежды на несбыточное, вроде найти принца, бросить курить и т. д., и каждое утро стремление завтра начать новую жизнь, а вчерашнее — сон, кошмар, ошибка. Пустые бутылки под кроватью. Окурки везде. Но что ни вечер, то снова ошибки. И одни и те же лица в этом хороводе, какие-то страшные недомужчины и полуженщины, которым тоже надо выпить. Где ты, неземная классическая украинская красота, где все то, что должно сопровождать элегию печальных карих очей под широко разлетевшимися «чорними» бровями, элегию этого спокойного выпуклого лба, где то, что вознесет эту красоту, где оценивающие, где стражи, где паж, где? Пьет, что принесут, курит чужие, сидя по-турецки на тахте, да еще в короткой юбке, тяжелые волосы пушатся на висках и ореолом сверкают вокруг головы. Весь быт тут. Здесь чашка ложка тарелка заварка в стакане. Чайник сковородка чемодан вешалка на гвозде, закутанная плахтой, присланной из дома, тонким покрывалом. Лампочка в абажуре из обложки журнала просвечивает сквозь красное, на окне кефир и банка с остатками сметаны, как будто со старыми белилами. За окном висит в авоське нечто в бумаге. Все.

Зима, морозы, прекрасная Минерва с трудом после вчерашнего восстает, реанимируется к новой жизни, подруга-аспирантка давно пьет чай, собранная, в уродском свитере, пальцы желтые от курева, сигарета дымит, милая, уютная картина. Сборы на службу, и на службе появление внезапного сокровища, Он в бороде пришел получить командировочные бумаги и деньги перед уже самолетом, какой-то национальный герой вроде статуи Минина и Пожарского. Бегают, ставят чайник, Минин уже собран, с сумкой, с коробкой, он готов, но есть еще полчасика, он дарит им свое время! Рассказывает с большим юмором о детях, об их религиозности, мальчики один весь в аквариумах и кошках, другой пишет музыку, и умер его педагог по скрипке, ужас. И о том, что одна девочка другой, маленькой, на ночь рассказывает обязательные молитвы. И о том, как живут летом в своем домике в деревне, за шесть километров посылают мальчишек на велосипедах за молоком и яйцами в деревню, а огород свой...

Тишина, тишина, рай! Рай!

Минерва чувствует, что предназначена именно для такой жизни, она знает это, она сидит усталая и тихая, лицо озарено, голова вся в крупных кудрях, мечтательно щурясь, курит, невидяще смотрит вдаль. «Это я, это обо мне!» — как бы молит она и знает, что Он тоже знает это, но не судьба. Ей бы хотелось, чтобы именно у нее были эти дети, чтобы она (дети гурьбой) ходила бы с ними в лес, и в храм, и по улице. А Он бы приезжал с деньгами на жизнь, как и сейчас приезжает...

Конторские девочки разливают чай, Он видит перед собой трогательно-женскую, классически чистую и ясную женскую красоту, как, с каких высот спустилась эта богиня? Целует ей с видимым чувством руку: благоговея богомольно и т. д. и чуть ли не руки дрожат. Чуть ли не готов все бросить, но не бросает ничего, а уходит и все его при нем, сумка и коробка. Тоже красавец, они предназначены друг другу, думает она.

Он уходит, а в аэропорт он едет не один, а с одной старшеклассницей из своего юношеского лектория, такие пироги, она навязалась его провожать, чудо на ножках, рот пухлый и сонные глаза, детская походка волоча ноги в «лунохо-

дах», папа с мамой заставляют носить из-за морозов. Ребенок есть ребенок, хотя ей уже пятнадцать, могла бы и повзрослеть, но она знает толк в эротике и не хочет быть девушкой, остается ребенком для своего мужчины. Сон во всем, лень, волочит свои «луноходы», шаркает, держась за карман пальто своего учителя, рот надутый, не хочет, чтобы он уезжал. Мужчины по дороге делают стойку, принимая ее за дочь папы, не то чтобы провожают взглядами, но скорее прячут свои нескромные глаза и образуют почетный караул плюс две секунды спустя. Девочка из хорошего дома, родители эмигрируют вот-вот, ждут разрешения, а она то ли убегала уже из дому, то ли хочет дожить до шестнадцати, получить паспорт, прописку и гражданство, остаться здесь, чтобы только не упустить его, его, свое главное достижение в жизни.

Как-то прошлым летом она к нему заявилась, улизнув с дачи, где ее стерегла бабушка, позвонила в дверь, лениво вошла, он сделал вид, что озадачен, шутливо поднявши брови, смотрел (а незадолго до того он кое-кого проводил, выпроводил одну иностранку, которая ему устроила зарубежное турне по университетам и которую он в результате угостил анекдотом, что любовник — это спонсор мужа, а эта иностранка, со знанием русского переводчица и с большими сумками через плечо, где находились ее подарки русским,— эта иностранка печально хмурилась, задумывалась и была готова уже увезти «бойфренда» в багажнике своего автомобиля в ее пустынную безоблачную жизнь, где она жила все еще одна, но он-то что-то сомневался, кивал на семью, поскольку уже переспал с настырной бабой и затосковал от этого насилия) — а вот теперь он серьезно смотрел на свою ученицу, затем проговорил «ну заходи», она зашла, прошла, куда он ее пригласил, а именно на кухню, и без памяти прижалась к нему, первая любовь, вот что. Четырнадцать лет ей было, а затем она плакала и не хотела уходить, вся была прямо в горячке, Лолита-инициатор, маленькая кокотка с добрым сердечком, в сущности, ребенок.

И вот вам красавец и вот вам красавица, и финал такой, что красавец выгнан из дома женой с битьем морды, причем это он бил и сломал жене зуб, а произошло это потому, что жена узнала об аборте юной ученицы, ученица сама звонила с целью отбить и бесстрашно встречалась с матроной. А матроне это было на руку, у нее оказался школьный друг, который потом тут же сразу вошел в семью, надстроил над домом в деревне второй этаж, художник и золотые руки, в свою очередь жена которого с тремя детьми долго жила, это все знали, с одним еще художником-халтурщиком и богачом, и в конце концов художник-бедняк был сманен бывшей школьной любовью (женой нашего красавца) и стал строить себе мастерскую в деревне уже на основе ее семейного дома, такие дела. Все устроилось, таким образом.

Красавица же наша Минерва после одного ночного бдения оказалась тоже на грани аборта, но стойко выдержала искушение, родила девочку без мужа, и подруга встречала ее из роддома и первый месяц еще жила с ней, поддерживала после кесарева сечения, таскала ей с рынка клюкву, но потом съехала заканчивать свою личную диссертацию, не все жить чужой жизнью. Минерва же выписала тоже красавицу мать пенсионерку из южных садов, старуха засела с девочкой, а Минерва пришла на работу слегка высохшая, классическая мраморная статуя, но теперь уже точно мраморная, ибо бескровная, известковая, зажигает одну сигарету о другую — и встречает изредка классического Минина и Пожарского с бородой, слегка с прибитой прической, который все хлопочет и судится насчет деточек, отобранных у него лихой женой (вот тебе и усталая матрона), особенно насчет младшей, все кружит вокруг родного пепелища, и в частных беседах все выступает с уклоном в воспитание детей, в супружескую верность и с уклоном в образ женщины-матери и хранительницы очага, как выступают многие сильно погулявшие мужчины и таковые же женщины в возрасте, которые наконец поняли что почем, а то раньше не понимали и развлекались кто во что горазд, жили как во сне, а теперь раз — и проснулись.

Еврейка Верочка

Нас познакомили на предмет шитья брюк, сказали, что есть великолепная брючница Вера. Времена были далекие, и брюки только-только вошли в моду, и уже одни брюки я сшила у залихватской брючницы, первой предпринимательницы в Москве, звали Н. Она сделала выкройки на все размеры, наняла швею,

сняла квартиру, у заказчиц спрашивала только размер, сорок шесть или сорок четыре, и я была у нее два раза. Дым стоял коромыслом, скромная швея строчила в другой комнате, а Н. (булавки в зубах и говорит сквозь зубы) придумала гениально: скроив и сметав на живую нитку такой-то размер, она надевала этот полуфабрикат навыворот на живую клиентку и где было широко — тут же прихватывала булавками, раз-два — и завтра приходи за брюками. Но что-то с этими брюками вышло плохо, их надо было в результате прикрывать свитером, и в следующий раз, через два года и перед отпуском, я и набрела через знакомых на Верочку.

Верочка приняла меня в своей комнате, где-то на проспекте кого-то большой генеральский дом, роскошные окна и высокие потолки, но комната у Верочки была одна, а за стеной, видно, жили соседи. Комната у брючницы Верочки была на диво хороша, как комната молодой художницы, много книг, зеркал, портьер, все темное и сверкающее, ковры и подушки. Сама Верочка меня тоже поразила: маленькая, изящная, личико как светлое яичко в гнезде темных стриженых волос, огромные зеркальные, очень спокойные глазки. Она-то все делала как заправская мастерица, обмерила-записала, один раз я пришла на примерку, на следующий я уже получила роскошные белые брючки, в которых затем и щеголяла много лет: плохо только, что тряпка была дешевая да и белая, стирала я их часто, потом штопала, а потом и выкинула, но спустя много лет.

Я носила эти брюки и как светлую мечту лелеяла планы еще раз посетить Верочку, которая, кстати, оказалась не брючницей, а студенткой и редактором в издательстве. Брюки были для поддержания жизни, так как (поняла я) Верочка ушла от родителей, богатых людей, получила от них свою богатую комнатку и дальше должна была жить одна.

Жила она и зарабатывала честно и блестяще, но больше я никогда так ее и не увидела, дела мои шли, в свою очередь, далеко не блестяще, было не до брюк.

Однако спустя сколько-то лет снова наступила весна и с ней страшная проблема, что нечего носить. Я все лелеяла в душе воспоминания о чудесной Верочке, о новом Робинзоне, о благоустроенном острове среди житейских бурь — и о белых брючках, которые служили мне единственной формой одежды летом, надел — и человек, надел — и не стыдно и так далее, а как это важно для молодой дамы, не стыдиться своей внешности, не сжиматься, не прятаться по углам.

Хорошо Верочке, думала я, она как кинозвезда со своими зеркальными шоколадными глазами, одета просто, английская принцесса, шьет и вяжет и сама для себя все устроила, как ей было нужно.

Короче говоря, я ей позвонила.

— А вы не знаете? — сухо сказала какая-то женщина.— Верочки здесь нет. Давно уже нет. Вы что, знакомая?

Я стала говорить, что очень далекая знакомая, Верочка мне что-то шила.

— Шила! — горестно воскликнула женщина.— Шила! Верочка умерла, вы что, не знали?

Пауза.

— Верочка умерла три года назад от рака груди.

Боже мой, маленькая Верочка!

— Верочка очень хотела родить, но ей запретили из-за рака груди, но она не сделала аборт, а родила. Она умерла, когда ребенку было семь месяцев. Она не пошла под облучение и не принимала никаких лекарств, чтобы ему не повредить во время беременности. Верочка! Это такое было дело.

Женщина замолчала. Я тоже молчала.

— Верочка ведь родила одна,— сказала она,— без мужа. Она очень любила одного человека, но он был женат.

— А что же ребенок теперь?

— Мы, евреи,— сказала соседка,— мы детей своих не бросаем, да. Отец его навещает. Покупает что ему надо, да там и своих денег некуда девать. Там за ним глядят.

Видимо, Верочкины родители взяли ребенка к себе.

— Родители взяли, они его взяли,— подтвердила соседка,— хотя отношения были плохие. Верочка от них ничего не брала.

Это я помню.

Соседка медленно со мной попрощалась, медленно и значительно, а Верочка глядит теперь с небес на своего ребеночка и беспокоится о нем, они все там о нас беспокоятся, все, кто нас любил. Еврейка Верочка — неизвестно в каком раю.

Тень жизни

Сейчас это вполне взрослая, высокая замужняя женщина, а была сирота при бабушке, бабушка взяла ее к себе, когда мать исчезла, бывают такие случаи: человек исчезает. Отец исчез еще раньше, когда девочке было пять лет, на похороны ее не взяли, она думала: пропал, и очень боялась за мать, буквально цеплялась за нее, если мать вечером уходила; не плакала — не была вправе плакать, мать ее не баловала; тихая, скромная росла и дождалась, что мать действительно исчезла, и в свои девять лет девочка переночевала одна, накрывшись маминым халатом, утром умылась и как была, в том же платье, пошла в школу. Соседи заметили неладное через два дня, девочка перестала ходить в школу, из комнаты раздавались странные звуки, как будто кто-то смеется, а на кухне ничего не варилось, никто не выходил, в том числе и мать этой маленькой Жени. Соседка добилась от девочки признания в том, что она не ела ничего два дня и что матери нет. Все забегали, отбили бабушке телеграмму, и бабушка среди зимы забрала из маленького города на реке Оке свою внучку и отвезла ее к себе в курортный городишко у моря.

Дорога была знакомая, Женя ездила к бабушке на все каникулы, но тут никаких каникул не предвиделось, а было долгое ожидание. От матери не нашли ничего, ни следа. Мать, говорила бабушка, всю жизнь боролась за правду и никогда не воровала, а кругом все воровали, она работала в детском саду. Мать, считала бабушка, поехала куда-то в Москву добиваться правды (перед исчезновением ее уволили), ее, наверно, держат в доме сумасшедших; так бывает, считала бабушка.

Женя выросла тихой, симпатичной девушкой, поступила даже в пединститут в другом городе, усиленно занималась и прославилась в своем общежитии тем, что каждую бабушкину посылку с овощами, салом и сухофруктами ставила на стол и всех кормила, а потом наступали голодные деньки, но сразу для всех. Женя как росла при матери и бабушке без претензий, так и сейчас жила в своем общежитии.

У нее появился молодой человек, строитель и даже бригадир на стройке, который весной возил ее на электричке в лес, читал ей свои самодельные стихи, но был, к сожалению, женат, как оказалось.

Жена его однажды обнаружила Женю, нашла ее в общежитии, увела на улицу и рассказала, что Саша женат, у него двое детей и она сама временно с ним не живет, потому что у него венерическая болезнь, он обязан лечиться, и она сама тоже лечится от него, а где он это подхватил, вот вопрос, сказала эта жена и с ненавистью посмотрела на Женю. Они сидели в скверике. «А тебя,— добавила супруга Саши,— свободно надо убить, как ты распространяешь заразу».

Нищей студентке не с кем было посоветоваться, она боялась идти в поликлинику (все сразу все узнают), но, по счастью, блуждая в районе рынка, она увидела вывеску «венерические заболевания». Ее приняла старуха врач, нужны были деньги, без денег врачиха даже не согласилась ее выслушать. Женя вынула из ушей мамины сережки, единственную память, врач взяла сережки, увела девушку на осмотр и сказала, что надо подождать анализов. Анализы пришли хорошие, Женя, по счастью, не заразилась, либо Сашина супруга наврала. Но Саша больше не появлялся на горизонте, а Женя поняла, что не так все просто у людей и существует тайная, упорно процветающая, животная сторона жизни, и именно там сосредоточены отвратительные, безобразные вещи, и не убили ли вообще маму, думала взрослая (18 лет) Женя, ведь мама была еще молодая и могла попасть в эту тень жизни, где погибает так много людей.

Тем более что тут же летом с Женей случилось несчастье, как раз у бабушки. Тем летом за городом на свалке были найдены два женских трупа, изрезанные, изувеченные, с руками, вывернутыми как выжатые тряпки, без голов. Городишко гудел. Видимо, убили двух каких-то отдыхающих или туристок, потому что свои были все на местах.

Не очень поздно вечером Женя возвращалась от подруги, и недалеко от дома ее с двух сторон схватили. Это были подростки лет по 16 — 17, трое, смуглые, то есть, по-местному, чурки, она их не знала, они не знали ее, за три года отсутствия они-то как раз и выросли. Они приняли ее за чужую. Они заткнули ей рот кляпом и вели, вывернув руки за спиной, точно по тому сценарию. Женя шла согнувшись, толчками, рывками, под лопатку ее кололи ножом. Они переговаривались по-своему, Женя кое-что понимала, они называли себя греками в городишке, но это были не греки. Женя поняла, что они на ходу спорят, кто первый, потому что один укорял другого, что он болен нехорошей болезнью. Они покрикивали в ночной тьме, ругались по-русски, волоча бегущую согнутую Женю, как вдруг все вокруг осветилось. Будто бы включили прожектор. Трое остановились, выпустив на мгновение Женю, и она, завидев освещенную стройку и старика и женщину среди наваленного камня, рванулась изо всех сил к ним, вытащила кляп из рта и закричала: «Убейте меня! Убейте меня!» Она стояла около старика, протягивала к нему распухшие руки и кричала: «Убейте меня, но не отдавайте им!»

Трое возмущенно заорали, что это шлюха и она им должна, они платили! Они кричали по-русски.

Старик отправил парней вон одним жестом руки, сказал по-ихнему «идите», и трое повернулись как солдаты и канули в ночную тьму, услышав свою речь.

Старик сказал Жене, что проводит ее в дом, женщина осталась на стройке, и Женя только мельком рассмотрела ее склоненную голову и подумала, как она похожа на маму. Женя боялась уходить, но старик пошел, и пришлось идти. Старик привел ее к какому-то дому, Женя ничего не узнавала в ночной тьме, и, войдя в комнатушку как чулан, она услышала, что старик запер за ней дверь и удалился. Женя села на пол, потом нащупала неровную, корявую стену, прислонилась к ней и заснула.

Утром она очнулась в каком-то месте, она сидела спиной к шершавому стволу тополя, вокруг был глухой, заросший пустырь.

Женя побежала, ничего не узнавая вокруг, наконец нашла дорогу домой и легла спать в сарайчике во дворе. Было раннее утро. Бабушке она сказала, что ночевала у подруги, так как боялась идти домой. Также Женя сказала, что постарается сегодня уехать. Бабушка, наверно, все поняла, руки у Жени были огромные и сплошь в синих пятнах, лицо разбухло и угол рта оказался надорван.

Бабушка сказала, что этой ночью она не спала, рылась в старых вещах и нашла в сундучке сережки своей дочки и иконку, еще от бабушки, и хочет отдать это Жене.

Женя надела материны сережки, точно такие, какие недавно сняла, взяла иконку, собрала свои бедные вещички и пошла на вокзал. Она нарочно решила пройти мимо той стройки, чтобы увидеть старика и женщину, похожую на маму, но ничего такого не обнаружила. Не было ни стройки, ни того пустыря, сиял белый день, кругом тянулись дома и сады.

Бабушка, провожавшая ее, ни слова не спросила у нее, почему Женя идет не на вокзал, а в другую сторону, к свалке, а Женя сказала вдруг, что, думает, где-то тут должна быть могила мамы, надо поискать у тополя на пустыре.

Бабушка возразила, что дочь ее исчезла совсем в другом городе, но Женя не слушала, а все искала тополь и у первого же попавшегося села на землю, прислонилась к стволу и заплакала навзрыд.

Они так посидели некоторое время, плача, а потом Женя в своем зимнем платье с длинными рукавами уехала из городка насовсем и с тех пор больше не ждала свою мать и не разыскивала ее по психбольницам и тюрьмам. Сережек, правда, она не снимала и не снимает.

Бог Посейдон

Случайно в приморской местности я обнаружила свою подругу Нину, женщину не первой молодости с сыном-подростком. Нина повела меня к себе домой, я увидела нечто необычайное. Взять хотя бы подъезд, гулкий, высокий, с мраморной лестницей, потом саму квартиру, застланную серым бобриком, с преобладанием цвета темного дерева и алого сукна. Все это великолепие выглядело как на картинке в модном журнале «Ларт декорасьон», искусство декорирования, и точно такой же была ванная комната, опять-таки затянутая по полу

серым сукном, с голубовато-фарфоровым умывальником и зеркалами — просто мечта! Я не верила своим глазам, а Нина хранила все тот же свой вечный измученно-уклончивый вид и повела меня в комнату, стоящую настежь тремя дверьми, темноватую, но опять-таки изящную, с неожиданно большим количеством неубранных кроватей. «Ты что, замуж вышла?» — спросила я Нину, а она с видом убирающейся хозяйки, озабоченно, хотя и ни к чему не притрагиваясь, пошла в одну из дверей. Помню роскошную, как в отеле, комнату со стенными шкафами, длиной с каждой стороны метра по четыре и с платьями, висящими на вешалках. Как такое богатство и изобилие снизошло на бедную Нину, которая и белья-то порядочного никогда не знала, а имела одно вечное пальто на зиму и три платья, одно страшней другого? Вышла замуж, но куда, сюда, в эту дикость, в приморскую пустоту, где не живут люди, а ждут лета, когда можно будет сдавать и сдавать комнаты. А тут лестницы, коридоры, переходы, да еще вдобавок я вышла из квартиры не в ту дверь и оказалась в соседнем беломраморном подъезде, куда уже входили школьники с учительницей на экскурсию.

Ну, вышла замуж, однако оказалось, что вот, Нина сменяла свою однокомнатную квартиру в Москве, где прозябала с сыном, на эти апартаменты, да еще, получается, и со всей мебелью и вплоть до постельного белья и нарядов! То есть хозяева ничего не тронули, а убрались, но, оказывается, не убрались все-таки, и отсюда озабоченный Нинин вид, потому что две лишние кровати в спальне это были кровати хозяйки и хозяйкиного сына, молчаливого молодого рыбака с толстыми щеками. Хозяйка хлопотала по-прежнему, как видно, по хозяйству, за стол мы уселись под ее крыло, она вела себя точь-в-точь как если бы была хорошей, тихой свекровью, а Нина ее уважаемой невесткой, ради которой свекровь гнется и ломается по дому, на самом деле сохраняя все позиции матери семейства и главного лица в доме, не допуская невестку ни до чего.

Стало быть, выяснилось, что хозяйка сменялась с Ниной, Нина выехала сюда, бросила свою работу в газете в столице и собиралась писать о местном крае, о море, которое она всегда очень любила и благоговела перед всем, что морское,— а пока что слонялась с озабоченным лицом по своему новому дому, из которого старые хозяева так и не выбрались. Формальности все были соблюдены, бумаги у Нины имелись, она с сыном жила в своем доме, но в этом доме жила еще пожилая хозяйка с сыном всю эту зиму, и речи об их переезде не затевалось. Нина, человек неделовой, расхлябанный, привыкший все пускать на самотек — отсюда и ее уход из газеты на так называемые вольные хлеба и вообще видимое крушение и потопление всей жизни — восприняла все происходящее так, как оно есть. Она ела, пила, выходила к морю, сидела там, сын ее ходил в местную довольно хорошую школу, денег не требовалось, питалось все это удвоившееся семейство дарами моря, которые доставлял на лодке молодой рыбак.

— Кто он? — спросила я, и Нина не задумываясь ответила, что он сын бога моря Посейдона, может жить под водой и дышать там, приносит оттуда буквально все, пешком ходит в разные страны по дну и приносит не только и не столько рыбу, сколько раковины и жемчуг, а также все для дома для семьи.

При этом старая жена бога моря Посейдона, неизвестно зачем принявшая под свои крылья полностью потерпевшую крушение Нину, сидела во главе стола, под высоким окном, и кормила и кормила нас, а в моей памяти все всплывала гостиничная спальня-люкс с белокипенными, как морская пена, простынями и с числом коек четыре штуки — и все представлялось, что вот так и надо, все предоставить своему течению, не бороться, опустить руки, и тогда будешь дышать под этой водой и тебя примет бог Посейдон и не так уж плохо поселит, ибо; вернувшись домой в Москву, я узнала, что Нина вовсе никуда не переселялась, а просто год тому назад утонула вместе со своим маленьким сыном, попав в известное кораблекрушение на прогулочном катере вблизи тех самых берегов, где только что я гуляла, ни о чем не подозревая.

Два царства

Сначала они летели в абсолютном небесном раю, как это и полагается, среди ослепительного синего пейзажа, над плотными курчавыми облаками. Стюардесса была уже не своя, ихняя, в дивной белой полотняной форме без пуговиц, подавала преимущественно напитки нездешнего вкуса. Пассажиры все как один

полуспали утомленные, и когда Лина пошла через весь самолет в хвостовое отделение, ее поразил одинаково желтый цвет лиц летящих, одинаково черные прически Она даже испугалась, как будто полк солдат перевозили с места на место Солдаты эти одинаково спали, утомленно откинувшись и приоткрыв темные запекшиеся рты. Или это было посольство далекой южной страны.

Затем наступила ночь. Лина никогда еще так долго и далеко не летала, она провела часть ночи в туалете, где смотрела в выпуклое окно. Там были видны звезды вверху, по бокам и далеко внизу, где эти звезды прямо-таки можно было перепутать с туманно светившимися огнями поселков. Одиноко мчащаяся в ночной мгле, среди обилия звезд, человеческая душа с восторгом наблюдала себя в центре мироздания, среди шевелящихся крупных, мохнатых светил в полной, кромешной темноте Одна среди звезд! Лина даже заплакала. Она с трудом теперь вспоминала минуты расставания с семьей, с родиной, у нее все это смешалось в один утомительный клубок, который никак не удавалось распутать, что было вначале, что потом Волшебное появление Васи с билетами и разрешением на брак, какие-то сложные формальности, слезы матери, когда Лину одевали сестры в белое платье и спустили на каталке, на лифте, а там Вася взял Лину на руки и отнес в машину. Лина то ли теряла сознание, то ли ее укачало в машине, во всяком случае все происшедшее она вспоминала как сон: глупая музыка, удивленные, ужаснувшиеся люди по сторонам, зеркала, в которых отражался Вася с бородой и она, серая, истощенная, вся в белом кружеве, с запавшими глазами Вася увозил Лину на самолете лечиться. Перед отъездом все-таки была сделана, видимо, запланированная операция, и все, что было после операции, Лина уже не помнила. Какой-то вой матери, заглушаемый как бы подушкой, плач сына, который испугался музыки, цветов и лица Лины, очевидно, он плакал, как вообще плачут испуганные дети, при которых бьют или уводят, отцепляя от них, мать: громко, истошно визжал. Он был слишком мал, его надо было оставить при бабушке, поскольку Лине предстояла еще раз операция, в чужом городе, в чужой стране и с новым мужем, этим неизвестно откуда взявшимся Васей с бородой.

Вася этот был вообще миф, он появлялся раз в год, мелькал где-то в толпе, целовал руку, держа своей прохладной большой рукой, обещал Лине златые горы и будущее ее сыну — но не сейчас, а вскоре. Потом. Сейчас, именно в тот момент встречи, еще было нельзя. А потом — он обещал увезти ее и сыночка, а также и мамашу, в земной рай где-то далеко на берегу теплого моря, среди мраморных колонн, летающих чуть ли не эльфов, короче, ее ждало будущее Дюймовочки. А потом, когда Лина серьезно заболела в свои тридцать семь лет, этот Василий стал объявляться чаще, нес утешение, навещал после первой операции — пришел, так трогательно, прямо в реанимацию, когда Лина Богу душу отдавала, лежала с капельницей, разглядывая на весу истощенную и прозрачную руку. Он прошел в своем белом одеянии, как в медицинском халате (он вообще обожал носить все белое), единственно что он был босиком, но его никто не заметил. Он хотел тут же прямо забрать Лину оттуда, увидев, в каком она виде и как сделали ей шов Однако тут прибежала заполошная медсестра, отогнала Васю и сделала еще укол, вызвала врача, и Вася исчез надолго. В следующий раз он опять пришел прямо в больницу, все объяснил, сказал, что мама ее согласна и они с ребенком будут взяты позже, им он оставит все необходимое, а Лину надо брать прямо сейчас, потому что нельзя медлить. В той стране, где жил теперь этот Вася, лечили Линину болезнь, нашли вакцину и так далее. Лине, короче говоря, было все равно, настолько она второй раз уже не сопротивлялась ни болезни, ни смерти Ее вели на сильных наркотиках, и она плавала как в тумане. Даже мысли о мальчике, о Сереженьке, не так мучили ее. «А если бы я умерла,— сказала себе Лина,— было бы лучше? А так и я поживу, и их к себе возьму потом».

Вася, таким образом, все оформил, хотя врачи настаивали на операции, говоря, что без операции больная не протянет и суток. Вася переждал операцию, все оформил и явился забирать Лину опять прямо из реанимации на так называемую свадьбу. Ее осторожно повезли, переодели, от чего она перестала видеть и слышать, а затем уже очнулась летящей в виду синего неба и бескрайнего, пустынного, пушистого поля облаков под самолетом. Лина очень удивилась, увидев, что сидит рядом с Васей и тем более пьет какое-то легкое, искрящееся вино из бокала. Потом она даже встала — Вася спал, утомленный

хлопотами — и пошла удивительно легкой походкой по самолету. У нее ничего не болело — видимо, ей уже вкололи что-то местное, болеутоляющее.

Самолет пронесся очень низко над прекрасным, разворачивающимся внизу как большой макет городом со сверкающей рекой, мостами и громадным игрушечным собором. Это было очень похоже на Париж! И тут же начался грохот торможения, и самолет своим тупым носом, широким, как окно в гостинице, буквально въехал, прогремев, как телега, и затрясшись, в тихий сад. Окно было с дверью и выходило на террасу, вдали блестела излучина реки с мостами и какая-то триумфальная арка.

— Плас Пигаль,— почему-то сказала Лина и указала Васе: — Смотри!

Вася пошел открывать дверь на террасу, и началась сказочная жизнь.

Однако Лине пока еще нельзя было за реку, хотя лечение началось и продвигалось успешно. Вася уходил и целыми днями где-то пропадал. Он ничего не запрещал Лине, но было понятно, что и река, и собор, и тот чудесный город еще очень далеки от нее. Пока же она стала потихоньку выходить из дома, бродить по одной-единственной улочке, поскольку сил еще было мало.

Здесь, она заметила, все были одеты, как Вася, как самые лучшие дети-цветы, которых она видела в зарубежных кинофильмах. Длинные волосы, дивные тонкие руки, белые одежды, даже веночки. Правда, в магазинах имелось все, о чем можно было мечтать, но, во-первых, Вася не оставлял Лине денег — все, видимо, поглощало лечение, очень, наверно, дорогое. Во-вторых, отсюда невозможно было посылать посылки и почему-то даже письма. Здесь не принято было писать! Нигде ни клочка бумаги, нигде ни ручки. Не было никакой связи — возможно, Лина попала как бы на карантин, в нечто переходное.

Там, за рекой, она видела бурлящую подлинную жизнь иностранного города. Здесь тоже было все — рестораны, магазины. Но не было связи. Лина передвигалась пока что, держась двумя руками за стенку, как только что научившийся ходить младенец. Когда Лина пожаловалась Васе, что она хочет в магазин, он тут же принес ей кучу одежды, в том числе и ношеной, мужской, женской, детской, причем разных размеров. Принес и чемодан обуви, как носят русским зарубежные друзья от всех знакомых. Среди одежды находились и серые мужские кальсоны, отчего Лина слегка смутилась. Бог знает, что это были за вещи и чьи! И куда их было девать, Лина не знала, потому что она сама очень скоро начала носить все Васино — что-то вроде белой сорочки и поверх белое платье из тонкого полотна. Роста они с Васей были одинакового, сложение у Васи, здорового человека, было такое же, как и у истощенной Лины. Лина поплакала над этой грудой одежды, сказала вечером Васе, что очень хочет послать посылку Сереженьке и маме, и показала на две кучки. Вася нахмурился и промолчал, а наутро вся одежда исчезла.

Вася, как выяснилось, именно тут и работал, за рекой, в этом режимном поселке, он не испытывал никакой надобности ездить за мосты к соборам и аркам, и Лине пришлось приспосабливаться к его тихому, размеренному существованию. Она, правда, знала, что все может случиться — по своей прежней жизни — в том числе и то, что моложавый, моложе ее Вася кого-то полюбит и уйдет. Он не любил Лину, этот бородатый Вася, хотя он ее берег от всех трудов. Пища являлась сама собой, одежда сверкала. Когда он это успевал? Их комната, в бреду Лины сохранившая черты летательного аппарата, выходила окном и дверью на террасу с белыми колоннами, но никакого счастья не получалось. Лина мужественно терпела свою разлуку с Сереженькой, матерью, подругами и другом по институту Левой, она понимала теперь, что ее болезнь неизлечима и можно только стараться поддерживать нынешнее состояние — без болей, но и без сил, куда уж тут шумный Сереженька с его бурными слезами и красными от плача глазами! Куда уж тут ее мама особенно, ядовито-приветливая, тоже слезливая! Здесь не было скорби и плача, здесь была другая страна. Лина сколько могла наблюдала этих парящих людей в белом и их хоровод над рекой под однообразную музыку арф (глупейшее занятие, между прочим!), их безмолвные посиделки за длинным общим столом в ресторане с бокалами местного дивного вина. Лина очень бы хотела поделиться мнением с подругами и мамой, хотя бы написать им о том, что все хорошо, лечение идет нормально, в магазинах все есть, но нового не купишь — первое, что безумно дорого, а второе, что здесь такого не носят, а еда непривычная, хотя есть пока много нельзя и т. д. Что хочет послать Сереженьке и всем посылочку, но пока нет оказии, а почтовой связи

между их государствами не существует. Лина таскалась по улицам, держась за все, что попадалось под руку, и мысленно сочиняла письма домой.

С течением времени Лина, однако, стала понимать, что с письмами дело обстоит безнадежно. Вася твердо обещал насчет приезда мамы и Сереженьки, особенно насчет мамы. Но мама без Сереженьки? Или он без бабушки? «Со временем,— говорил бородатый Вася,— со временем».

Лина хотела начать что-то подкупать к приезду мамы, но Вася дал ей понять, что к тому моменту все образуется.

Здесь вообще как-то не суетились насчет завтрашнего дня, здесь все очень, видимо, были заняты, но жизнь была зато организована идеально, стерильно, комфортно.

Вася работал в собственной книжной лавке, которую он приобрел благодаря наследству от тетушки, но он не приносил Лине книг, так как она все равно не понимала чужого языка, а на русском у них ничего не было. Сам Вася оказался по-русски неграмотным

Наконец пришло то время, когда Лина освоила летящую походку аборигенов. Оказалось, что это очень просто. Надо было встать на какую-нибудь ступень повыше и сделать очень широкий шаг в воздух. Следующий шаг другая нога тоже производила от толчка, и каждый дальнейший прыжок был все более свободным и невесомым, как во сне. Бородатый Вася ничего не сказал, однако в положенное время навсегда исчез, видимо, за рекой, в богатом городе, как сочла одинокая Лина, оставшаяся на полном обеспечении, как оказалось. Она вначале думала, без слез и страха, что теперь ее погонят из их летательного аппарата и пища не будет же вечно стоять в холодильнике! Но холодильник пополнялся регулярно, как по кухонному лифту, а Лина не ела ничего, только пила соки и была здорова.

И наконец наступил тот момент, когда она, подумав и потосковав, оторвалась от ступеней своего дома и широкими шагами помчалась на берег реки к хороводу и, разомкнув чужие руки, влилась в общую вереницу и полетела по кругу.

Она понимала, что тут что-то совсем не так, и уже не хотела видеть здесь ни маму, ни сыночка. Она даже не хотела встретить здесь тот полк солдат и надеялась, что никого больше не встретит, а если встретит, то не будет знать, кто это, не различит в веренице молодых, бледных, успокоенных лиц, несущихся, как она, свободно и с надеждой не встретить здесь больше никого, в этом царстве мертвых, и никогда не узнать, как тоскуют там, в царстве живых.

В 1993 ГОДУ

«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ РОМАНЫ ВЛАДИМИРА ШАРОВА «ДО И ВО ВРЕМЯ» И ЕВГЕНИЯ ЛАПУТИНА «ПРИРУЧЕНИЕ АРЛЕКИНОВ»

Если Вы подписались на несколько месяцев, не забудьте вовремя продлить Вашу подписку

ФРИДРИХ ГОРЕНШТЕЙН

*

ДЕНЬ, ОСТАВШИЙСЯ ПОД ОБРЫВОМ

Утром в восемь часов было уже жарко, как в полдень, и все было горячим, даже газированная вода, а троллейбус напоминал парную в бане. Женя сразу устала, она не успела проехать и двух остановок, как на сарафане выступили мокрые пятна, и Женя с каким-то злорадством подумала о том, как доберется до пляжа, сбросит липкую одежду, погрузится в воду, окунется с головой, ляжет на спину и будет долго отмокать.

Люди в троллейбусе лениво переругивались, стараясь отстраниться от чужих жарких тел, а водитель сидел в одной майке, спина у него была красноватая, а руки и шея коричневые.

Троллейбус медленно проехал под мостом, постоял на перекрестке, Женя увидала знакомые фонари перехода и мимо враждебных ей спин и плеч начала пробираться к выходу. Она договорилась встретиться с Анатолием у него дома и позавтракать перед пляжем. Вчера весь вечер и ночью, лежа без сна, она ждала этого утреннего завтрака, но сейчас, пробираясь к выходу в горячей тесноте, подумала, что, пожалуй, лучше было бы им встретиться под каким-нибудь грибком на пляже, а позавтракать в кафе на открытой террасе.

Женя выбралась из троллейбуса, вздохнула и поправила сползшую шлейку сарафана. Она пошла, держась ближе к деревьям, однако пыльная листва плохо защищала от солнца, и когда Женя добралась наконец к дому, где жил Анатолий, и вошла в подъезд, у нее закружилась голова.

Дом был старый, и в подъезде было прохладно, может быть, от кафельных плиток — белых и синих, которыми были выложены стены изнутри. На лестнице тоже было прохладно, полутемно, и Женя, пока медленно поднималась, успела отдохнуть от жары и яркого света и подумала, что все-таки правильно поступила, согласившись приехать к Анатолию позавтракать. Она остановилась перед дверьми его квартиры и хотела позвонить, но снизу кто-то шел. Женя быстро опустила руку и отошла к перилам, хоть понимала, что дура, потому что прятаться им теперь незачем. Человек прошел у нее за спиной; Женя стояла и смотрела вниз, в темноту лестничного пролета, и только когда наверху хлопнула дверь, быстро подошла и позвонила. Ей казалось, что Анатолий долго не открывает, она прикоснулась к звонку, чтоб позвонить еще раз, но дверь открылась и она увидела Анатолия босого и в расстегнутой пижаме.

— Здравствуй,— сказала Женя, улыбнулась и потянулась целоваться, но Анатолий отстранился и показал пальцем в глубь коридора.

— Вернулась? — испуганно спросила Женя и попятилась к дверям.

— Она не вернется,— сказал Анатолий,— это мои тетки... Пойдем, я тебя познакомлю.

В комнате было очень душно, хуже, чем на улице, и запах был неприятный, ночной, наверно, тут недавно поднялись и не успели проветрить. На столе стояли остатки завтрака, в лужице кофе валялись недоеденные яблоки и стояла открытая банка рыбной печени.

Рассказ Фридриха Горенштейна «День, оставшийся под обрывом», написанный очень давно, по имеющимся сведениям, никогда не был напечатан. Одна из сотрудниц старого «Нового мира» нашла его в своем домашнем архиве завернутым в пожелтевшую газету, рядом с другими не пошедшими материалами того времени. С разрешения автора печатаем рассказ в котором достаточно отчетливо видны черты молодой прозы 60-х годов.

Две тетки были одинаковые — сухие и большеносые и чем-то похожи на Анатолия, а третья совсем не похожая — широколицая и толстая. Несмотря на жару, они все были в черных шерстяных платьях, сидели и слушали утреннюю воскресную передачу. «Воскресенье — день веселья»,— пело радио.

— Я эту девушку знаю,— сказала одна из похожих теток.— Это соседка из старой квартиры. И маму ее я знаю... Мама уже вернулась с курорта?

— Нет,— ответила Женя,— мама еще не вернулась... И папа еще тоже не вернулся.

«Надо было встретиться под грибком,— подумала она,— как глупо, что я согласилась сюда прийти».

— Можете поехать вместе с нами на кладбище,— сказала знакомая тетка,— проведать Толину бабушку.

— А оттуда мы поедем на пляж,— поспешно добавил Анатолий; лицо у него было скучным, он давно не стригся, волосы его висели над ушами и с затылка лезли за воротник пижамы.

На улице тетки сбились кучкой в тени, а Анатолий побежал искать такси. Проехала поливальная машина, от асфальта поднимался пар, асфальт высыхал сразу же за задними колесами машины

«Напрасно я надела тесные купальные трусы»,— подумала Женя, она представила себе две зудящие полосы, которые наверно уже проступили на коже, и от этого ей стало еще более душно и нехорошо. Показался Анатолий, он бежал, держась за полуоткрытую дверцу такси. Такси затормозило, выглянул шофер, посмотрел на теток и сказал:

— Четверых я возьму.

— Усядемся пятеро,— сказал Анатолий.

— Не могу,— сказал шофер и зевнул.

— Он хочет на чай,— вспылила вдруг толстая тетка.

— Дура,— лениво сказал шофер, опять зевнул, хлопнул дверцей и уехал.

— Зачем вы вмешиваетесь,— раздраженно крикнул Анатолий,— я еле поймал такси, ищите теперь себе сами такси.

— Идемте до угла,— сказала тетка, узнавшая Женю,— мы там найдем такси без этого длинного идиота.

— А ты еще обвиняешь Веру,— сказала толстая тетка,— я удивляюсь, как она жила с ним два года.

— Тихо, тихо,— сказала молчавшая до этого третья тетка,— не надо ругаться.

Они пошли гуськом вниз по переулку.

— А мы на пляж,— сказала Женя и тронула Анатолия за локоть.

— Терпеть не могу! — крикнул Анатолий и сплюнул.— Думаешь, они мало про Веру сплетен пустили?.. Как приеду к ним — так начинают.

— И спасибо им,— сказала Женя,— а то прожил бы до смерти с глупой уродиной.

Они тоже пошли вниз по переулку, дошли до угла и увидели двух теток, которые быстро ходили вдоль кромки тротуара и смотрели на середину мостовой, где среди потока автомашин металась толстая тетка.

— Стой на месте,— кричала тетка, узнавшая Женю.— Стой неподвижно.

А молчаливая тетка то сбегала на мостовую, то возвращалась назад. Анатолий побежал к толстой тетке, увел ее с мостовой, усадил на скамейку и сказал поспешно:

— Я пойду на стоянку за такси.

От солнца все вокруг было ярко-белым — мостовая и стены домов, и Женя вдруг почувствовала озноб. Подъехал «ЗИЛ», Анатолий сидел рядом с шофером, он выглянул и помахал рукой. Тетки затрусили к машине и начали неумело дергать дверцу.

— Значит, на кладбище,— сказал шофер, перегнулся и открыл дверцу изнутри.

Тетки торопливо полезли на сиденье, а для Жени шофер открыл дверцу с противоположной стороны и почему-то улыбнулся.

Такси подолгу стояло на перекрестках, пока боковыми переулками не выехало на загородное шоссе. На развилке, где от шоссе к кладбищу поворачивала грунтовая дорога, такси здорово тряхнуло. Какой-то мужчина, наверно пьяный, чуть не попал под колеса. Тетки все одновременно вскрикнули, а шофер открыл дверцу, вышел, схватил мужчину за грудь и толкнул так, что тот упал.

Потом шофер сел за баранку, вынул сигарету, закурил и нажал стартер. В это мгновение опять появился мужчина, приоткрыл дверцу и щелкнул шофера в лоб. Женя увидела, как затылок и уши шофера стали красными, он навалился на дверцу изнутри, а мужчина прижимал ее снаружи. Мужчина был в бело-чесучовом пиджаке, а в руке он держал почему-то амперметр. Шофер тяжело дышал, он никак не мог открыть дверцу, и тетки тоже тяжело дышали и делали незаметно Анатолию знаки, чтобы он не вмешивался. Вдруг мужчина резко приоткрыл дверцу, щелкнул шофера в лоб и снова прижал дверцу снаружи. Он проделал этот номер несколько раз, и бычий затылок шофера стал совсем темно-буряковым.

— Ну-ка пусти,— сказал шофер Анатолию,— пусти, я с твоей стороны вылезу.

— Толя, не вмешивайся,— крикнула толстая тетка.

— Ладно вам,— раздраженно сказал Анатолий и открыл дверцу.

Когда они с шофером вылезли, мужчины уже не было, его подобрал проехавший мимо «Москвич».

— Пьяная образина,— сказал Анатолий.

— Ничего, я его запомню,— сказал шофер, втянул носом мокроту, харкнул под ноги, сел в такси и так рванул с места, что тетки все навалились на Женю и испуганно задышали ей в лицо.

Кладбище, куда они приехали, было совсем лишено зелени, и памятники напоминали какие-то выросшие в пустыне растения. У ворот кладбища стояло много такси, и несколько парней, очевидно шоферов, играли под кладбищенским забором в карты.

— Господи, что делается,— вздохнула толстая тетка,— сколько новых могил, в прошлом году этот кусок был совсем свободен.

Они пошли по аллее в глубь кладбища, а Женя шла последней и думала — как долго она ждала этого воскресенья и как все глупо получилось. У Жени пересохло во рту, к тому же терла пятку левая сандалета, и она едва поспевала за тетками, которые резво шли по аллее, потом свернули в сторону и остановились у ограды вокруг серой дешевой плиты. Неподалеку высился красивый обелиск черного мрамора с золотыми буквами и литой чугунной решеткой. Вокруг обелиска росли кустики белых роз, а перед чугунной решеткой была аккуратная скамейка. На скамейке сидела семья: упитанный мужчина, худенькая женщина, два подростка в клетчатых рубашках и маленькая девочка с бантом. Мужчина снял туфли и сидел в одних носках. Женщина вынула из сумки термос, отвинтила крышку и дала напиться сначала упитанному мужчине, потом девочке, потом подросткам, потом выпила сама.

— Надо было тоже взять термос лимонада,— сказала толстая тетка и провела языком по губам.

— Надо было,— раздраженно сказала тетка, узнавшая Женю,— а сбить скамейку, чтоб как у людей — это не надо было? А посмотрите, какая решетка,— она пошатала решетку,— стыдно перед посторонними. И внук — слесарь...

— Неужели бабушка не заслужила решетку на могилу? — сказала толстая тетка дрогнувшим голосом.

— Я исправлю,— ответил Анатолий и поморщился.

Тетки выстроились в шеренгу, Анатолий стал за последней молчаливой теткой, а Женя тоже пристроилась на левом фланге. У всех теток одинаково дрожали подбородки, по щекам текли слезы, и Женя опустила глаза на землю, на могильную плиту и начала опять думать, как долго она ждала этого воскресенья и какое оно неудачное. От этих мыслей ей стало очень грустно, сдавило грудь и глаза ее стали теплыми и влажными. Она подняла голову, посмотрела на теток, на Анатолия, который скорбно посапывал носом, и неожиданно почувствовала, что у нее сам по себе начинает растягиваться рот, и чтоб остановить, скорбно сжать свой рот, она быстро начала думать, что ей уже семнадцать, что никто ее не любит, что папа у нее неродной, а мама не захотела взять ее с собой в Крым. Однако вопреки всем этим мыслям из груди ее вырвался какой-то звонкий жеребячий звук, она стиснула зубы и даже застонала.

«Надо думать про грустное,— повторяла про себя Женя,— надо думать только про грустное».

И вдруг вспомнила мужчину, которого увидела дня три назад на улице, тонкого и патлатого, похожего на малярную кисть... Потом шофера такси, которому надавал щелчков пьяный.

Тетки всхлипывали, толстая тетка рыдала навзрыд, и Женя попыталась представить себе старушку, лежавшую под этой плитой. И действительно вспомнила эту маленькую старушку, которая когда-то жила в их дворе. Летом старушка часами сидела перед домом на табурете, нога у нее была вывернутая, хромая, и однажды, когда во двор вбежала собака, старушка кинула в нее своей палкой. Женя осторожно повернулась и пошла к аллее. У нее болели щеки, живот и грудь, а по лицу текли слезы. Она шла по аллее, и люди сочувственно смотрели на ее вздрагивающие плечи. Потом она свернула на боковую тропинку, прижала ладони к лицу и начала хохотать. Она давно уже так не смеялась, ее просто наизнанку выворачивало от смеха. Когда она ненадолго замолкала, чтоб перевести дыхание, то чувствовала испуг и пыталась о чем-то думать, но потом ее вновь начинало шатать от смеха. Она увидела широкую плиту, под которой лежали какие-то супруги Прежбяно, и подумала: «Двуспальная плита, тут уж не заведешь любовника...» — и представила, как эти Прежбяно раздевались. Прежбяниха сидела в ночной рубашке, а Прежбяно вынимал зубы и клал их в стакан. Все это опять ее развеселило, она даже начала повизгивать, хваталась рукой за живот. По главной аллее кладбища медленно ехал похоронный автобус, наверно привезли нового покойника, и Женя ушла еще дальше в глубь кладбища. Здесь было не так жарко и росло несколько одичавших яблонь. Какой-то босой мальчишка соскочил с яблони, яблоки перекатывались у него спереди, под майкой.

— А ну делись! — весело крикнула Женя.

Мальчишка посмотрел на нее, полез за пазуху и кинул Жене зеленое яблоко. Женя поймала яблоко на лету, надкусила, оно было теплым и терпким, и хотя ей здорово хотелось пить, она его выбросила. Затем она раздвинула кусты, шагнула в сторону и вдруг остановилась, едва не налетев на чью-то спину. Человек тихо сидел у могильного холмика. Возможно, он даже спал, уткнув голову в колени. На нем был белый чесучовый пиджак, а рядом с ним лежал амперметр. И Женя тоже стояла тихо, боясь дышать, но человек все-таки почувствовал ее и поднял голову. У него было совсем другое, чем на шоссе, лицо, щеки и лоб зеленоватые. Такие лица бывают у людей в сумерки, а между тем вокруг был ярко-белый от солнца день. Они смотрели друг на друга, может, минуту, а может, и больше. Белки глаз у человека были розовые, с красными прожилками. Потом Женя рванулась, побежала по тропинке и только на аллее остановилась, тяжело дыша. Она увидела Анатолия и теток. Анатолий подошел к ней и сказал вполголоса:

— Я думал, ты обиделась и ушла. Дьявол их сегодня принес,— и посмотрел в сторону теток.

— От пота у меня чешется голова,— сказала толстая тетка,— приеду домой — выкупаюсь.

— Как вам понравился тот свет? — спросила у Жени молчаливая тетка.

Женя неопределенно пожала плечами.

— Тебе еще сюда не скоро,— сказала толстая тетка. И все три тетки рассмеялись.

Тетки уехали на такси, а Анатолий и Женя пошли через поле до трамвайной остановки. Трава вокруг была выгоревшая, сухая и пыльная. Они пришли к остановке, сели в трамвай и долго тряслись мимо окраин, а потом пересели в раскаленный троллейбус. Всю дорогу Женя молчала. Тело было липким, чесалось. Когда они вышли из троллейбуса, улица по-прежнему была очень светлой и пустой, лишь на противоположной теневой стороне шло несколько сонных фигур, а перед домом Анатолия стояла старушка в панамке. В руке старушка держала авоську, на дне которой были книги, а сверху два батона.

— Гуль, гуль, гуленьки,— пела старушка, щипала батон и кормила снующих перед ней по загаженному тротуару голубей. Увидав Анатолия, она поздоровалась с ним и сказала:

— Сегодня тридцать пять градусов. В старое время против засухи пускали крестный ход.

Анатолий и Женя постояли из вежливости, послушали старушку и вошли в подъезд.

— Она немножко ненормальная,— сказал Анатолий.

В подъезде с синими и белыми плитками тянуло приятным холодком, и на какое-то мгновение Жене вдруг сжало виски и кольнуло где-то повыше затылка. Анатолий был уже на лестничной площадке, отпирал дверь.

— Ты почему отстаешь, хозяйка? — спросил он.

В комнате, как и раньше, было душно, на столе стояли остатки завтрака, а на абажуре висели полурастаявшие липучки-мухоловы.

— Я помою пол,— сказала Женя.

— Чего это тебе взбрело,— удивился Анатолий.— Сейчас мы будем жрать.

— А потом я помою пол,— повторила Женя. Она несколько раз мысленно повторила: «Я помою пол, я помою здесь пол» — и представила, как передвигает всю мебель. Буфет она поставит левее, а в углу столик с телевизором или они купят торшер.

— Вот колбаса и всякая другая дребедень,— сказал Анатолий и открыл холодильник,— чтоб не возиться с кастрюлями, по-студенчески, всухомятку.

— Нет, колбасу надо поджарить,— строго сказала Женя,— а ты помой руки.

Анатолий посмотрел на нее, улыбнулся и пошел мыть руки. Женя покопалась в холодильнике, нашла там масло, несколько яиц и все это выложила на тарелку. Она поджарила колбасу, вылила на нее яйца, внесла шипящую сковородку и разложила еду по тарелкам, Анатолию побольше — как мужчине. После еды она сказала: «Я хочу переодеться, у тебя нет чего-нибудь старого? И принеси ведро воды».

Анатолий открыл шкаф, он был полупустой, висело несколько пиджаков и пальто, завернутое в простыню. Потом нагнулся и выковырял из-под шкафа женские комнатные туфли. Туфли были оторочены мехом и левый спереди протерся, а сзади туфли торчали и шлепали.

— Я сейчас принесу тебе передник,— сказал Анатолий и ушел на кухню. Он долго не появлялся, Жене надоело ждать, она тоже пошла на кухню и увидела, что Анатолий стоит, привалившись к стене, и держит в руках клеенчатый передник.

— Ты чего? — спросила Женя.

Анатолий отдал ей передник, она примерила, передник был ей велик — гораздо ниже колен.

— Не надо мыть пол,— сказал Анатолий,— лучше мы выпьем вина, у меня есть бутылка вина.

Он взял ее за руку, повел в комнату и вынул из холодильника бутылку армянского портвейна.

— Мы будем пить из одной кружки,— сказал Анатолий и налил желтоватое вино в кружку. Вино было холодным и чуть-чуть горьковатым. Они пили его глотками попеременно и закусывали мармеладом прямо из кулька.

— Не надо меня обнимать,— сказала Женя.— Сейчас ведь день.

— Сейчас ночь,— сказал Анатолий, подошел к окну и опустил шторы. В комнате потемнело, и лоб и щеки у Анатолия стали зеленоватыми.

— Ты помнишь того, с амперметром? — спросила Женя.

— Я ничего не помню,— сказал Анатолий и снова попытался ее обнять. Она выскользнула из его объятий и полезла под стол. Анатолий встал, заглянул под стол, махнул рукой, пошел и лег на кровать в туфлях.

Когда Женя вылезла из-под стола, он уже похрапывал. Женя опять начала мысленно передвигать мебель. Она наведет здесь порядок. Буфет левее, вместо буфета телевизор или новый торшер... А всякий хлам — вон, всякие растоптанные тапочки. Она стряхнула с себя чужие туфли, бросила под ноги клеенчатый передник и прыгнула на кровать. Анатолий заворчал и повернулся к ней спиной, тогда она опрокинула его, схватила руками его уши и начала трепать, приговаривая: «Вот не дам тебе спать, вот не будешь спать», пока он не приоткрыл набрякшие веки.

— Ну немножко... ну полчасика,— сказал Анатолий и зевнул.

— Нет,— засмеялась Женя,— нет, нет и нет.— Она уперлась ему в грудь коленями, а руками прижала его руки к подушке и, стиснув зубы, сказала: — Ох, если б у меня был муж, я б его замучила.

— Ладно,— сказал Анатолий, приподнялся и схватил ее.

Женя сразу тревожно задышала и начала его отталкивать.

— Не надо,— сказала она,— я не хочу. Я хочу остаться девушкой. Сегодня я хочу остаться девушкой...

Но он прижимал все крепче, и тогда она щелкнула его в лоб, как пьяный на шоссе шофера такси.

— Пусти,— сказала она,— мне нехорошо. Я выйду.

— Налево по коридору,— сказал Анатолий, выпуская ее.

Когда Женя вернулась, Анатолий уже спал, сняв туфли и рубашку. Она прикрыла его одеялом, а сама легла рядом поверх одеяла, улыбнулась и обняла его. Анатолий заворочался, вынул из-под одеяла одну руку и просунул ладонь Жене под голову.

— Вот и все в порядке,— тихо сказала Женя и потерлась щекой о жесткую ладонь.— Я раньше думала: как это лежат в объятиях у мужчины? Очень просто и ничего особенного.

Она заснула и спала вначале крепко и спокойно, а потом вдруг что-то дернуло ее, она спросонья протянула руку и ощутила пустое пространство. У нее закружилась голова и кружилась до тех пор, пока она не протянула руку дальше и не наткнулась на твердую стену. Тогда она быстро повернулась на спину, посмотрела в незнакомый потолок, одернула задравшийся подол сарафана и начала испуганно ощупывать свои колени, провела ладонью по горлу и груди. В комнате было пусто и тихо, шторы опущены.

— Толя,— позвала Женя, и поскольку он не откликался, Женя вскочила и босиком побежала в коридор.

Анатолий брился на кухне. Щеки его были густо намылены и, когда он повернул к ней голову, лицо его показалось Жене совсем чужим.

— Ты давно встал? — спросила она.

— Давно,— ответил Анатолий.

— А я спала? — спросила она.

— А ты спала,— ответил Анатолий.

— И ты не подходил ко мне? — с тревогой в голосе спросила Женя.

— Подходил,— сказал Анатолий и улыбнулся.

— Почему ты улыбаешься? — сердито сказала Женя.— Я спрашиваю серьезно.

— Можешь не волноваться,— ответил Анатолий.— Сегодня ты осталась девушкой. Тебе повезло, ты переспала с мужчиной и осталась девушкой. Так что мама ругать не будет.

— Дурачок,— Женя потрепала его волосы.— Ты б на моем месте помер со страха.

— Гарантия — помер бы,— сказал Анатолий.

Женя вошла в комнату и приподняла шторы. Улица ничуть не потускнела, хоть было уже семь часов. Казалось, солнце сегодня с утра до вечера стоит на небе неподвижно. Она опять пошла на кухню, лицо у Анатолия теперь было гладким, чисто выбритым. Она посмотрела, как он выжимает из тюбика на палец белую колбаску крема, и спросила:

— Толя, ты хочешь познакомиться с моими родителями?

Анатолий начал растирать крем по лицу, сначала он осторожно, двумя пальцами, натирал под глазами, потом начал массировать подбородок, а потом крепко похлопал по скулам.

— Конечно,— сказал он,— конечно, мы познакомимся. А сейчас мы поедем на пляж, ты собирайся.

Он следил за ней краем глаза. Лицо у нее было довольно красивое, но если смотреть чуть-чуть сзади на профиль, то видно, что уши слишком торчат и к тому же возле левого уха — маленький припудренный прыщик.

— Я готова,— сказала Женя, застегивая сандалеты.— Ты поторапливайся. Чего ты сидишь перед зеркалом?

«А она ведь дура,— подумал Анатолий,— ну конечно, дура, конечно, дуреха». Он несколько раз повторил про себя: «Дура, дура, дуреха, хорошо, что у меня с ней ничего не произошло, я был немного пьян, но все кончилось благополучно». Он встал, прошел в комнату, хотел с досады включить радио, но по рассеянности включил свет.

— Зачем? — спросила Женя.

Он ничего не ответил, опять пошел на кухню, открыл кран и морщась принялся ловить губами теплую желтоватую струю. Женя пошла в комнату, потушила свет и вернулась на кухню.

— О чем ты сейчас думаешь? — спросила она.

Анатолия начало мутить от теплой гнилой воды, но отвечать ему не хотелось и он пил эту воду, набирая ее в рот и медленно проглатывая маленькими порциями.

— Недаром рассказывают, что после этого не о чем говорить,— сказала Женя.

Анатолий выплюнул воду в раковину, вытер губы и спросил:

— После чего — этого? Что было? Ничего не было!

Он заправил в брюки концы рубашки, взял пакетик и сказал:

— Пошли.

Они вышли из прохладного подъезда на солнцепек, и Женю вновь укололо где-то повыше затылка, а Анатолия еще сильнее начало подташнивать, и в желудке у него тяжело перекатывалась вода.

— Я пойду за подругой,— сказала вдруг Женя.

— Давай, давай,— сказал Анатолий,— доберемся на пляж в понедельник вечером.

— Особенно если ехать на пляж через кладбище,— сказала Женя.

Они посмотрели друг на друга и остановились. Подъехал и начал медленно разворачиваться грузовик с цистерной кваса на прицепе. Люди со всех сторон побежали к этой цистерне.

— Твоя подруга далеко живет? — спросил Анатолий.

— Рядом,— ответила Женя.— Случайное совпадение... Когда я шла к ней в гости, всегда встречала твою жену.

В животе у Анатолия бурлило и побаливало. «Черт меня дернул пить после жирной колбасы воду»,— с досадой подумал он и сказал:

— Я жду тебя десять минут.

— Договорились! — крикнула Женя.

Анатолий посмотрел ей вслед. Сводчатый проход, в котором она исчезла, напоминал открытую пасть.

Обычно на звонок начинала внутри квартиры лаять собачка, но на этот раз было тихо, и открыла дверь не домработница, а сама Лариса.

— Я тебе звонила,— сказала Лариса.— Я одна. Мама с Тобиком на даче, а Полина поехала в свою деревню.

На Ларисе были короткие бархатные брючки, кеды и белая спортивная майка с буревестником.

— Что ты делаешь? — спросила Женя, проходя в комнату.

— Скучаю,— сказала Лариса,— никакого разнообразия. Сегодня ко мне на улице опять подошел незнакомый мужчина.

На полубуфете стояли часы. Они были отделаны разноцветным плексигласом, а сверху на их крышке скакал на ослике какой-то гном.

— Символ,— сказала Лариса,— «время бежит, время катится, кто не любит и не пьет — после схватится».— И рассмеялась.— У меня был знакомый мальчишка,— сказала она,— немного приблатненный.

— Ты идешь на пляж? — торопливо спросила Женя.

— Я была утром,— ответила Лариса.— Скука, сплошные знакомые рожи.

— Тогда я побежала.— Женя быстро пошла к дверям.

— Подожди,— окликнула ее Лариса,— я пойду. Утром там всегда слюнявые мальчишки, а к вечеру появляются мужчины.— Она ушла в другую комнату.

— Быстрей! — крикнула Женя и нервно прошлась по комнате. «Уже восемь минут, а Толя такой принципиальный»,— подумала она и выглянула в окно, хоть знала, что окно это во двор, а не на улицу.

— Быстрей,— крикнула Женя,— чего ты возишься?

Лариса появилась в одной босоножке, вторую она надевала на ходу.

— Ты взбесилась? — спросила она Женю.— Или вспомнила про свидание?

На Ларисе был легкий ситцевый сарафан гораздо выше колен, ноги у нее были крепкие, загорелые, а в руке она держала прозрачный целлофановый мешочек с купальником и цветным полотенцем. Женя вдруг села на тахту, сердце у нее колотилось, но она все-таки села и взяла в руки какой-то журнал.

— Чего ж ты уселась? — спросила Лариса.— Ты ненормальная? Конечно, ты ненормальная!

Журнал был напечатан по плотной меловой бумаге, от него исходил дорогой, исполненный комфорта запах.

— Это знакомые привезли из туристской поездки,— сказала Лариса.— Там издают много русских журналов.

Она тоже уселась рядом с Женей и заглянула в журнал. «Каким образом можно получить красивую грудь?» — было набрано крупным шрифтом. Шрифтом помельче этот вопрос разъяснялся: «Красивая грудь, гармонически развитая, составляет драгоценное украшение женщины. Те, которым в этом отношении природа не благоприятствовала, могут улучшить свою фигуру с помощью пилюль „Марбор"».

— Дальше не читай,— сказала Лариса и начала похохатывать.— Дальше — глупости.

Дальше крупным шрифтом было набрано: «Запоры» — и помельче: «Каждые два или три дня одна пилюля «альс» во время обеда и вечером регулирует желудок».

Гномик скакал и скакал на осле, однако сама Женя сидела неподвижно и внимательно читала о грыже: «Все, страдающие грыжей, должны приобрести новое издание книги парижского специалиста Клавери».

— Здесь про половые болезни есть,— смеясь, сказала Лариса и перелистала несколько страниц.

Но Женя вдруг отбросила журнал и побежала к дверям.

— Чтоб мне пропасть, я сейчас вызову «скорую помощь»,— сказала Лариса.— Подожди, буйнопомешанная! Анекдот, ей-богу, я ведь тоже на пляж.

Она догнала ее в конце последнего лестничного марша.

— Ты куда? — испуганно спросила она Женю.— Что с тобой? — И взяла за руку.

Женя глянула на нее и молча выдернула руку. Она бегом пересекла двор и исчезла в сводчатом проходе. Когда Лариса вышла на улицу, Женя стояла у края тротуара и смотрела по сторонам.

— Все,— сказала Женя и положила подруге голову на плечо,— все, его нету!

— Кого? — спросила Лариса.— Ты сегодня какая-то странная.

Рот у Ларисы был маленький, красный, и от него пахло карамелью.

— Вот идет красивый мужчина,— сказал этот красный рот.— Валька от него без ума.

Анатолий остановился у цистерны яблочного кваса, постоял немного и пошел дальше.

— Он нас заметил? — быстро спросила Женя и побежала назад в сводчатый проход. Она втянула удивленную Ларису за каменный выступ и снова спросила: — Он заметил?

— А вы играете в прятки? — спросила Лариса.

— Я его люблю,— вдруг просто сказала Женя и глубоко вздохнула.— Я всю ночь мечтала — если б он погиб из-за меня на дуэли, я б никогда не вышла замуж. До самого гроба.

— Дурочка,— сказала Лариса и вынула носовой платок.— Дурочка, приведи себя в порядок.

Они покинули убежище и подошли к Анатолию.

— Я немного задержалась,— сказала Женя.— Познакомься с моей подругой.

Лариса подала руку небрежно, как для поцелуя, с опущенными книзу пальцами и расслабленными в кисти.

— У тебя седой волос,— сказала она, сразу переходя на ты.— На висках это красиво, а на затылке это портит... Дай я выдерну.

— Не надо,— сказал Анатолий.— Меня не испортит, я ведь уже старый.

— А знаешь, я молодых не очень люблю,— сказала Лариса.— У меня муж был молодой.

— Сколько ж тебе лет? — спросил Анатолий.

— Девятнадцать,— сказала Лариса.— Он был на год моложе. Ты почему смеешься? У него ужасные родители. И к тому же он мне изменял.

— Пойдемте быстрее,— сказала Женя,— уже некогда загорать.

Было по-прежнему жарко, но день слегка пожелтел, и тени выползли с тротуара на мостовую.

— Двинем пешком,— сказала Женя,— я за день напарилась в троллейбусе.

Они вышли на центральную улицу и окунулись в толпу, у всех были одинаковые устало-полуоткрытые рты, а у мужчин расстегнутые рубашки. К пляжу надо было спускаться по асфальтированной дорожке через городской сад, изрезанный оврагами. Навстречу, тяжело волоча ноги, поднимались люди, и всюду торчали таблички «по склонам не ходить», а внизу слышалась музыка. Пляж находился на острове, и между набережной и островом недавно был выстроен пешеходный мост. Женя посмотрела сверху на далекую воду, на пестрый пляж и почувствовала себя легкой и слабой.

— Ты чего? — тревожно спросила Лариса.

Голос ее был далеким и тихим.

— Она сегодня нажарилась,— сказал Анатолий и вытер Жене мокрый лоб платком.— Я сейчас отвезу тебя домой на такси.

— Не надо,— сказала Женя,— какие глупости. Сейчас мы будем купаться и загорать.

Ноги ее еще слегка пружинили, но она побежала по мосту и за мостом спустилась не по лестнице, а по бетонированному откосу.

Вдоль выложенной каменными плитами дорожки стояли автоматы, продающие газводу, соки и бутерброды, а за ними несколько пивных киосков и лотков с мороженым. Анатолий попытался пробиться к автоматам, но всюду толпились полуголые люди и к тому же не хватало стаканов.

— Не надо,— сказала Женя,— лучше быстрей разденемся и ляпнемся в воду.

Они пошли дальше, до пивных киосков, и здесь Анатолий снова остановился и посмотрел на запотевшие бокалы, которые держали в руках счастливцы. Один из этих счастливцев подошел к Анатолию.

— Пойдем,— сказал счастливец.

— Ты меня? — не понял Анатолий.

— Пойдем, пойдем,— сказал счастливец и шагнул за пивной киоск в кусты.

Он был покрыт ровным красивым загаром, на нем были нейлоновые плавки, а на шее висели на золотистой цепочке миниатюрные боксерские перчатки. Анатолий ничего не понял, но почему-то шагнул к кустам. Загорелый шел впереди и все время кивал ему головой. Они вошли в заросли, где стояло много пивных бочек, а на одной из бочек сидел другой парень, тоже загорелый, и держал на коленях какой-то сверток.

— Надо? — спросил парень в нейлоновых плавках и развернул сверток. Там было несколько пар полосатых носков и пестрая поношенная рубашка.

— Не надо,— сказал Анатолий и усмехнулся.

— Не надо? — искренне удивился парень, сидящий на бочке. А парень в нейлоновых плавках плюнул с досады и сказал:

— Нарвался на охламона из бригады коммунистического труда.

Сердце у Анатолия застучало медленно и сильно.

— Я тебе сейчас наверну,— сказал он.— Дам по рылу, одна цепочка останется.

— Ты это не сделаешь,— сказал парень в плавках.

— Почему? — спросил Анатолий.

— Тебя будут бить до самого утра. Хочешь, чтоб тебя били до утра? — У него была обросшая кудрявым волосом грудь и довольно рельефные мышцы. И у сидящего на бочке парня тоже были неплохие мышцы и плечи.

Анатолий прислушался к далекому шуму пляжа и почувствовал, как в животе у него неприятно заурчало. Он подумал: «Глупо так. Когда меня били в последний раз? Уж не помню, когда это было. Отвык».

— Ладно,— сказал сидящий на бочке своему партнеру,— пошли, еще стукачи наскочут.

— Ах ты гумозник,— сказал Анатолию парень в нейлоновых плавках и замахнулся.

«Если он ударит, придется драться. А может, ударить первым... ногой по нейлоновым плавкам?»

— Пойдем,— сказал парень, сидящий на бочке. Встал и взял партнера за руку.

Парень в плавках посмотрел на Анатолия, еще раз сплюнул, и они скрылись в кустах.

Когда Анатолий выбрался из зарослей и увидел веселые лица, услышал смех, ему стало так досадно и нехорошо, что он прикрыл ладонью лицо и крепко сжал пальцы; под большим и указательным мягко бился под кожей пульс.

— Что с тобой? — спросила Женя.

И тогда он вспомнил о ней, опустил ладонь и посмотрел на нее. После нескольких секунд темноты свет больно резал глаза, лицо ее расплывалось, и он подумал: «Навязалась с самого утра, из-за нее весь день пошел под откос... Какой глупый выходной!»

— Вы сошлись характерами,— рассмеялась Лариса.— Падаете в обморок по графику.

«И подруга у нее дура,— с неожиданной, пугающей его самого злобой, подумал Анатолий.— Навязались две дуры, что с ними делать?»

Он повернулся и быстро пошел к пляжу, сошел с выложенной плитами дорожки и в туфлях заковылял по горячему песку.

— Сначала он мне понравился,— сказала Лариса,— а теперь я вижу — это не мужчина. Мужчина должен быть веселый, а у него какие-то переживания. Зачем тебе в твои семнадцать лет переживания?

— Ты ничего не понимаешь,— тихо сказала Женя.— Ты такая же глупая, как и я. Обе мы с тобой глупые, глупые.

— Ты не глупая,— сказала Лариса,— ты ненормальная. Ты знаешь, что такое мужчина? Я уже давно люблю только незнакомых мужчин.

Женя тоже сошла с дорожки и заковыляла по горячему песку.

— Бежишь за ним, как собачка,— сердито говорила Лариса. Она сняла босоножки и шла по песку босиком.— Посмотри на него — ему ведь сто лет, у него же спина кривая.

Анатолий подошел к каким-то ребятам — очевидно, они окликнули его. Присел рядом.

— А мы пойдем под двенадцатый грибок,— сказала Лариса,— там всегда знакомая шарашка.

Но Женя все шла и шла, не оглядываясь на Ларису и не слушая ее. Она остановилась в нескольких шагах от Анатолия и тоже присела на песок.

Ребят было трое, и когда Анатолий снял рубашку, то оказался среди них самым незагорелым. Блондин с красивой спортивной фигурой, лежа на спине, грыз неспелую грушу. Рядом сидел костлявый, уже немолодой парень, грудь у него была впалая, плохо развитая, а кисти рук тяжелые и большие. Третий был бритоголовый мальчишка, он что-то втолковывал Анатолию, жестикулировал.

Женя подошла еще ближе, стащила сарафан и поправила узенькие трусики. Мальчишка глянул на нее, верхние зубы у него были металлические, и рот поблескивал, как лезвие ножа.

— Хотите к нам, мамочки? — спросил мальчишка.

— Это со мной,— сказал Анатолий.

У Жени были хорошие ноги, а черные трусики крепко обтягивали бедра.

«Я свинья,— подумал Анатолий,— как я нравлюсь этой красивой молоденькой девочке, такая свинья?»

Он встал, подошел к Жене, положил руку ей на плечо и сказал:

— Пойдем окунемся.

Женя послушно пошла с ним рядом. Она подняла ресницы, посмотрела Анатолию в лицо, и он вдруг чего-то испугался, побежал к воде, потащил за собой Женю и шумно окунул ее несколько раз. Женя вынырнула, смеясь, хлопнула ладонью по воде так, что брызги полетели на Анатолия, и поплыла, загребая одной рукой.

Они выбрались из прибрежной полосы, где вода была желтой, взбаламученной, и поплыли к середине — к бакенам между островом и набережной. Анатолий нагнал ее, схватил под водой, провел пальцами вдоль скользкого тела.

— Не надо,— сказала Женя тихим сдавленным голосом,— просто обними меня. Мне сейчас так хорошо.

Перед ними покачивалась набережная с трамваями, с зелеными обрывистыми склонами, а за спиной шумел пляж, и Жене захотелось вытянуть ноги, закрыть глаза и долго лежать так на воде.

Анатолий тоже молчал, лицо у него сейчас было обмякшим, усталым, и когда Женя прикоснулась мокрой ладонью к его волосам, он повернул к ней голову и как-то беспомощно улыбнулся.

Появился спасательный катер, и оттуда закричали в мегафон, чтобы они плыли к пляжу.

— Я тебя возьму на буксир.

Женя легла на спину, а Анатолий поплыл, придерживая ее снизу.

Когда они подошли к ребятам, бритоголовый мальчишка спросил у Анатолия:

— Как успехи, министр Чмо? — И блеснул своей металлической улыбкой, а Жене он протянул руку и сказал: — Дядя Юра.— И добавил: — Почему у вас подруга такая стеснительная?

Лариса по-прежнему сидела в стороне, не раздеваясь. Женя забыла о ней. Женя вообще обо всем забыла. Она только теперь как бы проснулась, увидела пляж, коричневые тела и Ларису, одиноко сидящую на песке. Она быстро подошла к ней, поцеловала и сказала шепотом:

— Не надо дуться, Ларочка. Я глупая и паршивая, но мне сейчас так хорошо.

— Кто этот блондин с красивой фигурой? — спросила Лариса.

Девушки подошли, и блондин с красивой фигурой, не вставая и глядя в другую сторону, поднял руку и щелкнул пальцами, а костлявый едва заметно кивнул.

— Ох и охота мне дать какому-нибудь стиляге по организму,— сказал Юрка и зевнул сладко и мечтательно.

— Вы блатной? — серьезно спросила Лариса.

— Он голодный,— отозвался блондин.

— Тебя Иван искал,— сказал костлявый Анатолию.— Он к тебе утром домой заезжал.

— Зачем? — спросил Анатолий.

— Не знаю,— ответил костлявый.— Наверное, дело есть. Пойдем в тенек, там наши заводские.

Ребята поднялись и начали собирать вещи.

— Куда это вы? — спросила Лариса.

— Пойдем в тень,— сказала Женя.

Лариса сняла сарафан, сложила его в целлофановый мешочек, придвинула ногой босоножки и легла поудобней, лицом к низкому вечернему солнцу.

— Ты остаешься? — спросила Женя.

Лариса приподнялась на локте, посмотрела вслед Анатолию и сказала:

— Иди, иди, догоняй...

«Какая Лариска все-таки противная,— подумала Женя.— Еще подруга называется! А может, она ревнует? Ну, ясное дело — Толька у меня красавчик. Она сама говорила, что он красивый мужчина. Насчет кривой спины — это она от ревности. Пусть посмотрит на своих мальчиков. Муж у нее был... Господи, муж!.. Гришка-пачкун. В пионерском лагере его специально поднимал дежурный, чтоб он не пачкал постель». Женя улыбнулась, догнала Анатолия и вдруг спросила:

— Толя, ты когда первый раз целовался?

Анатолий оглянулся на нее и ничего не ответил.

— А меня первый раз в четырнадцать лет поцеловали,— сказала Женя и улыбнулась.— Парень возле нас жил, сосед. Он меня под Новый год встретил в подъезде и спрашивает: «Знаешь, как мужчины женщин с праздником поздравляют?» — и поцеловал. Я вернулась домой, хожу по комнатам и плачу... А потом как он меня целовал, ох как он меня целовал...

— Ты что? — сказал Анатолий и остановился.— Что это ты завелась?

— Ты не ревнуй,— сказала Женя и рассмеялась.— Он мне надоел через два дня, я его прогнала. Он был тупой, как чурбан. И противный. Книжки мне давал старорежимные, там про мужчин и женщин разные глупости красным карандашом подчеркнуты. А потом я увидела тебя. Я тебя с четырнадцати лет полюбила, с шестого класса.

За полосой пляжа был парк, где под кустами кидались в картишки или просто лежали, отдыхая от зноя, а на полянах играли в волейбол.

— Эй вы, брамапутры,— крикнул кто-то сзади. И из-под куста появился парень в майке-тельняшке и в длинных трусах.— Рубильник передавал — в бригаде заказ срочный.

— Срочный,— сердито сказал блондин.— Двери для клозетов в самолеты.

— Чем ты недоволен, кошечка? — ухмыльнулся парень в тельняшке.

— Пошел ты...— дернулся блондин, посмотрел на Женю и добавил: — Вокруг Китая босиком.

— Где Иван? — спросил костлявый.

— Пиво пьет,— сказал парень в тельняшке.

Он оглянулся на Анатолия:

— Привет, министр Чмо,— сказал он.— Пошли, пошли. Иван тебя сегодня по всему городу ищет.

— Посиди, я сейчас,— сказал Анатолий и пошел вслед за парнем в тельняшке.

Женя начала смотреть Анатолию в спину. Он должен был почувствовать ее взгляд и обернуться. Она загадала: если он обернется на счете до десяти, у них через год родится мальчик. Она считала медленно, делая передышки, и сердце ее колотилось, а уши и щеки стали горячими. Она досчитала до шестнадцати, но он так и не обернулся — скрылся в кустах, и тогда она шепотом сказала сама себе: «Дура, глупая дура, все это бабские сказки» — и присела на траву. «Как смешно они его зовут — министр Чмо. Почему министр? Наверно, они хорошие ребята, но когда Толя поступит в институт, у него появятся новые знакомые. Толя обязательно заочно поступит в институт. Его бывшей жене было наплевать — лишь бы он приносил зарплату, а у меня он пойдет учиться, мне нужен инженер».

Появился парень в тельняшке и о чем-то начал шептаться с ребятами, а потом начал рыться в куче одежды.

— Это мои брюки,— сказал блондин.— Его вон те, полосатые.

Парень собрал одежду Анатолия, мельком глянул на Женю, усмехнулся и пошел к кустам.

— Вы это зачем? — спросила Женя.

Парень опять мельком глянул на Женю и сказал ребятам:

— А Иван сейчас придет...

И тогда Женя вскочила и крикнула так громко, что испугалась собственного крика:

— Я сейчас пойду в пляжную милицию!

Парень в тельняшке и Юрка захохотали, блондин улыбнулся, а костлявый хмуро посмотрел и как-то странно хмыкнул.

— Надо бежать,— сказал парень в тельняшке,— а то еще арестуют.— И шагнул в кусты.

— Тебя разыгрывают, мамочка,— сказал Юрка и блеснул металлической улыбкой.— Все будет в порядке, не волнуйся, вон Иван идет. Сейчас Иван наведет здесь порядок.

— Охотно,— сказал Иван и присел рядом с ребятами.— Верка ж понт пустила, что уехала на Урал к матери. Она ж у Надьки жила все время. У Надьки из первого цеха. Двух хахалей завела. С одним утром гуляет, с другим вечером, а ночью ревет, как корова.

— И министр Чмо тоже завел себе пупочку,— сказал Юрка.

— Тихо, имей совесть,— сказал костлявый и посмотрел на Женю.

— Что у них за жизнь? — сказал Иван.— Что они за люди — не пойму. Чтоб меня моя законная так любила, как Верка его любит — больше ничего не надо. Что еще надо? Чтоб быть здоровым, чтоб хорошо зарабатывать, чтоб баба любила. Что же еще надо?

Иван сплюнул и ухмыльнулся.

— Я ему про Верку сказал, смотрю, стоит и трясется. А поживут, поживут — и опять начинается. Или кто-то путается между ними?

— Девушка,— сказал костлявый,— Толька уже сюда не вернется, он на электричку пошел.

— Привел девчонку и бросил,— пожал плечами блондин.— Тоже кусок оглобли.

— Он забыл про все на свете,— сказал Иван.— Смотрю, стоит и трясется.

Женя натянула сарафан и надела сандалеты. На левой ноге, там, где была воспаленная кожа, теперь вздулся волдырь, и она прижала его пальцем. Волдырь щемил и побаливал, но не очень, просто было неудобно ходить. В зарослях под ногами что-то трещало, по лицу скользила паутина, потом правая рука Жени наткнулась на клейкую гадость на листьях, а потом сразу обе ладони напоролись на колючий куст.

Женя выбралась из зарослей к пляжу, по-прежнему очень жаркому и пестрому, и пошла до конца длинной, косой и острой тени пляжной раздевалки, обходя загорающих.

— Я хочу вишен,— капризно сказала невидимая девушка за спиной.

И Женя представила себе эту девушку черноглазой и кудрявой, но не оглянулась на нее, а через пару шагов и вовсе о ней забыла. Чуть подальше бренчала гитара, и кто-то сказал:

— Пальцы у меня простуженные. Кровельщиком когда работал, простудил. Мне б такие пальцы, как у Мишки. Для гитары — это главное...

— А море осталось на даче? — спросил детский голос, и несколько человек рассмеялись.

— Он мне говорит — раздевайся,— сказал женский шепоток, но довольно громкий,— а я ему говорю: мне не жарко...

Женя посмотрела в сторону шепотка и увидела двух толстых, некрасивых и пожилых женщин, они сидели на дощатом помосте, опустив ноги в воду; оказывается, Женя пересекла пляж и стояла у самой воды, а острая тень пляжной раздевалки осталась далеко позади. У обеих женщин лица были густо намазаны желтоватым кремом, а животы провисали, и Женя с испугом подумала, что может заплакать прямо при этих женщинах, и торопливо пошла вдоль воды по направлению к мосту. Однако всюду купались, резвились, мелькали лица, слышался смех, и Женя начала уставать. У нее в изнеможении дрожали колени, словно под тяжестью, которую некуда сбросить. Наконец она увидела лодку, причаленную к берегу, и поняла, что все это время, с тех пор, как вышла из зарослей, искала пустую одинокую лодку.

— Хотите покататься? — спросил Женю сероглазый парень. Парень был симпатичный, хорошо загорелый, и шея его была красиво повязана шелковой цветной косынкой.

— Я немного сама, ладно? — сказала Женя.— Я немного сама покатаюсь.

Парень улыбнулся, у него была хорошая улыбка, помог Жене просунуть весла в уключины и оттолкнул лодку от берега.

— Только вы недолго,— сказал он.— Тут целая компания должна прийти.

Женя выгребла на середину, но все еще не могла заплакать, потому что вокруг сновало много лодок и по-прежнему был этот вечный, очень жаркий день. Она переехала тень моста, потом проехала под мостом, по которому текли навстречу друг другу два людских потока, проехала мимо ресторана «Поплавок», оживленного, со спасательными кругами вдоль открытой залы-палубы, и гребла до тех пор, пока вдали не показались портальные краны речного порта, а чуть в стороне от них — серые башни мукомольного комбината. Здесь она причалила к левому берегу, обрывистому и пустому, вылезла на мокрый песок, посмотрела на свои горячие ладони и начала карабкаться по обрыву, цепляясь за молодые деревца, дико растущие здесь вкривь и вкось.

— А как же лодка? — сказала вслух Женя, остановившись и присев передохнуть.— А как же парень?

Но все это осталось далеко внизу и не было уже никаких сил вернуться к лодке, тем более привезти лодку назад, к пляжу. Женя легла на спину. Лежать было неудобно, приходилось держаться за какие-то корни, за траву, чтоб не скатиться, и все же Женя немножко отдохнула, прикрыла глаза, а когда подняла веки, день продолжался, и она одиноко лежала под этим жарким днем, распростертая на обрыве. Стемнело сразу, впрочем, темнело постепенно, но Женя ощутила это сразу, после того, как от земли потянуло холодом. Позднее она сидела на скамейке, но это было уже в другом месте. Перед ней была маленькая площадь и поблескивали трамвайные рельсы, а как она выбралась на вершину обрыва и как пришла сюда — не помнила. Заплакала она неожиданно и плакала недолго. Ей теперь вовсе не хотелось плакать, а хотелось сидеть, запрокинув голову на спинку скамьи, но сидела она тоже недолго, встала и пошла вдоль поблескивающих трамвайных рельсов.

— Куда ж это я? — спросила Женя вслух, когда рельсы свернули вокруг клумбы на конечной остановке.— Пора домой... Мне пора домой, спать.

Она пошла домой, но оказалась возле дома Ларисы и вошла в сводчатый проход. Ей открыл какой-то незнакомый парень с грудой грязных тарелок.

— Где Лариса? — спросила Женя.

Лариса появилась из столовой, сразу засуетилась, обожгла Женю сигаретой, которую держала в руке, поцеловала обожженное место и сказала:

— Пойдем в мою комнату. Тебе надо переодеться.

В Ларисиной комнате было тихо, уютно, гномик по-прежнему скакал на осле, Женя села, с хрустом выпрямила спину и сказала:

— Он уехал.

— Я тебя ни о чем не спрашиваю,— сказала Лариса.— Тебе надо переодеться и отдохнуть. Между прочим, у меня было целое сборище, недавно разошлись. Видала этого парня с тарелками? Он, между прочим, гений. Только ты не подумай чего-нибудь. Просто он мне остался помочь.

Она вдруг увидела Женины ладони, задравшуюся кожу, липкие красноватые ранки на пальцах.

— Что с тобой? — спросила она испуганно.— Чем это ты?

— Это не важно,— сказала Женя.— Вытащи занозы. Я напоролась на колючки.

— Ты можешь на него плюнуть? — спросила Лариса.— Нет, ты мне прямо скажи, если тебе приспичило выйти замуж, я сосватаю.

— Я уже на него плюнула,— сказала Женя.— А замуж я никогда не выйду.

— Тише,— сказала Лариса,— не будь дурочкой. Я сейчас тебе вытащу занозы и смажу зеленкой ранки... Ты потерпи.

«Все-таки Лариса моя самая лучшая подруга,— подумала Женя,— моя самая золотая, самая любимая подруга». Женя надела Ларискино голубенькое платье, скользкая материя приятно холодила кожу, надела Ларискины туфли на шпильках, они были чуть великоваты, и волдырь на пятке Женя обложила ватой. Потом она умыла лицо, а Лариса брызнула на нее духами, причесала и слегка коснулась ее губ пахучей светлой помадой.

— Все в порядке,— сказала Лариса.— Когда Гришка, законный мой супруг, улепетнул, меня вернули к жизни эти самые духи и эта самая помада.

Женя пошла вслед за Ларисой в столовую и невольно остановилась на пороге. Синий сигаретный туман колыхался в духоте, медленно выползая в окно.

— Сашуня,— сказала Лариса в туман,— познакомься. Между прочим, она только-только пережила душевную драму.

— Забавно,— откликнулись из тумана.— Надеюсь, драма не любовная?

— Любовная,— сказала Женя.— Но я уже на нее наплевала.

— Любовная драма — это пошло,— вещал голос из тумана,— это девятнадцатый век. Вы читали роман Алексея Ремизова «Часы»?

— Кажется, читала,— сказала Женя.— Он печатался в «Юности»?

В тумане засмеялись, а Лариса незаметно дернула Женю за руку и шепнула:

— Перестань болтать... Лучше молчи.

— Вы меня заинтересовали,— сказал человек-невидимка, перестав смеяться.— Чего вы встали на пороге? Хотите, поговорим, поразмышляем?

Женя шагнула в глубину тумана и увидела «невидимку», у него был продолговатый череп, мохнатые брови, небритые худые щеки, и на его несвежем лице коралловые, совсем девичьи губки казались прилепленными не к месту, чужими.

Вскоре Женя и Сашуня уже сидели в стороне за низким в шахматную клетку столиком, и он говорил, покусывая яблоко:

— Сейчас, полстолетия спустя, Ремизов как никогда современен. «Часы» — это гениально, это еще оценят через сто лет, если будут тогда существовать мыслящие существа... Вертятся, визжат и несутся ведьмы и бесы жизни... Хотите яблоко?

— Нет,— сказала Женя.— Вы рассказывайте, мне очень интересно.

Сашуня придвинулся совсем близко.

— У старика завелись в голове тараканы,— сказал он.— И шуршат там целыми днями и просовывают сквозь его глаза свои тараканьи усы. И как спастись от тараканов?

Женя почувствовала — под столиком колено Сашуни нащупывает ее колено, но не посмела отодвинуться, сидела неподвижно.

— И снится старику, что у него вместо ног — окурки,— говорил Сашуня,— и он лезет в пасть граммофону. И нос у него кривой, и он чувствует этот нос как рану, и как спастись от своего носа? Как спастись? Вот вопрос, который мучает литературу. Тебе интересно слушать?

Их колени касались, были крепко прижаты друг к другу, и можно было переходить на ты.

— Интересно,— сказала Женя.— Когда я поменьше была, совсем маленькая, мы жили в Монголии, мой отец там работал... Вернее отчим. И у меня была нянька, мы привезли ее с собой... Я любила, когда она про домовых рассказывала. Ты говори, мне и вправду очень интересно.

— Ты как невспаханная целина,— сказал Сашуня.— Но ты пережила любовную драму. Он, конечно, обещал жениться... В общем, стандарт. Это может искалечить нетронутую индивидуальность.

— Не надо об этом,— сказала Женя, чувствуя, как сердце ее дернулось.— Я уже на эту драму наплевала.— Она вдруг всхлипнула и побежала из комнаты, налетая в едком тумане на стулья.

— Я тебя предупреждала — помалкивай,— сказала Лариса, проходя вслед за Женей в переднюю.— Я тебе дам сейчас свой халатик или, хочешь, дам пижаму? Ты приляг в моей комнате, отдохни.

Женя переоделась, легла на тахту и, закрыв глаза, слушала, как за стеной бубнят голоса. Когда она проснулась, за стеной было тихо, а Лариса спала рядом, на тахте. Женя села, и Лариса тоже проснулась, открыла глаза.

— Который час? — спросила Лариса.

— Уже рассветает,— сказала Женя.— Я, наверно, пойду домой.

— Не будь дурой,— сказала Лариса.— Сделала пересадку — спи дальше... А между прочим, ночью ты меня так крепко обнимала... Твоему мужу можно позавидовать.

— Бесстыдница,— сказала Женя.— Какая ты, Ларка, бесстыдница.

Они схватились и, визжа, начали бороться, пока вместе не упали на пол.

— Тише,— смеясь, сказала Лариса.— Мы разбудим Сашуню. Между прочим, ты ему понравилась. Это очень умный парень, он обязательно будет знаменит... Пошли умываться.

Посреди кухни на табурете сидел Сашуня и гладил кошку, изредка прикасаясь к ее носу.

— Почему так рано, Сашуня? — спросила Лариса.

— Я не ложился — у меня бессонница,— сказал Сашуня и кивнул Жене.

Женя наскоро умылась, отказалась от кофе, чмокнула Ларису и пошла домой. Сашуня пошел ее провожать. Капал редкий теплый дождик, неизвестно откуда, потому что небо было в блеклых рассветных звездах. Сашуня шел рядом, прикасался то к плечу Жени, то к ее спине, то к локтю и говорил, подергивая коралловыми губками:

— Желание есть самая сущность человека. Это сформулировал Спиноза в теореме номер пятьдесят. Ощущение веселости, приятности, меланхолии и боли он отнес не к душе, а к телу...

Сашуня казался гораздо моложе, чем ночью, среди синего сигаретного тумана. Ему было лет двадцать, а может, и девятнадцать, и его слегка пошатывало, наверно от рассветного воздуха.

— Ты любишь смеяться на завтрак? — спросил он Женю и побежал к разрытой канализационной траншее.

У траншеи лежали громадные, в два обхвата, отрезки цементных труб. Сашуня подпер плечом одну из труб и крикнул какому-то идущему навстречу парню:

— Эй, давай сюда, быстрей сюда!

У парня было круглое лицо, выгоревшие на солнце брови и волосы, и когда он прыгал через канаву, то уронил сверток — помидоры, колбаса и хлеб ляпнулись в мокрую глину на дне канавы.

— Ты чего? — спросил парень.

— Держи! — крикнул Сашуня.— Держи, катится!

Парень пригнулся и тоже уперся плечом в трубу.

— Удержишь? — спросил Сашуня.— Держи, мы за подпорками сбегаем.— Сашуня схватил Женю за руку и поволок ее в сторону. Добежав до угла, они выглянули. Парень по-прежнему усердно подпирал трубу.

— Туземец,— сказал Сашуня, вытирая мокрые от смеха глаза.

Они медленно пошли дальше, и Сашуня сказал:

— Поговорим про твою любовную драму.

— Зачем? — сказала Женя.— Я ведь на нее наплевала.

— Идти навстречу своим желаниям — это главное,— сказал Сашуня и коснулся Жениных волос.

— Не надо,— сказала Женя.

— Не будь дикой,— сказал Сашуня.— Удовлетворить естественное желание — единственная возможность человека отомстить проклятой жизни... Особенно в атомный век... Жизнь — это тюрьма... «Мы плененные звери, голосим, как умеем, глухо заперты двери, мы открыть их не смеем...» Это «Пламенный круг» Федора Сологуба.

Сашуня увлекся Сологубом и не заметил круглолицего парня, выбежавшего из-за угла.

— Ах ты шакал! — крикнул парень и схватил Сашуню за ворот рубашки.

Сашуня сразу побледнел, начал отбиваться руками и крикнул:

— Ты чего, друг... брось, друг... это был юмор, друг!

— Ах ты гадюка! — крикнул парень и замахнулся.— Ах ты кость моржовая! — И двинул Сашуню ногой под зад.

Сашуня понесся, прогнувшись, грудь колесом, так, что ветер засвистел в ушах, пока не ухватился за подпорку телеграфного столба.

— Туземец! — крикнул он.— Сволочь!..

Парень рванулся к нему, и Сашуня побежал дальше. Он встретил Женю в самом конце улицы.

— Сволочи! — сказал он.— Неорганические существа,— он хотел еще что-то добавить, наверно выругаться, но вдруг прижал локоть к ребрам и притих. Лицо его исказилось.— В этом вся суть,— сказал он.— В девятнадцать лет вместо трудовой грыжи — нетрудовой порок сердца...

— Я уже пришла,— сказала Женя.

— Я знаю,— нервной скороговоркой бормотал Сашуня.— Такие смазливенькие, как ты, в парне ума не ищут, а больше интересуются силой и полновесностью корпуса... Любовная драма у тебя, конечно, была с каким-нибудь туземцем?

— Я здесь живу,— повторила Женя и вошла в подъезд, выложенный изнутри белыми и синими кафельными плитками.

Сашуня вошел следом, схватил ее и попытался поцеловать, но Женя крутнула головой, и губы Сашуни только скользнули по ее щеке.

— А ты дикарка,— сказал Сашуня, тяжело дыша.— Совсем необразованная. Я тебе книгу дам — строго научная, медицинская, о взаимоотношении полов. Называется «Мужчина и женщина».

— Я уже читала эту книгу,— сказала Женя,— в четырнадцать лет.— Она оттолкнула Сашуню и пошла вверх по лестнице.

— Когда мы увидимся? — спросил Сашуня.

— Никогда,— сказала Женя.— Я выхожу замуж. Я решила помириться со своим женихом.

— Мещанка! — крикнул Сашуня.— Пошлая самка!

— А ты козел,— сказала Женя и показала ему сверху язык.— Умника из себя корчит. Я всем расскажу, как тебе дали пинка... по твоей физиономии.

Женя остановилась на лестничной площадке, перед дверьми, в которые она входила тем далеким жарким днем, оставшимся внизу, под обрывом. Было тихо. Откуда-то сверху проникал свет, на лестничной площадке были неясные сумерки, и Женя подумала, что, наверное, у нее сейчас щеки и лоб зеленоватые.

— Я дура,— сказала Женя вслух.— Ребята на пляже меня просто разыграли. Тот парень со вставными зубами ведь предупредил меня, что это розыгрыш, а я обиделась и ушла, как дура. Толя вернулся, а меня нету... Мой длинненький,— говорила она, глядя на дверь.— Мой старенький, с кривой спинкой... Мы помиримся. Я молодая, я еще долго буду молодой. Хочешь, я дам тебе все, днем я испугалась, но сейчас я отдам тебе все. Ты поступишь в институт, и я тоже пойду учиться, а если ты не захочешь, я не пойду учиться. Я научусь хорошо варить... Через год у нас родится мальчик... Мы помиримся, и я больше не буду дурочкой...

Она подошла к двери и позвонила. Подождала немного, снова позвонила и нетерпеливо несколько раз ударила в дверь кулаком. Когда открылась дверь, Женя в первый момент увидела одного Анатолия, хоть он стоял за спиной женщины в халате, он был не просто бледен — он весь был неживой, и пижама его была застегнута лишь под горлом, на верхнюю пуговицу. Женя медленно отошла на мягких, ступающих по воздуху ногах, потом посмотрела на женщину,

и вдруг что-то стиснуло поясницу и ребра, стало трудно дышать, и голова наполнилась горячим звоном.

— Старая уродина! — крикнула Женя.— Старая облезлая кобыла... Я тебя ненавижу!

— Я ей сейчас зубы выбью,— сказал Анатолий.— Тварь паршивая, прицепилась, как репейник...

Он рванулся к Жене, но женщина в халате оттолкнула его назад и прижала дверь спиной. Они стояли друг против друга на лестничной площадке. У женщины под глазами были синие круги, а на ногах у нее были шлепанцы, отороченные мехом. Левый спереди протерся, и виднелся большой палец.

— Тебе шестнадцать лет? — спросила женщина.

— Мне семнадцать лет,— заносчиво ответила Женя.— И вообще это не ваше дело. При вас я не заплачу, можете не надеяться.

Но слезы уже текли по ее щекам, не было никаких сил остановить эти слезы.

— Где ты живешь? — спросила женщина.

— Это не ваше дело,— всхлипывая, говорила Женя.— Идите к своему паршивому мужу с кривой спиной... а в следующее воскресенье поедете на кладбище проведать его бабушку... А я поеду на пляж.

Женя опустилась на несколько ступенек, прижалась к перилам и крикнула:

— Я с ним целовалась... и спала с ним! Можете радоваться.. Вот вам.. А теперь он мне не нужен. У меня есть блондин с красивой фигурой — чемпион по боксу.— Спазма снова сжала ей горло, и Женя вся затряслась, сильно всхлипывая и облизывая соленые губы.

Женщина посмотрела на нее и неожиданно как-то странно улыбнулась.

— Я тебе завидую,— тихо сказала женщина,— у меня никогда такого не было. Я никогда так не могла...

Женщина постояла некоторое время молча и ушла, захлопнув двери. Гулкий короткий звук давно утих, но Женя еще долго слышала его. Сначала скрип петель, потом щелчок.

Улица была полна рассветным дождем. Он хлопал по листьям, гнал по желобам кучки мусора. Женя глотнула сырой воздух и вновь почувствовала себя легкой и слабой, как в жаркий день, оставшийся под обрывом, в жаркий день, когда она стояла высоко на мосту, над далекой водой и над пестрым пляжем. Она иногда испытывала это состояние, лежа в постели перед тем, как заснуть. Ей нравилось, когда перед сном приходила такая слабость. Она даже научилась вызывать ее искусственно. Надо было плотно закрыть глаза и дышать глубоко и часто, а ноги не должны были касаться спинки кровати. Женя прижалась к дереву. Мокрый ствол дерева гудел и покачивался, а затылок у Жени побаливал, наверно, она некоторое время стояла запрокинув голову.

— Вот и утро,— сказала вдруг Женя и удивилась своему обыденному, с утренней хрипотцой голосу.— Соседи, наверно, расскажут маме, что я гуляла по ночам с мужчинами. Как глупо, даже смешно.— Она поправила тыльной стороной ладони волосы и сказала: — Ничего, он еще пожалеет. У меня будет красивый муж — блондин со стройной спиной. Или вообще не будет мужа. Все они дураки... Лариса права — надо любить только незнакомых мужчин... а Толька — дурак паршивый, когда он кричит, то похож на злого енота, глупый какой дурачок... Ослик мохнатый...

Она шла под дождем, говорила и осторожно вялыми руками поправляла мокрые волосы. Потом дождь кончился и все вокруг высохло, стало по-вчерашнему ярко-белым. Проехала поливальная машина. От асфальта поднимался пар, асфальт высыхал сразу же, за задними колесами машины. Начиналась жара.

Утром, в восемь часов, было уже жарко, как в полдень...

Москва, 1963.

ПУБЛИЦИСТИКА

Д. ШТУРМАН

*

ОСТАНОВИМО ЛИ КРАСНОЕ КОЛЕСО?

Размышление публициста над заключительными Узлами эпопеи А. Солженицына

1. ЗАГАДКА ЖАНРА

Скажу сразу, что поспешность, с которой «Красное Колесо» объявляется неудачей, свидетельством творческой деградации Солженицына, опасна не для него: эту книгу еще и не начали по-настоящему читать; начнут — и время определит масштабы и достоинство труда писателя, как бывает всегда. Поспешность опасна для самих слишком категоричных и торопливых критиков: они рискуют оконфузиться немилосердно. Правда, критиков забывают быстрее, чем художников. Искусство — атрибут вечного в человеческом бытии. Критика — атрибут эпохи, оценивающей в себе вечное.

Слишком поспешная и слишком категорическая критика имеет особенно короткую жизнь, но урон порой наносит немалый: она искажает и отдаляет прочтение произведения современниками, способными его прочесть. Ведь если мнение из броской, эмоциональной и самоуверенной статьи или реплики известного критика, публициста, писателя человеком уже почерпнуто — к чему ему читать трудные и далеко не всегда занимательные в обыденном смысле слова тома? Да еще в столь тяжкое и Бог весть куда спешащее время? О том, что эти громоздкие тома помогают понять окружающую сумятицу, во-первых, откуда же заранее знать? А во-вторых, всем ли и помогли бы? Критикам, утверждающим, что Солженицын окончательно «вышел из моды», не помогли же.

Критиков потомки читают редко. Кто, к примеру, кроме специалистов, перечитывает по собственной воле пламенного Белинского? А иных классиков, вживе анатомированных им, после долгого перерыва разве что начинают непредвзято читать. Но как искривило сознание и пути интеллигенции российской и советского образованного слоя блестящее, неотразимо искреннее письмо Белинского Гоголю! Повод к письму, предмет его («Выбранные места из переписки с друзьями») не читался после огненного вердикта «неистового Виссариона» без малого полтора века. Но вот сейчас снова читается. А письмо? Только как печальный урок и характерный феномен истории общественной мысли.

У меня нет сомнения в том, что речь в случае с «Красным Колесом» идет о художественном произведении, а не о публицистическом, историческом или философском труде. Солженицын достаточно точно определил жанр своей работы как повествование, ибо в ней нет оголенных авторских вопросов, размышлений, доказательств и выводов, неизбежных за пределами художественных жанров. «Март...» и «Апрель Семнадцатого» — это живопись в чистом виде. А вот над тем, с помощью какой техники, посредством каких приемов эта живопись выполнена и *что* возникает в результате их сочетания, придется еще долго многим исследователям и читателям думать. Канонические ответы на подобные вопросы по отношению к уникальным явлениям искусства вырабатываются на протяжении многих десятилетий, и то не всегда, ибо все уникальное и первоявленное не канонично.

Художник в отличие от историка непрерывно заставляет нас не только всматриваться в давно прошедшее, как в заново происходящее, но еще переигрывать в своем воображении события, давно свершившиеся и необратимые. Историк обычно говорит: «Так было — глупее глупого тратить время на домыслы о том, что могло бы быть, случись то, чего не случилось, поступи кто-то так, как он не поступил». Художник

позволяет нам игнорировать эту логику. Он возбуждает нашу способность к выбору и моральной оценке.

У Солженицына нет оголенных рассуждений на тему «что было бы, если бы». Просто в его грандиозной живописи действия и бездействие персонажей, их союзы, конфронтации, возможность и невозможность для них поступить тем или иным образом создают некий воображаемый веер не исключенного — при иначе сделанном выборе — хода событий. Собственно, его, этот веер, создаем мы сами, но, конечно же, по воле художника, из того колоссального событийного и психологического материала, который нам представлен. Это не Солженицын — это мы произносим в сотнях судьбоносных и чаще всего роковых (так нам представляется) точек многомерного, полифонического сюжета свое «что было бы, если бы?..».

Солженицын не проводит никаких оголенных параллелей между 1917 годом и современностью. Но в сознании читателя, к современности прикованного, эти параллели работают непрерывно. И тоже, конечно же, по замыслу художника, в силу его магии. Роковое преобладание «неподходящего отбора» над «подходящим» (У. Р. Эшби) имеет настолько неотклонимое сходство с вакханалией более поздних «неподходящих отборов», что российская, 1917 года, Февральская революция начинает представляться протомоделью не только нынешнего пост-СССР, но и всего человечества.

Имеет ли смысл производить эту мучительную операцию — задавать тесты на вариативность необратимым событиям? Сложная логика многоголосого, многомерного повествования подводит нас к выводу, что имеет. История все-таки еще не кончилась, и веер более или менее вероятных возможностей продолжает возникать в каждой ее точке. Один из центральных наших выводов из, казалось бы, крайне пессимистического «Красного Колеса» таков: свобода выбора — не фикция. И это тоже, вне всяких сомнений, вывод, организованный художественной реальностью солженицынского повествования. Но осуществить удовлетворительный выбор невероятно трудно, ибо нет универсальных решений «на все времена». Решать (выбирать) приходится в каждом шаге наново, ибо нет явлений, не обладающих элементом неповторимости. И вместе с тем во всем есть нечто универсальное и нечто категорийное. Эти общности позволяют учиться и обретать опыт. Возможность учиться на уроках истории, которые, как известно, идут в пустых классах, делает трагедию все-таки не до конца фатальной. Класс открыт — входи и учись. Если он пуст — это твоя вина и твоя воля. Таков еще один из уроков повествования.

Стереоскопичность эпоса обогащается тем, что мы знаем о многих его героях гораздо больше, чем они сами. Мы видим их повествовательное настоящее сквозь призмы их дальнейших судеб, преимущественно трагических. Это двойное видение возникает непроизвольно, как будто и не с подачи автора. Оно усиливает эмоциональные эффекты, обосновывает авторские настроения и интонации, контрастирует с интонациями и настроениями героев, документов, газетных отрывков, прогнозов.

Читатель, не знакомый с историческим материалом, которым владеет Солженицын (он скрыт за горизонтом повествования), несомненно, многое теряет. Он не может быть полноценным соучастником общего с писателем творческого постижения реальности, без чего книга не заиграет всеми своими красками. Тезаурус читателя — элемент всякой читаемой нами книги, и в этом смысле книга у каждого читателя — своя, кто бы и когда бы ее ни написал. «Красное Колесо» предполагает читателя хорошо подготовленного, хотя автору, наверное, видится иначе.

В апреле 1992 года в интервью С. Говорухину Солженицын сказал, что пишет просто и считает «Красное Колесо» понятным каждому внимательному читателю. Думаю, что Солженицын несколько идеализирует среднего читателя. Конечно, тот, кто прочел все эти тома *без предубеждения*, свойственного в основном коллегам Солженицына, несомненно, историей интересуется и уже поэтому понял и взял в них многое. Человек, безразличный к истории, их не осилит. *Все* из великих книг не берет никто, ибо время их непрерывно дописывает и каждый читатель вносит в них себя. В том, что читатель, удовлетворительно знающий исторический материал, охваченный «Красным Колесом», воспримет «повествованье в отмеренных сроках» полнее, чем тот, кому этот материал внове, усомниться трудно. Но тот, кто слышал когда-нибудь запись своего голоса, знает, как разнится его звучание от того, как слышим себя мы сами, вне записи. Так, Солженицын кажется себе простым и общедоступным. Между тем чтение «Красного Колеса» — это преодоление крутого подъема.

Существует еще и такая странность искусства: художник тоже не знает всего о своей книге. И не только в классическом тютчевском смысле: «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется».

Дело еще и в том, что в повествовании из десяти томов, где пульсирует *такая* эпоха, где живут, мыслят, чувствуют, действуют *такие* массы людей, писатель просто не может предугадать, чем дополнят его эпос поколения читателей и их

времена. Он выходит и выводит своего современника во многие пространства и измерения. А дальше все это будет жить уже без него, вне его поля зрения и сроков жизни.

Солженицын хотел пройти со своими персонажами куда большую часть их путей, чем прошел. Но — перерешил, и мы имеем то, что имеем.

Зная, хотя бы в некотором приближении, и другие — документальные, а не только художественные, источники, мы можем судить о том, насколько надежен и точен в своей объемной и многоголосой живописи Солженицын. При этом, используя великое множество документов, он вполне первичен, ибо свободен от первоисточников в своих подходах и оценках, независимо от степени их, этих подходов и оценок, общепринятости. Момент общепринятости его суждений никогда не играл для Солженицына существенной роли, и это стоило ему немалых осложнений в отношениях с критикой и литературной средой.

Насколько можно судить со стороны, для Солженицына-художника главное — точность, которая для него есть синоним честности в передаче своего видения вещей.

В этом смысле Солженицын — не сочинитель. Возможно, поэтому исторические характеры удаются ему в большинстве своем лучше широко развернутых вымышленных фигур. Чрезвычайно удачны многочисленные новеллистические зарисовки и моментальные снимки, сделанные словно при фотовспышке. Литературные же, даже отчетливо прототипные герои более бледны, менее выразительны, чем исторические, свободно и чрезвычайно зорко интерпретируемые автором персонажи. Чтобы в этом убедиться, достаточно поставить бессмертную отныне Алису, Аликс, Александру Федоровну, с ее любовью, детьми, миссией, мистикой, слабостями, ограниченностью и величием духа, и вырезанную из картона, старательно раскрашенную Ольду Орестовну Андозерскую. Или едва прочерченную, но такую живую жену Столыпина («Август Четырнадцатого») и Ликоню с ее задыхающимися записочками; выразительнейших Коллонтай и Брешко-Брешковскую — и тусклую Алину Воротынцеву. Есть несколько бледных теней и среди персонажей-мужчин. Между тем мгновенные зарисовки и снимки эпизодических характеров блестящи.

Солженицын, по-видимому, изначально чувствовал, что перипетий и характеров т а к о й эпохи в прежних жанровых рамках не воссоздать. Во всяком случае — с достаточной полнотой и выразительностью. Особенно в годы, когда так потрясают читателя публицистика и мемуаристика, когда репортажи о событиях, сборники документов, исследования новейшей истории воспринимаются живее любого вымысла. Уже и «Архипелаг ГУЛАГ» — совершенно особый жанровый сплав. «Красное Колесо» в этом смысле еще необычней. Для всего повествования характерна глубочайшая и точнейшая документальность, историческая цитатность. При этом цитаты (и событийно-хроникальные, и портретные, и документальные) то разворачиваются в глубинах художественного текста и от его ткани совершенно неотличимы, то выходят на его поверхность в качестве открытых дословных имплантаций со ссылками. Ощущение такое, что цитируются не первоисточники, не документы, а само время, в которое переместился автор. Может быть, наиболее удивительное — мастерство вживления Солженицыным открытых документальных фрагментов в художественное целое. Они естественно превращаются в штрихи авторской графики, в мазки авторской живописи. Они не прерывают, а продолжают автора, углубляя и обостряя читательское восприятие в нужной автору эмоциональной и смысловой гамме. Они усиливают звучание голосов, уточняют рисунок характеров, ненавязчиво множат, выявляют, пополняют оценочные моменты. Их неподдельно «тогдашняя» фразеология выполняет функцию машины времени, доставляющей нас в нужную точку хронологических просторов повествования. В одном полотне, не наделяя его при этом стилевой эклектичностью, сочетаются разные техники, разные изобразительные приемы, разные речевые пласты, теоретически, казалось бы, сосуществовать не способные.

Не занимаясь текстологическим анализом Узлов, упомяну только некоторые особенности их языкового космоса, воссоздающего богатейшую лексическую, интонационную, мировоззренческую полифонию огромной, бурной, противоречивой эпохи. Языку «Красного Колеса» будут посвящены многие исследования. Они потребуют и долгого, более спокойного, чем наше, времени, и большей, чем наша, объективности, и глубокого профессионализма. Сегодня внимание современников успевает захватить то, что лежит на поверхности словотворчества Солженицына. Например, его своеобразные «архаиконеологизмы» и просторечно-диалектные реанимации — оживление забытых слов и речений.

Слово воспринимается по морфологии и звучанию как старинное (архаизм?); на деле же это чистейшей воды неологизм. Иногда такие слова вызывают ощущение некоего дискомфорта и воспринимаются как неудачные. Они, конечно же, не всегда бесспорны. Но нередко, перечитав отрывок несколько раз, начинаешь видеть и

слышать, что слово — точное, что оно на месте, что оно намного ярче привычного. Чувство меры в словотворчестве и оживлении забытых слов нарастает у Солженицына от «Августа...» к «Марту...» и «Апрелю...», в которых счастливые словотворческие находки затмевают редкие вкусовые (впрочем, как на чей вкус) огрехи.

Недавно кто-то из критиков-нечитателей Солженицына писал об отсутствии любых градаций и оттенков смешного в изображении им людей и событий. Между тем разные рода смеха и смешного (от забавного и улыбки по его поводу до саркастических и даже сардонических интонаций) представлены в «Красном Колесе» очень широко.

В «Марте...» и «Апреле...» удивительно мало сатиры. Сатира выпячивает одни черты предмета (не важно, существенные или незначительные, характерные или случайные, или вымышленные) и опускает или приглушает другие. И потом мы веками принимаем карикатуру за портрет. В отличие от сатиры (способа изображения) юмор, ирония, сарказм — это настроения автора, овладевающие, если автор талантлив, читателем. В сатире тоже содержится отношение автора к предмету изображения, но это слишком часто издевка, опасная своей пристрастностью. Впрочем, и пристрастность может обострить зрение.

Портрет Ленина у Солженицына порой саркастичен. Но ни в одном из Узлов этот портрет не сатиричен: даже сатира для такого героя слишком благодушна. Ленин не смешон, а зловещ. По отношению к нему противоестественна была бы и ирония, ибо она предполагает некоторую отстраненность и некоторое ощущение своего превосходства над предметом, с различными оттенками. К парадоксально изворотливому, лицемерному фанатику, приставившему нож к твоему горлу, нельзя относиться иронически, то есть отстраненно. А Ленин в «Марте...» примеряет нож своей убийственной схемы к горлу страны. Он сокрушительно хитер и ловок (маньяки хитры). Отношение Солженицына к Ленину — это живое и страстное неприятие, но одновременно и понимание его гигантской разрушительно-коллапсирующей мощи в балансе мировых сил. До сатиры ли, до иронии ли тут?

Сарказм же — это трагическая, злая усмешка беспощадного Рока. И саркастические интонации при воссоздании фигуры Ленина вполне уместны. Не только сам он — орудие злого Рока, но и в его душе и в его судьбе господство Утопии-Оборотня играет мертвящую роковую роль. Он удачник только разрушения и подавления. Сквозь каждый его роковой успех сардонически усмехается катастрофа. Учтем, что советскую и мировую мифологему Ленина Солженицын разрушал уже тогда, когда диссидентская мысль, за редчайшими исключениями, на нее и не посягала. И делал это сугубо образно, а не декларативно. Но на сегодняшних выставках архивных могильников КГБ и КПСС первооткрывателю, воссоздавшему истинный образ Ленина без их великодушного соизволения, по заслугам не воздано. Как и другим осваивателям того же пути.

Иронии Солженицын далеко не чужд. Но нередко это ирония не столько его, сколько самой Истории. Горькое знание того, что́ будет завтра, сопровождает и оттеняет настроения и автора и читателя как некая непоправимо-щемящая нота. И наивность, иллюзии, самонадеянность, самоуверенная слепота прогнозов, беспомощность и бездействие зрячих участников и очевидцев событий не могут не привносить в эту щемящую ноту компоненты иронии.

Юмор же, безгневный и сожалеющий, возникает порой в изображении поименованных и безымянных статистов, ставших сослепу, на свою и нашу беду, в некие решающие моменты физическими движителями катастрофы.

В «Марте...» — «Апреле...» нет «главного виноватого» (даже Ленин и Троцкий не вписываются в эту графу). Нет вообще виновности, исключительно локализованной в одном круге, в одном лице. Если в какой-то момент (персонажу или читателю) кажется, что враг человечества или враг народа, нации обнаружен, следующие за этим страницы (иногда — строки) опровергают догадку. Можно сколько угодно манипулировать цитатами для ее подтверждения, но целостное и честное прочтение всего текста ее перечеркивает, стирает начисто.

Зло в разных своих ипостасях с большим трудом различается слабым человеческим взором, особенно взорами современников событий. Его трудно распознаешь и в своей душе. И все-таки Добро и Зло зримо просвечивают сквозь изменчивые лица героев все еще длящейся загадочной исторической пьесы, и развязка ее для втянутого в нее человечества до сих пор не ясна.

Почему в части, посвященной попытке определения жанра «Красного Колеса», я говорю об отношении автора к его героям и даже о столь стержневой проблеме, как проблема вины (к ней мы еще вернемся)?

Потому что ракурсы, интонации портретов и моментальных снимков формируют стиль как атрибут жанра.

Отсутствие однозначной, предрешенной позиции, авторских оценочных деклараций, авторской эссеистики (все эссе в повествовании принадлежат героям, а не автору) —

все это не позволяет воспринимать Узлы как публицистику. Перед нами жанр чисто художественный, в то время как «Архипелаг ГУЛАГ» — исследование столько же художественное, сколько публицистическое (возможно, что больше — второе).

Почему Солженицын, активно работающий писатель, поставил точку после Четвертого Узла (5 мая 1917 года)? Ведь планировалось их двадцать. Отчасти он отвечает на этот вопрос сам: сейчас не читают слишком длинных книг; возраст мешает надеяться на исчерпание всего задуманного; в начале мая 1917 года исход начавшегося в марте катаклизма был предрешен в пользу большевиков. Мне же чудится и еще одна причина: беспощадно нарастающий трагизм повествования стал бы уже в начале 1918 года невыносимым. Ведь Солженицын-повествователь, с одной стороны, вдумчив и осторожен, объективен в показе событий, с другой — начисто лишен безразличия к происходящему. Это небезразличие овладевает и нами.

Страстная вовлеченность в события уже в «Марте...» — «Апреле...» создает предельные психологические напряжения. Взять хотя бы убийство Непенина — эту трагедию без катарсиса, не вызвавшую тем не менее ужаса у сограждан. Вот он — сигнал из будущего: уже не посмели заметить. Как можно было бы воссоздать с такой же болью и мощью 1918 год? Например, убийство царя и его семьи? Почти все достойные герои повествования гибнут, и гибнут страшно.

И многие из мнимых победителей (в битвах за Утопию победителей нет) рухнут в бездну, нам видимую, но от их глаз еще сокрытую. Солженицына их мучительная и низкая гибель не утешит. Она не оживит замученных и погибших, не исправит и не возместит ничего из ими содеянного. Исследования об этой череде погибелей написать можно, и они написаны, и еще напишутся. Длить же далее на таком художественном подъеме многотомную трагедию без просветления вряд ли было возможно. А просветление наступит ли и когда?

Имеет ли смысл подбирать и придумывать название для синтеза жанров, осуществленного в «Красном Колесе»? Солженицын назвал его «повествованьем в отмеренных сроках». Нужно ли определять его иначе? Правда, начиная с «Августа Четырнадцатого» и кончая жизнеописаниями ряда персонажей «Апреля Семнадцатого», отмеренные автором сроки расширяются продолжительными экскурсами в прошлое. В будущее автор как будто бы не заглядывает, событий ссылками на их исход не опережает. Но с будущим упорно соотносим высказывания и события мы сами. Как Солженицын от нас этого добивается, как он транслирует нам свое понимание и ощущение будущего, не знаю. Но оно, это будущее, плачет, сардонически кривит губы и оскаливает клыки из-за спин, речей, надежд и пророчеств персонажей «Красного Колеса» постоянно.

В силу этой трансляции сюжеты повествования разрастаются в обе стороны (в прошлое и в будущее) далеко за пределы сроков, отмеренных заглавиями Узлов.

Может возникнуть и такое соображение: «повествованье» — это все-таки слишком спокойное определение для вздыбленного и взвихренного урагана событий и судеб (особенно — двух последних Узлов). В понятии «художественное исследование» второе слово слишком «подсушивает» смысл целого и заслоняет первичность художественного начала в картине. «Архипелагу» это соответствовало, «Красному Колесу» — нет. Для того синтеза, сплава техник, приемов, способов использования разнородных источников, который совершен Солженицыным в «Красном Колесе», нет еще, мне кажется, достаточно емкого и лаконичного названия. Пусть остается «повествованье», ибо такова воля писателя. Со временем литературоведы уточнят определение жанра. Может быть, это произойдет тогда, когда Солженицын окажется в своей новизне не так одинок, когда появятся у него продолжатели сопоставимой мощи. И еще одно: жанр повествования, при всей (поверхностной) несопоставимости приемов, близок к летописи — она тоже включает в себя разнородные компоненты. И тоже более других жанров исключает пристрастие (хотя и сквозь беспристрастную летопись сквозит отношение летописца к материалу).

Часто говорят: у Солженицына нет не только последователей, школы — у него нет даже эпигонов. И тем пытаются доказать, что он не начинает, а завершает некое направление в литературе, имея чаще всего в виду критический реализм.

Но отсутствие направления, школы (если их действительно нет) бывает и мерой своеобразия художника, его масштаба, мерой опережения им современников.

2. КАК ЭТО БЫЛО

У каждого читателя свои критерии определения ценности книги. У меня желание и потребность перечитывать ее. «Архипелаг» я прочитала за двадцать (примерно) лет четыре раза. Столько же — «Иосифа и его братьев» Т. Манна, и, надеюсь, впереди новые встречи. Не потому, что я забываю информацию о ГУЛАГе: фактов накопилось сверх «Архипелага» с избытком. И я помню фактаж «Архипелага» много

лучше, чем, например, событийную канву мемуаров Эренбурга или Симонова. Но попробуй-ка их перечти: кроме душевной несовместимости, скука смертная. Да только ли их? Множество даже любимых когда-то книг пытаться перечитать сегодня — все равно что жевать и глотать бумагу, на которой они напечатаны. Перечитываются же без насилия над собой только те книги, которые либо остаются родными, либо раскрываются перед тобой по мере того, как ты до них дорастаешь.

В «Марте...» — «Апреле Семнадцатого», как и в «Архипелаге», почти из каждой новеллы, подчас лаконичной, как японская танка, из каждого исторического сюжета и портрета, иногда — из газетного отрывка или из безликости канцелярского документа есть выходы в бесконечность вечных вопросов. Как в полотне Левитана, даже малом, пейзаж всегда сохраняет выход в безграничное пространство, так и здесь ни один сюжет не исчерпывает и не закрывает себя «окончательным решением».

Порой нам кажется: в только что дочитанной нами новелле или главе одного из сквозных сюжетов автором вынесен вердикт окончательный. Но другая новелла или глава разворачивает проблему другой гранью, другим измерением, и мы видим, что вопрос остался вопросом, противоречие — противоречием. Разумеется, четко определенную психологическую, мировоззренческую, нравственную установку автора мы ощущаем и воспринимаем. (Я — чаще единодушно с ним, иногда — выжидающе, изредка — в оппозиции к его подходу, к его интонации.) Но потом с удивлением обнаруживаем, что не только мы полемизируем с Солженицыным, но и он полемизирует с самим собой и своими героями. (А иной раз оказывается, что интонация была адекватной происходящему, а твое ощущение — ошибочным.)

Одна из таких неисчерпаемых антиномических безграничностей — Революция, центральный проблемный стержень повествования.

Очень долго для большинства российского и уж тем более — советского образованного слоя (как ныне — западного) это слово имело сугубо положительную эмоционально-оценочную окраску. Это относится, в первую очередь, к революции Октябрьской. До перехода «гласности» в свободу печати посягать открыто на ее ореол было в СССР немыслимо.

«Я все равно умру на той — на той единственной, гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной...» Сколько лет дорогой нашим сердцам Булат Окуджава заканчивал свои концерты и пластинки этой песней?

Постепенно, в глазах постсоциалистических либералов и демократов, нимб вокруг Октябрьской революции потускнел и угас, зато засветился вокруг Февральской. Первую — прокляли, вторую — канонизировали. Солженицын не принял этой канонизации, чем глубоко возмутил представителей леволиберальных кругов. Но его не пугают ни «левые», ни «правые» отлучения и анафематствования.

В значительной степени все, что написано Солженицыным, есть осмысление и преодоление двухвековой сакрализации понятия «революция», его развенчания, отнюдь не привязанного исключительно к большевистскому Октябрю.

Солженицын низводит революцию с уровня акта общественного спасения на уровень национальной катастрофы и в статье о Французской революции 1789—1794 годов, и в «Марте...» — «Апреле Семнадцатого». Он делает это гораздо радикальнее, чем авторы «Вех», чье влияние так велико в «Образованщине». «Вехи» были осмыслительным откликом на революцию 1905 года. Поле обзора Солженицына намного шире. Пять из семи статей «Вех», исключая работы П. Струве и С. Франка, режут глаз то свидетельствами пиетета перед идеалами и конечными целями социализма, то апологией «великой французской» и кромвелевской английской революций. Авторы «Вех», эпатируя образованный слой, развенчивают беспочвенный нигилизм, радикализм русской интеллигенции. Но к правительственной реакции на революционерский терроризм и на разинщину 1905—1906 годов «веховцы» полны глубокого отвращения, как и вся интеллигенция. Для Столыпина они, его современники, не нашли ни слова поддержки и понимания. Только Солженицын исторически реабилитировал Столыпина и воздал ему должное. Пожалуй, ни одна русская книга XX века не сокрушила такого числа догм, предрассудков, стереотипов и мифологем с такой некрикливой основательностью и наглядностью, как четыре Узла «Красного Колеса».

В публицистике Солженицыным неоднократно высказана и аргументирована мысль, что октябрьские события 1917 года — только точка, поставленная в конце катастрофической эпохи. По его убеждению, победой разрушительного духа эпохи над ее созидательными возможностями были события марта — апреля, а не октября — ноября 1917 года. В октябре завершился большевистским переворотом распад нормального, хотя и отнюдь не идиллического российского общежития, подорванного февральским взрывом, и к власти пришла новая сила. Началась новая эпоха, о парадоксах которой мы здесь говорить не будем, ибо о них Солженицын в «Красном Колесе» не говорит.

Но и Февраль не был, по Солженицыну, спонтанно-непредсказуемой катастрофой, как и 1905 год, когда разрушение удалось приостановить. Одно время казалось, что не приостановить, а остановить, но ряд идеологических установок разных слоев общества, несколько внутренних сдвигов и, главное, война вернули Россию на путь саморазрушения.

Виде́ние красного колеса грядущей революции (е г о революции) впервые возникает в глазах Ульянова-Ленина в начале войны. Война наполняет Ленина торжествующим предвкушением революционного урагана. Колесо только трогается. В апреле 1917 года Ленин приезжает в гудящую ульем, теряющую привычные ориентиры Россию. Он еще только примеривается к настоящей атаке, то надеясь, то ярясь от потери надежды разогнать колесо до нужного ему, Ленину, темпа. Мы знаем, что ему это удалось. Но Ленин этого еще не знает. Не ведает он и того, что, как ни прочны будут обручи диктатуры, которые большевики набьют на вздыбленный их волей хаос, как ни беспощадно будут они гнать «вперед», как ни изощряться в умении принуждать, заставлять народ строить, строить и только строить, — именно строить они ни себя, ни народ не научат. Под корой бесчеловечного принуждения будет ускоряться и нарастать все тот же ра́спад, распад и только распад, все более глубокий и явный, на громадных пространствах. Ленин ничего этого не понимает и не успеет понять. Смерть избавит его от многого из того, что успеют увидеть и претерпеть его «гвардейцы». Солженицын же, глядя на вот-вот готовый тронуться локомотив, уже видит и весь последующий разрушительный путь гигантского колеса. Он уже знает (и мы тоже знаем), что прежде всего революция, еще не ленинская, а Февральская, начнет разрушать и подавлять.

Что и кого?

Разрушать — право; подавлять — личность. Несмотря на то, что она декларирует торжество свободы и справедливости, она уже в первых своих шагах посягнет и на первую и на вторую.

Солженицын не раз в своей публицистике, включая «Как нам обустроить Россию», говорил, что нравственный Закон, Справедливость выше формального права. И не раз читателю приходилось чувствовать противоречивость, глубокую антиномичность этого утверждения, хотя несовершенство юридического права в сравнении с нравственной максимой справедливости бесспорно.

Как ни в одной другой своей книге, как никто другой из русских писателей XX века, Солженицын показывает на примере марта — апреля 1917 года, что пренебрежение законом, правом немедленно оборачивается посягательством преступивших на свободу личности. Только право с его несовершенными инструментами и институциями может быть (не абсолютным, но мало-мальски удовлетворительным) гарантом защищенности человека и гражданина от произвола и зверства социально опасного индивидуума, толпы и власти. То́, что революция в первые хмельные свои дни и недели именует свободой, есть синоним произвола толпы над личностью. Мы знаем, что э т у революцию сменит и усмирит не авторитарность, которую обстоятельства заставили бы стать реформаторской, а доселе невиданный произвол власти. И его принесет еще одна революция, согласно ее мифологии — освобождение более истинное, более радикальное, чем февральское. Большевики с их глубочайшим пренебрежением к личности, ее правам и ее жизни в повествовании Солженицына уже присутствуют. И нарастание их возможностей отчетливо ощущается: крушение права предуготовляет победу играющего без правил.

Мы в ужасе наблюдаем: более или менее нормальные до Февраля люди «вдруг» (для внимательного наблюдателя, каков Солженицын, — с 60-х годов прошлого века, а не «вдруг», но для обывателя — вдруг) начинают то на одном, то на другом пятачке, участке, пространстве своего недавно еще сносно сбалансированного общежития не то сходить с ума, не то повально криминализироваться.

Образованный слой еще на все лады упивается бескровностью вымечтанной свободы. Одна социальная страта общества за другой (от великокняжеской и высшей духовной до уголовного мира) включается в славословие великой и мирной (главное — мирной!) демократической революции. И при этом у людей — сразу же!— как-то странно начинает слабеть зрение. Они стыдливо зажмуривают глаза на все более явное озверение сограждан. Например, они словно бы и не видят нечеловеческого, бездумного, почти автоматического растерзания матросами адмирала Непенина, искренне и сразу принявшего революцию. Не видят множащихся бандитских убийств ошалевшими солдатами ничему еще не сопротивляющихся офицеров. Не замечают издевательств уличной пьяни и рвани над «чистой публикой». Не вмешиваются в расправы обезумевшей толпы над столбенеющими от ужаса городовыми. Дворянство силится до последней возможности не видеть (недавно таких благодушных) крестьянских толп, осаждающих с дрекольем и вилами усадьбы вчера еще уважаемых и даже любимых («своих») помещиков.

Выразительное отсутствие идеализации какого бы ни было слоя общества, в том числе и народных масс, возложение и на них главного атрибута человеческого достоинства, а именно ответственности за свои действия — очень важный элемент повествования. Разве что сквозь «Окаянные дни» Бунина и воспоминания Романа Гуля проступали эпические масштабы этой народной обезумелости. Но там не звучала над теряющими рассудок толпами противоестественная симфония эйфории. А здесь — звучит. И что́ матросская, что́ солдатская, что́ городская толпа не так уж и разъярена, не всегда даже и раздражена. Находятся возбужденные (а истерика всегда заразительна) горлопаны-подстрекатели, то пришлые, то из своих же, подсказывают дорогу и образ действия, и толпа отправляется творить суд и расправу. А потом — то ли насыщается, то ли устает и, пограбив, погромив, убив, растерзав (а порой и успокоясь от встречного отпора), распадается снова на отдельных людей, ошеломленных содеянным и отупевших от своего же бунта.

Между тем, словно не видя происходящего, люди, мечтавшие, писавшие и болтавшие о революции, никак не хотят приходить в себя. Они упрямо оберегают свой миф: привычную апологию народа — страдальца и кроткого мудреца. Люди силятся не замечать пропастей, уже разверзающихся по обочинам их привычной будничной тропки. Но им все труднее становится это делать. Причем не где-нибудь в 1918 — 1919 годах, а в марте — апреле — начале мая 1917-го.

Все происходит как-то словно бы само собой — не только во взбудораженных толпах, но и на самых верхах. У Думы, упрямо подтачивавшей слабеющую монархию, власти не оказалось: когда привычное течение жизни в столицах нарушилось, Дума не сумела падающую власть подхватить. Монархия своей власти не защищала. Новое (Временное), совершенно случайное, само себя назначившее, правительство не владело ситуацией ни минуты. Советы добольшевистской формации (эсеро-меньшевистские со вкраплениями большевиков, других радикалов и случайных лиц) имели как будто бы наибольшую власть над массами. Но при ближайшем рассмотрении (а Солженицын рассматривает события и в телескоп, и под микроскопом) оказывается, что Совет не властвовал, а провоцировал, не занимался государственным строительством, а разрушал; он не давал Временному правительству мало-мальски стабилизировать положение, раскачивал и без того утлую лодку — и только. Разогнанную социалистическим Советом до девятого вала волну оседлали не те, кто ее первоначально провоцировал, а вовремя подоспевшие большевики. И все это совершали люди. И каждый в отдельности, и группами, и скопом. Совсем как во сне Раскольникова:

> «... Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе... В городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге... Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и все погибало. Язва росла и подвигалась дальше...»

Временное правительство пренебрегало правом и законом неизмеримо больше, чем монархия. Советы добольшевистского призыва игнорировали юридическую логику и право куда бесцеремонней, чем «временные». Рушились и разбивались в прах все ограничения, все скрепы, все, как привычно было выражаться, оковы. И что же?

Вывод напрашивается один: свобода убивала свободу. Большая безбрежная свобода все смелей и бесцеремонней переступала через свободу «малую» — свободу личности, включая и свободу человека существовать, быть.

Следом за этим парадоксом, внутри него, в жизнь вползает тревожное и многозначительное ощущение неблагополучия, образованным слоем России уже почти забытого. Свобода самовыражения, во втором десятилетии века очень широкая (а с марта семнадцатого года — безбрежная), несмотря на митинговый галдеж, начинает сужаться. Причем явно и быстро. Мы с удивлением замечаем, что эйфория, поначалу у образованных такая искренняя, постепенно становится как бы чуть-чуть (а вскоре — и не чуть-чуть) вынужденной. Не при всех все можно говорить: зажиточные интеллигентные либералы замолкают при прислуге, при всяких (поди разбери их) «уполномоченных», при солдатне. Делают они это вроде бы по собственной инициативе. Однако их поведение в некоторых ситуациях принимает оттенок неприятной чем-то или кем-то навязанности, незнакомой (ведь на самом деле они были и до Февраля свободны) зависимости — от кого? Им еще не ясно. И (еще один парадокс) не только эйфорические либералы испытывают этот ограничительный дискомфорт. Казалось бы, Исполком и Совдеп — люди на что уж взаимно свои? Исполкомовцы

по идее — выразители воли депутатов Совета. Но почему-то не очень хочется выразителям свои соображения непосредственно выражать на бестолковом простонародном сходе. Они все чаще ищут возможности столковываться в своем кругу, а перед простолюдинами, перед бурлящим шинельным морем идти по готовому сценарию.

Да и заведомо другого лагеря люди, вроде бы и вполне зрячие, скептичные и определенно, изначально не сочувствующие происходящему, у нас на глазах утрачивают свою прямоту, свою несомненную в дореволюционные времена свободу поведения и твердость. Алексеев, Колчак, Корнилов — такие орлы! И другие, нисколько не трусливей их, — все словно бы до поры до времени выжидают (а ведь потом станет так ясно: непростительно было медлить), помалкивают, принимают правила чужой игры.

Чья же это, позволительно спросить, игра?

Игроков, играющих без всяких правил.

Упомянутые и не упомянутые нами генералы еще недавно с достоинством смотрели в глаза царю. Они не кланялись пулям и никогда до этого не унижали себя ложью. Откуда же эта их февральская заторможенность, эта оглядка на солдат, превратившихся в толпу, на демагогов, бог весть на кого? Откуда лояльность по отношению к силам, которым они не присягали? Только из одного того, что от них отреклась сила, которой они присягали, — царь? Но ведь присяга давалась не лицу, а — кому или чему? Народу? Родине? Государству? Принципу? На какой-то миг их «лояльность» сработала на разрушительные начала, и этого мига оказалось достаточно.

Одних эта парализующая волю оглядка заставляет оберегать от угасания свою эйфорию, искать для нее подпитки и оправдания, смотреть мимо фактов; других — скрывать посредством самоцензуры свои истинные реакции; третьих (уже!) — лгать. И все это для них ново и странно, а для автора и для нас — это вести из жуткого будущего. В их будущем (а нашем недавнем прошлом ли?) ложь, которая в «Марте...» — «Апреле...» ощущается слабым ветерком, станет воздухом, которым дышат все и каждый, от рождения до смерти.

Почему Солженицын в нескольких интервью сказал, что в начале мая 1917 года было уже ясно, кто выиграет бой? Сперва мне представлялось, что он ошибается: ведь существовали еще армия и офицерство; впереди еще было июльское поражение большевиков, корниловское движение, которое могло бы спасти Россию, если бы...; гражданская война; попытка «интервенции» наконец. Но, дочитав «Апрель...» и окинув взглядом срез истории, на котором Солженицын обрывает повествование, я поняла: исследуя час за часом происходящее и подойдя к маю, он увидел, что все эти возможности своевременного абортирования большевизма наперед упущены. И он понял, к а к и п о ч е м у они были упущены (и мы, читатели, вслед за ним это поняли). Солженицын — художник особого склада: воссоздавая, он постигает. Когда ему уже нечего постигать, когда ключ — в руках и читателю фактически вручен, ему становится скучно работать. Вероятно, в работе над «Апрелем Семнадцатого» Солженицын ощутил с окончательной ясностью, что хаос, развившийся к этому времени (а хаос рос вглубь и вширь), сможет обуздать уже только самый страшный из претендентов на власть. Теоретически он это, конечно же, знал и раньше. Но теперь он ощутил это в само́м жизненном материале. Время уходит. Ни одна из мало-мальски порядочных общественных сил не обретает воли к сопротивлению. Мораль и здоровый социальный инстинкт самосохранения не решаются посягнуть на фетиш (мираж!) народной свободы. Поскольку свобода отождествлена со вседозволенностью, то в ы и г р а ю т х у д ш и е. Хаос оседлает и подменит своим всевластием тот, кто не знает самоограничений и сомнений помимо чисто тактических, кто способен игнорировать право, истину и милосердие а б с о л ю т н о. И при этом имеет безотказную систему демагогических лозунгов, не только в высшей степени соблазнительных для масс, но не утративших еще обаяния и для интеллигенции. Т а к и м и б ы л и т о л ь к о б о л ь ш е в и к и. «Правая» часть политического спектра («правее» меньшевиков) поздно спохватится; «левая» (кроме большевиков) «выпадет в осадок», ибо не обретет такой концентрации воли, такого сочетания абсолютного аморализма и оперативнейшей демагогии. Не случайно же к ним потенциально тяготеют среди персонажей Узлов такие разные, но в чем-то совпадающие (цель оправдывает в с е средства) характеры, как Троцкий и прапорщик Чернега (этот, правда, еще колеблется). И не очень комфортно с большевиками простодушному Шляпникову, у которого впереди своя трагедия. Он наивен и честен, а потому и станет в 1920 году вождем обреченной «рабочей оппозиции».

Одно преимущество большевиков носило более или менее субъективный характер: среди них, и только среди них, во главе только их движения оказался Ленин, гениальный тактик, игрок, готовый и умеющий абсолютно вне морали и правил вести свою партию. Его не очень надолго хватит, и он не умеет смотреть далеко вперед,

но свою гибельную для России миссию он выполнит. Март — апрель — пролог его звездного часа.

Солженицын воспроизводит еще один удивительный исторический парадокс. Противники Ленина (в «Марте...» — «Апреле...» еще не успевшие с ним всерьез схватиться) упорно не принимают его всерьез. Они не видят «сокрушительно-захватной мудрости» (Солженицын) Ленина. Так позднее первобольшевики ленинского круга не примут поначалу всерьез «серого» Сталина. Зачатки этой ошибки, стоившей ленинским «гвардейцам» жизни, а Системе — победы, Солженицыным несколькими штрихами намечены. Но вернемся к Ленину. Его явлением и разительными успехами в провокации хаоса, в привлечении к себе народной и армейской стихии никто весной 1917 года по-настоящему не испуган. «Правые» и «левые»-немарксисты Маркса не знают; военные — тем более не знают; о массах нечего в этом смысле говорить и по сей день. Марксистские теоретики кафедрального толка («Katheder-Marxisten») и сегодня, за редкими исключениями, доказывают, а точнее — бездоказательно утверждают, что ленинизм (большевизм) к марксизму никакого отношения не имеет. Между тем марксизм изначально вооружен тактикой провокации к разрушению, искусством раскачивания, возбуждения, опьянения масс. Повышенная возбудимость создана в российских массах начала 1917 года многими злободневными обстоятельствами, растущими в значительной мере из обстоятельств исторических. (Солженицын не случайно в изображении истоков этой возбужденности, этой повышенной реактивности уходит в Первом Узле к молодости Николая II, к 1905 году, к Столыпину.) Но именно большевики — Ленин, всерьез освоивший Марксово искусство провокации и в нем гениальный удачник, нагнетает возбуждение масс до такой степени, что оно превращается для него в рычаг победы.

Очень долго в отношении к Ленину одни — презрительны и даже брезгливы, что с горькой иронией воспроизводится Солженицыным. Так воспринимают Ульянова думские «прогрессисты» из числа кадетской элиты, «октябристы», националисты из образованных. Оппоненты из когда-то своих, как, например, Плеханов, тоже не слишком принимают всерьез ленинский лозунгово-газетно-митинговый «бред» (Плеханов), лишь время от времени давая ему ироничный, на элитарном языке, отпор. И уж тем более никто по-настоящему не занят противопоставлением ленинскому весьма целенаправленному «бреду» ярких, доступных материалов, способных впечатлить массы, успокоить их, быть у них на слуху. Правота очень редко нисходит до самозащиты. Кроме того, народ — он же вместилище всех премудростей и добродетелей, он «бреда» не примет, он его сам отторгнет. Да и не интересней ли образованным людям говорить и писать для своих, на своем уровне, привычным для себя языком? Многие к тому же полагают, что Ленин просто закомплексован, не уверен в себе, не может избавиться от рефлексов борьбы, не успел расслабиться, не ощутил еще победного спокойствия свободы. Выкричится, отшумит и придет в себя. И тогда он несомненно примкнет к демократии. Не может не примкнуть: он же р е в о л ю ц и о н е р, а революционер — это такой же фетиш, как «народ»: он плохим быть не может (Милюков, по Солженицыну: «Ленинцы — дети». Бедный, бедный. Впрочем, в годы второй мировой войны он увидит русского патриота в Сталине). И даже те немногие, кого всерьез начинает тревожить влияние Ленина на массы, кого настораживает тяготение к нему дезертирско-люмпенско-уголовной стихии и крайних политических радикалов, — даже они согласны с демократией, что не силу же к нему применять! Не позорить же революцию и демократию расправой над политическим оппонентом!

До чего узнаваемо все это в сегодняшнем мире, не так ли?

Это — лишь сухие выжимки из многоголосой, многооттеночной солженицынской стереопанорамы с бесчисленностью возникающих в ней вопросов.

Поражает, к примеру, такая закономерность: т а к т и ч е с к и оказывается удачливей всех прочих политиков тот, кто с т р а т е г и ч е с к и наиболее безнадежен, то есть в конечных целях своих вполне утопичен. Потрясает тактическая удачливость, политическая вооруженность сил, в созидательном смысле безнадежных. Этой безотказной удачливости Зла сопутствует невменяемое разгильдяйство сил, в мировоззренческом плане куда более разумных. Зная сегодняшнюю мировую ситуацию, мы с особой отчетливостью ощущаем, что и для Солженицына это парадокс исторический, мировой, а не частный и не только российский.

Политика, по-видимому, особо сложная сфера деятельности именно потому, что в ней взаимоотношения нравственности и эффективности чрезвычайно запутаны и полны уходящих в мистические глубины противоречий. Для Солженицына это вопрос всегда стержневой. Непротивление Злу насилием (сколько бы он его ни декларировал в публицистике) Солженицыну-художнику, историческому мыслителю и человеку на Земле, среди современников, — психологически чуждо. Ему, независимо от того, как сам он свои взгляды воспринимает и декларирует, необходимо если

не абсолютное Добро, то хотя бы наименьшее Зло уже здесь, на Земле. Он не может без боя уступить Злу не только поле человеческого сознания — поле духовное, но и твердь земную, жизнь повседневную. Иначе он не исследовал бы исторические, земные пути человека и общества с таким упорством всю свою жизнь.

В двух последних Узлах противоречие между абсолютом ненасилия и защитой земного бытия проступают с особым трагизмом. Именно в марте—апреле 1917-го переплетения российской истории и российской современности затягивались в гордиевы узлы наших дней.

Итак, игроки без правил оказались сильнее играющих по правилам; темпераментные радикалы — оперативней рефлектирующих мыслителей — короче, люди условно «плохие» на короткой дистанции обошли людей условно «хороших». Беда еще и в том, что дистанция, исторически короткая, в масштабах человеческой и даже национальной, государственной жизни может оказаться роковым образом долгой. Для одного человека, для нескольких поколений — даже и вечной, ибо переживет их.

В «Красном Колесе» эта проблематика пронизана и пропитана другой, родственной: когда, как и в какой мере надо, дозволено (в высшем смысле последнего слова) применять против разрушительных сил — силу? Если, конечно, заведомо не согласиться на исключительно потустороннее разрешение всех печалей. Когда наступает тот последний момент, после которого сопротивление становится бесполезным, и как не дать обстоятельствам этот момент приблизить?

Когда и по каким признакам становится ясно, что в данных условиях ненасилие чревато неизмеримо бóльшим насилием, чем своевременный удар?

Всегда ли такой удар должен быть ответным, или может (обязан) быть предупредительным?

Когда компромисс возможен и даже необходим и когда он недопустим и немыслим?

Все эти и многие другие, общие и конкретные вопросы возникают в повествовании Солженицына в одной коллизии за другой. Они поворачиваются к нам, по воле автора, множеством граней. На наших глазах забушевал уличный Петроград, поддержанный частью войск. Тут же начали возникать эйфорический Временный комитет и параллельно — по минутам наглеющий Совет с Исполкомом. Должен ли был тогда царь, навсегда травмированный ужасом «кровавого воскресенья» (сколько кровавых лет впереди!), стать во главе еще вполне реальной военной акции и подавить волнения? Он предпочел до последней возможности игнорировать известия из Петрограда; затем санкционировать вялый и нелепый «поход» нерешительного старца Иванова на Петроград; потом — выжидать, не призывая войск, и, наконец, по первому требованию неизвестно чьих представителей изменить своей миссии, монархическому долгу, отречься за себя и за сына, безропотно уйти в повиновение и мученичество. В конечном итоге, ненанесением сразу весьма ограниченного удара царь обрек себя, семью и династию на страшную смерть, а Россию — сегодня еще не до конца известно — на какую кровь. И не только Россию.

Разве не было в мировой да и в российской истории моментов, когда решительный шаг лица, располагающего высшими полномочиями, предотвращал, казалось бы, неминуемое?

Если бóльшая или меньшая кровь должны все-таки сопоставляться и влиять на выбор, то царь и армия могли в критической точке преградить путь разносу, как Франко и армия сделали это в Испании (пример не единственный). То же и Михаил (и армия), и Николай Николаевич (и армия), и все монархическое офицерство (и армия).

Солженицын прощупывает все эти возможности, и, как он ни сдержан, как ни отказывается от навязывания читателю предрешенных мнений, как ни избегает категорических суждений, его сочувствие (несостоявшимся) решительным действиям несомненно. Тем более, что влияние на многолетний ход и исход событий глубокого консерватизма царя, личного и политического, его сопротивление даже скромным и необходимым новшествам, его отступления от этого принципа лишь под давлением, показанные в предыдущих Узлах, усугубляли его ответственность за страну и династию, за монархический принцип. Его испугала кровь сограждан? Роковой вопрос, от которого Солженицын не уходит: всегда ли надо ее пугаться? А если за ней стоит кровь куда бóльшая? Не просил ли еще Столыпин Думу отличать кровь на руках врача от крови на руках палача? Не поняли.

Белое движение возникает только против большевиков, с опозданием уже роковым. Как уже было сказано, слишком упорно офицеры, даже высшие, проявляли патриотизм и гражданственность посредством лояльности правительству, которое не имело власти.

Многие офицеры не противятся роковому ходу событий, полагая, что нижние чины достаточно настрадались: можно ли противодействовать обретению ими всей полноты гражданских прав и человеческого достоинства? Слишком поздно (и во всем мире по сей день немногим) станет ясно, что достоинство обретается не в поблажках, не в незаслуженных преимуществах. Оно обретается (если обретается) в ходе долгой и трудной правовой, духовной и созидательной эмансипации. Оно возвращается к ранее дискриминированным слоям только в стабильных обстоятельствах, постепенно, в рамках искуснейшего законотворчества и воспитания, дающего возможность роста. Растлевающие, незаслуженные преимущества б е з р о с т а равно губительны и для дающего, и для берущего. Об этом тоже точно и тщетно говорил Столыпин в своих бессмертных думских речах — говорил в пустоту.

Вопрос об участии России в войне 1914 года и о выходе или невыходе из нее в марте — апреле 1917 года поставлен Солженицыным соответственно сложнейшей исторической, политической и психологической конкретике времени. У Солженицына есть убеждение, общее с давним предвидением Столыпина (Воротынцев и другие близкие Солженицыну персонажи повествования приходят к тому же), что э т а война была не нужна России изначально. Начатая с пафосом и подъемом, несколько аффектированным, она постепенно перестала быть для солдат да и для большей части фронтовых офицеров осмысленной, кровно необходимой, какими обычно становятся войны против оккупантов (иногда — после большой раскачки). Война затянулась, одновременно теряя популярность в народе, а в тылу и в армии творилось уже нечто грозное.

Вместе с тем кончать войну поражением, развалом армии, капитуляцией на невыгодных условиях, отпадением от взятых на себя ранее обязательств, нелепым «братаньем» с противником (на фоне уже наметившейся победы стран Антанты), идти на поводу у провокационной демагогии крайне «левых» никому из порядочных людей не хотелось. И Солженицын сочувствует этому нежеланию больше, чем унизительной односторонней сдаче под давлением «циммервальдцев», разваливающих армию сознательно и окончательно. Оттенки и контрасты его отношения к этой проблеме ни в одном случае не несут в себе чистого пацифизма.

Мы коснулись лишь нескольких линий двух последних Узлов «Красного Колеса», причем коснулись поверхностно. Такой, к примеру, монографической темы, как портреты исторических лиц, зарисовки эпизодических и образы литературных персонажей, которая уложилась бы только в большую книгу, я почти не затрагиваю. В «Марте...» — «Апреле...» восемьсот сорок две главы. Эти главы являют собой колоссальное разнообразие форм: от новелл-«крохоток» (давнего солженицынского жанра) до целостных сюжетов и сквозных персонажных линий. Когда-нибудь подсчитают число проходящих перед нами людей — и в этих Узлах, и во всем повествовании, и во включенных в него документах. И мы потрясемся наново как зримости, слышимости, осязаемости этого оживленного автором сонмища лиц и судеб, так и считанным, единичным неудачам среди, как уже было сказано, персонажей литературных. Сейчас мы коснулись очень немногого. Но заключая этот раздел, хочу подчеркнуть еще раз: в последних Узлах очень мало таких эпизодов, зарисовок, мимолетных высказываний, которые не вели бы в глубины вечных вопросов и постоянно возникающих проблем жизни, истории, человеческой и общественной психологии — всего того, через что мы уже прошли, проходим и что нас еще может ждать. Коснувшись лишь двух-трех моментов этой многомерной, многообъемной полифонии, перейдем к одному из ее проблемных стержней.

3. КТО ВИНОВАТ И ЧТО ВИНОВАТО?

Итак, вернемся к этой, нами уже затронутой, очень болезненной для России и россиян теме.

«Левый» и «правый» (по внутрироссийскому определению) края советского (все еще) общества (и русскоговорящей диаспоры в Израиле тоже) продолжают питать уверенность, что в «Красном Колесе» имеется однозначный ответ на первый вопрос. По мнению «левых», обскурант и шовинист Солженицын считает, что «виноваты» революционная и прогрессистская интеллигенция и евреи. По мнению «правых», Солженицын (патриот и почвенник) доказал, что виноваты инородцы, а по-простому — жиды, и та же интеллигенция (по-простому — поджидки).

Если бы либеральные критики и черно-коричневые их антагонисты («красные» к автору «Архипелага» не апеллируют: они родовой памятью помнят, что он — враг) наконец Солженицына прочитали («левые», в большинстве своем, могли бы это осилить, «наши» — вряд ли), то и первые и вторые горько разочаровались бы. И все

повествование, и особенно выразительно — заключающие его два Узла снимают первый вопрос. Относительно инородцев, чаще всего евреев, показано и сказано, даже и в декларативной форме, что «не инородцы ведут революцию, а революция пользуется инородцами» (Узел IV). И оттого, что эти слова звучат во внутреннем монологе Троцкого, их доказанность всей живописью Узлов не слабеет. Можно было бы посвятить этой теме больше места в наших читательских размышлениях, некоторые трактовки образов и ситуаций оспорив. Но тогда оказалось бы, что мы придаем инородческой теме больше значения, чем автор: она не является для него центральной. И, кроме того, полемика относилась бы не к принципиальным основаниям проблемы, а к оттенкам и вариантам подхода к ее частностям. Это, конечно, интересно и заслуживает отдельного рассмотрения. Но при честном подходе просто невозможно приписать Солженицыну возложение монопольной ответственности за революцию на инородцев, в частности на евреев. Более того: он говорит о естественности борьбы евреев за свое полноправие. Еще в двух первых Узлах становится самоочивидным, что неравноправие особенно остро ощущается евреями на фоне роста общей свободы в стране. Но большинство профессионалов-революционеров еврейского происхождения борется не за права евреев, а за сверхнациональные, классовые и общечеловеческие, по их убеждению, идеалы. Они оторвались от родных корней и не пытаются врасти ни в какую другую национальную почву. Поэтому так много их среди радикалов-социалистов и особенно социал-демократов-интернационалистов. О карьеристах социалистической идеи Солженицын, устами Варсонофьева, предлагает не говорить, но тем не менее говорит. Среди евреев их не меньше, но и не больше, чем среди представителей других народов. В тех очень немногих случаях, когда в повествовании звучат голоса евреев, не стремящихся перестать быть евреями, они революции боятся и осознают, что антисемитизм (как всякая фобия) нейтрализуется (практически, если не психологически) скорее стабильностью общественных отношений и реформами, чем разгулом революционных стихий. Но оставим пока эту тему, подчеркнув еще раз: Солженицын не возлагает монопольной ответственности за крах государства Российского на злокозненных инородцев.

Возлагает ли он его на российскую интеллигенцию (вне зависимости от ее исходных национальных корней)? Гораздо в меньшей степени, чем в «Образованщине», потому что сегодня гораздо менее подвержен первичному впечатлению от «Вех». Солженицын 80-х годов тоньше, с более широким обзором, на основании более глубиного знания судит о механизмах исторических катастроф, чем авторы «Вех». Кроме того, что он располагает куда большим историческим опытом, чем мыслители начала века, он еще и непрерывно совершенствует свое видение мира.

Коротко можно резюмировать следующее: ни на один слой российского общества и народа Солженицын не возлагает монопольной ответственности за российскую трагедию и ни с одного ее современника не снимает ответственности персональной.

Солженицын в своей оценке вклада людей в события верен принципу: кому больше дано, с того больше и спросится. Чего больше? Всех социально весомых качеств. Больше власти — поэтому, как давно и неоднократно было им сказано, правящие отвечают больше подвластных им. Больше знания — поэтому солдат Арсений Благодарёв и даже хитрющий прапорщик Чернега или рабочий Шляпников отвечают меньше, чем Ленартович, Брусилов, Коллонтай... Больше суммарных сил — поэтому ни с армии, ни с народа не снята ответственность за происшедшее. В конечном счете — каждый человек отвечает за свой выбор в каждом конкретом шаге.

Я не прибегала до сих пор к цитированию. Из такого стечения взаимосвязанных явлений и обстоятельств трудно вырвать фрагменты, не увеча целого. Но, к счастью для размышляющего читателя, Солженицын все же отсепарировал несколько своих выводов и сгустил их в двух главках Четвертого Узла: 180-й и 185-й («Саня с Ксеней у Варсонофьева» и «Варсонофьев после ухода молодых. — Масштабы»).

Мы говорили выше о том, как свобода «без конца и без края» сразу же начала утеснять и съедать скромную, казалось, свободу частного лица, которая уже становилась в России привычно не замечаемой повседневностью. Таково же и впечатление современника событий:

> «И, вы заметили? — люди теперь стали говорить с большой оглядкой, чего два месяца назад не было. Тогда — говорили, что кому взбредет. А теперь — боятся, и все в одну сторону.
>
> — Это, пожалуй, да, есть».

Виновата ли монопольно интеллигенция в том, что произошло:

> «— Но все-таки, — имел Саня честность возразить, — к революции вела, пусть ошибочно, идея любви к народу?

У Варсонофьева одна бровь поднялась сильно, другая лишь чуть-чуть.

— У нашей интеллигенции, откровенно сказать, очень много совести, да не хватает ума. Я — не о тех интеллигентах, которые вдруг с марта стали социалистами, — это почти сплошь карьеристы. Я — о самых добросовестных. У них у всех эти недели — что? Восторг, восторг — и обрывается, дыхания не хватает. Победа — в два дня, да — но что потом два месяца? Захлеб веселья и торжества. Вся энергия революции истекла статьями журналистов, речами ораторов и резолюциями собраний. Какая-то революция резолюций».

Как будто и похоже на 1990 — 1991 годы, но в чем-то — да, в чем-то — нет (об этом — особо, ниже). Важно то, что не злокозненность, а «идея любви к народу» и «очень много совести» лежат, по мнению собеседников, в основе побуждений интеллигенции.

Идеализирует ли Варсонофьев «народ» (понятие чересчур обобщенное и отвлеченное)?

«На столе лежали свежие газеты пачкой, он как привзвесил их двумя пальцами.

— Вот, что от этих страниц исходит? Фимиам, фимиам, фимиам — Народу. Но ничего земного нельзя делать с безудержным преклонением Надо поглядывать трезво, да и по сторонам. Вровень народу смотреть, да предупреждать: эй-ка, братец, не расхлебайся. Нельзя кадить черни. Нельзя кадить зверю. Как предупреждал Достоевский — демос наивнейше думает, что социальная идея и состоит в грабеже. Что у нас и покатилось. На всех митингах: «Товарищи, требуйте!» По всей России клич — «подай!» Младенческий, до-политический народ легко соблазнить. Манит, что, кажется: вот, вот она, вековая справедливость. Никто не имеет смелости объяснить народу: свобода — это вовсе не мгновенное изобилие, разорить казну — разорить и самих себя. Обязанности перед родиной — это и есть обязанности перед самими собой. Экзамен на свободу. Если мы так ломаем свободу, то мы и куем себе неизбежное рабство».

Значит, понимание «младенческим, до-политическим народом» «социальной идеи» как «грабежа» старше марксистско-ленинского «грабь награбленное»? И потому вина не может быть возложена исключительно и монопольно даже на Ленина, на большевиков. Ленин, обладающий, по Солженицыну, уникальной «сокрушительно-захватной мудростью» (но не созидательной!), знает, что народ проникнут именно таким пониманием «социальной идеи». Потому и бросает свое «грабь награбленное» в массы, как факел в бензин. Он глубоко ответствен за соблазн, который использовал как переворотный рычаг. Но и соблазненный ответствен за низость соблазна, которому с готовностью поддался.

У большинства революционеров, судя по этим венчающим повествование страницам, нет дьявольски сознательного замысла погубления России. Но человек ответствен и за безответственность, тем более за безответственное переступление заповедей и закона, за безответственное разрушение. За бездумное взятие на себя миссии демиурга «нового мира» и бремени власти, за ее неупотребление и безответственное употребление.

«Посмотрел на поручика. Посмотрел на курсистку. Еще ли, дальше?

— А мы и Европу кинулись поучать свысока. А слово «отечество» опять прокляли, — классы да классы. А классы и разъедают нации, и падает государство. Революционеры стелют Россию под свое кредо, нет времени подумать. Дантон хоть успел понять: «Революция подобна Сатурну: она пожирает своих детей». Но не они меня удивляют, а самые образованные. Самые первейшие кадеты. Привыкли всегда презирать, проклинать власть, и беря ее — не поняли: власть — это страшный дар. Мозжащий. С нею нельзя играть. И не с упоением брать ее, а обрекая себя».

Но и тут есть ловушка: бездействие — тоже безответственность.

«Чего-то, чего-то Саня хотел не упустить?.. А! —

— Павел Иваныч! А вы прошлый раз нам сказали, что строй отдельной человеческой души важнее государственного строя. Так если так — тогда что бы нам революция? Переживем. Лишь бы самим не одичать.

Варсонофьев качнул, повел головой.

— Сказал так? Это — не совсем осторожно. В мирные эпохи — пожалуй что так. Но когда государство разваливается — нет, нет, надо его спасать.

И опять помолчали».

Может быть, что спасать надо еще *до того*, как государство начинает разваливаться? Может быть, принципиально важен еще один момент: *о каком государстве* идет речь — о таком, которое *можно спасать*, исправляя его частности, стороны, законы, улучшая себя и его? Или о таком, в рамках которого нельзя улучшать себя и которое нельзя совершенствовать в его основных принципах, а надо менять принципиально, в главном? Может быть, март — апрель 1917-го и крушение СССР — явления не аналогичного, а взаимно противоположного смысла?

И уж, конечно, если все, сверху донизу, россияне свою страну Россию, которую *можно было лечить, развивать, улучшать вместе с* собой, раскачали до революции, то надо ее спасать. Только не поздно ли — на этом витке дороги?

«— Но может случиться и чудо? — едва не умоляя спросила Ксенья.

— Чудо? — сочувственно к ней. — Для Небес чудо всегда возможно. Но, сколько доносит предание, не посылается чудо тем, кто не трудится навстречу. Или скудно верит. Боюсь, что мы нырнем — глубоко и надолго».

Итак, в «Красном Колесе» нет виновника монопольного и единственного — ни человека, ни слоя, как нет современника, не ответственного за происходящее. Самого яростного соблазнителя и разрушителя можно было бы схватить за руки вовремя, если бы не парализовалась воля, не затянулись пленкой глаза у тех, кто вроде бы зла не хотел и, более того, видел, что происходит. Почему же все-таки одни — рвались разрушать, другие — словно бы лишились воли, инстинкта самосохранения, зрения, рук? Откуда этот чудовищный, как бы не роковой срыв — на три четверти века, в пору тяжелого, со сложностями и перерывами, но несомненно более чем полувекового, подъема? Срыв — при положении отнюдь не безвыходном и не тупиковом, а напротив, при восхождении?

В беседе Варсонофьева с Саней и Ксеньей есть и такой момент:

«Павел Иваныч усмехнулся под усами:

— Тот самый скачок, которого так жаждал ваш друг.

— Неужели вы запомнили?!

— Да вот, запомнилось. Этот-то «перерыв постепенности» — он нам еще и нажарит. В здоровом нормальном развитии ничто живое не знает революций. Революция — это всегда катастрофа, распадаются государственные связи, и общество переходит в расплавленное состояние.

— Но еще, может, и плавно сойдет? — надеялся Саня.

Павел Иванович вздохнул.

— Вы знаете, что такое кристаллическая решетка?

— Помним, — быстро, уверенно заявила Ксенья.

— Так вот. Революция подобна плавлению кристалла. Она разгоняется медленно, сперва лишь отдельные атомы срываются со своих узлов и кочуют в междуузельях. Но температура растет — и упорядоченность строения теряется все быстрей, процесс разгоняет сам себя. И чем больше уже нарушен порядок — тем меньше надо энергии разгонять его дальше. И вот — исчезает последняя упорядоченность, наступает — плавление.

— Но еще может быть — уляжется? — понадеялась и она.

— Иногда и улегалось. Революции не совпадают в подробностях. Но — похожи. В том, что трудно останавливаются. И в том, что никогда не находили истины. Да даже и простого благополучия не приносили. И для самих революционеров — тоже, потому что никогда не получается похоже на их первоначальную программу. А наша революция — она, глядите, отчаянная, она — в припадке падучей бьется. Вон, кричат: «углублять революцию». А что это значит? — Глаза его высвечивали недоуменно. — Как если бы люди были недовольны землетрясением и хотели бы сотрясти землю еще своими силами».

Мысль о великом благе эволюционного развития, не прерываемого катаклизмами настолько глубокими, что они ломают и плавят государственную и психологическую структуры народов, пронизывает публицистику Солженицына и «Красное Колесо». В двух последних Узлах перед нами развернуты начало и первые этапы сорвавшего эволюционный процесс катаклизма. Трагизм этих двух «отмеренных сроков» усугубляется еще и тем, что их пусковые моменты находятся в прошлом, далеком от зримого начала (мы их видели в двух первых Узлах, но корни их где-то глубже), а кульминация — в будущем. «Мы — нырнем глубоко и надолго», — говорит Варсонофьев. И мы по сей день не знаем: мы уже вынырнули, или хотя бы выныриваем, или все еще погружаемся в непредсказуемое, все еще падаем?

Солженицын отнюдь не сторонник политико-экономической и юридической стагнации для России любой ее эпохи, в том числе и XX века. Напротив: один из корней катаклизма он видит в том, что власть слишком долго противостояла необходимым и своевременным изменениям. Тем более он не изоляционист и не предпочитает азиатские начала российского евразийства — европейским. В работе «Как нам обустроить Россию» он четко высказал предпочтение славянского государственного союза союзу многонационально-имперскому, чем смутил и возмутил многих. Вопреки, возможно, и некоторым периодам собственного все углубляющегося осмысления Истории, сегодняшний Солженицын устами Варсонофьева делает вывод:

> «Как раз-то из-за революции и существенно: принять самую высокую точку зрения, откуда русская история последнего века увидится не сама по себе, а в единой концепции с Западом. Ибо на самом деле: слишком много общих опасностей и общих ошибок.
>
> А наши до сих пор попытки осознать происшедшее вот с нами — это спичкой осветить океан».

Представляется вероятным, что сквозная мысль Солженицына о катастрофичности, трагизме скачкообразных судорог Истории (ее даже и развитием не назовешь) и его же венчающая «Красное Колесо» мысль о том, что «русская история последнего века» должна рассматриваться «не сама по себе, а в единой концепции с Западом»,— объективно взаимосвязаны. Причем скорее всего эта взаимосвязь относится не только к последнему веку.

Крестьянские, казачьи, заводские (крепостных времен) движения Болотникова, Разина, Пугачева «кристаллические решетки» государственности «расплавить» не могли. Они были для отношений народа и власти, для тогдашнего положения народа естественны и без смертоносного для государства и народа напряжения затухали и подавлялись в «междуузельях» кристалла, а жизнь между тем медленно, но менялась.

Церковный раскол второй половины XVII века; верховная революция Петра I; восстание декабристов с пестелевским проектом цареубийства и всего, что должно было за этим произойти; народовольческая охота на Александра II (реформатора, а не революционера); революция 1905 года (Столыпин — опять же — не революционер, а реформатор); запущенная, по внешней видимости, бездумной вспышкой недовольства городского простонародья Февральская революция — это феномены, проистекающие из миропонимания верховных сил и образованных меньшинств и посягающие на государственные основы (на «кристаллическую решетку»), на самую эволюцию государства и общества как таковую. Может показаться, что Февральская революция внесена сюда по ошибке, но это не так. Уличные волнения, ставшие ее экспозицией, могли быть легко обузданы при другом состоянии власти и образованного слоя, включая офицерство и генералитет. Радикалы и прогрессисты (каждый из этих кругов по-своему) увидели в настроениях улицы и части солдат подспорье для достижения (каждый — своих) политических целей. То, что при полном непротивлении власти и ее институций проистекло из этих полустихийных волнений, разворачивалось по инициативе и в противоборстве слоев политизированных, а не «до-политических».

Перечисленные мною во второй группе события имели различные цели, смысл, основания, приемы, источники и т.п. Ими руководили различные силы. Но все это были рывки или попытки рывка, резкого качественного изменения, как правило, «сознательные», то есть произвольные.

Оставим за скобками столь сложный и специальный вопрос, как разнохарактерные воздействия на историю Руси и России византийского и западноевропейского миров. Но выскажу предположение, что, по крайней мере, с конца XVII века в верхах и в образованном слое с известными колебаниями преобладали уже влияния европейские, которые еще до Петра I начали посягать на тенденцию почвенно-византийскую.

В наши дни весьма популярны две концепции российской истории. Главный тезис одной из них: в России, по причине рабской психологии ее народа и деспотизма власти, цикл подъема, кульминацию революции (или радикальных реформ) всегда сменяет победа жесточайшей реакции и нового гнета. Центральный тезис второй: плодотворную эволюционную схему органического, естественного развития России периодически ломает своими революциями (или реформами) «малый народ», чуждый «большому народу», то есть инородцы и западническая интеллигенция. Порой с ними связана и центральная власть. Иногда «инородцы» — синоним евреев, а иногда последние особо не выделяются, и «малый народ» предстает просто как синоним прогрессистского образованного слоя.

Реакционные впадины после революционных подъемов характерны и для других народов. Но, когда речь идет о России, они воспринимаются многими историками не как колебания на пути «прогресса» (объяснили бы мне, что означает в применении к истории это слово), а как бессмысленное топтание на месте. Точно так же, более резким, чем у других европейцев, представляется ряду историков отличие российского образованного слоя («малого народа») по его взглядам, менталитету и идеалам от народных масс (Варсонофьеву — тоже).

Разумеется, не было «топтания на месте»: и Русь и Россия с течением времени претерпевали многообразные перемены, как и весь остальной мир. В творчестве Солженицына, а в «Красном Колесе» — в особенности (в «Марте...» — «Апреле..» — с исключительной наглядностью), предстают как бесспорная общность исторического контекста западного и российского XIX и XX веков, так и особо катастрофическая роль слишком уж «больших скачков» в российской новой и новейшей истории. «Большие скачки» российской истории с их предпосылками и конкретикой отмечены и интерпретированы многими художниками, исследователями, политиками и политиканами. Мне представляется, однако, одним из наиболее продуктивных (среди мне известных) подход к проблеме происхождения этих революционных срывов, взрывов и прыжков с обрыва доктора философии Алексея Жданко[1], историка, в России, я полагаю, еще неизвестного, а значит, и не оцененного.

А. Жданко разрабатывал свою концепцию первоначально в применении лишь к российской истории. Позднее он расширил ее до весьма высокой степени универсальности. В интересующей нас части его идея состоит примерно в следующем. Для всех нас бесспорны неравномерность развития, разный возраст и разнохарактерность народов и государств Земли, различия их культур. Не менее самоочевидна взаимосвязь между ними, все более тесная и многоаспектная.

Когда по тем или иным конкретным причинам общество, по терминологии А. Жданко, менее развитое, отсталое (а может быть, более молодое или очень своеобразное — в общем, иное, чем источник влияний) массивно заимствует у другого народа (иногда — добровольно, нередко — по принуждению) нечто ему (е щ е или в о о б щ е) несвойственное, внутренняя стабильность общества-реципиента падает. Дестабилизация тем глубже, чем больше разрыв между донором и реципиентом по отношению к данному заимствованию или влиянию. Внешняя, объективная стабильность общества (народа), подвергнутого воздействию инородной культуры, может обеспечиваться до поры до времени сильной метрополией в ее колониях или центром империи в инонациональных регионах. Но если центр почему-либо слабеет и его влияние падает, чуждые ему «окраины» и вкрапления дестабилизируются и хаотизируются легче и прежде всего. Потенциальная нестабильность жила в них с момента вторжения мощных чуждых влияний.

Примеры, рассматриваемые А. Жданко, ныне можно распространить на очень широкий круг исторических феноменов, что он и делает. Так, согласно его модели, Италия, где капиталистические отношения возникли и развились намного раньше, чем в остальной Европе, естественно и органично, так и не пережила ни одной сокрушительной социально-экономической революции (только национально-освободительные). Франция и Англия, по мнению А. Жданко, получили и з в н е политические, концептуальные импульсы к изменениям раньше, чем дозрели до их собственного, внутреннего хозяйственного продуцирования. Эти импульсы привели к революционным потрясениям, ибо образованные, эмансипированные, а порой и правящие слои и группы стремились изменить отношения сознательно и с р а з у. Но из-за относительной умеренности разрыва, из-за наличия уже и собственных элементов тех же отношений внутри обществ-реципиентов потрясения оказались в данных случаях не апокалиптическими. Они были преодолены, не сметя с лица земли заимствующих государств и культур как таковых. Новым отношениям в ходе постепенно улегшихся сотрясений была лишь придана некая органическая для реципиентов специфика.

Пример иного характера: в случае очень уж инородных колонизаций экспансия «передовых» (?) культур убивала культуры аборигенов, а нередко — и их самих. И не только своими пороками, против которых здесь отсутствовал даже слабый иммунитет, но и своими благодеяниями: привозной пищей, губящей суровое местное искусство добывания хлеба (мяса) насущного; снижением естественной смертности при неизменной рождаемости, что влекло голод; экологией городских трущоб, убивающей вчерашних детей природы, и т. д. и т. п.

---

[1] D r. A. V. Z h d a n k o (The Hebrew University of Jerusalem, The Marjorie Mayrock Center Faculty of Social Sciences). Une approche cybernetique de la philosophie des revolutions modernes. Proceedings of 13th International Congress on Cybernetics. Namur (Belgium). 1992.

У д-ра А. Жданко есть и другие публикации, связанные с интересующей нас проблематикой.

Между тем взаимодействие разнородных обществ совершенно неминуемо на небольшой планете с ее прогрессирующими во всех отношениях (скорость, дальность, точность, надежность, многообразие) способами связи и передвижения.

У А. Жданко есть размышления о перспективах преодоления жестоких издержек неизбежной нетождественности культур при неотвратимости всяческих взаимодействий этого неисчерпаемого разнообразия.

Вряд ли вышеупомянутые издержки могут быть сняты или полностью предупреждены, как и издержки взаимосвязей между людьми, и между человеком и природной средой его обитания. История человечества на Земле накопила много необратимого и непоправимого. Но, возможно, еще не исключено, что человеческой таинственной способностью к нравственной оценке, непостижимым существованием в нас Совести, растущими способностями к анализу и самоанализу, прогнозированию и «подходящему отбору» эти издержки могут и смягчаться? Не доводиться до сокрушительного размаха?

В солженицынском повествовании, как бы того ни хотелось экстремистским краям, не звучит реактивное: «Двери, выходящие на Запад, — на замок! Окна — зашторить! Все взоры — внутрь, вглубь, в Царьград!» В его повествовании если и наличествует реакция, то это реакция возвращения к событиям и их осмысление.

Ведь, кроме всех прочих органических не-тождеств, Русь, Россия, в грубом приближении, на полтысячелетия моложе послеримского Запада, не говоря уж о мире античном. Развиваясь очень быстро и достаточно рано проявляя близкие к западным тенденции, хозяйственные и политические, Русь оказалась для Запада защитным кордоном, в пространствах которого захлебнулось, замедлилось и утратило основную ударную мощь татаро-монгольское нашествие. Авангард его домчался до Запада уже на излете. Но тем самым усилилась взаимная разноликость и разнокачественность Руси и Европы.

По ряду историко-географических причин надолго законсервировался более молодой возраст восточного славянства, а затянувшаяся юность — это уже инфантилизм, некое отставание в чем-то от нормы. Да и сама Русь-Россия внутри себя оказалась конгломератом разномерных, разновозрастных, разнокультурных субэтносов. Их труднее было сплавлять в целостное государственное единство, чем моноэтнические или малоэтнические западные государственные образования. От Центра здесь требовалась бóльшая степень принуждения и напряжения. Если перескочить к периоду колонизации, то заморские колонии европейцев тоже не внедряли в жизнь своих метрополий того дополнительного разнообразия, разнохарактерности, разновозрастности культур (то есть того потенциала нестабильности), которые вносили в российскую жизнь прилежащие иноэтнические территории. Эта близость при органической разности тоже требовала дополнительных централизующих напряжений, преодоления, подавления.

Естественно, что первым терял и теряет исходную этническую особость образований слой, через который притекают все инородные влияния ареалов, в общепринятом смысле более развитых. Еще естественней, что проникающие в быт и жизнь метрополий инородцы были заведомыми носителями идеи выравнивания прав. И чем более ассимилировались они в метрополии, тем естественней была для них борьба за такое выравнивание. Закономерно и то, что метрополия куда меньше боялась инородцев, имеющих свои этнические пространства и проникающих в ее жизнь лишь единично, чем дисперсно рассеянных по всем ее территориям; что последних она дискриминировала, то есть ограничивала в правах и возможностях, куда больше. Эта организменная реакция отторжения тоже создавала дополнительные напряжения и потенциал нарушения стабильности.

Народ, приемля великую религию, легче — в массовых своих слоях — осваивает внешнюю ее сторону, чем ее глубины. Так, молитва, сакрализация иконы, посещение храма входят в обыкновение народов-неофитов сравнительно быстро, ибо места отправления культов, магические предметы, обряды, ритуалы (пусть иные, но в принципе, как явления) знакомы уже и язычеству. Концептуальные же философемы и этические основы монотеизма для него новы и ему чужды. Они осваиваются с огромным трудом и не всеми.

Запад, как и Россия, получил христианство извне своих античных и варварских культур. Христианство пришло к нему поначалу, казалось бы, тонкой струйкой, растекавшейся кровавыми пятнами на песке римских цирков. Долго, мучительно каждый западный этнос, каждый слой западных обществ его осваивал, перерабатывал соответственно своим особенностям, причем нередко далеко не христианскими средствами. Но ко времени появления в образованных слоях стран Запада рационалистов-просветителей христианство имело там и мощный державно-церковно-духовный пласт, и повседневную внедренность в народный быт. И то — скепсис гуманистов-рационалистов в вольной интерпретации французских революционеров

и городских толп 1789—1794 годов сотряс христианский Запад до основания, залив кровью городские площади и поля сражений.

В Россию идеи просветителей пришли извне, через тончайший образованный слой. За сто с лишним лет до этого российское православие было жесточайше расколото никонианской реформой, последствия чего, по мнению ряда историков, в том числе и современных, наложили на все дальнейшие пути России неизгладимый отпечаток. Естественно, что приток новых идей и обычаев зазмеился новыми трещинами по народному телу России. Это тоже ослабило потенциально ее стабильность, но ведь иначе ни люди, ни этносы, ни государства сосуществовать и взаимодействовать не могут. Такова историческая данность: взаимная нетождественность, взаимодействие, осложнения. Вопрос вопросов: как и когда мы научимся нейтрализовать свою взаимную нетождественность без роковых издержек?

Петр I, конечно же, не только из-за неукротимого нрава, страстного темперамента и кукуйских влияний стал в бешеном темпе вестернизировать Русь. Огромная, богатейшая природно страна была лакомым куском для всех сопредельных государств. Утвердить ее собственную державность и независимость без культурной и военно-технической модернизации было нельзя. Если бы Петр не начал завоевательных войн, у него было бы время для хозяйственно-правовой эмансипации, которая дала бы всестороннюю модернизацию сама собой, без насилия над большинством народа. Так начали Александр II, потом — Столыпин (и хотели начать до Петра Василий Голицын и Софья, и не только они одни). Но Петр окончательно связал и закрепостил «младенческий» и «до-политический» еще и в 1917 году народ и батогами погнал его на свои великие войны и великие стройки. Он не менее полно подчинил себе высшие классы, включая духовенство, и одних послал (в большевистском темпе) учиться у Европы в Европе, а других поверхностно и беспощадно европеизировал дома. Он с такой силой и радикальностью потянул более или менее образованные (вернее — грамотные) слои в сторону, противоположную привычной народной ориентации и народной инерции, что у народного тела хрустнули шейные позвонки. Так возникла еще одна глубинная неоднородность внутри нации. Народ был надолго обречен оставаться «младенческим» и «до-политическим», а поверхностно вестернизированный образованный слой — беспочвенным. И это тоже не увеличивало остойчивости и устойчивости, а требовало наращивания централистско-властного напряжения.

Говоря об этом «рывке» Петра I, я имею в виду не мысль Ключевского, процитированную недавно М. Геллером («Русская мысль», 28 августа 1992), о том, что в отсталых странах «нужда реформ назревает раньше, чем народ созревает до реформы». Александр II проводил реформы, для которых народ созрел за век до того, и постепенно народ эти реформы, так сказать, осваивал. Столыпинские реформы шли не сами собой, а усилиями реформаторов, но тоже приносили плоды. Я говорю о тех случаях, когда миропонимание правящих или образованных слоев форсирует скачкообразные сдвиги, которые (еще или вообще) *невозможны, ненужны, непосильны* для всех участников драмы: для нации, для народа, для государства. Рывок идет не от «нужды реформы», а от чьего-то *волюнтаризма*, либо возникшего не ко времени, либо вообще утопичного. Иногда разрыв во времени (между возникновением *идеи* перемен и появлением истинной *нужды* в переменах) не так уж и велик, и все постепенно утрясается. Иногда разрыв этот непреодолим и произвол «скачконосцев» разрушает насилуемое сообщество.

Парадоксальным образом «большие скачки» (большевики доказали это как никто другой) в конечном счете только замедляют, а потом исключают модернизацию, которой добиваются «скачконосцы». Сделаем, однако, и мы некий «скачок» в наших размышлениях.

На Западе социалистические (XVI—XIX веков) идеи, включая марксизм, явились реакцией на тяжелые издержки бурного развития капитализма. В этих учениях образованный слой протягивал руку помощи и открывал пути спасения жертвам первоначального накопления капитала. Одновременно складывалось и массивное третье сословие. При всех кризисах и колебаниях общественного настроения и даже катаклизмах «третье сословие» балансировало крайности. Ему жилось все лучше. Оно *коренных* перемен желало все меньше и потому помогало основным социальным структурам устоять до тех пор, пока стало ясно, что и пролетариат в массе своей имеет тенденцию вовсе не люмпенизироваться, а переходить в «средний класс». Это невероятно раздражало и огорчало Маркса, Энгельса и вторящего им позднее Ленина. Но социализм не стал взрывчаткой для органически породившего его Запада, где он являлся противовесом реальным порокам строя. Не стал потому, что параллельно социализму развивались и положительные стороны капитализма, и другие противовесы его издержкам.

В Россию XIX века идеи революционного социализма привносит совестливая и сострадательная к народу интеллигенция, усвоив их от западных авторов и по-своему акцентировав. Ей больно за народ, она сочувствует ему, она терзается своей перед ним виной. Идеи социализма начинают усваиваться интеллигенцией еще до реформы (классовой базой этих идей социалистам представлялась крестьянская община и отчасти артель).

Когда эти идеи из атрибута интеллигентского мышления превращаются в руководство к действию, в инструмент революционной пропаганды, им не на что опереться в народе, кроме чувства обойденности, ущемленности, обреченности, озлобленности против богатых, живущего в малоимущих и неимущих слоях л ю б о й формации. И так как балансира в лице полноценного «среднего класса», массивного «третьего сословия» и «рабочей аристократии» здесь почти еще нет (русский купец, промышленник, мастеровой помнят еще своего крепостного деда, а то и отца), а фермерство начинает превращаться в класс лишь в XX веке, то взрывчатая сила чувства обиды, несправедливости, обделенности весьма велика и резко возрастает в периоды бедственные (война, неурожай, эпидемии и т. п.). Все это понимал лучше других государственных деятелей Столыпин, и далеко не только один Столыпин. Но преобразования, начатые в 1860 — 1910 годах, еще не успели скрепить Россию цементом экономического процветания.

В «Красном Колесе» Варсонофьев напоминает Сане и Ксенье с полнейшими к тому основаниями, что в «младенческом» «до-политическом» народе «кадить зверю», «кадить черни» особенно опасно: в нем зверь, сидящий в каждом из нас из-за нашей полуживотной природы, очень силен. Но если социалисты «донаучного» нерадикалистского толка народу в основном кадили и сострадали (вспомним, что Варсонофьев говорит и так: «Но ничего земного нельзя делать с безудержным преклонением»; иными словами — «не сотвори себе кумира»), то террористы-народники и большевики зверя в массах людей сознательно и упорно провоцируют. И это преступно и непростительно, ибо, как мы знаем, горе тому, через кого входит в мир соблазн.

Так возникает еще одна цепь дестабилизирующих напряжений, с которой власть справиться не умеет, а в образованном слое справляться некому: он сочувствует провокации и осуществляет ее.

Нельзя умолчать о еще одном из присталищ все той же внутренней неравномерности, которого мы уже отчасти касались: о еврейском вопросе — о евреях, массово хлынувших в Россию с разделом Польши. Еврей, пребывающий в замкнутости физического и духовного гетто, являлся фактором жизни основного народа в меньшей и иной мере, чем еврей, вышедший из этой замкнутости и пытающийся стать во всех отношениях равноправным с аборигенами, ассимилироваться в их культуре, хозяйстве и праве. Вполне естественно, что духовный мир гетто и «черты оседлости», второе тысячелетие коренящийся в сферах иудейской древности, предания, обряда, религии, элитарно — в мире философских течений и глубин иудаики, иврито-арабо-испаноязычного ренессанса и слабых ростков новоиврите кой и идишистской литератур, не мог удержать в своих пространствах амбициозную еврейскую молодежь конца XIX — начала XX века. Чем более демократизировался западный мир, тем легче еврейская молодежь перешагивала запреты сурово-ограничительной родной традиции, рвала с родными корнями. Она тем энергичнее и смелее к этому стремилась, чем острей ощущала: самый высокий авторитет внутри «черты оседлости» не уменьшает ее приниженности и фактической внекультурности в большом мире, вне гетто. Для обретения уважения и признания в большом мире рассеяния еврейским растиньякам нужна была его, этого большого мира, культура.

В массе случаев еврейская эмансипированная молодежь совершенно искренне жаждала слиться с культурой и духовностью коренного народа, еще чаще — с некоей всечеловечностью. Но всечеловечность — абстракция, обретающая тело и краски только через родное. А «родное чужое» — это оксюморон. Даже когда ассимилированный еврей ценой колоссальных личных усилий входил в русскую духовность от религии до искусства, как в свое собственное, дорогое ему духовное бытие, окружающие видели в нем пришельца, чуждого («конь леченый, вор прощеный, жид крещеный — одна цена»). Да ему и редко удавалось освоить чужое во всех его красках, разве что — гениям. Чаще выходец из просторов родной ограниченности безжалостно обрывал свои старые корни, но оставался на поверхности (или в поверхностном слое) почвы новой. Вместе с тем он совершенно естественно для человека с развитым личным достоинством оскорблялся неприятием и отчужденностью со стороны окружающих и претендовал на юридическое, соревновательное и бытовое равноправие с ними. Ему было больно, и он не понимал, почему его отторгают. Между тем не только ксенофобия, свойственная в разной мере всему живому, мешала новой среде принять чужаков. Примешивалось и потенциальное соревновательное неравенство: различные степени динамичности, разные темпераменты, разные меры практицизма и

прагматизма, настороженности, активизма. Молодой народ не мог воспринимать без опаски этнос четырехтысячелетний, беспощадно отселекционированный в своем выживательном упорстве, испокон веков книжный, заклейменный в христианском сознании как христоубийца (последнее легче воспринималось и запоминалось, чем то, что это был и народ Марии, и народ Христа, и народ первоапостолов, и народ первохристиан). Неприязнь периодически перерастала в эксцессы; она реализовалась и в государственном законодательстве. Но евреи, и в первую очередь ассимилированные, не хотели и не могли воспринимать гонения, неравноправие, неприязнь, переходящую в ненависть, с покорностью, с философским и научным беспристрастием, с терпеливой выжидательностью. Ассимилянты и в условиях полного равноправия склонны к радикализму: если свои корни отрезаны, а новых еще нет, то откуда взяться консерватизму? А уж ассимилянты гонимые — тем более. Новый мир без наций и классов, без гонимых и обездоленных, — к чему же стремиться в таком положении, если не к нему? Солженицын несколько раз говорит о естественности легкого вхождения евреев в революцию и высокой активности в ней. Но естественность конфликта не смягчает его, а скорей обостряет. Еврейский вопрос умножает внутренние неравномерности российского мира, а значит, и его готовность к дестабилизации.

Постепенное, компромиссное, конструктивное решение наличных проблем Российской империи, даже в 1916 году, при ненужной войне теоретически (то есть объективно) было возможно. Многие видели, угадывали, нащупывали его пути. Но неповторимый и неуловимый «дактилоскопический рисунок» реальных обстоятельств породил катастрофу, которой никто ничего не успел или не сумел противопоставить. Солженицын воспроизвел ее на наших глазах.

Воссоздавая события 5 мая 1917 года, художник нанес последние штрихи на гигантское полотно, сделал последние мазки. В его глазах, в этой точке многомерного повествовательного пространства исход февральской трагедии, как уже было сказано, решился. Чуда не могло быть, ибо слишком немногие сознательно «силились ему навстречу» (А. Солженицын, «Как нам обустроить Россию»). А лодку раскачивало большинство в ней плывших. На этот раз тысячелетний феномен по имени Русь, Россия давления великого множества внешних и внутренних дестабилизирующих и взрывных воздействий не выдержал. Между началом 1917-го и 90-ми годами этот феномен приобрел облик и свойства, о которых следует говорить особо. Тем более, что он и по сей день пребывает в преобразующем — неизвестно во что и куда — движении и менее стабилен, чем когда бы то ни было.

4. «И НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО...»

Правомерна ли столь характерная для Солженицына параллель между февралем («Мартом» — «Апрелем») Семнадцатого и событиями конца 80-х — начала 90-х годов теперь уже в бывшем СССР?

Для Солженицына это параллель сущностная и с давних пор очевидная. Он задолго до эры «перестройки и гласности» боялся повторения февральского «кабака», развалившего страну в восемь месяцев. И в наши дни, например, в интервью С. Говорухину в Вермонте, он эту параллель продолжает констатировать. Более того: он всегда считал, что «кабак» на этот раз будет и страшней и безвыходней.

Я принадлежу, однако, к тем, кто вопрос, наличествует ли между этими двумя эпохальными сдвигами принципиальное тождество, склонен трактовать несколько иначе.

Солженицын сделал нас очевидцами событий весны 1917 года. Происходящее сегодня мы переживаем как современники. Благодаря этому мы участвуем и в первых, и во втором. Думаю, что события марта — апреля 1917 года и события (беря приближенно) 1985 — 1992 годов — это в некотором глубинном смысле не тождество, а взаимная антитеза.

Есть ли сходство между февральской и современной (осень 1992 года) Россией?

Событийно, сюжетно, по воздействию происходящего на жизнь людей, на ее стабильность, во многом — да. Внутренне, сущностно, принципиально — нет.

Главное в этих двух сотрясениях не совпадает: у них принципиально различные начальные и краевые условия.

Первое (Февральская революция) было грандиозным историческим несчастным случаем, катастрофой. Разве мы не знаем, что в катастрофах гибнут и здоровые люди? Что в них разбиваются и работоспособные, неизношенные механизмы? Что заболевают и умирают преждевременно и жизнеспособные существа? Приводит к этому каждый раз свое: то трагическая случайность, то цепь собственных ошибок, то чей-то злой умысел — словом, то зависящие, то не зависящие от гибнущих обстоятельства. Как произошла и приобрела необратимость та катастрофа, Солженицын нам показал.

Еще раз отвлекусь от двух последних Узлов «Красного Колеса».

Перечитывая недавно мемуары Романа Гуля, я остановилась на эпизоде, который при первом чтении первого тома[2] и при его рецензировании не привлек моего внимания (еще одно доказательство того факта, что неподготовленный читатель — плохой соавтор писателя). В 1981 году я слишком мало знала о России, о революции, о первой эмиграции, чтобы по-настоящему воспринять бесценную книгу Гуля. Этот эпизод в очередной раз показывает, как точно «Красное Колесо» Солженицына воспроизводит истинную картину российских обстоятельств 1910 — 1917 годов. Вот отрывок (речь идет о «русском Берлине» начала 20-х годов):

> «...Среди обедавших я невольно обратил внимание на пожилого, с проседью, крепкого человека с заклиненной седоватой бородкой, по-военному выправленного так, что если бы обедавшие и не обращались к нему — «ваше превосходительство» — я сразу определил бы его, как военного. Штатский костюм сидел на нем, как мундир. Но генерал привлек мое внимание не внешностью, а сужденьями. Разговоры за столом шли, конечно, о политике. К «его превосходительству» обращались с вопросами. И всегда все, что говорил этот генерал, было умно, остро, было видно, что генерал политически весьма ориентирован и со своим мнением. По войнам (мировой и гражданским) я знавал русский генералитет, и надо честно сказать, что наши генералы в подавляющем большинстве были политически невежественны (в противоположность иностранным военным). Недаром во время революции сам глава генерального штаба генерал М. В. Алексеев, ища патриотической поддержки среди левых, однажды обратился к социалисту-патриоту Г. В. Плеханову: — «Георгий Валентинович, ваше слово, как старого социалиста-революционера, было бы...» — Плеханов поправил генерала, и, думаю, на лице Плеханова отобразился «ужас» — чтобы его, «отца русской социал-демократии», назвали «старым социалистом-революционером»!.. Поэтому-то своей политической осведомленностью и удивлял меня кушавший у фрау Бец генерал. Под конец я не выдержал и, уходя, спросил фрау Бец —«фрау Бец, скажите, пожалуйста, кто этот генерал?» — «А вы разве не знаете? — удивилась она. — Это же Александр Васильевич Герасимов!». Тут я (внутренне ахнув) понял, почему так умен и политически образован этот солидный генерал. Это — бывший начальник Охранного Отделения ген. А. В. Герасимов, правая рука быв. премьер-министра П. А. Столыпина, тот, кто мертвой хваткой схватил двустороннего предателя Азефа, заставив работать только на Охранное. И тот, кто спас Азефа от убийства эсерами, после разоблачения, дав ему подложные документы и деньги.
>
> Вскоре Б. И. Николаевский познакомился с А. В. Герасимовым. Оба они были великие знатоки русского революционного движения, но... с разных сторон баррикады. Они стали встречаться и беседовать (очень интересно). Дома Б. И. записывал рассказы А. В. для себя. Но давал их читать мне. Эти записи мне очень пригодились при писании мной исторического романа «Азеф», в котором я вывел и генерала Герасимова. Герасимов опубликовал свои воспоминания по-немецки и по-французски. Жаль, что до сих пор они не вышли по-русски».

Уже вышли — в редактируемой и издаваемой А. Солженицыным (за счет гонораров от «Архипелага ГУЛАГа») уникальной серии «Всероссийская мемуарная библиотека» (ВМБ), насчитывающей двенадцать томов и продолжающей выходить. Замечу, что генералу Герасимову история и личность Азефа видятся несколько иначе, чем Б. Николаевскому и Р. Гулю. Но продолжим цитирование воспоминаний Гуля:

> «Из политических рассказов Герасимова Николаевскому я запомнил особенно один. Герасимов был близок к Столыпину в задачах внутренней политики. И вот Герасимов рассказал, что он и Столыпин разрабатывали законопроект о легализации всех русских политических партий, за исключением тех, которые прибегают к террору. По этому законопроекту (если б он осуществился) в России оказался бы такой политический спектр: союз русского народа, октябристы, конституционные демократы (кадеты), народные социалисты, социал-демократы (меньшевики). История указывает, что если б подобный законопроект воплотился в общественной жизни, социалисты-революционеры отказались бы от применения террора. За это говорит их отказ от террора после объявления манифеста 17 октября 1905 года. Вне

[2] Р. Гуль. Я унес Россию. Т. 1. Россия в Германии. Нью-Йорк. «Мост». 1981, стр. 115—116

легальности остались бы лишь большевики-ленинцы с своими «эксами» банков. Думаю, что это был политически-мудрый путь успокоения и нормализации общественой жизни России. Но... Николаевский спросил Герасимова: почему же проект не осуществился? На что Герасимов, махнув рукой, коротко проговорил: «камарилья в зародыше удушила...» Эта дворцовая камарилья, вершившая дела у трона, более всех виновна в страшной беде России. Она отстранила Витте (и не только его), убила Столыпина, создала распутинщину и сухомлиновщину и привела к катастрофе революции...»

Оставим в стороне «распутинщину» и «сухомлиновщину» как лежащие вне темы нашего разговора. Но вспомним: в «Августе Четырнадцатого», то есть соответственно интерпретации Солженицына, убийство Столыпина Богровым совершено под влиянием общественного «идеологического поля» (Солженицын) и при явном попустительстве киевского охранного отделения, связанного с вышеупомянутой «камарильей». И отставка Столыпина, предрешенная царской четой накануне убийства, тоже в немалой степени подсказана этой околотронной силой, интриговавшей против премьера-реформатора. Характерно и то, что реформа, подобная упомянутой генералом Герасимовым, сделала немецких социалистов союзниками кайзеровского правительства во время войны (правда, весьма ненадежными в момент поражения Германии). Спектр партий, перечисленных Р. Гулем, примерно соответствует партийной амальгаме ряда демократических стран.

Яркий рассказ Гуля позволяет нам в очередной раз увидеть многое: как прозорлив был Столыпин, неоднократно предлагая умеренным прогрессистам Думы союз с правительством против экстремистов и сотрудничество в реформе; как не соответствовал своей эпохальной миссии Николай II; как слепа была насквозь радикализованная российская интеллигенция; каких неожиданных и сильных союзников могли бы иметь просвещенные «центристы» России, не заноси их исключительно и только «налево»; как (подчеркнем еще раз) зорко воспроизвел сложнейшую ситуацию 1900—1917 годов Солженицын.

Второй сдвиг (зримое начало крушения коммунистической тоталитарной Системы и ее империи) предопределен роковыми свойствами самого этого феномена, а не трагическим стечением обстоятельств. Речь могла идти (и Солженицын в своей работе «Как нам обустроить Россию» ее повел) лишь об одном: как сделать, чтобы, рушась, это чудовище не раздавило, не додушило, не увлекло в свою могилу сотни миллионов людей.

«Посильных соображений» Солженицына в 1990 году не захотели услышать. Горбачев прилюдно извратил смысл его слов. Украина, Казахстан, Узбекистан — обиделись. Первая — за то, что Солженицын советовал ей не отделяться от России и Белоруссии. Второй — за то, что писатель рекомендовал ему руссконаселенные области отдать России. Третий — за то, что автор брошюры полагал целесообразным для России отделиться от Средней Азии. Причем убеждал совершить все это постепенно, мирно, путем переговоров и референдумов. Обиделась жестоко и часть русских — за полное неприятие империи. А лучше было бы, не обижаясь (на что?), обсудить и путем ряда компромиссов уточнить свой выбор. Ельцин нашел время поговорить с Солженицыным почти через два года после выхода в свет этой брошюры. Демократы ударились в основном в язвительный скепсис. Запад Солженицына, как всегда, не слышал, а все еще ловил каждое слово «Горби». А между тем в 1990 году эти оставшиеся одинокими размышления, откликнись на них их адресаты, могли бы воздействовать на ход событий, как хороший консилиум — на лечение и ход болезни. Но, к несчастью, люди, настроенные патриотически, не повернулись к совместному серьезному разговору в одни из немногих отпущенных России для выбора — минут? часов? дней? месяцев? Ельцина Солженицын тоже открыто и однозначно не поддержал...

Весной 1917 года человеческое упрямство, человеческое нетерпение, неведение, везение одних, невезение других, человеческие иллюзии, ошибки в понимании своего и чужого блага разрушили государство и сообщество, которые нельзя было, незачем было, грешно было разрушать. Это государство и это сообщество могли жить и поступательно разрешать свои непростые (а у кого они простые?) проблемы. Даже запоздалость реформы 1861 года и страх крестьянства перед нормальными рыночными отношениями уже изживались. В России зримо складывалась, могла бы сложиться многонациональная конституционная монархия, процветающее аграрно-промышленное хозяйство. Все ли, не все ли ее территории начала века остались бы при ней и в каких статусах — это не столь уж и принципиальный вопрос. Вероятно, не все. Мы видели на примере Великобритании, что распад империи — не синоним смерти державы и нации. А здесь территории были не заморские, и своевременно

преобразованный их союз оказался бы, возможно, прочнее и шире, чем Британское содружество наций сегодня. Нам скажут: *что* не сохранилось, *то* и не могло сохраниться. Повторим еще и еще раз: это — заблуждение. Когда у больного кризис, то даже мелочь в тактике врачей, в поведении родных, его самого может оказаться губительной или спасительной. Особенно при заболевании тяжком, но не смертельном. Браки, романы, дружбы, семейные и деловые связи сохраняются или разрушаются в критические моменты, в огромной степени — в зависимости от нравственности и культуры партнеров. Исход человеческих конфликтов далеко не всегда предрешен фатально. И даже решив расстаться, люди разного нравственного уровня расстаются по-разному. Кстати, Солженицын не раз говорил о принципиальной применимости к обществу и к политике критериев личной нравственности.

Нет, ни о России 1917 года, ни о России и СНГ 1991—1992 годов нельзя сказать уже упомянутыми выше словами В. Ключевского, что нужда реформы созрела в них раньше, чем народ созрел для реформы. Во-первых, в обоих случаях речь шла не о реформе, а о революции — о сокрушении и замене основ государственного строя. Во-вторых, в России 1917 года никакой нужды в такого рода радикальной трансформации не было. В-третьих, в СССР—ССГ—СНГ — ??? и России конца 80-х — начала 90-х годов спорят друг с другом не нужда в реформе и незрелость народа, а неотвратимый распад нежизнеспособной Системы и разнонаправленные попытки этот распад остановить. Причем одним остановка распада нужна для преобразования монстра в нормальный организм (или организмы), другим — чтобы повернуть историю вспять и воссоздать монстра.

Очень горько, что преобразователи рушащегося чудища в здоровый организм разрознены и между собой чуть не дерутся. Зато реаниматоры чудища объединяются в совершенно немыслимых, казалось бы, сочетаниях: империалисты-государственники, коммунисты, нацисты, монархисты, «христианские (?) демократы (???)», подводная часть айсберга КГБ, ВПК... При внимательном, однако, взгляде странность, парадоксальность этой «заединщины» исчезает: в их лицах, привычно используя отчаявшиеся массы, жестоко пострадавшие от аварии экономики, Система спасает себя самое в разных своих ипостасях. И привычная унитарность СССР тоже работает на имперские комплексы.

Люди, великое множество людей, страдают от аварии старых хозяйственных связей, от беспрецедентной трудности и неумения налаживать новые (и хорошо забытые старые), от мучительного конфликта между вдруг очнувшимся родо-племенным атавизмом и своей давней этнической смешанностью и сращенностью, от всей своей, на протяжении трех четвертей века, мировоззренческой и духовной поврежденности. И естественное сострадание к ним тоже порой парадоксально срабатывает против попыток реформ.

О том, что́ было разрушено в 1917 году, мы уже говорили.

Что же разрушается сегодня?

Большевики собрали распавшуюся в гражданской войне империю, потеряв от нее самую малость, и вроде бы остановили ее распад. За это их полюбил и простил в годы войны с нацистами даже Милюков, не говоря уж о евразийцах, младороссах и вообще обо всех великодержавных государственниках первой эмиграции, а также о Западе, жаждавшем, как всегда, стабильности любой ценой. Им всем показалось, что большевики остановили и искупили февральский разнос. Заметим, что Запад всегда готов на любую цену, которую, как ему кажется, заплатит не он. Но платить приходится и ему. И чем он заплатит за большевизм в целом, еще неизвестно.

Очень долго созданное большевиками государство казалось монолитным и мощным. На самом же деле большевики распада той, разрушенной в феврале — октябре 1917 года, жизни не остановили. Они сковали поверхностный политический хаос. Но вырождение и разрушение нормального бытия продолжались и нарастали. Организм выглядел и (под гром оркестров) рекомендовал себя здоровым, сильным, растущим. Он даже заглатывал сопредельные территории и распространял метастазы по всей планете. Над ним реяло море красных знамен и пылали рубиновые звезды. Но внутри него, проникая во все его ячейки, продолжался необратимый злокачественный распад. Он шел на всех социально-организменных уровнях и в природной среде одной шестой части суши, затрагивая и мировой океан. Все внешние знаки расцвета были ложью.

В конце концов распад всех нравственных и продуктивных начал не может не обернуться крушением Системы. И чем полнее победа последней над жизнью, тем ближе к гибели и победительница. Полностью разложив организм, злокачественная опухоль не может не умереть вместе с ним. На этом уровне всякие параллели между Февральской революцией и крушением Советского Союза кончаются. Россия 1917 года могла жить — коммунистическая Система, что бы ни твердили ее апологеты, не могла не разрушиться. *Россию* надо было всеми силами защитить от крушения — *ком-*

м у н и з м у надо не позволить добить вместе с собой Россию: людей, ее населяющих и ее окружающих, природу, землю. Коммунизм нельзя было более длить, но его надо было демонтировать прежде, чем он раздавит всех под своими обломками и отравит все ядами своего разложения. Об этом — «Как нам обустроить Россию». И страна, если уцелеет, к «Посильным соображениям» Солженицына еще вернется. Должны произойти изменения, без которых люди, населяющие пространства пост-СССР, не могут выжить, но произойти они должны с наименьшими для этих людей потерями.

Подытожим: в отличие от дофевральской России Система, существовавшая на этих пространствах три четверти века, не распасться не может. Как сохранить при ее распаде людей, жизнь, природу — вот вопрос вопросов.

Первая, «пусковая», еще поверхностная победа хаоса над российской историей XX века — Февраль — имеет, как мы убедились, великое м н о ж е с т в о уходящих в глубины прошлого и трудно уловимых причин. Но в этой первой схватке победили большевики — сила монопольная, моноидеологическая и о д н о н а п р а в л е н н а я. Не столько победили, сколько воспользовались долгим непротивлением и ошибками других сил. И у дальнейшего, все более глубинного и злокачественного распада появилась о д н а н а и б о л е е о т ч е т л и в а я п р и ч и н а, в первую очередь за этот распад ответственная. Если игнорировать лексику большевиков, снять шелуху терминологии и риторики, мы увидим: в их лице люди берут на себя роль демиурга и намереваются построить мир, лучший, чем тот, который построен Творцом. И когда говорят (а говорят часто), что суть не в социалистическом эксперименте, что корень бед в утрате людьми веры и совести, я позволю себе с этим не согласиться. Бывает, что Зло срабатывает в пользу Добра, но нередко самые добрые побуждения работают в пользу Зла. «Не было бы счастья, да несчастье помогло», но и «благими намерениями вымощена дорога в ад».

Человек, несомненно, может улучшать общество и жизнь, улучшая себя и свои установления. Но в мире, в котором мы были созданы, есть законы, для нас объективные, нарушить их невозможно. Нам не дано ни отменить их, ни изменить, сколь бы хорошим и справедливым нам это изменение ни казалось. Во всяком случае, до тех пор, пока нам не откроется какой-то более общий, высший Закон.

Часто говорилось при Горбачеве и говорится теперь, при Ельцине (сентябрь 1992), что надо сначала стабилизировать хозяйственную и социальную ситуацию, вернуть ей упорядоченность, а потом уже начать ее улучшать. Советуют заморозить (на период стабилизации) все радикальные экономические реформы. Это нонсенс, пустое сотрясение воздуха. Ситуацию дестабилизировало и продолжает дестабилизировать именно то, что принимается за «порядок»: социалистическая Система. В рамках этой Системы средств стабилизации нет. Не поможет уже и принуждение жесточе сталинского: резервы исчерпаны. Более того — социализм есть синоним злокачественной дестабилизации. Отсрочка реформ есть приближение момента необратимости распада. Все попытки его остановить, кроме истинной приватизации земли, производства и торговли (причем приватизации л ю д ь м и и их независимыми от государства и монополий группами, а не той же самой Системой под маской лжеассоциаций, псевдокорпораций и других мафиозно-бюрократических оборотней), все меры, кроме такой приватизации,— это губительная имитация реформ, а не реформы. Имитация лечения не может излечить настоящую болезнь. Оборотни имитируют приватизацию, а болезнь между тем переходит в неизлечимую стадию. Фактор времени здесь решающ. Во времена солженицынского по сей день не понятого и не принятого «Письма вождям» постепенные меры перемонтажа Системы были мыслимы. Но вожди не мыслили. Во времена публикации «Посильных соображений» многое можно было сделать без роковых издержек. Но одни этого не хотели, другие не поняли. Не все выглядело бесспорно в обеих этих работах. Но время показало, что главное было в них продуктивным. Сегодня же резерва времени нет. Чтобы спастись, необходимо уже одновременно и разрушать и монтировать новое. Сознательных (осознанных наперед) прецендентов такого рода и такого масштаба изменений история не имеет. Поэтому невозможно с уверенностью говорить об исходе драмы.

Выше мы говорили о том, что у неминуемости распада социалистической Системы есть о д н а н е о б х о д и м а я и д о с т а т о ч н а я (среди множества прочих) причина.

Прежде чем кратко ее сформулировать, подчеркну: для свободного общества, для демократии, политической и хозяйственной, свойства людей имеют решающее значение. Когда человек свободен решать и выбирать, главное начинает зависеть от разумности и нравственности его выбора. Однако есть все-таки обстоятельства, когда самым разумным и нравственным действием является устранение самих этих обсто-

ятельств. И одно только самосовершенствование людей радикально изменить таких обстоятельств не может. К числу такого рода непоправимых ситуаций относится социализм как принцип государственного и хозяйственного устройства. Сделать его «хорошим» нельзя.

Почему?

Потому что системы, сравнимые по сложности и непрерывной изменчивости с биологическим организмом, обществом и биоценозом, заключают в себе в любой момент их бытия бесконечный объем непрерывно меняющейся информации. Все попытки сломать внутреннюю саморегуляцию таких систем и заменить ее комплексом команд и правил, предписанных некоей стоящей над ними инстанцией, приводят к дефициту управляемости, к накоплению ошибок и поломок, в конечном счете — к непоправимой аварии и распаду Системы. Это не единственная, но достаточная причина порочности и обреченности социалистической утопии. Тем не менее последняя тысячелетиями прельщает человечество, ибо отвечает его мечтам и иллюзиям.

Предупредить такой ход событий, не отменив своевременно принципа управления, противоестественного для систем этого класса, н е л ь з я.

Не будем углубляться в эти проблемы, но подчеркнем еще раз, что данное «н е л ь з я» не менее объективно, чем закон сохранения энергии.

Добавим, что тотально централизованные системы не дают законно развиваться внутри себя ничему способному их сменить и тем самым перерубают дерево поступательной эволюции. После их развала или одоления все е с т е с т в е н н ы е, работоспособные институции и отношения надо строить и с к у с с т в е н н о — процесс, повторим, беспрецедентный. Но беспрецедентность не есть невозможность.

В четырехэлементной формуле успеха: «хотеть — знать — мочь — успевать» — обращение в нуль любого из элементов превращает в нуль конечный эффект. Круг Ельцина, как мне представляется, обладал первым условием; в самых общих чертах (не полностью) — вторым, но не исключено, что упустил четвертое, а потому утратил и третье. Почему упустил (если упустил)? Думаю, что причины этого носят скорее объективный, чем субъективный характер. Слишком тяжелое наследство и слишком мало реальной власти он получил. Говоря «круг», я имею в виду и самого Ельцина. Очень хотелось бы верить, что возможность овладеть ситуацией реформаторами еще не упущена.

Ко всем системным порокам социализма добавляется еще и распад империи. Солженицын советовал свести этот трагический процесс к цивилизованно управляемому преобразованию отношений. Повторим: Горбачев реагировал на его размышления тем, что назвал Солженицына «монархистом»; другие объявили его «великодержавным шовинистом», а третьи — изменником «русской идее». Распад пошел самотеком, с кровопролитием, пока для России — окраинным. Но ведь СССР был хозяйственно унитарен, и хаотические разрывы экономических связей тоже не прибавляют благополучия и надежды.

Добавим, что той революции, Февральской, ненужной и роковой, никто, от царя до городового, не сопротивлялся. А этой (возвращению граждан бывшего СССР к нормальной жизни) бездумно, губительно, а в последнем счете и самоубийственно противостоит, помимо сверхтяжких обстоятельств, еще и многомиллионная человеческая субстанция Системы. Но т о г д а россиян соблазнил мираж, т о г д а ими овладела У т о п и я. А т е п е р ь оглушенных нежданной свободой вольноотпущенников Утопии-Оборотня зовет, и манит, и пытается наполнить собой живая Жизнь. И в этом — надежда.

Потенциально в повествовании Солженицына (в этом загадочном жанровом сплаве много потенциальных пространств) присутствует еще одно современное измерение: судьба, условно говоря, Запада. Солженицын затронут его судьбой издавна и обеспокоен ею глубже, активнее, чем очень многие демонстративные западники, особенно из тех, кто выплясывал вокруг Солженицына все годы его изгнания зловещий танец по весьма четкому рисунку.

Ленин — Швейцария; Ленин — Германия; Россия — Германия; Россия — Антанта; западные финансисты — Российская империя — Временное правительство; Романовы — Гогенцоллерны — царствующая в Англии Ганноверская династия; немецкое золото — большевики — все это и многое другое наличествует в повествовании и дает начало все новым и новым животрепещущим сопоставлениям. Вдумчивые читатели уловят угрожающую протянутость западной проблематики повествования в будущее, то есть в наши дни.

Солженицын не любит исторической травестии, маскировки современных явлений псевдоархаическим реквизитом и антуражем. Использование прошлого для более безопасного или более впечатляющего изображения настоящего ему антипатично. Те ассоциации между настоящим и прошлым (или наоборот), которые возникают в

нашем сознании при чтении «Красного Колеса», обусловлены не переодеванием сегодняшних персонажей в старинные костюмы, а сущностной, глубинной протяженностью во времени, в Истории, в духе поставленных перед нами вопросов.

В нынешний и завтрашний день Запада нас уводят не только западноевропейские и североамериканские компоненты повествования. Сугубо, казалось бы, российская его проблематика тоже во многом предваряет нынешнюю западную злобу дня. А сквозь нее проглядывает и день грядущий. Российское прошлое ухмыляется сквозь западное настоящее, где — в предкатастрофической, а где — и в катастрофической фазе.

Тогда, в России, пренебрежение «мещанской моралью» и «обывательским здравым смыслом» характерно было для эстетической и революционерствующей богемы и во все большей мере — для всего образованного слоя. Теперь, в свободном мире, растущая терпимость к аморализму все более явно превращается в культ аморализма, в легитимизацию всяческой извращенности. Эстетизация, возведение в принцип всех форм безбытности, безнравственности, вплоть до жесточайшего насилия и садизма, в данном случае проистекают из дорогого западному либерализму культа личной свободы. Эскалация аморализма, полная релятивность нравственных установок свойственны многим цивилизациям времен их упадка и предпогибели. «Кого Бог хочет покарать, того он лишает разума». Но еще прежде, по-видимому, размываются ориентиры нравственные. А может быть, это одно и то же?

Преклонение перед неограниченной индивидуальной свободой и требование всяческой компенсации для дискриминированных меньшинств переходят на современном Западе в юридически освященный приоритет любого рода нравственной неполноценности над нормой. Как знаки дискриминированности и одновременно — как право на приз, на льготу начинают восприниматься плохое воспитание, необразованность, всяческие аномалии в поведении. Возникают заведомые преимущества преступника перед жертвой. Зачатки всего этого мы с ужасом видим в «Марте...» — «Апреле...». «Слабый» (на самом деле — сильный несвязанностью никакими правилами и нормами, кроме законов своей шайки) заведомо получает фору перед «сильным» (преуспевшим, талантливым, морально устойчивым). Поощряют худшего — уже по одной той причине, что он не заслуживает успеха. Ущербного не спасают посредством психической реабилитации, образования, обучения, воспитания, а именно-поощряют — такого, каков он есть. Быть ущербным, неполноценным, аморальным становится выгодно. Ответственность за асоциальность при любых обстоятельствах снимается с человека и возлагается на социум. Общество обязывается возместить своей «жертве» незаслуженным воздаянием не ущерб, которого никто не нанес, а ущербность. Между тем «жертва» или ее семья не были на эту ущербность обречены: они ее выбрали. Лечение, воспитание, обучение, настоятельные предложения войти, трудясь, в общую колею все чаще воспринимаются люмпенами всех мастей и этиологий и их защитниками как социальное насилие. Бессемейное материнство, безответственное отцовство перестают рассматриваться как аномалии и становятся льготой.

Как совокупный «потерпевший» начинает восприниматься Западом и весь «третий мир». Сегодня к этому проникающему во все поры «архипелага Запад» и нависающему над ним «третьему миру», к нашествию агрессивных и требовательных иждивенцев присоединяется рушащийся, отравленный, молниеносно нищающий «второй мир» — мир терпящего крах социализма. И все чаще затопляемый своими подопечными Запад начинает реагировать вспышками неонацизма, пока еще — улично-хулиганского. Все эти (и многие другие) опасности выросли и развились из вполне обоснованного чувства колониальной вины белого человека перед туземцами и социальной вины обеспеченных классов XIX — XX веков перед неимущими. Справедливости ради отметим, что чувство вины российского «кающегося дворянина» и образованного разночинца перед младшим страдающим братом было очень обострено и помогло раздуть искры западных эгалитарных учений во всепожирающее революционное пламя. Что ж, все наши недостатки суть продолжение наших достоинств. Сострадание и осознание своих грехов — неотъемлемые атрибуты Совести. Но превращать их в орудия самоубийства, с одной стороны, и в инструмент шантажа, с другой, — преступно. В повествовании Солженицына воссоздана определенная историческая фаза этого превращения. Сегодня оно становится для свободного мира как бы не фатальным, как стало когда-то таковым для России. Муки совести, продолжаясь до абсурда, превратились в собственную противоположность — в капитуляцию совестливых перед бессовестными.

Подчеркнем также общую убежденность западных и российских рационалистов и материалистов, что человеческому уму и воле все доступно и все посильно. Общность для Запада и для российской радикальной интеллигенции этой гордыни

тоже не позволяет рассматривать российскую драму вне контекста европейской истории.

В «Марте...» и «Апреле Семнадцатого» показано: если либералы, прогрессисты и умеренные социалисты действительно исповедуют культ терпящих бедствие, то радикалы-революционеры эксплуатируют этот культ в качестве главной опоры переворотного рычага. Именно в опоре на эту фетишизацию, опасную, как все сотворения кумиров, социал-экстремисты раскачали до урагана терпеливый, но страшный при такой раскачке «младенческий» «до-политический» народ. Ныне на Западе левый либерализм в роковом флирте с маргинальными левоэкстремистами подготавливает Февраль — Октябрь у себя дома и вокруг немногих уже своих островов. Ему в ответ резонирует раскаленная лава «малых сих», соблазняемых бреднями о вседозволенности, о преимущественном праве обойденных и обнесенных, о неответственности всех тех, кому, по их ощущению, плохо (или даже недостаточно хорошо). Это страшный соблазн, за который рано или поздно отвечают и соблазненные и соблазнители.

Солженицын доказательнейше говорил об этом роковом сходстве еще до изгнания. Он диагностировал его в своей возмутившей полмира Гарвардской речи, надолго закрепившей за ним репутацию обскуранта и ретрограда. В «Красном Колесе» Запад скорее всего «опасного сходства» с собственным положением не уловит: он, за исключением нескольких «могучих кучек» политиков и мыслителей, слишком беспечен. Что ж, такова типическая (в веках!) аберрация зрения современников: человек ушел далеко вперед и смотрит на всех оттуда, а им он кажется бредущим где-то там, позади, безнадежно от них отставшим.

Грандиозный труд Солженицына демонстрирует еще один парадокс, о котором не всегда помнят современники великих писателей: злободневны в высшем значении слова только произведения, ставящие вопросы вечные. Изыски ради изысков долговечны не более, чем «все эти стихи и оды, в аплодисментах ревомые ревмя...». Довлеет дневи злоба его, но истинная, сущностная злоба дня всегда проистекает из проблематики вечной. И Солженицын, как немногие художники и мыслители нашего времени, вольно и невольно ощущает и воспроизводит эту взаимосвязанность — даже в своей злободневной публицистике, не говоря уже о художественно-исследовательских его полотнах.

В его повествовании заключено знание, текущему времени необходимое, но прочесть и постичь этот цикл полотен быстро — нельзя. Еще один парадокс? Да. Обостренный еще и тем, что нельзя и медлить. Придется эту парадоксальность преодолевать. Работая над творчеством Солженицына годы, я знаю по опыту: нередко мысль его, первоначально воспринимаемая как заблуждение, ударяющая несоответствием чему-то привычному, аксиоматическому, оказывается со временем верной и намного опередившей тривиальный подход. И в этом смысле «Март Семнадцатого» и «Апрель Семнадцатого» входят в число его лучших книг.

Международный биографический центр в Кембридже присвоил ДОРЕ ШТУРМАН (Иерусалим) звание «Международная женщина года» (1991—1992). Редакция «Нового мира» поздравляет нашего постоянного автора и выражает надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

М. В. ЮДИНА

*

ПИСЬМА К ДРУЗЬЯМ

20 — 60-е годы

Юдина... Если слово может облечься плотью, то для тех, кто знал гениальную пианистку, и даже, как ни странно, в не меньшей степени для тех, кто лишь слушал ее игру в зале или по радио, слово ЮДИНА давно стало материальным, можно сказать, скульптурно-зримым, настолько мощно-захватывающей была эта игра, по компетентному мнению, не имеющая себе равной в нашем столетии. Магия грандиозной личности присутствовала всегда (очень точно это передает гравюра В. А. Фаворского «М. В. Юдина исполняет сонату Бетховена № 32») — отсюда-то особая печать на самом имени и на этом словосочетании МАРИЯ ВЕНИАМИНОВНА ЮДИНА,— современники великого музыканта то давнее ощущение хранят по сей день... А кроме того, жила легенда о Юдиной — «истово православной», друге «всех иерархов», крестившей пол-Москвы, а еще пол-Москвы отпевшей... к этому, правда, присовокуплялся разный вздор. И вот имя уже при жизни его носителя стало метафорой, символом, «ангелом-хранителем». Помнится, как снимает она трубку телефона, набирает номер: «Это говорит Юдина» — и дальше, также без нажима, обращение к имярек ее обычным ласковым голосом, а для имярек это нерезко произнесенное слово звучит твердо, как кремень: ЮДИНА. «Все в ней было крупно»,— написал о ней ее почитатель поэт. И был прав. Крупным, но этого мало — огромным, масштабным было ее имя. «ЮДИНА играет», «ЮДИНА сказала», «ЮДИНА звонила», «ЮДИНА хлопотала», «ЮДИНА просила», ЮДИНА... ЮДИНА... — за этим было очень многое, главное — высшая степень заинтересованности и участия в событии, в чьей-то судьбе — в эту минуту ломаемой властью ли, бытом ли. И гениальный ее рояль, звучание которого можно определить по-мандельштамовски просто: «тяжесть и нежность»,— был уже как бы и ни при чем. Вся энергия все «24 часа в сутки», казалось, тратилась на неиссякаемый альтруизм, принявший в нашем бытии форму непрекращающейся борьбы, борьбы изо дня в день с невероятной настойчивостью и бесстрашием, при полной незащищенности и жуткой физической изнуренности, той бескомпромиссной борьбы, которая в конце концов свела ее преждевременно в могилу (в 1970 году)[1]. *В конце жизни она подосадовала, что не была арестована в сталинское время, просила за это прощения у читателей ее мемуаров. Но она, конечно, напрасно извинялась, потому что тоже испила свою чашу до дна. Существуют литературные портреты Юдиной (их примерно полдесятка в книгах, написанных в 30-е годы, верные они или предвзятые — особый разговор), но, пожалуй, ближе всего ее суть, человека и артиста, передают пастернаковские строки, хотя и обращенные не к ней:*

То же бешенство риска,
Та же радость и боль
Слили роль и артистку,
И артистку и роль.
.....
Всё в ней жизнь, всё свобода,
И в груди колотье,
И тюремные своды
Не сломали ее.

(«Вакханалия»)

Публикация, вступительная статья и примечания *А. М. КУЗНЕЦОВА.*

[1] Обычно подчеркивают, даже близкие друзья, в жизни Юдиной ее неустроенность, бедность и «борьбу за существование». Борьбы за собственное существование не было, а бедностью она гордилась, неустроенность же была фактом третьестепенным рядом с муками всей страны.

К драматической актрисе это обращено, но какое сходство с Юдиной! Полное слияние личности и роли — это Юдина. Собственно, ее рояль и набатил (или утешал) под тюремными сводами, ведь вся страна была огромным лагерем, и она играла — не избранным, а всем,— играла повсюду, куда удавалось вырваться, на «любом полустанке», как выразилась сама. (Была такая немецкая пианистка Элли Най, которая играла политическим заключенным в фашистских концлагерях; советским же музыкантам такая «самодеятельность» — проникать с воли в лагерь из альтруизма — категорически запрещалась!)

Пастернаковский образ совпал с юдинским амплуа — она была именно «драматической артисткой», драматическим, трагическим, по сути, музыкантом, не зря и сама пробовала стать помощником режиссера (музыкальным руководителем), работать с великими трагедийными мастерами сцены — с Мейерхольдом и Михоэлсом до войны, с гением хореографии Джорджем Баланчиным в 60-е годы. И «ухитрилась» дважды поставить свою любимую трагическую «Орестею» Эсхила, а сколько осталось не реализованных подобных же замыслов! Всё били по рукам... Античная драматургия и Шекспир как поле для размышлений не оставляли ее до последних дней, хотя как христианке ей ближе было понятие у ч а с т и, чем Р о к а. Думается, и другое стихотворение Пастернака, «Гамлет» (1946), в большой степени передает портрет пианистки (и кто знает, не вспыхивал ли в сознании поэта образ Марии Вениаминовны Юдиной, когда писались поразительные эти строки: «Гул затих. Я вышел на подмостки...»). Понятно, что здесь мы имеем дело и с автопортретом, и с синтетическим образом современника (Живаго), но как-то очень остро чувствуешь похожесть Христа-Гамлета на Юдину, ведь у музыканта профессия и «роль» — быть пожизненно «на виду» у «тысячи биноклей», быть в непрерывном диалоге со зрителем-слушателем, быть им «хвалимым и хулимым» — накрепко спаяны. Трагедия, пережитая Гамлетом-Пастернаком, провидчески обостренно разрешилась в последней строфе: «Я один, все тонет в фарисействе...» У Гамлета-Юдиной последняя ее «строфа», естественно, как у любого другого человека с его собственной судьбой, оказалась иной. Она предвидела ее, свою участь, задолго, еще в юности, когда библейски-пророческим языком записала в дневнике 1916—1917 годов: «Музыка мое призвание! Я в е р ю в н е г о и в с в о ю с и л у в н е м. Я должна вечно и неизменно идти по пути духовных созерцаний, собирать себя для просветления, которое придет однажды. В этом смысл моей жизни здесь; я звено в цепи искусства»[2]. Это «однажды» не замедлило прийти, через два года она стала христианкой; и Любовь, что, по Данте, «движет звезды и светила», определила все ее бытие, она стала не просто «звеном в цепи искусства», стала звеном в цепи борьбы и страданий народа. «Я крестилась из еврейства в Православие 19-ти лет в 19-м году, в Ленинграде,— тогда в Петрограде, в Храме Покрова Пресвятой Богородицы у Отца Николая Чепурина,— свидетельствует Мария Вениаминовна.— Потом я ушла от него, я искала большей строгости; потом Господь привел меня к Покойному ныне Отцу Федору Андрееву[3]. Это была поистине суровая школа, это был замечательный проповедник и, хотя имел семью, был человеком не от мира сего, весь пронизан эсхатологическими чаяниями. После его кончины (он скончался дома от тяжелейшего эндокардита) тоже были у нас в Ленинграде священнослужители-подвижники и мученики, праведники и страстотерпцы.— Я сподобилась минимума — изгнания из профессуры Ленинградской консерватории, из других видов работы, была долго без куска хлеба и прочее...» Таким было ее начало, «минимум», как скромно обозначила его Юдина. Но уже и тогда «минимум» таил в себе так много значительного, что для любого другого он составил бы огромный «максимум». Жизнь начиналась уже преображенной, духовно цельной и таковой осталась до конца дней. Вера дала ей силы выстоять — не ради себя, не ради «чистого» искусства музыки, но ради служения Истине и людям. «М ы ж и в е м в д р у г и х»,— часто напоминала нам Мария Вениаминовна, вовсе не вкладывая в эту апофегму смысл философии своего пожизненного друга Михаила Михайловича Бахтина, но имея в виду свой путеводный новозаветный текст: «Тяготы друг друга носите и тем исполните закон Христов» (Галатам, 6, 2). Она рано прозрела и без страха шла по своей в полном смысле героической стезе. Сумма этой жизни с годами накапливалась до таких масштабов, что можно, «подводя предварительные итоги», сказать:

Юдина прошла и воплотила весь путь искусства XX века: она великолепно знала, что происходило не только в музыкальном творчестве, но и в литературе, театре, архитектуре, живописи, скульптуре и балете; все эти поиски впитывала и перераба-

---

[2] Архив Я. С. Назарова, племянника М. В. Юдиной. Приношу ему искреннюю признательность за предоставленную возможность познакомиться с этим уникальным документом.

[3] А н д р е е в Федор Константинович (1887—1929) служил в Сергиевском соборе всей артиллерии. Умер после ареста и краткосрочного пребывания в тюрьме. Именно в его доме в 1927 г. М. В. Юдина познакомилась с П. А. Флоренским. М. М. Бахтин называл о. Федора одним из трех умнейших людей России (свидетельство дочери Ф. К. Андреева А. Ф. Можанской; двое других — П. А. Флоренский и А. А. Мейер).

тывала внутри себя, с тем чтобы говорить с современниками на их языке (отсюда ее девиз: «...я всю жизнь ищу новое»);

Юдина — больше того — прошла и выразила путь всей культуры XX века, ибо ее мироощущение художника неотрывно от эстетики величайших представителей мировой культуры нашего времени, не зря ее сравнивали и с Мейерхольдом, и с Пикассо, и с Мандельштамом, и с Фаворским (даже с Достоевским); потому так легко находили с ней общий язык ее блестящие современники: Прокофьев и Стравинский, Булез и Штокхаузен;

Юдина была в полном смысле слова «героиней времени», пройдя весь путь своей страны и своего народа, разделив их тяготы. В том же юношеском дневнике есть запись-вопрос: «Россия или Интернационал?» — и после мучительных раздумий следует пламенный монолог о России. Она всегда была на острие общественных событий, то и дело (до конца жизни) подписывала письма — и сама писала — в защиту гонимых, сетовала, что в том, что дают подписывать, мало «общечеловеческого», избыток «политического»; ведь христианские ценности ставились ею во главу угла и в заботах политических, ибо такова была она — не просто «инакомыслящая», но «инаковерящая», ее вера была ни советской, ни диссидентской;

Юдина прошла весь путь Русской Церкви в XX веке, на ее глазах совершались все катастрофы на этом страшном пути, и хотя она, сурово отнесясь к «обновленчеству», мучительно привыкала к новой иерархии, в преданности Церкви не поколебалась ни на мгновение,— повторю: вера ее удивительно монолитной и глубокой была с юности (детства?), она никогда не испытывала «сомнений», ее «Осанна» возникла не «по Достоевскому», а, пожалуй, из родовой памяти о ветхозаветном Откровении...,

Юдина прошла путь, характерный для лучших представителей XX века. Не разделяла ничего «общепринятого», идеологически, внешне навязанного, всегда оставалась собой. Здесь, конечно же, помогала «натура», темперамент, жизнелюбие. Страстей было много, но она умела их укрощать, ничто человеческое не было ей чуждо, но ничто и не порабощало ее; были слабости, как у любого человека, но они тонули в могучей духовной стихии этой личности, как порой огрехи в игре не портили неизгладимого общего впечатления от глубины замысла. Существовала и жила вне клише и «программ», только по совести.

...На одном из первых вечеров, посвященных памяти М. М. Бахтина, С. С. Аверинцев назвал пять имен — Заболоцкий, Пастернак, Ахматова, Бахтин, Юдина, каких катастрофически за пятнадцать лет лишилась русская культура (дело происходило в середине 70-х годов). Когда личность Юдиной благодаря исключительным ее записям, которые, надо надеяться, будут «открывать глаза» все новым и новым поколениям, благодаря ее литературному таланту, этим ее в полном смысле историческим письмам предстанет в глазах общества в истинном своем масштабе (как это замечательно раскрыто в упомянутой гравюре Фаворского), именно Юдину будут называть среди авангардных бойцов — тех, кто нес и донес до конца крестную ношу своего многострадального отечества.

Письма публикуются в новой орфографии. Старой М. Юдина частично придерживалась до конца жизни во всех письмах и литературных работах.

---

1. В. М. Жирмунскому

Петроград, 29/I—21

Глубокоуважаемый профессор
Виктор Максимович!

С глубоким сожалением и еще большим стыдом принуждена сообщить Вам об том, что чрезвычайные обстоятельства заставляют меня уйти из Вашего семинария, не исполнив даже своей работы о «Kater Murr»[1].

Хотя Вы, без сомнения, уже смогли убедиться в том, что ввиду моего дилетантства моя работа не могла представить собою никакого научного интереса и, таким образом, с моим уходом семинарий ничего решительно не потеряет,— несмотря на это, я считаю своим долгом несколько подробнее мотивировать свой неблагородный поступок и тем отчасти смягчить Вашу неизбежную досаду.

Дело в том, что я просто не рассчитала своих сил: работать одновременно в 2-х областях, по-видимому, все же невозможно с равной энергией и неизбежно приходится налегать то на одно, то на другое.

Мои музыкальные занятия приняли теперь исключительно важный характер, ибо с конца февраля у меня начинается длинный ряд ответственных выступлений сперва в концертах, потом в выпускных экзаменах[2]. При всем моем желании сохранить университетские дела в неприкосновенности я все же должна сдаться, ибо усталость берет свое и лишает возможности работать в музыке так, как хочешь, можешь и должна.

Моя главная вина перед Вами в том, что я не написала доклада к первому сроку — в декабре, но ведь я первый год в Университете, я не могла, у меня не хватило воли ограничить себя! И потом — брать доклад было с моей стороны слишком самонадеянно, по-видимому: когда я услыхала других и уразумела немного суть дела, я убедилась в том, что ни моя голова, ни мое образование для этого не приспособлены, и постепенно стала в Ун<иверсите>те заниматься другим и, по-видимому, в этом другом нашла больше возможности применить свои интересы и силы[3].

Но это уже Вам неинтересно, поэтому я кончаю письмо и прошу Вас поверить в искренность моих глубочайших извинений за внесенный мною беспорядок, за нескладные слова в семинарии, за дурной пример и за это чересчур длинное письмо.

С совершенным уважением

М. Юдина.

P. S. Приношу Вам также глубокую благодарность за Ваше внимание и снисхождение ко мне (тема о «Jean Christophe»[4] — да и вообще — то, что Вы терпеливо выслушивали вздор, который я говорила).

ЦГАЛИ, ф. 994, оп. 3, ед. хр. 74.

Жирмунский Виктор Максимович (1891—1971) — филолог, литературовед, стиховед, академик. С 1919 г.— профессор Петроградского университета по кафедре западноевропейских литератур. М. В. Юдина, вольнослушательница историко-филологического факультета в 1920—1923 гг., некоторое время была в семинаре В. М. Жирмунского.

[1] «Кот Мурр» *(нем.)*. Речь идет о курсовой работе, посвященной роману Э. Т. А. Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра». 20-е гг. были временем горячей увлеченности Юдиной немецкими романтиками («Крейслериана» Шумана — одно из самых любимых ею тогда произведений). Своему увлечению пианистка осталась верна и в 1966 г. (февраль — апрель) прочитала в Малом зале Московской консерватории четыре доклада «Романтизм — истоки и параллели» (где нашлось место и Э. Т. А. Гофману).

[2] М. Юдина окончила Петроградскую консерваторию летом 1921 г., была, вместе с В. В. Софроницким, награждена премией имени Антона Рубинштейна. (Об этом см. отклик: Стрельников Н., «Производственный успех (Акт в Консерватории)».— «Жизнь искусства», 1921, № 773-774-775 (9—11 июля), стр. 1—2.)

[3] Покинув отделение классической филологии, М. Юдина перешла на отделение истории средних веков, где попала в орбиту выдающихся ученых-педагогов (Л. П. Карсавин, И. М. Гревс, Ф. Ф. Зелинский, О. А. Добиаш-Рождественская и другие); о годах учения на историко-филологическом факультете см. в воспоминаниях Юдиной «Немного о людях Ленинграда» (в сб. «Мария Вениаминовна Юдина. Статьи. Воспоминания. Материалы». Редактор-составитель А. М. Кузнецов. М. «Советский композитор». 1978, стр. 218—221).

[4] «Жан-Кристоф» *(франц.)*— роман Р. Роллана. Этот писатель для Юдиной быстро попал в разряд «устаревших». Но она чтила его как личность и была намерена во время его первого приезда в СССР через него хлопотать за некоторых репрессированных. В конце жизни она записала о Р. Роллане следующее: «О нем превосходно высказался Игорь Федорович Стравинский, именно о чистоте и прямоте его души, и к этому следует лишь присоединиться; все «issimus» и «illimus» — превосходные степени его оценок и характеристик — наивны, сентиментальны, но внесенное им в наш «железный век» Добро могут не признавать только снобы всех формаций».

2. Ю. А. Шапорину

6.VII <1922>

Простите, Юрий Александрович, что не сразу отвечаю — я лишь вчера пришла в себя — когда был вынесен приговор[1] — пришла в себя в том смысле, что напряженное ожидание перешло в отчаяние.

— Одно из самого ужасного — общественное равнодушие — глубокое, возмутительное.

---

1. Ну, конечно, ни очков, ни рукописей у меня нет. Какой же Вы, право — ах! Потерять рукопись!

2. О пайке: говорила (еще до письма) с проф. Адриановым (муж З. Лодий[2] — он Вас знает), он говорит, что трудновато Вас провести, ибо новые, все новые лица Вас знать не могут. *Из них же я никого не знаю* — знаю лишь, что Кристи[3] «приверженец» моего исполнения — но как я могу теперь вести дружескую беседу с представителями власти?

Я во многих отношениях была их другом — а теперь легла пропасть, но это не к делу,— Вы подайте анкету или что нужно — *все узнаете* на Миллионной, 27, в пайковой комиссии*, предварительно узнайте в Союзе[4], м. б., кого знакомого там найдете. Жаль, что я здесь бессильна, ведь я дошла до полной небрежности к своему

---

* Поторопитесь!!

«экономическому обоснованию», никого не знаю из «сильных» и пр. *Однако — главное, снова получить здесь известность* — т. е. дать концерт, тут я — ясное дело — всегда к Вашим услугам.

3. Вы с ума сошли — продавать Бруни[5] — это последняя ставка. Вот работу буду искать для Вас — но Вы изложите точно, на что Вы способны.

Я, в общем, очень люблю о других хлопотать и что могу, сделаю с радостью — жаль, что могу мало. Сейчас, напр., даже не могу вторично пойти к Адриановым — ведь подчас я в резкости не уступаю Вам,— идя из суда, где встретила Зою Петровну, возмутилась ее равнодушием, хоть это и глупо. Что она — все таковы! Однако я наговорила ей дерзостей, коих она не заслужила — но морально, исторически я права — посему и извиняться неуместно! *Вот глупо-то случилось!*

4. Простите неопрятность письма — 4 часа утра, я устала до пределов возможности.

5. Очень польщена своим прозвищем.

Ну, дай Вам Бог удачи в работе — когда будет готово, принесите — очень интересно. Я скоро, должно быть, еду — папа меня ждет[6] и боится, что я ухлопаюсь при такой работе и, чего доброго, угожу под суд. *Уничтожьте это контрреволюционное послание немедленно.*

6. Если не принесете на днях Всенощную — убью[7].

Нет ли у Вас Петражицкого «Теория права и нравственность»[8]. Если да — ради Бога дайте!

ЦГАЛИ, ф. 2642, оп. 1, ед. хр. 478. Без подписи.

Шапорин Юрий Александрович (1887—1966) — композитор, в 20-е гг. был связан с М. Юдиной тесной дружбой, посвящал ей свои сочинения.

[1] Речь идет о приговоре, вынесенном Петрогубревтрибуналом 5 июля 1922 г. по делу о сокрытии при изъятии церковных ценностей. Десять обвиняемых были приговорены к расстрелу, в том числе митрополит Петроградский Вениамин, епископ Кронштадтский Венедикт, настоятель Исаакиевского собора архимандрит Сергий, настоятель Казанского собора протоиерей Николай Чуков. М. Юдина присутствовала на некоторых заседаниях во время слушания этого трагического дела, проходившего в Большом зале Филармонии, где она уже несколько раз выступала как пианистка. (Ныне митрополит Вениамин причислен Церковью к лику священномучеников.)

[2] Лодий Зоя Петровна (1886—1957) — камерная певица, в 30-е гг. педагог в ЛГК; Адрианов Сергей Александрович — филолог, профессор Петербургского университета.

[3] Кристи Павел Петрович — управляющий делами Филармонии.

[4] Союз работников искусств (Сорабис).

[5] Речь идет о картине или рисунке художника Л. А. Бруни. В то лето Ю. Шапорин, вернувшись из Петрозаводска, не имел постоянной работы, пока не был принят в БДТ заведующим музыкальной частью театра.

[6] Родные М. Юдиной жили тогда в Невеле, где она родилась.

[7] Партитура «Всенощного бдения» С. Рахманинова.

[8] М. Юдина, по-видимому, хотела воспользоваться трудом известного правоведа Л. И. Петражицкого «Теория права и государства в связи с теорией нравственности» (1910—1911) для обоснования какой-то своей акции протеста против приговора иерархам Церкви. С Л. Петражицким она была знакома до его эмиграции.

3—8. Е. П. Казанович

<Октябрь 1924>

Великолепная Eulalie!

I. Я в тот же день «отдала Вам визит», но Вас не было, я стучала со всех сторон.

II. Кланяется Вам Ю. Н. Верховский[1], от которого я наконец получила ответ о Вяч. Иванове — (очень подробный и любезный) — он пишет из М<оск>вы.

III. Милости прошу на чтение М. М. Бахтина о Достоевском[2] — на этой неделе, когда точно — сообщу.

IV. Откинув стыд и честь, прошу *до среды* (математически точно) рубл<ей> 5 — 6 взаймы — с моим братом[3] вышел некий трагикомический случай и нужно спешно — я, конечно, обошла всех (безрезультатно), прежде чем дойти до Вас.

Простите и очень прошу прибегать и ко мне за всеми подобными «услугами» — в конце месяца я надеюсь разбогатеть.

Всего лучшего.

Искренне преданная Вам

М. В. Юдина.

<Октябрь 1924>

Милая Евлалия Павловна!

Считаю необходимым известить Вас, что сегодня в 8 ч. у меня вечер памяти Брюсова — *я сама об этом лишь вчера узнала*, ибо он перенесен случайно из другого помещения в мое. Доклады Бахтина и Пумпянского[4] и еще кого — не знаю. <...> Простите, что отослала долг без записки тогда, получила деньги в последнюю минуту перед уходом.

Всего лучшего. М. В. Юдина.

<21 июня 1925>

Милая
Евлалия Павловна!

Сегодня в 8 ч. веч<ера> лекция Л. В. Пумпянского — *Новейшая* фр<анцузская> литература. Милости прошу! Простите, что так поздно сообщаю, не была уверена, что не отменят. Всего лучшего.

Ваша М. В. Юдина. Простите клочок.

<Ноябрь 1926>

М. В. Юдина просит Е. П. Казанович в 8 ½ вечера прийти к ней на квартиру. Будет читать Вагинов[5].

<Декабрь 1926>

Почтеннейшая Евлалия Павловна!

Приходите в 8½ веч. сегодня на Клюева[6]. Извините, что раньше не могла известить из-за концертной горячки.

Целую. Всего лучшего.

Ваша М. В. Юдина.

Можно привести с собой к<ого>-н<ибудь> за 50 к.— для Вас же вход gratis[7].

<1926>

Милая Евлалия Павловна!

Это очень неприлично, знаю.

Но мы с Мих-ной[8] обегали всех соседей и втуне и еще и вотще. А до среды утра мне до зарезу нужна «сумма» от 1 р. до 5-ти ad libitum[9]. Можно??? — О времена, о нравы,— о кошельки!! — Прошу Вас *никогда не упоминать моего имени при Пумпянском* — все меняется[10]. Я презираю сего субъекта до последней степени! — Вот! Простите 1. что не являюсь сама, 2. что без конверта (все по той же причине!). На днях — если разрешите — забегу, а Вы к нам — не всегда же такая бешеная работа, как вчера!

Искренне уважающая М. В. Юдина.

ОР ГПБ, ф. 326, ед. хр. 340.

Казанович Евлалия Павловна (1886—1942) — филолог, секретарь Пушкинского Дома, друг М. Юдиной в ленинградский период ее жизни. Е. П. Казанович привлекала М. Юдину к участию в литературно-музыкальных собраниях, в частности в вечерах памяти А. А. Блока.

[1] Верховский Юрий Никандрович (1878—1956) — поэт, переводчик, историк литературы.

[2] Бахтин Михаил Михайлович (1895—1975) — философ, культуролог, литературовед, пожизненный друг М. В. Юдиной. В своей петербургской комнате (Дворцовая набережная, д. 7, кв. 30) Юдина устраивала литературные чтения, о которых говорится в письмах.

[3] Речь идет о кинодраматурге Борисе Вениаминовиче Юдине (1904—1986).

[4] Пумпянский Лев Васильевич (1891—1940) — филолог, друг М. Юдиной в 20-е гг.

[5] Вагинов Константин Константинович (1899—1934) — поэт и прозаик.

[6] Клюев Николай Алексеевич (1887—1937) — поэт.

[7] Бесплатно *(лат.)*.

[8] Неустановленное лицо.

[9] По желанию *(лат.)*.

[10] Разрыв с Л. В. Пумпянским, который одно время был женихом М. Юдиной, произошел после того, как Пумпянский стал проявлять настойчивую благосклонность к одной из учениц Юдиной.

9. Ю. А. Шапорину

16—17.VII.28

Милый Шапорик!

Отчего ты так давно молчишь?

«Как жизнь» (работа)?

— Сегодня играла сонату (конечно, твою!)[1] одной умной и чуткой девушке (художнице), она была сильно захвачена и поражена огромной *горестностью* музыки — «словно некое несчастье», так и пронзает — еще привыкшей и не жить вне дыхания Печали, вне гнета событий и самой души, мне даже непонятна эта сила воздействия — для меня — разве может быть иначе — разве есть где-то улыбка — не на день, на час, а надолго? — поэтому ты действительно и не ошибся в посвящении — это *моя* соната. Пиши концерт, пиши скорее, а то я, может, умру. Пусть хоть раз сыграю,— так хочется. Вообще — еще хочется жить и работать. Но если спета Борина песенка, то и моя[2]. Мне, загубившей неумелым и нелюбовным (нематеринским, суровым) руководством его жизнь — мне уже не подняться, если сорвется он. По закону ли возмездия, по слабости, по любви — все равно почему — мне тоже каюк, если ему.— Милый друг, если ты хоть немного ценишь меня, *не забывай о нем.*— Пишу, однако, не для того, чтобы «разжалобить» тебя! Знаю ведь, сколько у тебя забот, как все у тебя сложно — и также знаю, что ты мне друг (хоть и не «вступился» за мою честь — но такой уж век нынче!!). Пишу так, потому что сегодня *первый* вечер за много-много месяцев, около полугода, что я вспомнила, что я музыкант, что я могу забыть раны жизни (ах, свои заботы нетрудно — но *возможно* — и *должно ли?* забывать чужие?), что могу «порой опять упиться гармонией!»[3]. И звучит соната и скорбные возгласы концерта и «яблочко».— «Куда котишься?» — Куда клонится наша жизнь в запустевшей, одичавшей, израненной России? Как еще мы живем и держимся, когда так поруганы, так истерзаны ее святыни? Как мы все не сошли с ума? Как мы верим в чепуху и призрак революции? *Как мы так могли забыть себя?* — — — — — — Кончишь ли ты кантату? Пусть будет, будет в ней текст: «Теперь твой час настал, молись!»[4] Молился ли за спасение души своей и за спасение России сам Блок? Но он знал, что без молитвы нет жизни, *нет ничего вообще.*

Прочитала (хоть не совсем подряд) «Братьев»[5]. Восхитительны — вымысел — неиссякаемость сюжета и язык, медленно и величаво катящийся, иногда напоминающий Толстого (настоящего) — *но не характеры* — их опять что-то не видать (как в «Городах и годах»). *Кто такой* Никита? Функция, а не человек; и почти все женщины.— Ну, ладно — без похвалы за свою статью на сей раз обойдешься[6], не потому что плохо, а:

1 — нет меня там (!!! шучу!!!)

2 — довольно хвалю за музыку, избалуешься!

Спокойной ночи.

Заведи себе кота, пусть мурлычет.

Приятно, что можно доброму человеку писать на «ты».

Будь здоров.

Маруся Юдина.

Не удивляйся этому письму — так вдруг захотелось.

ЦГАЛИ, там же.

[1] Вторая соната Ю. Шапорина, посвященная М. Юдиной.

[2] После смерти матери (1918) Мария Вениаминовна взяла на себя заботу о брате Борисе и оказывала ему и его семье посильную помощь до конца своих дней.

[3] Измененная строка из стихотворения А. С. Пушкина «Безумных лет угасшее веселье...».

[4] Ю. Шапорин в это время сочинял симфонию-кантату «На поле Куликовом» на слова Блока, Лозинского и Дрожжина. Завершена в 1938 г., исполнена впервые в Москве 18 ноября 1939 г. Под административным давлением редактор текста кантаты поэт М. Л. Лозинский изменил эту строку, которая в либретто читается так: «Мужайтесь, братья! Близок час!»

[5] Роман К. А. Федина.

[6] Имеется в виду статья Ю. Шапорина «Симфония Никиты Карева», написанная им по просьбе К. Федина и включенная последним в текст романа с сохранением авторства Ю. Шапорина.

10. М. Ф. Гнесину

30 августа <1928>

Если бы я смогла Вас возненавидеть. И возненавидеть свое добродетельное рабство, разбить смертоносные оковы и кандалы «долга», «смирения», «наказания», «обреченности» и прочего рабского вздора.

Бесконечным позором лежит на мне бремя жизни без Вашей любви.

К чему столько лжи?

К чему «культура», «призвание» и все это лицемерие?

Не понять своего единственного назначения, не озариться Вами с первой встречи (Ваш проезд в Палестину через Петербург в 21 году), не суметь стать матерью Вашего ребенка во все последующие встречи, не суметь стать свободной от всех предрассудков во время Вашей благосклонности и не убить себя — когда Вы ушли окончательно, и при этом — ходить в церковь, философствовать (о, будь прокляты все читанные книги, создавшие омертвение жизненных сил) и что-то «строить».

Как могли Вы снизойти к такому человеку? В священное время первого сближения не было у меня целомудрия, женственности, зрелости, правды.

Любовь и творение жизни есть единственное важное дело для женщины. Все прочее — бред. Этот бред заслонил Вас преступным туманом.

Теперь поздно. Я молчу, но я все вижу. Я видела засохший цветок, с которым Вам трудно было расстаться, я видела браслет на руке — все «классические символы», дорогие и Вам, однако. Зачем, зачем Вы уверяли меня, что не только меня не любите (однако навсегда приковав меня к себе смертельной памятью своих ласк), но и вообще нет любви, а есть порознь — дружба и чувственность. Вы теперь преобразились бесконечно силой своей любви, Ваше лицо становится все прекраснее, ибо страдание красит его выразительностью, дошедшей до последних пределов. Нельзя помыслить большей неотразимости. Гневайтесь, рвите письмо.

Мне сие — все равно. Молиться о Вашем покое, о Вашем счастье с любимой, о ней, об ее здоровье, о Вашей семье, об том, чтобы *она* Вас любила (если она смеет не любить Вас), дрожать над Вашими утехами, подбирать «крохи с господского стола» — остатки Ваших ласк, почему-либо не «доданных ей», стремиться во всех областях жизни быть Вам полезной — эта паутина, эта ложь не смоет страшной, неисправимой и неискупаемой вины оскорбления любви вначале.

Я не вижу впереди ничего. Я не верю в случайность происшедшего.

Я ничего не хочу, ибо моя любовь к Вам — безвыходное, адское кольцо, любя Вас, я люблю Ваше счастье, я желаю вечной безмятежности «браслету на Вашей руке», *вечной его длительности*, я полагаю, что Вы не вынесли бы катастрофы *этого* разрыва, я знаю, что если бы свершилось чудо и Вы бы меня полюбили, моя душа слишком пронизана ужасом, ложью, смертельной болью и не сможет больше и не посмеет предстать Вам. *Но, очевидно, этому чуду и не быть.*— Я не убиваю себя и вряд ли убью. В хаосе моей души осталась только вера в то, что *этого* нельзя, я не знаю почему. Я не знаю, где сложить мне мою грешную жизнь и чему отдать возмутительное количество сил, переполняющих меня праздным бременем. Так мог Наполеон чахнуть на Святой Елене. Но позади была легенда легенд, было небывалое. Здесь же позади — только преступление.

Эдип, ты не возжелал более оскорблять Солнце своими очами, ты, осквернивший и оскверненный, ушел из святых пределов родной земли, что же делать мне? Куда идти?

«Свечу, кричу по бездорожью,
А в круг ко мне, зов глуша,
Не по-людски и не по-Божьи
Уединенная душа».

Конечно, я возвращаюсь в звероподобие. Но и это безразлично. «Диагноз» ясен: «*вторая* смерть», т. е. смерть духовная. Таким ужасом веет от этих слов для духовного сознания, как для житейского от диагноза чумы, сапа, проказы. Но все слова уже истощены — ужас, боль, отчаяние, смерть. Опять слова, слова, слова. Выхода нет нигде, с этим кончено.

Итак, «актеры, правьте ремесло»[1] — принимайся за обычные «добродетельные» заботы, паутину, ложь и лицемерие... «Мать, дай мне Солнце», говорит сшедший с ума Освальд в «Призраках»[2]. У меня нет матери, я не сойду с ума, ибо мои родители были здоровы и нравственны; я просила бы Солнце само дать мне себя, но это «глас вопиющего в пустыне» и при том — я ведь «добра» и «благородна», я не потревожу чужого счастья. Все время 2 лица, одно стонет от ран, другое смеется и издевается. Так в «Коте Мурре». Ах, нескончаемая цепь цитат и литературных ассоциаций —

пресловутая «образованность», не ставшая просвещенностью и вконец сгубившая жизнь.

Солнце. Солнце. Солнце.

Я говорю с Вами о том, о сем и гляжу в лицо, прекраснейшее всех возлюбленных Аполлона — но разве *это* Ваше лицо? Кто видел Вашу нежность, кто слыхал Ваш лепет, разве признáет в ежедневном облике то, что знает счастливец своим сокровенным опытом? Что знала и я?

Ведь я не отправлю этого письма, я буду жалеть доставить Вам лишнее «огорчение». В бессильном бешенстве, в полной бесцельности (а посему полном грехе) существования, недостойного названия жизни, в заколдованном кругу благородного вздора поползут мои дни.

Солнце. Солнце. Солнце.

Неужели мне не приснилось, что Вы только что здесь были, что Вы изволили подарить мне один «братский» поцелуй при встрече и 2 «полубратских» при прощании, что Вы позволили мне слышать Ваше дыхание, не отвергнув моего крова, что я касалась Ваших рук? Солнце темная ночь смыкается надо мною. Сознание преступления не только перед собой, но и перед некоей *объективной правдой, перед самой Любовью,* Афродитой небесной, перед некоей *священной* задачей. Помню, до ужаса явственно помню как Вы говорили: «Было бы лучше, если бы я (т. е. Вы) набрасывался на Вас (т. е. меня) как дикий зверь», или «все могло бы быть у нас гораздо ярче», или «нет, у нас с Вами ничего не выйдет». А потом, осенью 27 года, все же какой-то краткий рай и *через месяц* (время «Монумента»[3]) *чудовищное* соединение ласк и рассказа о Беатриче. Этого нельзя понять, нельзя охватить. Я знаю всем существом, что меня нет вне Вашей судьбы; но я знаю, что теперь Вы, м<ожет> б<ыть>, впервые до конца полюбили — значит — навсегда. Так значит, я вообще не существую? Мое тело, моя душа, моя игра — все это только фикция, меня нет на самом деле? Ибо раз не в Вас я, меня не может быть. Увы, это не безумие, не бред. И ничего не страшно, пустынно кругом и дико, как после наводнения в «Медном всаднике». (Ну, конечно, опять литературная ассоциация!)

Солнце, я пишу Ваше имя и трепещу, будто касаюсь Вас, ведь имя — реальность. Солнце, тысячу раз Солнце. «Когда же конец назойливому звуку?» (Ну, конечно,— Блок. Вообще, мы не как-нибудь, письмо так «культурно», вполне достойно напечатания!) За 6 ½ лет у меня есть лишь жалкая связка Ваших писем, где все лишь о «делах». Все слезы выплаканы вчера и в предшествующие годы.

Прощайте, Солнце.

Не беспокойтесь, самоубийство «неизящно», я Вас им не потревожу.

Господи, почто Ты оставил меня, когда явил мне лик моей судьбы, мое Солнце? Почему я не сразу его узнала? Почему я не была готова к встрече с ним? Почему не повел Ты меня путями жертвы и добра, почему не дал стать матерью и став ею — уйти от него навеки, оставив ему свободу и покой, и не дал где-нибудь на другом конце света взращивать ему новое живое существо, о котором он бы не знал до той поры, пока не пожелал бы того сам. А когда бы пожелал — увидал бы, как взрощено было бы это существо — в сознании гордости *таким* отцом, *таким* родством, когда оно тянулось бы к нему, называя его Солнцем, Светом, Радостью, Благом. Почему Ты не повел меня путями добра и правды? Почему уронено самое святое? Почему ослепил мои очи миражем праздных дел и ложного долга? Почему, почему, почему?

«Ihr führt in's Leben uns hinein,
Ihr lasst den Armen schuldig werden,
Dann überlasst Ihr in der Pein,
Denn alle Schuld rächt sich auf Erden»[4].

Да, всякая вина здесь карается, но почему дать грешить, почему дать ослепнуть, к чему, зачем?

Солнце, Вы *ничем* передо мною не виновны. Вы бываете неимоверно жестоки, но это не важно. Что это в сравнении с моим преступлением? О, быть с Вами и проводить бессонные ночи, поджидая Вашего возвращения от других женщин, без тени обиды или упрека встречать Вас, довольствуясь смиренной ролью служанки.— Когда стало поздно, я поняла (дерзаю думать так) Вашу жизнь, ее страдания. В течение почти семи лет общения с Вами я никогда не смела высказаться о чем бы то ни было, тем более о себе, исчерпывающим образом. Печать отверженности лежала на мне даже в лучшие, ныне ставшие мифическими, времена и сковывала мою душу леденящим молчанием. Казалось бы,— говорить *теперь* — вполне бессмысленно, ибо Вы *не можете* меня услышать, а говорить о себе я и не стану, ибо если я казню себя за *невольные* слезы, то стану ли я нарушать Ваш мир (если он есть, да пошлет его Господь, если нет) сознательно?

Но только теперь, ценой преодоленного страдания, я поучаюсь свободе и смелости. И настолько умерли для меня все *земные* надежды на Вашу любовь, настолько *священно* для меня Ваше счастье *не со мной*, настолько желаю я ему вечной длительности, что Вы можете не бояться меня, а внимать моему голосу, как голосу пожизненно заточенного или голосу из-за гроба. Я не опасна ни Вам, ни Вашему пути, ни людям, с которыми сомкнута Ваша судьба. Я знаю и чувствую в себе возмутительный запас праздных сил, неукротимую энергию и неиссякаемую жажду добра. Так перерождается отвергнутая любовь в иную духовную субстанцию. И Вы говорили (пусть по-другому поводу — это не важно!) о «переключении», о возможности такового.

Выслушайте же меня.

Я кладу к Вашим ногам всю силу своей жизни, весь запас творческих возможностей и свершений.

Не отвергайте его. Употребите его по своему усмотрению, на любое дело.

«И тот послушно в путь потек»[5] —

так потеку я, что бы Вы мне ни поручили. Я действую вслепую. Я кружусь около Вашей жизни и ни о чем не смею знать или спросить. Но я не верю, что этот родник добра, живущий во мне для Вас, не может принести плодов, что его плоды не нужны. Жизнь, цветение, преодоление, пронизанное молитвой служение — не могут быть ненужными. Я не верю в случайность своей встречи с Вами. Я позорно и преступно не поняла ее, а когда поняла — было поздно. И когда начала созревать во мне духовная личность, когда прозрела и просветилась Любовь — Вы были далеко, и сколько ни протягивать мне к Вам, недосягаемому Солнцу, — бессильные руки, Вы ушли. Но отвергнув подругу, не отвергайте друга, не отвергайте жизни, живущей только Вами, жизни, преисполненной единственной жажды служить Вам — в духе и истине.

— Вот, Вы недавно писали мне — «если будет у меня чувство равновесия» — значит, Вы могли хоть как-то приоткрыть мне свою боль. Два блаженных дня Вы были возле меня, но почти ни о чем, выходящем за пределы «культуры», я не посмела Вас спросить. И когда даже Вы склонялись к беседе вдвоем, я побоялась взять этот дар, я хотела показать Вам что-то лучшее, кого-то, кто умнее, добрее, «полезнее»; было это ни к чему, но это было по «скромности», по трепету перед Вами. А в начале *нашей* (вдвоем) беседы уже ощутила я дыхание раненной, смертельно раненной Афродиты. Это не слова — точно я увидела некий поэтический, но реальный образ. Точно было сказано мне: «Ты не узнала меня, ты преступила мой закон, ты бесконечно виновна, но вот, я прихожу *преображенная* своей смертельной раной, тобой нанесенной, прихожу иная, неземная, нечувственная». И я испугалась. Испугалась вторжения в Вашу душу, испугалась непрошенности своей дружбы.

Но, Солнце. Вы сами не изгоняете еще меня окончательно из своей орбиты. (Изгóните — уйду молча.) Так взгляните же на меня верными глазами и Вы увидите человека, прощающегося с земными надеждами, человека, преодолевающего дым своих страстей (быть может, только потому, что он не нужен другому, ибо не в дыму ли творится новая жизнь?..), человека, утратившего *свой* голос и приобретающего иной, запредельный! Пусть пока это только голос *тени*, в «античном» роде. И бессмертие христианское, как и всякой настоящей религии, знающей *личного* Бога, «знает лишь бессмертие спасения или бессмертие осуждения» — (так однажды Михал Михалыч[6] как рукой снял увлечение наше «метапсихикой» интересом к *«нейтральному»* загробному миру) и я, уже не будучи живой, еще нигде, а лишь пока в царстве теней, в *преддверии* Чистилища. Но раз я тень, я уже жизненно — безвредна. Так не опасайтесь моих вторжений и примите от этой тени не дар, а *долг неограниченного служения*, долг потому, что было дано и иное, не понятое мною тогда. И я — бесконечная Ваша должница. Это неверно, что люди (кроме тайны любви) бесполезны друг другу в сокровенном душевно-духовном смысле. Не может быть лишней и праздной преданности, в ней мольба о служении, трепет о другом.

Я отнимаю что-либо, не принадлежащее мне? Да нет же, умерший не может отнять у живого! И о «счастье» я мечтать *не могу* больше, ибо любя Вас, я люблю Вашу жизнь и Ваши встречи с теми, кто Вам дорог, я ненавижу возможность ран и катастроф для Вас, я хочу, чтобы все было по Вашей воле, Вашему выбору.

И не дерзнули ли Вы, еще одаряя меня последними ласками, там, в холодном Царском Селе, поведать мне о новом в Вашей Жизни; Вы не испугались внешней чудовищности этого соединения — быть с одной и говорить о любви к другой — да, Вы имели *основание* не испугаться, основание в моей любви, в беспредельной любви к Вам. Я виновна в этих 2-х годах, в том, что я не в силах была взобраться на крутую вершину своей отверженности и в горнем воздухе одиночества заново обрести свою душу для Вас и служения Вам — я виновна в праздном, утомляющем Вас зове к невозможному возврату.

Но Вы, очевидно, простили.

Простите, Солнце.

Теперь же — убедились ли Вы в моей «надежности»? Пусть я еще плачу. И не плакали ли любимые Вами эллины в театре Диониса? Страсть — сострадание — очищение. Ведь это «катарсис». Священны встречи с Вами, священны Ваши «поручения».

О, если бы они были.

И еще — я ведь плачу о прошлом, о *своем* преступлении, об том, что тогда *не созрела* — для такого дара! Не было целомудрия, не было женственности, не было зрелости, не было правды во мне.

Впервые за 7 лет (священное число!) жду я ответа от Вас. Если все, что пишу,— не нужно — приму и это.

Да будет воля Господня.

Если скажете — уйти совсем, с глаз долой — пусть так.

Если скажете — к чему «высокие слова»? — пусть все просто, по-бытовому, как обычно — пусть так.

Что бы ни сказали — все приму, как приму и молчание.

М<ожет> б<ыть>, Господь мне укажет, куда приложить силы добра, и Вам будет хорошо с другого конца. Не «играть роль» в Вашей жизни хочу, а — если могу способствовать устранению лишней морщинки, содействовать лишней улыбке, смахнуть лишнюю пылинку, снять хоть малую долю усталости — в этом счастье.

При всей книжности своей натуры и жизни,— я все же видела довольно много замечательных людей. Но глубже, щедрее, великодушнее Вас не видела. Неисчерпанная расточительность; переливание всего спектра и надо всем белый луч необъятной человечности. Беспредельное внимание к каждой душе. (Напр<имер>, случай с композитором Абрамским[7] — ведь этому никто бы не поверил!)

Подвиг жизни. А голос, а *все другое...*? Ослепли ли все кругом, что не собираются вокруг Вас толпами, не сидят у Ваших ног и не пьют сладость Вашей беседы? А если ослепли — почему не пойти в другие места, где души у людей свежее, и цельнее, и чище и где Вы засияете в гордом и высоком сознании своей незаменимости? Мир так широк, так велик, так богат. У Вас же так беспредельно много сокровищ.

Откуда эти неправомерные речи о прекращении деятельности? Откуда этот яд? Гоните его, Солнце, Вы по своей скромности сами не знаете, что Вы такое, да Вам просто всегда «не до себя!».

О, как я вижу Ваше цветение среди людей, Вас достойных. Не всем по плечу Ваше *абсолютное своеобразие.* Ведь и мне, несмотря на силу чувства, не сразу оно далось и открылось. О, неповторимое сокровище. Конечно, Вы окружены и теперь — люди вокруг Вас — не пустые. И, м<ожет> б<ыть>, это окружение стоит более внешнего блеска. Но Вы должны сиять и сверкать.

Итак, коли захотите — вспомните об абсолютной преданности всецело бескорыстного друга.

Будьте, будьте, будьте счастливы. Не бойтесь меня и знайте, что *высшим* счастьем для меня были бы заботы о людях, Вам дорогих. *(Я не о Фабе[8] сейчас.)*

Ну, хорошо, хорошо — молчу. Только ведь не я, как оказалось, это придумала. Это придумал еще Митя Карамазов. «Буду ее посетителям галоши мыть, самовар ставить...» На прощанье хорошо бы пошутить, да что-то сейчас иссяк запас. Тогда на прощанье другое:

«Помнишь ли, бывало,
Ночи те далёко?
Полночью встречала (тут что-то путаю)
Нас заря с востока.

Из намеков кратких,
Жизни глубь вскрывая,
Поднималась молча
Тайна роковая.

А чего в те ночи
Мы не досказали,
Записала Вечность
В темные скрижали».

(Вл. Соловьев)

Ну, вот, забыла начало:

«Враг я этих умных,
Громких разговоров
И бесплодно-шумных
Бесполезных споров»[9].

(Это мне урок о призывании собеседников!!!)
Будьте счастливы, смейтесь, радуйтесь, верьте в себя, сочиняйте.
Да будут благословенны *все пути* Ваши.

Архив А. М. Кузнецова. Год установлен по контексту. Без подписи.

Гнесин Михаил Фабианович (1883—1957) — композитор, педагог, профессор Ленинградской и Московской консерваторий и Музыкально-педагогического института имени Гнесиных. М. Юдина в 20-е гг. исполнила множество его сочинений. Значительная часть писем М. Юдиной к М. Ф. Гнесину опубликована в сб. «Мария Вениаминовна Юдина...».

[1] Цитата из стихотворения А. Блока «Балаган».

[2] Драма Г. Ибсена.

[3] Симфонический монумент «1905—1917» для оркестра и хора на слова С. Есенина — сочинение М. Гнесина. На премьере, при участии двух роялей, играли М. Юдина и М. Бихтер (1881—1947).

[4] Вторая строфа из «Песни арфиста» («Песни старца») из романа И. В. Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера». Приводим перевод Марины Цветаевой, выполненный по просьбе М. В. Юдиной (см. прим. 26 к письму А. Т. Твардовскому):

Вы завлекаете нас в сад,
Где обольщения и чары;
Затем ввергаете нас в ад:
Нет прегрешения без кары!

[5] Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Анчар».

[6] М. М. Бахтин.

[7] Абрамский Александр Савватьевич (1898—1985) — композитор и фольклорист. Неясно, о каком случае идет речь.

[8] Гнесин Фабий Михайлович — сын М. Ф. Гнесина, о котором Юдина проявляла материнскую заботу во время его пребывания в Ленинграде в конце 20-х — начале 30-х гг.

[9] Неточно цитируемое стихотворение В. С. Соловьева «Другу молодости», посвященное князю Д. Н. Цертелеву (у Соловьева: «*Тишиной* встречала...»); любимое стихотворение М. Юдиной.

11. Е. Ч. Скржинской

8—10 мая <1931>

Дорогая моя Л![1]

Ну, (Ваше словцо!) чего только не было за это время! Я не писала Вам, ибо впереди «был один сплошной туман», как и в самой природе, в особенности в Пятигорске, когда мы летели[2]. Будущее было вполне загадочно. Настоящее же было полно риска, новизны, очаровательнейших летчиков, одного, увы, препротивного спутника (журналист из «Правды» — человек с совершенно ужасным лицом, хоть и очень вежливый) и систематического застревания там, где не надо. В Москве я, конечно, не получила плацкарты, ибо таких «командировок», как моя,— достаточно, да никто особенно и не читал знаменитой этой телеграммы, а просто идет один только международный вагон, мягких нет и вся «публика почище» устремляется туда. Все несутся по каким-то срочнейшим делам. Я была в отчаянии, глав<ным> об<разом> из-за сознания ненужности противной петербургской спешки, «брошенного» термена[3], Вашей забеганности и пр. Пришлось засесть в Москве, и, конечно, выручила всегдашняя Любовь Федоровна[4], и какой-то магический мальчишка в ее ведении достал на курьерский так, чтобы приехать 6-го днем. Концерт 5-го, таким образом, пролетел. В Москве я все время занималась, у наших и у Ефимовых (кукольников)[5] — О<тца> П. Ф<лоренского>[6] на сей раз не было, к сожалению, и тоже хотела уже написать Вам с дороги или с места. И вдруг я узнала об открытии воздушного сообщения. Разумеется, мобилизовались все деньги (билет от Москвы до Тифлиса стоит 197 р. и багаж 35), и я полетела. Предпочла перетратить на дорогу, лишь бы спасти концерт 5-го. Улетали ночью на самом рассвете, еще полная луна не зашла. Аэродром страшно далеко, тащились полупешком с Аней и Ганей (кузен — дирижер)[7], а старший брат[8] приехал потом с вином и с какой-то своей знакомой, и мы все повеселели, а то Аня ворчала и была права, ибо было много возни с ликвидацией международного билета. Машина замечательная, один из трех в России «Крылья Советов», 12 мест, 3 мотора, внутри красиво и удобно. Это был всего 2-ой рейс (т. е. они летали и зимою, но апрель не летали). Я ушла 3-го утром и на другой день часов в 12 должна была быть в Тифлисе. Но не успели мы дойти до Харькова, как сказали, что это недоразумение и раньше вечера и по расписанию в Тифлис не попасть. И тут начались задержки с моторами, а главное, неблагоприятная погода. Все это описывать долго, приеду — расскажу, и Ира[9] будет смеяться над «небылицами». Ночевали в Армавире, в какой-то мерзкой гостинице, в Пятигорске в прелестном доме отдыха летчиков и, наконец, в Баку я свалилась на голову своим

родственникам. 6-го часов в 5 наконец пришли. От Баку до Тифлиса сел какой-то восточный человек лет 40 в меховой шапке при европейском платье и всю дорогу молчал и дремал, лишь изредка что-ниб<удь> мне показывая из окна, был очень вежлив и спросил, для чего я еду. Когда мы пришли в Тифлис, выяснилось, что меня уже бросили встречать, ибо ежедневно ездили в автомобилях администраторы, пианисты и просто знакомые и в отчаянии вопрошали пилотов, не обронили ли меня по дороге — но те заверяли, что из Пятигорска не пришла ни одна машина и я там и сижу. Восточного дядю ждал автомобиль, и когда летчик спросил — не за мной ли машина, ему ответили, что не за мной, а за Орджоникидзе. Это и был его брат[10], и встретил его какой-то мальчишка, и когда они полопотали по-свойски, дядя сразу повеселел и предложил меня подвезти. Один администратор все же приплелся на всякий случай и был очень рад, что меня доставляют, ибо сам на ура не запасся машиной. По дороге дядя рассказал, что у них болен 3-ий брат и был при смерти, но, оказывается, ему легче и он придет в концерт.— Ну, ладно, хватит болтать. Летчики — один лучше другого. Это строгая и дружная каста, все довольно молодые, по-военному воспитанные, и при желании можно влюбиться штучно в любого. Механики к ним (везут двое и сменяются 4 раза за этот путь, т. е. 4 «пары») почти все немцы, латыши и эстонцы, у одного были глаза совершенно необыкновенной красоты, и он все время молчал. Когда я спросила пилота, отчего он так угрюм, тот объяснил, что он недавно вернулся оттуда, где многие друзья... Еще были прелестные буфетчицы на воздушных станциях, веселые и разбитные, кормили пылающими борщами, и яичницами, и южным плоским белым хлебом. Я выискивала всюду возможность позаняться, и здесь тоже были забавные вещи. Итак, вчера наконец был первый концерт — я думала его отменить, да и все были в недоумении, как я буду играть после такого путешествия, но я сама виновата: из Пятигорска дала телеграмму — «прилечу 5-го, надеюсь 6-го играть»; почему-то мне казалось, что все на меня сердятся, а м. б. оттого, что «на воре шапка горит», т. е. я недостаточно готова и мне казалось, что не будь это так — я могла бы играть в любом состоянии.— По перемене чернила видите, что письмо было прервано. Я занимаюсь почти целыми днями у Терминосовых [? — неразб.] или у маслаковских друзей (женщина — врач, прелестная грузинская семья, состоящая только из «женщин-одиночек» и детей)[11]. Устаю ужасно, ибо бессонница, а даже когда и спится — шум от трамваев невероятный — но вчера наконец перевели меня в тихий номер, окнами во двор. О концертах все расскажу: я довольна — средне и собой и публикой. Рояли здесь ниже всякой критики. Беккер и Рениш. Вчерашний концерт был в опере (на 1 ½ тыс. человек, но было, конечно, не полно). Здесь все время были *Оборин и Печковский*[12] и выступали вместе!!! Оборин отыграл один уже раньше. Сегодня приехал Софроницкий[13] и будет играть, пока я в Эриване,— Тарумов[14] был в отчаянии, что все свалились сразу. Ежедневно население, конечно, в концерт идти не может, а так как я не такое *общедоступное* блюдо, то пострадала, конечно, больше всех я. Кроме того, первый концерт был как в бреду, хотя все же хорошо. Была пастораль Корелли, Моцарт, Бетховен — 14-ая, песни Шуберта и Баха — cis moll'ная, один хорал и «запасная» органная (a-moll — Лист). Вчера в опере — Фантазия Шумана, Франк, Соната Шопена и 3-ной Бах[15], на бис, Adagio Hammerklawier[16], Серенада Шуберта, новый гавот Баха, Моцарт и Рамо — вместе и Двойник[17]. Да, в первом на бис другой хорал, тюлинская транскрипция[18], A-dur'ное интермеццо Брамса, начало Kreislerian'ы и Mom<ente> mus<icale>[19] Шуберта. Был известный процент нечистых нот, но была большая *энергия*, тембры, порыв, суровость, pianissimo, словом, многое из моего арсенала. Было и вдохновение, но я чувствовала какое-то недоумение аудитории, хотя порою воцарялась гробовая тишина и я знала, что они идут за мной — по бисам виден «успех», и его могло быть, конечно, гораздо больше, если бы «бисы» были понятные. Чего было недостаточно в обоих концертах с моей стороны — *надмирного покоя*. («Ты будешь — *хладный* — души жечь».) Были толки о «первой в СССР» и даже вообще... о «личности» и пр. (верно понятое), но т. наз. «широкая» публика или не пришла, или не поняла, и это создало контраст с накануне бывшими выступлениями Оборина — Печковского.— У нас ведь уже умеют различать эти 2 стиля, а здесь концерт к концерту, и «гастролер» должен «сорвать аншлаг» и т. п. Однако не думайте, что было кисло, вовсе нет — в конце концов я избалована Петерб<ургом> и Москвой, а для первого раза в городе *лучшего желать нельзя*. Немного странно, что вокруг меня нет кушнаревско-кавказских аборигенов[20], что с ними — не знаю.— Ну, до свидания. Бесконечное спасибо за все. Безумно волнуюсь за термена, но заставляю себя не думать. Денег мне еще почти не дали — как только дадут (12-го) — сразу вышлю. Никаких 2 тысяч не будет!!! Дайте письмо прочесть Алле[21] и больше никому — термен обидится, что не ему подробности полета — впрочем, тут я предоставляю дело Вашему

такту, но музыкальные дела его не касаются, конечно. *Всем* же говорите, что все у меня блестяще. 29-ое у Ханса[22] займите, *если нельзя позже* (попросите) —
Программа:

1. Бетховен — 21-ая
2. Шуман — Kreisleriana
   II
3. Бах — Сюита h-moll
   3 инвенции
   токката с moll
4. Франк — Прелюдия, хорал и фуга.

Целую от всей души. Спасибо, спасибо, спасибо. Приеду, наверное, 21, 22, 23.
МВ.

Белое платье — превосходно!

Архив И. Ч. Скржинской. Год установлен по содержанию.

Скржинская Елена Чеславовна (1897—1981) — историк-медиевист, близкий друг М. Юдиной на протяжении нескольких десятилетий, жила в Ленинграде. Брала у нее уроки музыки.

[1] Л — сокращение имени Леша, как обычно Юдина обращалась к Е. Ч. Скржинской.

[2] Письмо было написано в Тифлисе (Тбилиси) в первые дни после прилета туда М. Юдиной из Москвы на первые большие гастроли в Грузии и Армении.

[3] Термен — прозвище, которое получил в окружении М. Юдиной сын М. Ф. Гнесина Фабий, находившийся тогда в Ленинграде. (Лев Термен — изобретатель модного в те годы первого электрического музыкального инструмента терменвокса.)

[4] Рыбникова Любовь Федоровна (1887—1956) — секретарь дирекции Персимфанса (Первого симфонического оркестра, игравшего без дирижера).

[5] Пожизненные близкие друзья Марии Вениаминовны — скульпторы и художники Иван Семенович Ефимов (1878—1959) и Нина Яковлевна Симонович-Ефимова (1877—1948).

[6] Дружба М. Юдиной с П. А. Флоренским началась в 1927 г., с ним в те годы она виделась в Сергиевом Посаде и в Москве в доме Ефимовых. Общение М. Юдиной с П. А. Флоренским отражено в статьях С. Трубачева «Только в Моцарте... защита от бурь» («Музыкальная жизнь», 1989, № 13, 14) и «Фаворский и музыка» (там же, 1990, № 5).

[7] Аня — сестра, Анна Вениаминовна Юдина (1896—1970), переводчица; Ганя — двоюродный брат, Гавриил Яковлевич Юдин (1905—1991), дирижер, композитор, критик.

[8] Юдин Лев Вениаминович (1896—1964) — врач.

[9] Скржинская Ирина Чеславовна, сестра адресата.

[10] То есть брат Орджоникидзе Григория Константиновича (партийный псевдоним — Серго; 1886—1937).

[11] Маслаковские друзья — имеется в виду семья профессора Марии Христофоровны Угрелидзе, известного тбилисского врача-педиатра, дружившей с отцом ученицы М. Юдиной Аллы Петровны Маслаковец (1905—1986) — бактериологом Петром Петровичем Маслаковцом (? —1933).

[12] Оборин Лев Николаевич (1907—1974) — пианист; Печковский Николай Константинович (1896—1966) — певец.

[13] Софроницкий Владимир Владимирович (1901—1961) — пианист.

[14] Сотрудник Тифлисской филармонии.

[15] Три пьесы Баха (в их числе транскрипции Бузони и Листа).

[16] Адажио из сонаты № 29 Бетховена.

[17] Песня Шуберта «Двойник» в транскрипции Листа.

[18] Переложение одной из органных хоральных прелюдий Баха, выполненное композитором и музыковедом Ю. Н. Тюлиным (1893—1978).

[19] «Крейслериана» (Шумана) и «Музыкальный момент» (Шуберта).

[20] Имеются в виду ученики известного теоретика и композитора Христофора Степановича Кушнарева (1890—1960), который способствовал гастролям Юдиной.

[21] А. П. Маслаковец (см. прим. 11).

[22] Ханс — по-видимому, прозвище кого-то из работников Ленфилармонии. Концерт М. Юдиной анонсировался в Ленинграде 30 мая 1931 г., но она задержалась в Грузии и играла в Ленинграде уже в июне.

12. Е. Ч. Скржинской

<18.IX.1935>

Дорогая Л, спасибо за все письма и за сведения о Тарлином нахальстве[1]. Это, право, беспримерно! Он «ждал» весь август!! Подождет еще — я ему телеграфировала — чтобы подождал моего приезда. Я ему ясно сказала, что раньше приеду сама, а потом он сможет пользоваться...

Я получила от филарм<онии> широковещательное приглашение на много концертов — значит, буду приезжать, очевидно, Иранский концерт пролетел для меня, потому что я боялась соглашаться играть на клавесине, надо попробовать раньше, но, очевидно, у них вообще буду играть, Рабинович[2] очень приглашал. Постараюсь

и Аллу туда вовлечь и Розу[3], м<ожет> б<ыть>. На Штейнберг<ово>[4] предложение не знаю, что ответить — пусть пишет сам. Когда состоится 1-ый л<енин>гр<а>дский концерт — не знаю, поэтому еще не знаю, когда приеду. Был ли у Вас Михаил Фабианович? Как Вы знаете, он переезжает в Л<енин>гр<а>д на вообще. Мне это как весть из другого мира; он *замечательный* человек во многих отношениях, но для меня *всё* переменилось. Смотрите, «не отбейте» его у другого человека!!! Она странная, непонятная для меня — и многих — женщина. Ей 43 года, она седа и блекла и особенна. Тогда ей было столько, сколько мне сейчас — как различны функции возрастов в разное время для разных людей... — С Ирой мы несколько раз очень согласно говорили, на улице заговорились на неск<олько> часов. Ира — прелесть. С чего Вы взяли, что я «сержусь» на Вас? С чего бы? Я давно это бросила, всякие проявления неудовольствия и т. п. Это не ханжество, но я ведь видела — близко — *такой высоты безгневного* человека[5], что нельзя было не переродиться. На Вас же мне вообще и не может прийти в голову сердиться. Я, Леша, очевидно, один из тех, кто поздно пришел на жатву, но все же пришел... Я снова скитаюсь с портфелем по чужим домам для работы, но при людях играть не могу, выискиваю пустые часы. Надеюсь на комнату отдельную. Если она будет очень хороша, Л<енин>гр<а>д упраздню и приеду за своими книгами и зелеными креслами, они и теперь мои, ибо нашлись их владельцы и я вручила им за них деньги. Но это еще неизвестно, и, если ничего не найдется, буду опять платить за комнату, но о Тарлэ еще подумаю... Николетта[6] переезжает ко мне, ей это удобно из-за кухни и ванной для Паши, а я пока к ней, в половинное пользование ее комнаты. Меня ничем не удивишь... Борис[7] там остается. Не надо его так ругать. Строго говоря, он всех нас несчастнее. . Аня отбыла наконец, при величайших глубокомысленных сомнениях, в Алупку в санаторию. Слава Богу! — Вы бы писали о себе, Лешинька. Мне *все* дорого и интересно. Неужели непременно в дружеском обмене — «око за око»? Я «пью ковшами» свое молчание и досадую на себя за каждое слово — о себе и о мире. Но слушать тех, кем дорожу, могу и хочу, если мне хотят говорить. Так Вы не молчите. *Мне все интересно.* Целую Вас крепко... Бывали ли Вы на Иранских торжествах? Участие *рояля* отменил «Юся», о чем с досадой писал Рабинович, что он (Юся) «вещелюб» и его credo «Im Anfang war... — das Inwentar!»[8]...

До свидания, даст Бог.
Любящая Вас МВ.

Вам позвонит сестра Анны Сергеевны Ругевич, Вера Серг<еевна>, она едет в М<оск>ву — дайте ей мой пакет в запечатанном виде[9].

Архив И. Ч. Скржинской. Датируется по штемпелю.

[1] Академик-историк Евгений Викторович Тарле (1874—1955) был соседом Юдиной в доме № 7 по Дворцовой набережной, где имел квартиру, а М. Юдина комнату, которую она некоторое время после изгнания из Ленинградской консерватории пыталась за собой удержать. В то время, когда комната пустовала, там селился кто-то из друзей пианистки, возможно, у нее были планы сдать комнату Е. В. Тарле. М. Юдина встречалась с Тарле в его алма-атинской ссылке в 1933 г. во время своей поездки туда для встреч с сосланной туда же женой священника о. Федора Андреева — Наталией Николаевной Андреевой (1897—1970); см. также прим. 26 к письму № 20.

[2] Рабинович Николай Семенович (1908—1972) — дирижер, профессор Ленинградской консерватории.

[3] Имеется в виду еще одна из любимых и талантливых учениц М. Юдиной — Роза Соломоновна Черноброва-Левина (1911—1982).

[4] Штейнберг Максимилиан Осеевич (1883—1946) — композитор, профессор Ленинградской консерватории, зять Н. А. Римского-Корсакова; имея высокий авторитет в «общественных кругах», он старался поддержать изгнанную из ЛГК М. Юдину, поощряя приглашение ее для концертов в Ленинграде.

[5] По-видимому, М. Юдина имеет в виду П. А. Флоренского.

[6] Николетта — дружеское прозвище Нины Павловны Збруевой (1898—1964).

[7] Брат Борис.

[8] В начале был... инвентарь *(нем.)*.

[9] Еще одни близкие друзья М. Юдиной, внучки композитора Антона Рубинштейна, сестры А. С. Ругевич и В. С. Можанская. Намек на хлопоты в Москве М. Юдиной за арестованную А. С. Ругевич.

13. Н. К. Бруни

23.XII.57, Москва

Дорогая Нина Константиновна!

Очень все у нас с Вами похоже, хотя у меня и не свои дети, а бесчисленные «чужие» — близких — ранее друзей, а теперь — родных и одна забота сменяет другую и никогда нет ни времени, ни денег... Только помечтаешь о чем-либо, как посылается новый некий «аврал!»...

— Однако я все же считаю, что за книгами, кои я у Вас покупаю! — я сама и должна заехать, взяв на Серпуховской такси! Лишь бы они были отобраны и названа сумма! Ввиду того, однако, что моей младшей сестре Верочке с 3-мя детьми ее экспедиция задерживает зарплату на 2—3 месяца minimum, все мои планы рухнули пока! И многое другое — то, что все мои помощницы болели и болеют и я сама «едва таскаю ноги» и в спешке ем все дорогое и вредное, консервы и т. п. дрянь, какую можно купить *мгновенно*, и дом весь в запустении, и я между игрой топлю печку и пр... — Поэтому, дорогая Нина Константиновна, я в *этом* году еще никак не смогу расплатиться за книги... — Я смогу расплатиться только через 5 недель, в начале февраля, ибо ради денег — согласилась на тяжелую, неприятную поездку — играть — в Сибирь, ибо будут студенческие каникулы и я могу свободно уехать — заработать, ибо Сибирь «не по мне»... Что делать,— смирение, смирение!..

На днях я играю Метнера[1], который для меня давно уже пережит и исчерпан,— 25 лет тому назад и все это — русская провинция,— но по ряду причин — пришлось согласиться... Я всегда в искусстве «принципиальна», но за мной тянется, увы, всю жизнь одно тоже преодоленное «заблуждение юности» — устарелый Танеев — и вот — *однажды* — Метнер!..

Есть только — великая итальянская и немецкая (и нидерландская) музыка, Мусоргский и все то, что именуется формализмом. Все прочее — провинция... — — Одному формалисту в Польшу мне снова надо срочно отписать ответ по-французски[2].— *Я уже должна Вам за предыдущие 2 письма.* Льщу себя надеждой, что после Метнера, 29 или 30-го, или — в крайнем случае — в 1-х числах января — до Рождества Христова — я все же попаду к Вам (когда, конечно, Вам будет удобно!) с этим французским письмом своим, а с февраля надеюсь «пересечь дорогу» дочке Горяева[3] и брать наконец у Вас уроки!

— Итак,— я надеюсь Вам позвонить из Малого зала, в субботу 28-го вечером, но если Вас не будет дома,— это ведь Вас, дорогая, ни к чему не обязывает, конечно! — я, между прочим, не поняла, когда Вы едете в Ленинград! На Новый год? Если Вам и помогут дети, не привозите книги сейчас! Я или повторяю Метнера, или торчу в Институте! И, главное, я считаю, что это *моя* обязанность, а не *Ваша.*

До свиданья, милая Нина Константиновна!

Жить трудно, точно вечное Восхождение в гору... Так хочется *беспрепятственно* заниматься искусством. Но этого нет, для этого надо так или эдак лгать, а я не хочу, не умею и не буду... Целую Вас, привет всем Бруни.— М. В. Юдина.

Архив А. М. Кузнецова.

Бруни Нина Константиновна (1901—1989) — жена художника Льва Александровича Бруни (1894—1948), дочь поэта К. Д. Бальмонта. Дружбе с М. Юдиной посвящены воспоминания Н. К. Бруни-Бальмонт, опубликованные в сб. «Мария Вениаминовна Юдина...».

[1] Метнер Николай Карлович (1879/80—1951) — один из крупнейших русских композиторов-романтиков XX века. М. Юдина охотно играла его музыку в юности, затем охладела к ней. Всплеск ее интереса к музыке Метнера через три десятилетия отчасти был прагматическим: через родственников композитора, живших здесь и за рубежом, делалась очередная безуспешная попытка дать «невыездной» Юдиной дорогу на Запад (стремление Юдиной в те годы получить ангажемент за границей выражалось ею в формуле, которую встречаем во многих письмах: «...хочу лишь других посмотреть и себя показать...»). После концерта 28 декабря 1957 г. в Малом зале Московской консерватории была записана пластинка с сонатами Метнера. Кстати, для композитора-эмигранта концерт Юдиной в эпоху оттепели имел немаловажное значение — широкой публике возвращалось прежде запрещенное имя; то же будет при активном участии Юдиной через год-два с именем Стравинского (см. ниже ее письма к А. М. Баланчивадзе и Сувчинским).

[2] Н. К. Бруни переводила М. Юдиной на французский письма к ее новым корреспондентам на Западе, в данном случае имеется в виду польский композитор Казимеж Сероцкий (1922—1981), писавший ей по-французски. М. Юдина играла его сочинения.

[3] Горяев Виталий Николаевич (1910—1982) — художник-график.

14. В. С. Люблинскому

Москва,
23/VI—60

Дорогой друг!

Спасибо за хорошее письмецо.

Да, эта потеря ужасна, хотя ему было 70 лет[1]. Он был — сама жизнь, писал новую пьесу (*пьесу* — впервые!)[2], не успел окончить; сгорел от стремительного рака в 5 недель. Начался (по словам компетентных профессоров) он 1 ½ года назад, как раз тогда[3]. Но он был весел и здоров и ни на что не жаловался. Видаться не удалось, даже

если бы мне сообщили и раньше, никого не пускали, даже, например,— Анну Андреевну[4], а она приезжала из больницы!! — ибо от речи у него делалось кровотечение... — *Писать* об этом обо всем трудно. Похороны были неофициальные (кроме симпатичных проявлений Литфонда) и всенародные, народу было не менее 3-х тысяч, ни пройти, ни проехать, им истоптали весь сад!.. И знать на машинах и народ, бесчисленные интеллигенты всех возрастов, старики и студенты, и простой народ, вся окрестная деревня... Я играла трио Чайковского[5] (рояль перетащили в спальню, гроб был за стеной в столовой) и Шуберта, играл и Рихтер, и Волконский, и Стасик Нейгауз[6] (вроде сына ему ведь)... На могиле великолепно говорил Асмус[7], прочел стихи чтец Голубенцев[8], а потом остались сотни 3 народу, не расходились и все читали стихи его...

Моя сестра, Анна Вениамин<овна>, после несложной операции на 6-ой день упала и была абсолютно при смерти. Ее спасли 2 дежурных врача. Сегодня ей явно легче и можно, слава Богу, уже, вероятно, считать, что она выживет,— но при заботливейшем уходе. Ее за это время дважды перемещали, т. к. клиники уходят на ремонт; сейчас она в очень хорошей форме и наконец подчинилась длительному и почти абсолютному бездействию инфаркта. Я там ежедневно, а расстояние от меня до Новодевичьего, где клиники,— Вам известно. Машины, машины или неописуемая усталость... — За это же время пришлось не поехать в Ленинград и снять здесь 2 концерта... Но это — «цветочки»; «ягодки» — «3-х-частная форма»; меня забаллотировали на очередном «конкурсе»... По тем же причинам: «Стравинский» (условно), *«не Рахманинов»* (тоже условно) и мое мышление (тоже условно). И тяга студентов ко мне (безусловно...). Я отнюдь не унываю, работы разной много, полагаю, она останется; безмерно возмущены студенты и все вокруг; я прошу всех успокоиться, «нагрузки» были самоубийственные, значит, всё — к лучшему! Ничего подобного ни я, ни другие (кроме злопыхателей) не ждали[9].— *Не говорите Борису ничего. Совершенно излишне!* Вот лучше узнали бы, *что* у них с Таней[10], почему она абсолютно молчит:.. (Прошу...) — Когда едете в Албанию? Через Москву? Где и что Бима[11]? Я думала, она мне напишет о кончине Поэта... Спасибо за «Жаворонка»[12]. Я давно не читала такой прелестной вещи; хотела бы прочесть по-французски. А я и не знала, что они были здесь[13]!.. Видно, это было или в период всех несчастий, или когда я долго сидела дома с ангиной и подготовкой. В общем — композиционное нагромождение событий (chez moi[14]), как у Достоевского.

Почему в тяжело-грустные периоды жизни Вы подчеркиваете далекость? Ведь в такие минуты, часы и дни надлежит искать противуположного, т. е. возможного единства...! Я грущу о приумножении в Вас официальных начал, ибо я знаю и верю, что внутри — Вы — иной...

Господь с Вами.

Приветы АД[15], Биме, Вам. Повторяю, пишите и не говорите о последнем пункте Борису. Просила бы позвонить ему *и Тане.*

— МВ.—

Нелли[16] (истинный друг!) села на письмо!

Архив А. М. Кузнецова.

Люблинский Владимир Сергеевич (1903—1968) — историк книги, вольтеровед, один из «сокровенных» друзей Марии Вениаминовны последних двух десятилетий ее жизни. С ним делилась она всем радостным и горестным, он же регулярно оказывал ей денежную помощь. Писем к В. С. Люблинскому сохранилось очень много, в целом они дают потрясающую картину бытия русского музыканта в нашем столетии.

[1] Речь идет о Б. Л. Пастернаке, скончавшемся в Переделкине 30 мая 1960 г. Похороны там же в Переделкине были 2 июня.

[2] Речь идет о неоконченной пьесе Пастернака «Слепая красавица».

[3] Под этим юдинским «тогда» подразумевается начало массированной травли поэта после издания им на Западе «Доктора Живаго».

[4] А. А. Ахматова.

[5] Трио Чайковского «Памяти великого художника» М. Юдина играла со своими учениками.

[6] Рихтер Святослав Теофилович (р. 1915) — пианист; Волконский Андрей Михайлович (р. 1933) — композитор, пианист, клавесинист, органист, сейчас живет во Франции; Нейгауз Станислав Генрихович (1927—1980) — пианист.

[7] Асмус Валентин Фердинандович (1894—1975) — философ, профессор МГУ.

[8] Голубенцев Николай Александрович — мастер художественного слова.

[9] М. Юдина была «освобождена от занимаемой должности» в Институте имени Гнесиных 1 июля 1960 г. по результатам «закрытого конкурса» преподавателей, на котором она была забаллотирована.

[10] Таня — жена брата Бориса, Татьяна Петровна Модестова-Юдина.

[11] Бима — Наталья Васильевна Варбанец (1916—1987) — историк книги, ученица и друг В. С. Люблинского, автор неопубликованных воспоминаний о М. Юдиной «Opus 111».

[12] Пьеса Ж. Ануя, вышедшая на русском языке отдельным изданием в 1960 г.

[13] Имеются в виду гастроли парижского театра «Вьё коломбье», показавшего пьесу Ануя в Москве и Ленинграде в 1960 г.

[14] У меня *(франц.)*.

[15] Люблинская Александра Дмитриевна (урожд. Стефанович; 1902—1980) — жена В. С. Люблинского, историк.

[16] Кошка М. Юдиной.

15. Н. П. Дадиани

Москва, 3/XII—60

Многоуважаемый
товарищ Дадиани!

Чрезвычайно Вам благодарна за присылку журнала со статьей обо мне и за перевод таковой. Конечно, Вы все очень преувеличили. Жаль только, что там ничего не сказано о том, что мои программы почти всегда содержат большую долю современной музыки, советской и зарубежной. Я считаю сие весьма важным. Если я не ошибаюсь, Вы также просили, еще ранее,— сведения обо мне для грузинской Энциклопедии. Винюсь в том, что не смогла написать своевременно!

Я родилась 10/IX[1] (28 VIII) 1899 г. в г. Невеле Калининской области в семье земского врача; образование получила в Ленинградской (Петербургской) консерватории по классам спец. фортепьяно, спец. теории музыки, дирижерскому искусству и отчасти органа. Окончила в 1921 г. Преподавала в ней 10 лет, 1 ½ года в Тбилиси, 15 лет в Московской консерватории, остальное время в Муз-Пед. институте им. Гнесиных. Кроме спец. ф-но, которое считаю немыслимым преподавать всю жизнь, ибо неизбежно повторяется репертуар студентов и профессору поэтому грозит «ремесленность»,— (надлежит постоянно искать и находить новые темы) — лет 25 преподаю камерное пение и камерный ансамбль; последние лет 12—14 — *только его*; мои ученики — инструменталисты всех видов играют во всех крупных коллективах страны и *солируют* (напр., в камерном оркестре Р. Баршая[2]), равно как и вокалисты, в Москве в Большом Театре и в оперных театрах других городов.

Неоднократно ставила «Орестею» Танеева в Всер<оссийском> Театральном обществе[3]. В своей педагогической деятельности старалась привить учащимся понимание *современной* музыки и любовь к ней; много *«первых исполнений»* имеется в открытых выступлениях моего класса и по Радио; играли они также на VI фестивале студентов и молодежи в 57 г. (в Москве) — — — Иногда читаю перед своими выступлениями (или выступлениями студентов) доклады. — — В настоящее время занята также переводческой деятельностью зарубежных музыковедческих трудов. Продолжаю концертную деятельность, приглашена в Париж для исполнения в «Концертах Падэлу» — «Les concerts Pasdeloup» (самая крупная во Франции конц<ертная> организация) концерта с оркестром Андрэ Жоливэ под его управлением (и сольных концертов)[4]. Играла в Германии и Польше. В настоящее время не преподаю, пусть этот вид деятельности продолжат мои многочисленные и разнообразные ученики!

Всего Вам доброго. Еще раз благодарю за внимание. Сообщите, пожалуйста, свое имя и отчество, если будете когда еще писать. Простите опоздание. Уж очень велика занятость, да и — необозримая переписка. Сейчас за рубежом чрезвычайно много нового и ценного.— Была бы рада прилететь в Тбилиси и много из этого нового сыграть Вам всем. Скажите об этом кому следует, м. б. весной, после Парижа — я успею.

Привет всем моим ученикам, а также Ш. С. Асланишвили, сестрам Н. В. и Т. В. Багратиони, А. М. Баланчивадзе, О. А. Дмитриади, Сусанне Никол. Габуния, ее сестре М. Н. Чиковани и поэту Симону Чиковани, Н. А. Табидзе, семье покойного проф. М. Х. Угрелидзе!!! — отцу и сыну В. Р. и Д. И. Гокиэли[5].

— Уважающая Вас — М. В. Юдина.

P. S. Хотелось бы знать,— *кто* (хотя бы часть) других женщин в № журнала, где я!?!..

Архив Н. П. Дадиани. Печатается по копии, любезно присланной публикатору адресатом М. Юдиной.

Дадиани Николай Петрович — пианист, заслуженный педагог Грузии.

[1] При точном пересчете даты старого стиля на новый (прибавляя двенадцать дней) день рождения М. Юдиной — 9 сентября.

[2] Баршай Рудольф Борисович (р. 1924) — альтист, дирижер, в те годы был художественным руководителем созданного им Московского камерного оркестра, в настоящее время живет в Швейцарии.

[3] Оперу-ораторию С. И. Танеева «Орестея» М. Юдина ставила дважды: в 1939 г. в Московской консерватории и в 1946 г. силами Ансамбля советской оперы ВТО. Оформлял эти спектакли привлеченный Юдиной В. А. Фаворский.

[4] Концерты М. Юдиной в Париже должны были начаться в январе 1961 г., но, не объясняя причины, Союз композиторов запретил ей выезд.

[5] М. Юдина называет своих друзей — грузинских музыкантов и не музыкантов, с которыми она познакомилась в разные годы, начиная с первого своего приезда в Тбилиси (см. письмо № 11 к Е. Ч. Скржинской).

16. М. Л. и П. П. Сувчинским

<Октябрь 1962 г.>

Дорогие, дорогие
Марианна Львовна и
Петр Петрович!

Я возвращаюсь к жизни, как после тифозного бреда, после путешествия по бурному морю, после беспробудных сновидений самого фантастического характера...

— Да, это был живой, осязаемый Стравинский, великий Мастер и он же — душечка Игорь Федорович, остроумец, ласковый родной друг, бесконечно — близкий... Но был он в окружении многолюдной свиты, за колючую проволоку которой проникнуть было немыслимо; прибавьте к сему неисчислимых фотокорреспондентов, репортеров, а потом уже попросту нагло втиравшихся зевак (на репетициях), псевдохудожников, музыкантов понахальнее с глупыми словами, дам разных возрастов с букетами; главное, что я почти все время была в Ленинграде из-за подготовки Выставки, а когда он сам был там — лихорадочно доучивали септет... Но я ездила 4 раза взад-вперед за это время, я его встретила, была на 3-х репетициях (в Москве) его с Крафтом[1] и на одной в Л<енингра>де, на 1-ой (основной) программе, раза 2 (кратко) у них в «Национале», на наших совсем испортившихся балетах, когда и он, увы, их посетил... Свита состояла из переводчицы Крафта, Тихона[2] с супругой, Карена Хачатуряна[3] (он как раз симпатичен), племянницы — Ксении Юрьевны, она милая... Ничто, мною задуманное, не удалось — т. е. Загорск, музей Рублева, удивительное, благодатное место в самой Москве (реставрированный Андроньев Монастырь, где Рублев похоронен), скромное чаепитие у меня с Алпатовыми[4] и Линой Ивановной с ее милейшим младшим сыном Олегом[5], посещение одного духовного лица, очень образованного человека... И т. п. Даже посещение Музея Скрябина, в основном ради нового инструмента «АИС», не было нормально организовано; у меня там все — друзья — «по Яворскому»[6] не по Скрябину, можно было по-человечески побеседовать, но все было вообще не только prestissimo, но *«на раз»*. На прогулку в Архангельское мне не хватило в «ЗИМе» места, но я это предвидела и отшутилась... Однажды в Ленинграде меня Игорь Федорович сам велел позвать обедать, но навести беседу на более существенные рельсы тоже не удалось, как и за ужином после концерта в Ленинграде... Все время было впечатление: «по усам текло, а в рот не попало...» Крафт тоже вечно был в разбеге, а Вера Артуровна[7] производила странное действие, словно она исчерпана до упаду, как оно, видимо, и было!! Вероятно, ведь она тоже не столь молода!!.. Лишь однажды она мне сказала: «Вы точно явление из сказки!»... Я не могла (и не хотела, если бы и могла, ибо я вся — в долгах, и есть бедные, беднейшие люди!..) им делать дорогие подарки, но я дарила некоторые лучшие свои книги (и ту, давнюю, о кунсткамере Петра I) им всем, любимый И. Ф. мед, варенье из терна своего сада... Но их задарили, кажется, вещами дорогими и броскими.— — — Радовались они всему как большие дети, и это было очаровательно. Но все это «menschliches»[8]... В искусстве — И. Ф. всех поразил своим дирижированием, особенно «Жар-Птицей» в Ленинграде; это была как бы вершина его мощи... Но и «Орфей»[9] в конце концов ожил на 1-ом концерте и был грандиозен; на репетициях он был как бы *мертв*; не смею себе ничего приписывать, но я в антракте много беседовала с артистами оркестра, с концертмейстерами, показывала им фотографии постановок (Баланчин, Мюнхен и др.) и будила в них воображение; м. б., это чуточку помогло... Не сердитесь, что я это пишу, но ах, они так далеки от мифа... Я это им и сказала; об «Оде» Наталии Кусевицкой[10] Игорь Федорович говорил

(очень хорошо и понятно), но об Орфее, видимо, думал, что все всё знают сами... Или его гениальные руки (а не мои скромные слова) пробудили в оркестрантах их хотя бы артистическую гордость, сыграть, не порхая смычком, скользя по инструменту...

Ужасно жаль, что в Ленинграде был этот «Поцелуй феи», бедный Крафт завяз в нем, это сочинение не красит Стравинского. Почему-то исчезла симфония Памяти Дебюсси... Татьяна Николаева[11] играла Capriccio очень точно и лихо; я Capriccio не играю и, вероятно, не буду. Должна Вам признаться, что и Симфония в 3-х частях — не мое излюбленное сочинение, несмотря даже на 2-ую ее часть и то, что о ней стоит в «Диалогах»[12]; это не Psalmensymphonie[13]... (Она была за Крафтом.) Крафт — дирижер — для меня вполне; мне не требуются «темперамент», жесты, блеск. Караяны[14] для меня «отжили» со своим монструозным Брукнером[15]... Партитура ясна у него; прочее интеллигентные слушатели услышат сами... Теперь — посылаю лишь 6 вырезок, постараюсь достать еще; один глупец осудил Крафта. Как ни странно, он — мой кузен[16], но мы с ним крайне далеки; у нас общее — один Брамс; был и Шостакович, но теперь с Дм<итрием> Дм<итриевичем> мои пути, увы, врозь[17]... (Кстати, в «Melos» за 59 год нашла *верные умные* слова *Stuckenschmidt'a*[18] *о Шостаковиче*, а не полное его безобразное нивелирование... Об этом — в другой раз.) — Так вот, к счастью, Стравинским и Роберту не пришло в голову меня спросить о моем «однофамильце» и со мною они, слава Богу, об этой статье в «Ленинградской Правде» и не говорили; со смерти моей бедной тети мы с этим кузеном почти и не видимся; к тому же они переехали предельно далеко от меня; полагаю, однако, что порицание Крафта было как-то инспирировано... По-моему, он Sacrè[19] дирижировал великолепно. Но 90% людей предпочитают Маркевича[20]... Должна, однако, Вам как неповторимо близкому другу сказать, что, по-моему, Роберт совершил неуместный поступок, когда после Sacrè и первых поклонов повернулся к ложе, где сидели И. Ф. и В. Арт., и послал в эту сторону воздушный поцелуй... У нас такие приемы неприятны и дики; с его абстрактностью это и плохо вяжется; я очень смутилась за него, но не сказала им об этом, конечно; пробралась через все кордоны к ним с 2-мя букетиками настоящих мелких розочек из одной дружественной оранжереи и хрустальным бокалом с трюфелями для Роберта; и на другой день — снова в Ленинград и так далее. 7-го X я играла в Колонном зале Дома союзов (бывшее «Благородное собрание» — Казакова) с Романом Матсовым[21] и большим оркестром Радио I Концерт (с духовыми), мой любимый; как будто — хорошо; накануне в Ленинграде было открытие выставки и септет; все — и репетиция, и концерт, и приезд, и отъезд — в один день!.. «обыдёнкой»... Слава Богу, что я вечером же уехала и была на репетиции в Ленинграде; в антракте, в Красной гостиной филармонии, состоялась дивная беседа с «научно-студенческим» обществом, было человек 50 молодежи, были и дирижеры, между прочим — Геннадий Рождественский[22] ходил за Иг. Фед. по пятам!! и композиторы постарше; задавали вопросы и умные и глупые, но Иг. Фед.— как всегда говорил грандиозно: просто, остро, «зубасто», как он сам говорил про другое, когда надо — уклончиво, когда надо «в лоб» (выражение Мейерхольда). Хвалил Булэза[23], отчасти и Штокгаузена[24], рекомендовал серийную и додекафонную технику, ее дисциплину, объяснял ее роль в ходе истории музыки (смену эпох). Все были потрясены, ошеломлены, счастливы; moi-même[25] — в частности; к концу, когда все расходились, я ему сказала свое любимое «spiritus flat ubi vult»[26], т. е. вот он нам и рассказал важнейшее, он заулыбался и ответил: «ubi, ubi[27] — в Ленинграде!!..» — В Ораниенбаум и в Петергоф я, конечно, тоже не попала! Выставку смонтировали за полчаса до открытия; то, что И. Ф. сократил на 2 дня пребывание в Ленинграде, было особенно мучительным не для кого иного, как для меня именно, я уже спала лишь по 2—3 часа в ночь, не могла быть на самом *симпатичном* приеме у ленинградских композиторов, где были серьезные беседы, где есть превосходные люди (и он сам больше всего доволен этим именно приемом!..); днем среди работы я вдруг засыпала на 3 минуты и спрашивала себя: «где я, в Москве или Ленинграде?»... Вероятно, они рассказывали восторги о Петергофе и Ораниенбауме. Выдалась дивная осень, почти без дождей, wie gerufen[28]!! — На аэродроме на встрече было превосходно, а прощание почему-то носило аракчеевский (ныне устаревший) характер. До сих пор меня торопь берет, как одни прошли, а другие остались... Ну, мы и уехали поскорее, я, дочь Бальмонта, Алпатов, редактор из Радио, старый скульптор Кипинов, давний поклонник Веры Арт. Кто-то слышал, как Тихон сказал кому-то: «Отбирай людей!»... А я лелеяла: «разлуки час живее самого свиданья»... — Бог судил иначе... —

Простите, что здесь, в письме сем, имеется кое-какое нытье, а также «самохвальство». Но это лишь так кажется... Что до выставки, то мне кажется, что выведение текстов автора на стену, вместо обычной экспликации, было новым и осмысленным. Примерно около 30 фрагментов из «Хроник»[29] и «Диалогов», м. б. больше. Мне

помогали В. М. Богданов-Березовский, П. А. Вульфиус, немного Юлиан Вайнкоп[30] и мои университетские друзья — Люблинский В. С. (инкунабуловед), его ученица Наташа Варбанец (теперь работающая, где был он 28 лет, в Публичной Б<иблио-те>ке), немного Е. Ч. Скржинская и чудесный античник Сережа Беляев[31] из Эрмитажа; была еще органная молодежь из класса Браудо[32] — на побегушках...— —

Перо не пишет — кончаю. *Напишу вскоре еще. Пишите сами, умоляю.*

— Я бы хотела, чтобы *Вы* о нашей Выставке где-либо сказали или написали... М. б., мы ее сфотографируем. Советуете ли Вы написать мне в редакцию «Melos'а»? Мы потратили столько сил, хотелось бы откликов...

Обнимаю и целую. Dieu Vous garde[33].

Всегда Ваша М. В. Юдина.

Архив А. М. Кузнецова.

Сувчинский Петр Петрович (1892—1985) — философ и один из основателей евразийского движения. Учился музыке у Ф. М. Блуменфельда, издавал вместе с А. Н. Римским-Корсаковым в 10-е гг. в Петербурге журнал «Музыкальный современник», после революции вместе с Б. В. Асафьевым — журнал «Melos». Автор многих статей и книг по музыкальной эстетике, изданных после войны во Франции; самый объемный труд — «Век русской музыки (Глинка, Мусоргский, Чайковский, Стравинский)». С Сувчинским Юдину познакомил Б. Пастернак, и между ними завязалась оживленная переписка, ключевой темой которой стало явление *Игорь Стравинский*.

Стравинский был другом П. Сувчинского и боготворимым композитором для Юдиной, она сделала все «возможное и невозможное» для поездки Стравинского на родину в 1962 г. Расстановка ролей в «треугольнике» Пастернак — Сувчинский — Юдина отражена во вступительной статье Е. Б. Пастернака к публикации переписки Б. Л. Пастернака и М. В. Юдиной («Новый мир», 1990, № 2); на участие И. Стравинского в судьбе П. П. Сувчинского проливают свет письма Сувчинского к М. Юдиной (см.: «Вергилий по кругам современной музыки. К 100-летию П. П. Сувчинского». Публикация А. Кузнецова.— «Музыкальная академия», 1992, № 3). Письма М. Юдиной к П. Сувчинскому (несколько десятков) были переданы по его завещанию публикатору в 1988 г. в Париже вдовой Сувчинского Марианной Львовной Карсавиной-Сувчинской. (Особый и по-своему головокружительный сюжет — Л. П. Карсавин и М. В. Юдина, которая была его ученицей на историко-филологическом факультете Петроградского университета в начале 20-х гг.)

[1] Крафт Роберт (р. 1923) — американский дирижер, секретарь и биограф И. Стравинского, приезжал в СССР вместе с композитором в 1962 г.

[2] Имеется в виду Тихон Николаевич Хренников (р. 1913), композитор, тогда первый секретарь Союза композиторов СССР.

[3] Хачатурян Карен Суренович (р. 1920) — композитор.

[4] Алпатов Михаил Владимирович (1902—1986) — историк искусства; Алпатова Софья Тимофеевна — его жена.

[5] Прокофьев Олег Сергеевич (р. 1927) — сын композитора С. С. Прокофьева и его первой жены Л. И. Прокофьевой (1897—1989).

[6] Яворский Болеслав Леопольдович (1877—1942) — музыкальный теоретик. Вечера его памяти регулярно в те годы проводились в Музее А. Н. Скрябина в Москве, Юдина была их непременным участником, ибо с Яворским ее связывало тесное творческое сотрудничество (см. ее воспоминания о Яворском в сб. «Мария Вениаминовна Юдина...»). Скрябина она не любила и практически не играла.

[7] Стравинская Вера Артуровна (урожд. де Боссе; 1892—1982) — жена композитора, художница, сопровождала мужа в его поездке по СССР.

[8] Человеческое *(нем.)*.

[9] Музыка к балету Стравинского «Орфей», исполнявшаяся на этих концертах.

[10] «Траурная ода (элегическая песнь в 3 частях)» — оркестровое сочинение Стравинского памяти Наталии Константиновны Кусевицкой (1881—1942), жены дирижера С. А. Кусевицкого, много исполнявшего (и одним из первых) музыку Стравинского. Композитор включил его в программы своих концертов в Москве и Ленинграде.

[11] Пианистка Татьяна Петровна Николаева.

[12] Имеются в виду многочастные «Диалоги» И. Стравинского и Р. Крафта, выходившие на английском языке (1959—1966) и в сокращенном виде изданные в 1971 г. в Ленинграде. М. Юдина читала присланное ей немецкое издание.

[13] «Симфония псалмов» И. Стравинского.

[14] Караян Герберт фон (1908—1989) — австрийский дирижер. М. Юдина отрицательно относилась к нему, ей претила шумиха вокруг очередного модного имени, кроме того отвращение вызывало его нацистское прошлое.

[15] Автор грандиозных по протяженности симфоний австрийский композитор Антон Брукнер. Седьмая симфония исполнялась Венским симфоническим оркестром под управлением Г. фон Караяна на гастролях в Москве весной 1962 г.

[16] Г. Я. Юдин. Резкость суждений М. Юдиной безосновательна: ее двоюродный брат был тонким критиком и опытным дирижером.

[17] Временное охлаждение к Д. Д. Шостаковичу было связано с его беспомощностью в том, чтобы помочь Юдиной выехать в Париж (см. выше ее письмо к Н. П. Дадиани), хотя она обращалась к нему и он обещал помочь. Через несколько недель в Москве состоится премьера

XIII симфонии Шостаковича на слова Е. Евтушенко, она поцелует композитору руку после этого исполнения, напишет ему (и своим друзьям) восторженные письма. Прежние добрые, но не слишком тесные отношения будут восстановлены.

[18] Штуккеншмидт Ханс Хайнц (1901—1988) — немецкий музыковед и критик, не был знаком с Юдиной, но посмертно написал о ней апологетическую статью «Пальцы как орлиные когти» (см.: Stuckenschmidt H. H., «Hände als Adlerkaune».— «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 1980, 2 Februar, S. 23).

[19] «Весна священная» Стравинского (французское название — «Le Sacrè du printemps»).

[20] Маркевич Игорь Борисович (1912—1983) — французский дирижер, пианист, композитор, по происхождению русский, начиная с 1960 г. несколько раз приезжал в СССР. М. Юдиной претил ажиотаж вокруг него, как это было и с Караяном, Ван Клиберном, Гленом Гульдом.

[21] Один из преданных друзей Марии Вениаминовны, эстонский дирижер Роман Владимирович (Вольдемарович) Матсов, с ним ею были исполнены впервые некоторые полузапрещенные произведения современной западной музыки.

[22] Рождественский Геннадий Николаевич (р. 1931) — дирижер, пропагандист современной музыки, поддерживал М. Юдину во многих ее начинаниях, они вместе выступали и записывались.

[23] Булез Пьер (р. 1925) — французский композитор и дирижер, один из лидеров музыкального авангарда, познакомился с Юдиной во время своего посещения Москвы в 1967 г.

[24] Штокхаузен Карлхайнц (р. 1928) — немецкий композитор, теоретик и философ, высоко ценил М. Юдину, переписывался с ней, она готовила к исполнению его сочинения, но не успела их сыграть.

[25] Я сама (лично я) *(франц.)*.

[26] Дух веет где хочет *(лат.)*.

[27] Где, где... *(лат.)*.

[28] Как по заказу *(нем.)*.

[29] Имеется в виду книга И. Стравинского «Хроника моей жизни».

[30] Богданов-Березовский Валериан Михайлович (1903—1971) — композитор, музыкальный критик, зав. репертуаром Малого театра оперы и балета; Вульфиус Павел Александрович (1908—1977) — музыковед; Вайнкоп Юлиан Яковлевич (1901—1974) — музыковед.

[31] Беляев Сергей Алексеевич — археолог, историк.

[32] Браудо Исай Александрович (1896—1970) — органист, профессор Ленинградской консерватории.

[33] Храни Вас Бог *(франц.)*.

17. А. М. Баланчивадзе

Москва А-8, Новое Шоссе 33/30 5.XI—62

Дорогой Андрей Мелитонович!

(Увы, из подаренных мне в Риге листов бумаги с латвийским фольклором — остались лишь эти мрачные кадры,— простите!!...)

Пишу несколько слов о пребывании Вашего брата, Георгия Мелитоновича, и его балета: трудно найти слова восхваления; они могут показаться напыщенными или экзальтированными; ни то, ни другое — мне не свойственно; следует анализировать планомерно, постепенно, обдуманно, но на основании величайшего художественного и нравственного потрясения. Мне и представляется необходимым приступить к сему; сперва для своего понимания, затем — быть может, прочесть сии впечатления и изложения мыслящим людям... Конечно, это не «балет» в обычном понимании слова, это нечто высшее, как танец древних или средневековые мистерии. Гений Георгия Мелитоновича зрим в каждом движении, в каждом участнике, в каждой детали — равно как и в композиции целого. У каждого из нас есть некие дары потрясений, испытанные от того или иного прочтения, лицезрения, слушания; я могу сравнить по силе воздействия хореографические творения Георгия Мелитоновича с «Песнью о земле» Малера, с «Парсифалем»[1], с «Johannes-Passion»[2], с «Весной священной» Стравинского, с сонатой Бартока[3] (для 2-х фортепьяно с ударными), с явлением Отто Клемперера[4] в дни нашей юности, с тем же «Эдипом-царем»[5], с явлением трагика Моисси[6], с «Пергамским алтарем»[7]... Даже многие приезжавшие сюда из Англии театры Шекспира не достигали ни силы, ни отработанности «Балета Баланчина»; (я, правда, не знаю почти английского, но всегда, всегда читаю Шекспира, поэтому я, мне кажется, несколько могла разобраться в их качествах); да, приезжал еще один великолепный театр — Жана Луи Барро[8]; и там все было сцеплено духом 2-х людей, его и Мадлэн Рено; они ведь близкие мне люди по духу, ибо теснейшим образом связаны с дорогой мне организацией «Музыкального авангарда», т. е. «Domaine Musicale» в Париже[9]. Но и они не имеют *масштаба* Вашего брата. А масштаб и есть невычитаемый признак гениальности Божьей Милостью.

В тот достопамятный для меня день, день посещения Вас вместе с Георгием Мелитоновичем, Джарджи и Панне[10] — я была очень усталой, и почему-то рассеянной, и как-то чрезмерно оживленной и *как бы прозевала эту встречу;* не следовало идти на Шоу[11], конечно, но у меня был и чужой билет; следовало молчать и слушать диалог 2-х братьев, или задавать планомерные вопросы великому хореографу, или прочесть много-много стихов... Я не могу также понять, почему я, идя к Вам и на встречу с ним, легкомысленно забыла (я же читала об этом в «Словаре балета») о его семейном горе[12]... Я простить себе этого не могу... (Но это разговор особый, вернее — *это особое молчание...*)

Кроме всего прочего, поражает и трогает его легендарная скромность, полное отсутствие житейского...

Я познакомилась и с Наталией Александровной Молоствовой[13]; мне кажется, она очень значительный и сильный духом человек и глубоко преданный Георгию Мелитоновичу; я ей сказала, что она напоминает мне женские образы Плутарха и Шекспира.— Увы, увидеться лично с Георгием Мелитоновичем мне довелось потом лишь на вокзале 29-го X, когда они все уезжали в Ленинград; меня поразило, что, кроме меня, привезенной мною Лины Ивановны Прокофьевой (да еще одного переводчйка (английского учителя[14] моих племянниц) и его друга — физика[15] — с ними), было лишь трое друзей Вашего брата и никого из московских людей искусства; правда, днем у них в «Украине» был официальный прием, где было множество людей, но — с моей точки зрения — каждая минута около гениального и возвышенного человека — дорога... Я приглашала для сих проводов Джарджи к себе, еще раз объясняла ему маршрут и предлагала взять его с собой в машину. Увы,— он не пришел ко мне и сам на вокзале тоже не появился. Почему? — Увижу его и побраню. (Вы меня уж простите, дорогой Андрей Мелитонович, но мне кажется, что Ваш Лев Оборин[16], *при своих громадных* чисто музыкальных способностях, и пианистических тоже, конечно, не несет в себе насыщенного внутреннего мира, не отягощает свое благополучное бытие сложными проблемами современного искусства, катится как некий аппетитный колобок беспрепятственно по розам лауреатской жизни — и вряд ли может «сердца держать и воли влечь», а молодежь томится «духовной жаждой», им дорога эта самая Гекуба, а ему, Оборину, она — трын-трава...) Джарджи — экземпляр умный и способный; ему следует подружиться с более современной и вибрирующей компанией молодежи,— я таких много знаю; я позову его к себе непременно, с ними вместе. Это не «пианизм» и отнюдь не ущемит профессорские права на него Льва Николаевича.

Теперь: *еще, еще, еще совершила я глупость:* Вы спрашивали, когда я бы хотела приехать в Тбилиси; я действительно обещала и в Таллине играть «Пробуждение птиц» — Оливье Мессиена[17] концерт с оркестром, трудную программу с «Одой» Шёнберга в Ленинграде (т. е., конечно, Шёнберга у меня не просили, а я «разрешение» на него, так сказать, «обрела в борьбе», сломив очередное сопротивление «работодателей»)[18]. Еще я должна была «доработать» выставку Стравинского (ибо меня безбожно обманывали оформители, *пользуясь поздним заказом* всего этого события Домом Композиторов), словом — у меня ведь всегда множество сложных обязанностей, и, *беседуя с Вами по телефону — я еще была в инерции своих обычных трудовых распорядков,— я говорю о нашей последней беседе...* Но — когда я поняла *неповторимую значимость* Театра Вашего брата и его самого, как человека и художника,— я вознегодовала на себя...

Андрей Мелитонович! Быть может — еще не поздно??!! Я бы приехала (прилетела, то есть) только *на один концерт — вот, в конце ноября, когда будет в Тбилиси Балет Баланчина.* На один, ибо на бо́льшее время не хватит возможности у меня (ибо,— ленинградскую программу надлежит все же готовить), *а, главное, вероятно, трудно найти, и один даже!! день и час, не совпадающий с балетом;* но — при наличии доброй воли все можно организовать, мне кажется... *Я могла бы приехать и б е з о п л а т ы, лишь бы оплатили дорогу и гостиницу и моих троих партнеров* — пианиста Виктора Деревянко (2-ое фортепьяно — прекрасный пианист и музыкант, кончивший аспирантуру у Нейгауза и 5 лет учившийся у меня камерному ансамблю) и 2-х блестящих ударников из «Государственного оркестра» — Руслана Никулина и Валентина Снегирева — *это мы четверо — исполнители Сонаты Бартока. Это гениальнейшее сочинение; не скрою: имею дерзновенную мечту:* она (соната) была поставлена хореографически — не Георгием Мелитоновичем, года 2 тому назад, в Европе, где и кем — сейчас не вспомню, но очень серьезно, ибо об этом писал журнал «Melos», из Майнца, я его получаю, специальный журнал современной музыки; я жажду, чтобы Ваш брат услышал сию сонату, как мы ее играем (обо мне ведь мало пишут теперь, *я многим поперек горла.* Но об этом концерте много писали — и в «Советской музыке» тоже...). Кроме *Бартока* (24 ½ минуты, т. е.

отделение, ибо всегда бывает неизбежно бисирование) — *Стравинский* (я *все* играю его кроме «Петрушки») и *Волконский* (Musica stricta)[19]. *В 2 дня мы управимся туда и обратно*, лишь бы наш концерт не совпал со спектаклем Балета Баланчина!!! Можно ведь и днем, когда у них нет утренника... Вот так, быть может — все это удастся и Ваш брат услышит наше исполнение сей сонаты... И, быть может, захочет её поставить... А я, быть может, посмотрю «Шотландскую симфонию» и «Концерт барокко», эти вещи не удалось посмотреть, но почти все остальное я видела. От «Блудного сына» (а одни «Фанфары» чего стоят!!..) и, главное, от *Веберна*[20] мы все (я и многие единомышленники) *совсем погибли*... Это буквально — Откровение...

Ну, довольно, простите. Но все это очень серьезно и существенно, дорогой Андрей Мелитонович. <Это уже по Пастернаку:>* Суть моего бурного письма в том, что (если я не ошибаюсь) основой эстетики и как бы «мировоззрения» сего балета и его создателя являются идеи и концепции чрезвычайной высоты, к которой, разумеется, может и должен стремиться каждый художник; но — помимо сего — для меня они беспредельно родственны и незаменимы, но, кроме Пастернака и Фаворского, у нас никто на этих камнях не стоит и не строит *(или почти)*. Пастернак умер, Фаворский умирает, словом:

«Иных уж нет,
А те — далече».

(Пушкин)

А тут, у Георгия Мелитоновича, все живое, все сверкает и искрится, все глядит вперед, исходя из Вечных Основ... У кого же достанет сил не погнаться за этим совершенным воплощением Искомого, о чем годами размышлял в одиночестве, какой мореход повернет вспять от маяка?..

Простите. Не сердитесь. Жду вестей.

Искренне Ваша — М. В. Юдина.

Простите, молю, «разнобой» нумерации страниц письма. Я не предполагала, что будет столь длинно. Переписывать немыслимо!....

Всего, всего Вам самого лучшего!

Архив А. М. Баланчивадзе. Печатается по копии, присланной адресатом М. В. Юдиной, с его любезного разрешения.

Баланчивадзе Андрей Мелитонович (р. 1906) — композитор, учился у Юдиной в классе специального фортепиано в Ленинградской консерватории. Способствовал знакомству с ней своего брата хореографа Джорджа (Георгия Мелитоновича) Баланчина (Баланчивадзе) (1904—1983) во время его приезда в СССР с труппой «Нью-Йорк сити балле» в 1962 г.

[1] Опера-мистерия Р. Вагнера.

[2] «Страсти по Иоанну» — оратория И. С. Баха.

[3] Бартók Бела (1881—1945) — венгерский композитор.

[4] Клемперер Отто (1885—1973) — немецкий дирижер. В 20-е гг. неоднократно приезжал в Москву и Ленинград, дружил с М. Юдиной, но вместе они не выступали.

[5] «Царь Эдип» — оратория И. Стравинского, одно из любимых музыкально-театральных произведений М. Юдиной.

[6] Моисси Александр (1880—1935) — немецкий актер, выступал в СССР в 20-е гг.

[7] Пергамский алтарь — большой алтарь из Пергама в Малой Азии, сокровище берлинского Пергамон-музея, был вывезен в качестве трофея после окончания второй мировой войны. Перед возвращением в ГДР был выставлен в 1958 г. в Эрмитаже, М. Юдина ездила осматривать его.

[8] В июне 1962 г. М. Юдина посещала спектакли гастролировавшей в Москве парижской труппы Жана Луи Барро и Мадлен Рено.

[9] Имеются в виду концерты, проводившиеся по инициативе П. П. Сувчинского с начала 50-х гг.

[10] Джарджи — сын А. М. Баланчивадзе; Панне —жена сына.

[11] Имеется в виду концерт американского хора Роберта Шоу.

[12] Подразумевается неизлечимая болезнь жены Дж. Баланчина Танагиль Ле Клерк.

[13] Молоствова Наталия Александровна — секретарь и помощник Дж. Баланчина.

[14] Один из ближайших друзей Марии Вениаминовны в последние годы ее жизни, Глеб Иванович Семенов, переводчик и педагог.

[15] И. Керимов, научный работник.

[16] У Л. Н. Оборина учился Джарджи Баланчивадзе.

[17] Мессиан Оливье (1908—1992) — французский композитор и органист

[18] Речь идет о подготовленной к исполнению 2 декабря 1962 г. в Ленинграде мелодекламации Арнольда Шёнберга (1874—1951) на слова Дж. Байрона «Ода Наполеону» для чтеца, струнного квартета и фортепиано. М. Юдина должна была исполнять партию фортепиано и пыталась, в сущности, совершить невозможное: дать дорогу к нашему слушателю запрещенной

---

* Зачеркнуто рукой М. В. Юдиной.

музыке великого австрийского додекафониста. Предварительно получив разрешение на постановку этого уникального сочинения, затратив невероятные усилия для его подготовки с переводчиком текста, чтецом, инструменталистами, за несколько дней до премьеры она была извещена о ее запрете, исходившем от филармонического и обкомовского начальства. Через год за чтение стихов Хлебникова и Пастернака с эстрады она будет практически до конца своей жизни отлучена от ленинградских концертных залов.

[19] Имеется в виду сочинение для фортепьяно А. М. Волконского, посвященное М. Юдиной и ею неоднократно исполненное в те годы вопреки яростным нападкам официозной критики на композитора и на это именно сочинение (см., например, оскорбительную рецензию за подписью «Слушатель» в журнале «Советская музыка», 1961, № 7; в том же духе: Дурнев М., «Это не музыка».— «Львовская правда», 25.2.62, и др.).

[20] Имеется в виду балет «Эпизоды» на музыку А. Веберна. Выше Юдина называет балеты на музыку Мендельсона («Шотландская симфония»), Баха («Кончерто барокко»), Прокофьева («Блудный сын»), Бриттена («Фанфары»).

18. Еп. Филарету (Вахрамееву)

Москва,
(3) 16.X—66

(Священно-мученика
Дионисия Ареопагита,
Епископа Афинского)

†

Ваше Преосвященство
Глубокоуважаемый
и
драгоценнейший Владыко
Ректор!

I. Быть может, Сам Дионисий Ареопагит соизволит мне, грешной и недостойной,— своей пламенной Силой,— помочь написать Вашему Преосвященству — возможно более кратко — ибо у Вас столько забот «о всех и вся» — еще несколько слов; они представляются мне неизбежными.

II. Принятие Святых Таин, в День Праздника Покрова Пресвятой Богородицы — из Ваших благословенных рук — и в Храме Пресвятой Приснодевы Марии — дает мне столь несказуемое и незаслуженное счастье, что все земное могло бы отойти в очень далекий план,— если бы —

III. Если бы я не сознавала — даже с некоей отчетливостью — лежащие на мне серьезные задачи. Именно — по мере своих слабых сил, но с призыванием Божией Помощи — доступное мне — разъяснение искусства (музыки и поэзии), как одной из манифестаций Боговоплощения в человеке.

Скажем по Пушкину:

«И он к устам моим приник
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный, и лукавый.
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул»

— и т. д. *(«Пророк»)*

Человеческое слово упирается в Слово. А музыка окутана завесой Тайны, и Слово обитает внутри ее бытия.— Всякое же иное искусство есть ремесло, кусок хлеба, развлечение, быть может, и в некоторых аспектах даже... «прелесть»...

О прочем — Владыко,— судите сами.

IV. До меня дошли некие вести о «реакции» на мою встречу с Академией. Или — благодарные, или «грустно-предостерегающие». Но я, простите,— «несостоявшийся» историк, я училась в Ленинградском университете у замечательнейших учителей, из коих некоторые окончили жизнь смертью мучеников. — — Они учили нас прежде всего тому, что истина только в *«первоисточнике»*... С тех пор чистая прямота этого метода дает мне один из компасов в жизни и работе. *Я и не стала ни с кем ничего «обсуждать», разумеется.* Я кратко благодарила в ответ, когда благодарили меня. В некоторых других — в приветствиях — наличествовал некоторый «холодок»*. Про-

* (или мне так почудилось?)

тоиерей, профессор А. Д. Остапов прошел близко от меня и не счел уместным поздороваться со мною; поскольку в тот вечер меня с ним не познакомили, я тоже не поклонилась ему,— но *не намеренно*, разумеется, *я — Вы это знаете, дорогой Владыко, всегда рада всячески смиряться и смиряться*, но — опять же, нас учили в те «огненные», «эсхатологические» годы в Ленинграде,— не следовать так называемому «человекоугодию»; о нем много тогда говорилось и, видимо, во многих из нас, православной пастве тех времен,— ростки и побеги его выжжены каленым железом... (А проф. А. Д. Остапов — ведь некое «начальство!»...)

Все будущее сего начинания (моих лекций-концертов) — или его катастрофа (а это: «всему конец» — была бы именно *катастрофа*) только в Руках Божиих и драгоценных Ваших, глубокоуважаемый Владыко Ректор.

V. Теперь: *прошу извинения за многое:*

a. отъезд мой без прощания с Вашим Преосвященством.

b. идиотское мое предположение, что любой из гостей сего «Акта» мог уехать рано в Москву на концерт. А предположение, что Вы, Вы сами! могли уехать, являлось уже поистине «верхом» бессмыслицы.

Простите меня!

Но — с одной стороны, весь «пафос» моего предложения билетов на концерт заключался в *подлинном христианском духе* оратории Артура Онеггера и Поля Клоделя *«Жанна д'Арк на костре»*, в ее вечной и *современной* правде, в том, что сочинение сие шло у нас в России впервые — и исполнение именно 14.X, возможно — *последнее*... А с другой, едучи на Праздник и написав письмецо Вашему Преосвященству ночью дома, я и не помышляла ни о какой трапезе!..

c. еще прошу меня простить особенно в том, что, когда вы неожиданно подошли ко мне за столом,— я настолько растерялась, что внезапно «язык мой прильпее гортани моему»,— это был, вероятно,— некий спазм. Смею Вас заверить, что вина я не пила и вообще его и не пью; мы с Флоренскими наслаждались академическим квасом, и симпатичный collega Штраус Д. А. так меня и не смог уговорить «выпить»...

(VI. Спешила, однако, я на концерт *своевременно*, ибо не могла обмануть своих близких (сестру с семьей), я обещала им взять тоже билеты на концерт, живут они за городом *по другой* жел. дороге; жизнь их не столь легкая, я стремлюсь ее украсить...)

VII. Есть еще весьма существенная тема: ко мне приходит разная молодежь и *вопрошает*: обо многом: о правде, современности, религии, науке, Церкви, о том, *что* читать, и тому подобное. Я не всегда бываю подготовлена; кроме того, снова возникает кое-где лжеучение антропософии, штейнерианство.... Мне необходима более *планомерная богословская помощь*. Если бы Вы когда-нибудь, Ваше Преосвященство,— нашли бы часочек и для беседы на эту именно тему со мной — ради других...

Наконец кончаю. Простите многоглаголание.

Земной поклон.

Преданная Вам и Святой, Соборной и Апостольской Церкви — недостойная р. Б. М. В. Юдина.

P. S.

Ваше поручение я выполнила и с Ал. Ал. Юрловым (хормейстером)[1] говорила; т. е.— не с ним, а с его супругой, но это в данном случае — одно и то же, она знает все его планы и намерения, к тому же — она — концертмейстер (и кроме того — моя бывшая ученица по камерному ансамблю). Его некоторое время не будет; вернувшись с триумфом из-за границы, он куда-то уехал дирижировать по симфонической линии, а не хоровой,— до 24 с. м. Наталия Федоровна[2] сказала, что приезд его с хором в Загорск — *немыслим* и вот почему: Александр Александрович не найдет возможным *уменьшать масштаб* своего «инструмента», полагая, что это *вредит художественному смыслу. А такой большой хор не может по-настоящему звучать в столь небольшом Зале Академии.*

Но я после 24.X ему все равно позвоню еще раз.

Архив Я. С. Назарова. Черновое.

Епископ Филарет (Вахрамеев), в те годы ректор Московской духовной академии, ныне митрополит Минский и Белорусский, благожелательно отнесся к предложению М. Юдиной прочитать в академии факультативный курс музыкальной литературы. В 1966—1967 гг. планировался цикл концертов-лекций, объединенных сквозной темой «музыкальное творчество и религия». Но кроме первой лекции осенью 1966 г., упоминаемой в данном письме, остальные не состоялись.

[1] Юрлов Александр Александрович (1927—1973) — хоровой дирижер, художественный руководитель Академической республиканской русской хоровой капеллы (сейчас носит его имя). (Выше в письме говорится об исполнении капеллой под управлением А. А. Юрлова

оратории А. Онеггера «Жанна д'Арк на костре».) М. Юдина высоко ценила его искусство, не пропускала его концерты, подарила своим друзьям — семье Солженицыных пластинки с записями исполнения капеллы.

[2] Юрлова Наталия Федоровна — жена А. А. Юрлова.

19. В. С. Люблинскому

<Декабрь 1967 г.>

Дорогой друг!

Спасибо за все, за все. С Новым Годом! Главное — здоровья, здоровья и *не* считать себя больным — *в смысле сознания*, но считать себя больным — *в смысле поведения!*

— Я же уже почти не справляюсь с жизнью, т. е. с ее заботами, но держусь с Божьей Помощью

Но говорят *все*, играла как-то «сверх» etc на Вечере Фаворского в Музее на Волхонке Играла много (23-го <декабря>) и пожала, так сказать... некое преклонение... Денег не платили, но подарили 2 тома «Иконы». Еще играли мои бывшие питомцы — V-т[1] Шостаковича — великолепно. Говорили: Алпатов, художники Гончаров, Эльконины, Маша Фаворская и moi-même[2] (и этим были довольны!!!).

Еще — «сам» Харджиев[3] меня «вытащил» на выставку рисунков покойного Чекрыгина. Он умер в 22 г.— 25-ти лет (попал под машину). Они все считают его гением. Я думаю, что сие преувеличено, но — художник очень сильный...

У бедного — а он был так благополучен! Виталия Буяновского[4] тоже несчастье.— Наконец! — родилась дочка утром, а вечером — дитя умерло — врожденный порок сердца!! — Он валторнист самый лучший.— Приеду, Бог даст, с ним и репетировать, и записываться,— im Januar[5], продав (т. е. когда наконец купят — все у них[6] больны!) наконец! архивчик. (Нашла письмо Дитты Барток[7].)

Простите снова нищенский звонок... На Пестеля голодали[8]... Умоляю Вас, не переутомляйтесь!! — Бима написала мне Сердечно целую АД и Вас. Господь с Вами.

Ваша усталая лошадка — МВ

Главное встретить свет Рождества Христова

Долой «корректуры»[9]

Архив А. М. Кузнецова. Датируется по содержанию.

[1] Квинтет Д. Шостаковича.

[2] Я сама (*франц.*).

[3] Харджиев Николай Иванович (р. 1903) — искусствовед, литературовед.

[4] Буяновский Виталий Михайлович (р. 1928) — валторнист, ныне профессор С.-Петербургской консерватории. Играл и записывался с М. Юдиной в 60-е годы.

[5] В январе (*нем.*).

[6] В отделе рукописей ГБЛ (ныне РГБ).

[7] Письмо вдовы композитора Белы Бартока.

[8] Семья брата, Б В Юдина, проживавшая в Ленинграде на ул. Пестеля

[9] В С Люблинский в то время готовил к изданию ряд своих работ Перенапряжение через месяц свело его в могилу

20. А. Т Твардовскому

Москва, 20—I—69
тел 244-74-74
Москва
Г-121 Ростовская набережная
д 3 кв 153

Глубокоуважаемый и дорогой
Александр Трифонович!

«Прошли года Прошли дождем событий
Прошли, мрача Юпитера чело
Пойдешь сводить концы за чаепитьем —
Их точно сто! — Но только шесть прошло»

(Борис Пастернак, «Спекторский»)

1. Прошло, примерно, 2 ½ года, как я имела удовольствие говорить с Вами и Вы, в приятном, веселом «строе», высказали некую — *почти* уверенность, что Вы в Вашем «Новом мире» — напечатаете мои воспоминания

2. Было бы неправомерным, бестактным, себялюбивым поступком, если бы я — в столь трудное время для Вас, для замечательного журнала, для нашего драгоценного Александра Исаевича и т. д.— воспользовалась Вашим любезным и доверчивым предложением. Я готовилась, т. е., попросту, я проходила положенный мне жизненный путь:

«...средь круговращения земного
Рождений, скорбей и кончин»

(Борис Пастернак, «Хлеб»)

и «выжидала»... Однако, легче — сколь известно — российской мысли не стало, м<ожет> б<ыть> напротив...

3. Что же побуждает меня, невзирая на «атмосферу», все же напомнить Вам о себе? — Глубокое убеждение в наступившем моем «последнем пути», который есть, конечно, «Путь Крестный»,— завершение жизни, подготовка к смерти, так сказать — «подведение итогов».

4. За это время я написала изрядно много; кое-что напечатано или лежит в издательстве, как «принятое», или вот-вот будет напечатано. *Напечатана* статья о Дмитрии Дмитриевиче *Шостаковиче*[1], *принята к печати* статья о Владимире Владимировиче *Софроницком**[2], через 2—3 дня *отдается* статья о Болеславе Леопольдовиче *Яворском (ее давно от меня ждут)*[3].— В ближайшие дни (я запаздываю вследствие грандиозности матерьяла) отдаются «Аннотации» к грампластинкам (моего исполнения) *«Иоганнес Брамс»* и *«Иоганн Себастьян Бах»* (Брамс уже принят, вернее), радиожурнал «Кругозор» ждет статью «Картинки с выставки» *Мусоргского*[4]. Читаны на открытых и *многолюдных* вечерах в Доме Композитора фрагменты из воспоминаний: — *Ленинградская блокада, отдельные характеристики Покойных композиторов Ленинграда...* и т. д.[5].

5. *Основной матерьял лежит в Отделе Рукописей Г. Публичной Библиотеки имени Ленина*, лежит, публикуются в их «Ежегодниках» мои дальнейшие поступления, Отдел считает меня «своим автором».

6. Мне кажется, за истекшее время я несколько «выработала» то, что называется свой «стиль». Несколько...

7. Итак, я могла бы *согласно Вашему указанию* в тот единственный наш с Вами разговор по телефону,— принести в редакцию Вашего журнала напечатанные на машинке свои писания. *Но вот в чем мои сомнения: я н и ч е г о* не писала ради, так сказать, *«своей жизни»*, жизни меня, Марии Вениаминовны. Я писала *монографии*. Я восхваляла, от сердца, от (посильного) ума,— тех многих, *с кем училась, у кого училась, кого играла, кого изучала, перед кем преклонялась, кем восхищалась, кого оплакивала, о ком скорбела, за кем пыталась следовать*. Я всю жизнь искала *Воплощения Истины в человеке*, его творчестве и жизненном пути. И находила с Божией Помощью.— Один мой замечательный университетский друг, Покойный Владимир Сергеевич Люблинский, как Вы, вероятно, знаете, *всемирно известный книговед*, возглавлявший «Институт реставрации и консервации рукописей» Академии Наук, однажды сказал мне, что я пишу не характеристики людей, не монографии, а... *«акафисты»*.— Я же, напротив (т. е. Владимир Сергеич был не согласен со мной), ответила, что, не имея намерения *специально всех восхвалять*, вспоминая и повествуя о них, я непроизвольно опускала все *негативное*. Я думаю, что это и правильно.

«Сотри случайные черты», как сказал Александр Блок в «Возмездии».— Тому же: *обобщению* и учил нас великий наш современник, Покойный Владимир Андреевич Фаворский.

8. Итак, придя к концу, увы, разросшегося письма, позволю себе сообщить Вам и *принести на Ваш суд*, что меня смущает *композиция вышеизложенного повествования*. Опасаюсь впасть в кризис, высказанный Райнером Мариа Рильке:

«Мы переполнены. Связуем. Гибнет всё,
Связуем снова мы и гибнем сами»

(«Элегии из Дуино» — Элегия 8-ая. Перевод мой[6]*.)*

Как связать? Например: *погибнуть не страшно автору, но нежелательно читателю.* Вообще не связывать, дать отдельные портреты, отдельные «очерки», «новеллы», «хроники» — нет, нет, нет, *не о себе*, а о событиях, торжественных, грозных, страшных, блистательных, печальных, умилительных, непостижимых?

Не лучше ли всего озаглавить всю сию вереницу: «Тема и Вариации»... (Именно сейчас, кстати, я и ломаю голову — в связи с И. С. Бахом — над проблематикой и феноменологией Вариационности...) Тема, конечно, *не автор*. Тема — человек.

---

* Весь сборник на 2 года отложен.

Извечная его загадка. *Человек и история.* (Как minimum.) Ибо над этим стоит — *человек и Вечность.*

Словом, дорогой и глубокоуважаемый Александр Трифонович, *прошу меня принять.* Я буду Вам звонить, с Вашего разрешения. А «сюжеты» — *вот они:*

1. «Класс партитурного чтения» *Николая Николаевича Черепнина* в Петроградской консерватории в годы войны 1914 года — вплоть до революции. 2. Композиторы: Вера Виноградова, Герман Бик, Владимир Щербачев, Юрий Кочуров, Юрий Шапорин, Сергей Прокофьев, Михаил Гнесин, Валерьян Богданов-Березовский[7]. 3. Молодое поколение композиторов: Андрей Волконский, Эдисон Денисов, Арво Пярт, Софья Губайдулина, Сергей Слонимский и другие[8]. 3 (особо). *Игорь Федорович Стравинский* — открытие выставки его, моя работа[9]. 3-а. Изучение балета, особо значимого в наше время. Джордж Баланчин.

4. Бурная переписка с США, ФРГ, Парижем, Италией, изучение современного искусства, мой «Вергилий» — *Петр Петрович Сувчинский* — музыкальный философ, русский, живущий в Париже[10].

5. Петроградский Университет («историко-филологический факультет» его) — *19-ые, 20, 21-ые годы.* Профессоры: Фаддей Францевич *Зелинский*, Иван Михайлович *Гревс*, Ольга Антоновна *Добиаш-Рождественская*, Лев Платонович *Карсавин*, Иван Иванович *Толстой.* Разгром медиевистики (кроме палеографии)[11]...

6. Тюрьмы и ссылки. Высылка в 1922 году осенью русской идеалистической мысли за границу, диаспора русской духовной культуры по всему миру[12].

7. Великий современник наш, универсальный гений и *мученик — Павел Александрович Флоренский* [13].

8. Церковная жизнь в годы 1919 — *и далее, до наших дней* [14].

9. Отечественная война, осажденная Москва, выезды (изредка) на передовые позиции «с бригадами» (этим занималась Покойная Нина Павловна *Збруева*, профессор «ГИТИСа»)[15].

10. *Блокада Ленинграда* и *работа там*, в конце ее, но до «прорыва кольца». (Деятельность Самуила Яковлевича Маршака по спасению ленинградцев.)[16]

11. Работа в Москве, в Московской Консерватории, до войны, во время нее и после. *Болеслав Леопольдович Яворский.* Гарри Нейгауз. Моя постановка «Орестеи» Танеева в Моск<овской> Консерватории, позже в «В. Т. О.»[17].

12. На основе изучения, преподавания и изучения *вокально-камерной литературы* (И. С. Бах, Шуберт, Карл Лёве, Брамс, Пауль Хиндемит) *работа редактора* (проблемы *эквиритмического перевода*, выбор, советы и т. п.), *переводчика* («подстрочные» тексты) с *поэтами:* Борисом *Пастернаком*, Николаем *Заболоцким*, Самуилом *Маршаком*, Александром *Кочетковым*, Надеждой *Павлович*, Евгенией *Бируковой*, Евгением *Рединым*, Всеволодом *Рождественским*. Дружба с ними, с большинством из них еще *до этой работы* [18].

13. Камерный Ансамбль в институте Гнесиных. «Море музыки» и «море студентов».

14. Другие встречи: *Всеволод Мейерхольд и Зинаида Райх, Соломон Михоэлс, Алексей Толстой, Любовь Васильевна (Любава) Шапорина, Владимир Андреевич Фаворский,* Анатолий Маркович *Гусятинский,* художники и первые кукольники *Иван Семенович и Нина Яковлевна (Симонович) Ефимовы*, филологи *Б. В. и И. Н. Томашевские*, ученые, геологи, петрографы, удивительные люди — академик Юрий Александрович *Орлов*, Борис Владимирович *Залесский*, Кирилл Павлович *Флоренский*, и другие[19].

15. *Жертвы, жертвы истории:* историк *Всеволод Владимирович Бахтин* (*не родственник Михаилу Михайловичу Бахтину*, тоже моему пожизненному другу)[20]... Неисчислимые служители церкви, священники, диаконы, миряне, загрызенные волками, погибшие от тифа (в Соловках в 1929—30-ые годы), замерзшие, избитые до смерти, и т. д.

17.* Евреи, сожженные на «голубой даче» в городе Невеле, *моем родном городе*, откуда мой Покойный отец[21] — врач 77-и лет ушел — с мачехой нашей и 15-летней сестрой Верочкой (— ныне геолог-траппист, старший научный сотрудник и кандидат геол<огических> наук, мать троих детей) пешком через лес, ибо немцы подступали уже. И другие еврейские — состоявшиеся и несостоявшиеся — события.

18. Начатая (и прекратившаяся *не по моему уходу*) работа «концерты-лекции» в Духовной Академии Троице-Сергиевой Лавры (в Загорске)[22].

На этом можно и кончить (+ многочисленные «снятия меня с работы», + систематическое «отлучение» меня от концертной деятельности, постоянная со мною «игра в кошки-мышки»). Ну, а о моих тысячах концертов по всему Союзу не пишу, *о них пишут другие, этого достаточно с меня...* — во всех крупных и мелких

---

* М. В. Юдина ошиблась в порядке нумерации.— *А. К.*

концертных залах 2-х столиц и «периферии», в госпиталях, лекториях, на кораблях; «выпущена» была дважды — в Польшу и ГДР, а вызвали в *Париж, снова* персонально в *Варшаву*, отвечали, что — мол, «Professor» больна[23], тут же хотела пригласить Венеция, приезжал из Венеции к нам замечательный человек — *Луиджи Ноно*, композитор-новатор, член ЦК итальянской компартии, автор «Хиросимы», женатый на дочери Арнольда Шёнберга (приезжал со своим другом, историком Люиджи Песталоцца), но они сами вскоре увидели, что «моя карта» — «бита»!..

19. Еще — и встречи с великими дирижерами и просто отличными дирижерами, «обучение на их репетициях» или игра с ними — примерно с *75-ью*...

20. Еще — Алексей Максимович Горький и *Екатерина Павловна Пешкова*![24]

21. Детство. «Земной рай» родительского дома, огромная деятельность отца — земского врача и тихий, дивный свет матери.

21-а. Наш город Невель[25].

Прошу прощения за пространность.— М. В. Юдина[26].

ОР РГБ, ф. 527, картон 9, ед. хр. 34. Неотправленное письмо, о чем свидетельствует запись, сделанная рукой М. Юдиной (л. 12 об.): «Неотправленное письмо Александру Трифоновичу *Твардовскому*». Запись относится к апрелю 1969 г. (помета на л. 12 об.), то есть Юдина, продолжая следить за событиями, разворачивавшимися вокруг «Нового мира» и его главного редактора, выжидала и какое-то время надеялась еще вручить это письмо адресату. Но события приняли катастрофический характер, и Юдина поняла, что в этой ситуации ее послание уже неуместно, а в 1970 г. А. Т. Твардовский был изгнан из своего журнала... Автору настоящей публикации со слов самой М. В. Юдиной известно содержание еще одного разговора по телефону Марии Вениаминовны с Александром Трифоновичем: в тяжелые дни для журнала и его редактора на рубеже 1969—1970 гг. она выразила А. Т. свое участие и моральную поддержку

Это письмо Юдиной, несмотря на его умиротворенный и почтительный тон, свидетельствует о том отчаянии, какое переживала Мария Вениаминовна, очутившись в конце жизни перед «железобетонной» стеной официального замалчивания и не стихающей скрытой травли.

[1] Первая литературная публикация М. Юдиной — статья в «Московском комсомольце» (25.9.66) к 60-летию Д. Д. Шостаковича.

[2] Вторая, и последняя (не считая одного перевода и одной аннотации к грампластинкам), прижизненная литературная публикация М. Юдиной «Несколько слов о покойном драгоценном художнике Владимире Владимировиче Софроницком» (в сб «Воспоминания о Софроницком» Редактор-составитель Я. И. Мильштейн. М. «Советский композитор». 1970). Помнится, с какой радостью незадолго до болезни и смерти Мария Вениаминовна надписывала статью и книгу.

[3] «Воспоминания о Болеславе Леопольдовиче Яворском» вышли уже после смерти М. Юдиной, в 1972 г., в первом томе книги «Б. Яворский. Статьи. Воспоминания. Переписка», 2-е изд. («Советский композитор»). Юдина принимала активное участие в его консерваторских довоенных семинарах как иллюстратор — в Баховском и «Истории исполнительских стилей». Можно говорить об определенном «просветительском» воздействии Яворского на Юдину.

[4] Аннотация к записям М. Юдиной на пластинку «Картинок с выставки» Мусоргского вышла в усеченном виде уже после ее смерти, хотя саму пластинку с записью своей игры она успела подержать в руках. Ее текст в последнюю минуту фирма «Мелодия» заменила текстом Г. Хубова. Лишь в повторном тираже были даны фрагменты юдинской аннотации. Журнал «Кругозор» с записью игры Юдиной и ее голоса (чтение статьи о «Картинках») вышел в 1972 г. по инициативе познакомившегося с пианисткой писателя и педагога С. Соловейчика... Аннотация к Брамсу в конце концов выросла в грандиозную статью «Шесть интермеццо Иоганнеса Брамса» (полностью опубликована в сб. «Мария Вениаминовна Юдина...»).

[5] Две лекции были прочитаны в Молодежном клубе Г. С. Фрида Московского Дома композиторов в феврале и декабре 1967 г.

[6] VIII элегию М. Юдина перевела полностью в конце 40-х гг. Она много переводила с немецкого, это был и выход творческой энергии, и приработок. Особенно гордилась переводом книги Феликса Вейнгартнера «Исполнение классических симфоний. Советы дирижерам. Т. I. Бетховен» (М. «Музыка». 1965). Ряд рукописей ее переводов хранится в ОР РГБ (книга скрипача Й. Сигети «Между струн» и исследование К. Зервоса о Пабло Пикассо, одном из любимых художников Юдиной).

[7] Пункты 1 и 2 осуществлены в воспоминаниях М. Юдиной «Немного о людях Ленинграда» (см. «Мария Вениаминовна Юдина...»). О композиторе С. С. Прокофьеве воспоминания не были написаны, хотя дружба с ним длилась несколько десятилетий (см. об этом: Кузнецов А., «Счастливы, что жили в эпоху Прокофьева...».— «Музыкальная жизнь», 1991, № 11-12).

[8] Об этих композиторах, а также о Г. Фриде и А. Локшине, были написаны небольшие заметки обобщенно-оценочного характера. Под заглавием «Краткий комментарий к Новогодним <1969> письмам 7-ми ныне действующих композиторов» хранятся в ОР РГБ (ф. 527, картон 4, ед. хр. 9).

[9] К приезду И. Ф. Стравинского в 1962 г. на родину в Ленинграде были поставлены три его балета в Малом театре оперы и балета. М. Юдина была консультантом постановки, она «пробила» выставку о его жизни и творчестве в Ленинградском Доме композиторов, которую она собрала и в буквальном смысле смонтировала руками своими и своих друзей.

[10] Овладевая современной композиторской техникой, в которой к тому времени Россия отстала в силу запретов на несколько десятилетий, М. Юдина вступила в интенсивную

переписку с крупнейшими композиторами и музыковедами Запада. П. П. Сувчинский из Парижа снабжал ее адресами, журналами, книгами и партитурами. Отношения Юдина — Стравинский подробно освещаются в книге племянницы композитора К. Ю. Стравинской «О И. Ф. Стравинском и его близких» (Л. 1978).

[11] Опубликовано в воспоминаниях «Немного о людях Ленинграда».

[12] О высылке русских философов в 1922 г. М. Юдина не написала, если не считать упоминания этого события в небольшом отрывке о Л. П. Карсавине (ОР РГБ, ф. 527, картон 5, ед. хр. 10).

[13] Некоторые встречи с П. А. Флоренским отражены М. Юдиной в ее статье «Создание сборника песен Шуберта» (в сб. «Мария Вениаминовна Юдина...», стр. 272), в одном из неопубликованных отрывков воспоминаний в ее фонде в ОР РГБ, обстоятельно они описаны в статьях С. З. Трубачева (см. прим. 6 к письму № 12). Исчерпывающе тема освещена в несокращенной, неопубликованной рукописи статьи С. З. Трубачева «М. В. Юдина в общении с П. А. Флоренским».

[14] Этот пункт лишь намечен в некоторых неопубликованных фрагментах воспоминаний.

[15] См. «Немного о людях Ленинграда».

[16] См «Создание сборника песен Шуберта».

[17] Об этом многое сказано в уже упомянутых воспоминаниях о Б. Л. Яворском. Г а р р и Н е й г а у з — пианист Генрих Густавович Нейгауз (1888—1964), директор Московской консерватории в 1935—1937 гг.

[18] См. в статье «Создание сборника песен Шуберта».

[19] Эти воспоминания написаны не были.

[20] Б а х т и н Всеволод Владимирович (1901—1951) — медиевист; арестованный в 30-е гг., он так и не вернулся в родной Ленинград, умер в Ставропольском крае, где после ссылки работал в артели инвалидов. С ним и его женой Евгенией Савельевной Бахтиной (1890—1963), тоже историком, принявшей монашество после смерти В. В. Бахтина, М. Юдина была в дружеских отношениях. О разгроме медиевистики см. в комментариях Б. С. Каганович к публикации писем О. А. Добиаш-Рождественской («Отечественная история», 1992, № 3).

[21] Ю д и н Вениамин Гавриилович (1864—1943).

[22] См. об этом в письме № 18.

[23] В ГДР М. Юдина выступала на торжествах, посвященных 200-летию со дня смерти И. С. Баха, в 1950 г., в Польше в 1954-м; все прочие приглашения за рубеж были сорваны Союзом композиторов.

[24] Воспоминания М. Юдиной «Алексей Максимович Горький» опубликованы в сб. «Мария Вениаминовна Юдина...».

[25] Пункты 21 и 21-а осуществлены М. Юдиной во фрагменте воспоминаний «Февральская революция и Курсы Лесгафта (и немного о родном городе Невеле)», в сб. «Мария Вениаминовна Юдина...».

[26] Мемуарные сюжеты и темы перечислены в этом письме М. Юдиной с почти исчерпывающей полнотой, недаром на том же л. 12 об. рядом с датой «апрель 1969» есть помета: «Summa summarum! (на «сегодняшний день»)...» Это и есть «сумма сумм» пережитого и свершенного, «подведение итогов», о чем пианистка говорит А. Т. Твардовскому в начале своего письма. Кое-что она не вспомнила. Уже был написан и передан в ОР ГБЛ отрывок «Несколько слов о великом поэте (и мученице) *Марине Ивановне Цветаевой*» (впервые опубликован в журнале «Музыкальная жизнь», 1992, № 7-8, публикация Григория Ганзбурга), там же находились и ее воспоминания о Мариэтте Шагинян, похоронах Паустовского, наброски о встречах с Надеждой Мандельштам и Фридой Вигдоровой, с Е. В. Тарле, с которым она, приехав в Алма-Ату, играла в шахматы в его казахстанской ссылке, о художниках П. Д. Корине и В. Н. Вакидине, о некоторых других исторических персонажах (даже об «анти-человеке Лысенко»)... Сравнительно небольшое это письмо не в состоянии было вместить в себя все переполнявшие жизнь М. Юдиной многообразные ее «суммы».

РЕДАКЦИЯ «НОВОГО МИРА» ПОЗДРАВЛЯЕТ
нашего автора, члена редколлегии
Андрея Георгиевича
БИТОВА,
ставшего кавалером ордена Искусств и Литературы — одной из почетных наград Французской Республики,— за «большие достижения в области искусства и литературы и содействие процветанию искусства и литературы во Франции и во всем мире».

ЕЛЕНА РЖЕВСКАЯ

*

ГЕББЕЛЬС. ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ДНЕВНИКА

2 мая 1945-го Берлин пал Под вечер, когда в городе еще продолжалась сдача оружия гарнизоном, в саду имперской канцелярии возле запасного выхода из подземного убежища Гитлера (фюрербункера) были обнаружены мертвые, почерневшие от огня Геббельс и его жена, они накануне приняли яд

Йозеф Геббельс — рейхсминистр пропаганды, гауляйтер Берлина, ближайший сотрудник и наперсник Гитлера. В дни сражения он к тому же и комиссар обороны Берлина.

На другой день, 3 мая, в подземелье имперской канцелярии старший лейтенант Ильин одним из первых оказался в кабинете Геббельса.

Прочитав упоминание о себе в моих «Записках военного переводчика», Л. Ильин прислал мне письмо: «Вот я и есть тот самый старший лейтенант Ильин, большое спасибо, что не забыли вспомнить... «Вальтер» 35 мм, заряженный, с запасной обоймой, мной был взят у Геббельса в кабинете в столе, там были еще **два чемодана с документами**, два костюма, часы. Часы Геббельса находятся у меня, мне их дали как не представляющие никакой ценности, но я их храню как память...»

Документы, находившиеся в двух упомянутых Ильиным чемоданах, мне, военному переводчику штаба армии, пришлось тогда разбирать.

22 апреля — оставалось десять дней до падения Берлина — Гитлер позвонил из своего убежища Геббельсу, предложил ему перебраться с семьей в его бункер, где теперь была последняя ставка фюрера.

Тотчас был послан адъютант Геббельса за его семьей, находившейся в загородном доме. Видимо, сборы Геббельса были лихорадочны, и в чемодан отправлялось то, что находилось под рукой, без внимательного отбора. Здесь оказались сценарии, присланные авторами министру, шефу кино, с сопроводительными письмами, выражавшими почтение и надежду. И изданная факсимильно семь лет назад к сорокалетию Геббельса юбилейная книга, воспроизводящая его рукопись «Малая азбука национал-социализма». Здесь же — полная инвентарная опись одного из загородных домов Геббельса. Учтено все — от гарнитуров до носового платка д-ра Геббельса и его места в бельевом шкафу. Здесь же в чемоданах были бумаги его жены — Магды Геббельс: папка «Харальд — пленный» и в ней документы о пропавшем на фронте без вести ее сыне от первого брака, начавшие поступать из американского плена письма от Харальда, семейные фотографии, описи гардероба детей, счета из магазинов и разные семейные записи. Было тут и предсказание шведского ясновидца, доставленное в апреле жене Геббельса по партийным каналам. Ясновидец сулил: «По истечении пятнадцати месяцев Россия будет окончательно завоевана Германией. Коммунизм будет искоренен, евреи из России изгнаны, и Россия распадется на маленькие государства».

Но, надо думать, не спасением всех этих бумаг в свой последний час был озабочен Геббельс. Предметом его постоянного беспокойства в тревожные дни поражений были д н е в н и к и, находившиеся в одном из чемоданов. Кому именно было поручено после его самоубийства вынести чемоданы, спасти дневники, неизвестно. Но наказы и распоряжения больше не выполнялись. Мертвый шеф уже не мог востребовать исполнительности. А порученцы спешили, сбрасывали эсэсовскую форму, переодевались, спасались кто как мог.

Это был десяток толстых тетрадей, густо исписанных — латинский шрифт с примесью готических букв. Буквы теснились в слове, смыкаясь, и текст очень туго поддавался прочтению. Даже на самое беглое ознакомление с дневниками никакой возможности в тех обстоятельствах у меня не было. Слишком напряженные были

Перевод фрагментов дневника Й. Геббельса — *Л. СУММ.*
Журнальный вариант.

часы. Перед нами стояла неотложная задача — установить, что с Гитлером: жив или нет? улетел или скрывается где-то здесь? В найденных документах мы искали какой-либо штрих, наводящий нас на верный след. Дневники же Геббельса — та группа тетрадей, что мы нашли, — начинались в 1932 году, когда Гитлер рвался к власти, оканчивались последней записью, датированной 8 июля 1941 года — через семнадцать дней после нападения Германии на Советский Союз, и они ничем нам полезны не были. Тетради следовало отправить в штаб фронта, но как будто некоторое время они еще оставались на попечении «хозяев» имперской канцелярии — в штабе армии, штурмовавшей ее, — и их отослали наверх около 20 мая. Следом меня вызвали в штаб фронта. Там скопились груды неразобранных документов, доставленных с разных участков боев. На местах переводчиков не хватало, и нередко бумаги посылались наобум. Что-то ценное могло затеряться. Много было беспечности по отношению к трофейным документам. Сейчас даже трудно понять, как быстро произошла тогда их девальвация в восприятии тех, кто прошел долгий путь из России до победы в Берлине. В сущности, все, что было в те дни вокруг, включая нас самих, все одушевленное и неодушевленное, — все было само по себе документальным.

Но тогда в штабе фронта тетради Геббельса лежали все же отдельно от прочих бумаг. Я была вызвана переводить их. Продвигалась я по тексту очень медленно из-за почерка Геббельса. На его неразборчивый, трудный почерк сетует историк Эльке Фрёлих, издавшая четырехтомное собрание рукописных дневников Геббельса, осуществившая этот многолетний подвижнический труд.

А тогда, уяснив, что дневники обрываются в 1941-м, командование решило, что тетради практического значения не имеют и не стоит ими заниматься. Только что завершилась страшная война, как считали тогда — п о с л е д н я я. Люди не испытывали интереса к тому, что уводило в даль прошлого. История, казалось в мае сорок пятого, начинается с новой страницы.

Но так или иначе, на этом вроде бы можно было поставить точку. В том смысле, что найденные нами дневники должны были быть переданы историкам-специалистам и вошли бы в научное обращение. А если широкий читатель заинтересуется, то и предоставить ему возможность читать их в том объеме, в каком он готов был бы преодолевать неслыханное многословие автора дневников (от руки — 4 тысячи страниц, да еще надиктованных Геббельсом стенографам — 16 тысяч расшифрованных машинописных страниц). Так развивался бы нормально этот сюжет. Но в нашем обществе нередко властвовал абсурд. И волей Сталина было запрещено предать огласке, что советскими воинами обнаружен покончивший с собой Гитлер, и этот важный исторический факт был превращен в «тайну века». Как очевидец событий сделать эту тайну достоянием гласности я смогла только после смерти Сталина. Что же касается дневников, ничего о них известно не было, будто их и не находили вовсе.

Нравы нашей секретности — поставщики детективных сюжетов, которые в свою очередь тоже засекречены, и нужно много терпения и много лет уходящей жизни, чтобы добраться до них. Так, лишь год назад удалось установить траекторию пути этих тетрадей в Советский Союз. Они были доставлены Сталину и до 1949 года находились у него.

Дневники Геббельса оказались в круговерти тех же тайн, что факты обнаружения Гитлера. И только после смерти Сталина я смогла впервые рассказать о том, что нами были найдены дневники Геббельса («Записки военного переводчика».— «Знамя», 1955, № 2). Не скажу, чтобы это мое сообщение привлекло тогда заметное внимание нашей историографии, еще дремотной под игом догматизма и оттого нелюбознательной. Но на вопрос, где же дневники, я ничего толком ответить не смогла бы, да и уцелели ли они или затерялись в грудах неразобранных материалов?

Но в 1964 году, изучая архивные документы в связи с работой над книгой «Берлин, май 1945», я пережила неожиданную встречу с дневником Геббельса, точнее с одной лишь тетрадью, но это все же означало, что дневники целы. Тетрадь эта хронологически последняя из найденных нами: начатая 24 мая 1941-го, доведенная до 8 июля 1941-го. Тетрадь охватывала последний месяц тайных приготовлений нацистской Германии к нападению на Советский Союз, предпринятые провокации и маскировки; доверительные беседы фюрера с Геббельсом; обнажала ближние и дальние цели войны; вводила в обстановку и атмосферу в Берлине тех дней. Дневник — саморазоблачительный документ, я писала об этом тогда, повторю это и сейчас, исходя уже из несравненно большего объема прочитанных страниц.

В журнальном варианте моей книги «Берлин, май 1945» («Знамя», 1965, № 5) впервые появились записи из дневников Геббельса, хранившихся в советском архиве и миру неизвестных. С той поры в течение двадцати с лишним лет новых извлечений из этого состава тетрадей опубликовано не было.

Но вот в 1973 году, находясь в Германии, я услышала по телевидению о сенсации с Франкфуртской книжной ярмарки: куплены у ГДР дневники Геббельса. Речь шла о тех, что скрылись в наших архивах.

Что же стояло за этим сообщением, можно было уяснить лишь спустя годы. Западногерманская печать сообщала: в 1969 году Берлин посетило «высокопоставленное лицо» из Советского Союза, вручившее ценный подарок — дневники Геббельса. Как выяснилось позже — микрофильмированные. Этим «высокопоставленным лицом» был Л. И. Брежнев, приехавший в Восточный Берлин.

Не стану описывать перипетии издательской судьбы скопированных дневников, осложненной тем, что издатели не располагали подлинниками и не имели к ним доступа. Все же в 1987 году четыре тома дневников Геббельса — свод рукописных тетрадей — были по заданию Мюнхенского института современной истории изданы Эльке Фрёлих. Проделана была огромная работа, вобравшая восемь лет упорного труда историка. Тетради, найденные в бункере, составляют более половины этого собрания.

Появление дневников Геббельса западная научная общественность и печать расценивают как важное событие. Из тех, кто стоял рядом с Гитлером, лишь один Геббельс систематически вел дневник, фиксируя факты и события тех лет.

Но, может, не менее существенна возможность узнать из «первых рук», что за тип политического деятеля выдвинул на авансцену фашизм.

«Национал-социалистом надо родиться!» — восклицает в дневнике Геббельс, когда мучительные сомнения, стоило ли ставить на Гитлера, позади, он окреп, уверился в победе национал-социалистов, выделился в партии и стремительно делает карьеру, когда постылая бедность отошла в прошлое — партия наделяет его материальными благами. Тогда-то и найдена эта формула — «национал-социалистом надо родиться!». Она и самоутверждение в избранничестве, и подспорье в карьере: пользуясь таким произвольным критерием, легче дезавуировать соперника в борьбе за ключевые позиции в партии, за место возле фюрера.

В самом ли деле человек является на свет эмбрионом нациста и с фатальной предназначенностью? И как утверждение Геббельса соотносится с ним самим? Ведь каждому что-то дается в путь. Как же распорядился этой ношей Геббельс? Дневник дает возможность проследить за модификациями личности Геббельса, отдавшегося нацистской карьере на службе у Гитлера. Отчетливее представить себе генезис фашизма и тотальную разрушительность его для каждого человека.

Часть первая

«Страницы воспоминаний»

Дневник предваряют воспоминания. Это своего рода подробная автобиография, написанная в 1924 году, когда Геббельс сближается с нацистами, склоняется примкнуть к ним. Ему двадцать семь лет, он, как видно, подводит черту под предшествующими годами, расставаясь с самим собой прежним, еще не ангажированным частным лицом.

Воспоминания написаны бегло, конспективно, фразами отрывочными, часто в одно слово, а то и закодированные, хотя присутствуют и более развернутые описания, сообщения о себе, о событиях своей жизни, те или иные рассуждения. Знакомясь с другими источниками за пределами этих страниц, уличаешь автора то в умолчании, то в лестных преувеличениях на свой счет. Заметно «модернизирование» себя, своих мыслей и мотивировок, привнесенных Геббельсом уже с новых позиций и опрокинутых в изображение себя в преднацистский период. Все же нельзя отказать ему полностью в откровенности.

Он родился в 1897 году в маленьком городке Рейдте Рейнской области, в малообеспеченной семье мелкого буржуа, как он пишет, а точнее — служащего на фабрике, обремененного детьми. Вырос в «невзрачном маленьком домике», купленном отцом вскоре после его рождения. У него серьезный физический недостаток — вывернута внутрь стопа. От рождения или приобретенное в отрочестве увечье, неясно. Когда он писал автобиографию, в то время врожденный физический недостаток мог бросить тень на его «расовую пригодность», а у него и без того было достаточно хлопот с этим из-за его внешности, не отвечающей стандартам арийца. Так что можно понять его стремление завуалировать происхождение физического недостатка. Так или иначе, «это было одно из определяющих событий моего детства, — пишет он об обострившейся хромоте. — Я был предоставлен самому себе, больше не мог участвовать в играх других... Мои товарищи меня не любили. Товарищи меня никогда не любили». В школе случалось, что на него сыпались жестокие побои учителя. Но в семье к нему в связи с его хромотой относились

особенно бережно, и при суровом материальном положении семьи ему за счет остальных детей создавались все условия для занятий, было даже приобретено для него пианино.

Память о своей ущербности присутствует в его характере и в его поведении, хотя в дневнике он почти избегает упоминаний о своем физическом недостатке. И все же: «Моя нога причиняет мне много страданий,— пишет он 15 июня 1926 года.— Я бесконечно думаю о ней, и это отравляет мне радость, когда я среди людей».

Заполняя страницы воспоминаний в 1924 году, он параллельно продолжает вести начатый дневник и срывается на признание: «...дети бывают ужасающе жестоки, особенно к физическим недостаткам других детей. Я бы мог об этом порассказать». Но те невзгоды своего детства он с мазохистской готовностью тут же оправдывает правом сильного над слабым: «Но дети ведь таковы от природы. Разве природа не чудовищно жестока? Разве борьба за существование — между человеком и человеком, государствами, расами, частями света — не самый жестокий в мире процесс? Право сильного — мы должны вновь ясно увидеть этот закон природы, и тогда разлетятся все фантазии о пацифизме и вечном мире... Нынешний мир заключен за счет Германии. Рассуждайте о мире, когда 60 миллионов живет в рабстве. Неужто 60 миллионов не сломают ваше ярмо, как только почувствуют в себе силы? Что вы болтаете о пацифизме! Разве мы не хотим вернуться к природе? Проповедуйте пацифизм перед тиграми и львами!.. Что ж ты хочешь от меня, если я сильнее? Жалуйся своему богу... Надо заново найти для всего простые слова, иначе мысли сбиваются... Вечных истин нет. Есть вечные законы. Законы природы».

Культ силы, культ войны. Смесь примитивного дарвинизма с утрированным фашистскими идеологами учением Ницше. Этим курсирующим в обществе мотивам вторит Геббельс. Гитлер позже выскажется решительнее: «После всех этих веков хныканья о защите бедных и угнетенных пришло время для нас решиться защищать сильных против слабых. Одна из основных задач германского государственного управления заключается в том, чтобы навсегда предотвратить всеми возможными средствами развитие славянских рас. Естественные инстинкты всех живых существ подсказывают нам необходимость не только побеждать своих врагов, но и уничтожать их».

Ко времени, когда Геббельс записал свой монолог в тетрадь, 11 июля 1924-го, он приблизился к национал-социалистам, хотя и не решил еще окончательно, с ними ли он.

Он раздерган и непоследователен. Четырьмя днями ранее он заносит в дневник строки, которые расходятся с его монологом: «человек рожден для страданья», «не забывать, что мы жалкие люди». Все в нем еще неустойчиво, противоречиво.

«Проснулся эрос»

На страницах воспоминаний, отнесенных к годам юности и студенчества, совпавшим с первой мировой войной, его особенно занимают отношения с женщинами. «Смутное томление. **Проснулся эрос**[1]». Уже мальчиком вульгарно просвещен. Сюжеты краткие и протяженные. «Я люблю женщину почти безумно. Борьба с полом. Думал, что болен. До сих пор не совсем преодолено». «Друзья отчуждаются. Только Лене. Удивительное мальчишеское блаженство. Конечно, жениться. Вопрос чести». «Я впервые поцеловал ее грудь». «Лене. Ночь с ней в Райндален на софе. Осталась чистой. Я чувствую себя мужчиной». «Разрыв с Лене. Люблю Агнес. Холодный поцелуй на софе. Лизель любит меня, я люблю Агнес... Хассан любит Агнес... Агнес в Бонне. Ночь с ней в комнате Хассана. Я целую ее грудь... Лизель в Бонне. Ночь с ней в комнате Хассана. Я пощадил ее. Она бесконечно добра ко мне». И так далее.

О своем товарище Кёлше он пишет возвышенно: «Мой идеал». С тем большим тщеславным удовлетворением («Кёлш вполне доверяет мне») отбивает у него девушку Анку, и «Кёлш играет жалкую роль».

Ущемленность хромотой в дни, когда его сверстники и оба брата на войне, нуждается в компенсации, и Геббельс стремится взять верх в соперничестве, утвердиться на поприще успеха у женщин. «Я победил» и опять: «...я в конце концов побеждаю».

Впрочем, тщедушный, некрасивый, маленький, он уверил себя в сходстве с портретом благородного, красивого Шиллера. А такое могло явиться только в самовлюбленных фантазиях. Его прозвищем в народе, когда он станет заметной в Германии фигурой, будет — «сморчок». Но нарциссизм останется в нем до самого его конца.

В женщинах он ищет в этот период поддержку, непременное восхищение его интеллектом, музицированием, а то и стихами — авансы, которые он ждет от судьбы. Но любовная связь с Анкой, крепнущая привязанность к ней обостряют испытываемый им гнет нужды. «Разница в социальном положении. Я бедняк. Денежные

[1]Здесь и далее выделено мною. — *Е. Р.*

трудности. Величайшее несчастье. Я живу и живу. Я едва замечаю, что идет война». «Анка моя. Днем на Шлоссбергвизе. В сене... Денег нет... Едва замечаю. Только Анка и тысячу раз Анка». «Блаженные дни. Только любовь. Наверное, счастливейшее время моей жизни. Денег нет. Отчаянное письмо домой... Я плачу от отчаяния перед нуждой».

1918 год. «Впервые Достоевский. Потрясен. «Преступление и наказание». Читаю по ночам. Приехал Кёлш. Анка борется в последний раз (в выборе между ним и Кёлшем.— *Е. Р.*)... Я победил...»

1919 год. Ему двадцать два, он еще студент. Любовные переживания и неотступно присутствующая нужда. «Денег нет. Даю уроки». Но, как видно, не очень прилежно. «Анка хочет украсть для меня сберкнижку». И тут же: «Анка знать не желает о моей нужде». Она «подарила мне золотой браслет... Денег нет. Я живу почти целиком на ее счет. Она добра и щедра».

В ревности стороны не обходятся без угроз смерти, без револьвера, имитации попыток не то самоубийства, не то убийства — словом, роковые страсти в духе моды времени.

«Я должен найти себя»

«Думаю о социальных проблемах. Экспрессионизм... Споры о Боге вечером в моей каморке... Вечером нет денег на ужин. Оставил официанту часы». «Фантастические планы женитьбы разбиваются о мещанство. Политика. Демократия и коммунизм... Девки в университете... Мистика. Поиски Бога. Я в отчаянии. Анка больше не может помогать. Куда деваться?.. Анка потеряла наши деньги. Тяжелая сцена. Поиски покоя и ясности... **Я должен найти себя**».

«Пасха 1920... Лихорадочное чтение. Толстой. Достоевский. Революция во мне. Россия... Красная революция в Руре. Там она спозналась с террором. Я издали восхищен. Анка меня не понимает».

Роман с Анкой подходит к концу. Анка оставляет его. У нее появляется жених, вероятно, более приемлемый, нежели превратившийся в люмпена Геббельс, тяжело переживающий этот разрыв, вспоминающий Анку и спустя годы.

...Позади университет, защищена диссертация, но Геббельс не видит себе применения. Ему удалось получить место служащего в банке, при той безработице чуть ли не завидное.

«Индустриальный и банковский капитал. Нужда прояснила мое зрение. Отвращение к работе в банке. Отчаянные стихи... Гитлер... Евреи... Томас Манн. Генрих Манн, «Верноподданный». Достоевский, «Идиот» (величайшее впечатление). Революция во мне. Пессимизм ко всему. Немецкая музыка. Вагнер. Отход от интернационализма... Безработица... Я сыт банком по горло... Отчаяние. Мысли о самоубийстве. Политическое положение. Хаос в Германии».

«Хаос во мне»

Честолюбие выталкивает его из банка. «Я все поставил на карту. Прочь из этой клетки или смерть». Прочь, но куда? Чем заняться? Ему двадцать шесть. Он по-прежнему без средств к существованию. И все еще на шее у отца. И в двадцать семь все так же из весьма скромного своего жалованья отец ежемесячно отрывает у семьи в шесть едоков деньги и с молчаливым укором исправно шлет Йозефу, вызывая в нем вспышки скрытой ненависти: «Мой папенька, любящий пиво педант, нечистый и мелкий в мыслях, озабоченный своим бюргерским существованием, без всякого шарма, почти без проблеска мысли. Мелкий буржуа, мельчайшего масштаба. Бедняга! Глупец! Но он, конечно, попадет на небо. Понять не могу, зачем мама вышла замуж за этого старого скрягу» (12.8.24).

Истерзанная войной и поражением Германия, униженная Версальским договором, массовой безработицей, хаосом, безудержной инфляцией[2].

Вернулся из плена старший брат Йозефа. «Ганс принес ненависть и мысли о борьбе». Он станет ярым фашистом.

«Пессимизм. Мысли о смерти». «**Хаос во мне**. Брожение». «Отчаяние. Я больше ни во что не верю». И поза: «Я отведал хаоса. Ужасное еще предстоит». Выбитая

[2] В 1921 году один доллар соответствовал по курсу 75 маркам, в конце 1922 года — 7 тысячам. В течение 1923 года курс марки катастрофически падал: в январе за один доллар платили 18 тысяч марок, в июле — 165 тысяч, к августу дошло до миллиона. В ноябре один доллар шел за 4 миллиарда марок, позже — за триллионы. Деньги возили тачками.

почва, утрата традиций, разочарование, ранние смерти молодых — это общий фон жизни. Разъедающая тревога, пессимизм, подпитываемый влиятельной в эти дни книгой Шпенглера «Закат Европы». У Геббельса нет надежды выбиться, нет обозримых перспектив для карьеры, хотя и неясно какой, но это, похоже, главный источник отчаяния. «Отчаяние. Мысли о самоубийстве» — рефрен его записей. Он то в поисках Бога, то приветствует красную революцию и восхищен террором. То в отчаянии от хаоса: «В Германии хаос. Судьба рейха на лезвии ножа». То призывает хаос, и это не единственное, что роднит его с национал-социалистами, хотя он еще далек от них. На страницах воспоминаний Геббельс — малоприятный молодой человек, характера мелкого, тщеславного, истерического; но нацистом ему суждено стать не от рождения, как ни прокламировал он это. И краеугольный камень идеологии нацизма, центральный пункт программы — антисемитизм покуда что у Геббельса дилетантский, традиционный, а не тот матерый, профессиональный, которым он овладеет и примется насаждать. Если к этому добавить то, о чем умалчивает Геббельс, но пишут его биографы, получается и вовсе смешанная, пестрая картина. Так, в университете его любимыми профессорами были знаменитый Фридрих Гундольф и Макс Вальдберг, научный руководитель Геббельса, оба евреи. Приятель родителей Конен, тоже еврей, предоставлял ему возможность пользоваться его библиотекой и в тягчайшие дни его студенческого безденежья оказывал Геббельсу материальную помощь. В письмах Геббельс обращается к нему Onkel — дядя — и просит выслать деньги.

Стремясь преуспеть в журналистике, Геббельс за образец себе берет известного талантливого писателя и журналиста Теодора Вольфа, многолетнего редактора либеральной «Берлинер тагеблат», еврея, и только в его видном органе, а не где-либо еще он мечтает напечататься. Он упорно шлет одну за другой статьи редактору и неизменно получает бездушный отказ. Последствия нанесенных ему поражений, которыми он не делится с дневником, испытал на себе опрометчиво обращавшийся с его рукописями редактор Вольф, эмигрировавший с победой нацистского режима; в 1940 году — он уже старик — был при вступлении немцев в Париж схвачен, доставлен в рейх и погиб в концлагере Заксенхаузен. Мстительность была органичной чертой Геббельса, установившего с приходом к власти теснейшую связь со спецслужбами.

Как пишут дотошные биографы Геббельса, он подарил своей возлюбленной томик любимого им поэта Гейне, книги которого будут гореть в первом же учиненном министром пропаганды и просвещения д-ром Геббельсом аутодафе.

Август — октябрь 1923-го. «Плохо с деньгами. Инфляция. Уход из банка. Что теперь? В числе безработных. Прометей жжет мне душу. Отчаяние». Прометеев комплекс! Эдаким запросом и впредь, воспаляя себя, будет он терзаться: «Горю и не могу зажечь», «Еврейство... **Гибель немецкой мысли**». Это уже напрямик Шпенглер. «Я больше не могу выдержать муки. Эльзе подарила мне тетрадь для дневника. Я должен писать, чтобы выразить горечь сердца».

«Пивной путч»

Та тетрадь, что подарила ему Эльзе, «возлюбленная, невеста», кстати сказать полуеврейка, пропала. Геббельс, заполнив тетрадь, подарил ее Эльзе. И в дневнике нет записей о «величайшем» событии, каким станет в мифологии нацизма «пивной путч» 8—9 ноября 1923-го — авантюрная попытка Гитлера поднять мятеж и, подобно осуществленному годом ранее походу Муссолини на Рим, возглавить такой же поход на Берлин, чтобы свергнуть республиканское правительство и встать во главе страны.

Работая в московском архиве, я обнаружила две никому не известные рукописи. Автор обеих начальник личной охраны Гитлера, бывший СС-обергруппенфюрер и генерал-лейтенант полиции Ганс Раттенхубер. Одна из них — собственноручные показания его, другая, более полная, написана немного позже в плену о Гитлере и о себе

В 1918 году он обучался на офицерских курсах. Но уже годом позже Версальским договором Германия была разоружена, и состав рейхсвера (вооруженных сил) не мог превысить 115 тысяч человек. Безработный упраздненный офицер поступил в мюнхенскую полицию. Будущий начальник личной охраны Гитлера повидал своего шефа в разных ипостасях.

«Мне часто приходилось при выполнении своих полицейских обязанностей наблюдать за поведением Гитлера в мюнхенских пивных. Шутники тогда говорили, что если бы не было мюнхенского пива, то не было бы и национал-социализма. Гитлер начал свою политическую деятельность в пивных, где сперва выступал как агитатор-одиночка, а затем как глава созданной им партии. Идеи реванша, воинственные призывы к походам на запад и на восток, погромные выкрики, заклинания,

начинающиеся словами «мы, немцы» или «мы, солдаты», имели особенный успех в возбужденной атмосфере пивных».

«В тот период «этот крикливый парень из пивной», как называли его в нашей полицейской среде, доставлял нам немало хлопот. Помню, каким он предстал перед моими глазами в момент совершения им путча 8 ноября 1923 г. Его «молодцы» окружили здание, в котором выступали члены баварского правительства перед мюнхенцами, а сам Гитлер с наиболее преданными штурмовиками ворвался в зал. (Это происходило в пивной «Бюргербройкеллер». — *Е. Р.*) Он казался одержимым. Вскочив на стул, Гитлер выстрелил в потолок и с криком бросился в президиум. Гитлеровцы, угрожая оружием, заставили правительственный кабинет публично отречься от власти. Гитлер объявил себя правителем и тут же сформировал новый кабинет, который не просуществовал и одного дня. Никто из нас тогда не думал, что этот фарс является прелюдией одной из самых страшных трагедий». Так готов судить о фашистском режиме, пережив его крах, главный телохранитель Гитлера.

Члены баварского правительства, согласившиеся в критический момент на требования Гитлера, сложили свои полномочия и присягнули ему. Но как только оказались вне опасности, распорядились арестовать Гитлера.

При нестабильной ситуации в стране, сотрясаемой вспышками рабочих волнений, баварское правительство в своем отношении к Гитлеру было непоследовательным: то преследовало его, то порой готово было видеть в нем возможную опору.

Состоялся суд, предоставивший Гитлеру трибуну. Наглость, крикливость Гитлера на суде, скандальность, запугивание властей угрозами со стороны левых, игра на болезненных национальных чувствах и амбициях, готовность на все, только бы привлечь внимание, — известная тактика политических персонажей определенного толка. Мюнхенский эпизод не остался локальным. Освещавшийся в прессе суд имел широкий резонанс и создал Гитлеру большую популярность.

Геббельс, когда познакомился с Гитлером, упорно желавшим считать мюнхенский путч революцией, позволял себе в дневнике подтрунивать над ним: «Шеф (так Геббельс долго называл в дневнике Гитлера) крупный путчист». Но с захватом власти нацистами 9 ноября — дата путча, который стал именоваться революцией, — ежегодно отмечалось со всей помпезностью при активной режиссуре Геббельса.

«Чего я хочу?»

27 июня 1924 года. Этой датой начинается огромный массив дневника. Язык записей зачастую небрежен, произволен по отношению к канонам грамматики

Геббельсу двадцать семь лет. Он по-прежнему без какой бы то ни было работы. «Я не могу сосредоточиться». **«Чего я хочу?»**

Неудачник, раздерганный непродуктивным честолюбием. Неукротимая мания выделиться неизвестно за счет чего. И отчаяние от того, что это может не состояться. Затянувшаяся незрелость. Подростковые комплексы: агрессивность, максимализм, истеричность. Ультиматумы судьбе: угрозы самоубийства.

Здесь и обеты, которые он не станет исполнять, мольбы к христианскому Богу, которого вместе с его учением он предаст, следуя Гитлеру. Заметны психическая аномалия, болезненное рефлектирование, не согласующиеся между собой мысли, даже если каждая сама по себе выражена логично или содержательно, повышенная чувствительность к сексуальному дискомфорту и эротизм, перетекающий в политику и обратно.

Но сейчас остается еще полтора месяца до того дня, как он решит примкнуть к национал-социалистическому движению. Он начинает дневник еще не определившимся организационно среди борющихся партий и пока как будто с независимым манифестом. В нем и поза и смятение, выспренность, но и искренний протест отверженного.

27 июня 1924. *Пусть эта тетрадь способствует тому, чтобы я стал яснее духом, проще мыслью, больше в любви, доверчивее в надежде, пламеннее в вере и скромнее в речи!*

Жаль, что эти надпартийные добродетели ему не понадобятся. Все будет как раз наоборот. Но пока впечатления от прочитанных книг питают его. И в этих первых записях он сосредоточеннее, традиционнее, словно перед тем, как отпасть от культуры.

Все эти книги о раннем христианстве происходят не из чего иного как из сильнейшей тоски по духу святому. Гауптман, «Безумец во Христе». Пока первая книга на немецком языке на эту тему. Но насколько этот «Безумец» уступает «Идиоту» Достоевского! Россия найдет новую христианскую веру со всем юношеским пылом и всей детской верой, с религиозной скорбью и фанатизмом. В эти дни я много думаю о будущем Европы и Германии... У нас уже есть Новый Человек... Я хотел бы совершить с Эльзе свадебное путешествие с большими деньгами, большой любовью, без забот в Италию и Грецию.

«Куда я пойду?»

30 июня. *В неоккупированной зоне уже вовсю идет борьба, которую я так давно ожидал, борьба между народной партией свободы и национал-социалистической рабочей партией. Им тесно вместе...* ***Куда я пойду?*** *Что за вопрос. К юношам, которые подлинно жаждут Нового Человека... Если б Гитлер был на свободе! Максимилиан Гарден, «Процесс». Как лживо, как самодовольно, как все написано для собственного упоения. Но порой поразительные проблески духа. Господа из народной партии, вам следует быть живее, духовно подвижнее, чтобы покончить с такими писателями. Одними ругательствами тут не обойдешься. Гарден человек, способный на все — остроту, желчь, шутку, сатиру. Типично еврейский способ борьбы. Можно ли побить этих евреев иначе чем их собственным оружием?.. Идея вёликой Германии хороша, но нет доблестных, прилежных, умных и благородных вождей... Нет фюрернатур. Я вообще пока не вижу народного вождя. Я должен скоро его найти, чтобы обрести новое мужество, новую уверенность в себе. И так всегда. Одна надежда за другой рушится во мне. Я иду прямо к отчаянию... Я уже вечность жду места и денег. Отчаяние! Скепсис! Надрыв! Я больше не вижу выхода.*

2 июля. *Роза Люксембург, «Письма из тюрьмы Карлу Либкнехту». Похоже, идеалистка. Порой поразительна ее искренность, теплый, ласковый, дружеский тон... во всяком случае Роза страдала за свою идею, годами сидела за нее в тюрьме — наконец умерла за нее. При наших размышлениях этого забывать нельзя... Я слышу, как Эльзе командует на соседнем школьном дворе...* (Эльзе — учительница.) *Она уже не может существовать без меня. Я ее все.*

«...в Германии не хватает сильной руки...»

4 июля. *Человеку трудно вылезти из собственной шкуры. А моя шкура теперь несколько односторонне антисемитская (!)... Наш величайший враг в Германии — еврейство и ультрамонтанизм*[3]*...* ***Нам в Германии не хватает сильной руки****... Германия тоскует об Одном, о Муже, как земля летом тоскует о дожде... Спасет лишь чудо. Господь, яви Германии чудо! Чудо!! Мужа!!! Бисмарк, восстань! Мозг и сердце у меня словно высохли от отчаяния обо мне и моей родине... Отчаяние! Помоги мне, Господи! Силы мои на исходе!!!*

«...мы, молодые, без рода и традиции. Мы соль земли»

7 июля. *Политическая обстановка в Европе, особенно что касается отношений Германия — Франция, устремляется к насильственному сотрясению... Хайль унд зиг! За Нового Человека. Я читаю мемуары Бебеля. Он начал с нуля и стал известным, наводящим страх вождем социалистов... Русские достаточно причудливы, у них большевизм может соединяться с мистикой, фантазией, экстазом, возможно, даже без желания и понимания этого вождями... Фантастически экстремистские вожди немецкого коммунизма разбиваются о немецкого мещанина. О немецкую глупость — или осмотрительность — как кому угодно. Квинтэссенция нового человека —* ***мы, молодые, без рода и традиции. Мы соль земли.*** *Поверх дворянства и буржуазии — новая порода... Мое будущее в непроницаемом мраке. Мне не на что надеяться и всего надо опасаться... Все дороги для меня закрыты. Грудь полна стремлений, но я нигде не нужен. Где найду я спасение?.. Я хотел бы снова однажды взмахнуть крыльями! Полететь в голубую даль! Почему все мы, современные люди, любим больное? Или мы сами больны? Мы слишком много страдали? Декаданс и сладок и одновременно горек. Но смесь соблазнительна для модернистов...*

В Германии после первой мировой войны — эпоха быстрого распада традиционных связей и представлений, опустошенность сознания утратой вековых ценностей. Слом укоренившихся государственных структур распахивает болезненно-необжитые просторы непредсказуемой свободы. И сулит преимущество какой-то новой безродности — «поверх дворянства и буржуазии». Уместным мне кажется привести тут слова итальянского правоведа Луиджи Феррариса, взглянувшего на все как бы с другой стороны и предъявившего счет. Вина эпохи, говорит он, была в том, что человек стал воспринимать себя как модель для успеха и ставить себе честолюбивые, не реализуемые цели.

Геббельс без призвания, но с лихорадочной претензией выделиться — тому пример.

---

[3] Ультрамонтанизм — крайнее течение в католичестве, выступающее за безоговорочное подчинение национальных церквей власти папы

«Горю и не могу зажечь!»

9 июля. *У государственного социализма есть будущее. Я верю в Россию. Кто знает, для чего нужно, чтобы эта святая страна прошла через большевизм... мы должны преодолеть усталость от государства. («Я национал-большевик»,*— скажет он в другой раз.)

11 июля. *Франция и Англия сговорились, разумеется, за счет Германии. Эррио коварный подлец. Пуанкаре мне симпатичнее... Я жду и не знаю чего. Чего-то неизвестного, но чего же?.. Есть люди, столь изолгавшиеся, что из их слов уже инстинктивно отбрасывают 90 % как ложь. Часть из них патологические врали (...пожалуй, и я), часть заклятые лжецы...*

По поводу лживости Геббельса сходятся все исследователи. Но подобные признания и самокритичность позже не найдут себе места в дневнике.

14 июля. *Обо всем позабыть. Ни о чем не думать... Интернационалисты в коммунизме — евреи. Настоящие рабочие в действительности национальны до мозга костей, даже если они ведут себя как интернационалисты. Их беда в том, что евреи так превосходят их умом, что своей болтовней побивают их... Интернационализм противоречит законам природы...*

15 июля. *Россия, когда ты проснешься? Старый мир жаждет твоего освободительного деяния! Россия, ты надежда умирающего мира! Когда же придет день?*

17 июля. *Достоевский, «Нетхен Незванов»* («Неточка Незванова»). *Трогательная история девушки... Этому русскому трудно подражать. Психология у Достоевского всегда блестящая. Но в остальном по сравнению с большими романами «Нетхен» — приложение. Многое в ней слишком мелко для этого великого, великого русского. Может, ему были нужны деньги. Или он хотел расслабиться после большого романа... Я так малодушен перед повседневной жизнью. За что ни берусь, все не удается... Будто мои крылья подрезаны. Это делает меня хилым, апатичным. До сих пор у меня все еще нет верной цели в жизни. Иногда утром мне страшно подниматься. Ничто не ждет меня — ни радость, ни страдание, нет ни долга, ни задачи... я снова спрашиваю себя: что мне делать? С чего начать? Вечное сомнение, вечный вопрос. Как иссохлась моя душа... **Горю и не могу зажечь!** У меня нет денег, меня это пригибает. Я проклят... Политика меня погубит.*

19 июля. *Да, монархия старого Фрица* (так называют в Германии Фридриха Великого) *— это было наилучшее государственное устройство. Но где взять великого Фрица?*

«...эрос моя мука...»

23 июля. *Кто теперь назовет Манна чисто расовым писателем? У этого Манна нет расы, есть только цивилизация... За это Вас хвалят только Ваши еврейские приятели, хвалят ради политики, а не из эстетических соображений... Эльзе мила и добра. Как жена и возлюбленная. Кошечка? О нет, нечто большее... Если б я мог на тебе жениться, Эльзе, было бы несколько сноснее... Мы тянем друг друга в грязь. Мы думаем и смеемся иногда так вульгарно. О, этот избыток низменного и стыда! Бедная Эльзе! Я действительно твой соблазнитель. Мы утрачиваем нашу любовь. Почему так должно быть? Почему **эрос моя мука**, почему он не должен быть для меня радостью и силой?.. Надо иметь работу и профессию. Борьба между деньгами и нацией... Я жду Эльзе, и мое сердце колотится, готовое разорваться. Эрос! Эрос!! Эрос!!*

«Кто я?.. Я пока — ничто»

25 июля. *Вечный вопрос о собственном предназначении. **Кто я,** зачем, в чем моя миссия и мой смысл? Могу ли я верить в себя? Почему другие в меня не верят? Лентяй я или избранный, ждущий гласа Божьего? От глубочайшего отчаяния спасет меня все тот же сияющий свет: вера в собственную чистоту и в то, что мой великий час должен прийти.. Я вышел из Вагнера.*

29 июля. *Нужно отказаться от всего, что называешь собственным мнением, гражданской отвагой, личностью, характером, чтобы стать какой-то величиной в этом мире протекции и карьеры. **Я пока — ничто.** Большой нуль... Прежние друзья избегают меня, как чумы. Мой эрос болен. Я не могу даже об этом думать... Я договорюсь до отчаяния.*

Истерия отчаяния возникает почти в каждой записи. Как, где и к чему приложить себя, чтобы выделиться? «Я заболеваю... Я ничего не могу предпринять для своего будущего». Культивируя отчаяние, он обволакивает себя им, оно в то же время опора позы и самомнения.

Еще в 1919 году он начал писать роман, надеялся пробиться, стать писателем. «Я пишу кровью сердца свою собственную историю — «Михаэль». Рассказываю все

наши страдания без прикрас, так, как я это вижу... У меня расстроены нервы, я в отчаянии».

«Я живу надеждой, что мой «Михаэль» получит приз кёльнской газеты. В Италию! О, Боже! В Италию!» (15.7.24).

Но печальный итог: «Я посылаю «Михаэля» от одного издателя к другому. Никто не берет... Это все мировая история; в которой мы живем. Что скажут внуки о нашем времени? Молчи и надейся!»

Роман не оценен, Геббельс относит это за счет пороков времени, которому еще предстоит отчитаться за это перед потомками.

Спустя годы, став видным нацистом, Геббельс, переработав рукопись, выпустил «Михаэля» в нацистском же издательстве.

В старом издании «Майн кампф», которым я располагаю сейчас, приложен рекламный список вышедших книг, где под рубрикой «Художественная литература» значится также и «Михаэль». «Одна немецкая судьба, страницы дневника. Роман д-ра Йозефа Геббельса».

Его проза была совершенно антихудожественна, пишет известный немецкий писатель Рольф Хоххут, патетична, как передовица, неостроумна, скучна.

Публицист Хайнц Поль писал в «Вельтбюне» в 1931 году о «Михаэле», что это, в сущности, манифест коричневорубашечников о том, что они называли немецким духом и немецкой душой. Ни в языке, ни в стиле, пишет Поль, он не обнаружил ничего немецкого ни в одной фразе. «Но что я нашел — и каждое третье слово тому подтверждение — это абсолютно не немецкое, насквозь патологическое бесстыдство, с которым закипает в его (Геббельса) душе и наконец изливается наружу графоманская мерзость».

Тогда Геббельс потерпел сокрушительную неудачу — «Михаэль» был его главной ставкой. Несостоявшийся писатель, и интересы его все больше смещаются в сторону политики: «Если бы сегодня разразилась революция, я был бы способен выйти с пистолетом на баррикады. Творческие проблемы меня не трогают» (30.7.24). Однако на другой день он записывает: «Тоска, пустота, утрата мужества, отчаяние, ни веры, ни надежды. Я вчера читал, что Вагнер в течение пяти лет не сочинил ни строчки. Разве здесь нет сходства?» Мания сопоставления себя с великими: с Шиллером, Прометеем, Вагнером — список пополняется: «Как близок я Шпенглеру».

«...нужно всегда быть наготове»

30 июля. *Я вполне разделяю мысли о России и ее отношении к нам. Свет с Востока. В духовной жизни, государственной, деловой, политической. Западные власти коррумпированы... С Востока идет идея новой государственности, индивидуальной связи и ответственной перед государством дисциплины. Национальная общность — единственная возможность социального равенства... В России разрешение европейского вопроса.*

2 августа. *Кто знает зачем? Но нужно всегда быть наготове.*

7 августа. *Мне снилось: на меня с ножом набросился болгарин. Он задел острием мне голову. Хлынула кровь. Силы покинули меня. Страх. Холод. Я почувствовал приближение смерти. И тут я проснулся. Этого человека звали Болгораков... Боже, покарай Англию.*

11 августа. *Неистовые мысли об Эльзе. Когда она вернётся? Я тоскую по ее белому телу... Постоянные уколы совести из-за беспричинно потерянного времени. Так можно отчаяться в собственном демоне... Проклятый эрос. Эльзе, вернись. Киппен приносит мне газеты: еврейский вопрос.*

Геббельс чуток к обострившемуся в Германии в атмосфере поражения, социального напряжения антисемитизму. И переимчив. К тому же среди отвергших его редакторов были также евреи.

12 августа. *Нужно сломать систему плутократии-демократии*

13 августа. *Вчера вечером Фриц Пранг. Пришел, слегка обругал евреев, выкурил пару сигарет, предложил несоразмерные, совершенно невыполнимые планы организации, сунул мне в руку пачку газет и удалился... Я недостаточно тверд и упорен. Потому я ни к чему не пришел в жизни... Страх обязательств. Мой идеал: уметь писать и этим жить. Но никто не платит мне хоть сколько-нибудь за мой помет. Мужество, мой мальчик! Ты должен работать для текущего дня. После нас хоть потоп! Это ты должен еще усвоить. Ответственность?! Такое только в романах из прошлых столетий. Учись брать жизнь, какова она есть. Это наполнит денежный мешок и набьет брюхо. Идеалами сыт не будешь... Но ты голодный пастор и им останешься...*

Так в декламации о жалких своих итогах, в унынии и безнадежности, с разбитыми надеждами на «Михаэля», без работы, профессии и заработка он вплотную подошел к порогу, за которым его ждали разительные перемены в жизни. **«Что мне делать?», «С чего начать?».** Выбор неожиданно явился сам.

«Что мне делать?»

Этот знакомый Геббельса, Фриц Пранг, которого он иронически называет в дневнике «идеолог», склоняет пока еще беспартийного Геббельса поехать на партийный конгресс в Веймар.

15 августа. *У меня нет никакой охоты ехать вслед за ним. Сейчас я снова переместился по другую сторону. Я полагаю, такой партийный конгресс — это что-то ужасное. Огромные толпы людей, которые все разом рвутся произносить речь. При этом сплошь радостный образ мыслей. Ой-ей! Хоть бы Эльзе была здесь.*

Однако Пранг снабдил его деньгами на поездку, и он отправляется. В Веймаре, городе Гёте и Шиллера, очаге великой немецкой культуры, состоялся смотр националистических сил. «Веймар!.. Хайль! Хайль! Город — шкатулка драгоценностей... Веймар — это Гёте. Место драгоценной культуры лучших времен». На террасе Национального театра перед скульптурами Гёте и Шиллера расположились лидеры партийного конгресса. И первый из них генерал Людендорф[4]. Его присутствие распалило Геббельса.

19 августа. *О, наша блаженная юность! Мы вдохновенные фанатики! Гори, святое пламя!..* (И знак свастики появляется на страницах дневника.) *Я впервые вижу Людендорфа. Это для меня потрясение... Людендорф национал-социалист (он сам так представился). Людендорф устранил во мне многие скептические возражения. Он дал мне последнюю крепкую веру... Мы находимся рядом с признанной элитой Германии. Элитой честных и верных! Это так приятно, внушает уверенность и радость. Всеобщее братство. Во имя народа. На улицах нас приветствуют тысячи людей. Незнакомцы. И все же знакомые. Бойцы единого фронта. Под знаком свастики... Идут баварцы. С черно-бело-красным. Гвардия Гитлера. Сердце ликует в моей груди. Прекрасные юноши. Будущее. Надежда.*

Герои «Трех товарищей» Ремарка, попав на подобное сборище, говорят между собой:

«— ...теперь я знаю, чего хотят эти люди. Вовсе им не нужна политика. Им нужно что-то вместо религии.

— Конечно. Они хотят снова поверить. Все равно во что. Потому-то они так фанатичны».

Геббельсу же, помимо веры, в которой он априорно готов утвердиться от одного только присутствия здесь в лидерах Людендорфа, нужно в первую очередь место под солнцем. И Геббельс, впервые оказавшись на партийном мероприятии, присматривается к лидерам, уже с ходу отождествляя себя с ними. Вот Штрейхер[5], один из основателей нацистской партии, издатель грязной антисемитской газеты «Штюрмер». «Ядовитый пошляк» назовет его на Нюрнбергском процессе обвинитель от США.

Выступает Штрейхер. «Юлиус Штрейхер. Он тут же заговорил напрямую об антисемитизме. Фанатик с поджатыми губами. Берсеркер[6]. Пожалуй, немного патологичен. Но таким-то он и хорош. Такие **нам** нужны, чтобы увлечь массы. Должен же Гитлер что-то с этого иметь...»

Геббельс узнал себя — он свой среди этих людей, почувствовал здесь востребованность и не промахнулся. Глазами будущего пропагандиста он оценивает со всем цинизмом, как эффективен для овладения толпой антисемитизм. Антисемитизм станет его главным пропагандистским инструментом.

Так определилось в Веймаре, «что мне делать», «чем заняться», «с чего начать».

«Все громче, националистичнее» на этом сборе. «Мне немного стыдно за шум в Веймаре, когда я думаю о Гёте».

Когда-то в эпилоге своей юношеской поэмы Гоголь писал о Германии: «Страна высоких помышлений! Воздушных призраков страна! О, как тобой душа полна! Тебя обняв, как некий Гений, великий Гёте бережет».

Но в ряду новых помышлений Геббельса не посетит стыд перед памятью величайшего немца, когда уже в ранге нацистского министра пропаганды, просвещения, культуры он вместе с элитой «честных и верных», близостью к которым так упоен на этом смотре, позаботится об учреждении как раз рядом с Веймаром, в лесу,

---

[4] Людендорф Эрих (1865—1937) — в первую мировую войну начальник штаба Восточного фронта. Фактически руководил военными действиями на Восточном фронте, а с 1916-го — всеми вооруженными силами Германии. Вместе с Гитлером был во главе фашистского путча в Мюнхене в 1923 году. В музее немецкой истории на Унтер-ден-Линден, еще отделенной от Запада стеной, в постоянной экспозиции я видела подлинную каску генерала Людендорфа и штандарт с черно-желтым драконом.

[5] Ю. Штрейхер за разжигание расовой ненависти казнен в Нюрнберге.

[6] Берсеркер — в войсках норманнов исступленный боец. Безоглядный, беспощадный воин.

где тропы излюбленных прогулок Гёте, концлагеря Бухенвальд («Буковый лес»). Гарь и пепел печей Бухенвальда оседали на старой ратуше Веймара, на доме художника Лукаса Кранаха, на черепичной кровле, под которой жил, творил и умирал Шиллер, на «casa santa», «священном доме» Гёте, — в городе «благословенной культуры лучших времен».

«С чего начать?»

В «Майн кампф» Гитлер пишет о массовом экстазе толпы, захватывающем новичков. Он настаивает: «Массовые собрания необходимы». Человек начинает чувствовать, что он «член и боец всеохватывающей корпорации». На массовом собрании пришедший впервые человек «захвачен мощным воздействием внушающего гула и воодушевления трех-четырех тысяч других людей... он сам подпадает колдовскому влиянию того, что мы обозначаем словом «самовнушение»... Человек, пришедший на такое собрание, сомневаясь и колеблясь, покидает его внутренне укрепленным: он стал членом сообщества»[7] Именно такое и происходит с Геббельсом. Подвергшийся этому эксперименту, он оказался идеальным подопытным. Одиночка «легко поддается страху», а «картина большого сообщества оказывает стимулирующее и ободряющее воздействие». Он отправился в Веймар растерянным, мятущимся, без всякой опоры в жизни и с предубеждением к подобным сборам. А возвращается из Веймара окрыленным. «Сердце полно незабываемых впечатлений. Я снова обрел мужество» (19.8.24).

21 августа. *Моя деточка (Эльзе) пишет из Швейцарии... Утром во вторник мы увидимся в Кёльне. Я очень радуюсь этому. Авось удастся достать денег, чтобы мы могли остаться до среды. Что за беспутная ночь будет! Мои заметки готовы. «Либерализм и государственный социализм»... «Народный дух в борьбе с интернациональным»... Отец обеспокоен, что он потеряет свое место. В настоящее время это худшее, что могло бы с нами случиться. Куда я должен тогда деваться? Но быть может, это было бы хорошо для меня. Я буду тогда вынужден встать на собственные ноги. И должен выстоять перед опасностью превратиться в мещанина.*

В это время Гитлер, находясь в тюрьме, писал в «Майн кампф», как, оставшись без родителей, он направился в Вену, надеясь овладеть судьбой: «Я хотел «чем-либо» стать, разумеется, ни при каких обстоятельствах — служащим». Так и Геббельс, еще не читавший этих строк, тоже не желает стать служащим и, значит, быть как все, «омещаниться». И на двадцать восьмом году жизни, терпя некоторые моральные протори, он предпочтет сидеть на шее отца, и без того надрывно обремененного.

22 августа. *В Вюрцбурге выступал яростный и фанатичный Юлиус Ш. (Штрейхер). За четыре часа он так взвинтил своей страстностью толпу, что она спонтанно запела германский гимн. После второй строфы на сцену явился старый профессор в длинном черном фраке и, подняв руки, попросил тишины. Затем этот старый, как лунь седой человек забрался на стул и своим масленым голосом пропел последнюю строфу... Самый трагикомический момент был, когда старикан посреди пения свалился со стула... Вот так вынуждены мы, апостолы новой идеи, пробуждать народ...*

«Фриц Пранг говорит, что я прирожденный оратор» — этой похвалой после первого же выступления решилось для Геббельса, с чего начать.

Какая дорога ведет к Богу?

Не прошло месяца как Геббельс изрекал: «Мы должны искать Бога, для того мы являемся на свет». Но это до Веймара. Теперь, когда он предпринимает первые практические шаги, участвует в организации полулегальной местной нацистской группы на оккупированной территории, он снова припадает к вере. Но уже по-иному.

«Мы должны быть берсеркерами нашей страсти и нашей веры, — провозглашает он в дневнике. — Только тогда мы можем победить. — И корит возможного оппонента, сомневающегося в этой вере, а точнее самого себя: — Ты не веришь в свое дело? Стыдись быть человеком. Та дорога ведет к Богу, в которую мы верим, что она ведет к Богу... Потребность XX века — социальный вопрос. Он может быть разрешен лишь духом, а не рассудком» (21.8.24).

Этой блудливой риторикой будет наполняться дневник.

Разум отменяется. Чтобы победить, нужно быть безоглядным, жестким в вере. А вера — это то, с чем ты повязан. Дорога к Богу — не поиск всей жизни, а прагматический выбор. Та дорога, на которую стал, ту и полагай ведущей к Богу. Все становится элементарно, достижимо. Первые практические шаги Геббельса и первое же отступничество. Религией становится политика.

---

[7] Hitler A. Mein Kampf. München. 1934, S. 535.

«Деньги и эрос — движущая сила мира»

23 августа. *До вторника, когда Ты приедешь, еще три дня. Мои часы — это лишь ожидание Тебя. Все во мне жаждет Твоей сладостной благосклонности. Ты славная, любимая женщина!.. Политика — отчаяние. Либерализм, кажется, снова побеждает... С отцом у меня ожесточенная борьба. Он предпочел бы, чтобы наступили спокойствие и порядок, безразлично какой ценой. Мы, молодые... не желаем состояния трусливого рабства. Оставьте себе ваш кладбищенский покой. Мы хотим истинной свободы. Я изворачиваюсь насчет денег ко вторнику. По одной марке собираю я денег на дорогу (*для встречи с Эльзе*). Надеюсь, соберутся нужные 20 м. Эта душевная тоска ожидания огромных счастливых часов. Всеми мыслями владеет одно чувство: вновь увидеть, обрести. Каждый удар пульса о Тебе. Часы ползут как недели. Вечером, когда я ложусь в постель, я высчитываю, сколько ночей я еще буду в одиночестве. Днем я считаю часы, которые еще разлучают меня с Тобой... Маленький, любимый мышонок!*

29 августа. *День с Эльзе в Кёльне... В послеобеденное время — наедине с ней в номере отеля. Ликующий крик. Пробуждается зверь. Пыл любви и страсти... Я люблю ее из всей глубины моего сердца... Эрос пробуждает во мне бога и дьявола.* ***Деньги и эрос — движущая сила мира.*** *Любимая, милая девочка. Ты маленький, жизнерадостный черт... Политика на острие ножа. Сегодня рейхстаг решает, принять или отвергнуть лондонскую сделку об учреждении американской рабской колонии. (*Речь, как видно, об иностранных инвестициях.*)*

30 августа. *Мы еще не созрели для власти. Мы должны ждать и иметь терпение... Пусть немецкая нужда усиливается, чтобы она действовала целительнее и ускореннее... Чем глубже Германия погрязнет сегодня в позоре, тем выше мы потом поднимемся.*

«Я хочу быть молотом!..»

31 августа. *Мышоночек... Ты милое дитя. Ты же самое любимое, что у меня есть. План газеты готов.*

1 сентября. *«Мы ничто. Германия все!» — так кончается моя заметка.*

Человек для государства, а не государство для человека. Избитая формула. «Deutschland über alles». «Германия превыше всего».

5 сентября. *Какое количество ненависти и злобы каждый день в этих тюках газет. Можно растеряться. Одна злобствует против другой. Куда это ведет, всюду зависть. Яд повсюду. И я содействую этому!*

Если не из лицемерия он возмущается, то из минутной близорукости. Но прояснится: злоба и ненависть — решающие союзники национал-социалистов, готовящих переворот. Геббельс станет разжигать эти темные страсти, провоцировать, насаждать и поддерживать беспорядки, уличные схватки, насилие, вплоть до политических убийств. Фашистам нужна сдвинутость, когда затемнено понятие о добре и зле и стерта грань между ними и беспрепятственнее входят в человека темные страсти.

Гитлер позже закрепит это в выступлении, приведенном Геббельсом в дневнике: «Бог дал нам огромную милость в нашей борьбе. И лучший его дар — ненависть наших врагов, которых мы так же ненавидим от всего сердца». «Прирожденный разжигатель», — восхитится им Геббельс. Бедный, несостоявшийся пастырь. Превозносит устами Гитлера ненависть как дар Господний.

5 сентября. ***Я хочу быть молотом!..*** *Я снова должен искать оплачиваемое место. Так дальше не пойдет. Я едва могу глядеть в глаза отцу. Нахлебник. Жалкая роль, которую я играю!*

Германия все еще под игом проигранной войны, стеснения диктатом победителей. Демилитаризована Рейнская зона. В Рурскую область вошли оккупационные французские войска. Геббельса жжет постоянно от этой униженности. Выход этому болезненному комплексу он дает отчасти в возрастающем в нем антисемитизме. Найден универсальный виновник всему, что происходит с Германией, в том числе и с прозябанием Геббельса. На этой стадии для Геббельса слово «еврей» — синоним капиталиста, либерала, демократа, интернационалиста, евреи для него также — сами страны-победительницы, которых представляет то Лондон, то Париж.

«...заварилась мало-помалу каша на почве антисемитизма, на почве, от которой пахнет бойней, — писал Чехов 6 февраля 1898 года Суворину в связи с делом Дрейфуса. — Когда в нас что-нибудь неладно, то мы ищем причин вне нас и скоро находим: «Это француз гадит, это жиды, это Вильгельм...» Капитал, жупел, масоны, синдикат, иезуиты — это призраки, но зато как они облегчают наше беспокойство! Они, конечно, дурной знак. Раз французы заговорили о жидах, о синдикате, то это значит... что в них завелся червь, что они нуждаются в этих призраках, чтобы успокоить свою взбаламученную совесть... Первыми должны были поднять тревогу лучшие люди, идущие впереди нации, — так и случилось...» Так оно было на грани веков.

«Вживание — это все»

Эйфория прошла. Надежды самомнения то рушатся, то снова захватывают его. Предстоящее двухлетие историк Эльке Фрёлих, издатель дневников, называет инкубационным периодом становления Геббельса-нациста.

8 сентября 1924. *Политика делает меня бесплодным. У меня больше нет позитивных мыслей. Все вызывает во мне отвращение. Если б я только мог выбраться из этого кавардака... В меня вполз враг. Враг моей веры. Если я теперь еще и веру потеряю, тогда я потеряю надежду...*

Это не помешает ему спустя неделю сказать обратное: «Политика радует меня». Написанная им статья «доставила удовольствие». «Мы откроем в себе новую духовность», «Сердце живет», «Огонь распространяется».

20 сентября. ***Вживание — это все.*** Нужно вжиться в идею.

22 сентября. *На верном ли я пути? Я иногда сомневаюсь. Найду ли я крепкую, непоколебимую веру!!!*

Казалось бы, с его органикой и его пластичностью ему не составит особого труда «вжиться», но пока еще не удалось. Он еще рефлектирующий, мечущийся человек. К тому же он по-прежнему нищ. «Отец строг: на предприятии кризис. А я живу на его счет. Ужасное чувство! Куда я должен деваться? Скепсис и крайнее отчаяние. И вот снова приходит газета. Итак, снова монотонная работа. Растопчет твой дух...» Но зато: «Говорят, я блестяще выступал». Хвала самому себе будет постоянно присутствовать в записях.

27 сентября. ***Я сам сотворю свою славу...*** *Моя слава как оратора и политико-культурного писателя распространяется в рядах национал-социалистов всей Рейнской области... Хайль!*

Но Эльзе печатает его прозу на машинке, «и это ее не радует. Я должен объяснить ей. Для наших современников хороший немецкий стиль прозы не имеет смысла. Мы привычны к экспрессионистской напыщенности. У нас дверь должна быть тотчас взломана. Великое всегда просто, ему не нужно бить на эффект» (9.9.24).

«Я сам сотворю свою славу...»

Геббельс участвует в руководстве местной группой в Эльберфельде.

1 октября. *Немецкий национал и антисемит. А они не хотят признать это новым социализмом. (*Это он о народной партии, с которой состоит тут в распрях.*) Но молодежь научит вас приличию! Берегитесь! Поверх ваших седых, почтенных голов мы построим новое государство...*

3 октября. *Теперь я ответственный редактор «Народной свободы». Я победил по всем линиям. Газета целиком под моим влиянием...* ***Трамплин наверх...*** *О, эта работа дает удовлетворение и радость. Со вчерашнего дня я стал совсем другим. И дома тоже смотрят на меня совсем другими глазами. Здесь действует только зримый успех. Это первая ступень наверх. У меня есть рупор...* ***Я пробьюсь еще выше.*** *В этом я даю здесь обет совершенно серьезно. Вперед! К звездам!*

Это вырвавшееся признание — ключ к пониманию его натуры и его честолюбивых помыслов. Доминанта — карьера. На этот раз это высказано без обиняков. Обычно «карьера» является под псевдонимом «миссии» или «веры». И поскольку с верой долго не ладится — до ощутимых успехов нацистов, — то теперь все чаще еще один псевдоним: «немецкий пролетарий». «Народ, трудящиеся — это лучшее, что у нас есть» (23.9.24). Но уже через день: «90 % людей канальи. 10 % сносны. Эти 10 % должны править 90 %, чтобы стояло государство. Тайна диктатуры». И это устойчиво у Геббельса: «90 % немецкого пролетариата дерьмо. Зачем я борюсь. Из сострадания? Нет, потому что я должен повиноваться своему демону!» (4.4.25). Его демон — честолюбие. Все прочие обеты и заверения, что были и будут, — пустая декламация. Но не этот обет: продвигаться наверх по ступеням карьеры. Ему он будет верен буквально до последнего часа в подземелье имперской канцелярии, когда демон ненасытного честолюбия уже примется пожирать детей Геббельса, обреченных отцом на гибель. А следом и его самого.

Но до этого часа еще многое случится.

(Я имела возможность наблюдать в трагические для Германии дни неминуемого поражения, как комиссару обороны Берлина Геббельсу вместе с Гитлером не было никакого дела до народа и его непереносимых страданий. Это подтвердилось в последних записях его дневника в апреле 1945-го.)

4 октября. *Сегодня впервые моя собственная газета пришла в дом. Какую радость она мне доставила. Наконец-то я устроен.*

6 октября. *Видны успехи. Я продолжаю сражаться. Эльзе мой лучший товарищ.*

И в эти окрылившие его дни он снова припомнил то, от чего успел уже отступиться: «Мы должны искать Бога. Для этого мы приходим в мир!» (7.10.24).

Он нашел суррогат бога в Гитлере.

Затем записи в дневнике обрываются и восстанавливаются с середины марта 1925 года. За это время состоялось знакомство с досрочно выпущенным из тюрьмы Гитлером. Но оно осталось за пределами дневника.

«По указанию мюнхенских властей я охранял Гитлера в тюрьме в Ландсберге, как цветок в оранжерее, — читаю в рукописи бывшего полицейского Раттенхубера. — Баварское правительство было заинтересовано сохранить Гитлера для подавления революционного движения. Я получил приказ не раздражать арестованного полицейскими мерами охраны и предоставить ему свободно гулять по крепостому саду. Его единомышленники беспрепятственно допускались к нему, и комната Гитлера напоминала салон политического деятеля. В его распоряжение отдана пишущая машинка, на которой он с помощью Гесса написал книгу «Майн кампф». По окончании ее Гитлера выпустили на свободу, причем начальник крепости дал ему очень похвальную аттестацию».

«У меня хотят отнять веру!»

18 марта 1925. *Работать, писать. Телефонировать и телеграфировать. И при этом денег лишь на самую скудную жизнь. Есть с чего впасть в отчаяние. Завтра мои именины. Я поеду домой... Безысходность, отчаяние повсеместно во всех сердцах. Выше голову. Работать! Я свирепствую как бык... Завтра в Рейдте у Эльзеньки. Ура! Как я радуюсь! Я пишу ежедневно дюжину писем. Жуть! Из меня можно сделать фонограф! Что вы хотите от меня, вы, мелкие душонки? Ведь я человек!*

20 марта. *Счастливые часы с Эльзе. Она подарила мне «Братьев Карамазовых» в чудесном красном холщовом переплете. И белую сирень, благоухающую в моей комнате.*

23 марта. *Гитлер уже в полном порядке... Гитлер написал дюжину листовок, мастерски. Это человек с размахом... Что гонит меня наверх? Честолюбие, гордость, идеализм? Я не знаю. Человек так мало знает себя. Крупная промышленность — грех. Мы избавим от нее людей... Я устал. Я хочу спать. Спокойной ночи, мой любимый дневник, мой заботливый исповедник. Тебе я говорю все. Все!..*

Но записи в «мой любимый дневник» — не исповедь, скорее это сброс негодования, раздражения, досады на запретителей, а чаще и яростнее на оппонентов и всех тех, кто не ценит его и обрекает на нужду. Нередко это площадка для патетических заклинаний, жестикуляций.

Одномерность, агрессивность нацизма обгладывает его. Он растеривает и то, что имел, — тягу к чтению, не по-школярски беспорядочному, импульсивному.

26 марта. *Гитлера заставляют замолкнуть. Нам изо всех сил затыкают рты. Это доказательство нашей правоты,* — вторит он Гитлеру. — *Сегодня идти в Дуйсбург через французскую (*т. е. Рейнскую*) область. Врагу в глотку. Вигерсхаузен* (народник) *называет меня подстрекателем. Благодарю за комплимент. Поскольку вы не поняли идею наступающей революции!.. У меня нет денег. Начинается голод. Я не знаю, чем я 1 апреля расплачусь за жилье. Нас содержат как шелудивых собак... «Этот человек для нас опасен», — сказал обо мне Рипке (*гауляйтер*)... Эти жалкие умельцы жить! Я не хочу овладевать искусством жить. Я довольствуюсь жизнью в мучениях! Это ужаснейшая мука! Но надо терпеть и быть пламенем... Деньги — дерьмо! Я хочу — жизнь! Всю жизнь!..*

Досрочно выйдя из тюрьмы, Гитлер пообещал баварскому правительству полную лояльность. Но тотчас выступил в ставшей знаменитой пивной «Бюргербройкеллер», где в 1923-м разыгрался «пивной путч».

Я побывала недавно в этой пивной, поднявшейся из руин после войны вместе со всем уничтоженным бомбами Мюнхеном. В гигантском зале, вмещавшем 3—4 тысячи посетителей, современные немцы, сидя на скамьях за простыми длинными столами, пили пиво, заедая присоленными кренделями, раскачивались в едином ритме, слаженно подхватывая песню, оглашая всю непомерную утробу зала могучим мужским хором. Было даже слегка жутковато.

А тогда, впервые по выходе из тюрьмы выступив здесь, Гитлер нарушил слово, данное баварскому правительству, призвав к борьбе не на жизнь, а на смерть: «Либо враг пройдет по нашим трупам, либо мы пройдем по его!» Последовало запрещение Гитлеру выступать.

30 марта. *Я хочу борьбы, потому что не в состоянии больше выдерживать... Нет денег. Вылетает в трубу воодушевление...*

Снова предстоит ему ехать домой попрошайничать. «Никто не питается воздухом и росой. И словом Господним тоже... Я так больше не могу! Меня разобьет отчаяние. **У меня хотят отнять веру!**»

2 апреля. *Теперь я сижу и жду чуда. И если оно не произойдет, я буду искать работу. Что-нибудь да попадется Тогда и решу, как приспособиться к жизни, и сделаю последний вывод, который означает: работа ради хлеба.*

Но угроза подумать о работе-заработке так и не осуществится.

«О бедное... плебейское существование!»

4 апреля. *В политике... Мы в отчаянии. Немецкий народ систематически зреет для гибели (!). А пролетариат? Где же его борьба? Он терпит все, все и рад-радешенек, когда б только голод миновал.*

7 апреля. *Вечером в пивной серьезный спор с Рипке в связи с нашей нац.-соц. программой. Мы должны отдать рабочим в собственность производство, но максимум 49 %, говорит Рипке. Я называю это реформированным капитализмом, но я ненавижу капитализм в любой форме, как чуму... Я радуюсь Пасхе. Имей я деньги, я с Эльзенькой вылетел бы в далекий мир.* ***О бедное; скудное; ограниченное плебейское существование!***

9 апреля. *Моя вера готова меня оставить! Завтра Страстная пятница! Я воскликну вместе с умирающим Спасителем: «Боже, Боже, зачем ты меня оставил?»... Я тоскую по приятной Эльзенькиной болтовне.*

18 апреля. *Есть только два типа людей. Имеющие внутреннего демона и не имеющие его.*

20 апреля. *Почему вообще светит солнце в нашем бедном, несчастном мире? Почему не отчаиваемся мы? Что дает нам мужество продолжать жить? Что за Бог или дьявол терзает нас до крови? Люди ли мы, если мы становимся так безгранично одиноки в наших раздумьях? Почему мы не соединяемся в наших страданиях и не несем их сообща? О, ты, великая, ужасная загадка мира! О, море боли в этом мире! Отчаяние и гибель! На улице золотое сияние солнца. Как понять мне это!*

Это характерный образчик риторики Геббельса. Пусто, безответственно, пошло и лживо. Стеная о разобщенности мира, он уже денно и нощно работает на отторжение немецкого народа от всего общечеловеческого. Потому в его публичных выступлениях идут в дело германофобия, злокозненные замыслы «малого народа», масонов, коммунистов и социал-демократов. Немецкий народ должен почувствовать себя в осаде и призвать спасителей, а они-то уже на подхвате.

За пределами этой «концепции» у Геббельса нет своих устойчивых взглядов, все зыбко, его мотает от одних утверждений к противоположным, и он истерически жаждет вождя-идеолога. А пока что со своим скудным, но доходчивым и достаточным пропагандистским багажом он, хромающий, с неописуемой энергией носится по городам и весям края. Его рьяность, захватничество в местной организации вызывают опасения даже у его сотоварищей: «подстрекатель», «опасный человек». От него хотят избавиться. Но он цепок. Однако при всей рьяности Геббельса социальное положение его остается без изменений, по-прежнему он люмпен. И свое негодование он обращает против немецкого народа: «Немецкий народ едва ли может рассчитывать на спасение. Он марает грязью подаренных ему судьбой вождей или обрекает их голодать. Для кого я жертвую? Для этого человечества? Для этих мелких душ? Я должен слушаться лишь внутренней необходимости» (22.4.25). «Отвратительный народ немцы. Празднуют свое рабство» (22.5.25).

«Я — несомненно пламень!»

27 апреля 1925. *Я произношу блестящую речь. Эльзе сидит в первом ряду. Все совершенно вдохновляюще... Несколько сладостных взглядов. Она очень любит меня. О, какая радость!*

Город празднует избрание Гинденбурга президентом. «Бесконечное ликование масс... Слава Гинденбургу!»

Здесь, в Эльберфельде, где Геббельс начинал свою карьеру в партии, он вскоре обретает врага в лице гауляйтера Рипке. «Я начинаю ненавидеть Акселя Рипке. Кажется, он тоже меня ненавидит. Здесь столкнулись два человека и два мировоззрения: буржуазная реформа и социалистическая революция». «Рипке негодяй», «Рипке или я должен пасть». Он находит в гау тех, кому Рипке неугоден, и избирает тактику: «Выжидать!» Выжидать, когда можно будет скинуть Рипке.

Это чрезвычайно характерное для Геббельса поведение — интригана, завистника. Он также шлет в дневнике проклятия и окружению Гитлера в Мюнхене, мешающему ему пробиться поближе к «шефу». В сколько-нибудь заметном нацисте он видит соперника или возможного оппонента и сколачивает блок против него. При этом

обычны для него незамедлительные переходы от восторженного отношения к человеку до отталкивания, клубящейся злобы, ультиматумов. Недруги и союзники варьируются, меняются местами.

«Он снова вызывает во мне энергию брожения. Пробуждается старый демон. Благодарю тебя, Господи, что ты снова пробудил меня из мертвых». Это сказано в связи с Рипке, но Геббельс постоянно алчет импульсирующего его врага. Без врага он — мертв.

8 мая. *Тяжкая, бессмысленная жизнь.*

18 мая. *Мы делаем из национал-социализма партию классовой борьбы. Именно так. Капитализм должен быть назван своим именем.*

Западные округа нацистской партии, объединенные под руководством Грегора Штрассера, положили в основу своей программы классовую борьбу. «Мы победили по всем статьям... Завтра приедет Эльзе. Я радуюсь, как школьник».

27 мая. *Национал-социализм только немецкое дело или мировая проблема? По-моему, он выходит далеко за пределы Германии. Что думает Гитлер?*

Но Гитлер определенно высказался в «Майн кампф»: национал-социалистическая идея, как и церковь, «не ограничена отдельными государственными областями нашего отечества», а намерена «определять и заново организовывать жизнь народа и потому должна самой себе присвоить право переходить через границы, установленные тем развитием дел, которое мы не признаем»[8].

28 мая. *Нам не нужны политики, нам нужны фанатики и берсеркеры. Гитлер на пути к классовой борьбе. Сохрани мой жар, Господи! Я — несомненно пламень!*

«Деньги, деньги, деньги!»

4 июня. *Я люблю тебя, Эльзе, милую, красивую!.. Утро прекрасное. С Эльзе купаться. Красивая женщина! Как я люблю тебя!.. Отчаянные поиски денег.*

8 июня. *Я при деньгах.. Я держал речь. Ночью страшная драка с коммунистами. 120 коммунистов задержаны. 2 полицейских ранено... Обе партии как берсекеры набросились друг на друга. Эльзеньку люблю... Она добрая и красивая. Я бы очень хотел, чтобы она стала моей женой, если бы она не была полукровкой... Пакт о безопасности! Проклятый Штреземан*[9].

12 августа. *Я умер и давно погребен! Спать, спать! Когда обрету я покой?!*

14 августа. ***Деньги, деньги, деньги!*** *Я опять в нужде. Сил нет... Нужно удержать веру.*

«Человек был и остается животным»

15 августа. *Я вынужден телеграфировать домой о деньгах.*

16 августа. *Из дома пришла телеграмма со 150 марками. Хорошие. Помогают всегда в нужде... Я вижу слишком много недостатков.* ***Человек был и остается животным.*** *С низкими или высокими инстинктами! С любовью и ненавистью! Но животным он остается всегда.*

Это настойчивое утверждение: человек — животное, человек — каналья, — отличная самоподготовка к любым манипуляциям над таким ничтожеством, как человек.

21 августа. *Штрассер рассказывает много печального о Мюнхене (*где обосновался Гитлер со своим штабом*)... Гитлер окружен фальшивыми людьми... Мы со Штрассером теперь организационно охватываем весь запад... Мы добьемся у Гитлера признания. Штрассер с инициативой. С ним можно работать.*

29 августа. *Замечательная книга Гитлера. Так много политического инстинкта. Я вполне воодушевлен. За моим столом сидит преподаватель высшей школы, так называемый интеллигент. Я с пылом и страстью стараюсь ему доказать, что он жалкий обыватель, слизняк.*

«Мы покончили с 1789», — запишет вскоре Геббельс. Очевиден смысл фразы: национал-социализм отверг и поносит идею Французской революции о нации как согражданстве всех людей, объединенных общей государственностью. Носителем этой идеи была и остается интеллигенция. Гитлер с его прославленным соратниками «инстинктом», а за ним и Геббельс чутко сознают несовместимость подлинной интеллигенции с нацизмом, ее органичное противостояние ему. Так было и так осталось и на новые времена. Чтобы поладить с любым нацизмом, отдаться ему под любым конформистским, псевдопатриотическим или иным предлогом — интеллигенции придется предать самое себя, свой нерушимый, неписаный устав, свою гуманитарную миссию.

---

[8] «Mein Kampf», S. 648.

[9] Штреземан Густав — германский рейхсканцлер в 1923 году, позже министр иностранных дел. Лауреат Нобелевской премии мира.

«Я — на грани отчаяния»

3 сентября. *Эльзе здесь... Она добра ко мне и доставляет мне радость... Я смотрю на нее и болезненно сознаю, что мы бесконечно далеки друг от друга. Почему? Почему я должен погибнуть, а Эльзе не может жертвовать вместе со мной? Какая ужасная трагедия!*

«Великая любовь — это значит: я хочу положить на нее всю мою жизнь». Но не для Геббельса эта догма. Он не только не женится на своей уже четырехлетней «невесте и возлюбленной», но готовит ей и ее сородичам гибель. А ведь она единственный человек, с которым ему хорошо, надежно, тепло, и с ней входит в дом естественность, которой он лишен.

4 сентября. *Эльзе уехала. Дождь и серость. Безутешное одиночество. Я — на грани отчаяния. Работы сверх головы... Я в безвыходном положении. Я слишком устал. И снова заботы о деньгах. Я больше не выдержу.*

Он как заведенный, перемогаясь от боли в ноге: «Вчера в Мюльхайме. Сегодня в Эльберфельде. Завтра в Ганновере. А послезавтра в Геттинген». Выступает, вербует новых членов партии и каждый раз пишет в дневнике самыми возвышенными словами о своем успехе у аудитории и все время нуждается в новых инъекциях успеха. Если раньше были смутные попытки найти себя в себе, то теперь он ищет и находит себя в толпе, которую разжигает и от нее же возгорается. Но нацизм опустошителен, и Геббельс, сознает он это или нет, все скудеет и нервно истощается. Пугается, туда ли попал. Тем более что все те же материальные невзгоды угнетают его. Иногда вдруг трезвеет: «Сегодня вечером на машине в Хаммерталь. Снова молоть вздор!» Позже он уже так не скажет.

5 сентября. *Финансовая служба выслала мне чек на 150 марок. О, святая простота... Я болен. Душа ранена. Изнемог. Мне бы на год в горы!.. Я хочу спать! Заснуть и не проснуться.*

Предстоит совещание: цель — основание западногерманского объединения, в котором у Геббельса не последняя роль.

7 сентября. *Движение делает первые маленькие шаги к успеху. Зимой нам предстоит тяжелая борьба. Но и успехи.* — И все же: *Иногда мне становится тошно. И хочется зашвырнуть весь этот хлам в угол.*

Гибель, жертва, смерть и отчаяние — тут и игра, и доля искренности, и поза, и форма существования. И все же еще бьется рефлектирование, болезненность переживаний. Потом наступит другое время — другие его черты заострятся.

«Национальное и социалистическое!»

11 сентября. *У нас был сильный спор.* ***Национальное и социалистическое!*** *Что сперва и что следует потом? У нас на Западе этот вопрос решен. Сперва социалистическое освобождение, затем как буря грядет освобождение национальное. Проф. Вален иного мнения. Сперва национализировать рабочих. Но вопрос! Как? Гитлер колеблется между двумя точками зрения. Но он намеревается склониться в нашу сторону. Так как он молод и умеет жертвовать. Все это — лишь вопрос поколений. Стар или молод! Эволюция или революция! Социальная или социалистическая! Для нас выбор не труден.*

14 сентября. *«Золотой петушок», русский балет. Прекрасные танцы и народные песни. Песня о Волге.*

23 сентября. *Эльзе в понедельник, зайчик, чок, чок. О, твоя любимая рука. Ты, милая! Блаженная любовь... Эльзе так мила, ласкова. Делает бутерброды ногтечисткой. Ах ты, чудесная богема. Расставание! Прощай, ты милое дитя!.. Моральная депрессия!.. У меня несколько дней нервный упадок. У меня потребность в Эльзе. О ты, милая, сладостная женщина!*

26 сентября. *В Мюнхене склока в движении. Мюнхенцы стоят мне поперек горла.*

2 октября. *Мы теперь полностью едины со Штрассером. Также я и по-человечески очень с ним сблизился... Штрассер далеко не так буржуазен, как я думал поначалу... Все же в Мюнхене, по-моему, большой свинарник... Я работаю над статьей «Национал-социализм или большевизм»... Штреземан едет в Локарно[10] продавать Германию капитализму западных стран. Жирная, сытая свинья! Зеверинг[11] запретил Гитлеру выступать в Пруссии... Называет его «иностранцем»[12]... И это республиканская свобода совести!*

---

[10] В Локарно в октябре 1925-го на конференции западных стран было заключено общеевропейское соглашение — гарантийный пакт о неприкосновенности германо-французской и германо-бельгийской границ и сохранении демилитаризации Рейнской зоны.

[11] Зеверинг К. — министр внутренних дел Пруссии.

[12] Гитлер не имел германского гражданства.

6 октября 1925. *Отец все тот же. Хороший, благомыслящий обыватель. Порядочный мещанин.*

9 октября. *Дюссельдорф. Большой красный плакат на афишном столбе: Ленин или Гитлер! Все коммунисты. Хотят помешать.*

«Гитлер мне не доверяет»

12 октября. *Вчера и позавчера Эльзенька здесь. Прекрасные и мучительные часы мы здесь пережили. Внутренний конфликт между нами заостряется. Мы должны будем скоро расстаться. Мое сердце обливается кровью! Как скоро я окажусь совсем одинок... Письмо от Штрассера.* ***Гитлер мне не доверяет.*** *Он поносил меня. Какую боль это причиняет мне. Если он в Хамме 25 октября будет меня упрекать, я уйду. Я не могу выносить еще и это. Всем пожертвовать, и еще упреки от самого Гитлера. В Мюнхене действуют негодяи. Болваны, которые не потерпят рядом с собой человека с головой. Потому что они в его присутствии будут с легкостью распознаны как болваны. Потому борьба против Штрассера и меня. Штрассер пишет в совершенном отчаянии.*

14 октября. *Я дочитал книгу Гитлера до конца. С восторгом! Кто этот человек? Полуплебей, полубог! В самом деле Христос или только Иоанн?.. Хочу домой... Я научился... бесконечному презрению к каналье человеку. Тошно! Тьфу черт!*

«...лучше гибель заодно с большевизмом...»

16 октября. *Локарно. Старое надувательство. Германия уступает и продается западному капитализму. Ужасное зрелище: сыны Германии как наемники будут проливать кровь на полях Европы на службе этому капитализму. Должно быть, в «священной войне против Москвы»!!.. Я теряю веру в людей! Зачем этим народам дано христианство? Ради издевательства!*

21 октября. *Долгая болтовня о большевизме... Я хотел бы как-нибудь съездить на пару недель в Россию для изучения. Можно бы однажды как-нибудь это обтяпать... С 1 октября 1924 по 1 октября 1925 я выступал 189 раз. Можно уже износиться.*

23 октября. *Локарно и пакт безопасности. Одно ясно: деньги правят миром... Нас превратят в наемников капитализма в войне против России... Мы проданы. И если дело идет к концу,* ***лучше гибель заодно с большевизмом,*** *чем вечное рабство заодно с капитализмом.*

26 октября. *Битва на улицах с распаленной красной сволочью. У нас 49 раненых!.. Битком набитый зал. Говорит Штрейхер. Свински. Но тем не менее устанавливается тишина. На улице бешеные схватки. Льется кровь... В Хамм Гитлер не приедет. Возвращен с прусской границы. Зеверинг, эта свинья, хочет распорядиться его арестовать... Один штурмовик провозгласил: «Мы клянемся в кровавой мести!» Стычки с полицией.*

28 октября. *Сладостная ночь. Она так мила и добра ко мне. Я иногда причиняю ей страдания. Эта бурная, цветущая ночь. Я любим! Почему я жалуюсь! Эльзе, моя добрая, красивая возлюбленная!*

29 октября. *Я старею. Я заметил это с содроганием. Выпадают волосы, будет лысина. Но в душе я вечно останусь молодым!*

Он никогда не будет ни молодым, ни зрелым. Он навсегда останется в подростковом состоянии с его нетерпимостью, тягой к насилию.

«Восходящий диктатор»

6 ноября. (Слушая речь Гитлера.) *Прирожденный оратор.* ***Восходящий диктатор.*** *Поздно вечером я его жду перед его квартирой. Рукопожатие.*

10 ноября. *Я в ужасно пессимистическом настроении. Вера во внутренние силы немецкого народа иногда колеблется. И это страшные часы моей жизни... Молчи, мое сердце!*

14 ноября. *Я выступал перед 200. Как примитивно, я мог бы сказать, как глупо.—* Это, кажется, единственная в дневнике фраза такого рода. — *Я устал, устал...*

23 ноября. *Выступал перед 2000 коммунистов. Спокойный, деловой разговор. В конце собрания яростная перебранка. 1000 пивных кружек разбито, 150 ранено, 30 тяжело, 2 убитых... Меня травят в еврейской прессе... Я прибыл к месту сбора в Плауэн. Гитлер здесь. Моя радость велика... Как я люблю его! Какой парень!.. Небольшое собрание. Я должен по его желанию выступать первым. Затем говорит он. Как ничтожен я! Он вручает мне свой портрет. С приветом Рейнской земле. Хайль Гитлер!.. Его портрет на моем столе. Если б пришлось усомниться в этом человеке, я не смог бы этого пережить.*

28 ноября. *Выступает Клара Цеткин. Остро, резко, ясно, пионерша большевизма в жуткой ненависти... Ранним утром поднимаюсь. В поезде. Идет снег. Стенания во мне. В какого же цыгана я превратился!.. Благодарение Богу! Завтра приедет Эльзе. Как я*

радуюсь этому! Ах, если б я не имел тебя при всех моих лишениях! От славы к успеху иду я навстречу гибели. Как тяжела эта жизнь!.. О жестокий, безжалостный мир!

Он примеряет на себя маски — то «модерниста», то «юного романтика», то «нового человека». И не чувствовал бы себя вровень с «модернистами», если бы, отдаваясь успеху, не упирался всякий раз в «гибель», в «отчаяние», «самоубийство», «рок».

«Жизнь дерьмо! Страшное знание!»

14 декабря. *Радио! Радио! Радио в доме! Немец забудет для радио профессию и отчизну. Радио! Новый способ обуржуазивания! Все есть дома! Идеал обывателей!*

Но пройдет совсем немного времени — и эта техника будет находкой для нацистской пропаганды.

В Германии я видела так называемый народный приемник — Volksempfäger, он был повсеместно. Его в годы войны получали немцы взамен своих приемников, которые обязаны были сдать, — пресекалось слушание иностранного радио. Примитивный, небольшой, полукруглый, с зияющей впадиной, будто с распахнутым говорящим ртом, «народный приемник» был прозван немцами Goebbelsschnauze — «морда Геббельса».

16 декабря. *Эльзе пишет мне отчаянное письмо-прощание. Она чувствует себя совершенно покинутой. Что я должен делать?.. Почему женщина не может всецело идти с нами? Можно ли ее воспитать? Или она вообще неполноценна? Женщины могут быть героинями только в исключительных случаях! Эльзе много думает о себе... Ах, мое сердце, успокойся! Жизнь дерьмо! Страшное знание!*

21 декабря. *Я говорил. Меня качали... Эльзе приехала. Полна мечты и печали. Мы хотим расстаться. Она плачет и молит. Пока мы снова не обрели друг друга... На мне и женщинах лежит проклятие. Горе тем, кто тебя любит! Какая ужасная мысль!*

23 декабря. *Я работаю весь день над всеохватывающей программой национал-социализма. И впервые замечаю теперь, как все это трудно... Я так устал. Я боюсь, что я болен... Я нервен до крайности.*

24 декабря. *Вчера до глубокой ночи работал над докладом «Ленин или Гитлер». Это доставляет мне адское удовольствие.*

29 декабря. *Ссора с отцом. Из-за пустяков... Рождественский привет от Гитлера. Его книга в кожаном переплете с дарственной надписью. Я рад.*

2 января 1926. *Печальное вступление в новый год. Незадолго до полуночи у Кауфмана* (сотрудника гау) *начался его страшный нервный припадок. Мы стояли вокруг него на темной лестнице, борясь с ним и шумя, он кричал как одержимый и хотел сброситься, в это время пробило 12 часов. С Новым годом! Затем мы доставили его в автомобиле... Что мы должны пережить. Я готов заплакать, но нет слез. Мы становимся старыми и закоснелыми... Судьба делает из нас мужчин Хозяйственный кризис, безработица, страх перед будущим, пришибленное судьбой поколение. С Новым годом! В эти часы все мерзко во мне и вокруг меня. Снаружи шлепает дождь по оконному стеклу. Вокруг меня страшная, зловещая тишина. Мы идем навстречу краху. С новым, 1926 годом!*

4 января. *Письмо от Штрассера. Он тоже болен. Очень болен. Мы пожираемы изнутри. Демоном! Это ужасно. И мы неразрывно прикованы к нему. Это еще ужаснее. Работаем, чтобы забыться!*

У Геббельса, с его внесоциальным существованием люмпена, заигрыванием с «гибелью», «отчаянием» или тягой «к блаженному или ужасному концу», неприкнутостью долгое время ни к чему, проявляется особая пристальность к сдвинутости, смещенности психики ли, сознания. Наблюдая за выступавшим в Веймаре Штрейхером, от отмечает: «Пожалуй, немного патологичен. — И мгновенно схватывает: — Таким-то он и хорош. Такой нам и нужен. Он увлечет массы». А это уже нечто вроде установки. Говоря о своем приятеле Фрице Пранге, вовлекшем его в нацистское движение, он в числе его положительных черт называет: «патологичен». И друг Кауфман подвержен тяжелым психическим припадкам. И Грегор Штрассер, как и он, Геббельс, пожираем демоном — «тоже болен. Очень болен». Это смещенное состояние культивируется. Но и в самом деле с Геббельсом происходит нечто схожее с тем, что наблюдают врачи у людей с поврежденной психикой, страдающих психозами маниакально-депрессивного характера, когда состояние эйфории, ликующего подъема, неуемной энергии чередуется со срывами в отчаяние, депрессию.

«Я хочу быть апостолом и проповедником»

20 января. *Я долго думал о внешней политике. Нельзя обойти Россию. Россия — альфа и омега любой целенаправленной внешней политики.*

31 января. *Во вторник в Оснабрюке. Мещанское дерьмо. Греют ноги о мой радикализм... Восточная политика, Россия. Кто разберется в этом. По-моему, ужасно,*

что коммунисты и мы разбиваем друг другу головы... Где мы можем встретиться с вождями коммунистов?

6 февраля. *На моем столе ряд новых портретов Гитлера. Восхитительно!.. Тоска по сладостной женщине! О, ужасная мука. И это жизнь? Я ненавижу Берлин!*

11 февраля. *Выступал перед 2000. Меня грозили убить. А потом бурно аплодировали... Во всех городах льется кровь за нашу идею. Мы не можем проиграть. Мы не можем погибнуть. **Я хочу быть апостолом и проповедником.** Я снова начинаю верить!*

12 февраля. *Сегодня после обеда я жду Эльзе и радуюсь этому. Мы хотим натравливать и организовывать путч. Гитлер произнес прекрасные слова: «Мы подстрекатели правды».*

«О, прекрасный Веймар!»

Для нацистского «апостола и проповедника», подстрекателя, то шаткого в вере «за нашу идею», то вновь укрепившегося в ней, оттого, что в немецких городах «льется кровь», неминуем сброс всех незыблемых, непреложных ценностей.

«Гёте — воплощение божественного в человеке» — это запись 25 мая 1924-го. **«О, прекрасный Веймар!** Потерял ли я что-то, занявшись политикой? Мне так грустно! — подавленно сообщает Геббельс 27 марта 1926-го. Но тут же одергивает себя: — Гёте — это еще не все». Гёте уже не тот «божественный», всеобъемлющий. Превыше Гёте — национал-социализм, в который Гёте не встроить, которому не поглотить Гёте. И от подавленности, как это обычно у Геббельса, быстрый переход в агрессивность: «Негодяй, кто пишет сейчас стихи и забывает о своем гибнущем народе».

Эту готовность предать самого себя ради химеры (а в случае с Геббельсом еще и ради личного преуспевания, ради власти) пророчески прозревал гений и патриарх Гёте и предупреждал немецкий народ об опасности впасть в деградацию.

«Все эти художники совершенно политически бесхарактерные. От Гёте до Штрауса. Прочь!» — вскричал Геббельс, уже дорвавшийся до власти над судьбами деятелей культуры, искусства в нацистской Германии, изгоняя из страны Штрауса[13]. «Рихард Штраус написал исключительно низкое письмо еврею Стефану Цвейгу. Стапо (гестапо) поймало его. Письмо наглое и глупое. Теперь и Штраусу придется убираться» (5.6.35). Теперь Геббельс дозрел до того, чтобы изгнать и Гёте, будь тот у него под рукой.

А я помню, как в войну нас, слушателей военных курсов переводчиков, Гёте спасал от ненависти к немцам. Я давно писала об этом. Наш преподаватель, отбывая на фронт, на последнем занятии, прощаясь, прочитал нам:

Кто жил, в ничто не обратится!
Повсюду вечность шевелится.
Причастный бытию — блажен!

— Я прошу вас, геноссен, помнить, что автор этого стихотворения — немец.

Удивительно возвышали эти строки над бедой, над мраком, над насилием войны.

---

[13] Штраус Рихард (1864—1949) — композитор и дирижер.

(Продолжение следует)

В 1993 ГОДУ
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ ПОВЕСТИ АЛЕКСАНДРА БОРОДЫНИ «СПИЧКИ», МИХАИЛА КУРАЕВА «ЗЕРКАЛО МОНТАЧКИ», ДИНЫ РУБИНОЙ «ВО ВРАТАХ ТВОИХ»

Если Вы подписались на несколько месяцев, не забудьте продлить Вашу подписку

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛЕКСЕЙ ПУРИН

*

НАБОКОВ И ЕВТЕРПА

Писать о Набокове? Зачем? Стоит ли поднимать занавес? Что мы сообщим понимающему читателю? Как докричимся до того, кто не слышит? Книги Набокова выпущены из подполья... Но что за дичь слетает с пера: это ардисовские-то изыски — подполье? Правильнее сказать: впущены в наш совковый подвал... Вот-вот его самого обмоют, обрядят и сделают классиком к столетнему юбилею, как Ахматову, уже совершенно уподобившуюся екатерининскому монументу напротив Елисеевского магазина в Санкт-Петербурге, — внизу, по окружности колокола, замерли спутники и придворные. Кажется, Розанов говорит где-то — процитируем мы вкрадчивую критикессу из «Дара» — о временном фокусе той или иной человеческой жизни. Досадно, что Ахматова предстает перед нами в порфире великодержавной старухи; если ей установят памятник, не сомневаюсь, он будет удешевленным вариантом чижовской скульптуры. Фокус Набокова — мальчик с велосипедом?

Нет, мы не станем, как это принято по неписаным правилам набоковианы, рисовать комикс, в котором облый, лоснящийся, улыбающийся пенсионер с лицом обезумевшего от счастья обладателя патентованных пилюль д-ра Пеля с задней обложки «Нивы», окруженный гипертрофированными шахматными конями и бумажными бабочками, неустанно пишет слово «пошлость» латинскими буквами, а оно все не хочет привиться на меркантильной американской почве, в отличие, дескать, от слова «нимфетка», которое, может быть, Бог его знает, и вошло в какие-либо «ляруссы», но всякое очередное, тысячепервое извещение о таком словарном бытовании которого смешно и как раз пошло.

Сколько же он расставил ловушек! И надо бы прислушаться: «Не троньте его, не троньте. Ему нечего вам сказать. Не подходите к рельсам. Там высокое напряжение. Доступ закрыт» («Николай Гоголь»).

Не можем. Читаем и, что еще хуже, пишем, достигая подчас головокружительных высот графомании, способной вызвать эрзац эстетической реакции — счастье глумливой ухмылки: «...пробежал, улыбнулся, и стал сызнова читать с интересом... По мере того, как он читал, удивление его росло, и в этом чувстве было своего рода блаженство... Долбящий, бубнящий звук слов, ходом коня передвигающийся смысл... (словно у человека руки были в столярном клее, и обе были левые)... все это так понравилось Федору Константиновичу, его так поразило и развеселило допущение, что автор, с таким умственным и словесным стилем, мог как-либо повлиять на литературную судьбу России, что на другое же утро он выписал себе в государственной библиотеке полное собрание сочинений Чернышевского».

Словно герой набоковского рассказа «Посещение музея», неожиданно для себя отворяющий дверь в морозную полосу отчуждения советской России, мы, безумно доверившись развернувшейся выше цитате, оказываемся в «скандальной» главе «Дара», которую — и это не забывают отметить со слезами умиления на глазах все сочинители предисловий — наотрез отказался печатать «солидный эмигрантский журнал». От себя добавим — отказался, забавно подражая тексту романа: «Ну что — прочли? — спросил Федор Константинович... — Прочел, — ответил Васильев угрюмым басом».

Но прежде чем говорить о четвертой главе, без которой, конечно же, нарушается равновесие книги и в которой доказательство оправданности и гармонии мира ведется как бы от противного, вернемся к первой странице «Дара».

«Облачным, но светлым днем, в исходе четвертого часа, первого апреля 192... года (иностранный критик заметил как-то, что хотя многие романы, все немецкие например, начинаются с даты, только русские авторы — в силу оригинальной честности нашей литературы — не договаривают единиц), у дома номер семь по Танненбергской улице, в западной части Берлина, остановился мебельный фургон,

очень длинный и очень желтый, запряженный желтым же трактором с гипертрофией задних колес и более чем откровенной анатомией... Тут же перед домом (в котором я сам буду жить), явно выйдя навстречу своей мебели (а у меня в чемодане больше черновиков, чем белья), стояли две особы... «Вот так бы по старинке начать когда-нибудь толстую штуку», — подумалось мельком с беспечной иронией — совершенно, впрочем, излишнею, потому что кто-то внутри него, за него, помимо него, все это уже принял, записал и припрятал».

Таким мастерским и волшебным гимнастическим упражнением на литературном снаряде с последующим, мягким и фиксированным, точным приземлением на черный мат фабулы начинается книга, озаглавленная «Дар», и вдумчивый читатель сообразит: речь в ней пойдет о писательском даровании главного героя — Федора Годунова-Чердынцева, мы даже сказали бы — лирического героя, ибо разве не обратил уже внимание читатель на неустойчивость и взаимозаменяемость личных местоимений *я, он*? И разве неожиданная двойная фамилия, — да еще Годунов! да еще Федор! — не есть подсказка? Явный уж перебор отстранения, двойной отход, удвоенный минус... Автор подсовывает нам имя, похожее на несокращенную дробь, — ее должен сократить читатель, получив в итоге единицу лирического «я».

Не только «черновик» и «толстая штука» из литераторского арго сигнализируют о неденежном, невещественном характере д а р а, но и очень длинный и очень желтый фургон, выросший из «довольно красивой рессорной небольшой брички, в какой ездят холостяки»; и те двое, что, оставив теперь обсуждение вопроса, «доедет то колесо, если б случилось, в Москву?», следят за выгрузкой мебели; и эта гипербола — «все немецкие например» (и эта «гипертрофия», к слову!), напоминающая гоголевские; и, разумеется, «первое апреля», без которого непредставимо никакое подлинное литературное начинание.

Нет, мы не хотим сказать, что такая датировка размагничивает серьезность последующего текста, в том числе и текста четвертой главы; но искусство вообще в некотором смысле — «первое апреля». Все эти «Машенька — только призрак», «Кончеев — только плод воображения», «мнимое солнце», «холодный эстет-виртуоз», «большее любопытство к бабочкам, нежели к людям», «холодная ловкость словесного мастерства», «пасквиль на Чернышевского», — на мой взгляд, признаки отсутствия нормальной фокусировки зрения при рассматривании вещей искусства.

Холодна ли ловкость гимнаста, танцующего на кольцах, виртуозность балетного танцовщика? Или они обеспечены жарким потом и быстрой кровью, игрою и сверхнапряжением мышц? Или, может быть, все это пустые занятия? Но Набоков отсылает нас к Гоголю: «...равно чудны стекла, озирающие солнцы и передающие движенья незамеченных насекомых». «...то, что Гоголь родился 1 апреля, это правда»,— напоминает он. И был еще Чехов, снявший с уже «ошарпанной» гоголевской брички рессоры и привязавший к ее задку звякающее ведро («Степь»)...

Не могу отказать себе в удовольствии привести здесь запись Лидии Гинзбург: «Сотрудница «ЛГ» сказала, что Набоков — прозаик не ахти какой, зато очень хороший поэт, вроде Бунина. Один из иностранцев заявил, что «Лолиту» Набоков написал с целью заработать на порнографии». Прелесть записи как раз в том, что оценка сказанному не дается. Она не нужна. Комментарии тут излишни.

Мы забрели, читатель, в опасные трущобные переулки общих вопросов, где из каждого неумытого окна готово вылиться ведро нечистот и за каждым углом поджидает маньяк с обрезком ржавой трубы. Но пути назад уже нет, и прежде чем возвратиться на освещенные улицы набоковской прозы, нам придется преодолеть несколько мрачных кварталов. Как это ни грустно, мы должны будем признать, что число людей, адекватно воспринимающих поэзию, невелико: их значительно меньше, чем даже людей, пишущих в рифму; их ненамного больше, чем подлинных поэтов. «Моей мечты бесследно минет день... / Как знать? А вдруг с душой подвижней моря, / Другой *поэт*[1] ее полюбит тень / В нетронуто-торжественном уборе...» (Анненский). «И славен буду я, доколь в подлунном мире / Жив будет хоть один *пиит*», — не рассчитывает на большее и Пушкин. Поэзия — достаточно узкая специальность, предмет которой, однако, — жизнь, то есть нечто общеинтересное и «общепонятное».

Именно здесь коренится широко распространенное, но ложное представление о якобы «неслыханной простоте» высших достижений искусства, о том, что необщепонятное в искусстве либо несовершенно, либо этически неполноценно, то есть продиктовано неким «снобизмом». «Ненавистно все то, что нельзя тронуть, взвесить, сосчитать», — пишет Набоков в «Корольке» о подобной системе ценностей.

[1] Здесь и далее курсив в цитатах, кроме оговоренных случаев, мой. — *А. П.*

Отражение набоковской прозы, прошедшей через равнодушное, неродственное сознание, неизбежно оказывается искривленным, неполным, нелюбопытным, малопонятным, скучным и диким еще и потому, что книга Набокова — о поэте, с точки зрения поэта, и — добавим, немного смутясь и предчувствуя грозный (старотолстовский?) окрик, — для поэта. Впрочем, слово «поэт» мы понимаем здесь в расширительном смысле.

Как можно назвать прозу, рассказывающую о поэте, с точки зрения поэта, интересную прежде всего поэту? Проза поэта? Лирическая проза? Прозопоэзия?.. Не будем выдумывать. Читая «Дар» и «Лолиту», мы не можем не удивляться своеобразию этой прозы, ее поэтической подкладке. Поэзия симулирует прозу, проза подражает поэзии? Зыбко. Мы вовсе не думаем, что проза — как бы «недоделанная» поэзия. Напротив, проза сложнее поэзии: сама специфика художественной прозы как-то ускользает от наших аналитических инструментов. И все-таки проза Набокова не может быть понята вне поэтических ассоциаций, более того, мы найдем в ней некоторые структурные свойства стиха. Парадокс заключается еще в том, что поэтом Набоков был, на наш взгляд, «не ахти каким», а вот прозаиком — высшего класса, гроссмейстером. Зина Мерц скажет лирическому герою «Дара»: «...я люблю твои стихи, но они всегда не совсем по твоему росту, все слова на номер меньше, чем твои настоящие слова». Конечно же, это — о Набокове. Проза Набокова — обходной маневр, посредством которого посредственный стихотворец обрел поэтическое бессмертие. Стихи превратились в прозу, чтобы в ней по-настоящему реализоваться.

Дело не только в том, что перед нами новый роман; дело не в новой «форме», а в новом «содержании» и новом герое, которыми оправдывается новизна формальных приемов: речь идет не о «прогрессе» или «развитии», а о незыблемой и неизменной новизне всякого подлинного искусства; новая новизна не отменяет и не затеняет старую, но слагается с ней, прирастает к ней. Фабула авантюрного романа в «Лолите» — вроде тех двух недоразвитых колесиков, которые приданы для устойчивости гипертрофированно-огромному переднему колесищу циркового велосипеда. Это скорее пародия на роман, симуляция романа. Фабула «Лолиты» — зримо окрашенные линии фахверка, то есть ложные, декоративные конструкции. Несущим в романе выступает поэзия. Главный герой романа — жизнь. Этим и оправдано существование «Лолиты».

Мнимая фабульная конструкция, однако, выполняет здесь важнейшую эстетическую функцию — включает драматическое движение. «Пруст доказал необходимость движения, создав роман, разбитый параличом», — пишет Ортега-и-Гасет в эссе «Мысли о романе». «Ситуация оптимальная для познания... лежит где-то между чистым созерцанием и неотложным интересом... Только отведя созерцанию второстепенную роль, только вооружась динамизмом определенного интереса, мы, возможно, обретаем оптимальную способность познания, восприятия окружающего... Поскольку романные флора и фауна вымышлены, автор должен внушить нам известный воображаемый интерес, увлечение, которые станут динамической основой, перспективой видения... Созерцание существует лишь благодаря минимуму действия». «Лолита» как бы иллюстрирует эту мысль философа, фабула здесь оказывается действеннейшим катализатором созерцания.

Почему «Дар» назван романом — вообще неясно. Дневник от третьего лица, обрамляющий целую небольшую библиотечку сочинений Годунова-Чердынцева и вырезки из газет с разгромными отзывами о них, «материалы для биографии», «поэтическое хозяйство»... При этом, однако, нет никакого насилия в соединении, казалось бы, разнородного материала, чем страдают многие произведения прозы нашего века. Это одно растение, и, хотя материал соцветий отличен от ткани листвы или стебля, во всех клетках его — один и тот же генный набор. Нужно только уметь это увидеть. Здесь нет никакого бахтинского многоголосия, никакого игрушечного театра, привидевшегося герою Булгакова. Кто вообще выдумал «набоковский контрапункт»? Здесь один голос, как в книге стихов большого поэта.

Новая проза отличается генетической однородностью на протяжении всего произведения, даже всей системы произведений автора (прустовская эпопея — лишь крайний и очевидный случай), — таково и одно из существеннейших свойств лирической поэзии. Начиная с Баратынского, происходит отторжение от лирики чужеродных тканей поэмы и эпиграммы, эпическое выпадает в осадок. И не случайно Набоков уделил столь много внимания и любви «Евгению Онегину» — тоже роману, понятому как лирическое произведение. Не случайно «Дар» заканчивается прозообразно набранной онегинскою строфой, в которой «с колен поднимется Евгений,— но удаляется поэт». «Евгений Онегин», если подумать, а не «Сумерки» Баратынского — первая русская книга стихов, первый большой лирический контекст.

Новизна пушкинского романа и набоковской прозы не игровая (они не предлагают читателю новую игру, новые правила, новые «приемы»), а языковая, первично-естественная — в том смысле, что искусство и есть язык. Новое искусство — всего лишь сегодняшнее состояние его старого (то есть вечного) языка. Читателю позволительно не знать правил некой новой игры, но ему не прощается отставание от языка. Когда в очередном послесловии нас стараются убедить, что Набоков — только любопытный зарубежный гибрид, забавный уродец, экспонат кунсткамеры, мы с удивлением замечаем здесь совершенно то же отношение к новому как к чужому, враждебному и иностранному, какое было у шишковистов, боровшихся (к счастью, малоуспешно) с «офранцуживанием» и «онемечиванием» русского литературного языка (вернее, языка русской литературы) Карамзиным, Жуковским и Пушкиным. Новое им кажется иностранным.

Но ведь и мы, вслед за Тыняновым, увидим подобие латинского синтаксиса в стихах Тютчева? Умные современники Батюшкова сравнивали его с Петраркой, находя некое «итальянство» в его «Опытах». Нас, видимо, настолько изумляют возможности языка, вдруг открываемые истинными поэтами, что мы не находим другого способа отметить эту новизну, как только сравнив ее с иноязычием. Разумеется, происходит и реальное взаимодействие языков и литератур; иноязычная прививка обогащает поэзию, дает шанс успешного прорыва, обхода, опережения времени. Но это лишь частный случай языковой новизны. Поэт же вообще не в силах скользить по гладкописи уже освоенных стилевых интонаций, стершийся приводной ремень снижает отдачу двигателя. Преодолевая такое проскальзывание, поэт стремится к новой, иной, другой, как бы «немецкой» речи — к новому трению:

Себя губя, себе противореча,
Как моль летит на огонек полночный,
Мне хочется уйти из нашей речи
За все, чем я обязан ей бессрочно.
.....
Чужая речь мне будет оболочкой...

Разве не ясно, о чем говорит здесь Мандельштам? О речевой, а значит, и душевной новизне, необходимой для реализации дара.

«Знаешь ли мою новую страсть? — пишет сестре в 1813 году Батюшков. — Немецкий язык».

Стилистический язык искусства нельзя подновить или «подморозить», он обновляется сам по себе. Насильственно остановленный художественный язык не узнаёт изменяющегося мира — в той же степени, что и придуманная «модернистская» игра. Мы вынуждены следовать течению языка, переживать вместе с ним крушение, деформацию и новое становление литературных жанров, которые порождает сам ландшафт времени. Нас перестали интересовать классический роман и поэма. Речь, разумеется, идет не о «Медном Всаднике», а о сегодняшних воплощениях жанра. Нас привлекает квазиэпистолярная, квазифилософская, как бы выполняющая не свои функции художественная проза — например, проза Лидии Гинзбург. Интересно, что название последней ее книги — «Человек за письменным столом» — тоже квазифилософично, напоминает что-либо вроде хёйзинговского «Homo ludens», но не равно «человеку пишущему». Эта несводимость к философской плоскости, как и к любой другой, это существование в объеме, на нескольких плоскостях культуры сразу, а равно и некая лирическая сверхзадача такой прозы нами отчетливо ощутимы, — потому мы и говорим :«квази-». Здесь слово «лирическая» не имеет ничего общего с той паточностью, которую называет лирической прозой обыденное сознание, а означает лишь новый для прозы «механизм» провоцирования эстетической реакции, заставляющий вспомнить лирическую поэзию.

Нас интересует «нормальная проэзия нормального изумизма» Саши Соколова; обратим тут внимание на эпитет «нормальная», который нам еще пригодится, — оперирующая особой теснотой образного и звукового рядов, и напротив, лишенная этой тесноты на поверхности, но как бы идущая кратчайшим маршрутом лирического стихотворения в глубине проза Людмилы Петрушевской.

А с другой стороны, нас интересует поэзия, отважившаяся воспользоваться приемами психологической прозы, склонная расшатать и полуразрушить свой волшебный, в течение двух веков скрупулезно отлаживавшийся механизм, чтобы возродиться в ином качестве. Балет этой поэзии вовсе не становится «авангардистским» хэппенингом, не впадает в преждевременную для молодой русской силлаботоники собачью старость верлибра, но стремится быть современным балетом.

Происходит взаимосближение жанров, и проза Набокова находится в эпицентре этого нового становления. Завоевания Набокова впечатляют нас потому, что он

деформирует и пересоздает классический роман изнутри: извне неуничтожим даже «гипсовый куб» Горького.

Итак, перед нами прозаическая книга, лирический герой которой — поэт; она так хороша, что мне хочется переписать ее всю. Вот Федор Константинович перечитывает, «как бы в кубе, выхаживая каждый стих», как бы ставя себя на место безвестного ценителя, автора ожидаемого «братского» отзыва в газете — увы, хвалебной рецензии Федор Константинович не дождется — свою только что опубликованную первую книжку «Стихи», «содержащую около пятидесяти двенадцатистиший, посвященных целиком одной теме,— детству», талантливых, отлично написанных в манере высокого ученичества. Мы присутствуем при соревновании прозаика и поэта: прозаик, вырастая из комментатора, отодвигает стихотворца на второй план. Неплохие стихи порождают великолепную прозу, поначалу льнущую к ним, опирающуюся на них, которая потом, одолев стихи, как бы присваивает по праву победителя некоторые их свойства, и прежде всего лирическую способность к перекличке: «...туманное состояние младенца мне всегда кажется медленным выздоровлением после страшной болезни, удалением от изначального небытия, становящимся приближением к нему, когда я напрягаю память до последней крайности, чтобы вкусить этой тьмы и воспользоваться ее уроками ко вступлению во тьму будущую...»

Мы отыщем эту мысль у Набокова еще раз на первой странице «Других берегов», но важнее иное — мы обнаружим очень похожее и у других поэтов: о непрочности детского бытия, о соседстве его со смертью, о странности различного нашего отношения к предварительной и последующей безднам; читатель сам вспомнит нужные строки.

Пафос поэзии и, добавим мы, набоковской прозы, может быть, и состоит в том, что они дают возможность, дают шанс осмыслить жизнь, то есть буквально — ощутить наличие в ней смысла без привнесения извне вымышленных, посторонних, внеположных схем и конструкций.

Вспомним «онегинский» финал «Дара»: «...и для ума внимательного нет границы — там, где поставил точку я: продленный призрак бытия синеет за чертой страницы, как завтрашние облака, — и не кончается строка». Это стихи. Но, быть может, и вот это — стихи: «...опишем и бредовое состояние, когда растут, распирая мозг, какие-то великие числа, сопровождаемые непрекращающейся, словно посторонней, скороговоркой, как если бы в темном саду при сумасшедшем доме задачника наполовину (точнее — на пятьдесят семь сто одиннадцатых) выйдя из мира, отданного в рост — ужасного мира, который они обречены представлять в лицах, — торговка яблоками, четыре землекопа и Некто, завещавший детям караван дробей, беседовали под ночной шумок деревьев о чем-нибудь крайне домашнем и глупом, но тем более страшном...»

Не правда ли, это похоже на лирическое стихотворение? Укол в самое чувствительное место памяти, вербализация подсознательного. Кто не пережил гриппа с перельмановским, скажем, orbus pictus'ом в жарких ладонях? Но прекрасное, эстетическое обеспечено не только особенностью повода, а еще — интонацией, синтаксисом, создающими подобие вязкой среды бреда, — самой фактурой лирического, которая все равно ничего бы не стоила, когда б не была прозрачна для «внимательного ума» и не имела экзистенциального выхода. Только тогда и наступает состояние художественного вещества, при котором оно способно к поэтической перекличке.

Перекличка — очевидное выражение внутренней активности лирической ткани. Почему мы говорим: лирическое стихотворение — кратчайший путь? Не потому ли, что это наиболее активный вид литературной материи, внутренние структурные связи которой могут быть развернуты вовне? Малоактивные химические элементы обладают прочными, жесткими, ненарушимыми внутренними связями — правильной, бездефектной структурой. Лирическое, то есть активное, предполагает непрочность внутренних связей, их подвижность, многовариантность, незавершенность кристаллической решетки, предрасположенность к отдаче и получению... Сверх физико-химической метафоры предложим еще биологическую: лирическое стихотворение — живой организм, но особый, это муравейник или осиный рой; греки не зря сравнивали поэтов с пчелами...

Но мы отвлеклись. А Федор Константинович тем временем сочиняет стихотворение. О, как блистательно протянута Набоковым трепещущая нить этой темы сквозь тридцатистраничную толщу обычного дня его лирического героя! Какая высокая разрешающая способность у набоковского глаза! «Мне еще далеко до тридцати, и вот сегодня — признан. Признан! Благодарю тебя, отчизна, за чистый... Это, пропев совсем близко, мелькнула лирическая возможность». И читатель уже участвует вместе с Набоковым и Федором Константиновичем в подборе и отбраковке слов, восхищаясь их абсолютным слухом: «За чистый и крылатый дар. Икры. Латы. Откуда этот

римлянин? Нет, нет, все улетело, я не успел удержать». Мы заходим с Федором Константиновичем в кафе и покупаем пирожков, а слова «отчизна» и «признан» продолжают перекликаться. И вот вечером под колеблющимся от ветра фонарем, через двадцать страниц, они опять с нами: «И это колебание... что-то столкнуло с края души, где это что-то покоилось, и уже не прежним отдаленным призывом, а полным близким рокотом прокатилось «Благодарю тебя, отчизна...», и тотчас, обратной волной: «за злую даль благодарю...» И снова полетело за ответом: «...тобой не признан...» Он сам с собою говорил, шагая по несуществующей панели...» Тут нам мешают, начинают отворять дверь дома. Окружающий мир снова завоевывает наше внимание на полстраницы; но вот Федор Константинович в постели, и «божественное жужжание» вновь с ним. «Это был разговор с тысячью собеседников, из которых лишь один настоящий, и этого настоящего надо было ловить и не упускать из слуха. Как мне трудно, и как хорошо... И в разговоре татой ночи сама душа нетататот... безу безумие безочит, тому тамузыка татот... Спустя три часа опасного для жизни воодушевления и вслушивания, он наконец выяснил все, до последнего слова...»

Кому нужен этот, вообще говоря, набор слов? Стихотворцам? А кому нужен толстовский Левин с косою в руках — косарям? Согласимся с Набоковым: «Как мне трудно, и как хорошо...» И с Мандельштамом: «И как хорошо мне и тяжко...» (из стихотворения «Люблю появление ткани...», которое я и рекомендую тут же перечитать). «Дар» — книга, в частности, о том, из какого «сора» растет литература. Из жизни. И о том, как она оттуда растет, как появляется ее ткань.

Мы уже могли наблюдать, как из глумливого удивления, подсвеченного «своего рода блаженством», у нашего героя родился замысел «романизированной биографии» Чернышевского. А вот финал: «Было решено, что она (Зина. — *А. П.*) отправится туда (на бал. — *А. П.*) в девять, а он последует через час. Стесненный пределом времени, он не сел после ужина за работу, а *проваландался* с новым журналом... Посмотрев на часы, он *медленно* стал раздеваться, затем вытащил *сонный* смокинг, *задумался, рассеянно* достал крахмальную рубашку, вставил *увертливые* запонки... *замер* на минуту, *бессознательно* натянул черные с лампасами штаны и, вспомнив, что еще утром надумал вычеркнуть последнюю из накануне написанных фраз, нагнулся над и так измаранным листом. Перечтя, он подумал,— а не оставить ли все-таки? — сделал птичку, вписал добавочный эпитет, *застыл* над ним...»

Остановимся на мгновение. Не правда ли, эти замедленность и сонливость что-то должны означать. Что-то произойдет неожиданное. Посмотрим:

«...и *быстро* всю фразу похерил. Но оставить параграф в таком виде, то есть повисшим над бездной, с заколоченным окном и обвалившимися ступенями, было физически невозможно. Он просмотрел подготовленные для данного места заметки, и *вдруг — тронулось и побежало перо.* Когда он опять взглянул на часы, был третий час утра, знобило, в комнате все было мутно от табачного дыма. Одновременно донесся звяк американского замочка. Мимоходом из передней в его полуоткрытую дверь Зина увидела его, бледного, с разинутым ртом, в расстегнутой крахмальной рубашке, с подтяжками, висящими до пола, в руке перо, на белизне бумаг чернеющая полумаска. Она с грохотом у себя заперлась, и все стало тихо... Он так никогда и не узнал, в каком Зина ездила наряде; но книга была дописана».

Таков поэт. «То своенравно-весел, то угрюм». А вот как пишет об этом Фет в письме к Полонскому: «Никто более меня не ценит милейшего, образованнейшего и широкописного Ал. Толстого,— но ведь он тем не менее какой-то прямолинейный поэт. В нем нет того безумства и чепухи, без которой я поэзии не признаю... Поэт есть сумасшедший и никуда не годный человек, лепечущий божественный вздор». Важно лишь, чтобы этот вздор был божествен.

«Пока не требует поэта / К священной жертве Аполлон, / В заботах суетного света / Он малодушно погружен...» Как не оценить этого «малодушия» в спущенных подтяжках? Набоков — антиромантик. Он совершает фигуры высшего пилотажа, ускользая от романтической коллизии, к которой он, казалось бы, предрасположен, ибо, с одной стороны, ему очень интересен Поэт, а с другой — Пошлость, обывательская слепота. «...я ясно понимаю, во-первых, — пишет Набоков в «Истреблении тиранов», — что настоящий человек — поэт». Но место поэта — самое что ни на есть антиромантическое; романтическая патетика не имеет ничего общего с поэзией. Это специально подчеркнуто. Поглядите, что он устраивает: «Извините меня, если от этого огорода, плывущего мимо, в ослепительном блеске парников и колыхании мохнатых маков, я прямо перейду к тому закутку, где, сидя в позе роденовского мыслителя, с еще горячей от солнца головой, сочиняю стихи» («Адмиралтейская игла»). По Набокову, и юный герой, сочиняющий стихи в позе роденовского мыслителя, и Годунов-Чердынцев, испытывающий удовольствие от стрижки ногтей, проводящий ночи в спущенных подтяжках, — норма, не нуждающаяся в романтизации. Романтизм — обеднение реальной сложности и «суетной» прелести жизни.

Мы совсем не случайно вспомнили пушкинского «Поэта»: Набоков все время ориентирован па Пушкина. Пушкин — главная ценность набоковского мира; он постоянно с нами, когда мы читаем «Дар». Вот и поглядим еще раз, как Аполлон требует поэта к священной жертве; у Федора Константиновича зреет желание написать книгу об отце: «...он, на диване, грызя ногти (внимание! — *А. П.*), читал толстую, потрепанную книгу; раньше, в юности, пропускал некоторые страницы,— «Анджело», «Путешествие в Арзрум», — но последнее время именно в них находил особенное наслаждение... его что-то сильно и сладко кольнуло... Опять этот божественный укол!.. он вслушивался в чистейший звук пушкинского камертона — и уже знал, чего именно этот звук от него требует». А затем следуют две страницы, целиком посвященные Пушкину. Но предоставляем их заинтересованному читателю — для самостоятельного домашнего чтения. В набоковской прозе, где нет ничего случайного, необязательного, мы то и дело замечаем след веселого российского гения: «Он вынес вещи, пошел проститься с хозяйкой... отдал ей ключи и вышел. Расстояние от старого до нового жилья было примерно такое, как, где-нибудь в России, от Пушкинской — до улицы Гоголя».

Кстати, о ключах. В финале «Дара» нетерпеливые любовники спешат к дому, не подозревая, что не имеют от него ключей; о ключах должен помнить читатель, с которым автор устанавливает интимную, прямую, лирическую связь. Незаметное для третьих лиц, чаще всего — героев, подмигивание позволяет предупредить друга-читателя о готовящемся повороте событий — затем, чтобы мы испытали эстетическое волнение, глядя на ничего не подозревающих, доверчивых персонажей.

Вот Федор Константинович засыпает и несколько раз просыпается. Наконец, в очередной раз, его будит телефонный звонок. Набоков, с окаменевшим лицом, говорит устами встревоженной Зины (мнимо-Зининым устами): «Это звонили тебе... Твоя бывшая хозяйка, Egda Stoboy. Просит, чтоб ты немедленно приехал. Там кто-то тебя ждет. Поторопись». Он натянул фланелевые штаны и пошел, задыхаясь, по улице. Федор Константинович спешит, мы понимаем, навстречу приехавшему, считавшемуся пропавшим без вести, даже погибшим, отцу... Stop! Стоп, читатель! Как звали хозяйку, быстро ответь. Не помнишь? И я не помню. Но то, что ее не звали Egda — сто процентов гарантии: ты бы запомнил, если б ее звали — (Вс)егда С тобой, не правда ли? Перелистаем назад. Так, конечно же, нет. Недаром твое внимание уже тогда, при первой встрече, обратили на ее имя: «У этой крупной, хищной немки было странное имя; мнимое подобие творительного падежа придавало ему звук сентиментального заверения: ее звали Clara Stoboy. Обратили затем, чтобы, когда скажут «Егда Стобой», ты ощутил бы перебор, дурной вкус кошмарного сна. Увы, все, что будет так хорошо разворачиваться дальше: встреча с отцом, слезы счастья, — ты знаешь уже, только сон; и тебе больно смотреть на спешащего, взволнованного, не ожидающего подвоха Федора Константиновича. Набоков, конечно, мучитель — но искусство вообще не церемонится.

До сих пор мы больше говорили о сходстве прозы с поэзией, мы еще к этому вернемся, но сейчас давайте, для разнообразия, развернемся на сто восемьдесят градусов. Меня удивляет и восхищает божественная самоуверенность и спартанская выдержка прозаика. Как это он может надуть на десятой странице резиновый шарик вымысла, который лопнет со страшной силой на шестьдесят второй? Как этот скрываемый под рубашкой лисенок не раздерет пузо, пока проедешь с бдительным и строгим читателем все пятьсот девяносто два поворота? Как вообще можно двигаться в этой аморфной и недискретной среде? Что удерживает от подмывающего соблазна закруглиться на первом абзаце, тут же свести все ниточки воедино? Что выступает движущей силой в прозе, подобием проходной вертушки стихотворной строфы, как бы проталкивающей смысл? Работа стихотворца напоминает гончарную: необходимо только умело подправить. А за счет чего формируется проза и намагничивается слово в ней? Тут нет ведь очевидных формальных обязанностей, давление которых создает напряженную тесноту образного, мыслительного, звукового рядов в стихотворении, если, разумеется, стихотворец способен наполнить свое произведение художественной материей. За счет такого давления сжатое слово горит, испускает энергию. Отчего светится слово в прозе? Как вообще делается проза? Вот, например, набоковская — совершенно прозрачная для внимательного ума, даже вроде бы понятно как сделанная, но вообразить себя делающим эту ювелирно-ломовую работу — немыслимо. Необходимо, кажется, иметь шестьсот рук, чтобы не упустить ни одной паутинки. Как заставить вольфрамовое плетение еще и светиться? Нужна какая-то паучья сосредоточенность и чувствительность, сродни той сверхчувствительности влюбленности, которую умеет показать нам Набоков. Вот «Лолита» и «Дар» — два крылышка описываемой мной лирической бабочки, которые, заметим,

при вертикальном складывании совпадают многими точками своего рисунка. «Лолита»:

«Дождливое утро... На мне белая пижама с лиловым узором на спине. Я похож на одного из тех раздутых пауков жемчужного цвета, каких видишь в старых садах. Сидит в центре блестящей паутины и помаленьку дергает ту или иную нить. Моя же сеть простирается по всему дому, а сам я сижу в кресле, как хитрый кудесник, и прислушиваюсь. Где Ло? У себя? Тихонько дергаю шелковинку. Нет, она вышла оттуда... Как луч, проскальзываю в гостиную... Упорхнула! Радужная ткань обернулась всего лишь серой от ветхости паутиной, дом пуст, дом мертв. Вдруг — сквозь полуоткрытую дверь нежный смешок Лолиты... Но когда я выскакиваю на площадку, ее уже нет. Лолита, где ты?»

А вот «Дар»: «Каждое утро, в начале девятого, один и тот же звук за тонкой стеной, в аршине от его виска, выводил его из дремоты. Это был чистый, круглодонный звон стакана, ставимого обратно на стеклянную полочку; после чего хозяйская дочка откашливалась. Потом был прерывистый треск вращающегося валика, потом — спуск воды, захлебывающейся, стонущей и вдруг пропадавшей...»

Какие не уловимые ухом вибрации подсказывают нам: слух Федора Константиновича обострен влюбленностью? Интонация? Слова «чистый» и «круглодонный»? «Полочка», полурифмующаяся с «дочкой»?

Итак, прослушивание уборной и ванной. После этого нам будет сообщено, что Федор Константинович довольно часто теперь день начинал стихотворением. А через несколько страниц мимоходом заметят, что он иногда задумывался: кто, собственно, те пятьдесят человек, у которых оказались распроданные экземпляры его стихотворной книжечки, и что достоверно узнал он про судьбу только одного экземпляра: его купила два года назад Зина Мерц. Хозяйскую дочку зовут Зина Мерц, но мы с читателем об этом в известность еще не поставлены. И все же что-то начинает нас волновать, какая-то догадка рождается в нас. Не зря же еще раньше промелькнуло «голубоватое газовое платье, очень короткое, как носили тогда на балах» (а «малодушный» поэт наш так и не догадался, «в каком Зина ездила наряде»). Само имя — Зина Мерц — мы ведь тоже уже слышали в каком-то случайном разговоре. Мы в ожидании, наш слух обострен. И вот через несколько страниц, описывающих обычный день Федора Константиновича, включающих пересказ двух изученных им рецензий на кончеевское «Сообщение», читаем: «Вдали какие-то большие часы, местоположение которых он все обещал себе определить, но всегда забывал это сделать, тем более что за слоем дневных звуков их не бывало слышно, медленно пробили девять. Пора было идти на свидание с Зиной».

Ах вот оно что! За слоем дневных звуков мы еще пропустили полуподсказку: утром «он лежал и курил, и потихоньку сочинял» по-набоковски разорванное телефонным звонком стихотворение (с пропавшей из-за этого полустрокой): «Как звать тебя? Ты полу-Мнемо*зина*, полу-*мерц*анье в имени твоем...» (Надеюсь, читатель не упустит и возможности определить местоположение «больших часов», заглянув в предпоследнюю фразу романа; а если уж мы заговорили о времени, то как же нам промолчать о сопутствующей *полу-Мнемо*зине, — извольте сократить формулу! — девятке, связанной с отъездом на бал, с круглодонным стаканом, с рандеву — и равной числу мнемозининых дочерей — муз?) Все паутинки сошлись. Катарсис.

Нас уже не удивляет, что проза Набокова и лирическая поэзия живут по одним законам. Наряду с частными законами поэтики у них есть и общий, главный закон — подробный, ничего не исключающий гуманистический интерес к конкретному живому. Их герой — жизнь, не делимая на условно «высокое» и условно «низкое»: стрижка ногтей и треск туалетного валика не представляются чем-то недостойным, это очаровательная подробность жизни, требующая поэтического описания, существующая наряду с высоким и вечным, равноценная, равнозначная.

Мы настаиваем на этой формулировке, на этом широкоохватном ж и в о м: «„Путешествие", — вполголоса произнес Мартын и долго повторял это слово, пока из него не выжал всякий смысл, и тогда он отложил длинную, пушистую словесную шкурку, и глядь,— через минуту слово было опять живое» («Подвиг»).

Вот здесь, проведя читателя по одной из тропинок великолепного сада набоковской книги, предложим ему осторожно спрыгнуть в канаву четвертой главы.

Мы уже имели случай проговориться: четвертая глава «Дара» — доказательство от противного гармонии и осмысленности жизни. В сочинении Федора Константиновича разговор ведется с точки зрения поэта, то есть обладателя нормы. Каковы ценности такого человека? Жизнь в ее сложности и подробности, Пушкин, Гоголь, Фет, Толстой, Чехов — не правда ли? Как должен он относиться к тем, кто не видит этих его ценностей, более того — третирует и презирает их? «...за пятьдесят лет прогрессивной критики, от Белинского до Михайловского, не было ни одного

властителя дум, который не произдевался бы над поэзией Фета. А какими метафизическими монстрами оборачивались иной раз самые трезвые суждения этих материалистов о том или другом предмете, точно слово мстило им за пренебрежение к нему!.. «Лица — уродливые гротески, характеры — китайские тени, происшествия — несбыточны и нелепы», — писалось о Гоголе...» (Да простятся мне частые цитаты из текста, который сам занят цитированием; культура вообще переходит от цитирования и цитирования в квадрате к цитированию в кубе, если не в более высоких степенях.) Но хорошо, предоставим читателю для самостоятельного изучения те две страницы, где речь идет об отношении Чернышевского к Пушкину...

Мы заговорили о ценностях поэта, которые едва ли не подсознательны. Набоков описывает в «Даре», например, предсонное мозговое бормотание, перерастающее в свист самосочиняющихся стихов: «...и умер исполин яснополянский, и умер Пушкин молодой...» Анненский пишет в письме Е. М. Мухиной: «Кроме мучительных воспоминаний, болезнь оставила мне и интересные. Я пережил *дивный день действительно* великолепного бреда, который, в *отличие от обычной нескладицы снов, отличался* у меня удивительной стройностью сочетаний и ритмичностью. Между прочим, все мои, даже беглые, мысли являлись в ритмах и богатейших рифмах... легкость в подборе сочетаний была прямо феноменальная, хотя, конечно, их содержание было верхом банальности. Но вот мучительная ночь была, это — чеховская, когда я узнал о смерти этого писателя. Всю ночь меня *преследовали картины окрестностей Таганрога (которых* я никогда не видел)». Курсив мой высвечивает реликты «ада аллигаторских аллитераций» («Дар»), реализовавшиеся в частном письме Анненского; фрейдисты и юнгианцы, несомненно, правы: поэты объективируют подсознательное, вернее — они героически стремятся гармонизировать его хаос, приручить «метафизических монстров»...

Но вернемся к «прогрессивной критике». Слово, оказывается, мстит за пренебрежение к нему: «...достаточно одного прилагательного, поставленного, ради красоты, позади существительного, чтобы извести лучшее воспоминание... только тошный душок литературной гари» («Адмиралтейская игла»). Дело как раз не в литературе, а в общей ущербности выборочного, тенденциозного зрения. Не только этическая, но и эстетическая, даже стилистическая, лексическая глухота способна лишить жизнь смысла: «Он с ужасом замечал теперь (ослепнув. — *А. П.*), что, вообразив, скажем, пейзаж, среди которого однажды пожил, он не умеет назвать ни одного растения, кроме дуба и розы, ни одной птицы, кроме вороны и воробья» («Камера обскура»). Смысл жизни утрачен. Бессмертная душа, если она есть, обречена на косноязычие, на полную немоту. Но дефектные духовные очи еще и бесчеловечны, они не видят человека: «Он любил... рассказывать о своем брате Василии, — по видимому, лихом малом, женолюбе, музыканте, забияке... Но все это выходило в передаче милого Л. И. так скучно, так основательно, так закругленно...» («Памяти Л. И. Шигаева»).

Собирательная подслеповатость и условное зрение не только обедняют и искажают образ мира, но и таят куда более материальную, ощутимую угрозу. Повествователь в рассказе «Истребление тиранов» вспоминает юность диктатора: «Помню, его городские, неряшливо зашнурованные сапоги были всегда пыльными, как если бы он только что прошел пешком много верст по тракту, между незамеченных нив». Сравним это, скажем, с высказыванием Б. Бажанова о Троцком: «...он всю жизнь прошел, видя только абстракции и не видя живых людей». Для Набокова смешение оводов со шмелями, а десятью строчками ниже — еще и с осами, которое Федор Константинович находит у Некрасова, «в его (часто восхитительной) поэзии» — как не отметить это точное, «набоковское» попадание! — и страшные сцены геноцида — явления одного ряда. Варварские расовые и социальные мифы — следствие низкой разрешающей способности духовных глаз их носителей. Какими бы вообще-справедливыми и в целом высокогуманными ни были цели таких людей, как Чернышевский, «мелочи» — неразборчивость в насекомых, пушкинобоязнь и фетофобия, эстетическая неряшливость — все это закономерно ведет от них к тоталитарному аду.

Набоков феноменален: никому из крупных русских художников XX века не удалось сохранить такой внетоталитарной чистоты; и причина этого не в «эмигрантской дистанции», а в его ангажированности вечной культурой. Когда Мандельштам умиляется «доброму Чарли», я уж не говорю о «товарище Шарло» Маяковского, мы, не правда ли, ощущаем оттенок отчетливо советского нездоровья, отравления идеологическим хлороформом в замкнутом помещении? Оказывается, соблазнительная верность рассохлым народовольческим сапогам и совестливое согласие отказаться от жизни на «культурную ренту» — болезненная галлюцинация, результат гипнотического воздействия злокачественного отрезка истории. Для Набокова Чаплин — «черное чудовище на вывороченных ступнях» (вспомним еще «идиотства Шарло» — у Ходасевича), ибо такое добродушное, покладистое пародирование стереотипов массового сознания кажется ему отвратительным.

Пожалуй, мы еще должны подивиться уравновешенности набоковского тона: «...такие люди, как Чернышевский, при всех их смешных и страшных промахах, были, как ни верти, действительными героями в своей борьбе с государственным порядком вещей, еще более тлетворным и пошлым...» Читая «биографию романсэ», написанную Федором Константиновичем, кроме того не следует забывать, что, по существу, то же тестирование проходит в «Николае Гоголе» и Гоголь — любимый Набоковым писатель. О нем тоже рассказываются малоприятные вещи. Но ничего страшного, мы не усомнимся в гоголевской гениальности, как в ней не сомневается и Набоков. Вот нормальная, гармоническая, уравновешенная точка зрения, при которой «Выбранные места...» и «Что делать?» равны в своей антипатичности, ибо место писателя — не молельня ханжи и не выдуманный фаланстер, смахивающий на бордель; «...настоящее место писателя есть его ученый кабинет», — пишет Пушкин, человек, о котором вы не отыщете у Набокова ни единого колкого или хотя бы двусмысленного слова, чье присутствие мы постоянно ощущаем в контексте четвертой главы...

Козлоногий Марсий, помесь военнообязанного божка и гривастого наукообразного социалиста, назвавший российского Феба «слабым подражателем лорда Байрона», взывает к нашей гражданской жалости: шкуру спустили. Поделом! Вот посмотрите, какие бывают странные сближения: «...это был тот Зайцев, который называл Лермонтова «разочарованным идиотом», разводил в Локарно на эмигрантском досуге шелковичных червей, которые, впрочем, у него мерли, и по близорукости часто грохался с лестницы». Это ничего вам не напоминает? А вот такое: «У Пушкина было четыре сына, и все идиоты. Один не умел сидеть на стуле и все время падал». И еще: «Пушкин очень полюбил Жуковского и стал называть его по-приятельски просто Жуковым» (Д. Хармс, «Анекдоты из жизни Пушкина»). Сравните: «Чернышевского она (Зина. — *А. П.*) сокращенно называла Чернышом».

Разрушительный всплеск, вызванный совпадением частот независимых волн, называется резонансом. Два разделенных Европой писателя словно притащили зеркало, чтобы поставить его между Пушкиным и тычущей пальцем пошлостью. Пушкин и оказывается той фигурой, которая ставит мат духовной близорукости и идеологическому схематизму в четвертой главе. Если Пушкин не прав, то жизнь бессмысленна, а бессмертие невозможно — как бы доказывает от противного автор.

Смысл жизни, бессмертие, поэзия для Набокова суть синонимы: «...под поэзией я понимаю тайны иррационального, познаваемые при помощи рациональной речи. Истинная поэзия такого рода вызывает не смех и не слезы, а сияющую улыбку беспредельного удовлетворения, блаженное мурлыканье, и писатель может гордиться собой, если он способен вызвать у своих читателей, или, точнее говоря, у кого-то из своих читателей, такую улыбку и такое мурлыканье» («Николай Гоголь»).

Где мы слышали раньше это мурлыканье? Помните, отец Федора Константиновича коротает время в петербургском имении, тоскуя по Тибету, по любимой работе: «Он не то чтоб был мрачен или раздражителен... а попросту выражаясь, он не находил себе места... И затем что-то вдруг изменилось в настроении Константина Кириллович: ожили и подобрели глаза, послышалось вновь музыкальное мурлыкание, которое он на ходу издавал, будучи чем-нибудь особенно доволен...» Константин Кириллович собрался в путешествие (оказавшееся последним); жизнь его стала осмысленной.

Поэзия — смысл жизни — бессмертие. Удивит ли нас то, что поэзия явилась тут в таком энтомологическом платье, тогда как героическая гигантомания из параллельного жизнеописания ее лишена? Поэзия и есть бессмертие; мы вправе считать, что знаменитая набоковская «тайна», уведенная комментаторами в потусторонность, — поэзия: «Эта тайна та-та, та-та-та-та, та-та / А точнее сказать я не вправе». Или — иными словами: «тому тамузыка татот».

Теперь мы можем начать разговор о другой книге.

Долгожданная... Что я болтаю, — неожиданная! Невозможно даже было представить!.. Листаю, на ладони держа осторожно, легкий томик советской «Лолиты» — вроде бабочки трехсоткрылатой (где вы, где вы, кордоны, горлиты?), — фиолетовый... нет, лиловатый. Как и ардисовские сестрицы, набранный контрабандным петитом... То ли умер я, Ло? То ли снится — к самохваловским Афродитам залетевшая бабочка? «Ло. Ли. Та» — как след троекратный на нёбе... С автострадами — в сторону боли, с назревающей смертью — в утробе... Сквозь ветвистую сень теневую, влажно льнущую к школьному списку, вижу милую лгунью живую, Карменситочку, ласточку, киску. И под сердцем волна голубая набухает, бискайская, крупно. И бо-бо, ибо, ту love, любая — смертоносна любовь и преступна...

Между «Лолитой» и «Даром» лежит мировая война и Атлантический океан, эти книги разительно не похожи, но мир набоковской прозы — един. Его «автобиографическая» русская ветвь тесно переплетена с той, которая содержит «Лолиту».

Комплекс набоковских романов не образует линейного цикла, это скорее вечное возвращение, восходящий повтор. В сущности, это поэтический принцип; так строятся стихотворные комплексы Осипа Мандельштама или Георга Тракля. Это своего рода стрельба в «десятку». Комплекс (не цикл!) мандельштамовских стихотворений на смерть Андрея Белого — мишень после такой стрельбы. Мы не обнаружим на ней идеального попадания, но контекстное поле, заключенное между несколькими «девяточными» и «восьмерочными» точками, содержит в себе эту невыбитую «десятку». Она как бы поймана общим контекстом, поэтому из такого комплекса стихотворений нельзя выбрать одно или два, отослав остальные в раздел «другие варианты», — контекстно-полевая «десятка» будет утрачена. Стихотворения, входящие в нее, не могут быть однозначно расположены во временной последовательности, — я говорю не о датировке, а о художественном времени — в каждом поэт начинает как бы с нуля и старается выдать «на всю катушку».

Остановимся пока на самом поверхностном уровне. Предшественницами, вернее в свете вышесказанного соседками, «бедной девочки» выступают не только Эммочка («Приглашение на казнь»), Магда («Камера обскура»), Лилит (стихотворение «Лилит»), безымянная героиня рассказа «Волшебник», но и Колетт из Биаррица «Других берегов» (или нет, она — Аннабелла Ли) и даже Зина Мерц, если мы вспомним пошлый сюжетец ее отчима-юдофоба о вдовице и девице. Именно в случае с Зиной видно, как изменяется функция этой «истории», рассказанной Щеголевым, от того, в каком контексте она рассматривается, — только «Дара» или всего комплекса романов. Это вовсе не авансирование «Лолиты», просто поэтическое хозяйство Набокова — не ищите здесь осуждения! — организовано с фермерской американской рачительностью: изо всего извлекается максимальный эффект...

Итак, «Лолита», которую Краткая литературная энциклопедия называет эротическим бестселлером...

«Лучшее, что Набоков написал... — читаем у Л. Я. Гинзбург, — «Лолита»... роман моралистический; в развязке даже до навязчивости моралистический. Читатель ни на минуту не забывает о том, что герой творит черное дело. Но «Лолита» также книга о великой любви, непредсказуемо порожденной черным делом... Великая любовь — в отличие от любви умеренной — бывает похожа на болезнь, на опрокинутое равновесие». Вспомним, что эту неожиданную на первый взгляд оценку обыгрывает и сам Набоков, сначала пером д-ра Рэя: «...трагическая повесть, неуклонно движущаяся к тому, что только и можно назвать моральным апофеозом», а потом — собственным, в послесловии: «...чего бы ни плел милый Джон Рэй, «Лолита» вовсе не буксир, тащащий за собой барку морали. Для меня рассказ или роман существует, только поскольку он доставляет мне то, что попросту назову эстетическим наслаждением, а это, в свой черед, я понимаю, как особое состояние, при котором чувствуешь себя — как-то, где-то, чем-то — связанным с другими формами бытия, где искусство (т. е. любознательность, нежность, доброта, стройность, восторг) есть норма».

Набоковская коррекция предисловия послесловием означает вот что: поэтическая «мораль» не есть просто мораль, как поэтическое высказывание не равно простому бытовому высказыванию. В той идеальной и тайной области «других форм бытия» (я не знаю, что это такое, да это и не важно), где искусство есть норма, суждения о поэтической морали исходят из самой природы искусства.

«Ну, знаете, в моей записи есть некоторое полемическое преувеличение, — сказала Л. Я., которой я осмелился показать свой текст, — я, собственно, хотела что-то противопоставить всем этим разговорам об эротизме»... И верно, «моралистический» — слово не совсем подходящее. Ведь набоковский пупенмейстер — Автор, Природа, Бог — как всегда, не предписывает, но потакает персонажам, которых затем наказывает, если они не способны прозреть общий узор замысла и поступать созвучно ему. Эстетические взгляды Набокова, как это ни странно, очень похожи на этические воззрения Пьера Тейяра де Шардена с его требованием «индивидуального становления» в Абсолюте:

«Никакую реальность в ее самой желанной сути не можем мы постичь ни умом, ни сердцем, ни осязанием, если *сама структура вещей* не заставит нас подняться к первоисточнику их совершенства... заблуждение лжемистиков состоит в *смешении* между собой *различных планов бытия* и, следовательно, в непонимании, какого рода активность присуща каждому из нас... Медленное созревание прямых причин, сложная сеть материальных детерминизмов, бесконечная последовательность звеньев миропорядка — все это списывается со счетов... Воображение рисует действие Божественного Промысла совершенно открытым и беспорядочным. Это ложное чудотворство, мешающее человеческому усилию и расхолаживающее его... *Мы можем*

погрузиться в Бога, лишь продолжив самые индивидуальные особенности нашего внутреннего устроения за их собственные пределы».

Сочинение, процитированное нами, называется «Божественная Среда», но разве многозначительные мысли философа не проясняют и среды искусства? Ведь искусство — как раз та область, где сама структура вещей влечет созерцателя к Абсолюту, поскольку именно в искусстве человек моделирует божественный опыт. В высшей степени христианские, то есть обращенные не к собранию «иудеев» или к собранию «эллинов», которых в свете Нового завета и нет, а к отдельному человеку, индивиду, размышления Тейяра де Шардена, как нам кажется, разъясняют и значение той литературы «индивидуального становления», которая в XX веке противостоит, условно говоря, соборно-символистическому направлению, исповедующему «ложное чудотворство» и смешивающему «различные планы бытия». В этом противостоянии «индивидуалистическая» поэзия морально оправдана как раз в силу того, что она оказывается более христианской; странно, как этого можно не видеть! Это о ней Вячеслав Иванов — с совершенно ницшеанским, если не горьковским, пафосом — пишет в статье «О И. Анненском» (1910): «...Анненский становится на наших глазах зачинателем нового типа лирики, нового лада, в котором легко могут выплакать свою обиду на жизнь души хрупкие и надломленные, чувственные и стыдливые, дерзкие и застенчивые, оберегающие одиночество своего заветного уголка, скупые нищие жизни... Уединенное сознание допевает в них свою тоску, умирая на пороге соборности...» Хорошо сказано. Следует только учесть, что «нищие жизни» — это Ахматова, Мандельштам, Пастернак, Цветаева...

И, конечно, Набоков, который всем своим творчеством вывернул эту «нищету» индивидуализма наизнанку, в то, что критики его искусства называют снобизмом. Он предлагает свой вариант снятия проблемы соборно-индивидуалистического рассечения человеческого «я», вариант, близкий, например, к мандельштамовскому: «Европа прошла сквозь лабиринт *ажурно*-тонкой культуры, когда абстрактное бытие, *ничем не прикрашенное личное существование* ценилось как *подвиг*. Отсюда *аристократическая интимность*, связующая всех людей, столь чуждая по духу «равенству и братству» Великой Революции. Нет равенства, нет соперничества, есть сообщничество сущих в заговоре против пустоты и небытия... Средневековье... *никогда не смешивало различных планов* и к *потустороннему* относилось с огромной сдержанностью. Благородная смесь рассудочности и мистики и ощущение мира как живого равновесия роднит нас с этой эпохой» («Утро акмеизма», 1912).

Стоит ли удивляться тому, что слово «дар» у Набокова — едва ли не философская категория? Сравним:

...тебе твой дар
я возвращаю — не зарыл, не пропил;
и, если бы душа имела профиль,
ты б увидал,
что и она
всего лишь слепок с горестного дара,
что более ничем не обладала,
что вместе с ним к тебе обращена.

Это из «Разговора с небожителем» Иосифа Бродского. Индивидуальный дар, оказывается, синонимичен душе, равен ей. И душа Гумберта Гумберта — Лолита («Грех мой, душа моя») — его дар. Какой бы эта душа ни была — если мы христиане, она бессмертна; иной у Г. Г., увы, нет...

«...кончик языка совершает путь в три шажка вниз по нёбу, чтобы на третьем толкнуться в зубы. Ло. Ли. Та». Это — поэзия. И совсем не случайно так начинается эта книга; свойственное Набокову внимание ко всей стоматологической топографии, связанной с фонетикой, даже к «лакомому кусочку, высосанному наконец из дуплистого зуба», в очередной раз отсылает нас к его заявлению: «...всякая великая литература — это феномен языка, а не идей» («Николай Гоголь»). В отличие от Белинского, скажем, третировавшего моллюсков, в набоковском мире каждая малость (этот вот «лакомый кусочек») равновелика в поэтическом преломлении идеям. На что это похоже? На новую лирику. На сказанное тезкой нашего прозаика: «Я знаю — / Гвоздь у меня в сапоге / Кошмарней, чем фантазия у Гете». На:

Я вздрагивал. Я загорался и гас.
Я трясся. Я сделал сейчас предложенье, —
Но поздно, я сдрейфил, и вот мне — отказ.
Как жаль ее слез! Я святого блаженней.

Обратим внимание: под личное, частное подшита мировая культура. Что касается «Марбурга», то дело не только в гребенках, равных шекспировой драме, и прощальном значении «каждой малости», но и в той интонации любовной страсти, которую передают и пастернаковское стихотворение и набоковская проза,— в «опрокинутом состоянии». Такая же лирическая алогичность знакома нам по многим страницам «Лолиты»: «...я смеялся собственным шуткам, и трепетал, и таил трепет, и раза два ощутил беглыми губами тепло ее близких кудрей...» И еще: «Вдруг я ясно понял, что могу поцеловать ее в шею или в уголок рта с полной безнаказанностью... она, наверное, не нашла бы ничего странного в том, чтобы взрослый друг, статный красавец — Поздно! Весь дом вдруг загудел от голоса говорливой Луизы, докладывающей госпоже Гейз...» Пастернак:

Когда я упал пред тобой, охватив
Туман этот, лед этот, эту поверхность
(Как ты хороша!) — этот вихрь духоты...
О чем ты? Опомнись! Пропало... Отвергнут.

Набоков: «„Вот и веранда", — пропела моя водительница, и затем, без малейшего предупреждения, голубая морская волна вздулась у меня под сердцем, и с камышевого коврика на веранде, из круга солнца, полуголая, на коленях, поворачиваясь на коленях ко мне, моя ривьерская любовь внимательно на меня глянула поверх темных очков... Со священным ужасом и упоением (король рыдает от радости, трубы трубят, нянька пьяна) я снова увидел прелестный впалый живот, где мои на юг направлявшиеся губы мимоходом остановились... Четверть века с тех пор прожитая мной сузилась, образовала трепещущее острие и исчезла. Необыкновенно трудно мне выразить с требуемой силой этот взрыв, эту дрожь, этот толчок страстного узнавания... „Это была моя Ло... а вот мои лилии". „Да", сказал я, „да. Они дивные, дивные, дивные"».

Что нам напомнит сцена первого появления Лолиты? Лирическую поэзию.

Стояли холода, и шел «Тристан».
В оркестре пело раненое море,
Зеленый край за паром голубым,
Остановившееся дико сердце.
.....
Какая-то дремота перед взрывом,
И ожидание, и отвращенье,
Последний стыд и полное блаженство...

Сравним: «голубая морская волна вздулась у меня под сердцем... этот взрыв...»

Парна́я роскошь — былая мо́кредь.
Повеял ужас, дымит восторг...
И ты — не тот ведь, и тот — не тот ведь!
Апофеоз. Апофеоз!

Сравним: «со священным ужасом и упоением (король рыдает от радости...)»

Утонули? — В переносном смысле.
Гринок? Есть. Шотландский городок.

Сравним: «„Да", сказал я, „да. Они дивные, дивные, дивные"».

А еще мы можем вспомнить молодого Толстого, записывающего в дневник (это о любви): «Когда меня спрашивают про время, проведенное мною в Казани, я небрежным тоном отвечаю: „Да, для губернского города очень порядочное общество, и я довольно весело провел несколько дней там"». Что общего между стихами Кузмина, прозой Толстого, прозой Набокова? Поэзия. По определению Бодлера — «перекличка сердец в лабиринтах судьбы». Главным свойством поэзии и следует счесть эту вот перекличку, радостное согласие с другим, говорящим о мире, передачу лирического кванта от художника художнику. В идеале — искусство бесчеловечно; все человеческое, теплое проносится туда контрабандой. Перекличка внутри искусства — заговор смертных, которым «власть дана любить и узнавать». Потому-то столь дороги «милые хрупкие вещи», интонация живой страсти, живое, так трудно туда проносимые. Без этой отзывчивости, без этого испускания и поглощения излучений поэзия немыслима и не нужна. Мир подлинной поэзии сложен и полон внутренних взаимосвязей. Кратчайший путь, который представляет собою лирическое стихотво-

рение и к которому близко лежит набоковская проза, не значит простейший, прямолинейный. Это — сверхпроводимость.

Боюсь надоесть читателю своей навязчивой электромеханикой, но первое, что приходит в голову, когда вспоминаешь «Лолиту», — высокое напряжение, перенагруженные лирические провода. «Лолита» — мерцание мириад лампочек, отражающих непредставимо громоздкую, но гармоническую работу текста. Эстетический эффект здесь зависит от сложности, от осознания читателем наличия миллиарда битов в секунду, пусть эта информация не перерабатывается им вся. Даже в очередной раз перечитывая «Лолиту», испытываешь мучительное чувство эстетического наслаждения от невозможности задержаться, остановиться, удержать каждую фразу, мысль, уловить оттенок, вернуть — все летит, необратимо, словно в кинематографе (нет! — в жизни), автомобиль шпарит с зашкалившей ресницей, таймер включен, умопомрачительно вертится цифровая балеринка, отображающая терции. Авантюрный сюжет, заросший лирической поэзией, путает карты и смущает чувства. В «Лолите» сталкиваемся с неустранимым, стилеобразующим противоречием засасывающего, безостановочного сюжета (в широком смысле) и подробной филигранности, требующей медленного чтения. Роман обладает внутренней динамикой стиля, экстраординарной для прозы. Он подобен музыкальному опусу, киноленте, стихотворению, где художественное время сосуществует с наперед заданной временной сеткой.

Медленное чтение романа необходимо осуществлять на бегу, ибо «Лолита» устойчива только в движении. Как велосипед остановленный, он — падающая груда железа. Как электрон квантовой физики. Читатель «Лолиты» помещен в экстремальные условия, требующие от него мгновенной реакции; он должен двигаться и соображать с ловкостью своего партнера, чтобы не быть с позором изгнанным с корта и из-за шахматного столика.

Искусство ведь — тренажер души; это она — а то кто же! — испытывает удовольствие, называемое эстетическим, как приохотившееся тело — мышечное, от физзарядки. «Лолита» — тренажер особо сложный, на нем работать непросто. Но и польза от сложного тренажера бóльшая. Этим сравнением мне хочется подчеркнуть, что перед нами — в высшей степени здоровая и полезная книга. Вот одна из ее изумительнейших страниц — описание классного списка Рамздэльской гимназии:

«Так странно и сладко было найти эту «Гейз, Долорес» (ее!) в живой беседке имен, под почетным караулом роз, стоящую как сказочная царевна между двух фрейлин! Стараюсь проанализировать щекотку восторга, которую я почувствовал в становом хребте при виде того имени среди прочих имен. Что тут волнует меня — до слез... что именно?.. Отвлеченность перестановки в положении имени и фамилии, чем-то напоминающая... маску? Не в этом ли слове «маска» кроется разгадка? Или всегда есть наслаждение в кружевной тайне, в струящейся вуали, сквозь которую глаза, знакомые только тебе, избраннику, мимоходом улыбаются тебе одному? А кроме того, я могу так ясно представить себе остальную часть этого красочного класса вокруг моей дымчато-розовой, долорозовой голубки. Вижу Грацию Анджель и ее спелые прыщики; Джинни Мак-Ку и ее отсталую ногу; Кларка, изнуренного онанизмом; Дункана, зловонного шута; Агнессу с ее изгрызанными ногтями; Виолу с угреватым лицом и упругим бюстом; хорошенькую Розалину; темноволосую Розу; очаровательную Стеллу, которая дает себя трогать чужим мужчинам; Вилльямса, задиру и вора; Флейшмана, которого жалею, как всякого изгоя. А вот среди них — она, потерянная в их толпе, сосущая карандаш, ненавидимая наставницами, съедаемая глазами всех мальчишек, направленными на ее волосы и шею, *моя* Лолита».

Не правда ли, словно мы едем на велосипеде сквозь жарко-холодную теневую вязь, и можно прикрыть веки, взволнованно следя на их тыльной стороне за синими и красными полосами, — такое удивительное соседство разнонагретых слоев, такая волнующе-высокая амплитуда: от «Дункана, зловонного шута», выскочившего как бы из пушкинской эпиграммы, через колеблющуюся амбивалентность прыщиков и угрей — к чуть конфетной романтике Роз, к серьезной вдруг нотке, подпираемой «задирой и вором»; и все это оторочено полным блаженством любви, двумя солнечными полянами, которые и соединены этой узорной тенью аллеи. Это поэзия. Здесь, как и в современной лирике, художественный смысл больше не лежит на поверхности, а возникает в контексте. Мучительно сладостное переживание и осмысление необратимо утекающей жизни рождается как бы помимо, вне, между зримо-материальными структурами текста и стоящими за ними образами — всеми этими моментальными снимками школьных товарищей и подруг Лолиты — в душистом воздухе, заполняющем полости, промежутки цветущего текстового боярышника; и он, этот запах, будучи вполне реальным и материальным, совершенно недоступен людям с недоразвитым или нарушенным обонянием. Такие люди способны увидеть лишь мертвую земляную прель, скукоженный бурый листочек, пленку плесени да ядовитый гриб, растущий под сенью этого напоенного запахами блаженства. Им бы хотелось

обойтись без вон того «омерзительного» дождевого червя, без онаниста Кларка, без вон той покрытой слизью улитки, ибо они закономерно видят лишь их.

Но разве не услышит *избранник* сквозь запах роз и зловоние, смешанные на этой странице, «неизъяснимую, непорочную нежность, проступающую сквозь мускус и мерзость, сквозь смрад и смерть»? Стоит прислушаться к звукоряду процитированной фразы, чтобы убедиться: это стихи, и стихи, заставляющие вспомнить, скажем, любовное стихотворение Анненского «Дальние руки»: «Как мускус мучительный мумий, / Как душный тайник тубероз...» Опять этот аллитерационный ад подсознания! Но душа — не только *ночи Юнга*, она еще и дневная человеческая интонация: «Я, видите ли, любил ее» («Лолита»); «Любили ль вы, простите ли?..» (Анненский)...

Перед нами проза, которой наскучило быть повествованием, линейным развитием и которая, подобно стихотворению, становится собиранием зарядов, намереваясь по полном прочтении книги разрядиться единым разрядом-катарсисом.

Обратимся к стихам. Мы уже видели мандельштамовскую стрельбу в «десятку» на уровне комплекса стихотворений; но и само отдельное стихотворение позднего Мандельштама — такая стрельба: «Как в пулю сажают вторую пулю». Вторая пуля, однако, всегда садится неточно, рядом — образуется напряженный эмоционально-смысловой зазор. А все стихотворение целиком образует контекстное поле, каждый из участков которого не может быть адекватно понят без подключения всего остального контекста, невычленим из него. Здесь я настоятельно прошу читателя снять с полки книгу и прочесть мандельштамовские стихи — «На мертвых ресницах Исакий замерз...» и «Возможна ли женщине мертвой хвала?..».

Эти стихи, вызванные известием о смерти Ольги Ваксель, петербургской знакомой Мандельштама, покончившей с собой в Осло в 1932 году и при выключенном контексте превращающиеся в «набор слов» (как, в принципе, верно это обывательское определение!), образуют в совокупности новый, иной контекст. А когда с одной из соседних страниц, из третьего стихотворения — «жалкий полумесяц губ» льнет к русско-итальянскому «аленькому рту», смысловое поле вновь преображается, освобождая не проявленное до того, скрытое, катионное серебро любовной темы. Мы видим, что все самое важное, самое дорогое, то, ради чего и набираются слова, — жизнь, смерть, любовь; ужас и красота омертвелого полуегипетского прошлого (египетский портик лидвалевского банка ищите на одной из модерно синеющих «барских улиц»); вдруг полегчавший «гигант, что скалою целой» — на реснице (у Гоголя: «алебарда... блестела, казалось, на самой реснице его глаз»); чужесть меблированному миру, где нарушена связь («мельниц колеса зимуют в снегу», «стынет рожок», Стокгольм спутан с Осло) и сообщение о смерти близкого человека приходит через два года; искусство, поэзия, музыка (с «выжлятником» из барско-некрасовской «Псовой охоты» и «шейкой» — то ли скрипки, то ли Анджиолины Бозио), упорствующие в своем праве итальяниться и русеть — последний оплот дара-души среди разлада и тумана; зеркало с каким-то, кажется, призраком поэта, повесившегося в «Англетере» (тут рядом), или, может быть, отражающее всезнающего парижанина, некогда танцевавшего на дачных подмосковных балах; «Астория», зашифрованная в звукоряде; и многозначительные ласточки — удивленные батюшковские брови, души-лолиты, Филомела-поэзия; и какая-то связь «медведицы» (герценовской «Полярной звезды»?) с «медвежонком»; и вон там, влево по Большой Морской, дом, в котором родился — тоже тенишевец — Володя Набоков, которого Мандельштам не читал; и я уже придумываю, а мой текст становится прозой «потока сознания», — все это убрано в основном с текстовой поверхности, вырабатывается контекстом, который то сужается, то расширяется, как зрачок. «Набранные» слова-корпускулы оказываются волнами; точно угаданные амплитуда и частота вызывают резонанс.

Литература, о которой мы говорим, вовсе не интеллектуальная и не головная; она живет простыми человеческими эмоциями. Другое дело, что воспроизвести в сознании читателя простую человеческую эмоцию, а не ее эрзац, можно только интеллектуальным путем. Настоящая литература, которую интересует подлинная эмоция, поэтому всегда сложна, требует внимания и работы. Таков и Набоков.

Конечно, он сочинил и массу пустых крестословиц, разгадыванием которых вынуждены заниматься комментаторы. Лишь тщеславное желание внести и свой однолептный вклад в академическое лолитоведение заставляет меня указать: *Петр Крестовский,* промелькнувший в одном из эпизодов романа, корреспондирует не столько с писателем-эротоманом Вс. Крестовским, сколько с русским названием приапического растения Lathraea squammaria — *Петров крест...* Право же, все исследовательские лепты не стоили б ломаного гроша, когда бы в «Лолите» не билась лирическая жизнь. Труп не менее сложен и интересен, чем живое тело; только занимательность его специальная, научная. Сложность необязательно жизнеспособна,

но жизнеспособность необходимо сложна. Сложность — потенция одушевленности: может ли человеческая душа уместиться в амебе примитивной литературной поделки?

На этом можно было бы и закончить, если бы не читатель, который (гипотетическое предположение!) алчет узнать, а что же мы думаем о действующих лицах романа, о бытовом, так сказать, срезе; может быть, мы сделаем большие глаза и воскликнем: «Как возможно написать такое!» — или сравним Г. Г. со Свидригайловым, или — тут миллион возможностей для людей, полагающих, что искусство говорит и учит, и оказывающихся в итоге в одной теплой компании. И даже если набоковский антифрейдизм чуть более навязчив, чем это необходимо, чтоб не казаться подозрительным, нас это мало интересует, мы не толкователи сновидений.

«Лолиту», как и «Дар», нельзя понять, если отнестись к ней не как к поэзии, а как к информации.

Вообще подлинный герой набоковской прозы — не Федор Константинович, не Г. Г., не Лолита, не Зина Мерц, а Мнемозина-Полумерцанье поэзии. Посвящая роман жене, Набоков, разумеется, дарит ей не трусики нимфетки, не урину Таксовича, даже не розы Гейзихи, а то сильное лирическое излучение, которое порождает сложный контекст книги и которое есть поэтическая *воз*гонка (но не романтическая *раз*гонка) подлинной жизни. (Кстати сказать, предпосланное «Лолите» и вполне рядовое для Набокова посвящение не стоит понимать как какое-то «оправдание»; семантически ближе тут — балансирование над пропастью, предложение прыгнуть с балкона, свойственные экстремально-нормальному состоянию влюбленности.) Не для активации ли этого лирического излучения нужен рискованный сюжетный выбор «Лолиты»? Ответ надо искать в стилистической плоскости, ибо «эротична» в искусстве, конечно, не фабула, а сама художественная материя; еще Эйхенбаум указывал, что вообще проблема эротики — это проблема стиля. Смешно смешивать искусство с реальностью, стилистический интерес — с сексуальной ориентацией автора. Когда б деяния Гумберта происходили в физическом мире, они вошли бы в противоречие с общественной моралью, были б преступными; но ведь даже такой уравновешенный и нравственно здоровый (то есть не играющий с романтическими личинами) человек, как Гёте, признавался, что ему не доводилось слышать ни об одном преступлении, совершающим которое он не мог бы себя в о о б р а з и т ь.

Искусство — реальность мнимая, а искусство Набокова — даже вдвойне мнимая (и тут, как это ни странно, удвоение минуса опять дает своеобразный плюс). Исследователи романа заметили, например, что Лолита умирает сорока днями позже Г. Г. (она — как бы его душа), что все события, происходящие после исчезновения Ло, хронологически-иллюзорны, а убийство Куилти — невозможно (в фильме С. Кубрика, снятом под наблюдением самого Набокова, Гумберт простреливает женский портрет, за которым прячется преследуемый им драматург)... Подлинная литература — такая среда, где всякое наивно-прямое моральное суждение читателя оказывается в конце концов посрамленным. Что далеко ходить за примерами — перечтите Чехова.

«„Неприличное" бывает зачастую равнозначуще „необычному"», — говорит набоковский д-р Рэй, обнажая прием. Прием, потребный для того, чтобы войти в художественно активную, не успевшую остыть и затвердеть зону, застать жизнь в неожиданном ракурсе, освоить повышенный лирический жар и интонационную новизну той литературы, которая растет на пограничном, психологически сложном и не утомленном обильными всходами поле. Вот, скажем, Кузмин. Разве можно любить и понимать русскую поэзию, не любя и не понимая стихов Кузмина, не сопереживая его лирическому «я», не идентифицируя себя — так или иначе — с этим «я» гомоэротических стихов? Как тут быть? Единственно — поверив, что наше «я» неотделимо от мира, что оно «жадно ищет впитать в себя этот мир и стать им, делая его собою», как думал Анненский, который в 1903 году как бы предвосхищает «Лолиту»: «Стихи и проза вступают в таинственный союз... Растет словарь... Создаются новые слова, и уже не сложением, а взаимопроникновением старых. Вспомните хотя бы слово Лафорга violupté (из violer[2] и volupté[3] — нечто вроде «карамазовщины»)... Наконец строгая богиня красоты уже не боится наклонять свой розовый факел над уродством и разложением. Мир, освещаемый правдивым и тонким самоанализом поэта, не может не быть страшен, но он не будет мне отвратителен, потому что он — я».

«Неприличная» художественная новизна — не что иное, как отражение «необычного», то есть нового человека. Как быть с европейским романом XX века, с подмигивающей амбивалентностью пола героинь любовных историй Томаса Манна

[2] Осквернять *(франц.)*.
[3] Сладострастие *(франц.)*.

и Германа Гессе, столь лолитообразно извлекаемых из отрочества героя при помощи серебряного карандашика друга детства? Дело тут не в психоанализе, а в стремлении искусства изобразить нового, сегодняшнего человека, а не старый литературный штамп, его изменившуюся психофизику, колеблющуюся гравитационную картину человеческих отношений, отменить геоцентрическую модель любовной истории.

В «Подвиге» Набоков описывает иллюстрацию из томика Мопассана: «Бель-Ами, усатый, в стоячем воротничке, обнажающий с ловкостью камеристки стыдливую, широкобедрую женщину». От каждого слова этого предложения, согласитесь, веет затхлостью. Это то, что сдано в архив, списано.

И странной кажется мне пышнотелость дам,
Эмалевидная их белизна и нега.
Захлопни рыхлый том: они не знают там
Ни шага быстрого, ни хлопотного века.

И еще — из того же Александра Кушнера: «Спи, спи, не страшно спать, когда товарищ есть / По рыхлой тьме ночной, склоненный над работой...» Т о в а р и щ — необычное, новое слово для любовной лирики (хотя, разумеется, подготовленное — и «Даром», и музилевским «Человеком без свойств»...), но как верно оно отражает происшедшие изменения, деформации, отставку Птоломеевых представлений о звездной механике отношений женщины и мужчины, их самих — изменившихся. Искусство идет на все, чтобы уловить и показать это. Ведь и «Лолита» вовсе не сочинение о страсти педофила к нимфетке, а «книга великой любви».

Рискованный выбор Набокова — катализатор, ускоряющий превращение реального в художественное, обходной маневр, позволяющий одолеть стилистическую, а значит, и этическую преграду. Любовь в «Лолите» как бы переведена на ту «немецкую речь», в которую хочет уйти Мандельштам, чтобы найти обновление взгляда. Новизна хотя и может, как мы видим, быть стимулирована «скандальностью», не связывается ею, преодолевает ее, уходит далеко вперед, чтобы совпасть там с иной новизной, пришедшей, быть может, с противоположной стороны.

Есть женщины сырой земле родные.
И каждый шаг их — гулкое рыданье...
.....
И ласки требовать от них преступно,
И расставаться с ними непосильно.
Сегодня — ангел, завтра — червь могильный,
А послезавтра только очертанье...

Почему эти такие далекие от Лолиты стихи приходят на ум? Что общего между мандельштамовским стихотворением и набоковской прозой? Только поэзия. И новизна. Трагическая перекличка. Что-то, что-то есть там такое, в этой истории девочки с теннисной ракеткой, женщины, умирающей при родах, что расставание с книгой о ней — непосильно...

Пока критики увлеченно вживаются в художественный мир Набокова (в том числе и на наших страницах — И. Есаулов, П. Кузнецов, теперь А. Пурин), жизнь подбрасывает параллельные сюжеты куда более приземленного свойства. Не побрезгуем одним из них.

В 1990 году в «Библиотеке «Огонька» вышло подписное четырехтомное собрание сочинений Владимира Набокова. По мотивам, о которых скажу ниже, в него не вошла знаменитая «Лолита».

В 1992 году неведомое миру издательство ЭКОПРОС выпустило в открытую продажу пятый, дополнительный том к четырехтомнику в унифицированном оформлении. В него входят «Лолита», а также «Переводы» («Пьяный корабль» Рембо, бодлеровский «Альбатрос», монолог Гамлета «Быть или не быть?» и гётевское Посвящение к «Фаусту» — всего девять книжных страниц, почему не больше?). Цена тома в декабре 1992 года была 80 рублей.

Итак, посмотрим. Тираж четырехтомника был 1 700 тысяч экземпляров. Тираж пятого тома — 100 тысяч. В четырехтомном собрании сочинений были цветные иллюстрации. В пятом томе — никаких. Понятно, времена трудные. В собрании сочинений значилось: «Оформление художника Ю. К. Бажанова»; в пятом томе читаем: «Художник Ю. К. Бажанова». Интересно, мужчина это или женщина?

Дальше — больше. Как ни бился, не нашел я в книге ни малейшего указания на тот общеизвестный факт, что «Лолита» написана Набоковым по-английски и лишь потом переведена на русский язык самим автором. О трудностях такого автоперевода Набоков рассказал в «Постскриптуме к русскому изданию» в 1965 году. Но и фраза «Перевел с английского автор», и набоковский «Постскриптум...» в пятом томе блистательно отсут-

ствуют. Отсутствует также и совершенно необходимое набоковское послесловие к американскому изданию 1958 года «О книге, озаглавленной „Лолита"», а также «Перевод иностранных терминов» (это ведь тоже часть набоковского автоперевода). Кстати, во всех отдельных изданиях «Лолиты» эти компоненты, конечно, есть.

Четыре тома собрания сочинений, вышедшие под присмотром Виктора Ерофеева, содержали комментарии, написанные Олегом Дарком. В пятом томе комментариев нет вообще ни в каком виде.

Кого же за это благодарить? Кто составлял, редактировал, надзирал? Никто? Или кто-то?.. В выходных данных указаны только художественные и технические редакторы.

Тем не менее этот «кто-то» несомненно существует. Более того, он оказался настолько невежествен, что не знал или не понял: предисловие к «Лолите», написанное от имени некоего Джона Рэя, доктора философии из Массачусетса, является частью текста романа, а сам доктор Рэй — вымысел писателя Набокова. И этот «кто-то», недолго думая, выкинул предисловие мифического Дж. Рэя из пятого тома собрания сочинений Владимира Набокова! По своему неразумению изменил текст романа!

Тем более не по силам ему оказалась догадка, что «Лолиты» в четырехтомнике и быть-то не могло; ведь по замыслу составителей в него вошли только написанные по-русски произведения Набокова-Сирина. А «Лолита», как говорил Набоков, «моя лучшая английская книга — или скажем еще скромнее, одна из лучших моих английских книг». Уже поэтому пятый том никак не может быть дополнительным по отношению к четырехтомному собранию сочинений Набокова. Да и вообще в своей невероятной дефектности не может быть сочтен набоковским сочинением.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.

Редакция «Нового мира» поздравляет

МАРКА ХАРИТОНОВА

с присуждением ему премии Букера за роман «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича».

Мы также поздравляем своих коллег из журнала «Дружба народов», опубликовавших книгу, которую международное жюри признало лучшим романом 1992 года на русском языке

С рецензией Андрея Ранчина на роман Марка Харитонова наш читатель мог познакомиться в № 12 «Нового мира» за 1992 год

Редакция «Нового мира» поздравляет нашего автора, члена редколлегии

Сергея Сергеевича АВЕРИНЦЕВА

с присуждением ему премии Российского независимого благотворительного фонда «Триумф»

ЛЕВ ГУДКОВ, БОРИС ДУБИН

*

БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ...

*Заметки о культуре переходного периода**

Положение дел

В разноголосице сегодняшней прессы отчетливей других слышны две интонации. Одни кричат о катастрофе в экономике, в экологии, культуре, об угрозе для духовности народа или о его геноциде, крахе демократов, конце реформ. Другие — язвительно и нахально — комментируют происходящее в тональности «удач и провалов», как называется рубрика в «Коммерсанте», где пишут о культуре. Хотя обе точки зрения порой можно встретить и на одной странице, они, как правило, распределены по разным изданиям. Это две полярные позиции, между которыми колеблются настроения публики.

Ни о какой катастрофе в сфере культуры речи быть не может. Исчезновение одной модели организации культуры или трансформации одного слоя носителей этой модели вовсе не означает краха или конца культуры. Да, за последний год окончательно развалилась централизованная система государственного тиражирования признанных образцов, бюрократия учреждений и надзора над культурой. Эта прежняя организация системы делала осмысленным существование массовой интеллигенции (государственных служащих с высшим образованием). Она предоставляла им определенные привилегии, вознаграждения и основания для высокой самооценки. Самоуважение данного слоя базировалось не только на политической дидактике просвещения общества, вполне устраивающей власть, не только на апелляции к классике как основе собственного авторитета и символу «духовности». Не менее важна была корпоративная принадлежность к кругу избранных, использующих усилия и достижения других — писателей и мыслителей прошлого — в качестве собственного символического капитала.

Характерно, что очевидней и бесповоротней других разложилась госиздатовская книжная система, почти целиком державшаяся на переизданиях классики и официально премированных авторов. Но то же самое произошло с государственной системой в театре и кино (особенно кинопрокате), в изобразительном искусстве.

Вместе с тем открылись десятки новых издательств: только частные фирмы, число которых перевалило за три с половиной тысячи, контролируют 44% книжного рынка. Выходят сотни новых газет и десятки новых журналов, альманахов, в том числе и специализированных — от философских до предпринимательских, включая типы изданий, вовсе раньше не существовавшие: от фантастики и детектива до эротики и астрологии. Сформировалась новая культура видеофильмов, опирающаяся на развитую сеть салонов, домашних видеомагнитофонов или кабельное телевидение. По данным одного из последних опросов ВЦИОМ (май 1992 г.), 4% населения России имеют дома «видак», 14% пользуются кабельным телевидением, растет аудитория западных теле- и радиостанций. Как бы там ни было, продолжают работать массовые библиотеки. Так что нынешняя деятельность «учреждений культуры» скорее должна была бы удивлять, нежели давать повод для недовольства: они, как ни странно, сохраняют известный уровень, регулярность, в принципе не сильно отличающиеся от «доперестроечных».

В бездуховности принято чаще всего обвинять молодежь. Поэтому отметим, что по всем признакам культурной активности лидируют молодые (до 25 лет). Показатели их поведения как потребителей культуры в два-три раза выше, чем у других категорий населения. Три четверти их как минимум ежемесячно бывают в кино, 53% — в книжных магазинах и в библиотеках. Они чаще других (23% против 14% в среднем)

* В работе использованы результаты социологического исследования «Культура», проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в мае 1992 года.

пользуются словарями и энциклопедиями, читают на иностранных языках (10% в сравнении с 1% в среднем). Важно еще одно: обычно это молодые женщины. И значимость всего связанного с культурой (переживание искусства как высокого праздника, самозабвение в иной, небудничной, реальности), и частота контактов с книгой, театром, музеем, кино — достояние прежде всего именно молодых женщин.

Итак, сколько-нибудь серьезных оснований ни для паники по поводу состояния культуры, ни для бичевания «бездуховной» молодежи нет.

Вместе с тем значимость общих авторитетов и символов культуры неуклонно снижается. Сейчас на уровне признания хотя бы одной десятой частью населения держатся лишь вечный художник номер один Репин («самый любимый»), эстрадный композитор Добрынин и певица Алла Пугачева. За этот предел вышел только не сходящий с телеэкрана кинорежиссер Рязанов, которого называют самым любимым 23% россиян. Из писателей же даже «наиболее любимые» Пушкин, Шолохов и Дюма собирают признание лишь 6%. В остальном ничего близкого к «классике», с одной стороны, и «проблемной», «критической» культуре (включая еще недавно запрещенную, так будоражившую публику три-четыре года назад) не обнаруживается.

Преобладающая сегодня на уровне средних по стране показателей модель культуры — массовая, аудиовизуальная (кино и эстрада по ТВ). Она сдвинута к прошлому, пусть и недавнему, 70-х годов, значима для людей пожилого возраста, чаще всего снова женщин. Поэтому любимые песни большинства населения — «народные» (разумеется, не фольклор, а своего рода государственно-лирический субститут среднерусской народности, демонстрируемый, например, на парадных концертах Зыкиной), а также «старинные романсы» и военные песни. Любимый актер — Тихонов (Штирлиц, князь Андрей), композитор (вслед за Добрыниным) — Пахмутова и т. п.

Противостоит этой модели другая, тоже массовая и чаще всего опять-таки аудиовизуальная, но отмеченная как молодежная. Она, как правило, «западного» происхождения (рок-ансамбли, американское кино, переводная тривиальная словесность). С такого рода предпочтениями тесно связаны и определенные типы более общих жизненных ориентаций. Для мужчин это высокая оценка техники, приоритет рационального действия, установка на успех и признание, тяга к благосостоянию и комфорту. Женщины же высоко оценивают роль чувств и воображения, для них более характерна готовность «сменить образ», почувствовать себя другой. Объединяет молодежь понимание ценностей игры, склонность к риску, заинтересованность в «партнере» (причем скорее похожем на тебя самого, чем принципиально «ином»).

Уход интеллигенции

В кругах политически неангажированных художников и исследователей (производителей культуры) прежний уровень работы частично сохраняется. Вместе с тем здесь тоже произошли свои изменения. За последние два-три года начался процесс сильнейшей профессиональной дифференциации. Общеинтеллигентские встречи и события (так сказать, ритуалы групповой солидарности типа различных чтений, конференций, просмотров, выставок, выхода бестселлеров и проч.) сегодня уже трудно себе представить: круг расширился и разорвался. Происходящее в какой-то одной сфере перестало быть общезначимым. Исчезла общность интеллигентского чтения. Можно сказать, ушло само понятие общеинтеллигентской сенсации, задававшей всему слою ритм существования.

Интеллигенция оказалась гораздо теснее сращенной с уходящей системой власти, чем можно было ожидать. И дело не просто в сложившихся социальных или человеческих связях. С крахом госкультуры разрушилась разметка и культурного процесса, и самой реальности — разрушились рамки допустимого и запрещенного, первоочередного и долгосрочного, злободневного и неактуального. Последний подвиг интеллигентского Геракла оказался связан с публикационным бумом «толстых» журналов и следовавших за ними радио и телевидением, то есть с перекачкой и публикацией запрещенного наследия. Итоговое усилие интеллигенции, ее критика режима и мобилизация всех сколько-нибудь активных социальных сил в предвыборном объединении политической оппозиции стали концом ее идеологии и вместе с тем — концом легитимности самой системы. Для начинающейся же эпохи профессиональной работы у интеллигенции, на наш взгляд, не оказалось необходимой этики, культурного ресурса, аналитического потенциала.

Может быть, главная особенность эпохи гласности, периода публикационно-журнального взрыва, заключалась в том, что в течение всего этого времени сохранялась прежняя система двойного счета, двойной оптики: цензурного ограничения и групповых эталонов достойного. Но это ведь и есть то двоемыслие, которое окрашивало само существование интеллигенции, всего слоя образованных (в этом плане — носителей советской культуры).

Для подобного сознания существовала не только двойная система оценок, двойная шкала времени (убогого, пошлого настоящего, «советского» и ожидаемого, подлинного, идентифицируемого с западным, с мировым уровнем науки, искусства, творчества, жизни, в конце концов), но и двойственность восприятия самих себя.

Наличие барьера самореализации, возможность всегда оправдаться в том, что не соответствуешь заявленным критериям, вводило специфическую временность, неподлинность, как бы фиктивность вот этого конкретного существования. Сам барьер такого рода играл чрезвычайно важную функциональную роль не просто для физического выживания отдельных людей (хотя и это существенно). Он был ключевым элементом в структуре сознания интеллигенции и воспроизводимой ею культуры. Неприятие инноваций — главный психологический механизм существования данного слоя. Угроза осознания собственных страхов перед властью, а потому сопротивление самореализации были сильнее, нежели заинтересованность делом или профессиональными проблемами. Интеллигенция усердно «динамила» сама себя, кокетничала своими потенциальными возможностями, «духовностью», сертификатом которой выступала ее шумная любовь к классике.

Мы предлагаем отличать роль классиков в советской культуре от функционального значения классики в культуре Нового времени. За исключением периодов формирования имперской культуры в Германии 70—90-х годов прошлого века, классические (и прежде всего античные) авторы служили в Европе внутригрупповыми стандартами оценки культурного процесса, имманентными средствами самоорганизации литературной системы либо экзистенциальными образцами (Элиот, Валери и др.).

В тоталитарных же обществах «классики» получали государственные чины, звания и подлежали государственной охране, поскольку удостоверяли собой легитимность всего социально-государственного целого. Неправильное обращение с национальными святыми приравнивалось к оскорблению величия державы, покушению на достоинство нации.

Для самой интеллигенции классика, а тем более апелляция к мученикам культуры служила чем-то вроде коллективного контрольного пакета символического капитала, корпоративного удостоверения высот и совершенств, значимость которых достаточно было демонстрировать. В этом качестве классики как бы и не требовали личного интеллектуального или профессионального усилия, собственной душевной работы. Классики должны быть мертвыми, воплощая в ритуалах их почитания нерационализируемые комплексы группы. Они обязательно должны быть вытеснены в прошлое, иначе нужно было бы соответствовать их субъективности, признать своим их этический императив самодостаточного поведения, согласиться с их упорным отказом от коллективной рутины. Двойное прочтение классики как государственно признанного канона для просвещения масс и как тайной притчи о собственном сопротивлении власти позволяло уйти от неприятного вопроса об индивидуальной состоятельности, о личном обеспечении своего достоинства. Вопрос о том, по какому праву мы наследуем классикам, что именно ты значишь без Пушкина, даже не вставал.

Литература и искусство 60—80-х годов, включая так называемую критическую словесность, воспроизводила инфантильный комплекс боязни быть взрослыми, ситуацию «русского человека на рандеву». То, что это так, отчетливо обнаружилось в ситуации разлома прежней социальной организации. Начиная с прошлого года двойная оптика исчезла. Возникла ситуация: hic Rhodus, hic salta (здесь Родос, здесь прыгай). Как, прямо сейчас? Многолетняя игра моментально лишилась смысла.

Для правоверной интеллигенции как группы, как носителей специфической идеологии культуры это была действительно катастрофа. Разрушение корпоративной сплоченности и группового оправдания, императив индивидуальной реализации и индивидуального соответствия профессиональным канонам и требованиям работы без ссылки на запреты, работа набело, всерьез, возможность показать, чего ты стóишь и что можешь уже в контексте мирового сообщества, по универсальным критериям и меркам, без скидок на «зажим», оказали необычайно подавляющее воздействие на наших властителей умов. Одни замолчали. Другие начали уезжать. Причем стремительно, объясняя свой похожий на бегство отъезд соображениями «кому мы здесь нужны?».

Особенно болезненно эти обстоятельства затронули носителей определенных социальных ролей: людей, которые, не принадлежа к какой бы то ни было профессиональной сфере целиком, обеспечивали коммуникативное взаимодействие, контакты, связи между различными группами культурного сообщества, образуя то, что можно назвать «публикой». Именно они создавали феномен интеллигентской сенсации, разнося в отдельных профессиональных кругах сведения о тех или иных событиях, литературных новинках, кинопремьерах, появлении новой работы историка, искусствоведа или литературоведа. При бедности нашей культурной среды,

отсутствии специальных средств насыщения ее идеями, образцами, информацией, символами (языковой изоляции, неразвитости журнальной сети, конференций, семинаров, клубов и других средств интеграции общества) эти люди вырабатывали своего рода «клей», служили посредниками между различными слоями. Теперь публика разрыхляется, исчезает тип человека, социально ангажированного и культурно озабоченного, но заведомого непрофессионала, убежденного и признанного дилетанта.

И все же в целом, кто работал, продолжают работать. Более того, появились новые люди, ранее никак не обозначавшиеся, а теперь могущие предъявить либо уже наработанное, либо ресурсы компетенции, знаний, способности понимания или даже тип отношения к своей работе (что, может быть, еще важнее). Но их деятельность несенсационна, повседневна, а потому не создает материала для интеллигентского, литературно-художественного самовыражения.

Таким образом, значимое событие все-таки произошло. На наших глазах меняется сам способ организации общественности. Распалась система тоталитарной репродукции культуры, ее идеология. Уходит со сцены интеллигенция как служилое чиновничество от культуры.

Соответственно, притязания на господство и авторитет от имени «классики», или, иначе говоря, претензии на дидактическую политику (презумпция педагогическо-просвещенческого превосходства, интеллектуального патернализма) оказываются все менее признаваемыми и подтверждаемыми населением. Слабая компетентность интеллигенции — профессиональная, аналитическая, рефлексивная — и ее корпоративная незаинтересованность повседневностью, прагматикой жизни, невнимание к «невысокому» и «нормальному» сделали ее беспомощной перед проблемами массового общества, импотентной перед необходимостью рационализировать повседневную жизнь, чего, собственно, и ждет от нее общество теперь. Потеря аудитории интеллигентской словесностью, кино, театром фактически означала, что интеллигенции отказали в праве подменять собой общество. Будучи по характеру своего образования, по месту в обществе, по самой своей численности вполне массовой, интеллигенция между тем упорно уклоняется от выполнения массовых функций: элементарной рационализации повседневности, культурного посредничества между удаленными друг от друга группами и репродукции наследия в его многообразии. Сколько бы ни заявляли о бережении прошлого с самых разных трибун, на деле именно и прежде всего оно оказывается в ситуации полного разора (библиотека, школа).

В целом, в искусстве сегодня можно говорить о двух типах интеллигентской реакции на окружающее. Это все более демонстративное соединение классических сюжетов, героев и конструкций с легко узнаваемой, почти шаржированной актуальностью, что дает эффект китча,— и так называемая «чернуха», «реализм» которой сочетает рутинную поэтику массовых жанров (прежде всего мелодрамы с ее центральным персонажем, гибнущей героиней) и фикцию стороннего взгляда. Модельной фигурой в этом смысле можно считать даже не авторов «Интердевочки» и «Маленькой Веры» (возглавлявших вместе с «Рабыней Изаурой» списки зрительских предпочтений последних лет), а Сергея Соловьева, прошедшего, при сохранении основного для него ценностного конфликта, путь от неоклассики «Спасателя» и «Наследницы по прямой» к программным «Ассе» и «Черной розе — эмблеме печали, красной розе — эмблеме любви».

О вечно женском в массовой культуре

Напротив, то, что свысока или иронически называется «массовухой», поддержанное вчерашними гос- и партиздательствами, цветет и произрастает. Множатся массовые приложения, издания «для чтения», путеводители по миру аудиовизуальной культуры. Прошла подписка на библиотеку дамского романа. Полны прилавки фантастикой, эротикой, приключениями, детективами, мистикой, астрологией, хиромантией, воспитанием детей. Прикладное богословие, теософия и кабала сочетаются с гигиеническими «Радостями секса», честными в своем простодушии и назначении. Телеканалы соревнуются в предложении различных мелодрам.

Чем обеспечивает подобная продукция «массового человека»? Основной читатель и зритель у нас, как уже говорилось,— женщина. Поток массовой культуры ориентирован в первую очередь на нее, предлагая формы игры, идентификации себя и Другого, оценки своих отношений с мужем или партнером, детьми, родителями и окружающими.

Все, что связано с женщиной, значениями женского, несет в себе огромный запас аффективного, эмоционального, ценностного. Если роль зрелого мужчины в основе своей связана с идеей дела, профессии, заработка, то есть достижением четко поставленных целей (и меньше всего окрашена в тона демонстративности, многозначности, театральности), то удел и назначение женщины в самом серьезном

смысле — сохранение осмысленности существования, фундаментальных человеческих ценностей. Понятно, что именно из женской сферы исходит награда жизни.

Дело не только в том, что нерационализируемое ядро значений женского в культуре — это дом, человеческое воспроизводство (в предельно широком значении, отнюдь не сводящемся к физиологии рождения и выхаживания), предельная интимность существования, всегда выступающая в ореоле аффективно-эмоциональных связей и табу. Это и убежище, и безопасность, и психологический комфорт. Секс, любовь, эротика выступают более или менее удачными метафорами достоверности ценностей, обычно недоступных, «идеальных» — ценностей полноты человеческого понимания, доверия, согласия, всего, что выражается словом «близость».

Само вторжение темы, мотивов и языков эротики и секса в нынешнюю общедоступную прессу, в литературу, на кино- и телеэкран, опубличивание табуированного наводит на мысль, что речь идет о вещах, несколько более серьезных, чем отношения между мальчиками и девочками. Объем подобной литературы в чтении примерно равен обращению к книгам по религии или астрологии, об открытиях в науке и намного превышает интерес к литературе по искусству, философии или литературной критике. Идет поиск символики, средств выражения иных, непривычных, нерепрессивных отношений. В этом смысле спокойное обсуждение всего связанного с сексом как бы снимает социальные барьеры, меняет дистанции между людьми и означивается семантикой интимности. Напротив, игнорирование сложнейшей символической нагруженности данной сферы, интеллектуальный ступор перед ней заставляет видеть в любом разговоре на подобные темы что-то вроде повышенной сексуальной озабоченности. Характерно, что оживление или появление этой тематики всегда манифестирует начальную фазу эрозии нормативного социального порядка и характерной для него культуры. Подобные области отношений (смерть, болезнь, самоубийство, акт познания — любой опыт пограничных, неконвенциональных ситуаций) обычно защищены самыми жесткими социальными запретами, как бы заколдованы, и только для находящихся в кругу интимности двоих оказывается возможным и допустимым обсуждение и переживание любых ценностных значений. Особенность этого сложного взаимодействия — одновременное переживание себя и Другого в перспективе друг друга. Самоценность субъективности в данном случае не позволяет свести эти уникальные отношения к любому общему правилу, например, «и у бабочек то же самое». Интимность и вместе с тем принадлежность Другому означают, что собственная телесность переживается как чистая социальность.

Поэтому такое состояние в культуре наделяется максимальным ценностным рангом. И в той мере, в какой становится ценностью, оно опосредует, соотносит между собой любые значимые социальные напряжения, конденсирует смысловое многообразие реальности. Иными словами, секс — такой же культурный код, как и прочие знаковые системы в культуре — языки кулинарии и социальной иерархии, этикета и моды. Однако, в отличие от них, любые ценности культуры он переводит на аффект. Поэтому секс — важная тема культуры, значимый элемент в механизмах культурного смыслообразования.

Любовь (секс) восстанавливает тот пласт первичного, базового доверия к реальности, которым характеризуется лишь начало жизни — первые фазы самовосприятия, первые детские (не младенческие, а именно детские) годы. Отсутствие угрозы, страхов, наличие теплой, неповторимой волны заботы и ласки, идущей к ребенку от родных, главным образом от матери, создает тот энергетический ресурс, энергетику личности, которая во всей последующей жизни лишь трансформируется в различные формы интереса и ценностей.

Степень последующей цивилизованности человека в известной мере как раз и определяется балансом, тактом социального дисциплинирования и вместе с тем сохранения в себе этой изначальной энергетики, заинтересованного и позитивного отношения к трансформациям и заместителям первичных партнеров. Перверсии этих отношений, этого слоя чувств могут быть самыми различными, в том числе ужасными. Но что несомненно, так это то, что человеческий интерес к реальности связан с разными формами осмысления этого первичного экзистенциального опыта. Все зависит от того, в какой схеме отношений он будет закрепляться и распределяться.

«Твой комплекс моей неполноценности»

Эта реплика одного из персонажей С. Довлатова фиксирует системно воспроизводящийся в нашем обществе дефект социального взаимодействия — иерархическое неравенство партнеров, действующих лиц. Существо этого дефекта заключается в том, что признание собственной неполноценности требует от Другого качеств заведомо завышенных, идеализированных, нереальных (только в таком случае они

могли бы компенсировать собственную несамодостаточность или ущербность). Но за эмпирическое несоответствие партнера этим завышенным тобою же ожиданиям он полностью дисквалифицируется, становясь объектом вымещаемого разочарования.

Не надо думать, будто описываемый механизм взаимной неполноценности относится лишь к психологии сексуального взаимодействия — его сфера общекультурна, общесоциальна. Его источник — отношения с родителями и оценка отношений между ними как модельными авторитетами, а область распространения включает работу (отношения между сотрудниками и коллегами, начальством разного уровня), правительство, политиков, Запад, который нас вечно разочаровывает своей «бездуховностью» и нежеланием нам помочь и т. д.

Эта агрессивная самоинфантилизация, которая превращает любое социальное взаимодействие в отношения зависимых и ущербных, мстящих друг другу партнеров, лежит в основании нашей социальности. Ее можно рассматривать как матрицу русской ментальности, переживающей перманентное «ослепление» перед воображаемым Западом. Таков модернизационный комплекс великой державы, находящейся в ситуации постоянного, по меньшей мере двухсотлетнего, вхождения в «семью европейских народов». Но этот же комплекс и блокирует завершение модернизации, обретение самодостаточности индивида, осознание себя в настоящем времени — времени действия. Поэтому жизнь для такого сознания — всегда в горизонте ожидания: «Когда же придет настоящий день?»

Комплекс этот, имеющий своим источником и носителем интеллигенцию, вовсе не ограничивается интеллигентскими кругами. Так, обращает на себя внимание, что свойства человека, вызывающие наибольшую настороженность, а то и прямую враждебность со стороны «большинства»,— это, по данным наших исследований, признаки самостоятельности (или ориентации на независимое поведение) и характеристики динамичности — установки на рост, изменение уровня, статуса, образа жизни.

Стремлению к самостоятельности — экономической, социальной, культурной, к непохожести и опоре на себя, на собственные мотивы и критерии оценок противостоит комплекс консервативных установок, устроенный, надо сказать, вовсе не так просто. Во-первых, как показывает материал наших опросов, «самостоятельность» в оценке пожилых людей — применительно к самим себе — это возможность избавиться от всегда тягостной для них социальности, необходимости в чем-то рассчитывать на других, тем более удручающей, что этих других они (подсознательно) ставят ниже себя, видя в них повод для негативных эмоций. Иначе говоря, преобладает представление о Другом как об источнике нормативного контроля, неизбежного ограничения твоих возможностей (даже если это связано с обеспечением какими-то значимыми ресурсами), давления, обязанности и принудительности. Поэтому сам индивид от этой зависимости постоянно хочет избавиться или ускользнуть, тогда как аналогичные стремления других осуждаются.

В каком-то смысле жизнь представляется подобному сознанию угрозой со стороны любого Другого (обратная сторона несамостоятельности, принудительной коллективной лояльности). Все свое, все сколько-нибудь значимое, жизненно затрагивающее может восприниматься лишь как повод для тревоги, беспокойства, то есть в негативной форме страха его потерять. Подобная уязвленность — как будто единственная возможность пережить чувство обладания. Важно, что другим при этом заведомо отказывается в признаках полноценности. Стоит чужакам проявить хоть какие-то признаки самостоятельности, претензии на равенство, как это тут же вызывает раздражение (в качестве «чурок», «чукчей» или «козлов» они, что называется, вполне устраивают). Не случайно именно среда пожилых и тихо озлобленных людей демонстрирует самые высокие индексы этнической ксенофобии в целом. Но сильнее и вместе с тем незаметней подобные механизмы действуют в сфере ближайшего окружения, включая семью.

С одной стороны, для большинства россиян (тем более пожилых) характерна демонстративно признаваемая ценность семьи и дома. Пожилые и средних лет женщины (свыше 60%) особенно настаивают на том, что главное в их жизни — семья, нормальный быт, домашние занятия. С другой стороны, именно они считают, что семейные отношения «в последние годы ухудшаются», что «все в их жизни позади», почему и «ищут утешения в Боге и вере». Они чаще других видят в старости и течении времени качества прежде всего и исключительно отрицательные — ухудшение, порчу (черта, не свойственная ни традиционным культурам, ни активистскому обществу). Вообще, и это в-третьих, пожилые женщины подчеркивают ценности дома (замкнутых границ «своего» мира, его подконтрольности), мужчины же старшего и среднего возраста — ценности семьи, брака (тогда как жены предпочитают в общении не мужей, а детей). Счастливых в браке мужчин (по их собственным свидетельствам) вчетверо больше, чем несчастливых, женщин же — лишь вдвое, а счастливых в любви

почти столько же, как несчастливых. Итак, демонстративно женские установки на дом, озабоченность детьми, высокая позитивная ценность любви и семьи часто сочетаются с низкой удовлетворенностью ими в реальной жизни, стремлением не выходить за пределы этого круга и сожалением, что нельзя сменить партнера (хотела бы это осуществить каждая седьмая женщина). У мужчин же высокие оценки собственного брака и тяга к семье соединяются со стремлением быть подальше от людей.

В пожилом возрасте максимально выражена неудовлетворенность молодежью (до 54% опрошенных в этой возрастной группе). Сама же молодежь в большинстве случаев предпочитает внедомашние формы проведения времени (друзья, кино и проч.), общение со сверстниками, очень высоко ставит дружбу, а оставаясь дома, склонна включать радио, магнитофон, создавая звуковую дистанцию между собой и домашними.

Иными словами, семьей недовольны практически все, но ведут себя при этом по-разному. Молодежь склонна бежать из дома, но из-за своей социальной и экономической зависимости не может от него оторваться, а потому несет в себе негативную самооценку, заложенную репрессивным воспитанием (чувство вины свойственно каждому второму молодому респонденту). Женщины (в качестве брачного партнера) завышают планку собственных ожиданий, склонны к повышенной самооценке, в том числе в порядке компенсации за невнимание и «агрессивной самозащиты», о которой говорилось. Неудовлетворенность браком принимает форму той же тревоги, обеспокоенности (неаутентичности); вместе с тем она как бы предполагает бóльшие достоинства женщины, ее привлекательность: «она отдала все, а ее недооценили». Мужчины же, видимо, достаточно редко находя взаимность, все же ценят семью как прибежище от фрустраций недостижения, унизительности систематического неуспеха, как своего рода «эмоциональное депо». (Кроме того, признание неудачности брака, в противоположность женскому варианту, понижает самооценку мужчины и оценку его другими.)

В целом чувства, которые владеют пожилой частью населения, так или иначе негативны и связаны между собой. Это ощущение бесперспективности («все позади») и неавторитетности (недооцененности, в том числе ближайшим окружением); раздражение, настороженность и враждебность в отношении других; чувство небезопасности. Так, больше половины пожилых людей хотели бы, по их признанию, меньше бояться, две пятых — испытывают полностью «иррациональный» страх, что на них могут оказать воздействие словами или поступками помимо их воли.

Характерно, что среди пожилых россиян значительно преобладают те, кто хотел бы в детстве походить на собственных родителей (треть) и вырос похожим на них (две пятых). Причем, по данным более раннего (июль 1990 г.) исследования, ориентация на родителей раздваивается: «мать» как жизненный образец для всех возрастных категорий важнее «отца». У старших за матерью следует «отец», затем «учитель», у молодежи — сверстники, отцы же и учителя вообще не пользуются авторитетом. Примером для молодежи выступают не родители, а персонажи культурной сцены: для юношей — герои кино и книг, для девушек — актеры и актрисы, роли этих героев исполняющие. Поэтому и разговору с родителями молодежь предпочитает контакт с приемником или магнитофоном. Условные фигуры — герои, «звезды» — предлагают ей разнообразие и свободу.

Можно предположить, что в структуре подобных воображаемых ориентиров важны несколько моментов. Во-первых, это образы инициативного, самостоятельного поведения (хотя бы в утрированной форме «капризов звезды»). Во-вторых, это воплощение если и не прямой удачи, то, по крайней мере, той полноты и яркости существования, которые могут быть синонимом жизненного успеха («цена» его принципиально скрыта и, пожалуй, не важна). В-третьих,— что особенно важно в условиях ценностного дефицита — это фигуры подчеркнуто выделенные, бросающиеся в глаза, значимость которых бесспорна и не требует ни дополнительного подтверждения, ни собственных усилий по осмыслению (подарок судьбы, ее даровой знак).

Иное у пожилых. «Честность», «скромность», «уважение к старшим» — таковы основные качества, которые люди старшего возраста хотели бы видеть в своих детях и у молодежи вообще. Этими свойствами они наделяют стереотипный образ «культурного человека». Иными словами, ведущее искомое качество человека здесь — «коллективная лояльность» как гарантия коммуникативной «прозрачности», понятности, надежности отношений. Усиленная, навязчивая декларация этих качеств психологически выдает не только проблематичность самих социальных связей, но и скрываемое двоемыслие.

Молодежь, с точки зрения пожилых, явно не удовлетворяет перечисленным эталонным качествам. Поэтому она не просто «плоха», но неким таинственным образом постоянно ухудшается. Так, больше половины опрошенных респондентов

считают, что молодежь 30-х и 60-х годов была лучше нынешней; треть опрошенных в России полагает, что сегодняшняя молодежь «по большей части плохая», а каждый пятый — что в будущем она окажется «еще хуже нынешней». Репрессивное сознание пожилых последовательно вытесняет значения, которые несет с собой молодежь или которые отмечены как молодежные, подавляет альтернативные образы Другого (разнородность ценностей, символику многообразия, перемены). Осуществляется своего рода символическая казнь обобщенного «партнера».

Подобный синдром психологической регрессии свидетельствует о глубочайшей внутренней раздвоенности и подавленности. Обеспокоенность, мрачность и неожиданно взрывающаяся агрессивность старших — внешнее выражение этого душевного склада и сформировавших его процессов. Сегодня уходят из жизни не просто старые люди, уходит, как говорит Ю. А. Левада, сам антропологический тип «советского человека» и поколение, бывшее его носителем и представителем. Социальные и идеологические механизмы, обеспечивавшие осмысленность жизни этого поколения, потеряли свою значимость и оправданность в пертурбациях последнего времени. Однако психологический стереотип подобных человеческих отношений остался и, вероятно, еще надолго.

Может показаться, что разговор о семье, поколениях, дефектах воспитания носит частный педагогический или психиатрический характер. Однако стоит принять во внимание многократно повторяющийся в наших исследованиях факт инфантильности, примитивности общества. Отношения в семье — проекция базовых характеристик социума, по крайней мере, в виде форм социального контроля. Известно, что сами эти формы, например, образцы материнской речи, резко различаются от группы к группе, от культуры к культуре. Английский социолингвист Б. Бернстайн и его последователи показали, как репрессивный характер речи в низовых слоях социума (в среде рабочих) отражается на интеллектуальном потенциале личности. Более мягкая и толерантная манера общения с ребенком (убеждающая, аргументирующая, объясняющая) в семьях среднего класса повышает рефлексивные способности индивида, его контактность, продуктивность. Баланс сложившихся на этом этапе ролей и образцов становится исходной моделью реальности, на которой в семье выстраивается весь последующий путь индивида, характер его запросов, пределы возможностей — все, что человек выбирает для себя в качестве внутренних целей, ориентиров будущей биографии.

Отношения в наших семьях отражают весь драматизм нереализованной модернизации. Иерархическая структура социальных позиций, распределительная экономика, принудительная прописка, рационированная жилплощадь и все прелести столь знакомого нам быта имели, среди прочего, такие важные последствия, как патология фундаментальных социальных ролей, и мужских, и женских, с одной стороны, и ситуативный характер моральных представлений, то есть отсутствие единого пространства всеобщих этических норм и обязательств, с другой.

Подавление у мужчин установок на самореализацию, ориентаций на успех ситуативным кодом лояльности к начальству, а не к профессии обернулось необратимыми деформациями в мужском характере — пассивностью, эскапизмом, инфантильностью. Столь же небезобидным оказался этот процесс и для женщин. Их отношение к «мужику», занятому «делом», девальвировалось. Женщина и власть вступили в своеобразный союз, нигилистически относясь к любой возможности автономии (а стало быть, и к эмансипации от рутины, привычки как нормы социального порядка). Интересы женщины (женской роли) требовали принятия настоящего, консервации существующего.

В одной из своих работ С. Шведов показал, как элиминируется мужская роль, авторитет отца, его право на самостоятельность в советских учебниках[1]. Государство в лице Сталина или правительства замещает на картинках, в текстах прописей и хрестоматий мужчину, хозяина, защитника дома. В школьной сюжетике остаются лишь женские персонажи — мать, бабушка — и Отец всех. Патерналистские идеологемы общества как большой семьи существуют в стране и сегодня и будут еще очень долго определять не просто психологию, но и экономику, право и проч.

То, что принимает на первый взгляд формы психологические или традиционно половые, воспроизводит фундаментальнейшие для неразвитого, недомодернизированного общества представления о социальной структуре, о социальном театре, пространстве социальных возможностей, правилах игры. Эти модели характерны для сословно-статусных обществ, реагирующих на изменения только одним — традиционализацией, то есть переинтерпретацией любого обновления в категориях привычного и ранее бывшего.

---

[1] Шведов С., «Уроки букваря» («Знание — сила», 1991, № 11).

Неадекватные ожидания женщины, жены в отношении партнера вызваны проекцией на него компенсаторных представлений (в свою очередь, являющихся негативным переворачиванием и восполнением хронически конфликтных отношений между родителями). Жесткость этих запросов, их — лишь на первый взгляд — романтическая идеализированность, с одной стороны, и истерическая фригидность (следствие диссонанса желаний и их «воплощения»), с другой,— вещи неразрывные. Перед нами неизбежный эффект взаимной социальной неполноценности, неспособности к социальному взаимодействию, пониманию и терпимости. Таков врожденный порок общества, в котором люди не умеют общаться, играть друг с другом в какие бы то ни было игры, кроме игры во власть-подчинение.

Мы видим это и в массовых опросах о чертах русского национального характера. Непропорционально большое место среди этих черт занимает травматическое повторение: «мы — люди простые, открытые, терпеливые, униженные» и т. п. Очень значительна доля людей, считающих себя одинокими, несчастными, лишенными веры и опоры в жизни. Фиксируемое нашими исследованиями неуважение матери к отцу передается дочери, что, в свою очередь, через определенное время воспроизводится в ее отношениях с собственным мужем. Вместе с тем зависимость от женщины, матери, усугубленная ее неспособностью к эмоциональному взаимодействию, сковывает всех членов семьи в единый конфликтно-интегрированный союз, распадающийся, как только появляется возможность вырваться — получить жилплощадь и т. п.

Молодое поколение, оценивая старших как социальных и, что не менее важно, эмоциональных банкротов, порывается выстроить собственный проект биографии и жизненной карьеры. Для этого используются уже не образцы родительских отношений, а либо аффективный материал молодежной культуры (совершенно иной по фактуре, но, главное, вообще исключающий роли родителей, взрослых) — рок, сентиментально-мелодраматические модели литературы и кино, либо имажинарий западной масскультуры, обеспечивающий образцами бескомплексной идентификации. Именно поэтому молодые сегодня проще воспринимают новые альтернативы жизненного поведения, легче вписываются в новые, сомнительные или предосудительные с точки зрения служилого люда сферы заработка и малого бизнеса.

Нам еще предстоят первые шаги на пути от внешней принудительности к внутренней цивилизованности. Массовая культура в этом плане становится не просто источником социализационных образцов, но и средством коллективной психотерапии, по крайней мере, снятия напряжений или невротической агрессии, возбуждения. Скажем, мелодрама сегодня, как и в момент своего рождения, не только тематизирует резкость социальных разломов, позволяя читателю и зрителю яснее представить себе границы социального пространства различных персонажей, относящихся к разным социальным стратам и группам с разным статусом и правами. Не менее важна возможность компенсировать в воображении, в игре реальные дефициты внимания, доверия, теплоты, интимности.

Получается парадоксальная вещь. «Высокая» литература, с одной стороны, внутренне идеологизирована и осложнена чисто интеллигентскими проблемами. С другой, она деформирована жесткими требованиями лояльности к стандартам высокого и вечного. Поэтому в наших условиях она (и «высокая» культура в целом) оказывается ретроспективной, ориентированной на прошлое, на школьные шаблоны и имена, ощущается читателем как чужая для него, несвоевременная и неуместная. В то же время догматически отвергаемое «тривиальное» искусство выполняет в обществе сложнейшие функции адаптации к цивилизационным процессам и крупномасштабным изменениям. Оно вводит и распространяет в косных, немодерных слоях социума (втянутых в урбанизационные сдвиги, массовые социальные перемещения, разломы и расслоение общества) представления об их возможных партнерах по взаимодействию — образцы иных групп и сообществ, новые нормы реальности и модели коммуникации. Иными словами, тривиальная литература и искусство играют роль механизма рутинизации, освоения модернизационных воздействий, окультуривания полугородской, полупоселковой социальной среды с разрушенным укладом традиционно деревенской жизни.

Попытки выработать культурные системы такого рода возникали и раньше. Так, в частности, сложились две основные стилистические и интонационные линии нашей культуры. Одну можно назвать «высокой», «одической». Она эксплуатировала государственный героико-эпический тон, вбирая при этом самый разный тематический материал.

Это страшно серьезная литература, поскольку тяготеет к одноплановости и одномерности жизни. Мир для нее готов и статичен в своих смыслах. Проблема же заключается лишь в технике и правильности приведения к этому смыслу — все равно, будет ли это позитивная научная «теория» будущего, традиция, безусловный автори-

тет или абсурд как постулирование чистой негативности существования. Мрачность и невротизм этой культурной линии — психологическая производная от собственной бесплодности, безуспешных усилий возвести, наконец, такую систему правил и норм поведения, которая исключала бы неправильности, «слабости» и «пошлое» (то ли плотское, то ли нравственное) удовольствие.

Серьезность эта объясняется неспособностью к игре, к индивидуальному смыслообразованию, к принятию многозначности и многомерности мира, то есть возможности наращивать надо всем, что кажется устойчивым и важным, всегда составляя отработанный тематический или жанровый арсенал традиции, другие, новые смысловые истолкования. Отсюда эта интонация томления, тоски, поисков опоры в чем бы то ни было, хоть в «нигилизме». Это не просто фантомные боли модернизационной «беспочвенности». С точки зрения социальной морфологии, этот синдром пустоты, неполноты есть результат отсутствия, кастрации элиты как смыслопродуктивной группы инноваторов. Атрофия социальных способностей к рефлексии оборачивается тягой к авторитетам и статичным источникам смысла — вплоть до политического конформизма. По своей структуре — эстетической, поэтической и проч.— эта линия в культуре по-эпигонски ориентирована на образцовое прошлое, на классику. Словесность такого рода пытается механически повторить приемы предшественников для своих, внутренне рутинных идеологических целей.

Другую, лирически-субъективную линию можно было бы назвать «бытовой». Ею по-своему жили и патефон — от Вертинского и Лещенко-первого до «Ландышей» — и Окуджава. Основным предметом изображения здесь были сложности отношений между частными людьми, аполитическими субъектами, переживающими обстоятельства персональных, не зависимых ни от чего другого взаимосвязей. Это тоже игры, но игры, не связанные с внешними авторитетами и задачами «возвышения» до определенной идеи.

Можно представить себе разные типы игры[2]. В одних случаях правила жестко заданы и контролируются извне. Это игры ролевые, тематически они могут быть самыми разными — от карьеры до политической борьбы, от дедовщины до праздника. Но могут быть и такие игры, правила которых складываются или определяются в ходе самого действия. Смысл его устанавливается участниками ситуативно и конвенционально, через пародирование (в тыняновском значении) внешней и принудительной схемы действия. Это может быть и метафорическая игра (с переносом одних социальных ролей на других) или же театрально-демонстрационная.

Но в любом из этих случаев сохраняется принципиальная автономность партнеров. Важнейшее их здесь человеческое, культурное качество — умение не только играть свои роли, но и демонстрировать сами социальные правила их порождения, знаки различных контекстов, включая их обыгрывание, показ границ нормы, типового носителя и т. п. Ироническая или комическая, сентиментальная или рефлексивная модальность не просто обеспечивает многозначность и многоплановость действий. Она позволяет связывать самые различные пласты и сферы социальной реальности, разные институциональные системы действия. (Скажем, одной из таких распространенных в быту игровых форм является кокетство, замечательно описанное Георгом Зиммелем в его очерках по философии культуры.)

Общество как старый дурень: феномен недореализованной модернизации

Для нас здесь важен один момент. Умение играть — не просто признак социального остроумия, социальной дееспособности и компетентности, но и симптом динамичности общества, его стабильности, «витальности», потенциала инновации и смысловой продуктивности. Когда говорят о необходимости рынка как экономической основы нерепрессивного общества, о свободе информации, политических представительских институтах демократии, о деньгах как всеобщих генерализованных посредниках, то как будто забывают, что сами эти структуры могут существовать лишь в определенном культурном контексте. Они немыслимы вне универсума многообразных и гибких социальных форм, неотрывны от способности и возможности желать, от свободы достижения и умения хотеть, а не только предаваться мечтательным фантазиям.

Глупо представлять себе нашу жизнь навязанной кем-то извне и думать, будто всякая власть держится лишь силой, давежкой, террором. Любой социальный порядок (а тем более тот, который, меняясь, стоит почти три четверти века) соединяет самые разные основания своего приятия и поддержки. Он защищается и обеспечи-

[2] См. об этом: Левада Ю. А., «Игровые структуры в системах социального действия» (в сб. «Системные исследования». М. 1984).

вается миллионами миллионов ежедневных действий каждого из нас вне всякого согласования с намерениями правительства или милиции. И понять это гораздо важнее, чем сочинить еще один план всеобщего переустройства или политической реформы. Воспроизводится порядок, среди прочего, и вещами, далекими от политики или голосования за ту или другую партию,— такими, как любовь, обращение к незнакомому человеку или школьный букварь. Наше антропологическое своеобразие, то, что составляет нашу суть, мы чаще всего и не воспринимаем как нечто особенное: оно малозаметно, как бы естественно, само собой разумеется и даже не упоминается, не подлежит обсуждению (а что? разве у других иначе?).

Реакцией российского общества на модернизацию, стимулируемую властью, начиная от Петра I, в своих собственных интересах (частичную, направленную, форсированную), каждый раз было не только и не просто разрушение социально-сословного и традиционного уклада жизни. Столь же важной была адаптация к изменениям при сохранении принципов организации социальной жизни — в первую очередь иерархической модели взаимодействия как клеточки прочих отношений. Речь идет прежде всего о патернализме как наиболее фундаментальной характеристике нашего общества.

Общество сегодня распадается на отдельные сферы или зоны, в которых действуют прежние нормы партикуляристской морали «наших» — этнически или социально своих, удерживаемых внутри границ группы или сообщества опять-таки лишь властью. Нет ни свободы ценностного обмена посредством чисто формальных средств — денег, ни единого информационного пространства, ни общего морального универсума, ни генерализованных символических значений, интегрирующих разнородные группы и образования в единое общество.

Особенность нашей культуры (причем наиболее глубокого пласта представлений о реальности, о человеческой природе, а соответственно о том, что должно или возможно, как поступать и чего ждать от других) заключается в том, что на все напряжения или изменения в истории она реагирует традиционализирующим образом. Инновация не вписывается до тех пор, пока не получает верховную санкцию или классическую маркировку от наиболее авторитетных смысловых инстанций — властных или подобных им, то есть пока не будет «освоена» этим единственно возможным и понятным образом.

Мы живем в обществе несостоявшейся модернизации. Отсюда все «тайны нашей души», а фактически — закрытость и темнота происходящего для понимания теми слоями общества, которые как будто бы представляют собой наиболее квалифицированные интеллектуальные силы. Эти группы сегодня не в состоянии понять и анализировать суть накопившихся проблем и совершающихся событий, а потому объявляют собственную неспособность «загадкой». Накопившийся груз нерешенных проблем представляется им онтологической структурой русской культуры, якобы уникальной в этом своем качестве.

Отношения господства-подчинения глубоко укоренены и осмысленны для обеих сторон, они воспроизводятся независимо от субъективных намерений участников — это единственная всеобщая форма в данной культуре, вызывающая к жизни и санкционирующая все прочие отношения. Лестница рангов неполноправия выстраивается там, где нет других оснований для выбора, для взаимодействия равнозначных (не равных, а именно равнозначимых) партнеров. Поэтому Россия не может выйти из круга представлений об обществе как системе исключительно сословно-иерархических отношений. И пусть этих отношений как сословных давно уже нет — остались их модели в виде морально-социальных форм, структуры норм и санкций, правил и привычек. Вся русская культура строится на сублимации несамодостаточности, несвободы. Полнота самоощущения если и проявляется здесь, то чисто апофатически — через ее отсутствие, проективную тревогу и фантомную боль заведомой утраты.

И нынешние скулеж, тревожность, фобии, паника, равно присущие людям из разных политических и идеологических лагерей и партий, выдают гораздо более общие установки и настроения, чем просто разногласия во взглядах. Катастрофизм — оборотная сторона никогда не оставляющей советского человека веры в чудо. Подобная инверсия авторитарности, потребность в костылях любого освобождающего от ответственности авторитета осознается в категориях пассивности, «страдательности», любовно разрабатываемых национальной интеллигенцией. Однако катастрофизм, распространенный сегодня в первую очередь среди интеллигенции, может рассматриваться и как симптом ее конца, предчувствие и осознание ухода с общественной сцены, завершения периода или эпохи реформ, связываемых исключительно с трансформацией властных отношений. Истощается ресурс идеологии российской интеллигенции, ее картина реальности и истории, а вместе с тем — ее социальная роль в обществе, лишенном идеи свободы и автономности, идеи «культуры».

Речь сегодня идет о разложении институциональной (политической, экономической, культурной) структуры бывшего советского общества. Это не «революция», стремительная смена власти и крах прежних структур. Это именно медленное разложение, то есть процесс отказа, нарастание дисфункциональных явлений и признаков, потеря значимости прежних обязательных или образцовых норм поведения и взаимодействия, какими бы санкциями они ни гарантировались. В отличие от процессов общественной трансформации социальное разложение совсем не обязательно сопровождается возникновением новых форм, новых всеобщих и признанных правил поведения. Само слово «разложение» указывает на длительность, процессуальность совершающегося распада, рассогласование правил общежития и отсутствие их замены. Это мы и наблюдаем сегодня в сфере культуры, в области ценностей, идей, образцов и представлений о добром, вечном, прекрасном, должном, умном, равно как и в системе организации взаимодействия людей по поводу этих образцов.

Но всеобщее разочарование малостью реформационных результатов за год по-своему радует. (Гораздо больше пугало бы, иди реформы непрерывно, ломая одни социальные формы за другими.) Сама постепенность, рутинность разложения означает, что процесс изменений идет неуклонно, что вариантов или альтернатив чрезвычайно мало, а надежд на немедленное обогащение и завтрашнюю райскую жизнь все меньше и меньше.

И обычному наблюдателю на улицах крупных городов, и из социологических данных последнего года видно, что активнее всего начинают жить собственной головой и обеспечивать себя своими руками самые молодые. Молодежь и развитие как будто бы естественным образом связаны. Однако история нашего общества (как и других модернизирующихся стран) показывает, что это не так. Молодежная активность вполне может остаться чисто субкультурной или стадиальной характеристикой, а импульс к изменениям тем самым оказаться заблокированным, локализованным на определенных возрастных фазах. Тогда все будет гораздо печальнее. Речь пойдет не о разложении старой институциональной структуры, а о некрозе фундаментальных значений культуры.

Устойчивость, бесповоротность и долговременность социальных изменений можно обеспечить только переводом специфического импульса к переменам в институциональные формы, то есть упрочением социальной дифференциации, стабилизируемой умножением капиллярных социальных связей между разными группами в обществе. При таком варианте развития, как показывает опыт Дальнего Востока, даже отсутствие собственных национальных элит не является препятствием модернизации. Контекстом процесса в этом случае служит уже все мировое сообщество с его внутренним разделением функций, где инновации (научные открытия, технологические разработки, культурные события) не ограничены национальными сообществами. Подобный процесс изменений по смыслу своему приобретает цивилизационный характер. Его временные рамки значительно шире какого-то одного поколения.

ОТ РЕДАКЦИИ

Важнейший вопрос о смене культурной парадигмы мы надеемся обсудить с той самой интеллигенцией, которая подошла к своему «концу», и с той самой национальной элитой, которая «еще не сформировалась». Полагаем, что отклики на статью Л. Гудкова и Б. Дубина не заставят себя ждать.

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ

*

ВЕСТНИК РУССКОГО ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ. № 162-163. Париж — Нью-Йорк — Москва. Русское Студенческое Христианское движение при участии YMCA-Press. 1991. 351 стр.

Сдвоенный номер «Вестника» вышел в полуторном (относительно обычного) объеме и открывается передовицей ответственного редактора Н. Струве «У ней особенная стать...». Журнал сохраняет верность традиционным для себя темам и персоналиям. Раздел «Богословие, философия» включает работы В. Байдина «Иконосфера русской культуры», где описывается «художественная софиология» русского средневековья, Г. М. Прохорова «Россия между прошлым, вечностью, будущим и настоящим», развернутый отклик Е. Сударевой на выполненный польским филологом Р. Лужным перевод «Песни о голубиной книге». Невелика, но содержательна и актуальна статья С. Хоружего: анализируя «соборную формулу» Хомякова, автор приходит к выводу, что здесь речь идет об учении «о Церкви мистической и невидимой», не понятом ни русской философией, превратившей его в предмет спекулятивной метафизики, ни общественной мыслью, заземлившей учение о соборности до «коммуноидных вариаций на темы коллективизма, совпатриотизма или нацбольшевизма». Пространна, но описательна работа К. Ковалева «„Русская идея" Николая Бердяева»; представлена и полемика: А. Н. Паршин спорит со статьей Н. Бонецкой об о. П. Флоренском («Вестник», № 160). 100-летие кончины К. Леонтьева редакция остроумно отметила подборкой газетных публикаций семидесятипятилетней давности (В. Розанов, А. Александров, Н. Толстой, хроника «Московских ведомостей»).

В литературном разделе печатаются стихи Ю. Кублановского, Н. Бодровой, С. Аверинцева, статьи К. Сигова о Е. Баратынском («„Бдение во сне" и страна поэта»), М. Баскера «О „пьяном дервише" Николая Гумилева» и А. Давидчика о поэзии О. Мандельштама. Продолжается публикация розановского эпистолярия: 9 писем Розанова к Н. П. Барсукову (1894—1898, ЦГАЛИ), 2 письма к П. Б. Струве; к 100-летию М. Цветаевой публикуются 3 письма поэта к П. Б. Струве (1922—1924, ЦГАОР) с комментарием Н. Струве.

Насыщены фактами воспоминания Т. Милютиной «Три года в русском Париже» (1930—1933): о деятельности РСХД, о Религиозно-философской академии, о Богословском институте, о встречах со знаменитостями «русской Франции».

Завершают книжку статья А. Пригарина «Патриарх и политики» (о современной роли Русской Православной Церкви в политической жизни России) и ряд информационных сообщений.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ. № 184-185. Нью-Йорк. 1991. Сентябрь—декабрь. 695 стр.

Также сдвоенная и также полуторная книжка богата разнообразными материалами. Половина ее объема отдана тому, что обычно именуется текущей литературой. Проза журнала представлена исключительно малыми формами (А. Обросов, В. Разин, М. Рабинович, Э. Пустынин, А. Лазарев, В. Задорожный, С. Голлербах); много современной поэзии — от одного стихотворения до небольшой подборки (Л. Тарасов, В. Касьянов, А. Величанский, М. Георгадзе, А. А. Пушкин, В. Морозов, А. Антонович, Д. Стрижов, С. Бойцов, М. Шапошников, В. Молодяков, С. Островский, А. Максимова, М. Темкина, Н. Косман, М. Хлебникова); есть и поэзия «из наследия» (Н. Муравьев и три ранее известных стихотворения В. Ходасевича). Журнал не отказывается от литературной критики: Е. Голлербах пишет о прозе В. Войновича, а М. Голубков анализирует произведения Л. Петрушевской и В. Маканина как симптомы периода литературного хаоса. В том же отделе печатается несколько небезынтересных эссе «о недавнем прошлом»: И. Карабутенко вспоминает устные рассказы дочери К. Бальмонта; И. Плавинский рассказывает о тарусской жизни художников-«нонконформистов» в 1960-е гг.; М. Горелов перемежает свои воспоминания о гражданской войне размышлениями об исторической судьбе России, характеристиками общественных деятелей начала XX века; Ю. Первова продолжает повествование «Страницы из жизни Гринов»; Д. Шрайер-Петров рассказывает о встречах с Б. Слуцким.

Интересны и насыщены фактами собственно мемуары, публикуемые журналом. Это прежде всего «Воспоминания» М. Мансуровой (урожд. княжны Трубецкой), написанные в традиции «семейной хроники» (предреволюционный домашний быт семьи Трубецких); о своей семье рассказывает и А. Цетлин-Доминик — дочь одного из основателей «Нового журнала», М. О. Цетлина (вновь «русский Париж», 20—40-е гг.); фрагмент из воспоминаний художника О. Цингера (публ. Р. Герра) посвящен детским театральным впечатлениям. Завершают раздел начало публикации дневников Р. Куллэ (Ленинград, 1924—1932) и небольшой рассказ В. Рапопорта о своем тесте Н. А. Милютине, в 30-е гг. проектировавшем «социалистический город будущего».

В философско-культурном разделе завершается перепечатка «Диалектики мифа» А. Ф. Лосева, печатается статья П. Гайденко «Проблема свободы в экзистенциальной философии Н. А. Бердяева»; Е. Анисимов восстанавливает подлинную историю ставшего легендарным Ваньки Каина. Журнал оперативно откликнулся на августовские события 1991 г. (свидетельства очевидцев Р. Полищук и Б. Езерской).

«Новый журнал» — один из немногих русских журналов, сохранивших рецензионный отдел, где помещаются отклики как на русские книги, так и на книги зарубежных издательств, касающиеся проблем России.

Отметив некрологи Б. Филиппова и И. Одоевцевой и ряд информационных заметок, мы завершим полный обзор богатого и разнообразного репертуара очередной книжки одного из старейших русских зарубежных толстых журналов.

ДМИТРИЙ Н. БУЛАНИН. Античные традиции в древнерусской литературе XI—XVI вв. Slavistische Beiträge. Band 278. München. Verlag Otto Sagner. 1991. 465 стр.

Научная монография, в основе которой — докторская диссертация по филологии, защищенная автором в октябре 1989 г. в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук, исправленная и расширенная для настоящего издания. Традиционная для жанра диссертации композиция (введение, четыре главы, заключение) дополнена приложениями, в которых воспроизводится ряд переводных славянских текстов X века («Энхиридон» Эпиктета, послание Максима Исповедника Фалассию, послание Сосипатра Аксиоху), печатается свод фрагментов из гомилий Григория Богослова и толкований Никиты Ираклийского, включающих мифологические сюжеты, и др. Один из основных принципов настоящего исследования сформулирован ученым во введении: «В глазах древнерусского книжника XVI века, как и в глазах болгарского писателя „золотого века", античное наследие, будучи наследием нечестивых язычников, оставалось проклятым и отверженным. <...> Каждый античный элемент может и должен быть объяснен внутри конфессионально замкнутой системы slavia orthodoxa, а не посредством опасных западноевропейских или византийских аналогий».

Обширная библиография, впечатляющий перечень обследованных европейских архивохранилищ.

РЕДКИЕ КНИГИ И РУКОПИСИ БИБЛИОТЕКИ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. München. Verlag Otto Sagner. 1991. 22 стр. + 12 илл.

Краткий путеводитель, составленный заведующим отделом редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ Н. В. Масловой, знакомит с отдельными частями фонда: рукописями X—XX веков, архивами XVII—XX веков, кириллическими книгами XV—XVII веков; ценными и редкими изданиями, вышедшими после 1825 г.; книгами на иностранных языках XV—XX веков; изобразительными материалами XVIII—XX веков.

Имеется библиография основных исследований по фондам отдела.

А. Н.

ПОДПИСКА
НА ПАРИЖСКУЮ ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГАЗЕТУ
«РУССКАЯ МЫСЛЬ» В МОСКВЕ

с рассылкой ее по России и другим государствам СНГ.
Цена подписки на 1 месяц 60 рублей.
Почтовый перевод и в отдельном конверте копию квитанции с указанием адреса подписчика посылать по адресу:

125171 Москва, Ленинградское шоссе, 18, к. 1607,
ТОО «Промышленные брокеры», Александру Шустеру.

Редакция журнала «Новый мир» подписку на газету «Русская мысль» не производит. Объявление публикуется по просьбе наших парижских коллег

SUMMARY

The issue begins with reflections of Academician D. S. Likhachev on the Russian intelligentsia.

The poetry section contains poems by Semyon Lipkin and Heinrich Sapgir.

Valery Piskunov's (Rostov-on-Don) «According to Their Stock» is a complex novel written in a new and bold manner. It deals with the metamorphoses of conciousness of the common people, the Don Cossacks in the first place.

The genre of short story is represented by Ludmila Petrushevskaya's «In the Orchards of other Possibilities» and Friedrich Gorenstein's «The Day that Was Left under the Precipice».

Publicist Dora Sturman (Jerusalem) in her essay «Can the Red Wheel Be Stopped?» analyses the recent volumes of Alexander Solzhenitsyn's historic epic.

In the «Publications and Reports» section «Letters to Friends (1920—1960s)» by a famous pianist M. V. Yudina and the beginning of a treatise by Elena Rzhevskaya «Goebbels. A Portrait Against a Background of a Diary» are being published.

The «Literary Criticism» section presents an article by Alexey Purin (St-Petersburg) «Nabokov and Euterpa» and another by sociologists Lev Gudkov and Boris Dubin «Without Effort... Notes on the Culture of the Transitional Period».

In our traditional section «Russian Books Abroad» Alexander Nosov briefly annotates new books by Russian authors living abroad.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Читайте в 1993 году:

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ: «МЕНЯ УБЬЕТ ТОЛЬКО ПРЯМОЕ ПОПАДАНИЕ ПО БАШКЕ».

Материалы к творческой биографии. 1927—1932. Публикация М. А. Платоновой. Подготовка текста и комментарии Н. В. Корниенко.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), **Д. А. Гранин, Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, В. Ю. Потапов** (зам. главного редактора), **И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, З. М. Фаткудинов, В. Л. Филимонов** (зам. главного редактора), **М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев**

Технический редактор А. Гинзбург

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.11.92 г. Подписано к печати 25.12.92 г. Компьютерный оригинал-макет изготовлен в Издательском центре «Новый мир». Формат бумаги 70 × 108/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (22,4 усл.-печ. л., 22,58 усл. кр.-отт.). 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 74 000 экз. Зак. 4261. Цена 47 р. (по подписке); розничная цена договорная.

При участии издательства «Известия Советов народных депутатов Российской Федерации». Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия Советов народных депутатов Российской Федерации». 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

8 НМ ЭО № 2

Индекс 70636

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «АРМАН»

Все виды финансовых услуг на российском и зарубежных рынках

Формирование инвестиционного портфеля

Обучение ваших кадров за рубежом

Тел. (095) 233-99-87
233-99-88
233-99-90

ISSN 0130—7673 Новый мир, 1993, № 2, 1 — 256.